Библиотека
всемирной литературы

Серия третья * * *

Литература XX века

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Емельяников С. П.
Жирмунский В. М.
Ибрагимов М.
Кербабаев Б. М.
Конрад Н. И.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Самарин Р. М.
Семпер И. Х.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

АНДРЕЙ УПИТ

НОВЕЛЛЫ

ПЕРЕВОД С ЛАТЫШСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1970

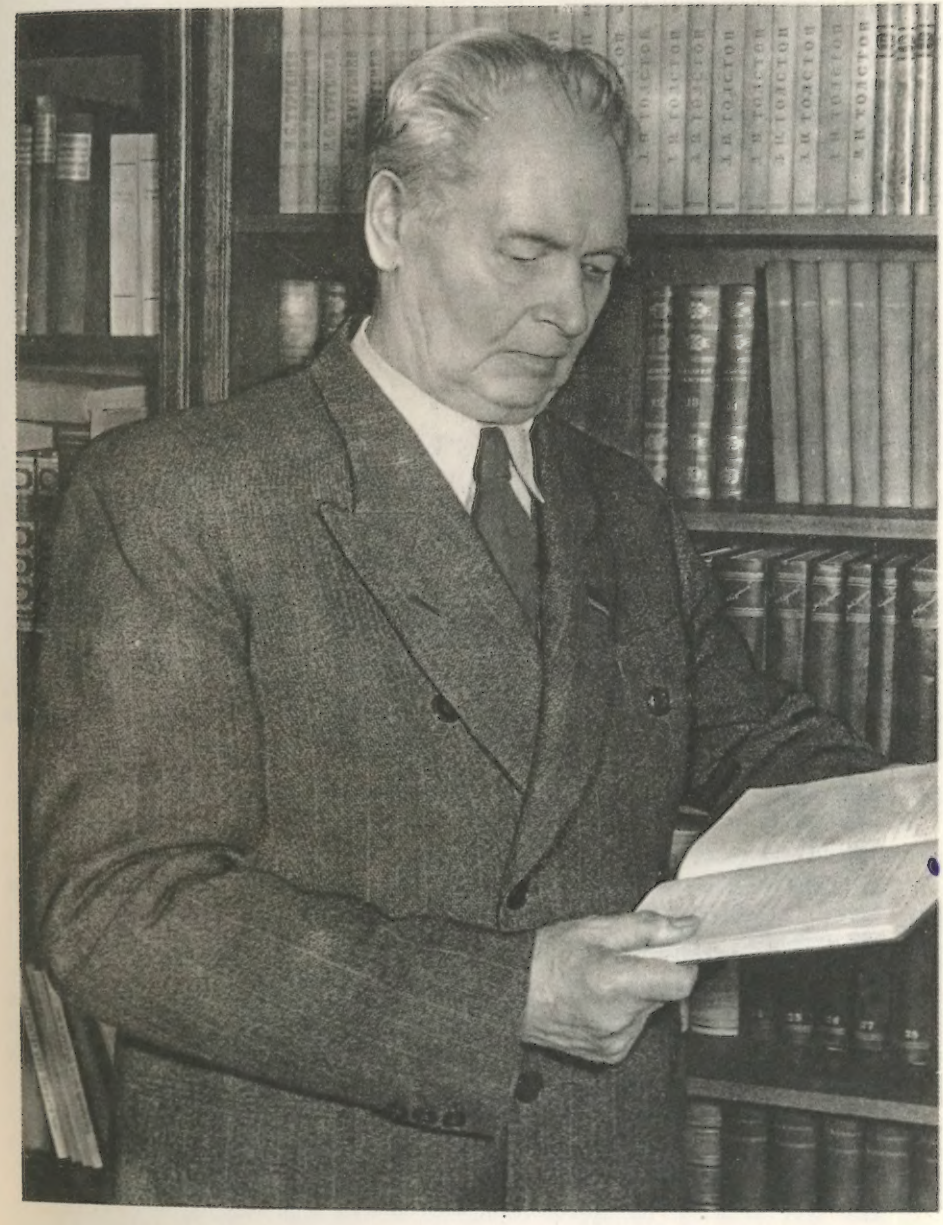
Вступительная статья
Арвида Григулиса

Составление
Юлия Ванага

С (Лат) 2

Иллюстрации
Гундики Васки

7-3-3
Подп. изд.


Л.Н.ТОЛСТОЙ

АНДРЕЙ УПИТ И ЕГО ТВОРЧЕСТВО

Имя Андрея Упита уже давно принадлежит не только одному латышскому народу.

В письме от 19 сентября 1953 года Александр Фадеев писал выдающемуся латышскому писателю:

«Своими романами Вы точно сказали читателю всех наций: «Не глядите на то, что народ мой численно не так уж велик, жизнь его так же значительна, полна такого же великого содержания, как и жизнь любой из наций. В купели человеческих страданий и среди побед человеческого духа *его* слезы и муки, *его* мечты, *его* борьба тоже оставили свой глубокий след. Из собственнического мира с его искаженными отношениями, унижающими душу человека, к миру свободному и счастливому мой народ выходил такими же трудными, сложными путями, как выходили и еще идут другие народы земли, и на этих путях он рождал людей большого гуманистического духа и проявлял все величие героизма. Вот почему я считаю прошлое моего народа не менее значительным, чем прошлое любого другого народа, большого или малого. И вот я вам показываю во всех проявлениях жизнь наших крестьян и рабочих, нашей передовой интеллигенции, показываю весь тот собственнический мир, все те гнетущие силы и все те силы непонимания и колебания, которые стояли препятствием на пути исторического прогресса моего народа, и теперь вы вместе со мной, автором, будете так же любить наши села и города, наших передовых людей, нашего рабочего и крестьянина-труженика, и это и есть мой вклад, писателя Андрея Упита, в художественную сокровищницу человечества» [1].

[1] А. Фадеев, «Письма», «Советский писатель», М. 1967, стр. 469.

Хотя А. Фадеев в своем письме уделил все внимание лишь двум последним романам Андрея Упита — «Земля зеленая» и «Просвет в тучах»,— его емкие слова относятся ко всему творчеству выдающегося прозаика, драматурга, критика и литературоведа, прожившего долгую жизнь (Упит родился в 1877 году), которая по времени почти соответствует возрасту всей латышской национальной литературы.

* * *

...Небольшая кучка строений, занесенная сугробами. Среди них жилой дом, который можно узнать по тонкой струйке дыма, почти беспрестанно тянущейся из трубы. Порою ветер относит ее, порою прижимает к самой крыше, а иногда она стоит прямо, как навощенная бечева. Временами это единственный признак жизни среди этой невзрачной кучки строений, где, кроме жилого дома, есть еще хлев, клеть, овин и какой-нибудь сарай. Это небольшой замкнутый мир, где свой жизненный ритм — уход за скотиной, пора теребить лен, ехать в лес и т. п. Так выглядела крестьянская усадьба зимой в сравнительно недавнее время.

В латышской литературе было и еще осталось довольно много писателей, выросших в бедных усадьбах и создавших хорошие произведения о своих детских годах, с великолепными картинами природы. Но изображения зимы в этих романах, повестях или рассказах, как правило, почти нет. Почему? Неужели зима не имеет своих прелестей? Ничего подобного. Зимнюю природу бедный крестьянский ребенок мог видеть только через замерзшее окно, потому что наружу почти не выбирался — не было обуви.

Лето. Лето — сплошная рабочая пора. А еще тяжелее осенью, до затяжных дождей. Все в спешке, в горячке, одна работа подгоняет другую, рабочих рук не хватает.

Зимой не о чем говорить, в страдную летнюю и осеннюю пору некогда говорить. Что ж удивительного, что народ за столетия стал молчаливым, замкнутым? С самых ранних детских лет все приходится продумывать самому, решать самому.

В таких условиях началось и прошло детство Андрея Упита.

В какой-нибудь сотне километров от Риги на берегу Даугавы стояла такая типично латышская крестьянская усадьба. Не очень богатая, не очень и бедная. Батрацкая половина разделена на две части, потому что у хозяина двое испольщиков. У каждой семьи испольщика своя комната на батрацкой половине.

Одна такая комната принадлежала и семье Упитов.

Была у этой хуторской жизни еще одна особенность. Чтобы долгие зимние вечера не проходили зря, по стародавней традиции все оби-

татели усадьбы собирались в одной большой комнате и при маленькой керосиновой лампе без стекла занимались своим ремеслом — делали деревянную посуду, вили веревки, гнули полозья и дуги, женщины ткали и пряли.

Здесь рассказывались сказки или бывальщины, а если среди собравшихся находился парнишка, который умел читать и было что читать, то он, пристроившись у самой лампочки, читал вслух для всех.

Таким чтецом в усадьбе на берегу Даугавы стал маленький Андрей. Читал он главным образом календари, которые в истории латышской культуры сыграли, пожалуй, бóльшую роль, чем у какого-либо другого народа. Столетиями в усадьбе крестьянина знали главным образом три книги — Библию, духовный песенник и календарь. К календарям прилагалась довольно объемистая литературная часть, где печатались занимательные рассказы, в основном переведенные с немецких лубочных изданий. Но даже эта скудная духовная пища была необходима людям, жизнь которых ограничивалась пределами усадьбы. Эти рассказы наводили на мысль, что может быть и другой мир, кроме хуторской бедности и узости.

Тогда-то и родилась в душе юноши первая мечта — вырваться, уйти от деревенской нищеты. Но как?

Был только один путь — труд. Было только одно средство — труд. Труд. Труд. Труд.

В семье Упитов было два сына. В бедном крестьянском хозяйстве нет иного выхода, кроме использования детского труда. Работа от зари до зари. Книгу можно раскрыть, только урвав время от скупого полуденного отдыха. Почти до середины девяностых годов Андрей Упит вел упорную борьбу за существование. Не раз казалось, что схватка проиграна. Но вновь собраны силы и борьба продолжается. Казалось, у деревенской нищеты тысячи рук, которые крепко держат человека и гнут его к земле. Эту силу надо было преодолеть.

Но юноша упрямо тянется к знаниям, хотя тяжкий крестьянский труд забирает очень много времени. Еще в волостной школе он делает первые попытки писать, сочиняя рассказы по образцам, вычитанным в календарях.

Хотелось видеть что-нибудь и напечатанным. Он записывает пословицы и поговорки своей местности, посылает в газету — и их публикуют.

Стимул возрастает.

В 1896 году ему кажется, что уже можно рискнуть и совершить решающий поворот в жизни.

Мать кладет в чистую холщовую торбу каравай хлеба, немного масла и кусок сала. Это на дорогу. Андрей Упит отправляется в Ригу

сдавать экзамен на звание учителя. Вроде бы знаний, полученных путем самообразования, должно хватить.

Хватило.

Андрей Упит получает учительские права и начинает работать.

* * *

Середина девяностых годов, когда Упит делает первые шаги в литературе,— сложное время в истории Латвии.

История латышского народа отмечена той особенностью, что национальная культура, в том числе и литература, смогла начать развиваться только после отмены крепостного права (1817—1819). Немецкие бароны фактически превратили весь латышский народ в своих крепостных. В этих условиях национальная культура могла проявляться только в сфере народного творчества — фольклора. Однако в прибалтийских губерниях капитализм развивался быстрее, чем в остальных губерниях Российской империи. В этих условиях латышскому народу пришлось столкнуться в своей борьбе с тремя главными противниками — русским самодержавием, немецкими помещиками и национальной буржуазией, которая после отмены крепостного права быстро сформировалась.

Характерно и то, что латышский пролетариат формировался главным образом из крестьянства, и привязанность к родным усадьбам, к крестьянскому труду прочно держалась в его сознании. Не случайно, имея в виду первый латышский пролетариат, Андрей Упит назвал его «закопченными в фабричном дыму землеробами».

Одновременно с классовым расслоением общества происходит и дифференциация интеллигенции. В среде учащейся латышской молодежи в девяностые годы возникает активная группа прогрессивно мыслящих людей, которые в поисках ответа на выдвинутые жизнью вопросы приходят к марксизму и, последовательно штудируя его, овладевают марксистским мировоззрением. Они группируются вокруг газеты «Диенас Лапа» и в дальнейшем входят в историю латышской общественной мысли под названием «новое течение».

Свое основное назначение «новотеченцы» видели в овладении марксизмом и в ознакомлении общества, особенно пролетариата, с идеями социал-демократии. Наиболее передовые из «новотеченцев» становятся первыми организаторами нелегальных марксистских рабочих кружков. Из них же впоследствии вырастают руководители социал-демократической партии, такие, как соратник В. И. Ленина и глава Советской Латвии в 1919 году П. Стучка, Фр. Розинь, поэт Я. Райнис, литературный критик Я. Янсон-Браун, и другие.

Большое значение «новотеченцы» придавали литературе. У этой группы было много последователей среди писателей и общественных

деятелей, и под их руководством в латышской литературе образовалось прогрессивное крыло, во главе которого стояли Райнис, Вейденбаум и другие.

Особую роль в борьбе «новотеченцев» с силами реакции играла литературная критика, которая именно в этот период переросла узкие профессиональные рамки и стала мощным оружием, с помощью которого отстаивались прогрессивные идеалы.

Самый бурный период борьбы «новотеченцев» приходится на первую половину девяностых годов. В 1897 году царское самодержавие разгромило «новое течение». Многие его деятели (Райнис, Стучка, Янсон-Браун и другие) были арестованы и сосланы. Такая же судьба постигла и руководителей нелегальных рабочих кружков.

Но дело, начатое «новотеченцами», продолжается. Популяризацию революционных марксистских идей берут на себя подпольные кружки, и труд их увенчивается созданием в 1904 году социал-демократической партии.

Однако Андрею Упиту еще было трудно ориентироваться в сложных социальных процессах. Сам писатель позднее, вспоминая об этом периоде своей жизни, отмечал:

«Приходилось много читать о склонности к художественному творчеству еще в ранней юности, о всяком там вдохновении, проблемах, исканиях и тому подобных высоких материях. Должен признаться, что в моих первых пробах пера всего этого не было и в помине. У меня было сильное желание что-нибудь написать, но для чего — этого я бы не сумел объяснить... Сам этот процесс меня нисколько не радовал; он требовал усидчивой и кропотливой работы. Только закончив рассказ, я испытывал удовлетворение, что вот сумел что-то создать, и это было самым большим стимулом к дальнейшим пробам... У латышских писателей я мало чему мог научиться... Лучшей литературной школой мне служила литература других народов. Конечно, мне самому трудно определить, в какой мере я учился у своих любимых писателей, например, по роману — у Толстого, Достоевского, Золя и Флобера, по новелле — у Чехова, Анатоля Франса, Мопассана и Пьера Милля, по драме — у Горького, Ибсена, Герхарта Гауптмана и Бернарда Шоу. Знаю только, что влияние они оказали сильное и неизгладимое. Крайне важное значение в моем развитии имеет изучение истории и теории искусства и эстетики. Это в первую очередь приучало меня серьезно литературно мыслить, следить за полетом вдохновения, искать для передачи каждого оттенка особого выражения в специальной конструкции предложения и порядке слов» [1].

---

[1] А. Упит, Собр. соч. в 12-ти томах, т. 1, Гослитиздат, М. 1956, стр. 121—123.

Если в начале своей творческой деятельности Андрей Упит еще не смог подняться до литературно-публицистической практики «новотечен-цев», то после революционного подъема 1905—1907 годов он становится главным продолжателем их традиций.

Из собственных слов писателя видно, что его ранняя литературная деятельность развивалась по двум направлениям — он писал... писал... и учился... учился, мучительно стараясь постичь тайны художественного мастерства.

Постепенно из приходского учителя он становится крупным специалистом по литературе и эстетике; из малоизвестного автора вырастает в подлинного мастера художественного слова.

Рассказы и новеллы, созданные в этот период — это первые серьезные творческие достижения писателя. Лучшие из них составили двухтомник «Маленькие комедии» (1909—1910), которые открывались циклом о «маленьких людях» (первый рассказ датируется 1901 годом).

В интерпретацию проблемы «маленького человека», которая получила такое широкое развитие в мировой и, в частности, в русской литературе, лытышский прозаик вносит нечто особое и новое. «Маленький человек» Андрея Упита не просто забитый труженик, которому писатель выражает свое сочувствие и свои симпатии, он — мелок по своему характеру и своим устремлениям, старается выбиться в «большие», приспособиться к тем, кто сумел за счет других попасть «на верх». В душе подобного «героя», как в кривом зеркале, отражается нелепость буржуазного образа жизни. Разумеется, для раскрытия этого характера самая подходящая интонация — сатирическая. Видимо, поэтому писатель в своих первых рассказах и новеллах довольно широко пользуется средствами сатиры, пытаясь вскрыть всю никчемность и бессмысленность жизни в условиях капиталистического строя (новелла «Сердце» и другие). Именно в этих рассказах больше всего чувствуется влияние Чехова.

Сам писатель, вспоминая позднее об особенностях этого периода своей литературной деятельности, отмечал:

«В рассказах Чехова я обнаружил нечто родственное своим «Маленьким комедиям»... Как и его, меня привлекали эти мелочи будничной жизни, своеобразие поступков и черты характера искалеченного ею человека, которые как бы отдельными живописными мазками характеризуют картину всеобщей спешки конца 90-х и начала 900-х годов... Я не стал учеником и подражателем ни Чехова, ни Горького, но должен признать, что для моего идейного и художественного роста они дали больше, чем любой из тех многих десятков западноевропейских и американских прозаиков, с которыми я познакомился за пятьдесят лет своей писательской деятельности».

Новеллы и рассказы, объединенные в сборнике «Маленькие комедии» (части первая и вторая), основаны на конкретном материале жи-

тейских наблюдений и дают широкую галерею типов. Именно в этих произведениях начинает проявляться мастерство писателя, формируется его своеобразная творческая манера.

В рассказах, в основе которых лежит определенное и ограниченное во времени событие, психологическое развитие характера героя тесно связано с сюжетным ходом. В тех же произведениях, где внимание писателя сосредоточено на передаче внутренних переживаний человека, сюжет мало разработан. Это различие в принципах художественного построения дало основание критике говорить о двух типах рассказов и новелл Упита — сюжетных и психологических. К последним, с известными оговорками, можно было бы отнести и новеллы-портреты.

Подобное различие творческих приемов соблюдалось писателем довольно долго. Только в двадцатых годах Упит стал сознательно синтезировать эти различные принципы построения произведений.

С 1908 года начинается новый этап творческих исканий Андрея Упита, который продолжается до 1915 года.

Прежде всего бурные события 1905—1907 годов помогли писателю найти путь к революционному пролетариату. Он овладевает марксистским мировоззрением и навсегда связывает свою общественную и литературную деятельность с революционной борьбой пролетариата. Оставаясь на позициях последовательного критического реализма, Андрей Упит становится обличителем капиталистического общества.

Сознавая себя уже достаточно зрелым писателем, Андрей Упит в 1908 году оставляет учительскую работу. Для этого периода характерна его чрезвычайная творческая активность. В прямом смысле слова не проходит и дня, чтобы в каком-нибудь периодическом издании не появлялась публицистическая или литературно-критическая статья, подписанная Андреем Упитом (не считая публикуемых в периодике рассказов).

После поражения революции 1905—1907 годов реакционные силы перешли в открытое наступление. Казалось, что прогрессивные писатели уже не смогут активно противостоять различным реакционным, декадентским влияниям. Но лагерь реакции заблуждался. Во главе прогрессивной литературы встал Андрей Упит, выдвинувшийся к этому времени в ряды видных латышских критиков.

Поскольку печататься в буржуазной прессе почти не было возможности, по инициативе Упита был создан прогрессивный ежемесячник «Изглитиба» («Просвещение»), привлекший внимание общественности в первую очередь своими литературно-критическими статьями. После закрытия этого журнала в 1910 году Упит создает новый, в идейном отношении близкий предыдущему печатный орган «Домас» («Мысли»), который просуществовал до начала первой мировой войны и потом возобновился уже во время буржуазной Латвии. Параллельно с этими изданиями Упит в 1911 и 1912 годах составляет и редактирует два альма-

наха «Вардс» («Слово»), две трети которых занимали литературно-критические статьи.

Вокруг журналов «Изглитиба» и «Домас» и альманахов «Вардс» группировались латышские марксистские литературные критики, среди которых самыми деятельными и продуктивными были Андрей Упит и Янсон-Браун. Их выступления в периодической печати разоблачали декадентов и других реакционно настроенных литераторов.

Не случайно в начале двадцатых годов уже в условиях буржуазной Латвии, когда Андрей Упит был арестован и через некоторое время освобожден из тюрьмы, один из реакционных писателей, имея в виду главным образом его публицистическую и критическую деятельность, писал: «Берегитесь! Лев снова выскочил из клетки!»

В этот период Андрей Упит публикует ряд обширных теоретических работ, разрабатывающих актуальные литературные и эстетические проблемы, а также выступает с краткими или подробными рецензиями, откликаясь буквально на каждую книгу латышского писателя. Особенного внимания заслуживает серия рецензий «Мотыгой по чертополоху», в которых автор широко использовал средства сатиры и публицистики.

«Между моими беллетристическими, литературно-критическими и публицистическими произведениями нет принципиальной разницы, они разделяются по жанрам, но их объединяет общая идея, тенденция, общественная или политическая цель»,— писал он позднее в предисловии к XVIII тому своего собрания сочинений, изданного на латышском языке.

Если обратиться к публицистическим и литературно-критическим произведениям Андрея Упита тех лет, то можно с уверенностью сказать, что одного этого уже вполне достаточно, чтобы оставить заметный след в истории своей национальной литературы. Но, кроме активных выступлений в периодической печати, он уделяет большое внимание и созданию романов. Достаточно только перечислить их названия, чтобы составить представление о необычайно широком творческом диапазоне латышского писателя. За семь лет А. Упит опубликовал пять крупных прозаических полотен: «Новые истоки» (1908), «В шелковой паутине» (1912) (этими романами открывается цикл «Робежниеки»), «Женщина» (1910), «Золото» (1914), «Ренегаты» (1915), в которых рисуется широкая картина эпохи с мастерски вылепленными персонажами. В этот же период писатель обращается и к драматургии, создав трилогию «Зов и отклик», «Один и многие» и «Солнце и пар», и выпускает единственную книгу лирических стихов «Маленькие драмы» (1911).

С 1908 по 1915 год Андрей Упит написал довольно много рассказов и новелл (сатирический цикл «Сверхчеловеки» (1909), сборники «Тревога» (1912) и «В страдную пору» (1915), хотя в этот период малым прозаическим жанрам он уделял значительно меньше внимания, чем романам.

Сатирический цикл «Сверхчеловеки» («Homo sapiens», «Рейнис и Юла, или Исправленный Шекспир» и «В сферах вечности») по своей идейной направленности занимает своеобразное место в творчестве Упита. Все три сатирические новеллы, направленные против декадентов, сыграли большую роль в борьбе с реакционным буржуазным искусством. Но особенно популярны стали они после того, как писатель переделал их в одноактные пьесы. Не было, наверно, ни одной любительской сцены в Латвии, где бы не ставились эти драматические миниатюры.

Сборник «Тревога» пронизан тем ощущением волнения, которое было вызвано революцией 1905—1907 годов у представителей различных общественных групп. Сами революционные события не описаны, а служат лишь фоном. Все внимание автора переключено на внутренние переживания человека. Поэтому весь этот прозаический цикл состоит как бы из ряда психологических портретов. В различных слоях общества это тревожное волнение проявляется по-разному: реакционного учителя охватывает страх («Тревога»), в мирную крестьянскую жизнь революционные события вносят драму, вырывая из лона семьи ее членов («На мостках»), бурные социальные конфликты в других случаях переплетаются с индивидуальными судьбами героев («Кошмар»).

Особое место в творчестве Андрея Упита занимает его сборник «В страдную пору» (1915), о котором он писал много лет спустя:

«Некоторые новеллы я демонстративно пытался написать согласно своей новой эстетической теории, показать, что, кроме обычной и затасканной психологии любовных переживаний и культивируемой декадентами эротики, существуют и другие человеческие чувства и переживания, достойные изображения («Хлеб»). В одной из новелл («Ивняк») так же подробно, как обычно в рассказах изображают всякие любовные перипетии, я описал повседневный труд обыкновенного землекопа, изобразил физические ощущения и переживания, вызванные тяжелым трудом. В этом направлении работу не считаю законченной. Надеюсь к ней возвратиться и попытаюсь дать более широкое полотно, когда выясню те психологические и эстетические проблемы, которые меня занимают последнее время. Мне кажется, что тут кроются основы дальнейшего развития и претворения в жизнь социально-реалистического искусства» [1].

В этот период Андрей Упит много внимания уделяет вопросам теории и истории литературы, в частности, пытается обосновать свое понимание специфики художественных особенностей жанра новеллы, классическими признаками которой он считает прикрепленность изображения к определенному событию, напряженность фабулы, концентрацию выразительных средств. Эти основные особенности жанра прослежи-

[1] А. Упит, Собр. соч. в 12-ти томах, т. 1, Гослитиздат, М. 1956, стр. 117—118.

ваются во всех лучших новеллах Упита. Но писатель не считал литературный жанр застывшим понятием и поэтому часто и охотно экспериментировал.

Сам Упит утверждает, что писать новеллы он начал тогда, когда работал над произведениями, составившими сборник «В страдную пору». А все небольшие прозаические сочинения, написанные ранее, именует рассказами, хотя среди них встречаются произведения чисто новеллистического характера.

Первая мировая война парализовала всю культурную жизнь латышского народа, в том числе и литературу. Уже летом 1915 года германская армия оккупировала половину латвийской территории — Курземе и Земгале. Линия фронта прошла по Даугаве. Рига — центр латышской культурной жизни — стала прифронтовым городом. Из нее эвакуировали фабрики, школы, учреждения, типографии вместе с рабочими и обслуживающими работниками. Прекратили свою деятельность все издательства и большинство периодических изданий. Интеллигенция рассеялась по Северной Видземе, тогда еще не оккупированной, а большая часть перебралась в Россию.

Перед тем как германская армия заняла левобережную территорию Латвии, царские власти приказали эвакуироваться оттуда всему населению. Около шестисот тысяч человек, терпя страшную нужду и лишения, пустились в странствия. Все центры России были переполнены латышскими беженцами.

Первая мировая война прервала и литературную деятельность Андрея Упита. Чтобы как-то существовать, он работает в прифронтовой полосе на строительстве укреплений — табельщиком.

Во время Февральской революции начинается активная политическая деятельность Андрея Упита. Его выбирают в Рижский Совет рабочих депутатов. Но этот период длится недолго. Осенью 1917 года германская армия занимает Ригу, а зимой 1917—1918 годов почти всю территорию Латвии. Оккупационные власти беспощадно подавляют любые попытки латышского народа реализовать завоевания Октябрьской революции.

Оккупанты посадили Андрея Упита в тюрьму. Там он написал сборник новелл «В оттепель», где описываются события, происходившие после Февральской революции. (Сборник смог выйти только в 1919 году.)

После освобождения из тюрьмы Андрей Упит, испытывая тяжелые лишения, живет в своей родной волости.

Осенью 1918 года происходят два события, которые смогли внести изменения в жизнь латышского народа. Это — революция в Германии и капитуляция Германии, завершившаяся Версальским миром. Но на территории Латвии политические обстоятельства чрезвычайно усложнились.

Для того чтобы в результате революции германская армия не покинула Латвию и не дала народу возможность установить здесь Советскую власть, в Версальский мирный договор был внесен особый пункт — немецкие военные силы должны остаться в Латвии для несения полицейских функций. С этой целью была создана специальная оккупационная армия под командованием фон дер Гольца, которую поддерживала и латышская буржуазия. По инициативе и при военной поддержке империалистических сил в ноябре 1918 года была провозглашена буржуазная республика. Но красные латышские стрелки, очутившиеся в России и сохранившие верность Советской власти, начали борьбу за Советскую Латвию, увенчавшуюся успехом. В первые дни января 1919 года была освобождена Рига и установлена Советская власть. Оккупантов удалось изгнать почти со всей территории. Только Лиепаю с узкой полосой вдоль моря все еще удерживала армия фон дер Гольца.

Сразу же после освобождения Риги и установления Советской власти началось интенсивное революционное преобразование жизни. Хотя разрушения, вызванные войной и оккупацией, были огромны, народ с энтузиазмом включился в борьбу с разрухой. Начался и новый расцвет культуры. Правительство Советской Латвии пригласило Упита возглавить Отдел искусств Народного комиссариата просвещения, в ведении которого находились все области искусства и издательское дело. По инициативе этого отдела были основаны новые культурные заведения — театры, консерватория, Академия художеств, художественные музеи и т. д. Начал выходить ряд периодических изданий, в которых Андрей Упит публикует статьи о задачах и характере нового пролетарского искусства, последовательно отстаивая принципы реализма. Эти статьи спустя год составят книгу «Пролетарское искусство».

Однако обстановка обострялась. Империалистические силы получали все новые и новые подкрепления. Наконец получившая значительную военную помощь армия фон дер Гольца перешла в контрнаступление, и уже в мае месяце красные латышские стрелки были вынуждены оставить Ригу. Еще до осени бои проходили в восточных районах Латвии, но и оттуда пришлось отойти.

Силам империализма удалось разгромить Советскую Латвию и на двадцать лет утвердить власть буржуазии.

После отступления красных стрелков из Латвии Андрей Упит какое-то время находится в Великих Луках, а потом в Москве. В это время в московских латышских изданиях печатаются некоторые его произведения. После мирного договора Советского правительства с буржуазной Латвией, в связи с начавшейся реэвакуацией беженцев первой мировой войны, в 1920 году вернулся на родину и Андрей Упит.

Сразу же после переезда границы Упита арестовали, и ему грозил военный суд. Демократически настроенные писатели и художники на-

чали борьбу за его освобождение. К ним присоединили голос широкие народные массы.

Правящие круги буржуазной Латвии чувствовали себя еще не настолько сильными, чтобы не считаться с требованиями народа. После нескольких месяцев тюрьмы писателя освободили. И хотя он находился под полицейским надзором, у него все-таки появилась возможность снова заняться литературным творчеством.

Жизнь в буржуазной Латвии проходила в условиях острой классовой борьбы. Коммунистическая партия была загнана в глубокое подполье, но она направляла все прогрессивные силы к одной цели, чтобы в стране была восстановлена Советская власть. Борьба эта длилась до 1940 года.

В истории буржуазной Латвии отчетливо прослеживаются два периода. Первый — с 1919 по 1934 год, когда правительство еще прикрывалось фальшивой маской буржуазной демократии. В это время прогрессивные силы могли еще более или менее открыто выражать свои взгляды. Литература в это время развивается довольно активно.

В 1934 году происходит фашистский переворот и ликвидируются самые жалкие остатки буржуазно-демократической «свободы». Произведения прогрессивно настроенных писателей были изъяты и занесены в список запрещенных книг.

«Это были самые отвратительные годы в моей писательской деятельности,— вспоминает Упит.— Мои книги, проникнутые социалистическими «настроениями», выбрасывались из библиотек, мои пьесы не осмеливался ставить ни один театр. Мое имя старались вычеркнуть из латышской литературы».

Трудные обстоятельства сказались на литературной работе Андрея Упита. Основные произведения писателя были написаны и опубликованы до 1934 года. В условиях фашизма его книгам приходилось преодолевать огромные препятствия. Но авторитет Андрея Упита был слишком велик, чтобы фашистский режим мог полностью приостановить его литературную деятельность.

Зимой, живя в Риге, потом в своей родной деревне, Упит вновь предается тому же интенсивному труду, который характерен был для него до первой мировой войны. Рабочий день писателя начинается в три-четыре утра и длится до позднего вечера.

О необыкновенно широком размахе его творческих возможностей свидетельствует даже простой перечень названий произведений. В это время создаются романы: «В преддверии грома» (1922), «По радужному мосту» (1926), «Под коваными каблуком» (1928), трилогия «На грани веков» (1937—1940), «Улыбающийся лист» (1937), «Тайна сестры Гертруды» (1939); цикл «Робежниеки» дополняется новыми романами — «Северный ветер» (1921), «Возвращение Яна Робежниека» (1932), «Смерть Яна

Робежниека» (1933), «Тени былого» (1934). За исключением трилогии «На грани веков», рисующей жизнь латышского народа в XVII—XVIII веках, все романы посвящены проблемам современности и в известной мере являются энциклопедией народной жизни Латвии конца XIX и начала XX века.

Наряду с романами создается целый ряд пьес. Особенное значение имеют его сатирические комедии, остро бичующие пороки буржуазного общества. Самые примечательные среди них: «Купальщица Сусанна» (1922), «Муж вдовы» (1925), «Полет чайки» (1926), «Причины и следствия» (1927), «Здоровое тело» (1927), «Заколдованный круг» (1929), «Цветущая пустыня» (1930), «Победа Ешки Зингиса» (1933). Появляется начало исторической трилогии — трагедии «Мирабо» (1926) и «Жанна д'Арк» (1927). (Последняя по времени написания часть трилогии — «Спартак» была создана в годы Отечественной войны.)

Кроме того, Андрей Упит редактирует литературный отдел журнала «Домас», ведет большую работу по воспитанию молодых прогрессивных писателей (после утверждения фашистского режима журнал был закрыт), создает теоретические труды — «История латышской письменности», «История романа», печатает много критических и публицистических очерков.

Хотя все эти работы свидетельствуют о полной зрелости писателя,— именно в жанре новеллы достигает он вершин мировой классической литературы.

Написанные за время буржуазной Латвии новеллы составляют шесть сборников: «Ветров противоборство» (1920), «Щепки в омуте» (1921), «За вратами рая» (1922), «Метаморфозы» (1923), «Голая жизнь» (1926), «Рассказы о пасторах» (1930), которые в известной мере и заключают разработку этого жанра писателем, ибо в дальнейшем новелла уже не занимает такого места в его творчестве.

Каждый сборник в идейном и тематическом отношении представляет собой как бы законченный цикл. Разумеется, единство замысла и осуществления предполагает и единое стилистическое решение. Есть сборники с последовательно выдержанной стилистической манерой («Ветров противоборство»), но есть и такие, где даже в этом отношении имеется некоторое разнообразие. Характерный пример — книга «Рассказы о пасторах», которая объединена антирелигиозной темой. Некоторые новеллы — «Безбожник», «Искушение отца Страутмала» и другие написаны с резким сарказмом. Но порой писатель прибегает к иному художественному решению. Он показывает и духовную трагедию самих священников («Жемчужина из перстня», «Лунные тени»). Понятно, что в данном случае автору требуются и иные стилистические средства, другая тональность. Каждая новелла, по-своему трактуя родственную тему, в конечном счете способствует разностороннему решению единой

проблемы всего прозаического цикла. Однако самостоятельность каждого произведения настолько велика, что сборники все же не превращаются в «романы в новеллах».

Уделяя темам современности главное внимание, Андрей Упит в эти годы довольно широко обращается и к истории. Наряду с романами и трагедиями историческая тематика довольно широко входит и в новеллы. Бо́льшая часть произведений, составляющих книгу «Голая жизнь», построена на историческом материале, который сам по себе не являлся для писателя самоцелью. Описание событий далекого прошлого не было уходом от решения актуальных вопросов современной жизни, а являлось лишь средством для более широкого и глубокого проникновения в суть социальных конфликтов, в которых с наибольшей полнотой проявляется человеческая личность, ее сложный и напряженный вну́тренний мир.

Однако при всем идейно-тематическом единстве прозаических циклов каждая новелла совершенно самостоятельна и не утрачивает своей художественной силы даже тогда, когда целостность сборника нарушена. Идейно-тематическое единообразие — это определенный творческий прием автора. В целом все эти новеллы раскрывают огромное богатство сложного и противоречивого духовного мира человека.

Андрею Упиту удалось доказать, какое большое значение для художественного познания жизни играет малая эпическая форма. Так же как новеллы Чехова или Мопассана, маленькие новеллы латышского писателя становятся великими документами человеческой души.

В 1940 году была свергнута фашистская диктатура, и в Латвии вновь утвердилась Советская власть. Латышская литература могла наконец встать на путь социалистического реализма. Ей было у кого учиться и на кого равняться. В то же время огромное значение имели и те реалистические традиции, которые долгие годы складывались в условиях антагонистического общества. И главную роль в формировании этих традиций играло творчество Андрея Упита, который еще в условиях буржуазной Латвии последовательно отстаивал принципы реалистической литературы. Сам писатель назвал свой творческий метод досоветского периода критическим реализмом с социалистической тенденцией.

Советская власть в Латвии просуществовала только год. Этот сравнительно небольшой отрезок времени у Андрея Упита, как и у многих других писателей, был занят главным образом литературно-организаторскими обязанностями. В качестве председателя правления Союза советских писателей Латвии Андрей Упит в новых условиях осуществляет основные мероприятия по идейной перестройке латышской литературы.

Летом 1941 года Латвию оккупировали фашистские орды. Андрей Упит эвакуировался вместе с советским активом. В Кирове образовался один из центров латышской интеллигенции. Километрах в двадцати от Кирова находится деревня Кстинино, а неподалеку от нее дачный район. Здесь в небольшом деревянном домике провел напряженные и суровые годы Отечественной войны Андрей Упит. Но здесь, в тиши елового бора, писатель не был оторван от великих событий. Он редактирует литературное приложение к латышской газете «Циня», пишет публицистические статьи, направленные против фашизма. Трудовой распорядок его дня остался тем же, каким он сложился за долгие годы.

Мне довелось попасть с фронта в Кстинино. В первую же ночь я заметил вдалеке не то огонек, не то звездочку. Вторая ночь — то же самое.

— Что это у вас тут за странная звезда, не поднимается и не опускается? — спросил я у своих товарищей по комнате.

Мой вопрос вызвал веселый смех.

— Никакая это не звезда. Это же окно Андрея Упита. Каждую ночь в три часа там загорается свет, начинается рабочий день писателя...

И здесь — на берегу далекой Вятки — ни на минуту не останавливалось перо Андрея Упита. Здесь был создан его роман «Земля зеленая» (1945), который ныне хорошо знает русский читатель и читатели многих других народов; были написаны историческая трагедия «Спартак», новеллы «Клав Брун», «Гостиница у Слиницы», «Потомок Роланда» и другие произведения.

После освобождения Латвии от фашистской оккупации литературная деятельность Андрея Упита продолжается в Риге. Хотя груз лет и заметно согнул его стройную фигуру, рука его все также крепко держит перо. Об этом говорит роман «Просвет в тучах» (1951), обстоятельная теоретическая книга «Вопросы социалистического реализма в литературе» и другие. Долгие годы он вел кафедру латышской литературы в Латвийском университете. С основанием республиканской Академии наук он становится директором Института литературы, возглавляет Союз писателей республики.

Теперь, когда почтенному писателю уже за девяносто, часть этих обязанностей он передал своим ученикам.

Почти пятьдесят лет назад, в трудном 1923 году, Андрей Упит в своих автобиографических заметках не без иронии заметил: «Где и в каких условиях мне лучше всего работать? Что на это скажешь? Некоторые восторженные стихотворения я сочинял, замерзая и голодая, иную ценную страницу написал на трясущейся, прыгающей полке товарного вагона или сидя возле круглого иллюминатора пароходной каюты. А иная неудачная работа появилась в теплой комнате за удобным письменным столом. Я не знаю, влияют ли времена года и тому подобные

условия на интенсивность литературной работы. Мне на своем веку так редко удавалось выбирать место, время, обстановку и тому подобные удобства. Что все это имеет значение — в этом не сомневаюсь. Но знаю одно: писатель есть писатель всегда и везде, или он не писатель» [1].

Таким писателем в самом высоком смысле этого слова был и остается Андрей Упит. Написано им необычайно много. По сути дела целая библиотека. Путь от скриверского пастуха до народного писателя и академика, Героя Социалистического Труда прошел в неустанном труде на благо своего народа и человечества.

АРВИД ГРИГУЛИС

---

[1] А. Упит, Собр. соч. в 12-ти томах, т. 1. Гослитиздат, М. 1956, стр. 126—127.

НОВЕЛЛЫ

Апарские господа еще спят.

Зимнее воскресное утро. Светает медленно, серые тени не сразу спадают и никнут за заснеженными деревьями парка.

Снег шел почти всю ночь, и потому не только деревья в парке, но и крыши служб, двор, изгородь, бочка с замерзшей водой у колодца — все покрыто толстым слоем белого пушистого снега. Все предметы приняли непривычные очертания. Кажется, что крыша господского дома прогнулась под тяжестью, которую на нее навалили. Увитый плетями плюща балкон превратился в огромный сугроб. На колодезном журавле — белая шляпа с опущенными полями.

Где-то, кажется за парком, кто-то едет. Поскрипывает трущаяся об оглобли дуга, хрустит под полозьями рыхлый снег.

Каркая, взлетают над деревьями три вспугнутые вороны, и одна за другой тут же опускаются. Издалека слышно, как с сучьев тяжело обрушивается снег.

Небо заволокло тучами — вверху оно синевато-серого цвета, без единого светлого пятнышка. Только легкий, тонкий туман отделяется от туч и медленно покрывает заснеженную землю. Верхний слой снега постепенно сыреет и отваливается от предметов тяжелыми комьями. С крыш тихо падает капель.

Господа еще спят.

За хлевами и конюшнями в батрацкой просыпается жизнь. В длинной пристройке то кашлянет кто-нибудь, то зевнет, то высморкается. В маленьком тусклом оконце появляется слабый свет, слышны удары топора — это колют лучину и разводят огонь в печи. Из заснеженной трубы медленно поднимается белый дымок.

Закопченная, без петель дверь со скрипом отворяется. Мужчина в исподнем высовывает на мгновенье голову, но тут

же прячется. Перед домом не видно больше ни высокой кучи навоза и мусора, ни желтых пятен на снегу перед всеми четырьмя дверьми — все чисто, ослепительно бело.

Шум постепенно усиливается. Слышится детский плач, женские голоса. Раздается звонкая пощечина — знак того, что в батрацкой день уже начался. Звучит отрывистый грубый мужской голос, и шум на минутку стихает, чтобы возобновиться в десятках вариаций.

Отворяются разом две двери, из каждой выходит женщина с коромыслом на плечах. Одной рукой они поддерживают коромысло, другой — подолы поношенных юбок и бредут к колодцу. Снег доходит до самых колен, набивается в башмаки. Голые икры становятся мокрыми...

Выбегает стайка ребят с заспанными, неумытыми рожицами, босиком — кто в одной рубашонке, кто без шапки. С криком и смехом бросаются в сугроб, вязнут в нем по самую шею, а кто кидается туда вниз головой, болтая голыми ножонками, взметая снежные вихри. Крик, смех, плач... Но вот несколько женщин подбегают к ребятишкам. Начинается брань, слезы... Зимние радости!

Из отворенных дверей батрацкой струится спертый воздух и запах подогреваемых к завтраку щей. В одной из комнат жарят мясо. Огонь, потрескивая, лижет жирную сковородку. Синеватый чад вырывается в разбитое, заклеенное промокшей бумагой оконце.

Уже совсем светло. Солнце, может быть, и встало, а может — еще нет... Теперь уже отчетливо видны закопченные, покрытые плесенью, покосившиеся, потрескавшиеся и облупленные стены батрацкой. На снегу валяются обглоданные кости, навоз.

А господа все спят.

В большом доме еще незаметно ни малейшего признака жизни. Медленно падает с крыши капель, и внизу на снегу образуется причудливая сквозная дорожка. Девушки в кухонной пристройке уже на ногах. Проводив своих женихов, они причесываются, умываются и делятся друг с другом ночными переживаниями. Все это тихонько, шепотом, чтобы не потревожить господ, которые еще спят крепким сном за девятью дверьми, за закрытыми ставнями и двойными портьерами.

Позавтракав, жены батраков уходят к скотине, а детишки бегают по двору. Мужчины собираются в кучерской — большой пустой комнате.

Комната эта сохранилась еще со времен крепостничества. Стены внутри, как и снаружи, выщербленные, из серого известняка. На потолке огромные балки, утоптанный земляной пол, как каменный. В комнате всего два крохотных оконца в четыре стекла и всегда царит полумрак, так что дети боятся сюда заходить в одиночку. Вдоль стен на чурбаках доски для сидения, а перед ними длинные столы из неструганых досок. Вся обстановка комнаты сохранилась еще со времен барщины, и в этом призрачном сумраке кажется, что на столах еще лежат серые, грубые необтерханные мешочки барщинников, что в темноте поблескивают желтые постолы и зеленовато-серые пеньковые оборы крестьян, уходящих косить или возить навоз. А там, в углу, у самой стены — уж не пучок ли зеленых и красных розог из лещины и лозы?

Но анарские батраки заходят сюда поспешно, с торжественными лицами, и по четыре садятся за столы: двое по одну и двое по другую сторону. Столы исписаны и исчерканы углем. Пол заплеван, усыпан пеплом и окурками... Видать, еще вчера вечером здесь поработали — как и каждую субботу — далеко за полночь. И сегодня работы хватит на целый день. Пока жены, обрядив скотину, сидят за книгами проповедей и псалмов или по-воскресному переругиваются где-нибудь в углу, мужья в кучерской играют в карты.

Шестнадцать мужчин, составив четыре партии, дуются в карты. В первых двух партиях играют просто так, а остальные две — на спички. Звучно хлещут засаленными, пахнущими жиром и потом картами по столу. Каждый ход сопровождается особым жестом и восклицанием. Скрипит уголек, отмечая выигрыш или проигрыш. Споры, брань, крики, смех...

Напротив дверей, в той партии, где играют на спички, сидят Вилцинь, Плаука, Лиелайс и Бадер.

Вилцинь, маленький, кругленький человечек с черными волосами, с черной пушистой бородкой и карими глазами, сидит прямо, не шевелясь, точно ему приказали не двигаться, и смотрит в свои карты, словно стараясь вычитать в них бог весть какую тайну. В его круглом лице нет ни жизни, ни движения, на нем застыло выражение безграничного равнодушия, а карие глаза всегда смотрят как-то жалобно. Он никогда не был разговорчивым, а последние три недели, с тех пор как умерла его жена и Вилцинь остался с двумя маленькими детьми, он стал еще молчаливее. На нем один жилет, грубая полотняная рубаха, надетая еще в день женины похорон,— теперь она похожа на мешок из-под мякины. Играет он неумело, без всякого рас-

чета, часто проигрывает и достает из кармана пригоршни спичек, чтобы уплатить проигрыш. Рядом с Вилцинем сидит его младшая дочка. Вцепившись обеими ручонками в отцовский жилет она болтает ногами и тихо плачет. Умолкает она лишь на минутку, когда отец, полуобернувшись, утирает ей мокрый нос своим рукавом.

Рядом с Вилцинем, навалившись на стол и крепко сжимая в руке карты, сидит Плаука. Он следит свирепым взглядом за партнером, и стоит ему заметить какой-либо непорядок, как он тут же стучит кулаком по столу, ругается и хватается за свою густую рыжую бороду. А когда смотрит на сидящего напротив Бадера, толстые губы его кривит недобрая улыбка.

Между этими людьми что-то есть — не то общая тайна, не то еще что-то, заставляющее одного из них зло ухмыляться, а другого тревожиться. Бадер — вдовец, у него нет ни детей, ни родных. В именье Апари он живет уже восьмой год. Он худой, высохший и весь какой-то кривой, словно березовая хворостина. У него костлявые руки, большие, впалые, беспокойно бегающие глаза. Он видит и замечает все, что происходит за столом, из-за всего волнуется, говорит не умолкая, размахивает руками и вдруг начинает кашлять так, что лицо его наливается кровью и весь он корчится и раскачивается из стороны в сторону. Позади него на полу целая лужа плевков. Вот уже полтора года, как Бадер болен чахоткой, которую мамаша Велкис называет брюшным кашлем и лечит валериановой настойкой и толченым бараньим рогом.

Четвертого игрока — Лиелайса [1] следовало бы назвать «Малым». Он такой маленький и щуплый, что, увидя со спины, никто не сказал бы, что это взрослый человек. И только взглянув на его обвисшие светлые усы и бороду, можно поверить, что это пожилой мужчина. Сидит он скрючившись, как-то боком. Это увечье у него с того раза, как он вез помещичью молотилку и лошади понесли под гору, сбили его с ног, так что колесами ему повредило позвоночник и раздробило правое плечо. От этого Лиелайс кажется еще меньше ростом. Говорит он быстро, заикаясь, а при каждом движении как будто старается уклониться от удара. Лиелайс всю жизнь прожил в имении и считается кандидатом на должность старшего батрака, потому что теперешний старший батрак Лапа собирается уходить.

---

[1] Лиелайс — большой *(латышск.)*.

Но сегодня Лапа еще сидит за столом, где играют на спички. Вот он, схватив колоду, хлещет ею по столу, так что карты разлетаются по всей комнате и игроки, испуганно подняв головы, смотрят в его сторону. Вдобавок Лапа еще ударяет по столу кулаком.

— Чтоб тебя леший побрал! — орет он.— Так и рубаху недолго спустить!

И, вскочив из-за стола, Лапа начинает крупными шагами ходить по комнате. Даже в раздраженном состоянии Лапа не теряет чувства собственного достоинства. Его движения, выражение лица, даже каждая пуговица на пиджаке красноречиво говорят о том, что он получает жалованья на пять рублей больше остальных и что на его долю выпала честь каждое утро и каждый вечер от имени всех работников имения целовать рукав господина барона.

— Рубаху спустить, да...— рычит он, поднимая кулак, словно грозя кому-то. Целых две коробки спичек проиграл он за вчерашний вечер и нынешнее утро. Две коробки спичек — и стоят они столько же копеек! Лапа не сердится на своих партнеров, он сердится на себя, на всю свою жизнь... а может быть, на что другое. Он и сам толком не понимает, но гнев душит его, и ворот рубахи становится ему тесен.

Остальные три партнера с виноватым видом глядят на кучки спичек на столе. Они с удовольствием вернули бы Лапе его долю, но чувствуют и знают, что сердится он не из-за проигрыша и не на них. И вот они сидят, неловко поеживаясь и избегая смотреть друг на друга.

— И что толку...— рассуждает Лапа, разводя руками.— Играй не играй, а все ни с чем, все ни с чем. Этак с ума спятить можно!

— Ты проигрываешь, другой выигрывает,— подтрунивая, вставляет Плаука.

Только он один не взволнован этой сценой и с обычным ожесточением ходит дамой пик.

— Гувернантка! — восклицает он.

— Выигрывает, как же! — обрезает его Лапа.— Сегодня выиграет, а завтра проиграет... И так всегда: все по кругу, все по кругу... А в конце концов — проигрывают все, никто не в выигрыше.

— Это верно, это верно! — соглашаются игроки и почти все смотрят на Лапу.

— Барыня! — Плаука ходит дамой бубен.

— Черт подери, а мы-то что зеваем!..

На лицах игроков написан один и тот же вопрос. Вилциня широко раскрывает глаза, совсем позабыв об игре.

— Господин барон! — Плаука ходит королем и толкает в бок Вилциня.— Крой, чего спишь!

— Господин барон! — передразнивает Лапа.— Как бы все не попрятались под стол, если бы увидели сейчас господина барона. А языком молоть горазды...

— Старший батрак! — кричит Плаука и ходит валетом.

Лапа не слушает его. Он снова ходит крупными шагами по комнате.

— И к чему только эта игра... Просиживаем ночи напролет, не спим... утром встаем невыспавшиеся, с тяжелой головой. Приказчик ругается... Злость, досада... Неприятности.

— Тять, пить...— хнычет дочка Вилциня.

— Проклятая жизнь... Бьешься как рыба об лед, ничего не помогает...— продолжает Лапа.— Словно мальчишки в сугробе: возятся, дерутся — и все на том же месте...

— Верно...— вставляет какой-то старик и вздыхает.

Но, найдя сочувствие и одобрение, Лапа мало-помалу опять превращается в бывшего старшего батрака имения Апари. Он бросает свои недоконченные рассуждения и напускает на себя прежнюю самоуверенность.

— Вот так вы и живете, не соображая для чего... Безо всякого понятия... Настоящие скоты!

Но на этот раз батраки задеты за живое.

— Ну, ну! — восклицает несколько сердитых голосов.— Ты тут не дури... Как бы еще не попало...

— Замолчи!.. Видали, каков — ругать других!.. Иди играть... Садись!

Лапа садится с видом человека, сделавшего в присутствии людей что-то нехорошее, и теперь ему стыдно за себя, за свой поступок, стыдно и повиниться. Опустив голову, упрямо закусив губу, он рассматривает свои карты.

— Тять, хлеба...— плачет дочка Вилциня.

Возле конюшни кучер чистит лошадей. Он невольно вслушивается в доносящийся сюда гомон и сердито морщит лоб. Он и сам бы не прочь побыть с игроками, но ему некогда. Приказано запрягать, придется везти господина барона в Палейское именье. Он тихо ругается про себя, но делать нечего — у кучера кучерская доля. Лоснящиеся, раскормленные вороные нетерпеливо топчутся, бьют копытами, так что кучер время от времени прибегает к помощи кнута с кожаной плетеной рукояткой.

Но апарские господа все еще спят... Нет, кажется, встают. Горничная отворяет ставни и при этом смотрит куда-то на крышу сарая, так как по комнате расхаживает в одной ночной рубашке, а то и без нее, сам господин барон, не обращая ни малейшего внимания на прислугу.

Господин барон сегодня одевается долго, очень долго...

Он едет свататься в именье Палеи, которым владеет барышня-помещица, и поэтому прибегает ко всевозможным косметическим средствам, чтобы сделать свою особу непривлекательней.

А сделать это трудно, ох, как трудно!

Господину барону сорок восьмой год, а выглядит он по меньшей мере лет на шестьдесят. Нелегкая помещичья жизнь преждевременно состарила его. Непомерно длинное худое тело его ссохлось, как залежавшийся пряник. Длинные ноги потеряли гибкость от подагры, руки и лысая голова трясутся, и только живот слегка выдается вперед.

Стар и немощен апарский барон, но тем не менее он должен жениться. А должен потому, что этого требует его дворянское достоинство. Именно Апари в долгах по самые верхушки труб. Крестьяне не в силах платить аренду и разоряются. А у барышни из Палейского именья столько добра и денег, что девать некуда.

Господин барон умывается в фарфоровом тазу теплой водой, чистит ногти, трет мягкой щеткой оставшиеся во рту черные выкрошившиеся зубы, потом, сидя перед зеркалом, долго помадит и приглаживает редкие волосы, зачесывая их на макушку, чтобы скрыть большую блестящую плешь. Он надевает самый лучший костюм, повязывает шелковый галстук, втыкает в него дорогую бриллиантовую булавку и, прихрамывая, направляется в столовую.

Под балконом раздается звон бубенцов: лошади поданы. Но барон не обращает на это внимания. Он тяжело опускается на стул и медленно выпивает чашку черного кофе. На столе множество фарфоровой посуды, серебряных, мельхиоровых и алюминиевых подносов со всевозможными закусками, но господин барон не притрагивается к ним. Даже с одной чашки кофе ему становится не по себе, давит под ложечкой... Тяжелые шторы на окнах в столовой чуть отдернуты. Полумрак и мертвая тишина гнетуще действуют на господина барона. Он встает из-за стола и, прихрамывая, направляется через спальню в кабинет.

Отсюда слышно, как оба молодых барина — родственники и гости барона — шумно умываются и одеваются. Но господину барону не до них.

Голова его словно в тумане, мозг переутомлен, во всем теле разбитость, и тут отчасти повинна подагра, которая необычайно чутко отзывается на любую перемену погоды.

Он садится у заставленного дорогими безделушками письменного стола, подпирает трясущуюся голову руками и смотрит на портрет палейской барышни, вставленный в замысловатую заграничную рамку.

Сухощавое лицо с длинным острым носом, завитые, сожженные щипцами волосы. Даже на фотографии заметен густой слой румян на щеках. Выражение лица очень живое, решительное, во взгляде видна особенная аристократическая гордость. И только одного недостает этому лицу — красоты...

В том, что он женится на барышне — владелице Палейского именья, господин барон не сомневался ни минуты. Так уж сложились обстоятельства, а за свою жизнь он научился отличать роковые обстоятельства от таких, с которыми еще можно бороться... За красотой ему гнаться нечего, для этого он слишком стар, некрасив и — беден!

Трясущейся рукой инстинктивно отодвигает фотографию. А каких только красавиц не знавал в былые времена господин барон! В те времена, когда он и сам был красив, горд и богат! Тогда он гнался за каким-то сказочным счастьем, хватал его обеими руками. Каждое мгновение стремился наслаждаться жизнью во всей ее полноте и воображал, что изведал все радости... Но куда же делось это свойство молодости? Он вспоминает свою жизнь, перебирает год за годом, день за днем и видит лишь одну пустоту. Подагра, преждевременная старость, пресыщенность жизнью...

Барон чувствует, что жизнь его движется, как вода в омуте, без видимой цели и направления. Пустота и холод вокруг. И зачем ему душиться, помадиться, притворяться, к чему эта полная лицемерия и лжи никому не нужная жизнь? Но жить все-таки нужно, нужно! Иначе нельзя...

Господин барон подходит к окну. Но зачем подходит к окну и смотрит в него, он и сам не знает. Все его движения бессмысленны.

Туман за окном все больше сгущается. С крыш все еще падает тяжелая капель. Кажется, что начинает вечереть еще до обеда. Отсюда видно в окно кучерской, как батраки играют в

карты. Порой даже можно расслышать доносящийся оттуда гомон. Лоснящиеся, раскормленные вороные нетерпеливо бьют копытами и позвякивают уздечками.

Господину барону все безразлично. Он ничего не видит и не слышит.

Вдруг за дверью раздаются быстрые шаги. Робкий стук. Дверь отворяется, и в ней появляется напомаженная голова лакея.

— Простите, господин барон... Лесник пришел.

Барон пытается сосредоточиться.

— Что?.. Кто?.. Лесник?..

— Лесник, господин барон.

— Где он? Что ему надо?

— В кухне, господин барон... Говорит, что зайца видел...

— Кого?

— Зайца... Лесник видел.

Серые глаза господина барона загораются, лицо оживляется.

— Где он?.. Где он, а?

— Не знаю, господин барон. Лесник в кухне, позвать его сюда?

— Конечно, конечно... скорей!

Барон отворачивается от окна и принимается шагать по комнате. Заяц... заяц. Вот оно то, что не имеет никакого отношения ни к прошлому, ни к будущему, не имеет отношения к его жизни... Ружье на плечо — и шагай себе по полям и лесам, по валежнику и сугробам. Пусть недодуманные до конца мысли остаются в этой полутемной комнате. Теперь он видит впереди какой-то проблеск. Теперь он понимает, что цель жизни лишь в том, чтобы развлекаться и стряхнуть с себя все мысли о прошлом и будущем. Заяц! В господине бароне пробуждается бывалый охотник. Холодеющая кровь быстрей течет по жилам. Руки начинают дрожать, но от волнения, а не от старческого бессилия.

Анарский барон спешит навстречу своему леснику — первый раз за всю свою жизнь.

— Видел зайца?

Лесник припадает к рукаву господина барона.

— Да-а...— говорит он, целуя рукав и кланяясь.— Видел... Должно быть, теперь в молодом сосняке.

— Как это — должно быть? Разве ты сам не видел?

— След видел, господин барон. В сосняк вел... Я обошел кругом — оттуда он не выходил.

— И ты говоришь: заяц?

— Заяц, господин... господин барон...— И лесник начинает улыбаться от радости, что он обнаружил зайца. В вырубленных лесах Апарского имения теперь очень мало зайцев, особенно с тех пор, как приехали молодые господа.

— Ну что ж — нужно устроить охоту... А?

— Ясное дело, господин барон, охоту.

— С собаками и загонщиками. А?

— С собаками и загонщиками, как же иначе, господин барон. Но нынче снег глубокий — сугробы по шею...

— Э, сугробы чепуха! Да пусть они будут даже по самые крыши. Понимаешь ли, по самые крыши...

— Понимаю, господин барон... Оповестить загонщиков?

— Оповестить загонщиков, взять на смычки собак! — Барон сразу помолодел на двадцать лет.

Раздается хлопанье дверей, поспешные шаги, взволнованные голоса...

И едва только лесник появляется в кучерской, там поднимается суматоха. Игроки вскакивают со своих мест, карты рассыпаются по столам, по заплеванному полу. Все толпятся вокруг лесника: как, что, где?.. Заяц... охота... Лица становятся оживленней, веселей. Бадер потягивается и глубоко вздыхает, словно стряхнув с плеч тяжелую ношу.

Один за другим батраки высыпают во двор. Изо всех дверей выходят их жены. У одной в руке поварешка, у другой книга псалмов, а третья выскочила во двор с недоплетенной косой. Дети вертятся под ногами взрослых, кричат, дерутся, толкаются; слышится брань, плачь...

Из-за угла выходит псарь со стаей собак — больших и маленьких, черных, бурых, пегих. Собаки лают, грызутся, рвутся со смычков и валят псаря с ног. На всю усадьбу раздаются собачий лай, людские голоса и детский плач.

— Заяц... заяц!

Приказчик, садовник, столяр и скотник, вооружившись ружьями и большими ягдташами, присоединяются к толпе загонщиков, которая ждет выхода барона и молодых господ.

Наконец, они появляются в больших валенках, с ружьями на плечах и ягдташами. Под охотничьей курткой у господина барона все тот же дорогой костюм, шелковый галстук с бриллиантовой булавкой.

Кучер в недоумении поворачивается на козлах.

— Как же, господин барон?..

— Никак,— сердито отвечает барон.— Распрягай, никуда не поедем...

Вся толпа направляется по лесной дороге в гору. Охотники идут впереди, толпа загонщиков сзади. В толпе, кроме взрослых, множество подростков, для которых охота самое большое удовольствие в жизни.

Вилцинь отстает от остальных. Девочка, уцепившись за его жилет обеими руками, не выпускает отца за порог.

— Тять... есть...— хнычет она.

Вилцинь тщетно пытается отделаться от нее. Обозлившись наконец, он отрывает вцепившиеся в него маленькие посиневшие ручонки и так толкает девочку, что она садится на пол.

— Вот дрянь, покоя не дает, присосалась, словно пиявка, и не оторвешь ее... Шага не дает ступить...

Девочка сидит и молча смотрит на отца. Но когда он, не переставая браниться, выбегает из кучерской, ее глаза широко раскрываются, и в них виден испуг. Она и не думает плакать — долго сидит, не двигаясь, глядя за дверь в серый густой туман...

Вилцинь нагоняет Бадера, который, кашляя, взбирается на пригорок. Остальные успели уйти далеко вперед.

— Поторапливайся, кум, поторапливайся! — подбадривает Вилцинь, обгоняя его. Но Бадер из-за кашля не может даже ответить.

Пока семеро охотников размещаются вдоль ближней опушки сосняка, толпа загонщиков и псарь с собаками должны обойти его и гнать зайца с другой стороны. С ними отправляется и лесник, чтобы расставить загонщиков.

Нелегкая задача выстроить всю эту толпу в один ряд. Все должны разом поднять шум и побежать, иначе заяц раньше времени встрепенется и уйдет. Но разгоряченные загонщики топчутся и никак не могут устоять на месте. И когда наконец их расставляют, лесник подает условный знак выстрелом из ружья. Крича, галдя, свистя и хлопая в ладоши, загонщики бегут вперед. Собаки воют, рвутся и снова тащат псаря по снегу. Трещат сучья, с глухим шумом обваливается снег...

Сначала загонщики бегут большими скачками, обгоняя друг друга, словно добыча тут же, за первым кустом, и каждый опасается, что его опередит сосед. Плаука даже отталкивает в сторону Бадера, который неведомо как, несмотря на свой кашель, очутился на несколько шагов впереди. Рыжая борода его развевается, глаза блестят сквозь длинные мохнатые ресницы, руки протянуты вперед... Он совершенно забыл, что добыча — обыкновенный заяц. Ему кажется, что он должен настигнуть что-то большое, значительное.

— Ату-у! — орут ребята, свистят, хлопают в ладоши.

Но постепенно гвалт затихает. Сосняк тянется на добрую версту и густо порос можжевельником и крушиной. Ноги проваливаются сквозь мягкий и глубокий снег в вязкое болото, загонщики устают. Бегут они как придется, один за другим, но бегут решительно все.

Они уже давно позабыли, что им нужно всего лишь поднять одного зайца. Им кажется, что созваны они сюда для очень важного дела. Они как полоумные несутся сквозь кустарник, через сугробы, рвы и болотца... Ноги вязнут, дыхание спирает, кровь стучит в висках, в глазах рябит, и впереди ничего нельзя различить, но нужно бежать, бежать...

Вот раздается хруст веток, хлюпает грязь, с деревьев сыплется снег... Охотники крепче сжимают в руках ружья — вот-вот покажется... вот-вот... Сейчас должен показаться заяц...

— Ату! — орут охрипшими голосами ребята.

Выбегает на опушку один загонщик и, ошеломленный, с открытым ртом, останавливается, поворачивается, не зная, что делать. Ничего не нашли...

— Ату! Ату!..

Но должен же показаться заяц!

Должен, а не появляется.

Один за другим выходят на опушку унылые, понурые загонщики. Никто ничего не видел. На лицах у них написаны разочарование, усталость... Мокрые, забрызганные грязью ноги, оборванные оборы постолов, исцарапанные лица, разорванная одежда. Всех разбирает стыд за безумную бесполезную беготню и злоба на мерзкое, подлое и хитрое животное, на подлого зайца.

— Проклятая тварь! — вполголоса ругается Плаука.

— Бежал как дурак,— говорит Лапа,— а он нет, чтобы...— Лапа неожиданно замолкает и хватается за голову — шапки нет.

— Тьфу, пропасть! — ворчит он и идет обратно к кустам, оглядываясь по сторонам.

Охотники и загонщики с жаром обсуждают, куда мог деваться заяц, спорят, волнуются, бранятся...

Лесник, запыхавшись, бежит к господам.

— Ушел...— сообщает он хриплым испуганным голосом и беспомощно, словно извиняясь, разводит руками.

— Что? Где же он? — строго вопрошает господин барон.

Лесник съеживается и становится совсем маленьким.

— Ушел!..

— Хорошо, ушел... но куда?

— Туда...— Лесник неопределенно машет рукой.

— А ты точно знаешь?

— Точно... Следы... и еще видел на пригорке — словно что-то шевелилось.

— Большой?

— Не знаю... Известно, большой... Пойдем туда?

— Конечно, сюда ведь он не придет.

Охотники и загонщики собираются двинуться в путь, но тут из сосняка снова доносится треск. Охотники в мгновение ока срывают ружья с плеч, взводят курки, загонщики отходят в сторону — у всех глаза загораются надеждой и нетерпением.

Кусты раздвигаются, господин барон еле сдерживается, чтобы не нажать гашетку. Выбегает — Бадер... Непокрытая голова свесилась на грудь, шарф размотался и развевается по ветру. У самых колен болтается оторванный карман. Бадер промок до нитки, так что с него капает вода, и весь в грязи. От одышки глаза у него налились кровью, на лице видны синие жилки, глаза глубоко запали и мрачно блестят. Натолкнувшись на загонщиков, он останавливается и тупо смотрит на них.

В толпе раздаются сдавленные смешки.

— Пустите его,— кричит один,— он поймает... он один зайца поймает.

— Он поймает, уж он-то поймает!

— Здорово ты выкупался, а? — спрашивает другой.

Бадер ощупывает себе бока.

— Провалился немного...

Снова смех. Бадер, согнувшись, прижимает руки к груди и, вздрагивая всем телом, надрывно кашляет.

И снова все бегут на пригорок к усадебному выгону. Это поросший кустарником луг, площадью в пять-шесть квадратных верст. И пока охотники бредут в ту сторону, выстроенные в ряд загонщики, промокшие и дрожащие от холода, поминают последними словами проклятого зайца.

Тем временем собирается дождь. Туман становится гуще и гуще. Кажется, что свинцовые тучи опускаются все ниже, прямо на мокрый снег. Время едва перевалило за полдень, а темно, как в сумерки. Угрюмы заснеженные пригорки и кочковатый выгон. С ветвей падают, уныло шелестя, крупные тяжелые капли и пробивают в снегу желтые ямки. Вдали каркают вороны.

Наконец раздается долгожданный выстрел, и загонщики снова бросаются в кустарник.

— Ату! Ату! — орут подростки. У псаря собаки вырываются и как ошалелые мчатся в кустарник. Лай, визг, вой... У одной собаки смычок зацепляется за куст. Она встает на

задние лапы, рвется, воет, пока не падает наземь со сдавленным горлом, переворачивается и замирает. Глаза у нее закатываются, язык вываливается из пасти.

Измученные загонщики ломают строй, сбиваются с пути и все равно бегут, бегут, чтобы не отстать, чтобы настигнуть то, что недавно упустили...

Впереди раздаются выстрелы — один, еще один, еще и еще — подряд четыре выстрела. Собаки воют, почуяв добычу, загонщики орут...

— Ату!.. Ура!

Выбежав на опушку, загонщики видят, что охотники стоят все в куче, размахивают руками, горячо спорят и смотрят на речку. Оба берега ее поросли мелким кустарником, откуда ведет заячий след, местами окрашенный кровью.

Ну, по крайней мере, это чудовище ранено!

При виде крови усталые охотники и загонщики приободряются.

Трубит охотничий рог, но дребезжащие звуки застревают в густом тумане, и ни одна собака не возвращается. Бадер кашляет не переставая. Его сиплый голос напоминает собачий лай.

Теперь зайца гонят по берегам реки. Охотники стоят попеременно то на одном, то на другом берегу, продрогшие, сердитые, хмурые. Каждый из них готов зубами загрызть эту бессовестную тварь.

Кое-кто из охотников и загонщиков замечает зайца, раза три или четыре по нему стреляют, а он все-таки уходит...

Туман становится все более густым и влажным. Накрапывает мелкий дождичек. На заснеженные поля лениво спускается вечер. Люди бесшумно, как привидения, бродят по крутым берегам речки.

Плаука так устал, что ему до смерти не хочется спускаться вниз. Он медленно тащится по вытоптанной опушке кустарника, опираясь на большую суковатую палку. Глаза его безо всякого выражения глядят на снег. Неустанно бунтующая в нем злоба затаилась где-то в глубине — и на душе у него так тоскливо, так мрачно, так тяжело...

Вдруг он замечает, что в снегу под ногами что-то шевелится. Сперва он пугается, вздрагивает, но потом глаза его расширяются, и он замирает на миг. В снегу ворочается подстреленный, истекающий кровью заяц...

Улегшаяся было злоба и горечь вспыхивают в нем с новой силой. Суковатая палка поднимается и опускается раз, другой, третий... Маленькое измученное существо сжимается в комок,

и на Плауку смотрят два больших блестящих глаза, в которых застыл смертельный ужас. Плаука хватает зайца за задние ноги и колотит о свою суковатую палку. Потом опять смотрит на зверька, который уже перестал шевелиться, и, словно обжегшись, бросает его на снег. Странное что-то творится с ним, не то жалко кого-то, не то стыдно. Он вытирает лицо и руки снегом и зовет охотников и загонщиков.

Еле переводя дух, усталые, оборванные, с исцарапанными лицами, забрызганные грязью, замерзшие охотники и загонщики сбегаются и становятся полукругом.

— Последний выстрел был мой...— прочувствованно изрекает господин барон, берет зайца за задние ноги, поднимает его над головой и снова бросает на землю.

Вот он лежит перед ними — этот страшный, бессовестный, упрямый заяц,— с простреленным телом, перебитыми ногами и размозженной головой.

И стоящие кругом люди невольно отодвигаются подальше от маленького зверька, который неподвижно лежит перед ними на красном от крови снегу. Они чувствуют, что опять бегали зря, опять не поймали то, что так жаждали поймать, не убежали от того, от чего хотели убежать, и опять терзает их тот же неразрешенный вопрос.

Тем временем становится совсем темно. Моросит мелкий дождь, не переставая, монотонно, бесшумно. Темнота все сгущается. Кажется, что исполинская птица, распластав крылья от одного края неба до другого, опускается все ниже и ниже... Вот черные крылья коснулись апарских охотников и загонщиков, и толпа постепенно сливается в одну неразличимую темную массу. И только где-то вдали хрипло лают собаки. Они все ищут добычу.

1903

Домик, в котором помещалось ателье лайценского фотографа Микелиса Майгайса, стоял возле самого базара. Из окон была видна немощеная базарная площадь, кучи мусора по краям ее, а на середине — колодезная будка с покосившейся крышей. В базарные дни под окнами фотографа стояла повозка курземской крестьянки, торговавшей топленым молоком, крупой и живыми поросятами, а рядом высокий, в человеческий рост, воз баранок, по которым прямо в сапогах лазил продавец, скрипучим голосом без устали предлагавший свой товар. На концах поднятых оглобель раскачивались связки баранок — их было видно с любого конца площади. Издали ярко блестели вывешенные напоказ куски бледно-красного мяса, пучки моркови, горы кочанов недозрелой капусты, со всех сторон пронзительно визжали поросята, кудахтали куры, крякали утки, гоготали гуси. Всюду суета, волнение, брань... Только серое облако пыли неторопливо поднималось над землей, покачивалось над серыми и зелеными крышами, обволакивало связки баранок, привязанные к оглоблям, и снова медленно опускалось.

В такие дни Микелис Майгайс не подходил к окну. Ему опротивела и эта грязная базарная площадь, и эти красные куски мяса, и эта пыль, и невыносимый запах, и тучные торговки с загорелыми щеками, которые лоснились, словно поздние румяные яблоки на солнцепеке. С самого утра он садился у единственного окошка, выходившего во двор, и нервно прислушивался, не пришел ли кто. Его чуткий нос заранее улавливал запах селедки, соленых огурцов и поросят.

— Тьфу! До чего прозаичен и безобразен этот мир!

Через выходившее во двор окно, вернее, маленькое оконце, была видна река, протекавшая сразу за забором. Медленно, лениво и бесшумно, словно полузастывший расплавленный сви-

нец, скользила широкая лента реки. Иногда вдоль ближнего берега, покачиваясь на воде, проплывал помятый чайник или другой негодный предмет. По ту сторону поднимался крутой голый берег, на котором росла старая кривая липа. Внизу плавала стая гусей,— словно белые точки, на сером фоне берега мелькали они там целыми днями. Медленно двигался в гору одинокий проезжий, и вяло, словно нехотя, тянулась за ним желтая полоса пыли.

Однообразно... душно... скучно...

В остальные дни Майгайс обычно сидел в другой комнате у стола, дремал и, просыпаясь, глядел на развешанные фотографии. Сегодня утром он даже не взглянул на них, уселся у окна и уставился на противоположный берег, где чуть ниже по течению, у самой воды, было имение. Усадебный парк упирался в реку; там сквозь зелень деревьев и кустов время от времени мелькало что-то белое. В такие минуты у Майгайса вздрагивали усы, кривились губы и по лицу разливалось странное сияние.

Сегодня он должен пойти в имение фотографировать... Около полудня... Он знал, что белое пятно, мелькавшее иногда там, между деревьями,— сама барышня... Может быть, она никак не может дождаться фотографа и выбегает смотреть, не идет ли он... При мысли об этом все тело Микелиса Майгайса обдавало жаром, немели большие пальцы ног, по голове словно кто-то проводил колючей щеткой, и волосы шевелились как от легкого ветерка. Он вскакивал, начинал бегать по комнате — два раза добегал до двери, снова садился и, обхватив голову руками, воспаленными глазами всматривался в даль. В глазах начинало рябить от блеска солнца на воде, который с каждым мгновением становился все ослепительней.

Вот уже третий день, как Микелис Майгайс получил приглашение явиться в имение с фотографическим аппаратом. Уже третий день, как он сидит у этого окна и, не сводя глаз, смотрит в сторону зеленого парка. По ночам он почти не спит, его мучат кошмары, а когда он забывается тревожным сном, то видит дочку помещика в белом платье и с розами в волосах... Короче говоря, Микелис Майгайс влюбился в барышню.

Первые признаки этой болезни появились лет пять тому назад, когда Майгайс только что обосновался в Лайцене и когда барышня еще бегала в короткой юбочке и лазила с мальчишками на яблони. Но тогда дело не приняло еще такого крутого оборота. Настоящая любовь началась с момента, когда произошел тот глупый случай с Дорой Гармат.

Дора была дочерью богатого хуторянина, жившего поблизости. Она приходила к Майгайсу фотографироваться и неизвестно с чего понравилась ему. Он ясно видел, что она длинная, сухопарая, с бесцветными волосами, что левый глаз у нее немного косит, но вот поди ж ты — понравилась, и все тут... На следующее же воскресенье он купил фунт конфет и полфунта шоколаду. Конфеты спрятал во внутренний карман пиджака, шоколад сунул в карман брюк, выпустил из-под шляпы на лоб две длинные пряди волос и отправился на гулянье, устроенное за городом, на выгоне, который почему-то назывался горой. Но напрасно брел он по грязной дороге, напрасно истратил полтинник на конфеты и шоколад. Не дойдя даже до каната, огораживающего место для гулянья, он остановился словно вкопанный и так, не двигаясь, более получаса созерцал то, что там происходило. Что же он там увидал? Во-первых, свою избранницу. Она стояла на бугре, будто Саул, на целую голову выше остальных, и ела пирожное, взяв его с огромного жестяного подноса, на котором было еще несколько порций этого лакомства, а кроме того, три бутылки фруктовой воды, кусок знаменитой лайценской колбасы, стакан с отбитым краем и нож с обломанным черенком. Все это держал в руках сын богатого землевладельца. У парня были огромные черные усищи и клок черных волос под нижней губой. Через танцевальную площадку, отдуваясь, бежал другой молодчик, держа две бутылки в руках и две под мышками, в то время как третий, стоя у буфета, неизвестно с какой целью обшаривал свои карманы и с отчаянием поглядывал на бугор, где стояла девица. А она улыбалась широкой и глупой улыбкой,— улыбалась и тому, чьи пирожные ела, и тому, кто бежал с бутылками, и тому, кто, стоя у буфета, смотрел в ее сторону, и всем остальным, кто был поблизости. Только тогда Микелис Майгайс начал понимать, какова любовь Доры Гармат... Как широкий, но мелководный поток, текла она и захватывала всех, кто был поблизости... Майгайс отвернулся и сел на сырую кочку под кустом черной ольхи. Он сам ел свои конфеты и шоколад и... плакал...

С тех пор он возненавидел всех хозяйских дочек, их смуглые, загорелые щеки, большие, грубые руки и немыслимые платья. Тем горячей влюбился он в барышню из имения. При встрече с ней Микелис Майгайс каждый раз здоровался и, видя ее улыбку, убеждался в том, что и она любит его. Майгайс верил, что только женщинам высших сословий свойственно врожденное понимание красоты, которое выражается в уменье выбрать изящное, хорошо обрисовывающее фигуру платье, при-

ческу, красиво двигаться, улыбаться. Только дочки помещиков читали романы Шпильгагена и Эберса, стихи декадентов и знали толк в том особом очаровании, что таится в магнетическом влечении двух сердец. А кроме того, эти барышни знали и песенку о королевне и королевиче, они умели убегать из дому ради своего избранника...

— Sie mussten beide sterben, sie hatten sich viel zu lieb[1],— декламировал Майгайс, и слезы навертывались ему на глаза.

Словно наяву видел он все, что должно случиться на том берегу в имении. Вся семья помещика соберется у беседки — сам хозяин, мадам, она и прочие... Помещик по привычке грозно уставится своим единственным зрячим глазом на него, в то время как второй, стеклянный, будет смотреть куда-то в сторону, поверх крыши сарая. Он, безусловно, поймет, что у барышни и фотографа есть какая-то тайна... Его дочь — наследница древнего рыцарского рода, и он — лайценский фотограф!.. Скандал!.. Но Майгайс сделает вид, будто не понимает причины гнева старика, он поставит свой аппарат, подойдет к собравшимся, поклонится, повернет личико барышни к свету, приподнимет подбородочек, посмотрит в глаза... Эх! (Майгайс рысцой пробежал два раза по комнате.) С одного взгляда они с ней поймут друг друга... Этим взглядом будет сказано все — о взаимных чувствах и о том, где они встретятся утром, где вечером, какой дорогой убегут из дому, если понадобится: вверх по Даугаве на лодке, по железной дороге в Америку или Париж или в литовском фургоне в Япишки...

Кто-то взялся за ручку двери, выходившей на базарную площадь. Ничего в эту минуту не могло быть мучительней для Майгайса, чем то, что его хотят потревожить в момент романтических мечтаний. Он схватил аппарат и необходимые принадлежности, выскочил из дому и быстро зашагал к реке. Заблаговременно нанятый им перевозчик сидел у берега на камне и нехотя ел, откусывая от огромного ломтя серого хлеба, называемого в Лайцене белым. Майгайс еще издали окликнул его и бегом побежал к лодке.

Лодочник неторопливо поднялся, сунул недоеденный хлеб в карман куртки, посмотрел на свою тень и медленно, вперевалку стал спускаться по каменистому склону.

— Рановато...— пробурчал он и расправил усы.

— Живей, живей! — торопил его Майгайс, уже успевший

---

[1] Они слишком любили друг друга и должны были умереть *(нем.)*.

усесться в лодке, зажав треногу аппарата между колен, чтобы тот не упал.

Лодочник, словно примеряясь, окунул сперва одно весло, потом второе, снова вытащил их из воды и, прищурясь, стал смотреть, как с весел падают серебряные капли. Потом уселся, плюнул на ладони и принялся медленно грести. Лодка едва заметно удалялась от берега.

Майгайс стиснул зубы от нетерпения и всем телом подался вперед, желая любым способом увеличить скорость невыносимо медленно двигавшейся лодки. Но лодочник, то ли от яркого солнца, то ли еще почему, прищурив глаза, лениво уставился на Майгайса, как будто ему поручили сосчитать крапинки на модном галстуке молодого человека. Майгайс понял, что невозможно заставить бежать быстрей эту серую флегматичную реку, текущую вниз, словно расплавленный свинец. Ни ветерка, ни ряби на воде... Вдоль другого берега еле двигался запоздалый плот. На переднем конце его полячок в белом полушубке, босой и без шапки, изгибаясь, работал большим скрипучим шестом. На его красном лице поблескивали из-под густых бровей маленькие глазки, они с отчаянием наблюдали напрасные усилия: серый поток упорно поворачивал плот к берегу. Через равные промежутки времени из соломенного шалаша, стоявшего на плоту, раздавался низкий хриплый голос: «Лево-о-о».

Майгайс, опустив голову на руки, смотрел назад, на Лайцене. Каменистый берег становился все более пологим, городские домишки словно прижимались к нему. Отсюда не было заметно грязи провинциального городишка, сюда не доходила его вонь. Серые и зеленые крыши чуть поблескивали на солнце. Надо всем нависла удушливая неподвижная одурь, и, словно из тумана, время от времени появлялась долговязая фигура Доры Гармат с блекло-рыжеватыми волосами и широкой глуповатой улыбкой на лице...

Лодка не успела причалить, как Майгайс уже выскочил на берег, крикнул лодочнику: «Жди!» — и рысцой пустился вверх, вдоль ограды усадебного парка. От подъема на крутой пригорок и от волнения у него прерывалось дыхание, пот градом катился со лба. Между домиком привратника и господским погребом у ворот, ведущих во двор усадьбы, он на минуту остановился перевести дыхание и поправить галстук. Потом утер пот, выпустил на лоб прядь волос и, слегка пошатываясь, двинулся по дорожке к подъезду помещичьего дома.

Из-за какого-то заборчика выскочил большой лохматый пес с разинутой пастью и высунутым языком. Он обнюхал

Майгайса и его аппарат. Равнодушно, даже нехотя, словно выполняя какую-то неприятную обязанность, куснул фотографа пониже колена, потом столь же равнодушно принялся гоняться за курами.

Помещик, сидя на веранде в плетеном кресле-качалке, читал в «Дюна цайтунг» о травле зайцев. Потревоженный кудахтаньем, он сердито поднял голову. Видимо, он принял Майгайса с его аппаратом за странствующего шарманщика, потому что тотчас замахал в его сторону газетой, будто отбиваясь от назойливой мухи, и громко закричал:

— Не надо... не надо! Пожалуйста, не шумите здесь! — После чего совсем скрылся за газетой.

Майгайс, собравшись с духом и откашлявшись, подошел ближе...

— Извините, сударь, но меня известили... Вы сами велели мне прийти...

— Кто велел приходить? — Помещик ничего не мог припомнить.

Так и так, — Майгайс принялся рассказывать и объяснять. А сам тем временем одним глазом посматривал на окна, а другим на кусты — не видно ли где белого платья... Нет, не видно... Должно быть, бедняжка от радости и стыда спряталась...

Наконец помещик понял, кивнул головой, положил газету и спустился с веранды.

— А ваш аппарат хорошо снимает? — спросил он и недоверчиво посмотрел на Майгайса.

— Очень хорошо... новейшая система...— пояснил Майгайс и, глядя в чащу парка, невольно привстал на цыпочки.

Помещик, следя за взглядом Майгайса, тоже поднял голову и, посмотрев на прибитую четырьмя гвоздями к стволу клена птицу, стал объяснять:

— Сова... Вчера утром убил — унесла трех цыплят... А давно ли вы занимаетесь фотографией?

— Пятый год.

— Гм... ну, попробуйте... Я не люблю плохой работы.

— Не извольте беспокоиться, останетесь довольны.

— Гм... пойдемте.

Он пошел вперед, Майгайс за ним — по дорожке, ведущей к конюшням и сараям. Майгайс, глядя на величественную осанку помещика, представил себе события ближайшего будущего, и постепенно волнение его улеглось, стало даже как-то радостно на душе.

Но куда же направляется помещик? Неужели он хочет фотографироваться со своей семьей на фоне сарая? Майгайс весело улыбнулся, но спросить об этом ему показалось невежливым. Он уже не искал взором барышню, он шел потупясь, ясно чувствуя, что где-то из-за куста сирени или акации за ним следит пара карих глаз, что бледное нежное лицо пылает от страшного волнения...

Деревья и кусты, кусты и лужайки — какое обилие зелени в этой усадьбе! Сверкнет поворот дорожки между кустами — и снова исчезнет, выступит из чащи ветвей угол дома или часть крыши — и снова спрячется. Где-то тут, рядом, слышен разговор, раздаются шаги, но только на мгновение,— и волна, тихо шелестящая волна все уносит и заглушает. Только знакомый запах хлева и конюшен становится все явственней и резче, так что Майгайс даже несколько раз кашлянул.

Наконец они очутились на маленькой квадратной площадке. На эту площадку выходили задние стены конюшен и хлева, между строениями зеленела трава. Вся площадка была покрыта клочьями прошлогодней соломы, а между ними поблескивали кое-где продолговатые лужицы застоявшейся коричневато-зеленой навозной жижи. Возле ближайшего строения, в собачьей конуре или свином закутке, шевелилось и скулило что-то мохнатое.

Майгайс обвел все это одним рассеянным взглядом и зажал нос, не в силах вынести запаха, который разливался отсюда во все стороны. Он еще не понял, зачем привел его помещик.

— Ну, приготовьтесь...— сказал помещик.— Гм... пойду позову жену и барышню...

Помещик ушел, а Майгайс остался возле своего аппарата. В воображении его пронеслись все мечты, начиная со взгляда, устремленного в самые очи, и кончая ночным побегом на лодке, по освещенной луною реке... Эх,— он протянул руки вперед,— что пламень мира сего в сравнении с жаром, пылающим в его душе!

— Ну как, приготовились? — неожиданно услыхал он грозный голос помещика.

Майгайс обернулся, как ужаленный, и, несмотря на полуденный зной, примерз к месту. В нескольких шагах от него на дорожке виднелись два зонтика — один красный, с черной ручкой, другой белый, с блестящей никелированной ручкой и серебряной бахромой. Под красным зонтиком — тучная, обтянутая серовато-рябеньким платьем фигура, под белым — создание эфирное, стройное, грациозное, с огромным букетом цветов на

груди. Рассмотреть лица было невозможно, так как прижатые к носу платки совершенно скрывали их.

Майгайс настолько оторопел, что лишь приподнял шляпу, открыл рот и... не издал ни звука... Он стоял и смотрел и не заметил даже, как прилетевшая из хлева мука уселась у него на лбу.

Помещик презрительно наморщил лоб.

— Поторопитесь... поторопитесь...— раздалось из-под белого зонтика.

Земля под ногами у Майгайса дрогнула и заколебалась. Как? И она тоже торопит его! Должно быть, и у нее закружилась голова в его присутствии. Но куда же они станут?.. Что ему здесь фотографировать?

— Может быть, вытащить ее оттуда? — спросил помещик, глядя на фотографа.

Фотограф вопросительно посмотрел на помещика.

Тогда помещик, пожав плечами, подошел к собачьей конуре или свиному закутку и одного за другим вытащил оттуда большую черную и невероятно худую суку и четырех грязных щенят.

— А так можно будет? Но, будьте любезны, установите аппарат. Что вы разинули рот?! Может быть, вы хотите сначала условиться о цене? Я привык платить, сколько требуют. Несколько лет назад меня фотографировали с этой же сукой — в тот раз у нее было два щенка,— я заплатил тогда пять рублей и дал полтинник на чай. Ведь это вполне достаточно!.. Но работа должна быть отличной, я люблю во всем порядок... Леди, ruhig [1].

* * *

— Папа, этот человек, кажется, уснул! Скорее!..— повелительно прозвучало из-под белого зонтика, а из-под красного словно эхо раздалось:

— Ах, скорее же!..

Вдруг стало темно, и Майгайс увидел, что темноту прорезают огненные полосы. Ничего не понимая, он принялся негнущимися пальцами устанавливать аппарат.

Но все валилось у него из рук. Почему-то вспомнил, как однажды в цирке гримасничали и паясничали клоуны, целые полчаса устанавливая американский фотоаппарат. Ему казалось, что вот-вот раздадутся смех зрителей и аплодисменты.

---

[1] Спокойно *(нем.)*.

— Да поторопитесь же...— уже совершенно потеряв терпение, понукал его помещик.— Здесь от одного запаха умереть можно.

— Сию минуту...

— Редкой породы экземпляр,— сказал помещик, указывая в сторону, где сидела, печально опустив морду, сука, а щенята тем временем барахтались и скулили.— Пятьдесят рублей за нее отдал... Щенится каждый год — по три, по четыре...

Сука поднялась, прихрамывая, потащилась к своим детенышам и стала их облизывать.

— Живей...— поторапливал помещик.— Она уйдет.

Майгайс сорвал с объектива аппарата крышку и снова надел ее. Потом залез под черное покрывало будто бы для того, чтобы посмотреть, хорошо ли получится фотография. Но он знал уже: щенята все четверо видны, а у суки виден только кончик хвоста.

— Ну? — нетерпеливо спросил помещик.

— Хорошо...— словно из могилы раздалось из-под черного покрывала.

Вылезая наружу, Майгайс чуть не опрокинул аппарат. Бледный и потный, он продолжал суетиться вокруг него.

— Фи, до чего же скучный человек! — сказала барышня вполголоса, но так, что все услышали.

Зонтики скрылись за кустами...

На берегу на камне по-прежнему сидел лодочник и ел хлеб. Вдруг он увидел Майгайса. Фотограф вихрем несся вниз по пригорку, размахивая аппаратом и встряхивая его так, что внутри все стучало и звенело. Он бежал не к лодке, а прямо к реке. Лодочник посмотрел на воду, посмотрел на Майгайса, покачал головой и не спеша откусил от куска. Прищурив глаза, глянул на солнце и, видимо, решил, что теперь самое время купаться.

Но фотограф топиться еще не собирался. У самой воды он круто повернул и плюхнулся в лодку.

— Поехали! Поехали! — простонал он и сник в бессилии.

— Нда... придется ехать...— Лодочник медленно опустился на свою скамью и плюнул на ладони.

— Поезжай! — заорал вдруг Майгайс.

Глаза лодочника заблестели от неподдельного любопытства.

Майгайс уже не понимал, что делает. Он замахнулся кулаком.

— Ну, ну...— проворчал лодочник, и в глазах у него, кроме любопытства, блеснуло еще что-то.— Ну, ну...

И так всю дорогу он время от времени поглядывал на Майгайса и ворчал:

— Ну... ну...

А Лайцене все приближался. Поверх крыш и труб Майгайсу снова улыбалось длинное худое лицо Доры Гармат. От этой улыбки у фотографа появилось такое ощущение, будто ему предстояло погрузиться в мелкую, теплую воду пруда, на поверхности которого плавают скользкие зеленые водоросли, а по дну ползают, извиваются хвостатые твари...

Дома он швырнул аппарат так, что тот с грохотом повалился в угол. Он не верил, он не мог и не хотел верить, что снова ему придется жить в этой полутемной, душной комнатке, жить без своей прекрасной романтической мечты...

Он не мог жить без нее...

Выбежав на улицу, он сорвал со стены висевшую витрину с фотографиями и грохнул ее оземь так, что брызнули стекла. В комнате он разбил единственный цветочный горшок, в котором росла чахлая глоксиния. Разбил еще несколько рамок с фотографиями. Хотел было разбить и крохотное зеркальце, но, взглянув в него, увидел свое лицо и устыдился. Неподвижно просидев с полчаса, он медленно поднялся, собрал осколки стекла. Потом, вытащив кошелек, стал считать и пересчитывать деньги... Долго считал он и пересчитывал, наконец, подперев голову рукой, тяжело вздохнул: не хватало семидесяти копеек, чтобы снова кое-как склеить все, что было разбито.

Вот так и будешь жить и склеивать, склеивать и жить...

1904

1

Юрьев день.

Анцис Залюм — летом он батрачит на хуторе Паэгли, зимою живет там постояльцем — сердито возится в клети, собирая свои пожитки. Посреди клети разостлан шерстяной платок покойной матери, на него брошена совсем новая шапка, не старые еще башмаки со стоптанными каблуками, шерстяная фуфайка без пуговиц и покупные, лоснящиеся полосами, заплатанные на коленях штаны. Чуть ли не в пятый раз Залюм склоняется над платком, связывает углы,— но не крест-накрест, как это нужно,— снова развязывает их, хватает шапку и, встряхнув ее, бросает обратно — и опять копошится с таким видом, словно должен сложить еще много вещей, только не может их отыскать.

У открытой двери останавливается хозяйка и с минуту смотрит на Залюма. Тот притворяется, что не видит ее, и еще старательнее складывает вещи, норовя наклониться так, чтобы лицо оставалось в тени.

— Послушай, Анцис, ты это всерьез? — говорит хозяйка.

— Что? — отвечает тот.— Известно, всерьез. Вы что, думаете, я с вами шутки шучу? Не надо, так не надо, могу и уйти.

— Уйти ты, конечно, можешь, но можно бы и остаться.

— Нет, раз сказал — не останусь, так и не останусь. Коли тут потешаются надо мной, мне это ни к чему.

Голос у Залюма слегка дрожит, словно горло сжимается от слез.

— Брось ребячиться! Кто же над тобой потешается? От хозяев ты плохого слова не слыхал, а больше тут потешаться над тобой некому...

— Как же некому, когда есть!.. А Мада... Чего тогда Мада...

Залюм стремительно поворачивается к двери, и хозяйка видит, что лицо у него горит огнем и в глазах в самом деле слезы.

— Да ты что! Неужто Мада... Что же она? Я ничего не видела и не слыхала.

— Да... А кто же каждый вечер у меня из кровати доски вынимает, кто прячет мою шапку и постолы?.. Вчера встаю — один постол тут, другого нет... Ищу, спрашиваю Маду: «Ты не видела мой постол?» А она, поверите ли, отвечает: «Разве я тебе холуй?» — и все... Пришлось, как дураку, в сапогах идти на болото. Прихожу вечером домой, гляжу: постолы на месте, под кроватью... Нынче утром опять шапки нет... Все углы обшарил, молчу, а она ходит вокруг и смеется.

— Ну? Нашел наконец?

— Нашел... Известно, нашел!.. Как не найти, когда она там же, в комнате!

— Знаешь, Анцис, глупости это все. Может, это ты сам постолы и шапку...

— Так вы не верите! Знаю я: Мада подослала вас уговорить меня... Но это понапрасну: ухожу — и все тут.

— И выдумаешь ты! Подослала! Мада мне и слова не говорила, я и не знаю, где она все утро пропадает. Оставайся-ка лучше, не то после будешь каяться.

— И пусть, все равно не останусь!

Хозяйка с минуту раздумывает.

— Тогда хоть обожди, пока хозяин приедет, рассчитаетесь.

— Приду рассчитываться в другой раз... в воскресенье.

Анцис опять нагибается и бесцельно шарит в узле. Ему и в самом деле кажется, что он тут больше ни одного часа не может оставаться. Его мучит странное чувство обиды, наивное упрямство, гонящее его отсюда, от Мады. Пускай она остается, пускай живет как хочет, пускай плачет. Он почему-то твердо уверен, что Мада будет плакать.

Хозяйка машет рукой и, нахмурившись, идет в дом: она и понимает и не понимает, откуда у этого тихого парня такие причуды. Но его не уговоришь — это давно известно.

А Мада — она все утро возится в погребе, перебирает остатки прошлогодней картошки, перекладывает ее из корзины в корзину, убирает доски засека, передвигает без всякой надобности добела начищенные ведра для молока и снова составляет их в ряд. В сенцах погреба, у лестницы, от весеннего талого снега натекли лужицы серой, грязной воды. Пахнет гнилой картош-

кой и плесенью — сыро, холодно и неприятно, но ей не хочется уходить... Отсюда видна открытая дверь батрацкой клети.

Однако пора идти. Мада берет дерюжку и идет к риге. Там она сгребает промокшую под капелью кострику, потом таскает ее в загон, хотя отлично знает, что до иванова дня скотину сюда не выпустят. И всякий раз она подолгу возится и копается в загоне... Отсюда тоже видна дверь в клеть.

Вдруг Мада так и застыла в согнутом положении. В двери показывается Анцис! Он должен пройти мимо — дорога ведь в эту сторону... Не убежит же он, не простившись! Но нет... Он спускается с мостика, торопливо идет по прогону мимо сада к церковной дороге... сворачивает на большак... и уходит по большаку... Дерюжка выскальзывает у Мады из рук, в глазах темнеет, на них выступает горькая влага. Ушел... и не оглянулся! И ей кажется, что она и в самом деле очень плохо обходилась с Анцисом. Как часто она его обижала, как безжалостно дразнила! Но кто же знал, что он такой горячий? Ведь он до того потешный, когда рассердится!.. Мада думает и не может понять, что ее побуждало дразнить Анциса, а сердце ей говорит: если он теперь уйдет, то больше не вернется.

Не чуя под собой ног, Анцис идет из клети через двор, спускается по прогону. Теперь у него только одна мысль: жестоко отомстить Маде, хозяйке... всем, кто ему досаждал и дразнил его. Он чувствует, что Мада смотрит ему вслед, живо представляет себе, как она опускается на землю и плачет... плачет от боли и досады, и ему становится весело, так весело, что просто смеяться хочется. Он и оглянулся бы, но не решается: увидят, подумают, что ему жалко... «Через горы и долины — сердце вдаль зовет!..» — поет он, снимает шапку, машет ею, напяливает снова на голову и молодцевато шагает вперед...

Внизу, в конце прогона, маленький колодец. Прошлым летом Мада вылила ему тут на голову полшайки воды, а он, поймав ее, окунул лицом в колоду с водой,— чуть ли не полчаса мыл. Здесь, в конце сада, притаившись за густым вишневым кустом, она часто пугала его лошадей, когда он вел их домой или ехал в ночное... Немного дальше, по ту сторону дороги,— большой камень... И так с каждым предметом связаны воспоминания — такие дорогие!.. Словно теплые волны, они набегают на сердце. После каждого шага хочется остановиться, закрыть глаза, прильнуть головой к чему-то теплому и невыразимо милому... Эх, глупости! «Через горы и долины!..» Расправить бы плечи, а то какая-то странная усталость во всем теле — это после бессонной ночи...

Вот и дорога к церкви с густой жухлой полевицей между колеями. Канавы по обе стороны дороги заросли ивняком. Голые, гладкие, коричневые лозы удивленно-вопрошающе смотрят на одинокого путника и, не получив ответа, слегка наклоняются друг к другу, словно тихонько перешептываясь, и по дороге пробегает печальный шелест. Здесь уже ничто не пробудит воспоминаний в глубинах памяти. Все осталось позади на пригорке. Ему кажется, будто с каждым шагом кругом становится все грустнее, пустыннее, холоднее. Жухлая полевица все гуще, ноги путаются в ней, спотыкаются, идти трудно, маленький узелок оттягивает плечо, точно невесть какая тяжелая ноша.

«Через горы...» Что-то больше не поется. А ну, далеко ли он ушел? Не идет ли кто позади? Никого не видать. Еще голые ветвистые яблони закрывают двор, словно серым покрывалом. Надо идти дальше... Нет, можно еще с минутку передохнуть, он уже много прошел, а до вечера еще далеко. Надо осмотреться, кто знает, когда он опять попадет сюда... Может, кто-нибудь спуститься с пригорка, к примеру, хозяйка. Хороший она человек... А можно отсюда различить серую юбку, красную кофточку и белую косынку? Ах да, ведь хозяйка одета по-другому — это Мада... А до Мады Анцису нет никакого дела. Выйдет она или нет — ему все равно.

На пригорке никого нет.

Анцис сердито поворачивается, идет дальше. Глаза у него увлажняются. Это, верно, от резкого весеннего ветерка и от тумана, который весь день стелется над выжженным лугом. Теперь дорога идет вниз, скоро хутор совсем скроется за косогором. Внизу по гареву текут мутные вешние воды речки. Через речку мостик из круглых тесаных еловых бревен, с полусгнившими перилами из черной ольхи. Выше мостика весь луг еще залит водой. Уже расцветает калужница. Желтые цветы, словно рассыпанные неумелыми руками, кучками и в одиночку сверкают в серовато-зеленой влажной траве. Ниже мостика в речке широкая, но неглубокая яма, дно которой устлано крупным песком и галькой. Прошлой весной батрачки мыли тут овец, и почему-то Анцис, оказавшийся поблизости, помог перегонять их...

На мостике тоже можно немного постоять... Еще успеет уйти. Как там, в омуте, вода кружится! Кажется, что волны во что бы то ни стало хотят повернуть назад,— вот дурашки, против течения!

Анцис смотрит на них, и ему кажется, что и он, точно подхваченный невидимым, таинственным потоком, идет против своей воли. И, как бы ему ни хотелось повернуть назад, он уже

ничего не может поделать. И от сознания своего бессилия ему становится невыносимо тяжело. Он толком не понимает, кто же в этом виноват: Мада, хозяйка, он сам или еще кто? Но идти дальше у него почти нет сил. Ему хочется стоять тут и смотреть, как сгущается поднимающийся все выше и выше туман, пока наконец не станет темно, как ночью, и ничего нельзя будет разглядеть.

На другом пригорке, по ту сторону, мелькает белая косынка и красная кофточка... Анцис видит это, но выражение лица у него не меняется, только уши вспыхивают. Он знает, кто там идет, но упрямое сердце словно замерло... В нем скорее оживает прежнее озлобление, чем радость, счастье. И вдруг Анцису становится страшно: он знает, что если он упустит теперь Маду, то все будет кончено. Но он стоит неподвижно, глядя на воду, и чувствует, что не сможет вымолвить ни слова.

Мада очутилась здесь совершенно случайно. Когда Анцис исчез за садом, ей вдруг пришло в голову, что надо бы сбегать на горку, что за гаревом, набрать белого песку — чистить посуду. Суббота, правда, только завтра, но ведь завтра будет столько работы, как знать, успеешь ли... И, схватив сплетенную из корней севалку, она незаметно выскользнула со двора, обогнула сад и старую, развалившуюся баню, сбежала вниз, перешла вброд речку, загребла несколько горстей белого песку; прячась за можжевельником, вышла на дорогу и вот с полупустой севалкой направляется по вымытой водой колее вниз, к мосту. Мокрые ноги облеплены песком, кофточка на груди расстегнулась, белая косынка съехала на плечи, но щеки горят, как огонь, она не смеет поднять глаз... Еще бы: что подумает Анцис! Разве он поверит, что она очутилась здесь случайно! Но... пусть он не поверит!

Бог знает, чего это он так уставился на воду! Что в ней увидишь? Бурая, как навозная жижа. И на что нужны такие речки? Только ноги пачкаешь, да еще мосты строить надо: скотине трудно перебираться. Может, он вовсе не видит и не слышит, что она идет. Надо кашлянуть... И глазом не моргнул! Надо что-нибудь сказать, но она не решается: он такой сердитый, злой. И остановиться нельзя. Почему же она его теперь так боится? Раньше, бывало, донимала и дразнила, сколько вздумается. Но на мостике он, наверно, повернется, загородит ей дорогу, не даст пройти... Непременно обернется... Как будто зашевелился. Какой короткий мостик! Река здесь такая широкая, а мостик совсем коротенький: два-три шага — и все... Не обернулся, не видел...

Странное, тяжелое оцепенение сковывает ноги девушки. Она невольно останавливается и оборачивается. И тут ей ка-

жется, будто и Анцис чуть повернулся, смотрит... исподтишка, одним глазком. А может, и нет...

Некоторое время она стоит и не находит слов. В голове столько мыслей — и ни одной хоть сколько-нибудь отчетливой. Она только чувствует: нельзя уйти, ничего не сказав ему.

— Анцис! — говорит она.

Тот и не шелохнется, только брови у него слегка вздрагивают.

— Ну? — откликается он сердито и грубо.

Опять довольно долгое молчание.

— Анцис! — снова говорит Мада и чувствует, что уже не в силах произнести это слово еще раз. Знает, что если он сейчас не обернется, то все кончено... Щеки у нее горят, на глазах выступают слезы, грудь вздымается, руки дрожат... Севалка выскальзывает из руки, белый песок сыплется на серую юбку.

Анциса словно кто-то берет за плечи и поворачивает к Маде. И от сердца его словно отходит все чуждое, темное, враждебное. Он видит и понимает все, ему кажется, будто облака рассеялись, и стало светлее, и туман будто вдруг сомкнулся и высокой стеной заботливо охраняет его и Маду.

Вот он держит ее теплые руки в своих и чувствует, как они едва заметно дрожат. Анцис и Мада смотрят друг другу в глаза. Они без слов понимают друг друга, им бесконечно хорошо: ласковое тепло обнимает их, они смеются, сами не зная чему.

Наконец Мада спохватывается: довольно стоять так на дороге!

— Идем...— зовет она.

Анцис идет, но еще колеблется. Он вспоминает, как уходил, и ему становится совестно.

— А что хозяйка скажет? — бормочет он.

— Хозяйка? — смеется Мада и слегка подталкивает его.

Анцис тоже усмехается, забывает о хозяйке и обо всем на свете, он только чувствует, что рядом та, без которой жизнь для него была бы вечной ночью. Он не смотрит на небо, но ему кажется, что оно с каждым мгновением светлеет. Все гарево зыбится, будто серо-зеленое море, и на его волнах, словно отражение бесчисленных золотых звездочек, блестят желтые цветы. И они оба качаются на этих волнах, а звездочки мигают им так приветливо и ласково, и первый весенний жаворонок откуда-то из недосягаемой вышины рассыпает над ними свои трели.

Анцис смеется от счастья и, не зная, что сказать, тихонько бубнит:

— А что скажет хозяйка...

2

В батрацкой хутора Паэгли Мада прядет хозяйский лен. Лен нынче выдался на славу. Длинные волокна блестят, как серебро, и легко скользят между пальцами. Пряжа такая гладкая и ровная — скорее палец порежешь, чем порвешь ее.

У хозяйки оказалась свободная минута, она пришла, села на край плиты и стала бранить расшумевшихся детей бобылихи, которые мастерят из лучинок звезду — пугать нечистую силу. Тает и тает Мадина кудель, и хозяйка думает о том, как разостланные в саду белоснежные полотна засверкают на осеннем солнышке серебряными полосами, какие тонкие и красивые получатся рубахи и как работники будут хвалить ее за доброту и щедрость.

А пряха и не думает о работе. Это видно по тому, как ее нога нажимает на подножку — то быстрее, то медленнее, а намусленный палец то и дело скользит мимо, не задевая нитки. И глаза пряхи тоже больше смотрят в окно. Рука время от времени на минуту останавливает жужжащее колесо прялки, девушка прислушивается, поправляет съезжающую шпульку и снова как-то устало, словно нехотя, нажимает на подножку.

Хозяйка, улыбаясь, встает и подходит к ней.

— Ой, доченька,— ласково начинает она,— уж больно у тебя грубо получается!

Мада, смутившись, вдруг останавливается. Внезапно оборванный и нескрученный конец нити со свистом обвивает зубчатую вилку. Пряха сама видит, что пряжа получилась неровная, узловатая, местами тоньше, местами толще... Ей становится совестно за свою работу. Она даже не пытается распутать нить, складывает руки на коленях и опускает глаза.

— Пошлите Анну прясть...— говорит она.— Мне лучше дайте работу в кухне.

— Ну? — добродушно усмехается хозяйка.— Какая из Анны пряха! Я ведь тебе ничего не говорю. Так только, к слову пришлось. Прясть-то ведь нетрудно?

— Я, хозяйка, и не говорю, что трудно или легко: я с любой работой управляюсь. Только сидеть на одном месте невтерпеж.

— Вот удивительно! Когда я девушкой была, любила целыми днями сидеть и все думать, думать... До полуночи, бывало, просижу, и спать не хочется.

— Думы-то эти меня и изводят.

Хозяйка качает головой.

— Чудная ты какая, Мада!.. Сыта, здорова, доброго, честного парня нашла себе и уговорилась с ним. Чего тебе еще? Что ж, Анцис не ласков с тобой?

— Ласков...— отвечает Мада, горько усмехается и вдруг замолкает.

— Ну так что? Досаждает он тебе? Ведь он такой тихий!

Мада не знает, что и ответить. Молчание.

— Не знаю, хозяйка, как вам это сказать,— опять начинает Мада.— Сама не пойму, что делается. Я ни на что не жалуюсь, только Анцис мне совсем душу вымотал. А спросите, почему, не сумею ответить... По правде говоря, у меня много, уж очень много ответов, только на одно нет ответа: отчего у меня так поет сердце? И вот злюсь я на Анциса, злюсь на самое себя, и так мне тяжело, нехорошо, что я иногда думаю: надо убежать отсюда или утопиться.

— Глупости какие! Чем же тебе не угодил Анцис?

— Ничем он мне больше не угождает. Иногда он смеется, шутит, пристает... а мне сдается, что все это только для вида, что на сердце у него совсем другое. Не придет домой вовремя, взглянет на другую девушку — мне сразу недобрые мысли в голову лезут.

— Уж больно чуткое у тебя сердце, вот в чем беда!..— Помолчав с минутку, хозяйка спрашивает: — Или, может, ты его разлюбила?

Мада качает головой.

— Еще больше, чем раньше, люблю. Жизнь за него отдала бы. Но вот я все замечаю, будто что-то чужое, недоброе становится между нами. И когда-нибудь оно нас разлучит, чует мое сердце.

— Глупости, Мада, ты больше не думай об этом и не говори. Это со всеми бывает. Вспоминаю, как у меня с хозяином было: перед самой свадьбой тоже чуть не разошлись. А разве плохо живем теперь?

Мада смотрит в окно, и непонятно — так просто или на батрака Мартыня, который неподалеку ставит новый забор вокруг сада. Время от времени он с охапкой кольев пересекает двор и каждый раз заглядывает в окно. Дети бобылихи выбежали на двор, в комнате тишина, слышно только, как Мартынь приколачивает жерди к столбам.

— Говорят, будто он часто бывает в гостях у Латы Лейшнек...— чуть погодя роняет Мада и слегка краснеет.

— Кто говорит?

— Люди...

Хозяйка горько улыбается:

— Нашла кого слушать!.. Или ты, дочка, не знаешь, что для людей нет большей радости, как разлучить парня с девушкой. Если своими глазами не видела, лучше не слушай и не верь.

Мада, правда, хочет сказать, что и своими глазами кое-что видела, но в это время Мартынь опять проходит мимо окна, и ее мысли уносятся неизвестно куда, разлетаются в разные стороны, как клочья разорванной бумаги на ветру.

И когда она немного погодя остается одна и, сидя у окна, смотрит во двор, голова у нее пустая и тяжелая, и она чувствует, что тяжесть эта с каждым днем становится все невыносимее. Какое-то смешанное чувство — не то ревность, не то тоска, не то сознание своей вины — сжимает ей сердце, будто сырой, холодной веревкой.

Анцису уже пора вернуться домой, давно пора. Наварить в кузне лезвие топора — на это полдня не требуется. Хотя откуда знать, где он всегда пропадает.

Через некоторое время она слышит шаги Анциса: он сбивает за дверью грязь с ног, входит в комнату, бросает в угол за кровать топор и снимает пиджак. Она прядет, опустив голову, будто не видит его. Раздевшись, он вешает пиджак на гвоздь, достает из кармана маленький сверток и подает его Маде.

— На, шел мимо корчмы и купил.

— Положи на кровать,— отвечает она,— потом возьму.

Он как-то странно смотрит на нее, но ничего не говорит, кладет сверток на столик и ложится на кровать. Он умаялся, выпачкался, продрог и сильно не в духе. В нетопленной комнате сыро и холодно. Все больше сгущаются неприветливые сумерки.

— Где ты так долго был? — спрашивает Мада, возясь с прясльцем. У Анциса при звуке ее голоса сдвигаются брови.

— Где был?.. У кузнеца.

— Целых полдня топор наваривал?

— Топор наваривал... Где же тут наварить, когда другие раньше пришли. У соседского испольщика на санном полозе подрез лопнул... А тут еще из Лейниеков четырех коней привели.

— Из Лейниеков?.. Лата?

— Скажешь ты!.. Женщина — в кузницу с лошадьми! Работники привели.

Молчание. Прялка останавливается, колесо перестает жужжать. В комнате с каждой минутой становится все темнее. За стеной стучит Мартынь.

— Эх, и кони же в Лейнпеках! — начинает оживленно рассказывать Анцис.— За одного на одзиенской ярмарке сто двадцать пять рублей отдали, двоих сами вырастили — такая пара, любо поглядеть! Один барин восемь сотен давал. И какие сытые, так и лоснятся! Прямо не удержишь, намучились мы все с ними, чертями.

— Лата Лейпнек,— ни с того ни с сего говорит Мада.

— Что? — отзывается Анцис, не расслышав как следует, и чуть погодя продолжает рассказывать: — Лейпнекские батраки своей хозяйкой не нахвалятся. Пока старуха жива была, ходили, как собаки, с пустым брюхом: похлебки вдоволь поесть не давала,— а теперь каждый день мясо... Хозяйка на диво: лошадь запрячь, дров нарубить — ей это нипочем, прямо не хуже мужика.

— А, Лата! — громко восклицает вдруг Мада и как-то странно, пронзительно смеется.

— Чего? — Анцис обиженно поворачивается на бок и смотрит на Маду.— Чего тут смешного!

Смех вдруг обрывается, как перерезанная острыми ножницами нить. Мада вызывающе гордо поднимает голову, но в сердце у нее невыносимая боль. Анцис смотрит на нее и все понимает; от досады — не то на самого себя, не то на Маду — ему сдавливает горло.

— Лата Лейпнек...— еще раз повторяет Мада и дрожащими пальцами берется за шпульку.

Анцис смотрит и думает, что бы сказать ей такое злое, едкое... Но долго не может подыскать слов.

— Вижу, я тебе надоел...— говорит он через некоторое время.— Придется искать жилье в другом месте.

— В Лейпнеках...— язвительно бросает Мада.

Анцис с минуту угрюмо молчит.

— Ты что ни день, то хуже. Уж никак на тебя не угодишь. Ты все с такими глупостями, с такими мелочами... бабьими россказнями да сплетнями...

Он замолкает, смотрит на Маду и понимает, что словами тут не поможешь. У нее свои мысли, и этими разговорами их не изменишь. Между ним и Мадой словно встала стена: они сами воздвигали ее и теперь тщетно пытаются перешагнуть. Они видят друг друга насквозь и все-таки стараются скрыть

свои мысли, чувства, говорят и делают совсем другое, наперекор тому, что так глубоко запало в сердце. Каждый замкнулся в себе и ждет, что скажет другой. Они не понимают, что могут быть равны в своей любви, им кажется, что один должен подчинить себе другого... И оба страдают из-за своего упрямства, из-за сотен мелочных придирок и с отчаянием видят, как с каждым днем ширится разобщающий их поток.

— Я бы уже давно ушел...— говорит Анцис и садится, спустив ноги с кровати.

— А разве я тебя держу?

Он что-то припоминает.

— Разве ты меня держишь? — Он как-то странно смеется.

Мада понимает, что он хочет сказать, и вдруг ее лицо заливается ярким румянцем. Вся ее гордость восстает, и в страшном волнении Мада думает: «Неужели он напомнит ей об этом, неужели?»

— Разве ты меня держишь? — повторяет он и откашливается. Теперь он наконец нашел, что ответить. Но он не хочет сказать ей это сразу: пускай помучается в ожидании.

Гнетущее, томительное молчание. Мартынь невзначай стучит в стену, но Анцису почему-то кажется, что это условный знак.

Мада словно окаменела. Она готова закричать, заткнуть ему рот, чтобы он не мог произнести этих слов, но тут же сдерживается: пускай... пусть скажет, пусть говорит, что хочет, пусть все растопчет ногами,— скорее будет конец.

— А разве ты в прошлый юрьев день не побежала за мной? — злорадно произносит Анцис.

Кажется, она не слышит, что он говорит, но каждое слово точно тяжелым молотом ударяет ее по голове.

— А разве ты в прошлый юрьев день...— повторяет он.

Но Мада больше не слушает. Ей кажется, что перед самыми ее глазами перерезали блестящую нить. Ослепительно сверкнув, концы ее летят в разные стороны, и ничего не видящие глаза смотрят в густую влажную тьму.

За стеной опять раздаются удары Мартыня. Мада поднимается и выходит.

— Мартынь тебя зовет! — кричит ей вслед Анцис, но дверь хлопает, и Мада не слышит его выкрика. Застонав от боли и жалости, Анцис, как безумный, глядит на пустой стул. Нет больше красной кофточки и белой косынки. В комнате холодно и темно, он прикрывает рукой глаза и падает на кровать.

На дворе Мада смеется и болтает с Мартыпем, а Анцис, стиснув зубы, думает и никак не может понять, какое ему дело до Латы Лейниек, до ее батраков и лошадей. Зачем он наговорил лишнего, зачем закидал грязью то, что светило ему до сих пор, как желанный солнечный луч! Неужели в нем говорило то же самое сердце, что в тот день так тосковало по Маде, так тянулось к ней, как тянется из тени цветок к весеннему солнцу!..

3

Юрьев день.

На дворе хутора Паэгли на высокой старомодной пебалгской бричке сидит Лата Лейниек и ждет, когда из клети выйдет нанятый ею на лето в батраки Анцис Залюм. Некрасивая, лохматая, но сытая лошадь переступает в грязи, обдавая брызгами и бричку и сидящую в ней хозяйку. Та время от времени сердито натягивает вожжи и, повернув голову, смотрит на клеть, где за полуотворенной дверью Анцис собирает свои пожитки.

Лата Лейниек из тех женщин, которые, рано став самостоятельными, вырабатывают у себя твердый, настойчивый характер. Они спорят с мужчинами об удобрении земли и денежных делах, ходят в сапогах и серых бумазейных кофтах, сами режут телок и ягнят. Лате Лейниек лет под тридцать, она среднего роста, но на редкость упитанная. Когда лошадь дергает телегу, круглые щеки Латы так и вздрагивают.

Анцис Залюм на этот раз возится в клети гораздо дольше, чем в прошлом году. Он укладывается и все время посматривает на открытую дверь... Но не на Лату. Он ищет глазами другую, хотя знает, что та с самого утра ушла с Мартынем ровнять на лугу кротовины.

Он знает, что Мады нет дома, и все-таки смотрит и ждет... Может, ей понадобится прийти, может, она что-нибудь позабыла, может, хозяйка позовет пообедать... В клети вдруг потемнеет, и он, словно невзначай обернется, а это она стоит в дверях, зардевшись до самых ушей, опустив глаза. Красная кофточка поднимается на груди, руки теребят передник... И он возьмет ее за руку — боязливо, нежно, словно сознавая свою вину, посмотрит на нее... как тогда, на мостике... и все опять будет хорошо... Затаив дыхание, он временами прислушивается, не донесутся ли из-за двери знакомые шаги. Сердце у него замирает, но чуть погодя он проводит рукой по лицу. Дурацкие

выдумки, ведь он точно знает, что она не придет. На этот раз не придет...

На дворе Лата разговаривает с болтливой бобылихой в полную мощь своего зычного, сипловатого голоса. Анцис доволен, что они разговорились: можно еще помешкать в клети.

Но зачем ему мешкать? На что он еще надеется? Он только чувствует, что не в силах уехать, не разобравшись в этой сумятице противоречивых чувств. Он не может уйти в Лейниеки со всем этим нелепым грузом лицемерия, притворства, упрямства и непонимания. Ему кажется, что он должен сделать что-то такое, что собирался сделать весь прошлый год, но не успел. И опять он думает, думает, но в мыслях такая неразбериха, что кружится голова. Он прислушивается к своему сердцу, но оно молчит. Он чувствует только острую, щемящую боль...

Что же не войдет хозяйка, как в прошлый юрьев день... Люди суются со своей помощью, только когда их не просят. Анцис знает, что и хозяйка не придет: ее и дома-то нет. Да если бы она и пришла, разве бы он не ответил ей так же грубо и резко, как вчера? Так ему кажется...

Он бессильно прислоняется к стене и влажными глазами смотрит в глубь клети. Вон старомодный, окованный железом сундук Мады, шкаф, на дверце которого изнутри наклеена подаренная им картинка из времен русско-турецкой войны. На полках стопками сложены пестрые простыни, узорчатые полотенца, желтая шелковая косынка с ярко-красным цветком на уголке, шерстяная шаль с бахромой, книга псалмов и на самом верху — миртовый венок, сохранившийся еще со дня конфирмации... Рядом со шкафом — Мадина прялка, а напротив нее за потолочную балку засунута обвязанная бечевкой коса-одноручка... Легкая дрожь пробегает по телу Анциса: на дворе ведь еще ранняя весна. На глаза навертываются слезы — это, верно, от пыли.

Лата Лейниек все еще судачит с бобылихой, у них всегда есть о чем поговорить. Они толкуют о том, что в прошлую зиму у многих погнила капуста, о том, что в ту осень плохо откармливались поросята, что телята болеют поносом, что овцы нынче принесли только по два ягненка... И вдруг на минутку обе замолкают.

— Так вы, значит, сами приехали за нашим Анцисом! — говорит бобылиха уже другим голосом.

Лата раскатисто, зычно смеется.

— Да уж так получилось: пришлось по пути. Думаю, зачем зря людей посылать, сама заеду. Много ли у него добра-то!

— Где там много...— отвечает бобылиха.

Что она дальше говорит, не слышно, но Лата опять смеется.

— Да где же он там пропадает? Анцис! — зовет Лата и смотрит на клеть.

— Пускай соберется, принарядится,— продолжает болтать бобылиха.— Такая молодая, красивая хозяйка,— нельзя ведь кое-как.

Лата Лейнек опять как-то сухо, неестественно смеется. Ее круглые щеки подрагивают.

Немного погодя Анцис уже сидит в бричке рядом со своей будущей хозяйкой. Лата перегибается через его спину и застегивает кожаный фартук. Затем отпускает вожжи, и сытая лошадка, дернув бричку, выносит их через ворота на дорогу.

Миновав хлев и ригу, они поворачивают на дорогу к церкви, потому что здесь уже подсохло, а на большаке грязь по самые ступицы. Лата пускает лошадь шагом, искоса поглядывая на спутника. И время от времени отворачивается и смеется. Глаза у нее щурятся, щеки надуваются еще больше. Анцис, надвинув на глаза козырек картуза, упорно глядит в сторону.

Погожий и тихий юрьев день. Солнышко в обед печет, совсем как летом. Кое-где видны высоко нагруженные возы с опрокинутыми вверх ножками столами, привязанными лоханями и боронами. Мычат коровы, блеют овцы, слышится детский крик и смех. На выгоне за ивами дребезжащим, тонким голоском повизгивает поросенок. По дымящейся пашне, прихрамывая, уныло ковыляет неизвестно откуда взявшийся петух ископьщицы с обмотанной вокруг шеи грязной прядкой льна. Возле пухлых барашков на придорожных вербах, словно заигрывая с ними, вьется ярко-желтая бабочка. А высоко в небе невидимый жаворонок, как и в прошлом году, звонко смеется над рассохшимися, замызганными лоханями, которые каждый год, жалобно поскрипывая, странствуют по изъезженным, грязным весенним дорогам, над дырявыми, толстыми тюфяками, которые, словно флегматичные старики, неуклюже развалившись, греются на солнышке, над обвязанными фартуком или одеялом корзинами и ведрами, из которых доносится мяуканье, визг, гогот, кудахтанье... над всем этим бесконечно комическим

весельем юрьева дня,— может быть, и над его наивными, ребяческими надеждами и расчетами.

На крутом повороте дороги Анцис видит, что Паэгли остались далеко позади, на пригорке. Понемногу за чащей сада исчезают верхушки крыш. Вокруг становится все просторнее, пустыннее и неприветливее. Мысли и воспоминания о прошлой весне больше не лезут в голову. Сердце словно цепенеет от безнадежной усталости.

— Через горы и долины...— вдруг запевает Лата.

Анцис поворачивает к ней голову, ничего не понимая. Ни песни, ни взоров своей будущей хозяйки, ни ее самодовольной улыбки.

— Пой же! — понукает она его, тыча локтем в бок, и смеется.

Он отворачивается и опять смотрит в сторону.

Лата продолжает напевать, но — то ли она не знает слов песни, то ли ей лень петь — вскоре замолкает и, улыбаясь, спрашивает:

— Ты что больше всего любишь есть?

— Что?

— Я спрашиваю, какое кушанье тебе больше всего по вкусу? У нас этой весной столько молока, что девать некуда... Да еще парочку телят нынче зарежем...

Помолчав с минуту, она говорит:

— Я думаю твою кровать из батрацкой на нашу половину перенести. Большая комната у нас все равно пустует. Ты как думаешь?

Сказано яснее ясного, но Анцис ни о чем не думает. Яркое солнце ударило ему прямо в глаза, и он протирает их, чтобы лучше разглядеть, в самом ли деле на лугу, у мостика, рядом с высокой фигурой Мартыня мелькает красная кофточка и белая косынка.

Она...

Мартынь с Мадой облипшими грязью граблями ровняют кротовины, которых в этом году необычайно много — гарево больше напоминает вспаханное поле, чем луг. Оба так увлеклись разговором, что замечают ездоков, только когда бричка уже грохочет по круглым бревнам мостика.

Лата говорит «Бог помочь!» и останавливает лошадь.

— До вечера еще успеете полодырничать,— шутит она.— Идите прощаться.

Мартынь сперва смотрит на Маду, затем идет к бричке. На ходу он моргает глазами и так кивает головой, словно ему

кто-то при каждом шаге дает тычка в затылок. Сперва он подает руку Лате, потом Анцису. И затем, так же кивая головой и моргая глазами, идет обратно к брошенным наземь граблям. В его моргающих глазах, в том, как он кивает головой, во всех движениях, Анцис видит что-то коварное, издевательское...

— Ну будь здоров! — слышит он такой знакомый, милый голос и, не поднимая глаз, берет Мадину руку.

Рука холодная, немного влажная от пота, но он чувствует, что Мада ему во сто раз дороже Латы с ее лошадьми и поросятами. Хочется поднести эту руку к губам, прижать ее к своим воспаленным глазам, заплакать и сказать, что все это только блажь, дурачество, комедия... Но он не может выдавить из себя ни слова. Ни один мускул не шевельнется на его лице, и Лата, которая следит за обоими кошачьими глазами, видит только сердитое лицо с двумя поперечными складками на лбу. Она дергает вожжи, и Анцис отпускает влажную милую руку. Он уезжает...

Он уезжает, даже не оглянувшись на ту, которая ему дороже самой жизни...

Лошадь медленно поднимается по песчаному, заросшему можжевельником косогору. Лата необычайно повеселела. Дергает вожжи и понукает лошадь, временами подталкивает Анциса в бок, смеется, шутит, говорит без умолку... Но, не дождавшись ответа, она унимается и с самодовольной улыбкой тихонько затягивает:

— Через горы и долины — сердце вдаль зовет...

Анцис сидит неподвижно, в голове у него вдруг проясняется. Вся эта путаница мыслей и чувств осталась там, за песчаным косогором, за кустами можжевельника. Точно пробудившись от долгого, тяжелого сна, он смотрит и видит впереди свою разбитую жизнь, словно огромное, ровное, пустынное поле — без Мады, без любви, без счастья. Почему же это так должно быть, хочет он спросить еще раз, но заранее знает, что ответа не получит... И оставшийся без ответа вопрос тоже словно тонет и растворяется в холодном пространстве. Нехотя он слушает, как напевает Лата. Ее песня, словно грубая бесконечная нить, тянется сквозь самое сердце, и оно болит все сильнее.

А за мостиком, у дороги, против того места, где Анцис с Мадой так случайно встретились в прошлый юрьев день, Мада вдруг садится, опускает голову почти к самым коленям и закрывает лицо передником...

Встревоженный Мартынь подбегает к ней. Его глаза мигают еще быстрее, чем обычно.

— Что с тобой? Зубы болят? — озабоченно спрашивает он, но напрасно ждет ответа.— Зубы... гм, да... беда с ними. У меня тоже бывает, я их тогда золой из трубки... Зола помогает... У моей бабушки был всего один зуб во рту, и тот болел, как не знаю что... Уж она его и уксусом, и перцем, и порошками...

Беспокойно переминаясь, кивая головой и моргая глазами, он начинает длинный-предлинный рассказ о том, как его бабушка лечила больной зуб.

1904

«Комедия в 3-х действиях»

1. ОТЕЦ

По утоптанному коровами прогону не спеша поднимается на пригорок человек средних лет. Чем ближе он подходит к дому, тем медленнее его и без того неторопливые шаги. Маленькие блестящие глазки начинают беспокойно бегать. Он невысокого роста, коренастый, с кривоватыми ногами, отчего походка его кажется особенно неуклюжей. У него большая голова с коротко остриженными волосами и рыжеватая, торчащая вперед бороденка. Широкое лицо и большие руки — не загорели, они совсем белые, и это никак не вяжется с его потрепанной нестрядинной курткой, старой, измятой шапкой и стоптанными, запыленными башмаками. Поднявшись на пригорок, он смущенно прячет руки сперва в карманы штанов, потом в карманы пиджака, опять вынимает их и, заложив одну за спину, а другую прижав к туловищу, идет к дому.

Хозяйка, завидев чужого оборванного человека, выходит во двор. Незнакомец останавливается и с минуту смотрит на нее.

— Добрый день! — наконец здоровается он. Когда он говорит, видны его большие желтые верхние зубы.— Жена моя дома?

— Ваша жена? — удивляется хозяйка.

— Моя жена...— повторяет он, не то сердясь, не то передразнивая ее.

Хозяйка с недоумением смотрит на незнакомца.

— Не знаю... А вы — кто такой?

— Я — Смилга,— говорит он, и голос его напоминает лязг трущихся друг о друга заржавленных железных брусков.— Дома... жена?

Хозяйка всплескивает руками.

— Смилга... Смилга... Из тюрь... Жена дома... по́нятно, дома. Сейчас кликну.

Она проворно кидается в дом, полное лицо ее выражает испуг. В кухне раздается громкий возглас:

— Смилгиене, муж вернулся!..— Затем в окне хозяйской половины появляется несколько любопытных женских лиц, среди них и хозяйкино, слышен шепот:

— Арестант... конокрад...

Смилга все это слышит, но на лице его не двигается ни один мускул. Только пошевелив во рту языком, он по-цыгански, сквозь зубы, сплевывает в сторону.

Звякает ручка двери в батрацкую. На двор выбегает Смилгиене, крупная, до времени состарившаяся женщина и, вскрикнув, бросается мужу на шею.

— Вернулся...— всхлипывает она.— А я и не видела! Весь обед простояла на дворе, только на минутку домой забежала... дети подрались... А он тут и пришел... Муженек... Заждалась я тебя —·два с половиной года жду. Чего только я не натерпелась, чего я... Ох, если бы ты знал! — Она, захлебываясь, целует мужа в бледные, впалые щеки и запекшиеся губы, руки ее все крепче обвивают его шею.

Смилгу раздражают женины нежности и лица, которые то появляются, то исчезают за окном. Мало-помалу в нем закипает злоба. Отвернувшись, он искоса глядит на двух мальчуганов и девчонку, выскочивших за матерью во двор.

— Пусти, ну чего ты! — сердито ворчит Смилга, пытаясь высвободиться из объятий жены, но это не так-то просто. Она прилипла к нему, словно репей.

— Муженек ты мой... не виделись-то как долго, —всхлипывает она.

— Эх, баба! — хрипит Смилга, отрывает руки жены от своей шеи и отталкивает ее с такой силой, что она едва удерживается на ногах.— Чего лижешься... Дай-ка лучше поесть.

Смилгиене испуганно смотрит на мужа, но радость сразу не уймешь. Женщина сморкается в уголок фартука, вытирает мокрые от слез глаза.

Смилга подходит к дому, садится на лавочку.

— Чьи это? — спрашивает он, показывая на сбившихся в кучу детей.

— Что? — удивляется жена.— Не узнал?.. Это же наши дети... твои...

Смилге становится как-то неловко, но от этого он злится еще больше.

— Два с половиной года,— бурчит он.— Ну, ладно, ладно, это я так...

— Смотри, какие большие выросли,— жена подталкивает всех троих к отцу.— Подите же, поцелуйте тятеньке руку.

Но дети боязливо прячутся за мать, девочка даже собирается заплакать. А отец, сморщив лоб, прячет большие руки в карманы куртки.

— Глупенькие! — жалобно говорит Смилгиене.— Отца не признали...— Она необычайно быстро мигает глазами и комкает фартук.— Ах, сколько я натерпелась с ними за эти два с половиной года! Аннеле все хворает и хворает, одну оставлять нельзя, а на работу идти надо... Надо идти — на этих двоих одного хлеба не напасешься — жрут как черти... Озоруют и дерутся — сладу с ними нет. Ну, теперь погодите! — трясет она головой.— Теперь отец дома, теперь вам достанется... Меня не слушались, а вот как возьмет отец ремень — клочья от вас полетят... Ты за них возьмись,— говорит она, кивая головой на мальчишек.

У Смилги руки в самом деле нащупывают туго затянутый поверх штанов ремень, на лбу у него собираются складки.

— Чего раскаркалась, как ворона! Поди собери поесть...

Солнце светит ему прямо в лицо. В карих глазах виден зверский, ненасытный голод. Кажется, этот голод много лет мучит его.

Смилгиене вздрагивает и сбивчиво тараторит:

— Поесть... ну да! Я тут болтаю и совсем позабыла, что ему есть охота, путь-то какой прошел. Сейчас посмотрю... Давеча мясо зажарила, и молоко... как бы не остыло... В плиту, правда, поставила... Сейчас посмотрю... сейчас! — Дырявая юбка бьет по ногам Смилгиене, пока она бежит в батрацкую. Оттуда давно уже доносится детский плач.

Дети, сбившись в кучу, разинув рты, широко открытыми глазами смотрят на отца. В их глазах столько любопытства, недоумения и радости, что у Смилги от злобы вспыхивают щеки.

Девочка боязливо ковыляет вперед.

— Тятя, ты конфетку принес?

У всех загораются глазенки. Ведь мать так часто уговаривала детей, обещая им сласти. Возвращение отца теряет для них всякий смысл, если у него нет конфет. И от предвкушения знакомого им только по названию лакомства из грязных ртов текут слюнки.

— Что ты сказала? — притворно ласково спрашивает Смилга, но лоб у него морщится еще больше. Затем он поворачивается к старшему мальчику и говорит таким же голосом:

— Микель, поди сюда!

Но Микель делает шаг назад.

— Не пойду...

— Дурак! Иди, когда зовут...

— Ты побьешь...

— Да иди же... не побью... Ну, иди, говорю!

— Взаправду не побьешь?

— Слушай, гаденыш... Слушай, раз тебе говорят: не побью!

— А дашь мне что-нибудь?

— Дам... Подойди сюда, увидишь.

— Скажи ей-богу, что не будешь бить!

— Раз тебе, сво... Ей-богу, не буду!

Микель боязливо идет к отцу, внимательно следя за каждым его движением. Но отец сидит спокойно, лишь в опущенных глазах его сверкает злой огонек. Но как только Микель подходит ближе и до него можно дотянуться рукой, отец хватает его и зажимает между колен.

— Так. Ну, а теперь получай...— говорит он и неторопливо расстегивает на животе ремень.

Мальчуган бледный, онемевший, широко открытыми глазами смотрит на отца.

Ремень начинает работать. Стремительно извиваясь, он хлещет покрытую рубашонкой спину, голые, потрескавшиеся ноги. Отец уже вспотел, у него устала рука, а мальчуган все стоит, стиснув зубы, с опущенными глазами, и даже не шевельнется.

— Ишь какой храбрый, поганец...— задыхаясь, говорит Смилга, и ремень начинает взлетать еще быстрее.— Проси, шельмец, проси... проси...

Но у паренька словно рот заколочен гвоздями, хотя, бывало, в таких случаях на его крик сбегались все соседи. Только большие тонкие ноздри его вздрагивают, а грязная, заскорузлая рубашка липнет к вспотевшему телу. Отец уже давно перестал пороть, а Микель все еще стоит и смотрит в землю.

— Ну, иди, чего стоишь, как одурелый! — толкает отец мальчугана.— Янцис! Поди сюда!

Но Янцис, видевший, какая участь постигла брата, с воем бросается в бегство — только голые икры мелькают, когда он ныряет между досок забора и исчезает в хозяйских коноплях. Девочка с плачем, спотыкаясь и все время оглядываясь, бежит за Янцисом.

Отец за ними не гонится: жарко, он еще успеет задать трепку этой мелюзге. Все одно...

Жена выходит во двор.

— Иди же, поешь.

Смилга медленно встает и, подпоясываясь, шагает в дом.

А выпоротый Микель забирается на вершину прошлогоднего стога соломы — его любимое местечко — и, растянувшись на животе, подперев обеими руками голову, лежит там до самой темноты. Стиснув зубы, влажными глазами глядит он куда-то вдаль — за луга, за лес, за облака.

В батрацкой Смилгиене хлопочет и суетится возле мужа.

— Ешь,— вот мясо, сало, молочко... Остыло малость, и ребятишки, будь они неладны, верно уж хлебнули. Разве от этих пострелов убережешь! Вот хлеб — немного зачерствела краюшка, но другого у меня нет. Ешь... Нож у тебя есть?

Нож у него есть. Но, вытащив его и раскрыв, он все еще не начинает закусывать, а, наморщив лоб, злобно смотрит в угол, на кровать, где под одеялом что-то барахтается и хнычет.

— Это еще что?

Жена, всполошившись, кидается к кровати.

— Да это Карлит... Захворал, верно: все хнычет, все мечется... Каждую неделю хожу к знахаркам...

— Какой это Карлит? — орет Смилга, хотя прекрасно знает, какой это Карлит. Его душит злость — еще один дармоед на шею...

— Да твой же... наш...— запинаясь, объясняет жена.— Вот только что третий год пошел... На пятый месяц после того, как тебя... как ты ушел, родился... Холодно птенчику моему! — Она поднимает с кровати большого, толстого мальчугана,— от жара он красный, весь в поту,— и, уложив обратно в постель, принимается его укутывать в бесчисленные одеяла и шубенки.

Смилга ест с увлечением. Карманным ножом он выуживает из растопленного жира куски мяса, тащит их к краю миски и хватает всей пятерней. На мясо он обильно накладывает ножом запеченный творог и отправляет в рот, как следует закусывая хлебом. Время от времени он мычит — уж больно крепок засол,— подносит миску ко рту и большими глотками тянет жир. Рот он вытирает рукавом пиджака, а руки о штаны. Уже виднеется дно миски, а краюхи хлеба как не бывало.

— Хлеба! — вдруг орет Смилга так, что жена вздрагивает.

— Больше нету, муженек... я ведь сказала: последняя краюшка... У хозяйки заняла.

Смилга мрачно доедает мясо без хлеба.

— О господи! — вдруг вздыхает Смилгиене.— Знал бы ты, как я тебя ждала... Всю неделю глаз не смыкала. Все чудится: вот-вот постучит в дверь, вот услышу шаги. Встану, прислушаюсь — ничего... а немного погодя — опять. Голова стала болеть, чуть не ослепла от слез... Ох, ох!

— Глупая ты баба,— бурчит Смилга сквозь зубы.

— Легко ли жить... Разве можно одной с этакой оравой детей! Ни на хлеб, ни на одежду не заработать. Да и на работу ходить времени нет! Вот он как орет, на шаг отойти нельзя... Истинное наказание!

Смилга складывает свой нож и прячет его в бездонный карман штанов.

— А люди, люди...— продолжает, чуть не плача, Смилгиене.— Когда нет своего угла, каждый тебя ногой пнет. В лесу, со зверями — и то лучше: попадешься им в лапы, сразу растерзают, а люди понемножку, по капельке сосут кровь...

Смилгиене вдруг умолкает,— в комнату входит хозяин, молодой красивый мужчина. Он долго трясет Смилге руку, пристально всматривается в его бледное лицо. Не найдя сразу, что сказать, садится и с минуту молча барабанит пальцами по столу.

— Вернулся, значит? — неуверенно начинает наконец.

— Д-да, вернулся,— нехотя отвечает Смилга и, прикрывая рот рукой, зевает. После сытного полдника его клонит ко сну.

— Это хорошо,— мямлит хозяин.— Хорошо... Только вот отощал ты.

Смилга пожимает плечами.

— Два с половиной года...

— Да-а... Ну, а работу уже нашел?

— Работу? — удивляется Смилга.— Только вернулся,— неужто сразу побегу работу искать. Надо отдохнуть.

— Отдохнуть? — ухмыляется хозяин.— Мало отдыхал, что ли?.. Куда думаешь податься?

— Не знаю, надо осмотреться?

— Может, возьмешься очистить канавы на паровом поле? У меня в этом году людей маловато, работы — уйма: навоз возить надо, рожь жать пора, ранний лен теребить... Я потому и нанял твою жену: к страде, мол, муж вернется. Шесть копеек за сажень... ну как, пойдешь?

— Почему же не пойти,— спешит ответить за мужа Смилгиене.

Но Смилга подносит ко рту и другую руку.

— Кхм... Пожалуй, не пойду.

— Не пойдешь?.. Как же это? Почему? Мало плачу?

— Нет... достаточно. Но все равно, некогда мне, дела...

— Да ты ведь сам только что сказал...

— Ну и сказал... Осмотрюсь вот, найдется и работа.

Хозяин сердито сплевывает и встает.

— Так не пойдешь?

— Нет, пожалуй, не смогу.

Рассерженный хозяин крупными шагами выходит из комнаты, и слышно, как он на другой половине громко ругает себя за то, что пустил в дом всяких конокрадов, у которых одни подлости на уме.

Смилгиене принимается корить мужа:

— Ты что же это? Заработок хороший, и тут же, дома. И хозяин человек добрый, он мне всегда помогал и заступался за меня. Муки, крупы сколько в задаток выдал. Обещала: вернется муж — отработает...

— Молчать! — орет Смилга на жену и смотрит на меньшего мальчонку и девочку, шмыгнувших вслед за хозяином в комнату. Девочке хозяйка дала ломоть хлеба с толченой коноплей и творогом. Заметив, что отец смотрит на нее, девочка опускает руку с ломтем и собирается заплакать.

— Поди сюда,— зовет отец.

Девочка смотрит то на отца, то на мать и медленно подходит... Мальчуган боязливо крадется к двери. Но на этот раз отец только вырывает у девочки хлеб.

— Где взяла? — сердито спрашивает он.

— Хозяйка дала,— отвечает ребенок и со слезами на глазах идет к матери.

— Дрянь этакая! — ругается отец, вертит в руке ломоть хлеба, смотрит на него и принимается жадно есть.

Мать невольно поднимается с кровати. В глазах ее сверкает недобрый огонек, руки дрожат. Девочка прижимается головой к ее коленям, всхлипывает.

— Тише, доченька,— успокаивает мать и словно пытается что-то проглотить, но не может,— отнял у тебя...: съел.

— Молчать, баба! — кричит отец, дожевав последний кусок. Он вытирает руки о штаны и смотрит на жену все тем же голодным взглядом. В комнате становится так тихо, что можно было бы услышать, как под полом пробегает мышь.

— Что ты собираешься делать? — вдруг спрашивает Смилгиене.

— Еще посмотрю... Надо оглядеться...

Опять долгое молчание.

Смилга поворачивается вместе со стулом и смотрит в окно на двор.

— Про Лоренца ничего не слыхала, а?

Жена вздрагивает всем телом. Сначала она краснеет, затем бледнеет.

— Про какого Лоренца?

— Будто не знаешь? Про цыгана... Здесь он где-нибудь или убрался?

— На что тебе Лоренц? Зачем он тебе понадобился?

— А тебе все-то надо знать... Так... повидаться надо...

У Смилгиене зубы стучат как в лихорадке.

— Побойся... побойся греха! Неужели тебя два с половиной года тюрьмы не исправили? Опять хочешь спутаться с этими конокрадами-цыганами? Из-за них же ты и попался... опять поймают, опять в тюрьму... Ох, господи, господи, что мне делать, что с детьми будет...

— Придержи язык! — ворчит Смилга и продолжает расспрашивать: — А Земит все там, у Сильяна испольщиком?

— Там. А он на что тебе?

Смилга не слушает жену, только тихонько бубнит под нос:

— Сильян, Земит, Риекст — они донесли, они главными свидетелями были... Ну, погодите! Погодите, дружки, я вам припомню...

— О господи, господи! — причитает жена, хватаясь руками за голову.— Что ты, безумный, делать хочешь, отомстить?

— Всех их спалю... Я им это еще тогда сказал и теперь говорю. И жеребенка им не оставлю. Пускай хоть за десятью замками держат. Мне бы только Лоренца найти.

Смилгиене подбегает к мужу и обхватывает руками его шею..

— Миленький, пожалей ты меня, детей пожалей!.. Не ходи к цыганам, наймись лучше к хозяину канавы рыть...

— Прочь от меня, баба! — Он с силой отталкивает ее.— Учить вздумала! Пусть я теперь честнее ангела стану, все равно, кроме конокрада, арестанта, иного слова не услышу. Я им...— Он вдруг замолкает, машет рукой и встает.

— Спать охота, я лягу... Уходите все...

И он, не раздеваясь, ложится на женину кровать лицом к стене.

У Смилгиене лицо становится серым. Она больше не дрожит, вся словно окаменела. Онемевшими руками она берет ребенка и укутывает его в платок.

— Смотрите, не шуметь у меня! — приказывает Смилга сердитым, сонным голосом.

Смилгиене со всеми четырьмя детьми устраивается на ночлег в половне. Сквозь щели соломенной кровли падает багряный свет вечерней зари. Выпоротый отцом мальчик лежит и, сжав губы, смотрит на медленно угасающее зарево. Вдруг он трогает мать за руку.

— Мама, мам!

— Что, сынок?

— Мам, это — наш отец?

Он не слышит ответа матери — меньшой, словно с перепугу, начинает кричать.

Мальчик опять смотрит вверх. Щели крыши становятся все темнее и темнее.

2. СТАРЫЙ КЛЯВА

На двор уже выкатили новую бричку с начищенными до блеска лакированными колесами. Старый Клява ходит вокруг брички, пробует ногтем свежие желтые полоски на колесах, проверяет, надежно ли привинчены рессоры под сиденьем, поглаживает мягкую кожаную обивку.

Из отворенной двери конюшни доносится сердитый голос Адама. Он чистит скребницей молодого вороного, а тот, как всегда, не может устоять на месте. Чувствуется, Адам старается сдерживать себя: воскресное утро... А в усадьбе Клявов по воскресеньям не принято браниться и шуметь.

Не принято... Это по стародавнему неуклонно соблюдаемому в доме по сей день обычаю. Старый Клява перекладывает камышовую палочку из правой руки в левую и, сделав строгое лицо, направляется к конюшне. Но затем, будто что-то вспомнив, сворачивает на дорожку между конюшней и клетью.

На гладко утоптанной, мокрой от росы тропинке, окаймленной подорожником и муравой, видны следы: кто-то здесь прошел рано утром и снова вернулся. Это батрак Пакалн ходил на выгон взглянуть на четырех старых лошадей, которых на ночь всегда оставляют попастись.

Старый Клява поворачивает налево, к большому дубу на пригорке. Дерево стоит, слегка склонившись, и озирает оттуда угодья Клявов от края до края. Сегодня дуб еще темнее, еще суровее, чем обычно, он словно погружен в раздумье, словно объят тайной печалью. Тихо, задумчиво шелестит его вершина.

Под дубом летают осы и большие сверкающие, словно позолоченные, мухи.

Если проследить за этими жужжащими, снующими насекомыми, то можно заметить, что их бессмысленное на первый взгляд кружение не бесцельно. Невысоко над землей, в стволе, виднеется надруб, из которого каплет желтая горькая жидкость. Она сочится так уже годами и поит всевозможных насекомых. А если поднять глаза выше, то можно увидеть глубокую-глубокую длинную расщелину. По ее краям из-под отставшей коры сверкает белизной верхний слой сухой древесины, а внутри видна прогнившая рыхлая сердцевина.

В тени ветвистого дуба фигура старого Клявы выглядит как-то внушительнее, осанистее. И это со всеми стариками так. В трепетном солнечном свете они чувствуют себя неловко: движения у них неуверенные, угловатые, черты лица расплываются. Неприятно смотреть на стариков при ярком свете солнца. Они сами сознают это и потому так любят тень и полумрак.

Вот почему и старый Клява так любит стоять в тени дуба и смотреть на свою усадьбу, свои поля, луга.

На нем, как всегда, серый суконный сюртук, еще новый, чистый, слежавшийся в складках, совсем недавно вынутый из сундука, со свежими следами сгибов. От смазанных накануне сапог с зелеными в полоску ушками идет легкий горьковатый запах дегтя. Шею плотно облегает ситцевый белый в цветочках платок, заколотый старомодной серебряной булавкой. Новый синий картуз с блестящим козырьком надвинут на лоб до косматых седых бровей. Старое, в мелких морщинах лицо чисто вымыто, сквозь белоснежную бороду просвечивает румянец. Конечно, это не яблоневый цвет юности, а багрянец осенней листвы. Голубые глаза, задумчивые и печальные, смотрят куда-то вдаль. Далеко-далеко видят глаза старого Клявы,— дальше соседних рощ, дальше синих лесов, опоясывающих весь небосклон...

Но мысли его не следуют за взглядом. У стариков всегда так: чем дальше устремляется взгляд, тем ближе кружатся мысли. Старый Клява нехотя, почти незаметно для себя, тихонько вздыхает. Переложив легкую камышовую палочку из левой руки в правую, он спускается с пригорка к дому. Обратно он идет быстрее. Походка у него бодрая, легкая, только в голове после бессонной ночи тяжесть и муть.

Ну, зачем ему надо было приходить сюда? Его самого тяготит эта сумятица в мыслях, это бесцельное шатанье. Лучше бы посидел дома, подождал, пока дети встанут. Сколько еще они пробудут с ним. Может, уж лошадь запрягают... Сейчас уедут.

Не меньше чем на полгода. Пожили четыре недели и уже уезжают... Опять он останется один-одинешенек, как старый дуб на пригорке.

Эх, разве трудно понять, почему он ходит туда! Почему он каждый день хоть раз да сходит к дубу. Дуб — его друг... Нет такого одинокого человека, у которого все-таки не было бы друга.

Старый Клява протирает глаза, качает седой головой, прикрывает рот ладонью и покашливает, словно он и здесь боится кому-нибудь помешать. Эта привычка появилась у него за последние четыре недели...

У ржаного поля из канавы выкатывается на тропинку зайчонок. Такой маленький, серый, мокрый от росы клубочек. Передними лапками гладит мокрые ушки, поводит носом и кубарем катится навстречу.

На лице старого Клявы сияет теплая улыбка. Он берет палочку под мышку, приседает и, разведя руки, ждет. Мокрый, теплый клубочек катится ему прямо на колени. Он сажает зайчонка на ладонь, другой гладит его и, посмеиваясь, встает.

Надо показать детям.

Бредя домой, старый Клява смотрит в круглые, выпученные глаза зверька, который недоуменно, без всякого страха разглядывает его. Усатая мордочка, щекоча, обнюхивает ладонь. Старый Клява усмехается.

— Как же это ты один оказался? — говорит он своему гостю.— Уж, верно, где-нибудь поблизости и братишка сидит? Наверняка... На это вы у меня мастаки: рожь вытаптывать, а? Вот бы и другого поискать... а? Вдвоем веселее будет.

Старый Клява останавливается против того места, откуда выскочил зайчонок. Смотрит в глубые желто-карие глаза и, незаметно для себя, снова отдается во власть дум.

Кто знает, обрадуются ли они? Может быть, еще высмеют его. Кто их разберет... Им многое не нравится. У них другие вкусы, другие радости... Кто их разберет... Они...

Старый Клява, ступив одной ногой в канаву, кладет зайчонка в рожь. Зайчонок не удирает, а, присев, опять гладит передними лапками уши. Но старому Кляве уже не до него. Занятый своими мыслями, он неторопливо шагает к дому и усердно тычет палочкой в утрамбованную землю.

На бричке уже лежит новая сбруя с медным набором, к колесу прислонена большая сверкающая лаком дуга. Адам умывается у колодца, громко фыркая. Он то и дело прерывает свое занятие, прислушивается к доносящемуся из конюшни стуку копыт вороного и сердито, багровея от злости, кричит.

На дворе старый Клява встречает сына батрака Пакална, парня лет восемнадцати. До прошлого года молодой батрак жил у него, а после конфирмации ушел к новому хозяину, на другой конец волости,— неудобно же держать в батраках отца и сына.

— Доброе утро, отец! — застенчиво здоровается по старому обычаю парень и неловко снимает шапку. Затем подходит, наклоняется и целует старику руку.

Старый Клява позволяет это,— охотно позволяет. Этот рослый, неуклюжий парень вдруг становится ему близким, милым. Когда жесткая, в застарелых мозолях рука юноши берет морщинистую, но мягкую, чувствительную руку старика, у того сжимается сердце. Ему кажется, что он поступил несправедливо, отпустив ради собственной выгоды этого робкого, неокрепшего еще юношу к чужому, дурному хозяину, который, ни с чем не считаясь, немилосердно гоняет своих батраков.

Старый Клява на минуту останавливает парня.

— Ну... пришел отца проведать? — приветливо спрашивает он.

— А как же...— отвечает юноша и направляется к дверям батрацкой.

Старый Клява смотрит ему вслед, затем опускается на лавочку возле дома.

Из батрацкой, навстречу сыну, смеясь, выбегает Пакалниете. Завидев хозяина, она замолкает.

— Доброе утро, отец! — смиренно здоровается она, берет сына за руку и ведет его в дом.

Старый Клява вежливо отвечает на приветствие и кладет руки на набалдашник палочки. На сердце у него становится легче. Отец, это звучит так приятно, покорно, учтиво. Он и впрямь всегда старался быть отцом для своих батраков. Считал себя опозоренным, если кто-нибудь жил у него только год. Известно, люди теперь вообще стали строптивыми и гордыми, нелегко с ними ладить. Часто он с трудом принуждал себя стискивать зубы, напрягать все свои силы и волю, часто уступал, даже унижался, чтобы только сохранить уважение, которым он пользовался у людей как их кормилец и духовный наставник. Таким почетом и уважением, как он, не пользуется ни один хозяин в округе. Старый Клява думает, что он один остался из хозяев старой закваски, из вымирающего поколения хозяев, которые не только платили батракам и кормили их, но и заботились об их душах. Он считает, что эти люди вверены ему и что он когда-нибудь будет держать за них ответ. Тяжела возложен-

ная на него обязанность, и все-таки — как приятно ее сознавать! Приятно чувствовать свою власть над помыслами стольких людей, над их речами и поступками! Отец!.. Сколько рабской покорности, сколько добровольного повиновения таит в себе это простодушное обращение в устах зрелого, полного сил человека.

— Доброе утро, отец! — здоровается Адам, вытирая лицо.

— Доброе утро, сын,— приветливо отвечает старый Клява. Но затем лицо его становится строгим.— Почему ты в воскресное утро за работу взялся? Вороной вывалялся, его не так-то просто отчистить. Я вчера утром ясно приказал тебе: запрягать старого гнедого.

— А господин студент вчера вечером сказали, чтобы молодого вороного...

— Альберт?.. Но ведь вороной застоялся, как бы не понес.

— Сказано было, чтоб его запрягал... Не понесет, я не впервой езжу.

Старый Клява хочет еще что-то добавить, но, едва приоткрыв рот, сразу прикусывает нижнюю губу. Вдруг у него мелькает беспокойная мысль: значит, Альберт распоряжается тут по-своему, значит, Адам слушает Альберта больше, чем его самого? И так просто, откровенно говорит, словно это само собою разумеется. Будто воля сына сильнее его, отцовской, воли.

Старый Клява стискивает зубы и старается проглотить что-то горькое и твердое... За эти четыре недели случалось то одно, то другое, то там, то тут происходила какая-то путаница, а потом опять все само собой распутывалось и сглаживалось. Может быть, это потому, что он всякий раз уступал, разрешал, чтобы все делалось так, как им хотелось. Но в это утро он все воспринимает во много раз болезненнее. Сегодня он не стерпит. Может быть потому, что много чего постепенно и незаметно накопилось у него за эти четыре недели. Может быть потому, что прошлую ночь он не спал, может быть потому, что сегодня — последний день.

— Не пора ли запрягать? — Адам у колодца беспокойно переминается с ноги на ногу.

— Проснулись уже? — спрашивает старый Клява, и голос его звучит сухо, холодно.

— Встали, уже завтракают.— Адам кивает головой на крайнее полуотворенное окно.— Сказали, что тотчас после завтрака поедут.

«Тотчас после завтрака...» Старый Клява смотрит на окно, из которого доносится говор, смех и звяканье посуды. Второй поезд отходит в обед, третий — около шести вечера, а им,

видите ли, надо ехать с самого утра. Надоели им... чужими стали...

Он сердито откашливается и встает.

— Погоди! — кричит он Адаму.— Когда скажут, тогда и будешь закладывать.

Он входит в дом.

Все трое сидят за столом, как обычно: студент Альберт — у окна, гимназист Карл — напротив, Анна — ближе к дверям. Как обычно, все разговаривают, смеются, шутят, и Анна — легкая, как перышко, бегает вокруг стола, прислуживая братьям. В первое мгновение отца никто не замечает.

Он с минуту стоит в дверях. Затем подходит к окну, нарочно постукивая палочкой по полу.

— Доброе утро! — сухо здоровается он. Хочет еще добавить — «дети», но вовремя спохватывается. Это было бы и унижением и вызовом. Они первые должны... И угрюмо, сосредоточенно ждет.

Все трое в один голос отвечают: «Доброе утро», но... не добавляют — «отец».

Старый Клява тяжело опускается на стул возле окна.

— Налить? — спрашивает Анна и тянется за четвертой, пустой кружкой.

— Спасибо, дочка! — отвечает отец каким-то не своим, резким голосом.— Где уже мне с вами. Кофе — это не для меня. Похлебаю щей с батраками.

Он сам пугается своего сердитого голоса. Но дети этого даже не замечают. Они им уже мало интересуются. Болтают, шутят, громко смеются, слишком громко для воскресного утра. Они рады, что наконец уезжают. Старый Клява сидит у окна. Некоторое время прислушивается к их разговорам, хотя понимает с пятого на десятое. Незаметно вглядывается в лица детей. В груди у него горячая любовь, ему хочется подойти, простереть над их головами руки для благословения, обнять и не выпускать. Отдать им последнюю каплю крови, последнее биение сердца... Отдать все... Но, словно волна, несущая острые льдины, его захлестывает горечь, и оскорбленная, униженная гордость убивает в сердце нежность. Душа мечется между двумя крайностями, устает, черствеет, становится несправедливой, но не может найти точку равновесия.

Старый Клява не хочет думать об этом, и все же думает, мысленно перебирает все испытанное и пережитое за четыре недели и еще раньше, до приезда детей. Словно осколки разбитого стекла, перебирает эти воспоминания.

Удивительнее всего то, что в поведении детей, в сущности, нет ничего явно заслуживающего порицания. Так... осколки одни... Может быть, именно потому они так остры и так глубоко ранят. И хотя он часто испытывает боль, но не видит и не может понять, чем она вызвана. В одном он уверился окончательно — дети отдалились, духовно отошли от него. Школа... Он не противник школы и образования. Он одним из первых послал своих детей в городскую школу и продолжает учить их, пока это в его силах. Но особой благодарности от детей он не видел. Скорее — что-то другое. Образование, знания — дело хорошее, этого он никогда не отрицал. И все-таки в мире, из которого возвращаются дети, есть вещи, которые он никогда не сможет целиком понять или оправдать. Какая-то странная самоуверенность, недопустимая в детях духовная самостоятельность и дерзость... Это так противно, так враждебно милому его сердцу покойному укладу латышской семьи, где отец всегда первый по уму, даже если он и не очень образован, где каждый не только внешне повинуется, но и внутренне целиком подчиняется отцу, потому что ему семьдесят лет и у него седая борода. Ну, пускай не будет этого повиновения. Старый Клява как-нибудь примирился бы и привык, если бы только видел, что дети с чувством благоговейной радости возвращаются с чужбины в отчий дом. Но нет и этого... И потом... он наблюдает еще и другое. Им безразличны дедовские нивы, среди которых они выросли. Им здесь наскучило, надоело. Они втайне тоскуют по чужому, враждебному миру...

Старый Клява подносит руку к горлу, распускает платок.

Они на самом деле теперь другие люди,— уже не те, что ушли отсюда. Он не знает, какие силы их так изменили, но видит и чувствует перемену. Особенно болезненно он это чувствует сегодня. Тяжелой, необычной была последняя ночь. Им овладела какая-то странная, щемящая тревога. Он не сомкнул глаз, все думал и думал. Он признал, что отчасти виноват и сам. Словно нарочно старался раздуть каждый пустяк, ожесточал свое сердце, утаивая переполнявшую его нежность, боялся хотя бы раз откровенно, по душам поговорить обо всем с детьми. Сегодня утром он решил все это исправить, чтобы расстаться с детьми в мире и любви, как подобает членам одной семьи. Он умно придумал. Дети должны уступить — хотя бы ради того, что издавна было основой существовавшего в доме уклада, ради почтения и уважения к отцу. И тогда бы он забыл и простил все нанесенные ему до сих пор обиды. Вон там в углу, на полке,

лежат книга псалмов и молитвенник. Кое-где между страницами заложены полоски белой бумаги, ими отмечены молитвы и псалмы на случай разлуки. Вот встанут,— думал с утра старый Клява,— соберутся все домочадцы, прочтут молитву, споют, и тогда все сядут за стол. На молитве — все вместе, а за завтраком, разумеется, только хозяева. В мире и в христианском смирении вкусят они дар божий, а затем расстануться со слезами на глазах, но с миром в душе... Так было задумано, но все рассеялось, как дым, едва он встал с постели и направился к детям. Задуманное не удалось,— в памяти всплыли кое-какие выражения, кое-какие подслушанные слова. И старый Клява прежде всего понял, что у его детей нет уже прежней веры... Ни разу он не видел у них в руках старой заветной книги. Ни разу за эти четыре недели не читались молитвы, хвала господу не звучала над двором и полями Клявы...

Старый Клява вздрагивает от страха и недоброго предчувствия.

— Тебя там продует,— говорит Карл.

Воспоминания будят в старом Кляве все новые опасения. Он припоминает, что Альберт и Анна часто тайком разговаривали с работниками, и те стали серьезнее и задумчивее. Он и тут кое-что подслушал... Его охватывает странный, цепенящий холод. Ничего доброго не было в том, что они говорили. Да и сами они пошли не по доброму пути. Денег получают вдоволь, усадьба Клявов, благодарение богу, еще кое-что приносит. Но какая на них поношенная одежда... Какие осунувшиеся лица... Какой лихорадочный блеск в глазах. И вечно у них или тайные, неестественно серьезные разговоры, или чересчур буйное безудержное веселье... Вот как сегодня... Нет, уж слишком далек и чужд тот мир, в который они ушли. Не вернуться им больше... Не быть его детям тут наследниками. Усадьба дедов попадет в руки чужих людей.

У старого Клявы рвется из горла неудержимый хрип. Сдерживаясь, он закрывает рукой рот, покашливает и встает.

Дети смотрят на отца.

— Не... не велеть ли запрягать? — спрашивает он, подыскивая слова.

Альберт смотрит на часы.

— Еще рано... Ну хорошо — скажи, чтобы запрягали... Лучше на полчаса раньше. Кто знает, верно ли идут часы, как бы не опоздать... Скажи, пусть запрягают.

Постукивая палочкой, старый Клява выходит из комнаты.

Адам с поводом в руках уже стоит в дверях конюшни. За его плечом виднеется голова вороного, так и сверкают огненные глаза.

— Закладывать? — спрашивает Адам.

Старый Клява только кивает головой. Отходит, садится на лавочку.

Ему кажется, что голова у него отяжелела. Дрожащие руки тычут палочкой в утоптанную землю. Он видит, как Адам безуспешно пытается надеть на вороного хомут. Конь закидывает голову, роет землю копытом, словно играет с конюхом. Старый Клява видит, что одному вороного не запрячь. Но помочь все-таки не хочет. Пускай... какое ему дело! Пускай обходятся без него...

Дети снуют взад-вперед. Выносят из дому узелки и чемоданы, складывают в бричку и привязывают на задке, к рессорам. Старый Клява не двигается. Какое ему дело... Пускай управляются сами...

Но все же долго так усидеть нельзя. Старый Клява понимает, что его замкнутость и упрямое молчание бросаются в глаза. Он встает и уходит. Бесцельно бродит по усадьбе... И если присмотреться внимательнее, эта торопливая, бесцельная ходьба кажется немного смешной. Он заглядывает в хлев, в клеть, спускается в погреб, осматривает его, что-то переставляет. И все же никак не может стряхнуть с себя назойливое, мучительное, все усиливающееся чувство, от которого нервы натягиваются, как тонкие стальные струны.

Он прислушивается, ждет. Все внимание, все его помыслы обращены к детям. Он прислушивается и ждет, не позовут ли его. Не спохватятся ли в конце концов, не вспомнят ли, что у них есть отец, который заботится о них, который их любит, который обязан и вправе знать и делить с ними каждую их мысль. Отец, который должен держать перед богом ответ за их души. Отец, который вырастил их, трудами которого они все кормятся. Неужели они наконец не поймут, что у них есть отец?

Но нет! Он и этого не желает. Ничего он не хочет и не ждет. Даже мысленно не хочет выпрашивать и унижаться... Пускай уезжают, пускай обходятся без него. А он проживет и без них, как жил до сих пор. Он идет из хлева в клеть, из клети — в погреб. Старый Клява хорошо понимает, каким маленьким, жалким и смешным он выглядит, когда вот так бесцельно бродит по усадьбе. От горечи и от жалости к самому себе на гла-

зах выступают слезы — от них вздрагивают седые ресницы. Сжимается горло...

И все-таки он прислушивается. И все-таки ждет. И все-таки струны натягиваются все туже.

А дети рады отъезду. Об отце, верно, совсем позабыли. Их разговоры и смех раздаются на всю усадьбу. То и дело отворяются и хлопают двери.

Из батрацкой один за другим выходят на двор ее обитатели. И старые и малые. Все смотрят на отъезжающих, все смеются и улыбаются вместе с ними и помогают собираться. Веселый, неуместный в воскресное утро гомон стоит на дворе Клявов.

Старый Клява видит, что никому здесь нет до него дела. Никого не интересует, чем он занят, куда идет, что ему нравится или не нравится. Никогда еще он не чувствовал себя таким одиноким, покинутым. Отец... Уж не в насмешку ли называют его так? Только сегодня утром он начал постигать, что это древнее слово уже утратило свой древний смысл, что оно — скорлупа, а ядро понемногу истлело и ссохлось. Слово — всего лишь пустой звук, подхваченный и развеянный ветром.

Ага, зовут! Все-таки вспомнили. Старый Клява останавливается и смотрит на отъезжающих. Они садятся в бричку. Анна уже устроилась посередине. Альберт с Карлом собираются сесть с обоих боков. А вороного, который уже почуял, что скоро ему трогать, не сдержать — он фыркает, топчется, роет землю и дергает бричку. Адам натягивает вожжи, упершись ногами в оглобли, откидывается назад всем телом.

Значит, хотят проститься с ним... Старый Клява видит, что все смотрят на него, и нехотя, медленно идет к детям. Подойдя к бричке, он протягивает руку. Может быть, поцелуют,— думает он. Думает и ждет, и от ожидания у него учащенно бьется сердце. И в то же время он твердо знает, что не поцелуют... Чужие люди целуют, а родные дети — нет. Родные дети стали более чужими, чем посторонние люди.

Альберт протягивает отцу руку, но в эту минуту Адам слегка отпускает вожжи, вороной встает на дыбы и пускается вскачь. Пальцы Карла грубо задевают руку отца и скользят мимо. Сыновья снимают шапки. Анна машет рукой, в общей сутолоке не слышно, что они говорят.

Старый Клява несколько мгновений стоит остолбенев, с протянутой рукой.

Домашние, сбившись в кучку, смотрят на дорогу, где из-под копыт беснующегося коня взвивается облако пыли. Оно

окутывает седоков, словно развевающееся полотнище. Домашние провожают их криками «берегись».

Вдруг необъяснимая, безудержная злоба горячей волной захлестывает старого Кляву. В ушах что-то гудит, перед глазами мелькают огненные искры.

— Чего орете в святой день! — кричит он не своим голосом.— Точно ошалели...

К нему поворачиваются удивленные лица.

— Отец... да мы ведь глядим только, как уезжают...

— Нечего глазеть! Не видали, как уезжают! Безобразники!

Работники умолкают от изумления. Таких слов еще никто от него не слыхал, никто не слыхал, чтобы он ругался. И почему именно теперь? Почему?

— Отец...— обиженно начинает один из них и осекается.

Незаслуженная ругань ожгла их, словно колючий ледяной зимний ветер. Лица становятся серьезными, некоторые морщатся, некоторые краснеют. Глаза прищурены, и из них глядят обида, гнев, строптивость.

— Не знаю, отец, с чего вы этак,— начинает другой и сердито кашляет.

Старый Клява его перебивает:

— Никакой я вам не отец... не желаю, чтобы меня так называли. Какой я вам отец? Я вам хозяин, и все... Слышите: все! Не отец я вам и не желаю быть отцом.

Он чувствует, что весь дергается от непреодолимого волнения, чувствует, что говорит не то, что несправедлив к другим и к себе. Знает, что с каждым словом теряет уважение, которым пользовался до сих пор как хозяин, знает, что становится ничтожным, мелким, духовно нищим, презренным, смешным. Знает, что уже никогда ему не вернуть доброго имени и почета, которые теперь он сам попирает ногами,— но не может сдержаться. Он словно катится с крутой горы.

— Скоты вы, а не люди... Вы только тогда понимаете, когда над вами с палкой стоишь... Никудышное, пропащее вы племя. С вами нельзя, как с людьми... С вами надо, как с собаками, вот тогда вы понимаете, что такое стыд и послушание... Ну, чего рты разинули? Не знаете, какой сегодня день? А?.. Воскресенье сегодня, слышите, воскресенье!

На миг у него прерывается голос. Широко раскрытыми выпученными глазами смотрит он на работников и ничего не видит.

— Не знаете, что в воскресенье положено?... Где же вам теперь знать! Хорошую школу успели пройти... Погибшие души... На молитву, дьяволы!..

Клокочущим пламенем заполыхала тихая, кроткая душа. Долго накапливавшиеся воды прорвали плотину, в слепой ярости разрушая и заливая все вокруг. Спасаясь от самого себя, старый Клява убегает.

Он сам не знает, куда и зачем. Кулаки его сжимаются, угрожая неведомому врагу. Словно умалишенный, словно одержимый злым духом, он без умолку твердит скверные, непристойные ругательства и проклятья, которых раньше никогда не произносил. Бегущая навстречу собака по привычке лезет к нему, ластится,— он пинает ее ногой. От удивления собака даже забывает взвизгнуть и, присев, долго провожает хозяина неподвижным, недоумевающим взглядом. Заметив, что у пастушки два ягненка забрели в овес, он бранит ее так грубо и пакостно, что та от удивления и стыда сломя голову бросается загонять скотину в болото.

Такие тихие, замкнутые люди, когда они взволнованы, не могут усидеть на месте. Старый Клява замедляет шаг только тогда, когда злоба понемногу проходит. Сделав большой крюк, он с другой стороны возвращается к дому. Гнетущая усталость все сильнее давит на плечи, заставляет подгибаться колени.

В комнате пусто, не прибрано: все — как осталось после отъезда детей. Может быть, давеча сюда и собирался народ на молитву, ждал его. Пускай... Бесконечно ничтожным и безразличным кажется ему теперь все, кроме его самого и детей. Он садится на свое обычное место у окна, неподвижно глядит в одну точку на полу.

За спиной его ветер хлопает створкой полуотворенного окна. Неприветливо и пусто в комнате. В саду настойчиво шелестит кажущийся холодным ветерок. Временами по телу пробегает озноб. А на дворе самая жаркая пора — вторая половина лета. Небо словно затянуло тучами, словно уже сгущаются сумерки. А ведь еще утро, и на небе ни облачка...

Ему здесь не хватает воздуха, трудно дышать... Старый Клява встает. Лучше выйти, пройтись, как обычно, когда тяжело на сердце. Но он продолжает стоять. Чувствует, что на этот раз ничто его не развлечет и не рассеет. Его так согнуло, что уж больше не выпрямиться, в самой глубине души что-то повреждено, сломано. Словно за ним повсюду волочится, цепляясь за все, ветвистая, отягченная листвой верхушка дерева. Одна мука...

В окно долетают знакомые голоса. Старый Клява машинально оборачивается. Вначале смотрит бездумно, не понимая. Потом вглядывается внимательнее. Перед хлевом, на батрацком огороде, он видит Пакална с женой, сыном и маленькой дочкой. Сын, должно быть, собирается уходить, стоит с отцом у забора и солидно, совсем по-стариковски, разговаривает. Пакалниете, немного поодаль, очищает только что выкопанную брюкву сыну в гостинец. Девочка наклоняется над грядкой, выискивая морковки побольше, потолще и послаще, чтобы набить брату карманы... Другого угощения у них нет... И не надо... Довольно и этого. Все весело разговаривают и смеются.

Мозг старого Клявы вдруг начинает работать с поразительной быстротой. Сотни мыслей кружатся, переплетаются и обрываются. В одно мгновение он окидывает взглядом картину будущего этой семьи... Не легкая у них доля — нет. Кто же не знает, как трудна жизнь батрака. Но если они будут держаться вместе и жить в согласии, стремиться к одной цели, то все преодолеют и выбьются в люди. Теперь они батраки, а через несколько лет будут где-нибудь испольщиками. И дальше так пойдет. Конечно, испольщикам тоже не очень легко и сладко приходится, а все же... И главное, все, как один... Общая работа, общие мысли, общий язык... На каменных устоях зиждутся отношения этой семьи. Сила ее в сплоченности, а счастье в ее силе. Как хорошо жить в такой семье! Как ее согревает солнце взаимной любви.

Старый Клява не может оторвать глаз от Пакалнов. И чувствует, как где-то, в самой глубине сознания, поднимая голову, шипит маленькая черная змейка, напоминающая ему о его горе и беспомощности. Черная, подлая, жалкая зависть... Но он не может удержаться. Его воля сломлена.

Старый Клява настежь распахивает окно. Громыхая крючками, створки стучат о стену. Он высовывается в окно.

— Пакалниете! — пронзительно кричит он.

Ветерок треплет его белую бороду. Лохматые брови свисают на блуждающие, лихорадочно горящие глаза.

Пакалны замолкают, оборачиваются, смотрят на него. Но старый Клява не знает, что еще сказать. И что он может сказать? Какое он имеет право вмешиваться в жизнь другой семьи? В конце концов это одно сумасбродство. Словно ему от этого станет легче... И жгучий стыд перемогает в нем чувство горя и малодушие.

Он отрывается от окна. Захлопывает створки.

Его ловкая и маленькая фигурка словно обмякла, руки и

ноги дрожат от старческой слабости, а на лице и во взгляде беспомощное, растерянное выражение.

Мелкими, нетвердыми шажками старый Клява бродит по своим четырем большим выбеленным комнатам.

Вот... На подоконнике тоненький красный карандашик с белой костяной шишечкой на конце. На столе — забытая книга. На комоде — Аннина шляпная коробка и измятый носовой платок... Старый Клява собирает все это, складывает на столе в кучку. Сам садится на Аннину кровать. С жалкой, беспомощной улыбкой долго-долго смотрит на оставленные детьми вещи.

Как он бесконечно беден, богатый старый Клява! Точно человек, у которого все украли, оставили только то, что было на нем. Должник, у которого все до последнего заложено и продано с молотка. Выброшенный на берег лодочник... и лодка его, разбившись о пороги, лежит на дне Даугавы...

В большие окна тускло светит солнце.

Пустынно и холодно в четырех больших выбеленных комнатах.

С потолка постепенно спускаются серые сумерки.

С жалобной, печальной улыбкой старый Клява устало и бездумно смотрит на брошенные детьми вещи.

3. ДЕТИ

Третий звонок. Сперва тонкий, дребезжащий, а затем глухой, протяжный свисток, и поезд вздрагивает. Заиндевелые буфера с лязгом ударяются друг о друга, вагоны дергаются вперед, назад, затем длинной разноцветной вереницей медленно проплывают мимо усыпанного песком перрона.

Старый Алкснис подходит к самому краю перрона и, вытянув шею, смотрит на вагон, в который сели его Янис и Амалия. Одна рука у него голая, перчатку он держит в другой,— ею он помашет в ответ, когда дети, высунувшись из тамбура, станут махать ему,— Янис — своей гимназической фуражкой, Амалия — носовым платочком. От напряжения у него рябит в глазах. Он всем телом подается вперед, но ни фуражки Яниса, ни платочка Амалии не видно. Вот... вагон на повороте исчезает за обындевелыми липами. Исчезает и весь поезд, только с той стороны сквозь липы обратно к станции валит черный дым.

Слегка растерянный, старый Алкснис выпрямляется, отступает на несколько шагов. Потоптавшись на месте, принимается медленно натягивать на руку перчатку.

Мороз... Начало января, лютая зима...

Натянув перчатку, Алкснис вспоминает о своей трубке, собирается закурить, но передумывает. Задумчиво трет нос перчаткой, возвращается на прежнее место, наклоняется, смотрит.

— Чего высматриваешь? — раздается позади знакомый голос.

Старый Алкснис порывисто оборачивается: Линит... Тот самый Линит, что в позапрошлом году батрачил у него.

— Да я не высматриваю,— отвечает старый Алкснис с наигранным безразличием.— Так просто...

— Дети уехали? — Линит, дружески улыбаясь, подает своему бывшему хозяину руку.

— Уехали...— В голосе старого Алксниса даже слышится какая-то веселая нотка. Он снова стягивает перчатку, ищет трубку.— Пришла пора уезжать. Рождественские каникулы кончились, завтра опять начнутся занятия.

— Как же, как же,— Линит одобрительно кивает головой.— У каждого свои дела, свои заботы. Парень-то твой не скоро кончает?

— Да где там!.. Он еще только в шестом классе. Еще два года, не считая нынешнего!

— А!.. Еще два года! И дочка тоже. Да, школа это тебе влетает в копеечку!

На лице старого Алксниса появляется недовольная гримаса.

— Корову и борова продали,— словно нехотя говорит он,— все деньги им с собой отдал. Деньги... что деньги — для детей не жалко.

Оба вздрагивают от звона дребезжащего станционного колокола. Сторож с торжественным видом дергает замусоленную веревку.

— Осторожно-о! — кричит станционный жандарм. Старый Алкснис с Линитом одновременно замечают товарный поезд, который, пропустив пассажирский, подходит по смежному пути к станции. Затем они медленно направляются к коновязи.

Почти все, кто привез пассажиров, уже разъехались. Рядом с гнедым старого Алксниса стоит всего несколько лошадей. На станции безлюдно. Только помощник начальника станции в красной фуражке важно шагает по перрону, встречая товарный поезд. Дверь в буфет третьего класса слегка приоткрыта. Оттуда валит облако белого пара.

— Зайдем, а? — подмигивает Линит, указывая на дверь.— Я угощаю. Только что получил от аптекаря за пилку льда.

Старый Алкснис отмахивается.

— Не стоит, в другой раз. Если тебе домой, то подвезу до перекрестка.

— Домой, домой — куда же еще! — живо отзывается Линит.

По правде говоря, он все время только и думал о том, как бы добраться до дому. Опередив старого Алксниса, он отвязывает его лошадь. В сани садится с самого краю.

— Садись поудобней,— предлагает ему старый Алкснис,— места хватит.

— Спасибо, спасибо! — отвечает Линит.— Ты не беспокойся, я уж как-нибудь... Мне бы только доехать: семь верст... За ночь всю дорогу замело.

— Да-а, малость замело...— рассеянно отвечает Алкснис и умолкает. Видно, что он думает о другом. Линит вежливо покашливает и тоже молчит. Гнедой трусит ленивой рысцой. Печально позвякивает соскочившее со шлеи колечко.

Немного погодя старый Алкснис поднимает голову и, кашлянув, смотрит на своего спутника.

— Смотрел, смотрел,— говорит он ни с того ни с сего.— Думал, помашут: Янис — фуражкой, Амалия — платочком. До того ли... В вагоне полно учеников и учениц... У них свои разговоры. Да, Линит, нелегко с детьми.

— Нелегко, хозяин, нелегко,— с готовностью соглашается тот.— Ученье стоит денег.

— Деньги что... Для детей не жалко... Тут другое...

Линит откашливается, не знает, как продолжить разговор. Наконец на авось спрашивает:

— Что же, твой сын — на доктора учиться хочет?

Старый Алкснис качает головой.

— Это уж там видно будет... Сам толком не говорит. Знаешь, Линит, какие теперь дети пошли: все только про себя, все сами... Отец, мать,— что они им теперь...

Линиту становится неловко. Он долго трет нос варежкой.

— Да, вот оно как,— бормочет он.— Нынче мудрено стало на свете жить.

Старый Алкснис вынимает изо рта трубку, прячет ее в карман шубы. Затем поворачивается к спутнику.

— Ты, Линит, ничего не знаешь, у тебя нет детей. Никому я не говорил, а тебе скажу, ты мне вроде как родственник. Нехорошо, правда, чужому человеку про своих детей! Но у меня сегодня весь день сердце ноет. Да что — весь день, все эти две недели, пока они дома были. Днем ходишь и украдкой поглядываешь на них, а сердце прямо разрывается, словно от горя какого. Разве они побегают, пошалят или снежками покидают-

ся, как мы, бывало? Весь день в комнате, над книжками гнутся, шушукаются друг с другом, словно родителям и знать не надо, что у них на душе. Бледные такие, отощали, смотреть больно... Ночью лежишь, а сон нейдет. Лежишь с открытыми глазами, прислушиваешься, как дети дышат, думаешь и никак не поймешь, почему они такие молчаливые, чужие.

— Да-а! — вставляет Линит, чтобы показать, как внимательно он слушает.— Эти городские школы — не шутка. Они здоровье съедают.

— Будто охладели...— продолжает разматывать нить своих мыслей старый Алкснис.— Вот мы с матерью порешили: может, пареньку нехорошо одному там, в большом городе, среди чужих. Надо и дочку послать, вместе им там как дома будет. Ты знаешь, какая у нас Амалия была: как пташка, которая ни минутки на одной ветке не усидит, как ртуть... Летом все вишни обломает, зимою во всех сугробах переваляется. А теперь приедет домой — мы с матерью глядим-глядим на дочку, а ее и не узнать! Платье на ней какое-то поношенное, волосы нечесаные, походка вялая. Мать слезами обливается. Спрашиваем: уж не захворала ли? Помотает головой: нет, устала. А скажи, Линит, разве мы в их годы знали, что такое усталость?

Навстречу едет длинный обоз саней со льдом. Гнедой Алксниса сам сворачивает к канаве и останавливается. Некоторые возчики, проезжая мимо, здороваются со старым Алкснисом, но он не отвечает. Неподвижно смотрит он на вожжи и думает свою думу.

— С озера едут...— кивает Линит вслед обозу.— Весь этот лед я заготовил.

Но Алкснис не слушает его. Гнедой еще не успел выбраться на дорогу, а он опять продолжает свое.

— Разговаривают с нами, как с чужими. Сразу видать, что не от души. А между собою часами говорят и шепчутся. Вот когда оттепель была, сын батрака Мартыня с девушками на дворе игру в снежки затеяли; пристали мы с матерью к детям: подите, мол, и вы поиграть. Вышли, десяти минут не побыли, и обратно. Не нравится... На Новый год в Доме общества бал устраивали. Мы их туда прямо силой гнали — и все напрасно, не поехали. Какой, мол, толк от этих балов — одни глупости. Ну что ты скажешь, Линит: словно старики! Повеселиться не умеют... Давеча, когда туда ехали, я у станции увидел выброшенную за забор старую рождественскую елку. Мне тут сразу в голову пришло — и теперь никак забыть не могу,— разве их молодость не похожа на такую вот выброшенную елку? Свечки

погасли, детские утехи кончились. Спрашиваем: все ли у вас там такие? Нет — не все. Другие, говорят, живут беспечно, весело, не думают ни об учении, ни о цели жизни.

— Цель жизни...— немного погодя медленно цедит сквозь зубы старый Алкснис.— Мне сдается, что в ней-то вся и беда. Только поди пойми, что они думают, когда ничего тебе не говорят. Ломай себе голову, думай сколько хочешь,— все равно ничего не придумаешь. Все мысли словно об стенку ударяются. А сердце чует, что хорошего в этом нет. То, что сердце детей от родителей удаляет, не может исходить от господа. Да... Сегодня утром перед отъездом собрались на молитву. Перелистываю книгу псалмов, а украдкой на них посматриваю. Чудно мне чего-то... И в самом деле: они так переглянулись, что у меня книга в руках задрожала, и петь никак не могу. Напев знакомый издавна, а петь не могу. А у матери, смотрю, слезы на глазах... она тоже заметила.

Линит сердито откашливается.

— Да, отец, распустилась теперь молодежь. Чересчур распустилась. Что теперь для них родители, что слово божье! Мирская премудрость, мирские утехи — вот чему они поклоняются.

Старый Алкснис вздыхает.

— Нет, Линит, у них этого нет, чтобы с умыслом или досадить. Вижу я: и не хотят они, да иначе не могут. Ими управляет какая-то тайная сила, какая-то непостижимая власть. Мы этого не понимаем, и они не понимают, мы не можем иначе, и они не могут... Приди нам это раньше в голову — стали бы посылать их учиться! Поучились бы тут в приходской школе и прожили бы. Много ли мы учились, а разве не стали людьми? Вот и они бы так.

— Не в этом счастье,— кивает Линит головой.— Нынче молодежь всюду одинакова. Нечистый всюду сеет свое семя...

— Неисповедимы пути господни...— задумчиво говорит старый Алкснис.— Нельзя поверить, чтоб на то была божья воля, и нельзя поверить, что такое может случиться наперекор ей. Я чуть слезами не залился, когда дети сели в вагон. Все казалось — что-то позабыл, что-то еще сказать надо, а сам не могу вспомнить. Смотрю вслед поезду,— может, помашут фуражкой или платочком, как всегда. Но нет — и не вспомнили... Где там: обступила целая толпа товарищей и подружек!

Старый Алкснис внезапно умолкает — слишком дрожит у него голос, и ему неприятно, что Линит это замечает. Его печаль постепенно перешла в озлобление, которое ищет выхода. Глаза у Алксниса загораются.

— Но-о, стервец, тащится, как дохлый,— и, наклонившись, он изо всех сил ударяет гнедого вожжой по крестцу. Тот с испугу подскакивает и так дергает сани, что Линит чуть не вываливается из них. И тут же конь переходит на резвую рысь. Прижав длинные мохнатые уши, он удивленно косится одним глазом назад.

Продолжительное, неловкое молчание. Старому Алкснису неприятно, что он почти чужому человеку столько наговорил о своих детях и что на сердце от этого вовсе не полегчало, а стало еще тяжелее. Неприятно и Линиту — он не знает, что сказать, как утешить любезного хозяина. Наконец собирается с духом, откашливается.

— Лен вы уже кончили трепать? — заговаривает он другим голосом.

— Что — лен? Да, почти... еще каких-нибудь полберковца осталось. Лен нынче не в цене.

— Да, слыхал. Трудно придется в нынешнем году хозяевам: хлеб совсем дешевый, лен тоже, а расходы большие.

— Расходы большие... Слушай, Линит, ты никому не передавай, что я тебе про детей говорил... Это я одному тебе.

— Что ты, отец! — Линит с достоинством машет рукой.— Разве я баба? У меня, как в сундуке под замком.

— Да я не то сказать хотел...— Старый Алкснис пытается засмеяться.— Неужто я про своих детей плохое говорить стану... Так, иногда находит.

Он не может подыскать слов, беспокойно ерзает, в нем снова пробуждается озлобление. Он нагибается, хлещет гнедого по спине.

Линит хватается за вожжи.

— Тпру!.. Останови, хозяин!

Старый Алкснис придерживает лошадь.

— Ну, что?

— Доехали,— объясняет Линит.

У дороги стоит дерево с густой верхушкой, покрытой инеем,— должно быть, ветла. Возле нее в рыхлом, наметенном за ночь снегу еле видны следы какого-то прохожего, а может быть, и проезжего.

Старый Алкснис останавливает лошадь.

— Спасибо, что подвез,— благодарит Линит, прощаясь.— Теперь уж дойду. Еще версты две... Езжай с богом. Кланяйся хозяйке. Спасибо, что подвез.

Отъехав шагов двести, старый Алкснис вдруг, еще что-то вспомнив, придерживает гнедого и оглядывается.

Линита едва можно разглядеть сквозь стоящую в воздухе изморозь.

— Линит! — зовет он. Но тот не останавливается, должно быть, не слышит.— Линит! Так ты никому не говори...

Немного подождав и не получив ответа, он выпрямляется. Лицо у него красное.

— Но-о, стервец, чего плетешься! — Он снова нахлестывает гнедого вожжой по крестцу.

Лошадь пускается резкой рысью. Печально позвякивает соскочившее со шлеи колечко.

4. СЫН С ЧУЖБИНЫ

С самого обеда в доме и на дворе у Крикисов началась суета и беготня. Двор был прибран, подметен и блистал чистотой. Конский и коровий навоз сгребли в яму, мусор, обломки кирпича, камни, заржавленные дырявые чайники и осколки стекла собрали в кучу у двери в клеть. Обвалившийся забор кое-где подперли. На скорую руку выкосили жухлый гречишник и лебеду.

По одну сторону квадратного двора стоял старый жилой дом в два маленьких окошка с покосившейся замшелой соломенной крышей. Наружные двери на лето обычно выставляли, и в зияющий проем видны были дочерна закоптелые сырые сенцы, а в глубине — старинный очаг, над которым постоянно висел на железном крюку котел, облепленный лузгой, мукой и картофельной шелухой. Прямо против двери дома, на другой стороне двора,— хлев и грязный загон, а сбоку — клеть, и еще немного поодаль — рига с половней и навесами. Все постройки у Крикисов ветхие, покосившиеся, под дырявыми соломенными крышами. Всюду бедность, запустение и грязь.

Хозяйство Крикисов постепенно, но неудержимо приходило в упадок. Люди объясняли это разными причинами — ленью, пьянством, неуживчивым нравом хозяев. Сам же Крикис любил жаловаться на трудные времена, плохие урожаи, большие платежи и злую жену. Но никому из Крикисов не приходило в голову подумать над тем, как бы покончить с жалким полуголодным существованием и начать жизнь по-иному.

Крикис вышел во двор и, задрав рыжую бородку, с минуту смотрел в сторону большака. Красное потное лицо его выражало мрачную надменность. Глаза прятались под длинными ресницами. Он был в одной рубахе, подштанниках и в стоптанных

опорках. На дворе он постоял только несколько минут. Харкнул, сплюнул, тяжело ступая, пошел обратно в дом и прямо в опорках повалился на кровать; повернувшись к стене, он укрылся от мух одеялом до самого подбородка.

Ему не хотелось показывать, что и он с нетерпением ждет сына из дальних краев...

Однако с того дня, как пришло письмо от Юриса, он почти беспрерывно думал о нем.

Надо сказать, что от сына он мало видел радости и за последние шесть лет почти забыл его. Первое, что он почувствовал при чтении письма, была досада, которую он всегда испытывал, глядя на тихого, задумчивого мальчика. Еще с первой женой у него часто возникали из-за Юриса ссоры и скандалы. И когда сын шесть лет тому назад ушел из отцовского дома, ненависть и злоба камнем залегли в сердце Крикиса, мучили его самого, мучили других и стали бременем всей жизни. Ведь все они надеялись, что Юрис, этот грамотей и умник, говоривший на четырех языках и читавший толстые книги, преобразит их серую жизнь. Тогда не надо будет так много работать, не надо будет так рано вставать по утрам, коптиться в дыму риги, мокнуть под осенним дождем. Пусть хлеб на полях по-прежнему будет полегать, но денег и водки будет вдоволь... Изо дня в день они с каким-то заносчивым упорством ждали, когда Юрис наконец начнет творить свои чудеса. А он зарывался в книги, сох, худел и становился все более молчаливым.

Однажды он связал в узелок пожитки и покинул отцовский дом...

Но теперь ему этот грех как будто забыли и простили. Все с нетерпением ждали приезда Юриса. Брат его, Карл, сразу же после обеда поехал встречать на станцию. Крикис за это время самое меньшее раз десять выходил во двор. А женщины и вовсе не заходили в дом — все время оставались во дворе.

Хозяйка, крупная, полная, красивая женщина, с густыми светлыми волосами и продолговатыми голубыми глазами, стояла посреди двора. Расправляя белый накрахмаленный фартук, измятый четырехлетним сынишкой, она беседовала с соседкой Спилвиене, которая прибежала поглядеть на разбогатевшего сына Крикисов.

— Что же это он не едет? — сказала Спилвиене и, затенив глаза ладонью, посмотрела на дорогу.

— Поезд, видать, еще не пришел,— ответила хозяйка.— Мы ведь не знаем, как поезда ходят.

— Теперь, верно, скоро приедет?

— Должен бы приехать.

— Посмотрим, посмотрим, каким он стал, твой пасынок.

Хозяйка усмехнулась.

— Пасынок... Смешно, право... Я всего на два года старше его. Раньше, когда он еще жил здесь, а я батрачила у Крикиса, мы с ним, бывало, о разном беседовали... С другими он говорил мало, а со мною часами разговаривал... Хороший он человек... Посмотрим, посмотрим...

Хозяйка нервно мяла и разглаживала свой фартук и кусала губы.

Падчерица Лата, девятнадцатилетняя сестра Юриса, по дороге из дому в клеть остановилась перед мачехой.

— Что ты там несешь? — спросила хозяйка.

— Свое новое одеяло.— Лата говорила быстро, заикаясь, и некрасиво вытягивала при этом шею.— Хочу постелить ему на кровать.

Хозяйка повернулась к Спилвиене.

— Девчонка с самого утра подметает и убирает клеть. Постель постелила чуть не до самого потолка — простыню с подзором, три подушки, новое одеяло вот... Как для жениха.

— Брат... богатый брат в десять раз милее жениха. Жених только вынюхивает да выспрашивает, что за тобой взять можно. А брат другое дело — брат сам дает...— Разговаривая, Спилвиене усердно размахивала руками.

Лата засмеялась, показав некрасивые зубы. Затем оглядела свое поношенное платье и вдруг замолчала.

— Что же он мне привезет? — тихонько уронила она.

— Я думаю, обязательно золотые часы и шелковое платье,— пошутила хозяйка.

— Шелковое платье... золотые часы... Куда тебе,— махнула рукой Спилвиене.— Вот на два шелковых платка, на брошку с камнями рассчитывай смело.

Девушка, подпрыгнув от радости, перекинула новое одеяло на другую руку и побежала в клеть. Слышно было, как она там чем-то шуршала и что-то встряхивала.

Спилвиене приблизилась к хозяйке.

— Мы со стариком так рассуждаем... Что для тысячника двадцать — тридцать рублей — все равно что для нас копейки... Ведь сами знаете: коровка у нас от кровавого поноса подохла... А сколько мы зарабатываем? Новую купить не по силам. Хоть с голоду помирай. Мы с моим стариком так рассуждаем: приедет, дескать, господин Крикис — поможет нам. Что ему стоит!..

А ты, хозяюшка, замолви за нас словечко, он тебя послушает: такими друзьями были. Поговоришь, а?

— Поговорю...— ответила хозяйка, думая о другом.

Спилвиене ушла, а хозяйка осталась на дворе и, опустив глаза, все разглаживала свой фартук.

Крикис, стуча опорками, опять вышел во двор.

— Чего ты здесь весь день торчишь, словно в землю вросла! — сердито заговорил он.

— Жду твоего сына,— равнодушно ответила жена, кинув на мужа усталый, хмурый взгляд.

— Приедет без твоего ожидания,— отрезал Крикис.— Берись за работу, нечего лентяйничать!

Хозяйка уже собралась идти, но при последних словах мужа остановилась, чтобы, как всегда, позлить его.

Мимо пробежала от клети к дому Лата.

— Куда тебя несет?! — набросился на нее отец.

Девушка остановилась как вкопанная.

— Хотела метлу взять, потолок обмести, паутиной затянуло.

— Ты все в клети торчишь, чего там копаешься?

— Готовила постель Юрису.

— Постель!.. Я из вас эту дурь вышибу! Вам бы все постели стелить да часами стоять, на дорогу глазеть. Ждите, ждите, привезет вам парень мешок золота.

Лата испуганно посмотрела на мачеху. Та провела ладонью по лицу и, взглянув на мужа, презрительно отозвалась:

— Мешок с золотом — это для тебя,— ты больше всех про него думаешь. Хватит тогда тебе и водки и табаку на всю жизнь.

Она взяла Лату за руку и пошла с нею в дом.

Крикис тяжело опустился на камень у забора и принялся сердито сосать свою трубку. Он в самом деле больше всех зарился на богатство сына... Ну, а разве у него не было на это больше прав, чем у остальных? Он сплюнул и решил не входить в дом, пока не приедет сын.

Хозяйка тем временем сидела в комнате у окна и, подперев голову руками, смотрела в сад. Она была так занята своими мыслями, что услышала стук колес, когда лошадь уже въехала во двор. Она вскочила и тут же остановилась. И опять ей пришла в голову прежняя мысль. Хоть бы он вернулся не богатым, не знаменитым, а таким же, каким ушел: задумчивым, тихим, приветливым и бедным...

Выйдя со двора, она увидела странную картину. Юрис стоял у телеги в потертом пальтишке, в старой сдвинутой на

затылок шляпе. Грустно смотрел он на кучку домашних, и на сжатых губах его змеилась горькая улыбка. Родных словно холодной водой окатили. Карл, тихонько поругиваясь, распрягал лошадь, беспрерывно дергал ее и бил кулаком. Ни узелка, ни чемодана... Хозяйке Юрис показался таким же, как шесть лет тому назад, только немного похудевшим. И не было у него тогда этой насмешливой улыбки. Ее он привез с чужбины.

— Лата? — сказал Юрис тихим, таким знакомым хозяйке голосом.— Какая большая стала! И не узнать.

Лата поджала губы и спряталась за других. Все глядели, как говорится, выпучив глаза. На лицах были написаны самые разнообразные чувства — удивление, разочарование, злоба. Юрис смотрел на эти изменившиеся лица, понимая чувства родных, и улыбался своей неприятной улыбкой.

Затем он увидел хозяйку, стоявшую немного поодаль.

— А, Лиза! — воскликнул он.— Здравствуй, Лиза!

Не сказав ни слова, она подала ему руку. Лицо ее то покрывалось румянцем, то бледнело. Юрис задержал ее руку в своей.

— Все здесь живешь?

Она смутилась еще больше и пробормотала:

— Живу.

Домашние беспокойно задвигались. Юрис пристально посмотрел хозяйке в лицо. Но смущение ее продолжалось недолго. Она видела и понимала, что он не богат и не знатен. Все такой же бедный и приветливый, как и шесть лет тому назад... Ее вдруг обуяла беспричинная радость, в мыслях у нее непрерывно звучало: все такой же, все такой же!

— Как ты все это время жила? — спросил Юрис.

— Хорошо... я... хорошо...— заикаясь, ответила она, затем, выпрямившись, сказала: — Я теперь здесь хозяйка...

Но, сказав это, вдруг застыдилась и замолчала, словно чем-то очень обидела Юриса.

— Хозяйка? — протянул он, и улыбка его стала еще насмешливее и неприятнее.— Как это понимать?

Она не знала толком, что сказать. Оглянувшись, увидела тут же во дворе своего ребенка и показала на него.

— Вот мой сынишка... пятый год пошел...— и, повернувшись к мужу, резко крикнула: — Почему не ведешь Юриса в дом — до ночи стоять здесь будем?

И сама как-то слишком торопливо убежала в комнату. Юрис чуть пожал плечами, прошелся по грязной вытоптанной лужайке и сел на камень у забора.

«В лоне семьи»
«Дети»

Во двор вбежала Спилвиене, вбежала и остановилась, остановилась и стала смотреть. Взглянув на Юриса и домашних, поняла, что все ее надежды рухнули. Жалобная, страдальческая маска спала с ее лица, старуха смотрела злобно, негодующе.

— А, дождались наконец молодого барина! Так готовились, ждали... весь день бегали... Лата все постель стелила... И, видно, не зря, не зря... А ну показывай,— продолжала она, обернувшись к Лате,— где твои шелковые платья, где платки, брошки? Показывай и мне подарочки! Мне не жалко, я завидовать не стану,— господи, не у всех же бывают богатые братья... Ну, показывай!

Лата только усмехнулась и гневно сверкнула на брата глазами.

Теперь Спилвиене обратилась к Крикису, которому болтовня старухи пришлась по вкусу.

— Значит, тебе, хозяин, достанется его тугая мошна...— Она хлопнула себя по карману юбки.— То-то житье пойдет. Крикиса тогда не узнаешь: на паре ездить будет... да и заслужил ты, ничего не скажешь. Кто же надрывался и день и ночь, пока сын в городских школах и бог весть где учился...

Юрис смотрел на отца и сестру, ему было понятно их разочарование — он видел этих людей насквозь. Он понимал, что спутал их расчеты, разбил их надежды, вернувшись домой бедняком, без денег, без шелковых платьев и платков. Только одного он не понимал, почему так разбушевалась эта чужая старуха, да и то не удивлялся. Улыбка все заметнее трогала его губы, ему даже веселее стало.

Хозяйка опять вышла во двор и позвала его:

— Иди... ужинать.

— Спасибо, мне не хочется есть.

— Все равно без ужина я тебя спать не отпущу. Идем!

Она за руку повела его в дом.

— Садись и ешь,— сказала она в комнате.— Только сними пальто, легче будет, а то здесь жарко.

Он положил на край стола запыленную шляпу и, опершись на него локтями, обхватил руками голову.

— Пальто снимать не стану, и так хорошо.

— Почему? Ведь уже поздно, и идти тебе некуда.

— Как знать... Может — пойду.

Хозяйка грузно опустилась на кровать.

— Да ты что! Шесть лет в отцовском доме не был, да чтобы не переночевать... Что это тебе вздумалось!

Юрис ничего не ответил.

Хозяйка, немного помолчав, опять заговорила:

— Кушай, что же ты.

Он медленно, нехотя начал есть. Видно было, что он с трудом проглатывает каждый кусок. От духоты спирало дыхание, непривычное кушанье не лезло в горло.

— Какой ты измученный,— опять заговорила хозяйка, но он сразу перебил ее:

— Значит, ты вышла за моего отца?

Хозяйка отодвинулась подальше, в тень.

— Да-а.

— Давно?

— В ту же осень, как ты ушел. Уже шестой год.

Юрис покачал головой.

— Ну и дела... Даже не верится. И ребенок у вас?

— Да... пятый год ему.

— Ты вышла за моего отца... Как ты решилась?

— На что же мне еще было надеяться? Опостылело мне в батрачках жить, а тут усадьба, хоть и разоренная, запущенная, а все-таки я хозяйка.

— Я тебя хорошо помню,— сказал Юрис, не слушая.— Я тогда любовался твоей силой, здоровьем, твоим добрым сердцем и красотой. И все это ты отдала за развалившуюся хибарку такому человеку, как мой отец! Осталось ли в тебе что-нибудь от тебя самой? Гм, да — с виду ты все такая же, но в сердце, я знаю, у тебя пустота. Да иначе и быть не может — после шести лет...

— Замолчи... замолчи...— раздался прерывающийся от слез голос. И все же ей хотелось, чтобы он говорил. Хотелось слушать его, хотя каждое слово ножом резало сердце.

Юрису стало еще тяжелее от звука этого голоса.

Постукивая опорками, со двора вошел Крикис. Прежде чем войти, он некоторое время постоял, потоптался у порога, высморкался. Затем подошел к кровати и сел рядом с женой.

— Ну, рассказывай, где ты все это время жил? — заговорил он, насупившись.

Сын равнодушно пожал плечами.

— Долго рассказывать.

— Ну и что ж... Надо же отцу знать, где сын прожил целых шесть лет.

— В городе, тебе уже известно. Но о своей жизни, право, ничего интересного рассказать не могу.

— Стало быть, ничего путного не можешь рассказать?

Сын опять равнодушно пожал плечами.

— Может, и так...

Отец тяжело вздохнул.

— Я такой жизни не понимаю. Там любой, у кого есть руки, зарабатывает по два-три целковых в день, а ученый человек за все шесть лет не справил себе и приличной одежи. Нет, не пойму я этого.

— Значит, ты считаешь, что одет я неприлично, потому что хожу в потертом пальто? Я его сам, за собственные деньги, купил на толкучке. Уже второй год ношу — на редкость прочная материя.

Несмотря на сумерки, видно было, как у отца потемнело лицо, затряслась борода.

— Ты брось со мной шутки шутить. Молод еще... или, может, я сам чересчур стар. Вот так жизнь... судьба... С твоими-то знаниями да образованием далеко можно было пойти. Это... позор на весь свет!

— Ты ведь еще совсем не знаешь, как далеко я ушел.

— Никуда ты не ушел! Любой ребенок это видит по твоей одеже. Или, может быть, у тебя в банке тысячи?

— У тебя на уме одни жалкие гроши. Вот в этом-то я и ушел далеко: стряхнул с себя рабскую зависимость от твоих грошей.

— Что же ты все это время делал? — перебил Крикис. Потом прикрыл рот рукой и зевнул.

— Как когда... Служил в разных местах...

— А прижиться так нигде и не мог?

— Не мог... и не хотел. Как только мне надоедало в какой-нибудь конторе или лавке, отрясал прах со своих ног и уходил.

Отец кивнул головой.

— Бродяга, как есть бродяга... Ну, сегодня-то ты не уйдешь?

Хозяйка вдруг вскочила с кровати.

— Незачем и спрашивать! Ни сегодня, ни завтра он никуда не уйдет!

— Ну, Лиза, это мы еще посмотрим,— сказал Юрис и взял со стола шляпу.

— А я говорю — нет! —Хозяйка выпрямилась.— Усталого и, может быть, больного человека я на ночь глядя никуда не отпущу. Ты останешься.

— Выйду во двор — здесь, в комнате, слишком жарко...

На дворе он сел на большой камень у забора. Из хлева быстрыми шагами вышел брат его, Карл, остановился напротив, глянул исподлобья. Юрис с интересом посмотрел на него.

— У вас по-прежнему посреди двора загон,— сказал он,— и воняет по-прежнему.

Карл пожал плечами.

— Крестьянский нос должен ко всему привыкать. Это городские господа от любого запаха в обморок падают.

— Падать не падают, а противно. Вы ведь уже шесть лет тому назад собирались загон за хлев перенести и сток для навозной жижи устроить.

— Мало ли что собираешься, да всего не переделаешь... Ты надолго сюда?

— Не знаю, как придется.

— Не знаешь! А кому же за тебя знать?

— Я что-то сдал немного. Придется месяца три отдохнуть.

— Деньги у тебя есть?

— Есть. Четыре рубля с копейками.

— Тьфу! — сплюнул Карл, точь-в-точь как отец в подобных случаях.— И ты думаешь, что мы за четыре рубля будем тебя кормить три месяца? Да я тебя и три дня держать не стану, понял? Я буду работать, а он — отлеживаться, мою кровь сосать! Что ты мне хорошего сделал? Приличия ради, хоть бы десятку брату привез.

Юрис, подперев голову руками, с интересом смотрел на брата.

— Одного дня тебя держать не стану!..— кричал обозленный Карл.

— Иди-ка лучше спать. Не волнуйся и зря не расстраивайся — тебе завтра рано вставать. А гнать меня не придется, сам уйду.

Юрис встал и вышел в сад. Запущенные яблони, вишни, кусты крыжовника и смородины разрослись, словно лес. Под ногами хрустели опавшие сухие ветки, крапива жгла руки, от влажной земли поднимался запах гнили. Юрис остановился в темноте и приложил ладонь ко рту. Гнилостный запах, казалось ему, шел здесь от каждого стебелька... Воздух был такой, что спирало дыхание.

Он пошел в самый дальний угол сада, где стояла полуобвалившаяся, обвитая плющом беседка. Тут он когда-то любил сидеть. Ни дорожки, ни тропинки — все заросло, замшело. Кусты крыжовника и колючий бурьян цеплялись за платье. Мрак, казалось, глыбами опускался с покрытого туманом неба, ничего нельзя было разглядеть. Со стороны дороги доносился стук колес и фырканье лошадей.

Чуть не ощупью добрался он до беседки. Она совсем сгнила и развалилась. Нагнувшись, он вошел в нее, осторожно сел на трухлявую дощатую скамейку. Она хрустнула, но выдержала. Внутри тоже все заросло крапивой и лебедой. Должно быть, сюда давно никто не заглядывал.

«Может быть, после меня за эти шесть лет никто здесь и не был»,— подумал Юрис, и ему опять стало немного легче.

Вдруг он вздрогнул и насторожился. На дворе отец бранился с Карлом. Но он прислушивался к другому: кто-то шел по саду, шел и останавливался. «Зачем она идет, что ей нужно?» — спросил он себя, но не мог и не хотел ответить на этот вопрос.

Кусты зашуршали, шаги стихли, и у входа в беседку возникла темная фигура.

— Ты тут, Юрис?

— Да, Лиза. Извините,— мачеха!.. Входите, входите.

Она еще плотнее укуталась в большой платок и, нагнувшись, вошла.

— Где ты сидишь? Темно, ничего не видать.

— Темно... Садись сюда,— он хлопнул рукой по скамье.

Она села и поправила выбившиеся из-под платка волосы.

— Ишь куда забрался. Точно спрятался... Ты, должно быть, боишься... меня или еще кого?

— Может, и так...

— Почему ты...— Она замолчала и стала прислушиваться. Слышно было только, как отец с сыном бранились во дворе.— Ты не болен?

— Может быть. У каждого из нас своя болезнь.

— Верно... у каждого своя, у каждого своя.

Опять молчание. Казалось, что они, в темноте, боялись друг друга.

— Как тебе все это время жилось? — тихо спросила Лиза.

— По-всякому. Иногда хорошо, иногда хуже, но я не жалуюсь. Я ушел далеко вперед.

— По правде сказать, я тебя толком не пойму...

Юрис улыбнулся.

— Видно, ты недаром прожила шесть лет с моим отцом. Раньше ты очень хорошо меня понимала. Видишь ли, я за это время многому научился.

— Какому-нибудь ремеслу?

— Нет, вообще... Это трудная школа, и многому в ней можно научиться. Разве ты не замечаешь, что я стал другим?

— Не знаю, как бы сказать...

— Говори смело, когда-то мы ведь были друзьями.

— Друзьями... Уж очень ты стал резкий. И потом, сидишь ли ты, стоишь или говоришь — все время ты улыбаешься, и такой нехорошей улыбкой. Вот я и боюсь тебя.

Юрис провел рукой по лицу.

— Не знаю, может быть, ты и права. Но все это оттого, что я в отцовском доме. В отчем доме... родительская, братская любовь... какие пустые, ничего не значащие слова. Эта любовь цветет или увядает в зависимости от того, сколько денег ты выложишь на стол. Я еще не сказал тебе, что мне предстоит дальний путь. Я уйду далеко на много лет, быть может навсегда. Захотелось провести сутки в отцовском доме, а меня гонят... Мне это больно. Не оттого, что гонят, а оттого, что я поступил против своих принципов, оттого, что вздумал сюда заехать. Я ведь знаю их... Напрасно я приехал. Этот запах гнили невозможно вынести. Надо уходить.

— Неужели сегодня вечером? И не переночуешь?

— Как мне тут ночевать? Я в этом доме и глаз не сомкну. К тому же Карл только что сказал...

У Лизы сверкнули глаза.

— Ты не слушай, что он болтает! Я здесь хозяйка, я тоже могу сказать.

— Не надо, Лиза, не хочу я так... Ты ведь меня знаешь.

Хозяйка поникла головой и заговорила тише:

— Останься, Юрис, ради меня. Прошу тебя.

— Ради тебя?

Она в темноте стала искать руку Юриса.

— Хоть на одну ночь. Останься! Мне хочется многое сказать тебе.

Лизины горячие пальцы обвивают его холодную руку. Ему вдруг становится страшно в этом мраке.

— Останься...— шепчет она.— Я тебя не отпущу! Помнишь, как мы раньше сидели здесь до полуночи... Помнишь, о чем мы говорили?

— Зачем вспоминать! Тогда было другое время, мы были молодые, глупые. Что ты, мачеха, можешь мне сказать? Кажется, тебя уже ищут...

Она будто не расслышала последних слов.

— Ты все позабыл... А я — нет. Я помню все до последней мелочи, твои слова раздаются у меня в ушах. Ах, если бы ты видел, как я живу, если бы заглянул в мое сердце!.. Я только тогда успокаиваюсь, когда прихожу сюда и вспоминаю прошлое... Юрис, ты не уходи, я не знаю, что будет со мной...

Она пододвинулась ближе к нему. Большой платок соскользнул с плеч. Юрис почувствовал на своем лице ее дыхание.

— Чем я могу тебе помочь? — резко ответил он.— Кто я здесь?.. «И пришел он к отцу своему. И сказал: отец, я не достоин называться сыном твоим...» Помнишь притчу о блудном сыне? А ты... Кто принуждал тебя? Ты ведь сама выбрала себе такую жизнь.

Но она не слушала.

— Я больше не в силах так жить!.. Все эти годы я боролась, но теперь больше не могу... Брань, ссоры, скандалы каждый божий день с утра до вечера. Пьяные мужики, водка, провонявшая табаком одежда... Работаешь не покладая рук днем и ночью, на части разрываешься, но одной все равно не вытянуть, когда все тянут назад... Всюду гниль, сорняки, разруха... Словно тебе камень на шею привязали и ты чувствуешь, что тонешь. Нет спасения!.. Юрис, не уходи!

Юрис отодвинулся к самому краю скамейки. Он чувствовал, что в нем зашевелилась ненависть и к этой женщине. Она тоже предпочла согнуться, а не надломиться.

В саду послышались тяжелые шаги, с треском ломались ветки.

— Меня ищут...— зашептала хозяйка и опять прижалась к Юрису.

— Ты ведь останешься у нас, Юрис? Ты не уйдешь, ты поможешь мне?

— Как чудно ты говоришь...— резко ответил он.— Как безрассудно! Чем я могу тебе помочь?

— Я не знаю, но только останься!

В эту минуту поблизости раздался голос Крикиса:

— Лиза, ты здесь — в саду?

Она прижалась к Юрису еще крепче.

— Меня ищут... Откликнуться?

Он ничего не ответил, только пожал плечами. Ему в самом деле было безразлично, откликнется она или нет. А Лиза, все еще не зная, как быть, прислушивалась к шагам мужа. Ее полуоткрытые губы беззвучно шевелились, пальцы сжимали руку Юриса. Она страстно желала, чтобы муж прошел мимо.

Но он не прошел мимо. Подошел к беседке, наклонился, заглянул в нее.

— Есть здесь кто?

Юрис чуть не рассмеялся — таким смешным показался ему возмущенный голос отца. Он высвободил свою руку и ответил:

— Есть.

— Ты один или с Лизой?

Юрис молчал. Ему хотелось, чтобы Лиза ответила сама. Он заметил, как она вздрогнула и съежилась.

— Чего тебе надо? — спросила она, и в голосе ее прозвучала тайная злоба.

Крикис достал коробок, чиркнул спичкой. Трепетный красный огонек на несколько мгновений осветил три лица. Юрис смотрел на отца со своей обычной улыбкой. Лизино лицо выражало отвращение и досаду. Крикис, сдерживая злобу, старался проникнуть пронзительным взглядом в глубину их сердец. Ветерок подул на пламя, обжег Крикису пальцы и погасил спичку.

— Что вы тут делаете?

— Зажгите другую спичку, посмотрите,— ответил сын.

— Иди, Лиза, стели — пора спать,— сухо промолвил Крикис.

— Ишь барин, не может на неразобранную постель лечь!— отрубила она, но все же встала, поправила на плечах платок и вышла из беседки.

— Всего доброго! — крикнул ей вслед Юрис.

Она обернулась.

— Всего хорошего. Но ты не уходи!

Он ничего не ответил. Хозяйка постояла немного и ушла.

Отец прислонился к косяку.

— Когда думаешь уходить? — спросил он.

— Сейчас же. Карл уже приказал...

— Ну, на эту ночь оставайся, я тебя не гоню. Уйдешь завтра. Надо же выспаться.

— Благодарю за любезность, но я уж как-нибудь обойдусь.

Отец закашлял.

— Да,— сказал он, выпрямившись.— Теперь ты можешь обойтись без нас и без нашей любезности, но было время, когда не мог... Почему ты не мог обойтись без меня, когда учился?

— Ты подсчитал, во сколько тебе обошлось мое ученье?

— Нет, это трудно сделать.

— Так вот, я скажу тебе, что ты напрасно считаешь меня своим должником. Если вспомнить, сколько я зарабатывал уроками и сколько из этих заработков отдавал вам, то окажется, что я ничего не должен.

Отец зашевелился.

— Сыновнее уважение — вот что ты мне должен.

— Да вы любое уважение переводите на деньги. А денег я ни тебе, ни Карлу не должен.

Наступило молчание. Юрис смотрел на отца, и тот даже в темноте чувствовал его взгляд. Крикису стало жарко, заныло сердце. Несколько минут он не знал, что делать, что сказать. За его спиной поскрипывали гнилые деревца.

— Ничего...— забормотал он изменившимся голосом.— Я тебя ни в чем не упрекаю... ни в чем. Но ты хоть скажи, о чем вы говорили с Лизой... с моей женой?

— А! О чем мы говорили с Лизой? Зачем тебе это знать? Почему ты не спросишь прямо? Тебя ко всем бедам в придачу еще и ревность мучит... Да еще к собственному сыну!.. Чего только в этом доме не увидишь. Задохнешься тут! — Он обхватил обеими руками голову, затем стремительно вскочил со скамьи, пытаясь сдержаться.— Нет, я не буду сердиться. Мне тебя жаль. Мне тебя от души жаль, отец!

— Я жалкий человек, Юрис,— ты правду говоришь. Подлый человек и пьяница. Но ты не суди меня. Чего только я не натерпелся от этой женщины...

— Не рассказывай, я не хочу слушать. Отойди и выпусти меня.— Он отстранил отца и вышел из беседки. Ему были противны эти взаимные жалобы. С каждой минутой ему становилось здесь все невыносимее. Он пошел к дому. Опять крыжовник и сорные травы цеплялись за его платье, хлестали по ногам.

Хозяйка, постелив постель, сидела у окна и смотрела во двор. Когда вошел муж, она и бровью не повела. Он постоял посреди комнаты, прижал руку ко лбу, к груди, видимо, хотел что-то сказать, но затем тяжело повалился на постель, и стало тихо.

Хозяйка засмеялась про себя: она знала, что его мучит ревность, и радовалась этому — радовалась злой, греховной радостью. Она искоса взглянула на лежавшего мужа. От отвращения мурашки пробежали у нее по телу. Затем она опять повернулась к окну и стала ждать Юриса. Он должен прийти, хотя бы проститься... Через полчаса она так сидя и уснула.

Юрис долго стоял во дворе, погруженный в свои мысли.

«Отчий дом, отчий дом...» — повторял он про себя чуть ли не в сотый раз, но его сознание словно заволокло туманом. Он уже не мог вдуматься в смысл этих слов. Все переживания и впечатления этого дня как-то спутались и перемешались. Прошло довольно много времени, пока ночная прохлада не освежила его голову.

«Отчий дом...» Он разразился горьким смехом. Как заманчиво звучали эти лицемерные, коварные слова. Сколько разочарования и боли прячется за этой личиной! Сколько прекрасных

стихов он читал о родине, об отчем доме! И все это звучало для него издевкой. Никогда его израненное сердце не было так грубо и больно задето, как здесь, в отчем доме, и людьми, которые были ему ближе всех. Да, должны быть ближе всех, но в эту минуту он чувствовал, что самые чужие для него люди на свете — отец, брат, сестра. Он боролся с собой, со своими чувствами. Равнодушно и спокойно хотел он уйти из этого дома, а сам чувствовал, что в нем против воли поднимаются и растут озлобление и ненависть. А Лиза?.. Ее он ненавидел больше всех. С отвращением он вспомнил, как она прижималась к нему, в беседке, вспомнил свое малодушие и вздрогнул от холода и страха. Он должен был бежать от нее, от самого себя... от самого себя,— это он еще раньше почувствовал. Какое ему дело до страданий Лизы и отца!

Вдруг он очнулся: чего он еще тут стоит — изгнанный блудный сын? Он задыхается в этом воздухе, насыщенном ненавистью, недоверием, горем. Застегнув пальто, он пошел прочь. Но у ворот остановился и обернулся. Хоть бы проститься с кем-нибудь! Хоть бы собака выбежала вслед и залаяла!.. Но было тихо, все спали глубоким сном. Он вышел на дорогу и зашагал все быстрее и быстрее. Только на пригорке остановился и оглянулся в последний раз. Отцовский дом лежал в низине черной бесформенной грудой. И казалось, что ночной ветерок доносит оттуда запах гнили.

5. НА ВЫРУБКЕ

Над вырубкой нависло светло-серое облако дыма. Тяжелое и неподвижное, оно кажется застывшим, сплющенным. С Кукушкиной горы видно, как время от времени сквозь серую пелену с треском и шипением прорывается вверх клокочущий черно-красный столб. Это вспыхивает от корня до верхушки одинокая, забытая ель, которую настиг огонь.

А когда спустишься с Кукушкиной горы, сразу видно, что серое облако дыма только сверху казалось таким застывшим и неподвижным. Внизу шныряют, скачут, клубятся, расползаются тысячи красных змей. Слышно, как там все шипит, трещит и бурлит, словно в огромном котле. Время от времени раздаются тяжелые размеренные удары — это топор новосела валит обгорелую ель. Иногда доносятся короткий звенящий звук, будто задели пальцем струну цитры,— то плуг пахаря подымает новь, рвет цепкие, толщиной в два пальца, корни

елей. Под серым пологом снуют черные от копоти согбенные фигурки людей. Это их сила заставила плясать красных змей и превратила эту раскинувшуюся на три версты в длину и почти на столько же в ширину, покрытую кустарником и пнями вырубку в красивое ровное поле.

По ту сторону, прямо напротив Кукушкиной горы, вдоль опушки тянется полоса еще в прошлом году выжженной и засеянной вырубки. Иссиня-зеленая, едва начавшая колоситься рожь почти совсем скрыла разлапистые пни. Вокруг корневищ крупная переспевшая земляника, будто красным гарусом вышитая. Но маленькие согбенные фигурки в тревоге бродят вдоль ржи: не перебросило бы ветром огонь с новой вырубки.

На опушке, поодаль друг от друга,— какие-то странные избы. Не сразу догадаешься, из чего они построены. В дело пошло все, что нашлось на вырубке: десятки лет пролежавшие в болоте коряги, оставленный под снегом лесорубами хворост, ветвистые верхушки елок, ольховые прутья, глина и мергель. Сами носили, сами строили.

Небольшие оконца о четырех стеклах. Две избушки с трубами, остальные обходятся так. Возле каждой — небольшой загон для скотины. Перед одной избушкой красуется даже большой куст георгин, с пышными темно-красными цветами...

Оттуда, огибая ржаное поле, идет девушка в сером поношенном платье, в лаптях, в цветистом красном платочке, на плече у нее закопченные грабли. Девушка идет охранять свое поле от огня соседней вырубки. Все утро пламя шныряло возле их ржи, словно подкарауливая. Ветер как раз с той стороны, хорошо еще, что не сильный.

Девушка становится на пенек и сдвигает платок на затылок. Темные пряди волос выбиваются из-под платка и падают на загоревшее от солнца и жара лицо, на искрящиеся темные глаза. Она сердито откидывает волосы загрубелой рукой и бросает взгляд куда-то за ржаное поле. Вовремя поспела — дым уже на краю поля.

Она соскакивает с пня и бежит через узкую полоску ржи. С шипением катятся ей навстречу клубы огня. Вот они уже в десяти шагах от поля. Девушка спешит им навстречу, бьет хребтом грабель, вырывает на пути огня мох и сухую траву, чтобы лишить его пищи.

Из большого огненного вала вырываются все новые и новые языки, тянутся вперед и жадно лижут мох, сухую траву и мелкие хворостинки. В девушке все сильнее закипают гнев и злость. Глаза почти совсем зажмурены и слезятся от едкого

дыма. Лицо побагровело от жары и напряжения. Но сильные руки стиснули грабли и с невероятной быстротой поднимают их. Однако понемногу ей приходится отступать перед сильным, неумолимым врагом. Темно-зеленые сочные стебли, как в предчувствии надвигающейся беды, клонятся и стараются спрятать нежную бахрому еще редких цветов.

— Мартынь! — громко кричит девушка и, остановившись, прислушивается. Откуда-то издалека, из мглы, доносятся сильные удары топора.— Мартынь! — кричит она еще громче и, повернувшись, начинает кашлять. Тревожно оглядывается. В прищуренных глазах ее мелькает отчаяние. Еще несколько шагов, и красные языки начнут лизать землю у самых корней ржи, зеленые стебли станут бессильно валиться друг на друга.

В пылу борьбы девушка и не замечает, как цветистый красный платочек развязался, соскользнул сперва на плечо, а потом на землю. Мимо него с шипением покатился красный клубок... Не замечает девушка, что по дымящейся росчисти к ней приближается что-то странное — не то дерево, не то куст. Не замечает даже, как из мглы появляется парень — такой же загорелый, как и она, в запачканной сажей рубахе, в сапогах и дырявой соломенной шляпе, с большой пышной ольховой веткой на плече. И только когда он дотрагивается до нее, девушка чуть поворачивает голову, но руки ее по-прежнему подымают и опускают грабли.

— Это ты, Мартынь? — говорит она, но в голосе ее не слышно удивления.

— Это ты, Катрина! — отвечает он шутливо, и из-под запекшихся губ сверкают белые зубы. Парень видит, что сейчас не до шуток. И вот он уже стоит рядом с Катриной и усердно работает веткой.

Насколько быстрей идет дело, когда грабли и ветка работают вместе! Еще немного, и ржаному полю уже не угрожает опасность. Перед полем теперь с полгектара дочерна выжженного дымящегося пространства. У грабель обломались все зубья, на ветке не осталось ни одного листка, но Мартынь и Катрина вытирают со лба пот и почти улыбаются, глядя, как огненный вихрь медленно движется куда-то в сторону.

Мартынь бросает оголенную палку.

— Садись,— зовет он Катрину,— отдохни.

Девушка оглядывается, подходит к обгорелому пню с еще белой верхушкой и садится. Грабли она не выпускает из рук.

— А ты?

— Я? — Мартынь машет рукой, потом засовывает ее в карман и становится против Катрины.— Изрядно досталось...

Катрина становится серьезной.

— А то нет? Ты только жжешь хворост, а до других тебе и дела нет. Еще немножко, и вся рожь бы пропала.

— Я же вчера сказал — следите... Хворост нарочно подальше убрал. Почему на подмогу не позвала.

— Разве я не звала?

— Надо было сразу кликнуть. Смотри, как устала, весь лоб мокрый.

— Лоб...— смеется она, проводя тыльной стороной руки по лицу.— Вся спина мокрая.

— У меня тоже.— Парень поводит плечами, и его белые зубы снова сверкают. Потом, вдруг заметив что-то, он отходит в сторону и нагибается.

— Катрина, это не твой платочек?

Катрина удивленно хватается за голову.

— Мой... Наверно, давеча потеряла. Не обгорел?

— Гляди. Половины как не бывало. Пропал твой платочек.

— Жалко! — вздыхает Катрина.—Я к нему так привыкла.

Она протягивает руку, берет обгоревшую тряпку и осматривает.

— Чего уж тут... Пропал... Отец опять заругается,— и бросает платок на землю.

— Я тебе новый куплю,— говорит Мартынь серьезно.

— Ты? — улыбается она.

— Я,— еще серьезнее повторяет он.— Завтра мне все равно в лавку идти, лопату покупать. Принесу тебе новый платочек.

Девушка качает головой.

— Лучше не надо. Откуда у тебя деньги! Я уж сама... Садись.— Она отодвигается на самый край пенька.— Ну, как твои дела?

Парень сидит рядом и смотрит на ее черные, обгоревшие лапти.

— Ничего. Если дождь не пойдет, можно будет на той неделе вскапывать.

— Лопатой? А отец лошади не даст?

— Отец... — Мартынь только рукой махнул.— Говорят, мачеха похвалялась, что напиться из своего колодца — и то не даст.

— Беда с ней. Ну и ты ее немало позлил.

— А она меня! С ума сойдешь, глядя, как они живут. И это лесник! Тащат у рабочих, тащат у барина. Без бутылки водки и сажени дров не получишь. А раз я так не могу... значит, сразу враг им.

— Еще удивительно, как ты у барина эту вырубку получил и отец не пожаловался.

— Он не знал,— усмехнулся Мартынь.— Я тайком ухитрился получить. А то бы не дал. Чтобы здесь, рядом с вами,— да ни за что.

— Нас... Меня они невзлюбили,— говорит Катрина потупясь.— А что я им сделала...

— На что тебе их любовь? — сердито говорит Мартынь.— Обойдемся и без них! — Слегка робея, он протягивает руку, обнимает Катрину за талию и стремительно привлекает к себе. Катрина не противится. Потупив глаза, она улыбается и носком лаптя царапает обуглившуюся землю. Потом, будто очнувшись, вырывается и вскакивает.

— Пора домой,— и чуть виновато добавляет: — Отец в лощине косит. Мне надо поросенка покормить... Молоко на творог согреть надо.

Он понимает. Большие, глубокие глаза доверчиво смотрят на Катрину, и взгляд их льнет к загорелому лицу, словно бабочка к полному росы цветку. Они прощаются взглядами.

Колосья с тихим ропотом тянутся к рукам жницы. Мартынь тоже встает.

— Катрина! — окликает он ее тихим голосом, будто ему нужно сказать что-то очень важное. Девушка оборачивается.— Катрина! А платочек я тебе завтра куплю.

Катрина с минуту стоит задумавшись, может быть, не расслышала хорошенько. Потом, махнув рукой, бегом бежит домой. Серая юбчонка смешно бьет ее по ногам.

Наверно, улыбнулась... Отсюда не видно, но Мартынь уверен, что она улыбается. Его сердце, все его существо переполняет неуемная радость, и приходится сдерживаться, чтобы не крикнуть по-ребячьи, не перескочить через разлапистый пень— прямо на огнище, по которому еще скачут сверкающие искры.

Вот он лежит, цветистый красный платочек! Парень бережно поднимает его и осматривает с такой жалостью, будто это с самой Катриной случилось несчастье. Как мягко ложится он на шершавые ладони. И как от него приятно пахнет. Парень хочет поднести его к носу... но доносит только до рта. Как нежно касается он горячих, потрескавшихся губ... Мартынь сворачивает его и прячет за пазуху...

Огня больше нечего бояться. В низине он всегда гаснет. Там сыро, и разросшиеся мягкие лопухи, как зеленым покрывалом, укрывают ветки. Да и солнце клонится к вечеру, и надо кончать выжигать. Постепенно на вырубке все стихает. Воздух становится заметно свежее, влажнее и звонче. Серое облако дыма рассеивается и тянется вверх длинными прямыми полосами.

Крупными шагами идет Мартынь на свой участок. Надо браться за дело, все равно за какое! И через несколько минут с вырубки доносятся тяжелые удары топора, да такие торопливые, словно Мартынь должен за один вечер выкорчевать все коряги со своего участка.

Из домика с кустом георгин под окошком то и дело выбегает Катрина. Не попусту, конечно: то принести что-нибудь надо, то сделать. А взгляд все время прикован к вырубке... Как бы опять не задымилось возле ржаного поля. Хорошо, что у новосела такая глазастая дочка.

Пастушка наколола ногу, и в воскресенье Катрина сама пошла на пастбище. С утра она пасла возле опушки, на своем пастбище, а к вечеру за ржаным полем — на участке Мартыня. У него там с полпурвиеты еще не выжжено, а своей скотины нет. Лошадь, две коровы, телка, две овцы и поросенок жуют не отрываясь. Пастушка вдоволь насиделась на пне, тихонько перепела все песни, какие только знала, наслушалась криков загонщиков из дальнего леса и выстрелов охотников. Сходила в ольшаник, смастерила из коры бурачок и пошла собирать возле ржи крупную темно-красную землянику.

Ягоды так и манят, никогда не надоест собирать их! Катрина ползает вокруг пней, тянется за ягодой в рожь и, увлекшись, ломает несколько стеблей. С тихим шуршанием падают ей на шею легкие колосья. Бурачок почти полон, а земляника мелькает во ржи низками красных бус. Бурачка не хватит... Придется начать есть... И медленно, будто нехотя, красные ягоды одна за другой исчезают меж белых зубов.

— Эй, пастухи! — раздается вдруг за ее спиной громкий, деланно угрожающий окрик.— Чья это скотина на моем участке? Сейчас оштрафую...

Она поднимается из-за ржи и видит недовольное лицо. Мартынь! Катрина сразу узнала его по голосу, а все-таки испугалась: какой высокий! И тут же догадывается — это он на пень взобрался.

— Ишь какой штрафовальщик! — ворчит она.— Лучше не смеши людей.

— Выходи, выходи, рожь небось тоже помяла, придется сразу за все отвечать...

Мартынь слезает с пня и идет к ней навстречу. На ногах те же, что и вчера, сапоги, на голове та же соломенная шляпа, но сегодня он в жилете и в пиджаке. Темное от загара лицо чисто вымыто, маленькие усики чуть-чуть подкручены, губы невольно складываются в улыбку, а глаза устремлены на серый платочек, которым повязана Катрина.

— А, ягоды! Давай сюда, ягоды я люблю! — И без всякого стеснения хватает бурачок.

— Постой, Мартынь, постой!.. Рассыплешь... Экий, право... — Надув губки, она смотрит на бурачок и разглаживает измятый фартук.

— Только всего и набрала! — дразнит Мартынь и неторопливо отправляет в рот одну ягоду за другой.— Стыд и срам!

— Поди собери больше!

— Мне и этого хватит!

— Ну нет, так дело не пойдет... Я — собирай, а он только ест. Сейчас же отдай! — И хватает парня за руку.

Но нет, надо быть на пол-аршина выше ростом, чтобы достать бурачок. Девушка смеется, слегка хлопает Мартыня по щеке и отходит.

— Ай-ай-ай, какая скупая...— Мартынь удивленно качает головой.— Придется, видно, заплатить за ягоды!

И парень вытаскивает из внутреннего кармана пиджака цветистый сверток и протягивает его Катрине.

— Ну, бери, бери!..

Но Катрина пятится назад.

— Бери, бери. Да погляди, понравится ли, а то придется назад нести.

Разворачивая платок, Катрина находит в нем еще три бело-золотистых кренделя.

— Ай, озорник,— ворчит она, стараясь казаться сердитой. Но на губах ее играет улыбка, из глаз брызжет смех.

Серый платочек снят, голова повязана новым. Девушка и парень опять сидят рядышком на пне. Катрина надкусывает мягкий душистый крендель. Мартынь берет из бурачка по ягодке и бросает в рот. Неподалеку стоит лошадь Катрины, она одним глазом косит на сидящих и лишь по привычке лениво отмахивается хвостом от редких мух.

— Еще с Кукушкиной горы увидал, что ты тут пасешь.

— Угу,— отвечает Катрина,— нашу Пеструху издалека видно... А ты чего по воскресеньям бродишь? Расчищал бы лучше свой участок. Скоро сеять, а земля не готова.

— Ну, когда бы я захотел... — Мартынь вдруг становится серьезным и задумчивым.— Думал одного человека с того конца волости встретить... Да не пришлось.

— На что тебе он?

Мартынь отвечает не сразу. Лицо у него серьезное, даже несколько суровое.

— Слыхал... Слыхал я, что приозерцы должны на будущий год убраться. Барин сказал...

— Тебе-то что?

— Мне? Дело не в приозерцах... а в том, как мне самому быть. Десять лет назад на берегу озера была такая же вырубка, как и здесь. Люди десять лет вырубали лес, корчевали, выбивались из сил... Теперь не сразу и увидишь, где пень был. И вот — уходи! Теперь земля, значит, и барину годится.

— Ну и пусть... Тебе-то что?

— А то, что через двенадцать лет мне тоже могут сказать — уходи! — И в голосе Мартыня прорывается гнев.— Когда все будет расчищено, пни выкорчеваны, барин возьмет и прирежет эту землю к Кукушкиной мызе.

Оба они, как по уговору, глядят на группу больших лип на горе. Сквозь зелень кое-где виднеются белые каменные стены, красные черепицы крыш. Немного поодаль стоит длинный хлебный амбар, обшитый серыми досками, со столбами из белого известняка.

— Тогда и работать не стоит,— говорит Мартынь и по голосу заметно, как нарастают в нем с неудержимой силой тревога и ярость.— Зачем я буду надрываться для других? Нет, не желаю... Не желаю!

— Прямо так уж и будет? — тихо говорит Катрина, но чувствуется, что она сама себе не верит.— Прямо так всех и сгонят... При мызе и без того земли вдоволь, но... Кто это тебе такие пустяки наболтал?

— Не помню.— Мартынь задумывается, и резкая складка перерезает его лоб.— Нет, не помню. Может, от кого слыхал, а может, и самому в голову пришло. Но пока не узнаю, как и что, работать не буду.

Катрина роняет руки на колени и прикусывает губу. В голосе Мартыня ей слышится что-то непонятное, и легкая дрожь пробегает по всему телу. Девушка глядит на Кукушкину гору — очертания ее расплылись, словно она окутана голубова-

той дымкой... Поднимает глаза вверх,— бледное, без блеска, небо, как потускневшая стеклянная крыша, нависло над землей.

— Но...— начинает она и умолкает.— Тогда ты так и не посеешь рожь...

Мартынь отчужденно глядит на нее.

— Ну и пусть! А на что она мне? На что она нам всем? Нет так нет! Разве хлеб только на этих кочках растет? — И Мартынь встает, полный гнева и недоброй силы. Встает и, прищурившись, глядит туда, где сквозь зелень лип блестят белые стены и красная черепичная крыша.

Катрина тоже встает.

— Солнце уже низко,— говорит она, глядя куда-то в сторону,— пора скотину домой гнать.— Подходит к лошади, распутывает и вешает путы ей на шею, собирает в кучу коров, овец и поросенка и гонит вдоль ржаного поля к дому. Понурив голову и припадая на заднюю ногу, медленно плетется вслед за ней лошадь.

Катрина ни разу не оглядывается на Мартыня. Но она знает, что он стоит на прежнем месте, знает, что в нем проснулось нечто новое, и оно так легко не минует. Не минует, даже если сердце предъявит свои права.

Два дня Мартыня не видно на вырубке.

— С росчистью так нельзя,— говорит отец Катрине.— Раз начал дело — сразу доводи до конца. После уж и горит не так и охота пропадает. Не выйдет из него доброго пахаря, как я погляжу. Сынок лесника...

Катрина не отвечает, только угрюмо глядит на участок Мартыня. Он похож на скомканный кусок тяжелого сукна. Кое-где возле пней еще немного дымит и тлеет. Лишь в ольшанике видны еще красные огоньки. Бурый дым горящего перегноя расплывается в воздухе.

После обеда отец берет топор и уходит на участок Мартыня. Катрина это видит, но ничего не говорит, не спрашивает. Медленно обходит он весь участок и останавливается у шалаша из еловых веток. Перед входом беспечно брошены топор, мотыга и котелок. Качая головой, собирает он все добро, прячет в шалаш и задумчиво идет дальше.

В низине он останавливается. Здесь должен быть луг, и выжигать его не надо, но огонь, приостановленный в своем движении, понемногу вгрызается в сухой торфяник. Будто

крючковатые серые пальцы тянутся с черного пригорка к зеленому ольшанику. Пышет жаром, и от едкого запаха гари перехватывает дыхание.

Так весь ольшаник и выгорит. Не бывать здесь лугу, на огнище растут только камыш да заячий лен. Надо вовремя остановить огонь. Сегодня это дело нетрудное — чуть-чуть моросит, и огонь не бросается на хворост и траву, а потихоньку ползет исподнизу. Отец начинает орудовать топором, но сам видит, что так ничего не сделаешь. Здесь нужны лопата и мотыга. Он оттаскивает хворост в сторону и затаптывает узенькую полоску огня.

Так почти безуспешно работает он около часа и не видит, что Мартынь уже вернулся. Не спеша выходит тот из шалаша, глядя себе под ноги. Останавливается в низине и, равнодушно взглянув на отца Катрины, поворачивается и хочет уйти. Но тут и старик замечает его.

— А, вернулся! — восклицает он с явным неудовольствием в голосе, поднимается на пригорок и обивает облепленные золой лапти.— Это еще что за прогулки в самое горячее время? А луг выгорает!.. Полюбуйся, какие плешины за день появились. Если так будешь, какой из тебя хозяин выйдет! Где пропадал со вчерашнего дня?

Мартынь глядит в сторону.

— В имении. Хотел с барином поговорить.

— На что тебе барин?

Мартынь не слушает. По его лицу видно, что все в нем кипит. И кажется — прищуренные глаза видят то, что старательно скрывала целый день мгла.

— Барина сейчас в имении нет — уехал в Ригу. Поговорил с управляющим... Пока живите, говорит, а там видно будет.

— Ну, известно... — поддакивает, ничего не понимая, отец Катрины.— Известно, там видно будет...

— Там видно будет,— горячась, повторяет Мартынь,— а вон приозерцам уж сейчас видно: оставь все, над чем спину гнул, чего добился! Ищи опять новую вырубку — выжигай, корчуй пни. Пока можешь, рой носом землю, а на старости лет повесь на шею суму или иди в богадельню...

— Ну, известно...— по-прежнему не понимая, говорит отец Катрины.— Волость должна дать место в богадельне. Для того и подушные платим...

— А я не желаю! — кричит Мартынь. Лицо у него пылает.— Пока мне не напишут черным по белому, что через две-

надцать лет я этот участок могу выкупить, руки своей к нему не приложу. На словах можно много чего наобещать, приозерцам тоже обещали... А вот пусть барин все это в контракт впишет.

— Где нам, Мартынь, с барином... И что поделаешь, когда он не хочет? Надо надеяться... Давеча я прикинул — нам тут расчудесно будет. Участки, что по пригорку, что в низине,— сплошной полосой, как для одного хозяйства. Будем работать вместе. У меня добра немного побольше, у тебя — сил... — И, заметив, что Мартынь не очень-то его слушает, значительно добавляет: — Катрина у нас будет доброй хозяйкой...

По пылающему от гнева и волнения лицу Мартыня пробегает тень страдания.

— Что толку, отец, что толку... — Он умолкает на минуту, отдавшись мучительным думам. Отец Катрины глядит на него, глядит и неловко переминается с ноги на ногу. И вдруг в глазах его за седыми ресницами вспыхивают искры гнева.

— Чего же тебе еще? Ну, чего?

— Надо ехать к барину в Ригу. Надо просить, чтобы вписал в контракт. Двадцать человек работают на вырубке, и никто не знает, не придется ли ему через двенадцать лет все бросить и уйти куда глаза глядят. Вроде приозерцев...

— Их барин оставляет при имении испольщиками.

— Черт бы взял эту испольщину! Ежели не захочет вписать в контракт, тогда...— Мартынь машет рукой, поворачивается и уходит. Впереди долгий путь, он зашел только прибрать кое-что.

Отец Катрины сердито смотрит ему вслед, сжимает грязное топорище и разгребает ногой обуглившуюся сверху землю.

— Луг горит, а он шатается...— И громко кричит вслед Мартыню: — Работать неохота, в том все и дело!

Мартынь быстрыми шагами идет к шалашу. Неизвестно, услышал ли он, что крикнул ему напоследок отец Катрины. Постояв немного, старик сплевывает, вешает топор на левый локоть и мелкими, быстрыми шагами идет вдоль ржаного поля к дому. Оглядывается на дымящийся ольшаник и опять сплевывает.

Навстречу ему из дома выходит Катрина. Она все время наблюдала из окна и, вероятно, поняла, что отец с Мартынем поссорились. Отец еще издали машет ей рукой.

— Не ходи! Не ходи!..— кричит он. Катрина улавливает в его голосе еле сдерживаемую злобу.— Незачем идти!.. Пусть

бежит... Мальчишка! Нам такой не нужен! Работать неохота, в том все и дело... Лесников сынок...

Катрина останавливается, словно ее ударили. Но Мартынь всего этого не видит: внезапный порыв ветра застилает всю вырубку клубами дыма.

На вырубке много не говорят, зато много думают. Куда ни глянешь — везде пни, коряги, корни, болото, запустение... Здесь ничего нет из благ, необходимых для существования человека. Черная, мягкая, рыхлая земля связана сотнями пут; их надо разорвать, тогда только она сможет свободно дышать, показать свою силу. И если кто взялся обеими руками за работу, тот не имеет права много разговаривать. Дыхание и то приходится сдерживать... Но думать надо много, много думать...

В последнее время Катрина с отцом перекидываются самое большее несколькими словами за день. И то между делом, наспех. Оба понимают, что голос может выдать таящиеся в сердце чувства. А это тяжело, так тяжело, что они опускают глаза и отворачиваются.

Странные, непривычные чувства испытывают они друг к другу. Комната стала вдруг слишком тесной, постели чересчур близко устроены.

Вечером, перед сном, на лице отца — забота и беспокойство, утром — следы бессонницы и раздражения. Работает он нерадиво, кое-как, и сам этого не замечает. То у него промочило дождем четыре копны сена, то выжгло изрядную плешь во ржи — будто добрая лошадь навалялась.

Катрина исподтишка наблюдает за отцом, все понимает, но сама словно застыла. Она не может возненавидеть Мартыня, как отец. Сердиться, правда, сердится, но ненавидеть не может. Она видит его безрассудство, но не ей казнить его. Знает, что он поступил несправедливо — разбил и ее и свою жизнь и счастье, но отречься от него не может. Мало-помалу Катрина начинает чувствовать, что Мартынь ей дороже отца, дороже собственного счастья... Пять ночей лежит она без сна, с сухими зажмуренными глазами, удивляясь и не веря своему сердцу.

На шестую ночь, незадолго до полуночи, она тихонько встает с набитого хвощом сенника, надевает ситцевую кофтенку, накидывает на плечи большой клетчатый платок и босиком выходит во двор.

В загоне лежат коровы и жуют жвачку. Только одна еще стоит. Она тянется через низкую изгородь к проходящей мимо Катрине и тычется ей в руку мордой.

На этот раз Катрина не останавливается почесать ее гладкую шею. Голова ее занята совсем другим. Полные росы колосья с тихим ропотом льнут к клетчатому платку. Катрина и их не замечает. Ее прищуренные глаза вглядываются в дымку над вырубкой.

Темно — как бывает темно в безлунную летнюю ночь. Вокруг под белесой дымкой можно различить выжженную дочерна вырубку с торчащими, как огромные головы, пнями. А подальше, в низине, дым и легкий туман свились и встали серой волнистой стеной. Сквозь нее то здесь, то там вспыхивают, как волчьи глаза в сказке, яркие огоньки.

Вот и напротив светится огонек — наверное, у шалаша Мартыня. Да, там, Катрина это знает. Еще с вечера она заметила, как Мартынь ходил по своему участку.

Не доходя шагов двадцать, она останавливается. Снова вглядывается. Перед шалашом горит небольшой костер. Ветер относит дым в сторону — к низине. А сам хозяин шалаша лежит, опершись на руку, вытянув ноги вдоль костра. Вот лицо его озарилось красноватым колеблющимся пламенем, вот оно снова исчезло во мраке.

На душе у Катрины творится такое, что ей хочется повернуть, убежать, спрятаться от этого человека. Страшная тоска сжимает сердце, дрожащие веки опускаются сами собой.

Но Мартынь уже услышал шаги. Как только порыв ветерка прижал дым к земле, он уставился в темноту.

— Ты, Катрина? Это ты там? — спрашивает он. У Катрины дрожь пробегает по спине — таким непривычно чужим кажется его голос. Откликается она, только когда на нее падает свет костра.

— Да, я... Твой костер прямо к нам в окно светит... Не могла уснуть...

— Я тоже не могу...— Мартынь поворачивается и сдвигает поленья.

Катрина садится на пень в нескольких шагах.

— Думала, зайдешь сегодня вечером... Совсем загордился.

— Загордился...— Мартынь угрюмо усмехается.— Говоришь, словно маленькая. Чего я пойду,— отец на меня сердится! А что, нет?

— Ну...— уклончиво говорит она.— Не так уж сердится, чего там. Так, погорячился немного. Я гляжу, он тоже тебя ждет. Приходи завтра.

— Знаю, чего он ждет! — отрывисто говорит Мартынь. И слова его действуют на девушку, как прикосновение холод-

ного железа к голому телу.— Завтра мне некогда... А ты ногу поранила.

Катрина рассеянно глядит и видит, что с пальца стекает темно-красная капля.

— В Риге был? У барина?

Мартынь отвечает не сразу.

— Был... С чем приехал, с тем и уехал. Зря только потратился.

Оба опять умолкают.

— Ничего не добился... у барина?

— Говорит: кто не хочет работать, пусть уходит. Охотников, мол, хватит. Он, мол, говорил, что потом отдаст землю на выкуп, а слово его стоит больше, чем десять писаных контрактов... Ха-ха-ха! Слово! Приозерцы уже узнали, чего стоит барское слово.

Он садится и без всякой нужды сердито переворачивает поленья. Костер как будто затухает, а потом разгорается еще ярче.

— Ты ему не нагрубил?

— Нагрубил? Нет, нарочно я ему не грубил. Кто же посмеет грубить барину? Ну, а мужик мужиком и остается.

— Я вот все думаю... Зачем тебе, Мартынь, понадобилось сразу так?.. Ведь сгонит... А ты столько уже сделал. Твой участок кто-нибудь другой возьмет.

— Пускай лучше сейчас берет, чем потом. Пусть берут, мне не жалко.— Мартынь стремительно встает, размахивает руками, глаза у него блестят.— Что это за люди? Что за люди! — Он обводит вокруг рукой.— Ходят, как околдованные, как с завязанными глазами. Словно скоты безропотные — идут, куда их гонят! А я не могу на это спокойно глядеть. Пойду искать — есть ли еще на свете правда или нет? Я думаю, что правда есть. Просто людям лень ее искать. Не может быть, чтобы закон велел одному двенадцать лет пни корчевать, с голоду подыхать, а другому потом сгрести все нажитое им добро в свои бездонные закрома.

— Что ты хочешь делать, Мартынь? Боюсь я...

— Вы все боитесь. Вам на голову наступят, и то вы слова не скажете. Не могу я на это спокойно глядеть. Пойду искать правду, подам жалобу и от нас и от приозерцев... Я... я сам не знаю, что сделаю. Только не успокоюсь, пока ноги носят. До самого Петербурга дойду... Я не боюсь.

Катрина обхватывает голову руками. Она не в силах отвести испуганный взгляд от Мартыня. Сердце так бьется, что

удары его отдаются в ушах. Она вся дрожит — вероятно, от ночной прохлады... Она видит по лицу Мартыня, что с мечтой о счастье покончено. Человек этот проснулся для борьбы, может быть, безуспешной, даже опасной борьбы,— но назад он не повернет. А сама она — она будет ему только помехой.

Мартынь говорит еще долго, сбивчиво, непонятно... Но все та же главная мысль сквозит в его словах. Катрина смутно улавливает ее значение, но внимательно, жадно ловит каждое слово. Серая степа в низине как будто осела. Зарозовел над ней тусклый небосвод. Катрина медленно встает, медленно расправляет смятую юбку. Мартынь умолкает и, посмотрев на девушку, переводит взгляд на гаснущий костер, мысленно продолжая незаконченный разговор.

— Надо идти... — говорит Катрина, и сама удивляется: какой у нее странный голос! Словно ей страшно быть рядом с Мартынем. Но она берет себя в руки и произносит смело и громко:

— Проводишь меня немного?

Мартынь встает. Лицо его, уже не освещенное костром, в мягком предутреннем сумраке кажется еще более угрюмым.

— Все боятся...— говорит он тихим, хрипловатым голосом. После каждой фразы губы сжимаются, как будто он решил никогда больше не размыкать их.— А я не боюсь... Должна быть правда на свете. Не верю, что правды нет. Пойду искать... для нас всех. Скажу отцу, чтобы не сердился... Он меня еще вспомнит... И ты тоже...

Внезапно он осекается. Да, а как же Катрина, как быть с ней? Мартынь останавливается у ржаного поля и почти испуганно, широко раскрытыми глазами смотрит на Катрину.

— А я не могу тебе помочь? — тихо говорит она потупясь. Жалобная улыбка трогает ее губы.

— Ты? Чем ты мне поможешь! Ты мне будешь только обузой...— и, сам испугавшись последних слов, умолкает.

В нем впервые пробуждается предчувствие: то, что он замыслил, разрушит все, что было до сих пор, перевернет его жизнь. Словно он должен броситься в водоворот. В душе зазвенела какая-то нежная струна. И становится так тепло и грустно... Его мучат сомнения...

Но Катрина, видно, опередила Мартыня — она себя переборола.

— Конечно, обузой,— говорит она твердо и берет жесткую руку Мартыня.— Ты обо мне не беспокойся, я как-нибудь...

Делай, что задумал. Только будь поосторожнее, сам знаешь, какие теперь времена.

С минуту оба молчат. Мартынь обнимает Катрину. Никогда еще он не прижимал ее так горячо к сердцу. Когда она потом бежит через ржаное поле к дому, голова у нее слегка кружится.

У дверей Катрина оглядывается. Мартынь стоит на том же месте. В предрассветном сумраке фигура его кажется такой же серой, расплывчатой и неподвижной, как и пни, которые один за другим возникают из мглы.

Отец лежит в своем углу с раскрытыми глазами, в зубах у него трубочка. Он, видно, давно уже не спит.

— Где ты шатаешься по ночам? — спрашивает он сердито, вынимает изо рта трубочку и, не вставая, сплевывает.— Где была?

Катрина не в силах даже взглянуть в его сторону. Она чувствует, какая пропасть разделяет отца и Мартыня. Один прирос к своей вырубке, работает до потери сознания, терпит голод и не смеет поднять голову, подумать о том, что было позади и что впереди, в будущем. Другой стряхнул с себя цепи трусливого долготерпения, бросил все, даже ее, и ушел искать справедливости для себя и для других. Сердце Катрины не мечется меж двух огней. Она знает, откуда берется та сила, которая даже черный, обгорелый пень заставит выпустить молодые, зеленые побеги. Она чувствует, как эта чудодейственная, волшебная сила захватила и ее, коснулась губ, лба. Грудь ее наполняет чувство непонятной, до сих пор не изведанной гордости.

Не раздеваясь, падает она на постель. Но сон не приходит: уже поздно. По всему телу пробегают мурашки. Она лежит с открытыми глазами и ждет, когда в маленьком окошке блеснет первый солнечный луч. Тогда можно будет встать...

— Ночью у Мартыня была? — спрашивает отец.

Отложив косу, он садится на охапку свежескошенной травы и ест принесенный Катриной завтрак.

У нее в руках грабли. Она пришла ворошить вчерашнее сено, отгрести от пней и куч хвороста — после обеда можно будет метать его в копны. Катрина стоит спиной к отцу.

— У Мартыня.

— Ну, что он? Все на своем стоит?

— Конечно. Сегодня утром ушел.

— Р-рехнулся мальчишка. То-то я смотрю — у шалаша ни

котелка, ни мотыги, одни грабли валяются. Добром он не кончит. Ну, что поделаешь — у каждого своя голова.

Катрина настораживается. В голосе отца уже не чувствуется ни задетого самолюбия, ни злости на то, что мечты его пошли прахом. А ведь он никогда так быстро не забывал обид.

— Всем будет лучше,— говорит она неопределенно, желая выведать его мысли.

Отец смеется. Это уж и вовсе странно... Катрина может припомнить все случаи, когда он смеялся. Она уходит, думая о том, что отец что-то прячет от нее за этим смехом.

На вырубке косят рожь.

Катрина одна в поле. Отец у опушки боронит новь под рожь. Копны стоят близко друг к другу. Неубранным остался только маленький клочок. А рожь-то в нынешнем году, что лозняк. Со звоном отскакивает коса от сухих и крепких стеблей. Если завтра не будет большой росы, можно начать с рассвета, и к вечеру все будут убрано. Взглянув на солнышко и сдвинув цветистый красный платочек на затылок, Катрина начинает новый ряд. Будто в сердцах подымает и опускает руки.

Коса со звоном отскакивает от сухих и крепких стеблей. Наискосок ложатся охапка за охапкой.

Уже в который раз Катрина слышит знакомый звук: словно кто-то вдруг трогает пальцами струну цитры. Случайно приподняв голову, она сразу выпрямляется и замирает с занесенной косой в одной руке и поднятыми граблями — в другой. От опушки отец прокладывает прямую борозду через участок Мартыня. Катрина стоит и смотрит, потом бросает косу и грабли. Затенив рукой глаза от солнца, сама себе не веря, всматривается еще пристальнее. Может быть, она ошиблась? Ведь отец бороиил новину... откуда же взялась соха, да еще на участке Мартыня! Но какое там ошиблась! Она за версту узнает и лошадь и сгорбленную фигуру отца.

Яркий румянец вспыхивает на лице девушки и угасает. Только кое-где на загорелых щеках остаются белые пятнышки — будто пальцем надавили. Быстрыми шагами идет она наперерез отцу. Высокое жнивье шуршит под ногами, обутыми в новые лапти и белые онучи.

Отец выпускает рукоятки, когда лошадка с тихим ржанием вдруг останавливается и тянется губами к переднику Катрины. Взглянув на дочь, он шмыгает носом, в смущении опускает глаза и снова берется за соху.

— Ну...— бурчит он.— Чего балуешься? Отойди.

— Что ты делаешь? Зачем ты землю Мартыня распахиваешь? — Каждое ее слово падает как тяжелый камень.

— Снял...— говорит отец, отворачиваясь.— Вчера управляющий приходил... А я давно надумал: совсем рядом, и пригорок такой славный, а ольшаник в наш луг вклинивается... У нас уже все выжжено и выкорчевано... Бог даст, к будущему лету другую лошадь купим...

Все это он выпаливает одним духом — торопливо, почти виновато. Но, взглянув в лицо дочери, хмурится и сразу умолкает.

— Обезумел...— сдавленным голосом говорит Катрина.— Землю Мартыня!

— Ну и что Мартынь... Вот и снял. Раз сам не хочет. Да и не вернется он, это уж наверняка. Скоро, услышишь, упрячут его господа...

— Обезумел... Распрягай, сейчас же распрягай!

Отец не может оправиться от смущения и улыбается.

— Будет дурить-то! Уходи с борозды!

— Распрягай! Вернется или не вернется — все равно. Это его участок.

— Да что ты — маленькая? Его участок... Сам ушел, работать неохота... Мы не возьмем — возьмут другие.

— Никто не возьмет — никто! — Катрина вся как в огне.— Не по лени он ушел, не ради своей выгоды. А вы сразу же на его землю, как вороны на падаль.

Она подбегает и начинает отвязывать постромки.

— Не балуй...

По голосу отца чувствуется, что он сердится уже не на шутку. Делает движение плечом и останавливается. Как-то неловко замахнуться на взрослую дочь.

— А мы не пойдем,— говорит она,— на землю Мартыня не пойдем. Ну, а когда ты... ладно, работай один, я завтра же ухожу.

Она закидывает постромки через спину лошади и снимает с нее повод.

— Ну, коняга...— Отводит ее на свой участок, на скошенное ржаное поле, и треножит.

Отец стоит с минуту, не зная, что делать. Сердито глядит он вслед дочери. Наконец сплевывает.

— Тьфу! Вот поди подерись с такой...

Он нагибается, вытаскивает из-под корневища лемех, с ожесточением взваливает соху на плечи, несет к своему полю.

Сбрасывает ее так, что звон раздается, и, постояв немного, принимается вязать снопы и складывать в бабки. Время от времени останавливается, покашливает, видно, хочет что-то сказать, потом сплевывает, снова берется за снопы. На его коричневом от загара лице каждая морщина выражает недоумение и злобную тревогу.

Однако следующей весной на участке Мартыня появляются новые обитатели...

Ранняя теплая весна. Середина апреля. На вырубке не осталось снега даже в болотистых низинах. Перед обедом Катрина возвращается с луга с охапкой калужницы за спиной. Вдруг прямо на нее, спасаясь от чужого рыжего пса, мчится кувырком ее серый кот. Катрина сбрасывает охапку калужницы через голову и подставляет передник.

— Анцит!

Анцит кидается ей на руки. Хвост у него взъерошен, глаза горят, когти выпущены. Дрожа всем телом, прижимается он к своей спасительнице. Катрина проворно хватает с земли обломок корневища и кидает в рыжего. Пес взвизгивает и, поджав хвост, бежит в сторону. Разозлившаяся Катрина гонится за ним, и все, что попадается ей под ноги, кружась в воздухе, летит вслед псу.

— Ну и ну! — останавливает ее вдруг чей-то низкий голос.

Катрина отбегает на несколько шагов за свою межу и останавливается. На участке Мартыня стоит, опершись на мотыгу, плотный, широкоплечий молодой человек в синей бумазейной куртке, с короткой свалявшейся бородой. Голос у него сердитый, но он старается улыбнуться, и лицо его становится от этого еще некрасивее.

— Чего ты на моего пса так напустилась? — Он бросает мотыгу и подходит поближе.

— А чего он на моего кота набрасывается?

Катрина опускает передник и гладит кота. Он почти совсем успокоился, вкрадчиво мурлычет и свертывается в клубок.

— Такое уж собачье ремесло... — смеется бородач, уставясь на Катрину.— Ты оттуда? — кивает он в сторону ее дома.

Катрине все в нем противно: и взгляд, и разговор, и смех.

— Привяжи, чтобы не бегал. Если он еще раз тронет моего кота,— убью.

Бородач смеется еще громче.

— Сперва поймай! — и глядит в сторону ольшаника, где рыжий успел уже поднять выводок куропаток. Цыплята бежать не могут, с писком путаются в траве, и ветвях, а мать с отчаянным криком бросается чуть ли не в пасть собаке. Бородач, подмигнув, продолжает:

— Стоит ли так сердиться из-за паршивого пса. Соседям надо жить в согласии.

— А ты что тут делаешь?

— То же, что и все, работаем на своем участке.

Значит, он не один. Катрина оглядывается... Ну, конечно.. У шалаша Мартыня стоит привязанная поводом к телеге белая костлявая лошадь. Около нее возится похожий на бородача человек — только он постарше и борода подлиннее. Из шалаша вылезает толстая, видно, пожилая, женщина, а на разостланной на траве одежде виднеются не то две, не то три головы.

— На своем участке? — повторяет Катрина, глядя бородачу прямо в глаза.

— Ну да, на моем. Сегодня только переехали, Адиени из Скуениешей... Соседям надо жить в согласии...

— Микель! — раздается вдруг из шалаша голос, напоминающий внезапный громовой раскат.— Будет тебе лясы точить, иди сюда!

— Старик орет...— объясняет Микель, но сам и головы не поворачивает в ту сторону.— Стерва такая, сам ничего не делает... Ну, ладно. Я к вам зайду, мне нужно...

Катрина не слушает, что именно ему нужно. Она поворачивает к дому и не видит, каким взглядом провожает ее бородач. «На участке Мартыня!» — мелькает у нее в голове. И эти люди кажутся ей самыми бесчестными, самыми бессовестными и мерзкими в мире. Взваливая на плечи охапку калужницы, она слышит, как тот же голос гремит на всю вырубку:

— Микель! Дубина! Будет тебе на эту телку глаза пялить. Иди!

Вся кровь бросается в низко опущенную под тяжестью ноши голову Катрины.

В сумерки, вынимая из плиты котелок с похлебкой, Катрина слышит во дворе знакомый грубый голос. Охваченная каким-то предчувствием, она ставит котелок прямо на пол и, не закрыв дверцы плиты, выбегает наружу. У порога стоит, оскалив желтые зубы, бородач Микель Адиень, разговаривает с отцом, и в руках у него одно из их ведер.

— Микель, наш сосед,— говорит отец, кивнув на бородача.— Пришел за ведром, воды зачерпнуть нечем...

— Да, за ведром...— бурчит Микель и улыбающимися глазами смотрит на Катрину.

— Что? Мое ведро?! — Одно мгновение — и Катрина стоит уже подле Микеля и вырывает ведро из рук.— Мне самой нужно!

Такая невиданная неприветливость и черствость заставляют отца покраснеть.

— Катрина, им ведь нечем воды зачерпнуть!

— Пусть шапкой черпают! Кто их звал на участок Мартыня?

Микель Адиень сам не знает, принять ли ее слова за шутку или обозлиться.

— Перестань дурака валять,— сердится отец.— Один черт знает, где теперь твой Мартынь. Что же, из-за этого земле пустовать? Давай сюда! — и тянется за ведром.

— Не трогай! — Катрина прячет ведро за спину.— Чтобы я свою посудину дала каким-то Адиеням! По мне, хоть горстью пусть черпают!

Отец вынимает изо рта набитую Микелевым табаком трубочку и сплевывает.

— Тьфу, пропасть! Ни так ни сяк!.. — Отец отворачивается: от злости он не может больше слова вымолвить.

Микель Адиень слушает, но ничего в их разговоре не понимает. Он чувствует на себе взгляд Катрины, полный ненависти и отвращения.

— Нет так нет, просить не буду! — бросает он и уходит, вернее, убегает. Ноги его больше тут не будет. И не взглянет он в эту сторону... О чем ему просить... Девок на свете достаточно...

И вот на следующее лето, незадолго до иванова дня, Микель Адиень опять стоит с мотыгой в руке посреди голого поля.

Прошлой ночью, неизвестно как и откуда, появился огонь, подгоняемый от опушки леса сильным ветром, и все как языком слизнул: и озимую рожь, и большую кучу выкорчеванных пней, и только что скошенное сено, и шалаш из еловых веток... Старика не видно. Рядом с тем местом, где еще вчера был шалаш, сидит на пне, обхватив обеими руками голову, толстая женщина, а рядом, на разостланной одежде,— две головы, совсем как в прошлом году.

Микель смотрит на все это застывшим взором, но когда у соседнего домика, возле пышных кустов георгин, мелькает цветистый красный платочек, в глазах его сверкает огонь ненависти, и огонь этот куда жарче и яростнее бушевавшего прошлой ночью пожара. Когда-нибудь он вырвется и примется мстить и разрушать...

6. ЧУДЕСА

Анна Аплоцинь слушает-слушает, но сама не вымолвит ни слова.

Зато без умолку говорят мать, сестра Катрина, соседки, которые вот уже вторую неделю чуть не каждый день приходят в Аплоцини. Говорит и отец, расправляя окладистую рыжую бороду и переталкивая из одного угла рта в другой свою короткую трубочку. Обычно он мало говорит — и то, когда в хорошем настроении, но Анна еще ни разу не слыхала, чтобы он так много и так громко разговаривал, как теперь.

Да ведь такого радостного события в усадьбе Аплоцини никогда еще и не бывало.

У людей как будто обычные будничные лица, но где-то в ямочках на щеках или в уголках глаз заметна тайная праздничная радость. Даже вечно хмурая, строптивая и недовольная хозяевами пастушка Лиза учтиво покашливает, завидев в саду Анну с лейкой или с книгой в руках. Воробьи как ошалелые скачут на ветках вишен, согнувшихся под тяжестью спелых ягод. Кажется, что даже солнце каждый день с улыбкой смотрит на большой фруктовый сад Аплоциней, на Аннины цветы, на опрятные постройки, на поля, где уже приступили к жатве.

Все улыбаются и радуются счастью Анны Аплоцинь.

Как тут не радоваться: такой жених! Янис Айзозол! Кто не знает Яниса Айзозола, его лошадей, его каменного хлева и ветряной мельницы! Кто не знает, что еще его покойный отец выкупил у помещика усадьбу и теперь ему не хватает лишь двух тысяч, чтобы выплатить причитающуюся долю наследства замужней сестре. Усадьба столько не дает — доходов от нее в обрез хватает Янису Айзозолу на жизнь. Кое-кто еще удивляется, почему Айзозол только этим летом облюбовал аплоцинскую Анну; девушка — одна из первых красавиц в волости, образованная, и в приданое за ней дают две тысячи... Янису Айзозолу Анна словно самим богом суждена. И Аплоциням Янис подходит не меньше: они уж давно порешили—если Анна

выйдет за владельца усадьбы, то должна будет довольствоваться полученным образованием и двумя тысячами, которые положены на ее имя в волостную сберегательную кассу, а сестре Катрине останется усадьба и все остальное. Катрина может надеяться только на примака: она некрасивая, с длинным носом и неровными зубами, к тому же ей уже пошел двадцать шестой год. Чем дольше Анна засидится в девках, тем хуже для Катрины. А попадись Анне в женихи какой-нибудь голодранец — писарь или учитель,— имущество пришлось бы поделить поровну.

Вот уже вторую неделю все это подробно обсуждается в усадьбе Аплоцини. Недоброжелатели и завистники, которые найдутся у каждого, днем с огнем ищут, к чему бы только придраться, но ничего не находят. Не могут найти, да и только, а поэтому при встрече с Анной расплываются в слащавой улыбке и затем смотрят ей вслед завистливым взглядом. Воробьи на вишнях чирикают об Аннином счастье, солнце смотрит на нее и улыбается.

И только сама Анна все слушает, но не говорит ни слова.

В воскресенье, когда в церкви впервые оглашают жениха и невесту и когда к вечеру ждут приезда Яниса Айзозола, работники Аплоциней остаются после молитвы сидеть за круглым столом в саду перед балконом, на посыпанной гравием площадке. Отец складывает Библию, книги проповедей и псалмов, закуривает трубку и расправляет окладистую бороду. Мать, сложив руки на коленях, неподвижно смотрит на стол. Катрина встает и, сорвав пышный мак прикалывает его к своим редким белесым волосам. Солнце играет на глянцевитой листве вишен; легкий ветерок разносит по всему саду запах гвоздики, резеды и душистого горошка. Пчелы с жужжанием перелетают с цветка на цветок. Из-за леска, с озера, доносится пение пастушки.

Хозяйка Аплоциней смотрит украдкой на Анну и тает от самодовольной материнской нежности. Но лицо Анны ничего не отражает — ни радости, ни грусти, только глубокую-глубокую задумчивость. Мать улыбающимися глазами смотрит на отца, он ласково покряхтывает и переталкивает трубку из правого угла рта в левый.

— Сразу после обеда приедет? — спрашивает мать, глядя на Анну. Уже вторую неделю они говорят лишь об Аннином женихе. Анна слегка шевелит губами, но ничего не отвечает.

За нее отвечает отец:

— Должно быть... Может, сразу из церкви...

— Надо сказать девушкам, чтобы картошки начистили,— замечает мать, но по ее голосу понятно, что картошку чистить не к спеху. Затем она снова смотрит на Анну, но дочь сидит, уставившись в стол с таким видом, словно все эти разговоры ее вовсе и не касаются.

Некоторое время все молчат, Катрина села на прежнее место, рядом с сестрой, боком к столу. Пышный мак забавно покачивается на гладко причесанной голове, глядя на девушку нельзя не засмеяться. Старики переглядываются. У отца в глазах что-то вспыхивает, трубка быстро скользит из левого угла обратно в правый.

— Почему ты, Анна, все молчишь? — спрашивает он необычно громко, и его щеки под бородой почему-то слегка краснеют.— Все сидишь да слушаешь, а ни слова не скажешь.

Анна поднимает глаза и пожимает плечами.

— А что мне говорить?

— Что? — вмешивается мать.— Неужто невесте нечего сказать?Свадьба совсем близко, все надо приготовить, за всем приглядеть, а ты сидишь, словно у тебя еще целых полгода впереди.

— Да она всегда такая, коли ей что-нибудь не по душе,— замечает Катрина, и в ее низком голосе звучит зависть, тайное недоброжелательство некрасивой сестры к красивой.

— Не по душе, кхе...— Отец хватается рукой за окладистую бороду, словно та воспламенилась.

Мать упирается обеими руками в колени и, поджав губы и щурясь, смотрит на Катрину.

— Что ты болтаешь! Что же ей не по душе? Чего ей не хватает? Чего ей еще надо?

Вопросы обращены к Катрине, но смотрит мать на Анну— не скажет ли она наконец, о чем думает целыми днями. Но Анна как будто ничего не слышит.

Потом Катрина поворачивается лицом к столу.

— Не по душе ей, я знаю. Вот увидите, как она еще...— Старшая сестра говорит это злым, обиженным голосом, слегка присвистывая сквозь неровные зубы.— Помните, как управляющий из имения сватался: весь день человек прождал как дурак, а вечером она сказала, что не согласна...

Анна с интересом слушает сестру, будто и не подозревает, что речь идет о ней самой. Отец вынимает изо рта трубку и с шумом далеко сплевывает, а мать беспокойно ерзает, словно ей жестко сидеть на плетеном камышовом стуле.

— Чепуха! — бросает отец и еще раз сплевывает.— Чепуха, говорю.

Мать встает, оглядывает всех троих бегающим взглядом и машет рукой.

— Тогда... она ведь еще молоденькая была, а управляющий этот тоже не бог весть кто — разве что язык хорошо подвешен да зеленая шляпа на голове, а то кто он — скитается по свету, у чужих служит. Бога благодарить надо, что тогда так получилось.

Но отец другого мнения.

— Чепуха! Айзозол тоже... я не спорю... только Айзозол он был — Айзозолом и останется. А сколько управляющих потом сами в помещики вышли, да...

— Да,— Катрина снова сердито смотрит на сестру,— весь день просидела, словно воды в рот набрала, а вечером говорит: нет!

Теперь Анна медленно проводит рукой по лицу и поднимает голову. И голос ее звучит грустно и устало:

— Ну и что ж? Не могла же я без любви пойти...

— Любовь! — почти одновременно восклицают Катрина с матерью, и обе осекаются. Это слово им кажется таким странным и даже неприличным... Они переглядываются и от стыда густо краснеют. Отец хватается обеими руками за бороду и отводит глаза. В книге псалмов или в Святом писании это слово звучит так ласково, проникновенно, таинственно, но в повседневной жизни, в разговорах о практических брачных делах вызывает такое же неприятное чувство, как и зубоскальство парней, которые, собравшись в кучку, шепчутся, поглядывая на девушек.

Анна глядит на сестру и на мать, и в ее грустных глазах что-то вспыхивает и исчезает за длинными ресницами. Она молча поднимается и идет к калитке.

Мать не то с недоумением, не то в испуге пожимает плечами и, глядя вслед Анне, шепчет:

— Ну... слава богу, что сегодня уже оглашение.

— Кхе! — откашливается отец и перекладывает трубочку в другой угол рта.

За лугом Аплоциней и скошенным полем клевера крутой пригорок. По ту сторону его тянется каменистое, заросшее осокой и таволгой высохшее русло реки, а на самой его вершине растет высокая береза с развилистым стволом. Развилье широкое и ровное, как сиденье. Аплоцини не знают, что Анна любит здесь сидеть с книжкой в руке, привалившись спиной к почти белому стволу.

На этот раз она сидит без книги и, сложив руки, неподвижно смотрит на высохшее русло реки. Что приковало ее внимание? Белые, гладкие, сверкающие на солнце камешки или мелькающие над деревьями стрекозы? Смотрит она, как ветерок треплет осоку и лохматые камыши, разрушая кропотливую работу пауков, или как молодые аисты, учась летать, неловко поднимаются и опять падают на желтые соседские копны ржи? Нет, она ничего не видит. Она присматривается и прислушивается только к самой себе.

Вторую неделю уже она присматривается и прислушивается к себе и удивляется тому, что видит и слышит. Удивляется,— тоскует и терзается — с каждым днем она все отчетливее видит перед собой высокую толстую стену, которую нельзя пробить, через которую нельзя перелезть. А за стеной — Катрина, мать, отец, Айзозол, управляющий имением... Никогда ей не сойтись с ними!

Для них все просто, понятно и ясно. Они могут решить судьбу человека, пока распивают бутылку рома, решить на всю жизнь. Они все исчисляют в цифрах, по испытанной таблице умножения. И ответ у них всегда верный, очевидный для каждого, не вызывающий сомнений. Даже Анна не может найти ошибки, хотя вот уже вторую неделю ищет ее. Правда, она из тех девушек, которым трудно подыскать хорошего мужа,— ну, там красавица, но этого недостаточно; мало ли на свете красивых девушек! Две тысячи — деньги небольшие для такого приятного и оборотливого человека, как Айзозол, особенно если принять во внимание, что настоящей хозяйки из нее не выйдет: например, сено косить или лен теребить она никогда даже не пыталась, и ей противно месить грязь на скотном дворе. Но ей и не придется сразу браться за хозяйство, потому что у Айзозола мать еще не старая, она все делает по дому. А сам Айзозол человек приятный, обходительный, да еще и молодой в придачу. Ничего плохого о нем не говорят. Конечно, выпивает немного, но кто же из молодых людей не пьет. И еще несколько лет назад поговаривали о какой-то некрасивой истории с батрачкой, всем известной Триной Лайдынь, но подробностей никто так и не знает... И с какого конца ни подойди, все равно приходишь к одному: такой муж, как Айзозол,— для нее счастье, великое счастье... И все кругом так считают.

Вокруг царит глубокая, торжественная воскресная тишина, но в голове у Анны звенит и гудит, щеки пылают, и на глазах, против воли, выступают слезы. И где-то внутри кто-то

назойливо, не переставая, кричит: «Нет! нет!» Она хорошо помнит, что и тогда, когда отец, мать и Катрина, сочувственно улыбаясь, обступили ее, а она, стыдливо опустив глаза, еле слышно сказала Айзозолу: «Да»,— тот же голос громко и угрожающе кричал: «Нет! нет!..»

Она стискивает зубы и со злостью шипит: «Да! да!»

Затаив дыхание, противясь одолевающему ее страху, она прислушивается к себе... Может быть... Сперва — молчание, а затем с недвусмысленной ясностью, словно тяжелый и звонкий удар молота, отдаваясь во всем ее теле, снова раздается неумолимое «нет».

Руки у нее безжизненно опускаются, голова, словно обессилев, клонится набок, припадает к белому стволу березы. Глаза ее смыкаются, лишь веки изредка вздрагивают, точно листья в полуденную жару перед грозой.

И вдруг она вскакивает на ноги, словно ее вспугнули, затем опять садится на прежнее место, прижимает ладони к вискам, пылающим щекам и воспаленным глазам. И чем дольше она так сидит, тем больше ее охватывает страх и недоумение. Этого не может быть, эти последние полторы недели — только недоразумение, дурной сон... Надо пробудиться, протереть глаза, чтобы все рассеялось, как призрак, как туман, чтобы на душе снова стало легко и свободно. Она не может пойти за Айзозола, не может, не может, не может... Слезы неудержимо текут между пальцев, падают на пряди распустившихся волос. Старая береза задумчиво покачивает зелено-серой вершиной, и ее грустный шелест проносится над полем.

До слуха Анны Аплоцинь долетает неожиданный шум — это стучат колеса брички по большаку. Анна вздрагивает и уголком передника быстро вытирает глаза. Ей знакомо это тарахтенье, раз пять-шесть она уже прислушивалась к нему с тревожным сердцем, судорожно сжимая пальцы. Над поворотом большака, над купой ив и серой ольхи всплывает белое продолговатое облачко пыли, на минуту, будто в нерешительности, застывает на месте, затем потихоньку тянется к Аплоциням, становясь все заметнее. И оставленная им в воздухе полоса медленно оседает на ивы и ольхи. Анна так пристально смотрит на это облако, что у нее высыхают слезы на глазах и она забывает о своем волнении. Может быть, это облачко остановится, повернет назад, рассеется? Но нет — зачем ему поворачивать: оно знает свою цель, оно движется вперед смело и уверенно. Вот оно горделиво обвивает липы в конце аплоциньской дороги, и Анне кажется, что листва их тускнеет,

блекнет. На немощеной дороге к усадьбе стук колес умолкает. Но над полускошенной нивой то и дело мелькает окованная медью дуга. Все девушки-невесты с тоской и надеждой поглядывают на поблескивающую медью дугу Яна Айзозола. Анна Аплоцинь опускает глаза, смотрит на свои сложенные на коленях руки и думает только об одном: нет она ни за что не пойдет домой! Пускай он напрасно ждет ее, пускай уедет, не повидав ее. И все-таки она встает, обдергивает платье и бредет вдоль луга к дому. Сжатые губы ее едва шевелятся, беспрерывно шепча:

— Надо идти... Надо!

Но у клети она вдруг останавливается, словно увидела перед собою призрак. С широко раскрытыми от страха глазами она поворачивается и той же дорогой бегом бросается назад. У березы Анна опускается наземь и прижимается лбом к белому стволу.

Отец, мать, Катрина — все выбегают на двор встречать будущего зятя. Полный, румяный, одетый в покупной костюм, жених выскакивает из брички, здоровается с отцом и передает ему вожжи, затем протягивает правую руку матери и Катрине, а левой чуть приподнимает шляпу. Янис Айзозол достает из брички красивую, купленную в Риге корзинку и, сопровождаемый с обоих боков женщинами, идет в дом. Он без умолку говорит о жаре и дорожной пыли, обращаясь то к матери, то к Катрине. Катрина понимающе улыбается и кивает, мать время от времени громко смеется.

Едва дойдя до двери, Янис Айзозол снимает шляпу. Батрачке, которая стоит с шумовкой у плиты, он кивает головой и так любезно здоровается, что та краснеет от удовольствия. В сенях, у дверей, сидит на кровати в одних подштанниках батрак Мартынь, он только что проснулся, хмурый — ходил прошлой ночью к девкам, и его немного поколотили. Янис Айзозол подает ему руку и велит присмотреть за лошадью. Мартынь сначала морщится, но, взглянув себе в горсть, мгновенно расцветает, соскакивает с постели, хватает шапку и с кисло-сладкой улыбкой, бормоча бесконечные благодарности, бежит к лошади.

Катрина спешит открыть дверь в комнату; мать, схватив щетку, счищает зятю пыль со спины, плеч, рукавов... Он разрешает почистить пиджак, но когда мать тянется к выутюженным брюкам в тонкую полоску, он с благодарностью отказывается от ее услуг, берет из ее рук щетку, отдает ей куплен-

ную в Риге корзинку с гостинцами и не спеша аккуратно чистит брюки.

Катрина уже сидит в другой комнате за накрытым столиком у окна. Глаза ее торопливо оглядывают комнату: все ли в порядке? Янис Айзозол входит, садится за столик против нее, улыбается и тоже оглядывает комнату. В ней царит сверхъестественный порядок, какой можно навести только усерднейшим трудом в течение нескольких дней, но Айзозол разочарованно опускает серые глаза, и с его лица на мгновение исчезает улыбка.

Анны нет...

Но жених, не подавая виду, что обижен, достает из верхнего кармана пиджака маленькую щеточку, приглаживает волосы и усы. Катрина испытывает неловкость, она сердито смотрит в окно, но Анны все нет. Катрина опять улыбается.

— Много народа было сегодня в церкви? — спрашивает она.

— Как всегда. Теперь каждое воскресенье в церкви полно. Думал, что и вас увижу. Почему не пришли?

— Да так... проспали... — лжет Катрина. Ей не хочется признаться, что Анну так и не уговорили пойти послушать, как ее огласят.— Новый пастор служил?

— Новый. Говорил прекрасно. На женской половине почти все плакали. Я мужчина — и то, признаться, чуть не прослезился. Сразу видать, что из латышей,— знает свой народ, душу своего народа.

— Конечно, знает душу,— соглашается Катрина и слегка краснеет, потому что не понимает, что Айзозол хочет этим сказать.

Затем они говорят о том, как несправедливо, что латыши не могут сами избирать пасторов в своих приходах. Айзозол говорит о том, о сем, покашливает, ерзает на стуле, рассказывает новости из вчерашней газеты... Потом замолкает, бросает взгляд на окно, куда уже давно смотрит Катрина. Оба думают об одном и понимают друг друга, но ничего не говорят.

Отец, отдав вожжи Мартыню, идет к дому, останавливается и оглядывается на крупного, раскормленного серка, который дергает новую рессорную бричку, не дает себя выпрячь,— глядит и не может наглядеться, и все его широкое лицо расплывается в счастливой улыбке: да, такой зять сделал бы честь любому тестю.

В сенях он встречает мать, которая бежит из чулана в кухню. В одной руке у нее миска с облепленной маслом и са-

лом ложкой, в другой — глиняная кружка со сметаной, а под мышкой — завернутая в тряпицу телячья нога. Она устала, задыхается, но и ее румяное лицо сияет от счастья. Отец останавливается и переглядывается с матерью.

— Ну? — кивает он на комнату дочерей.— Там?

— Там! — Мать тоже кивает головой и спешит в кухню.

Отец бросает шапку на длинный стол в батрацкой, подходит к двери комнаты дочерей, останавливается, гладит бороду, и, состроив серьезно-насмешливую мину, отворяет дверь.

Катрине с Айзозолом уже не о чем говорить. Катрина, повернувшись на стуле боком, наклоняется и с нервной торопливостью поглубже втыкает подпорку в горшке с миртой. Янис Айзозол перелистывает какую-то книгу. На его гладкий лоб легла теперь глубокая поперечная складка.

— Кхе! — посмеивается отец.— Отдыхаете? — И, взяв стул, садится за столик против окна.

— Мм-да,— отвечает Айзозол и кладет книгу.— Надо отдохнуть, а то...

— Ну, конечно, конечно... — поддакивает отец и через некоторое время добавляет: — Да-да...

Минута молчания. В кухне мать и батрачка гремят тарелками.

— Рожь сжали? — спрашивает отец.

— Завтра кончаем. Очень высокая она выдалась в этом году, поэтому с жатвой не спорится.

— Время еще есть — осыпаться не успеет. Мы вот только начали, так что поторапливаться надо: кто знает, долго ли ведро продержится.

— Яровые в этом году тоже на диво быстро зреют. Я, когда сюда ехал, смотрел: у вас там ячмень совсем заколосился. Славный ячмень... Минеральными удобрениями пользовались?

— По мешку на пурвсету. Земля после ржи отощала... Кхе!

Все трое замолкают, смотря в окно во двор. У Аплоциня постепенно исчезает с лица благодушное выражение, исчезает и благодушное настроение. Он еще как следует не понимает, что случилось, но чувствует: что-то неладно. Мартынь водит мимо окна взмыленную лошадь зятя. И каждый раз, когда серко появляется перед окном, в глазах Аплоциня вспыхивает радость, но тут же потухает, и лицо покрывается серой тенью уныния. Он уже начинает понимать причину гнетущего чувства неловкости и нетерпеливо ерзает на стуле.

Анны все нет и нет...

Айзозол, стараясь сдержать себя, проводит рукой по блестящим напомаженным волосам и опять улыбается своей благопристойно-лукавой улыбкой.

— Заказал у церковного корчмаря две бочки пива,— рассказывает он.— Не мало ли?

Катрина улыбается при мысли о роскошной свадьбе. Отец тоже оживляется.

— Кхе! Хватит. Хотя... Ну, да весь свет не пригласишь. И не три же дня гулять. Не принято теперь.

— Там видно будет, там видно будет... — смеется Айзозол.— Рожь сожнут, сено уберут — люди будут свободны.

— Так-то так... Кхе! Но я всегда говорю: все надобно делать в меру, с умом. Сами, со своими, можем как угодно, но на что нам всю округу... Лучше, если поменьше толкотни.

— Ну, уж так тоже нельзя,— покраснев, перебивает отца Катрина. Она одна из самых ревностных посетительниц всяких гуляний и насчет сестриной свадьбы думает так: чем больше будет народу, тем лучше — скорее попадется какой-нибудь молодой или еще не старый благоразумный человек, которому нужна благоразумная жена и хорошая хозяйка и который не придает значения этой никчемной красоте. Давно уже она махнула рукой на все любовные идиллии и алчным, оценивающим взглядом выискивает среди молодых людей такого, который выказал хотя бы малейшее желание добиться ее расположения. К свадьбе сестры она готовится с воодушевлением, возлагает на нее большие надежды... У нее словно какое-то тайное предчувствие.

— Ну уж так тоже нельзя,— говорит она.— Нельзя же, чтоб над нами смеялись. Люди скажут: не могли свадьбу как следует сыграть...

Айзозол, улыбаясь, наклоняет голову.

— Я тоже считаю, что нужно поддерживать честь своего сословия. Янис Карклинь, из Варпулиней, тоже будет, мы с ним большие друзья.

— Тот самый, что на рождество... в театре? — У Катрины загораются глаза.— Курчавый?

— И Петер Земен... Мы с ним вместе призывались...

— Ага... ловкий малый.

Отец встает и выходит. И как только он затворяет за собой дверь, с его лица сходят последние следы благодушия, теперь оно выражает явную досаду.

— Мать! — зовет он приглушенным голосом у двери кухни.— Мать! — нетерпеливо рычит он, войдя в кухню. Но ма-

тери здесь нет. Обед уже готов, кушанье разложено по блюдам.

Мать, уже в третий раз вдоль и поперек обойдя сад, идет через двор, останавливается и, поднявшись на цыпочки, смотрит куда-то вдаль.

— Чего там смотришь? — сердито спрашивает отец и смотрит в ту же сторону.— Анны нет?

Мать в величайшем недоумении разводит руками и пожимает плечами.

— Нет... Где это слыхано! Девчонка совсем спятила. Где это видано! — Она опасливо оглядывается на окно комнаты дочерей. Отец смотрит туда же. Его рыжая борода трясется, в глазах вспыхивает гнев.

— Выпороть бы ее! — цедит он сквозь зубы. И забыв Библию, книгу псалмов и всегда так усердно соблюдаемую патриархально-ханжескую благопристойность, в неудержимой злобе выкрикивает: — Какого черта ты туда смотришь!

— Как будто она...— испуганно шепчет мать и прикрывает ладонью глаза, чтобы лучше разглядеть.

Отец подходит к ней, становится рядом, подносит ладонь ко лбу, поднимается на цыпочки и тоже всматривается.

Да, наконец-то, наконец Анна медленно идет вдоль луга к дому.

У отца и матери словно камень с сердца сваливается. Они облегченно вздыхают. Отец возвращается в комнату, а мать чуть ли не бегом бежит за клеть навстречу дочери.

У Аплоцинеи довольно длинный обеденный стол. На белоснежной скатерти расставлены приборы на пять персон и две привезенные Айзозолом бутылки: большая темная бутылка коньяку и прозрачная Аллажская тминная. По обеим сторонам у стола стоят по два стула — на одной стороне для отца и Катрины, на другой — для Анны и Айзозола. Стул для матери — в самом конце стола, поближе к кухне.

Но и с рассаживанием не получается так, как было намечено. Анна, слегка задумчивая, надменная, первая выходит к обеду и садится за стол на место матери.

— Аннынь, детка! — волнуется мать.— Это мое место, мне придется вставать, выходить в кухню,— так будет мне удобнее.

— Садись туда,— отвечает Анна,— я схожу, если понадобится.

Мать переглядывается с Катриной и садится рядом с зятем, которому больше не удается согнать со своего гладкого лица

выражение обиды и недовольства. Но по его голосу еще ничего нельзя заметить. Он говорит много, громко и остроумно, особенно после того, как они с отцом почали темную, а женщины прозрачную бутылку. Катрина с матерью без умолку смеются. Анна почти не слышит острот жениха. Ест она много, даже слишком много, но с каким-то ужасно задумчивым видом. Иногда она тоже вставляет слово в разговор или смеется, и всякий раз так неуместно и неожиданно, что всех опять охватывает уже рассеявшееся было чувство неловкости. Свое обещание Анна позабыла: она и не видит, когда на столе чего-нибудь не хватает,— мать сама раза три выходит в кухню; разобиженный Айзозол мало говорит со своей невестой, зато очень внимателен к теще — подает ей то соусник, то хлебницу... Мать тает от счастья, довольна вниманием и услужливостью зятя, и все чаще бросает на дочь свирепые взгляды.

После обеда все собираются пройтись. Отец с матерью идут впереди, Айзозол, Анна и Катрина — немного позади. Мать раза два-три оглядывается и многозначительно покашливает. Воспользовавшись первым удобным случаем, Катрина убегает к родителям. Они втроем, немного ускорив шаг, уходят вперед. Молодая парочка может теперь поговорить наедине.

На губах у Анны играет загадочная недобрая улыбка. «Пусть он заговорит»,— мелькает у нее в голове, и тут ей чудится, что кто-то в самом дальнем уголке ее сердца скалит зубы. «О чем же он будет говорить?» — думает она. От злости у нее немеют кончики пальцев; опустив глаза, стиснув зубы, она идет рядом со своим женихом.

— Подвенечное платье уже шьется? — говорит Айзозол, и голос его звучит как чужой.

Анна слушает и почти не верит своим ушам: неужели он и впрямь заговорил об этом?

— Скоро будет готово,— отвечает она и затем с тайной иронией, избегая слов «ты» и «вы»: — А подвенечная тройка?

Айзозол улыбается и подкручивает кончики усов.

— Через неделю будет готова. В Риге шью! Здешние швецы ни чер... ничего не умеют... Платье у тебя будет с газовой отделкой? К шелковой материи очень идет...

Он затевает пространный разговор о принадлежностях свадебного костюма. Видно, что он об этом много думал, что это для него очень важно. Анна слушает его и думает: «Неужели это случится? Неужели я в самом деле выйду за него?» Она ни слова не говорит ему о том, что так недавно терзало ее сердце. Но надо говорить, сказать, пока еще не поздно. От страха стра-

ное, необъяснимое бессилие сковывает ей язык, а невыносимая ненависть к жениху все растет и растет, как лавина... «А почему бы мне не выйти за него? — настойчиво повторяет она себе, напрягая всю силу воли.— Почему не выйти...»

— Старая береза.— Айзозол, меняя разговор, приостанавливается и глядит вверх.— И еще такая крепкая.

Анна тоже приостанавливается и подымает глаза, затем оборачивается к жениху: ей кажется, что береза что-то шепнула ей на ухо... Она скажет!..

Айзозол смотрит на невесту, видит на ее лице невысказанное желание и, как всегда, превратно истолковывает его. С его лица мгновенно сбегает долго накапливавшаяся досада, широкий жирный румянец счастья заливает щеки. С распростертыми объятьями он приближается к невесте.

Но в глазах ее вспыхивает такая ярость, что он отскакивает, широко раскрыв глаза и подняв руки, точно ему за ворот вылили ушат холодной воды. Мгновение они стоят так: она — с поджатыми губами, злыми, горящими глазами, он — с удивленным, оторопелым видом. Затем оба одновременно приходят в себя, отворачиваются друг от друга, идут дальше и думают, как загладить образовавшуюся в их отношениях трещину.

К вечеру, когда хмурый жених, которого больше уже не могут задержать, сидит в бричке и сытая лошадь, покусывая удила, роет копытами землю, Анна одна, с выражением твердой решимости, подходит к Айзозолу.

— Нельзя ли приехать в среду вечером? — говорит она, не глядя жениху в лицо и, как обычно, избегая слов «ты» или «вы».

У Айзозола губы кривятся в горькой презрительной улыбке.

— Рабочая пора... Почему именно в среду вечером?

— Мне надо поговорить... мне надо кое-что сказать.

Он важно пожимает плечами.

— Не могу обещать... то есть — может быть, приеду.

В воздухе клубится пыль, сверкает окованная медью дуга, а потом слышится постепенно удаляющийся стук колес по большаку.

У матери и Катрины прибавилось работы: они бранят Анну. Они делают это и порознь и вместе, поддерживая и дополняя друг друга. Безобразное, непростительное поведение Анны в воскресенье разбирается на все лады и всячески осуждается. Не забыто ни одно слово, ни одна гримаска. Все было плохо, все не так, как полагается. С нескрываемым ужасом они приходят к выводу, что еще бы немного — и жених, окончательно рассер-

дившись, бросил бы ее. Широко раскрытыми глазами, затаив дыхание, они с минуту смотрят на Анну. Но глаза Анны кажутся погасшими, безжизненными.

«Ну, почему бы мне не пойти за него?..» — безвольно, не вдумываясь, говорит она себе — на этот раз без ненависти и волнения... И ждет среды.

В среду, под вечер, Айзозол является пешком, одетый не то по-праздничному, не то по-будничному. Он выглядит еще привлекательнее с красной гвоздикой в петлице пиджака. Мать с Катриной тают от счастья и рассыпаются в любезностях.

Вчера Айзозол ездил в Ригу — за своей свадебной тройкой. Сорок рублей отдал... Анне он привез роскошную коробку шоколадных конфет. Открытая коробка стоит посреди стола. Айзозол сидит по одну сторону стола, Анна — по другую. Айзозол ест конфеты, а Анна сидит, ничего не ест и молчит. Они одни в комнате.

— Кушай,— говорит Айзозол и пододвигает ей коробку. В его голосе опять слышится нервное, тревожное нетерпение.— Или конфеты плохие?

— Спасибо,— отвечает Анна,— конфеты хорошие, но мне не хочется.

Она чувствует, что ведет себя нехорошо, что так нельзя, что надо сказать что-нибудь серьезное, положить конец таким отношениям.

— Что это с тобой, не понимаю? Ты нездорова?

— Что? — спрашивает Анна, словно не расслышав.

Айзозол вдруг краснеет.

— Я спрашиваю, ты не больна?

— Нет... может быть, у меня немного болит...— Она вдруг поворачивается и выпрямляется: — Я... должна вам сказать...

— Ах, «вам»! — Он морщится.— Я уже давно жду, что же «вы» мне скажете.

Но Анна снова смотрит ему прямо в лицо и не говорит ни слова.

Это уж слишком. Айзозол медленно и важно встает, медленно и важно берется за шляпу.

— К таким шуткам я... не привык... Нет, не привык.

— Скажите,— начинает она, сама еще хорошенько не зная, что хочет спросить, ловящуюся какому-то тайному, едва ощутимому побуждению.— Я хотела вас спросить...

Айзозол стоит, держа шляпу в вытянутой руке, лицо у него сердитое, надменное. Каждое произносимое ею «вы» он явно воспринимает как укол иглы.

— Я хотела спросить... сколько раз вы ездили свататься?

— Что? — Айзозол раскрывает рот, глаза его чуть не вылезли из орбит.

Но Анна уже сама не помнит, что сказала. Спутанный клубок ее мыслей уже покатился дальше.

— Это верно, что люди поговаривают про вас и... Трину Лайдынь?

Айзозол вздрагивает, словно от удара, шляпа выскальзывает у него из пальцев. Еще один такой удар, и он, пожалуй, рухнет наземь от разрыва сердца. Но Анна сама опомнилась, туман перед ее глазами рассеялся, голос ее звучит холодно и твердо.

— Извините, этот вопрос у меня вырвался нечаянно. Я не хочу осуждать вас. Я вас позвала сюда, чтобы сказать, что не могу стать вашей женой. Ищите себе другую...

Он не чувствует этого нового удара,— настолько ошеломил его предыдущий. Не то он не верит своим ушам, не то принимает ее слова за шутку. Он растерянно улыбается и трет пальцами вспотевший лоб.

— Что... что с тобой сегодня?..

— Это не только сегодня. Я все это время думала, и... я не могу иначе... не могу иначе... Ищите себе другую невесту.

Он начинает постигать ужасную правду. Обеими руками хватается за стол. В нем борются гнев и отчаяние.

— Как...— бросает он, задыхаясь.— В церкви уже огласили, все люди говорят... пиво заказано, свадебная тройка готова... А теперь!..

Анна только пожимает плечами и снимает с пальца десятирублевое обручальное кольцо.

— Вам придется испытать из-за меня небольшие неприятности, но что поделать, я тогда еще не знала себя. Простите, если можете... Уж лучше так, чем навсегда испортить нам обоим жизнь.

Она сует ему кольцо в руку и начинает что-то искать по всей комнате. Он бегает за ней, ищет слов и не может найти.

— Ваши книги, все ваши подарки я верну.— Она собирает по одной разные вещички и складывает их на столе.

— Анна...— немного придя в себя, говорит он глухим голосом.— Не делай глупостей! Одумайся, это ведь уже невозможно... Я до августа должен заплатить две тысячи...

Отрывистый, сухой смех впивается ему в уши.

— Очень сожалею, господин Айзозол,— до августа невесту с двумя тысячами, правда, трудно будет сыскать. А что, если бы вам поговорить с ростовщиками,— они скорее смогут...

— Одумайся, что ты делаешь? — дрожа, почти умоляюще шепчет он, и во всей его фигуре нет больше и следа прежней самонадеянности и удали.— Ты наслушалась болтовни кумушек...

— Ничего я не наслушалась! — отрезает Анна.

Айзозол в отчаянии разводит руками.

— Так почему же? Почему же?

— Потому что мы друг друга не любим.

— Любовь! — На лице Айзозола краска стыда сменяется расцветающей надеждой.— Значит, из-за такой ерунды! Так в этом вся и беда!

— Уходите,— резко вскрикивает Анна. Одной рукой она показывает на кучу подарков на столе, другой на дверь.— Берите свои вещи и уходите!

Айзозол еще немного медлит. Теперь все многообразные чувства, которые за полчаса отразились на его лице, вытесняет величайшее удивление — удивление перед тем, что его прогоняют из-за такой ерунды, как любовь... Он сгребает в охапку свои вещи и выходит в другую комнату.

Немного погодя оттуда вбегают мать, Катрина, отец... У матери на одной ноге чулок, другая — босая, у Катрины засучены рукава, в одной руке ложка, другая выпачкана мукой, у отца — трубка еле держится во рту,— из нее прямо на рубаху и штаны сыплются искры и зола... Мать, и плача и уговаривая, бросается Анне на шею. Катрина останавливается посреди комнаты, размахивает ложкой и таращит глаза. Отец, весь багровый, кряхтит у двери.

— Доченька моя! — с трогательной нежностью целует мать Анну.— Безрассудство-то какое!.. Поди попроси... Скажи, что ты не хотела так... Он тут, в передней, ждет...

Но Анна высвобождается из нежных объятий матери. Это уже не задумчивая, нерешительная, тихая Анна — в каждом ее движении, в каждой черточке ее лица чувствуется твердая решимость, непреклонная воля.

— Оставьте меня в покое — раз не могу, то не могу.

— Я же говорила, я же говорила! — шипит Катрина, таращя глаза. А отец передвигает трубку из левого угла рта в правый, осыпая при этом рубашку целой горстью золы и искр, и, сжимая кулаки, бормочет:

— Блажь... Кхе! Выпороть...

— Доченька! — кричит мать, роняя крупные слезы.— Нельзя же так! Разве мы тебя неволим, разве мы ради себя... Ведь

нельзя же так! Такой человек, такая усадьба... К августу ему нужны две тысячи — где их взять?

Анна пытается сдержаться, но не может:

— Пускай украдет, если негде взять.

— Анна!

Все трое возмущены низостью Анны.

— Почему же ты передумала?

— Потому что я не могу его любить...

Мать, Катрина, отец — все пятятся от Анны, изумленно смотрят на нее и не верят своим глазам. Неужели из-за такого пустяка и поднялась вся эта кутерьма? Они не могут прийти в себя от удивления...

Случилось это много лет тому назад. Старики очевидцы словно сказку рассказывают эту историю молодым. Анна Аплоцинь отказала Япису Айзозолу, владельцу усадьбы, резвых коней, ветряной мельницы, каменных хлевов... Ему пришлось занять у ростовщика две тысячи, чтобы выплатить их сестре. Долг этот чуть не разорил его. А Анна Аплоцинь осталась старой девой...

Молодые слушают, удивляются — и не верят.

7. БРАТЬЯ

Паровоз давно остановился, но все еще пыхтит и выбрасывает равномерными толчками струи белого пара.

Застоявшейся, облепленной мухами лошади хочется нестись рысью, но Екаб натягивает вожжи и придерживает ее: на мощенной булыжником аллее и без того трясет. Эрнест все время держится левой рукой за край обитой кожей тележки.

— Трясет? — спрашивает Екаб. Из-за грохота колес его громкий голос кажется непривычно тихим и даже нежным. Он нагибается, заглядывает в лицо брату и улыбается.

— Ничего! — бодро откликается Эрнест и дотрагивается левой рукой до корзины, поставленной поверх кожаного фартука. Там у него среди других вещей бутылка коньяку. Не разбилась бы... И он ответно улыбается брату.

Безмолвная улыбка иной раз ясней и понятнее длинных речей. Глаза, рот и каждая черточка в лице брата выражают свое. Улыбка — тайный голос души, и когда он зазвучит — умолкает все остальное.

Даже когда лошадь останавливается у закрытого переезда и можно расслышать каждое слово, братья продолжают молчать.

Оба понимают, что нужно что-то сказать, подыскивают слова и не находят. Оба чувствуют, что их связывает идеальная искренняя дружба, какую редко встретишь между братьями при такой разнице в положении и образовании. Екаб с трудом может расписаться — с малых лет его прочили в хозяева отцовского хутора. Эрнест окончил городское училище, отбыл военную службу и уже восьмой год служит помощником столоначальника в правлении железной дороги.

Екаб окидывает брата ласковым взглядом. Глаза его задерживаются на новой фуражке с кантами и бело-голубой эмалевой кокардой.

— Недавно купил? — спрашивает он.

— Фуражку? Нет, она у меня уже с год или больше...

Эрнест, видимо, хочет еще что-то сказать, но удерживается. Екаб и не ждет объяснений. Только кивает еще раз.

Оба сидят молча. На лице Екаба светлая, счастливая улыбка. У Эрнеста вид более задумчивый. Он всегда такой задумчивый...

— Чего так долго поезд стоит? — заговаривает Екаб, когда лошадь начинает плясать на месте.

— Десять минут... Пусть стоит...— отвечает Эрнест и с довольным вздохом откидывается на мягкую спинку тележки.

Усмирив лошадь, Екаб берет вожжи в левую руку, а правой снимает с рукава братниной шинели белую пушинку. Снимая, проводит пальцами по материи и ощущает, какая она мягкая и тонкая.

Из-за деревьев и сторожевой будки доносится звонок. Свисток. Равномерными толчками выбрасывая вперед большие белые клубы пара, ползет паровоз. За ним, все ускоряя бег, несутся зеленые, желтые и синие вагоны...

— Вот в этом ты ехал.— Екаб указывает на последний зеленый вагон и дергает вожжи. Шлагбаум на стершейся до блеска цепи взвивается вверх, колеса четыре раза стукаются о рельсы, и, плавно покачиваясь на рессорах, они переезжают полотно.

По ту сторону переезда ровная, покрытая мелким гравием дорога. Приятно шуршит под колесами верхний, мелко перемолотый слой песка. Белое облачко пыли поднимается в безветренном воздухе над придорожными ракитами, вьется за тележкой.

Эрнест невольно прикрывает рот рукой и кашляет сухим кашлем.

Екаб с испугом оглядывается и становится серьезным, очень серьезным.

— У тебя?.. Ты?..— Он хочет о чем-то спросить и останавливается. Взгляд его следит за рукой брата, поглаживающей мягкую обивку тележки.— Весной дал обить...— говорит он не то сконфуженно, не то виновато.— Недорого стоило. Кожа своя, а с шорником у нас давнишние счеты. Иначе с него не получишь — деньги у него не держатся.

Эрнест поддакивает. Конечно, так лучше... И ехать гораздо удобнее. Не трясет. А ему тряска вредна. Врач...

Будто чего-то испугавшись, он умолкает. Прикладывает руку ко рту и снова нехотя откашливается. Екаб молча придерживает лошадь, чтобы шла медленнее. Лицо у него серьезное. Между бровями глубокая морщинка. Но это у него с давних пор.

Немного помолчав, Екаб снова заводит разговор. Рассказывает о сенокосе, о том, какой в этом году ожидается урожай, о детях... Рассказывает возбужденно, торопливо, и в этой торопливости чувствуется тайная тревога. Кажется, и Эрнест замечает ее, но ничего не говорит, задумчиво слушая брата.

Лиене и обе девочки бегут им навстречу. Все трое принарядились и радуются от души. Чем-то теплым повеяло на одинокого горожанина. Радушные, милые люди. Вот старые, хорошо сохранившиеся крытые соломой службы, новый выстроенный братом дом с тремя трубами и террасой. Большой фруктовый сад, обнесенный изгородью из белых жердей... У колодца — столб с рассохой и опущенным журавлем. За клетью поросший орешником пригорок и песчаный отвал, где они, бывало, каждый день после обеда искали в глубоких норах стрижей... Под обрывом, среди зарослей аира, мочило для льна, затянутое зеленой ряской... Теплой волной бьются и льются воспоминания... а вокруг радостные, милые лица.

Он идет в дом, ведя за руки голубоглазых девочек с выгоревшими на солнце волосами. Они прыгают, тормошат его, заглядывают в глаза, радуются, смеются. Эрнест тоже смеется. Смеется и Лиене — она идет впереди с корзиной в руках и все время оглядывается. Распрягая лошадь, тихо смеется Екаб.

В комнатах чистота и порядок — для него прибрали... Он проходит просторную хозяйскую половину и останавливается перед дверью крайней комнатки. Улыбаясь, заглядывает через его плечо Лиене. Кровать застлана одеялом в красную полоску, на нем белоснежная подушка. В ногах глиняный таз для умыванья и полотенце с длинной бахромой, за изголовьем березовые ветки. На покрытом скатертью столе стакан с анютиными глаз-

ками и божьим деревом, тарелка домашнего печенья и аккуратно сложенный последний номер газеты... Трогательное внимание и забота... Эрнест оборачивается, берет Лиене за руку и пожимает, взволнованно глядя в ее смеющиеся глаза.

Садятся за стол. За обедом все шумят и смеются. Дети уже успели отведать дядиных гостинцев и теперь плохо едят, вмешиваются в разговоры взрослых. Братья наливают по стаканчику из привезенной Эрнестом бутылки и чокаются. Солнце заливает большое, сияющее чистотой окно, свежевыбеленные стены комнаты.

Потом идут погулять в поле. Тут есть на что посмотреть, о чем расспросить, что рассказать, так что под конец устают и языки и глаза. Под вечер снова собираются в той же комнате. Все немного устали от прогулки, от разговоров, радостного волнения, притихли, стали задумчивее. И, как обычно в таких случаях, все испытывают некоторую неловкость за преувеличенные восторги, которые так не вяжутся с обычным ходом будничной жизни. Лиене теребит скатерть, Екаб вертит пальцами, Эрнест откинулся на спинку стула и смотрит в окно.

Смотрит и время от времени покашливает.

Лиене вздрагивает, переглядывается с Екабом и опускает руки на колени.

— У тебя... ты все еще кашляешь?

По лицу Эрнеста пробегает тень.

— Да, все еще... Теперь немного меньше, но все еще кашляю.

Лиене тяжело вздыхает, поднимается, оправляет передник и опять садится. Потом снова встает, оглядывается, словно что-то ищет, и закрывает полуотворенную дверь.

— Как бы не продуло...— сконфуженно объясняет она и, вернувшись на место, спрашивает: — Неизвестно, можно ли тебе возвращаться обратно?

Движением головы, рук, всего своего тела Екаб дает понять, что об этом не следует говорить. Глаза у него широко раскрыты, весь лоб в морщинах. Но волнение его напрасно. Эрнест молчит и только еще сильнее перегнулся к окну, как будто ему там во что бы то ни стало нужно что-то разглядеть.

Все понимают, что он не мог не расслышать. И странное его молчание может быть истолковано лишь как неправильный ответ на необдуманный вопрос Лиене. Молчание становится невыносимым, и Екаб начинает говорить. В его словах нет никакой связи с предыдущим, говорит он первое, что взбрело на ум.

— Хлеба поднялись, ничего... Ну а вдруг будет засуха, как в прошлом году? В тот раз посеял я за горкой ячмень. Взошел — душа радовалась, а потом посох, пожелтел... И сам-восемь не собрали...

— Нынче весной ржи тоже досталось,— добавляет Лиене.

— Рожь еще туда-сюда, а вот клевер редковатый. Если еще не удастся как следует сено убрать, придется будущей зимой кормить коров ржаной соломой. Нынешней зимой, милая моя, не то, что в прошлые годы,— что в ясли, то и на подстилку. Придется побережливее быть.

— Да, с хозяйством не так-то просто...— начинает Екаб с другого конца.— Думаешь одно, а получается другое. Думаешь, за хутор почти выплачено, земля — ничего... урожай середка на половинку... А там, глядишь, то одно, то другое... Батраки дороги и ленивы. Концы с концами не сведешь. Стыдно сказать, но что правда, то правда — концы с концами не сводим. Из волости три раза повестку присылали насчет подушных...

— Хлев того гляди обвалится,— подсказывает Лиене.

— Да и хлев. Клети обветшали, но еще годик-другой простоят. Что поделаешь, как-нибудь подпорки поставим, и простоят.— И оба, будто над чем-то издеваясь, громко и принужденно смеются.— А хлев придется строить. Будь что будет, а осенью надо начать свозить материал. И соседи смеются,— для себя вон какие хоромы поставил, а хлев вот-вот на коров обвалится. Конечно, говорю, это не порядок, да разве мы для себя. К нам гости приезжают, нельзя же... И луг в низине надо бы осушить, там сток к реке хороший, иначе какой от него толк, одна осока...— Вдруг он спохватывается.— Нам еще что, другим куда труднее. Нам каждый месяц пятнадцать — двадцать рублей присылают... Соседи смеются — чем не жизнь? Всем бы такого братца...

Умолкает и вместе с Лиене смотрит, как брат прижимает ко рту бледные, прозрачные пальцы, чтобы сдержать кашель. Эрнест оборачивается и говорит так, будто ничего не слышал:

— Врач говорит — поезжайте на юг. Сейчас еще... сейчас еще есть надежда. Смотрите — пальцы как выбеленные.— И смеется фальшивым смехом, точь-в-точь как Лиене и Екаб.— Только вот не знаю...

Смеркается. В комнате долго длится молчание.

Вот и высказано то, чего все ждали и о чем все время думали. Не хотели думать, но думали.

Эрнесту и самому кажется, что он сказал что-то неподобающее. Он спешит повернуть разговор на другую, более безразличную тему.

Разговоры, лица, взгляды и улыбки — все становится каким-то безразличным, чужим и далеким. Все трое чувствуют перемену и внутренне борются с ней. Перескакивают с темы на тему, стараются подогреть себя. Но все слишком остро ощущают свое бессилие перед чем-то чужим и назойливым, что вместе с вечерними сумерками вползает через все окна в комнату, обволакивает их.

Но вот пригнали скотину, и все идут смотреть ее. Теперь говорит больше Лиене. Скотина — гордость хозяйки. И Лиене действительно есть чем гордиться. Коровы — все бурые — лоснятся от жира. Пушистые, недавно выкупанные овцы. Белорозовые свиньи английской породы на низких ногах с отвислыми ушами и почти без щетины. Три матки супоросые. Лиене все показывает и объясняет, но как-то нехотя. Можно подумать, что все это не доставляет ей ни малейшего удовольствия, что она хочет на что-то пожаловаться. Особенно обстоятельно рассказывает она о всяких мелких неполадках со скотиной.

Возвращается с дальнего луга батрак с сенокосилкой. В кухне две батрачки поочередно вертят ручку сепаратора,— пока одна вертит, другая моет и ополаскивает большие с железными обручами бидоны. На краю белой кафельной плиты шумит вскипевший самовар. Утомившись, братья и Лиене идут в комнату и садятся. Девочки притихли, оробели, держатся особняком, смотрят серьезно, недоумевающе.

Эрнест по привычке заслоняет рот рукой и кашляет сухим кашлем.

— Я подумал-подумал...— говорит он, запинаясь, и вдруг краснеет, будто сказал что-то неприличное. Проглатывает комок, от которого так першило и щекотало в горле. Он так и не досказывает свою мысль, но она всем понятна. Екаб большими шагами подходит к окну и распахивает его. Лиене вносит чайную посуду.

За ужином Екаб и Лиене соревнуются перед Эрнестом в любезности и услужливости. Следят, все ли у него есть, не нужно ли чего, не мешает ли что. Он окончательно смущен этой как будто непритворной приветливостью. От окна дует в спину, холод пробирает до костей — в последнее время он не переносит сквозняков. Но обстановка такова, что ему неловко об этом сказать. Обычно он пьет два стакана чаю, но тут под натиском

гостеприимства выпивает и третий. Да еще делает вид, что очень вкусно...

В их отношения вкрались ложь и притворство. Непонятно... Каждый думает, что говорит именно то, о чем необходимо и хочется сказать, и все-таки каждый чувствует, что это только маска, и тайком наблюдает за другими: не заметили ли?

Только когда бутылка коньяку убавляется наполовину, в братьях мало-помалу происходит перемена. Они становятся разговорчивее, шумнее и как будто откровеннее.

Становится теплее друг с другом... Правда, нет еще прежней задушевности — это понимает отуманенная коньяком голова, чувствуют возбужденные нервы.

Екаб расстегнул жилет и, налегая грудью на стол, тянется к брату. Лицо у него раскраснелось, прищуренные глаза смотрят добродушно.

— Ты, брат, не думай, что нам жить невозможно. Дай бог каждому такую жизнь. Работать, конечно, приходится, но кто же не работает? Хлеб на дороге не валяется. А ты разве не служишь? Иной раз, наверно, еще труднее моего приходится...

— Ничего... жить можно...— улыбается Эрнест, подливая коньяку.

— Ты мне не рассказывай.— Екаб машет рукой и, выпив, крякает.— Мы, по крайней мере, всегда на свежем воздухе. А у вас что: пыль, дым, смрад... Я бы и полгода в городе не выдержал. Случится если на ночь там задержаться, то уж знай — забудь про сон. Глаз не сомкнешь из-за этого дурацкого шума. И как только люди не шалеют, когда изо дня в день приходится жить в этой сутолоке? — Он опять тянется через стол к брату.— Не думай, брат, что я забыл, сколько ты мне добра сделал. Да никогда в жизни! Случалось так, что не знаешь, куда и податься... и вдруг повестка — получай пятнадцать — двадцать рублей...

Речь его прерывается. Последние слова Екаб произносит дрожащим голосом, на глазах у него слезы. Он бросает быстрый взгляд на жену. Лиене, опустив глаза, нервно застегивает и расстегивает нижнюю пуговицу кофты.

Эрнест тоже смотрит на пол и улыбается какой-то неопределенной улыбкой.

— Стоит ли говорить. Я ведь не вовсе даром. Каждый раз что-нибудь беру у вас.

— Не болтай! — резко перебивает его Екаб. Если бы его узкие глаза не сияли улыбкой, можно было бы подумать, что он

и в самом деле сердится.— Добро какое — фунтик масла, корзинка яблок... Смех один. Но ты сам знаешь, пока на ноги не встанем — трудно. Только в нынешнем году шестьсот саженей канавы пришлось выкопать.

— А на будущий год надо новый хлев строить,— добавляет шепотом Лиене.

— На будущий год обязательно надо хлев строить... Осенью начнем материал свозить. И это все ничего. Мы с Лиене уже давно решили, что теперь ты должен больше брать из дома. Молоко, конечно, нельзя, а вот творог... А иногда найдется и кусочек мяса, яйца или там цыпленок... Время от времени кто-нибудь из знакомых в город едет.— И Екаб заскорузлыми пальцами скатывает из хлебных крошек шарик.— Если завтра едешь... Неужто больше одного дня не можешь побыть? Пора страдная, и кто его знает, сколько времени продержится ведро, но я уже батракам работу до самого обеда задал. Опять сам отвезу. Неужто я ради брата не могу один день...

— Я...— начинает Эрнест и осекается. Прикладывает руку ко рту, но не кашляет. Он опять неизвестно почему густо краснеет. Смотрит, как Лиене быстро встает и уходит. Екаб тоже смотрит ей вслед.

— Наверно, детей укладывает...— объясняет он. Потом замечает отворенное им самим давеча окно. Испуганно смотрит на брата и встает...— Окно настежь. Совсем забыл, что тебе вредно. А ты тоже, сидишь и молчишь.

Эрнест хочет ответить, но не успевает. В комнату входит Лиене. С трудом вносит корзину Эрнеста. На губах у нее застенчивая и многозначительная улыбка.

— Что это у тебя? — спрашивает Эрнест и тоже улыбается.

— Кое-что собрала...— торопится она с ответом и снова улыбается. Суетливо поднимает крышку, принимается вытаскивать и снова укладывать разные свертки. В корзине несколько увесистых свертков, обернутых запачканными салом или ягодным соком газетами. На дне кое-что из платья.

— Вот тебе две рубашки.— У Лиене в руках две белоснежные скатки.— Татарин-разносчик занес как-то хороший полубатист, сама в свободные минутки вышивала. А вот вязаный жилет, ты ведь такой зябкий, осенью пригодится. И еще пара носков...

— Ну зачем так много? — журит ее изумленный Эрнест, щупает носки и восторженно смеется.— Какие мяконькие... да теплые! До чего белые... И красная каемочка. Разве у тебя такие белые овцы?

— А ты и не заметил? Два барашка от одной овцы. Такие крохотные да кудрявые, мягкие, как кудель...

Растроганно смотрят друг другу в глаза и смеются тихим задушевным смехом. Екаб наблюдает их, прищурив глаза, полуоткрыв рот, с застывшей на лице довольной улыбкой. От радости не может на месте усидеть. Встает и начинает шагать из угла в угол...

Расходятся молча, с чистым, теплым чувством. Все идут спать. Лиене не успела лампу задуть, а Екаб уже спит. Спит с широкой, счастливой улыбкой на лице и не слышит, как Лиене перелезает через него, укладывается у стенки и долго, старательно подтыкает одеяло.

Пока Лиене возится, Екаб спит. Но едва она затихает, как он внезапно просыпается. Испуганно вздрагивает, поднимает голову, вглядывается в темноту, в зеленоватый четырехугольник распахнутого окна и снова откидывается на подушку и лежит с открытыми глазами.

Ему кажется, что он проснулся не от сна, а после долгой и тяжелой летаргии. Голова ясная, даже слишком ясная. Мысли нижутся нескончаемой вереницей — и все на одну, все на ту же нить... Миллион крохотных мурашек бегает по нервам. Все его тело, вплоть до мельчайшего мышечного волоконца, пронизывает жгучая тревога.

Ему уже кажется, что и мысли эти и тревога были с ним весь день. С той самой минуты, как он впервые услышал сухой, недобрый кашель... И эти будоражащие недобрые мысли, и тревога за себя...

Как они сверлят, как жгут мозг! Ни на минуту нет от них покоя!.. Подушка становится горячей, а лоб саднит от холодного пота.

Откуда-то из темноты доносится ленивое тиканье стенных часов. И еще какой-то, доступный лишь обостренному возбуждением слуху звук. Екаб приподнимает голову и прислушивается. Да... Брат тоже не спит... Сквозь стену слышно, как шуршит набитый свежим сеном тюфяк, как скрипит старая рассохшаяся кровать. И еще... какой-то странный звук! Екаб уже знает: Эрнест уткнулся лицом в подушку и кашляет...

Недобрый звук!.. Подушка становится жесткой и горячей, как раскаленный камень. Екаб приподнимает голову, а потом садится.

На дворе скулит собака. В загоне возятся овцы. Лошади в конюшне бьют копытами. Сонно жуют коровы... Знакомые все

звуки! Но Екабу начинает казаться, что тут не все в порядке — надо пойти проверить.

Где-то что-то не в порядке... Екаб встает и в одних исподних выходит во двор. Под навесом чешется и скулит собака. Дверь конюшни затворена. В загоне мирно жуют коровы и овцы. Екаб возвращается к конюшне и щупает засов... Потом круто поворачивается, сердито сплевывает и большими шагами идет к дому. Везде все как обычно, эта тревога в нем самом. И почему человек так любит обман? Обманывает и себя и других...

Он ложится в постель прямо с мокрыми от росы ногами.

— Скотину ходил смотреть? — спрашивает Лиене.— Или еще что?

Екаб ее не слышит.

— Так нельзя! — горячо говорит он ей полушепотом. И Лиене чувствует, как он взволнован, как дрожит у него голос.— Он болен... вот и сейчас не спит, ворочается и кашляет. А мы... а мы что?! Лиене, да разве мы люди?

Лиене слушает затаив дыхание.

— Он не говорит — верно. прямо не говорит... А что там говорить? Всякому и так видно, что не работник он. Еще год, два, и — конец. Сидячая работа и городская пыль его доконают. А мы его гоним обратно в город. Молчи! — шипит он, хотя Лиене и не думает говорить.— Да, гоним... нам жалко потерять пятнадцать — двадцать рублей в месяц. Зверье — только и заботы, как бы где урвать.

Он задыхается, не может больше говорить. Лиене тяжело вздыхает. За стеной кашляет Эрнест.

— Братья...— начинает опять Екаб, и в голосе его слышатся слезы.— И это называется братья! Если братья между собою так, что же тогда чужие... Понять не могу, что за дух в нас вселился, откуда он? Дьявол наживы или еще что... Да разве нам эти пятнадцать — двадцать рублей нужны? Неужели мы без них не проживем? Такое хозяйство — две тысячи оборота... и все равно — пусть умирает, только бы деньги присылал. Только бы нам... А я ведь хорошо знаю и чувствую, что это против совести и против бога... весь день чувствую. И все равно не могу иначе! Притворяюсь, будто ничего не вижу, ничего не понимаю, нарочно говорю только о своем... вру и ему и себе. За себя стыдно и страшно. Чувствую, сидит во мне что-то сильнее бога и совести... связало мой язык, улыбается вместо меня. Стыдно и страшно. Дьявол наживы... И в тебе, Лиене, он сидит. В тебе тоже?

Лиене бормочет что-то в ответ. Чувствуется по ее голосу, что она не отрицает, что и она признается.

— Что для нас эти двадцать рублей? С них мы не разбогатеем. И не надо! Если между братьями может быть такое, любовь такая — тогда ничего на свете не надо! Нет, Лиене, так нельзя! Завтра же утром ему скажу. Брат, скажу я ему, ты болен, тебя губит сидячая работа и городская пыль, уезжай на юг. Уезжай на юг, я ему скажу. Довольно ты нам помогал, теперь мой черед. Свободных денег, сам знаешь, у нас нет, а добра много. Займем, продадим корову или еще что... Когда-нибудь вернешь, поправишься и вернешь. А не сможешь вернуть — не беда. Ведь мы не чужие... Братья!

— Да, Екаб! Конечно, так...— тихо, с чувством говорит Лиене, заражаясь мужниным волненьем.

Растроганный ее согласием, Екаб оживляется.

— Как только подумаю...— начинает он.— Всегда такие дружные... С детства слова дурного друг другу не сказали... И вдруг откуда все это?.. Как будто ржавчина...

Не в силах найти подходящее слово, чтобы выразить внутреннее смятение, он умолкает. Нить обрывается, и мысли теряются в сумятице чувств. Екаб тщетно пытается поймать их, снова нанизать на общую нить, но ничего не получается... Подушка жесткая и горячая, как раскаленный камень, а лоб сапит от холодного пота.

Лиене тоже не спит. Наконец светает, на крышах розовеет отсвет зари. Оба встают, молча одеваются и угрюмо расходятся в разные стороны.

Когда Эрнест выходит из своей комнаты завтракать, оба встают из-за стола ему навстречу. Стараются не глядеть и все-таки сразу видят худое, серое лицо, покрасневшие от бессонной ночи глаза с темными кругами под ними. Видят тихую печальную улыбку на лице брата.

— Ты, брат, болен,— начинает Екаб и сам пугается — так сухо и неискренне звучит его голос.— Сидячая работа и городская пыль не по тебе. Поезжай на юг...

Лиене стоит рядом, опустив глаза, но и она кивает в знак согласия. Екаб говорит долго, повторяясь и запинаясь. Под конец начинает даже горячиться, словно сердясь на что-то. Эрнест только раз поднимает голову и смотрит в лицо брата. Но когда тот кончает, он качает головой. Улыбается и опять качает головой.

— Пустяки!..— говорит он.— Пока еще не так страшно. У меня хороший врач... Надо начать аккуратно принимать лекарство... Запрягай-ка лошадь.

Он поворачивается и уходит укладывать вещи.

— Нет, все-таки... ну как же так...— Екаб делает шаг вслед за ним.

Эрнест оборачивается.

— Ничего, все обойдется. Прошлой ночью я все обдумал... Запрягай лошадь.

Екаб и Лиене переглядываются. Переглядываются, краснеют и отворачиваются. Обоим кажется, что они заметили блеск тайной радости в глазах друг у друга.

Екаб идет запрягать.

1903—1909

Бывший помощник волостного писаря осторожно раздвинул дерн, чтобы не обломать белый шиповник, который расцвел на его могиле, среди вейника и полыни, и вылез наверх. Прежде всего он как следует потянулся, желая расправить слежавшиеся за два года кости — все, что осталось от его некогда долговязой сухопарой фигуры,— зевнул, а затем, усевшись верхом на покосившийся крест, стал греться в лучах луны. Сквозь кусты кое-где виднелись изжелта-белые гладкие кости скелетов. Все это были мертвецы, с флегматичной неподвижностью сидевшие на своих крестах или могильных холмиках. Иные, кто помоложе и порезвее, спустились с горки и, засев в придорожных ивах, пугали прохожих.

В кустах запел соловей. Потревоженный в своих размышлениях, помощник писаря передернулся.

— Мерзкая птица,— проворчал он и провел иссохшей локтевой костью по лбу, на котором от лунного зноя выступили крупные капли пота,— ни днем, ни ночью не дает покоя. Придушить бы.

Длинные фаланги пальцев стали судорожно сжиматься, точно готовились осуществить это намерение. Но соловей, как видно, усовестился и вскоре умолк. Помощник писаря неподвижно сидел на кресте, грелся в лучах луны и думал свою долгую, как сама вечность, думу. Через некоторое время он услышал подле себя странные звуки; казалось, будто чья-то шея трется о высокий крахмальный воротничок новомодной рубашки. Помощник писаря сердито обернулся и увидел своего соседа, бывшего старосту из имения. Тот сидел, сложив руки на коленях. Желто-серые кости тускло поблескивали в зарослях репейника и крапивы,— там, где лет тридцать — сорок тому назад

вырыли ему могилу. Староста кивнул помощнику писаря и оскалил зубы,— это должно было изображать улыбку.

— Добрый вечер,— поздоровался он с соседом и повернул голову. Теперь помощник писаря понял, что это хрустели шейные позвонки старосты.— Правильно сделал, что вылез. Молодому человеку потребен свежий воздух. Да и луна сегодня пригревает знатно.

Помощник писаря не ответил ни слова, только сердито фыркнул, раздвинул дерн и полез обратно в могилу. Он с самого начала не мог ужиться с соседом. Помощник писаря был человек образованный. Его крайне раздражали и старомодный выговор, и болтовня старосты. Старик не давал ему думать. Однако сегодня в могиле что-то не лежалось: темно, сыро, холодно, сон нейдет и невозможно забыть, до чего тепло там, наверху, под лучами луны. Вскоре он снова вылез наверх. Флегматичный староста сидел все в той же позе и клевал носом, но стоило показаться писарю, как он тут же встрепенулся.

— Так-то разумнее.— Староста кивнул головой и при этом снова хрустнул шейными позвонками.— Успеешь еще выспаться. В летнюю пору день-то, он долог. Присаживайся, сынок, все равно бежать тебе некуда.

Насупившись, помощник писаря уселся на крест.

— Удивляюсь я, староста,— какой же ты зуда. При жизни ночами не спал — сам бегал и людей гонял — и после смерти покою не даешь.

Староста даже чихнул от радости, что его молчаливый сосед наконец заговорил, но сдержался и равнодушно спросил:

— Чем же я тебе досаждаю?

— Ну что ты вечно пристаешь ко мне? Почему ты мешаешь мне размышлять?

— О чем же ты все время размышляешь?

— О чем размышляю, тебе того не понять. И не стоит с тобой о таких материях разговор заводить.

— О каких таких материях?

— Эх! — И помощник писаря сердито фыркнул.— Да ты пойми, что размышляю я, что мои размышления... Что я размышляю... Да что тут говорить. Разве тебе, дурню, уразуметь...

— Говори, выкладывай, все равно тебе от меня покоя не будет.

— Видишь ли, об этом размышлять я стал с первой же ночи, как меня тут зарыли. Боюсь только — не успею докончить эти размышления — времени не хватит.

— Ох, и долгие же твои размышления,— заметил староста, и в его скрипучем голоске прозвучало нечто вроде насмешки. Он снова чихнул, потому что недавно, лет этак пять тому назад, схватил насморк, когда в новогоднюю ночь бродил привидением по старым помещичьим ригам.

— Дума эта долгая, подольше самой вечности,— продолжал помощник писаря, не слушая старосту.— И охватывает она подряд все двадцать два года моей жизни — каждый день, каждый час, каждую минуту. О каждой минуте своей жизни я должен размышлять по два года, если не больше, и чем меньше я размышлял о ней, пока был жив, тем дольше приходится размышлять теперь. В ту пору мне казалось, что дни моей жизни никак не связаны между собою, что каждый день приходит сам по себе, со своими горестями и заботами. А теперь я понимаю, что это вовсе не так. Одна минута цепляется за другую, как звенья цепи, и мысль об одной сплетается и связывается с мыслями о другой и третьей минуте. И вот так, сплетаясь и связываясь, они тянутся все дальше, словно нити бесконечной сети. Каждая минута — лишь следствие предыдущей... нет, следствие тысячи прошедших минут и причина тысячи будущих... И в жизни своей человек никогда не стоит особняком — бесчисленные нити связывают его с другими людьми, и, стало быть, мысли о себе превращаются в мысли обо всем человечестве. Какой-то запутанный клубок, в котором не найти ни начала, ни конца. Непонятно даже, с чего начинать: со своего рождения, или со смерти, или с сотворения мира... Некоторые вон говорят, что начало было задолго до сотворения мира. Вот тут и разберись... А все же надо продумать и понять прожитую жизнь целиком, до последней мелочи. Одна беда — ну, какое у помощника писаря образование! Если б я изучал логику, то давным-давно открыл бы систему, с помощью которой можно разложить по порядку все минуты и все события моей жизни, и в скором времени я додумал бы эту распроклятую думу до конца. А так...

Внезапно он умолк и подозрительно взглянул на старосту: помощнику писаря показалось, что старик смеется. Но хитрый староста отвернулся, сделал вид, что пристально смотрит в ту сторону, где над кустами проскакала на лопате Трина Сикснене наводить порчу на соседскую скотину.

— Вот эту самую систему я и обдумываю уже два года, а ты постоянно мешаешь, перебиваешь меня, не даешь мне сосредоточиться...

От досады он проглотил последнее слово; теперь сомневаться было нечего, староста явно смеялся. Помощник писаря от

злости хотел было шмыгнуть обратно в могилу, но староста его остановил:

— Ну, полно, не сердись, это я так, невзначай...

— А ты все же как был дураком, так дураком и останешься,— заявил помощник писаря, продолжая сердиться.

— Может, и так, может, и так, а только скажу тебе — и ты не умнее.

Помощник писаря презрительно взглянул на старика.

— Думаешь, оттого, что, как я сказал, у нашего брата скверное образование? Это вовсе не дает тебе права задирать нос. Пусть человек и необразованный, но если он размышляет...

— Стало быть, он дурак, вот и все.— Староста сплюнул.

От злости помощник писаря поперхнулся словом. Он еще немного помедлил, не зная, оставаться ему наверху или снова лезть в могилу. Но староста тотчас заговорил опять:

— Так-то. И умнее всех тот человек, который вовсе не думает. И умнее всех и счастливей всех, потому как все зло на свете оттого, что люди думают. Я знаю, меня только проклятьями да плевками поминают, а все ж при мне люди были счастливее: никому ни о чем не надо было думать — моя палка все разъясняла, всех вразумляла. Все знали, когда вставать, куда идти, что делать, за что получать порку... Да разве люди ценят своих благодетелей? Не ценят... Ты погляди, чем только не заросла моя могила! Правда, зелень куда лучше, чем голый, будто курами перекопанный бугор, а все же это черная неблагодарность. Ведь не порол бы я их, не гонял, как положено,— пожалуй, многие стали бы думать да размышлять. И, может, не один бы удавился, вроде тебя...

— Выходит, я оттого и повесился, что много думал?

— Понятно, оттого, что умничать стал. А то бы жил и по сей день, да, может, и женился бы на своей Юлине Мелдере.

— Что же... думаешь, это было бы лучше?

— Ничего я не думаю. Давно я ничего не думаю. А только одно скажу: не полез бы ты в петлю. Ну скажи-ка сам, отчего ты удавился?

— Я думал...

— Думал! То-то и оно. А я что говорил!

— Я думал так,— продолжал помощник писаря, повысив голос.— Раз ты, милая, с другими любезничаешь, мне тебя не надо. Долго я об этом думал, пока не придумал. Повеситься для меня плевое дело, десять минут работы, зато тебя, голубушка, совесть будет мучить всю жизнь. Люди на тебя пальцами будут показывать: вон, мол, она, Юлиня Мелдере, та самая, что

человека в могилу свела, бегите от нее, как от чумы. И останется она старой девой... Видишь, какую страшную месть я замыслил?

— Ну и как — удалась твоя месть?

— Отчего ж ей не удасться. Удалась.

— А ты Юлию свою с тех пор видал?

— Нет, не видал, совестно как-то. Выходит: то повесился, то опять пристаешь.

— Пустяки. Загляни к ней как-нибудь — во сне привидься. Пока своими глазами не видал, ничему не верь. Только пуще всего остерегайся думать, не думай, а только гляди...

— Да, но ведь если с самого начала обдумывать... сдается мне, иначе-то нельзя... Мне бы вот только систему...

— Сдается тебе!.. Как же!.. А мне вот сдается, что умнее было вовсе не вешаться. Да что с тобой спорить — явись ей как-нибудь во сне да погляди, тогда видно будет. Ох, что-то меня ко сну клонит. Пойду полежу, дам костям отдых. Ты еще посидишь? Ну, тогда будь здоров. Сиди да смотри не схвати насморк.

Староста зевнул и полез в могилу. Помощник писаря задумчиво высморкался, продолжая сидеть на месте.

— Гм,— пробурчал он,— послушать старосту, так, пожалуй, что он и прав. Но ведь это же немыслимо; говорит — напрасно повесился! Говорит — Юлиия Мелдере совести не имела! Теперь не те времена, когда палка старосты была для людей категорическим императивом. Ты просчитался на сей раз, старый скептик. Да и что он смыслит в мышлении, ассоциациях, консеквенциях, умозаключениях.

Уяснить смысл прожитой жизни помощник писаря не мог по сей день, но насчет своей смерти и ее последствий он ни на минуту не сомневался: Юлию Мелдере этой смертью он обрек на нечеловеческие, страшные муки. Всю свою жизнь она будет как прокаженная, изгнанная в пустыню, а иначе... но на такие мысли не стоит терять и секунды.

И помощник писаря снова принялся размышлять о своей системе. Но вскоре его потревожили пронзительные звуки гармоники, доносившиеся до кладбища. Недовольно скривившись, помощник писаря стал прислушиваться.

По соседству жили смекалистые люди, они и устроили под горкой возле самого кладбища площадку для танцев и гулянок: пусть, мол, и обитатели погоста послушают что-нибудь веселенькое, наскучило им слушать, как шипят ужи да шашель точит обломки сгнивших крестов. А сами хозяева нынешним летом веселились напропалую. По воскресеньям раз в две недели прон-

зительно заливалась гармоника, а в кустах визжали девки. Иные, навеселившись, поднимались по тропинке наверх и либо отдыхали на скамьях, либо завершали начатый внизу роман.

Вон по узкой тропинке взбираются на гору три подружки. Помощник писаря посмотрел на них и подумал, что за эти два года после его смерти появилась новая мода. Когда он повесился, рукава кофт носили с широченными буфами у плеча, а теперь, наоборот, у плеча рукава совсем узкие, зато внизу — неимоверной ширины, так и развеваются по ветру. Он даже сплюнул: до того отвратительной показалась ему эта новая мода.

Девушки шли неподалеку от его могилы. Помощник писаря смотрел-смотрел на них и вдруг как хлопнет себя по лобной кости. Да ведь та, в кофте с самыми широкими рукавами, не кто иная, как его Юлиня Мелдере! Но как же так? Почему же подружки идут рядом с ней и не собираются бежать от нее? И кажется — они о чем-то дружески с ней беседуют. Быть не может! Уж не обман ли это зрения? Он протер глазницы и с величайшим вниманием принялся разглядывать девушек.

Да, сомнений нет, это Юлиня Мелдере. Тот же гибкий, стройный стан, те же светло-каштановые волосы, те же быстрые глаза и круглое лицо. Правда, вот в лице-то появилось нечто такое, что помощник писаря еще никак не мог определить, но только теперь она стала еще прекрасней. За два года сна помощнику писаря не раз грезилась Юлиня, но всегда тихая, бледная, изможденная, согбенная бременем позора, укоров совести, тоски и сожаления. А эта Юлиня кажется еще жизнерадостней и красивее, чем та, из-за которой он повесился два года тому назад.

В этот миг девушки прошли почти совсем рядом. Обычно они чуть ли не за версту обходили кладбище, а в этот вечер шагали прямо по могилам, словно по картофельным бороздам.

— А там, кажется, могила помощника писаря? — заметила одна из подружек, посасывая леденец, и небрежно дрыгнула ногой в ту сторону, где сидел помощник писаря.

— Помощника писаря? Какого помощника писаря? — спросила Юлиня Мелдере и поспешила снова сложить губы сердечком: пока взбиралась на горку, они потеряли эту форму.

— Да который два года тому назад повесился.

— Отчего же он повесился?

— Кто его знает. Говорят, подобрался к шкафу с волостными деньгами, а старшина забыл ключ в дверце. Не миновать бы парню Сибири, вот он и... Помнится, где-то тут его и похоронили.

— А пожалуй, поближе к воротам.

— Нет, нет, здесь, рядом со старой Граудиниете.

— Верно, я тогда не была на кладбище... Ну послушай, милая, только уговор не врать! Неужто впрямь сам Рауска давеча обо мне справлялся?

— Ей-богу, Юлиня. Всюду искал, а тебя нигде нет.

— Я, верно, там вон, с Прицисом Сайшкисом...

— Ну да, с Прицисом Сайшкисом! Я слышу, что ты смеешься, а сама молчу. Да, значит, подходит это Рауска ко мне — мы с ним давно знакомы,— подходит и говорит: «Эй, Гриетель, покажи-ка мне, которая тут Юлиня Мелдере. Я тут в первый раз». А я ему: «Сейчас ее нету, придет — покажу».— «Ладно,— он мне отвечает,— только смотри покажи. Мне надо сейчас в буфет, три дюжины заказать...» Ущипнул и пошел. Такой шутник!

Юлиня стала пунцовой, как мак. Отвернувшись от подружек, она теребила пряжку пояса.

— И с чего бы это он вдруг?

Подруги понимающе усмехнулись.

— Вот уж не понять... с чего вдруг...

Дальнейшего разговора помощник писаря не слышал. Девушки отошли далеко, а бежать за ними не хотелось. Да, по правде говоря, он и не в состоянии был следовать за подружками, он просто окаменел от удивления. Так эта та самая Юлиня, из-за которой он повесился?

«Помощник писаря... Какого помощника писаря... Почему он повесился?.. Подобрался к денежному шкафу... Сибирь...»

Все это еще звучало у него в ушах. Она даже не знает, где он похоронен и почему повесился... Неужели не нашли записку, которую он сунул в расщепленный сосновый сук? Ну нет, уж это следует проверить.

Помощник писаря поднялся, расправил ноги, взлетел саженки на две над землей и побрел по тонкой пелене тумана, стелившегося над лугом до самого сосняка, куда покойник и направлял свои стопы. Идти было нелегко. Ноги вязли и стыли, а сверху припекала луна, так что он совсем вспотел, когда добрался до леса.

За эти два года он уже позабыл знакомые места. Лунный свет сюда не достигал, и в сосняке было довольно темно. Пришлось порядком поплутать, прежде чем он отыскал сосну. Да, вот она, та самая, с большим суком, футах этак в семи от земли... А рядом ветка покороче, сломанная и расщепленная на конце, и — как описать удивление помощника писаря? — в

самой расщепе торчит еще клочок сгнившей, размокшей бумаги...

Вконец подавленный, понурив голову, помощник писаря поплелся домой. Спрашивается, стоило ли целых семь футов карабкаться с веревкой по голому толстому стволу сосны до первого сука? Он тогда из сил выбился, порвал новые суконные брюки, исцарапал нос... Стоило ли вешаться, если Юлиня Мелдере даже не узнала, почему он это сделал!

И снова он перебрал в уме все замыслы, которые должны были осуществиться благодаря его смерти. Все пошло прахом из-за того лишь, что какой-то ленивый конюх, вынимая его из петли, не удосужился даже поднять голову и заметить засунутую в расщепленный сук записку, где все написано черным по белому. Выходит, пожалуй, что староста прав и вовсе не стоило вешаться? Но нет, помощник писаря ни за что не хотел в этом сознаться — слишком уж стыдно стало бы за свою глупость.

Быть того не может, чтобы из-за какого-то нерасторопного сонного конюха рухнули все его планы. Неужели его грандиозным замыслам не суждено было осуществиться из-за столь смехотворной причины? Сунь он записку в карман, и все вышло бы по-другому? Неужели на чаше весов смерть его не перевесит какого-то мелкого просчета? Факты как будто подтверждали это, но помощник писаря не желал верить фактам. Тут, должно быть, скрыта какая-то истина, которую не в силах извратить столь ничтожная случайность. Но как добраться до этой истины? И как на основе этой истины понять и объяснить каждое событие своей жизни, а поняв и объяснив, нанизать их, точно бусы, на единую логическую нить? Эх, если б он при жизни усерднее изучал логику, то давно бы уж открыл искомую систему...

Дома, скрючившись на своем кресте, он с удвоенной энергией принялся размышлять об этой самой системе, без которой ни до чего толком не додумаешься.

Но вскоре ему опять помешали. На горку поднялись двое крепко подвыпивших парней. Их папироски, точно звездочки, светились во мраке, то почти сталкиваясь, то удаляясь друг от друга. Когда парни подошли поближе, помощник писаря вгляделся и узнал одного из них. Это был Рауска, известный на всю округу богач, владелец мызы, красавец и ловкий обольститель, при виде которого и у батрачек и у хозяйских дочерей таяли сердца. Рауску качало от могилы к могиле, и если б помощник писаря вовремя не убрался в сторонку, парень столкнул бы его с креста.

— Так, говоришь, тут они на горку поднялись? И Юлиня Мелдере тоже? — заплетающимся языком спросил Рауска.

— Ну да, я же тебе сказал. Твоя прежняя зазноба и Юлиня Мелдере. И что это сегодня Юлиня Мелдере у тебя с языка не сходит?

— Охота на нее взглянуть. Все кругом говорят: она писаная красавица.

— Враки,— и приятель Рауски сплюнул.— Бойкая девчонка, вот и все. Я и пятака не дам за ее красоту.

— Не скажи. Слыхал я, будто из-за нее помощник волостного писаря повесился.

«Неглупый парень этот Рауска...» — подумал про себя помощник писаря и посмотрел на него благодарным взглядом.

— Что-то я не слыхал,— отозвался другой.— Чтобы из-за какой-то девки полезть в петлю? Надо уж круглым дураком быть.

— Говорят... Мне сам писарь рассказывал. Тот парень был его помощником.

«Ага, сам писарь,— опять подумал помощник писаря,— этому-то известно, кто к денежному шкафу подобрался...»

— Ну так вот,— продолжал Рауска,— мне уже давно хотелось на нее поглядеть. Какая же, думаю, она из себя, когда из-за нее люди вешаются? Верно, красавица необыкновенная, не иначе.

— Говорю тебе — чепуха! — упрямо повторял другой.— Глянь-ка, вон они идут. Та, что посередке, с пышными волосами...

Неподалеку к тропинке направлялись три подружки, те самые, что давеча проходили мимо. Казалось, будто девушки смотрят только в ту сторону, куда идут, а больше ровненько ничего вокруг себя не видят. Но помощник писаря отлично заметил, как Юлиня сверкнула глазами на Рауску, как зарделись ее щеки, как она нарочно уронила платок и неторопливо нагнулась, чтобы Рауска залюбовался красотой ее фигуры. При этом она упустила из виду, что в сумерках Рауске все равно не разглядеть ее прелестей.

Когда подружки скрылись за косогором, Рауска еще долго стоял, не двигаясь, и только моргал глазами. Потом он провел рукой по губам и пробормотал:

— Да, из-за нее и впрямь можно полезть в петлю. Помощник писаря был вовсе не дурак.

Помощника писаря весьма обрадовала эта похвала, и он в самом приятном настроении еще долго просидел на кресте, ни о чем не думая.

Но вскоре его вновь потревожили. По тропинке на гору поднимались двое: мужчина и женщина. Женщина шла степенно, чинно, а мужчина так изгибался и извивался всем телом, что мог вот-вот вывихнуть спинной хребет. И при этом говорил он до того сладким голоском, до того умно и убедительно, словно это был вовсе не подвывший Рауска. А женщина столь благовоспитанно кивала головкой и улыбалась столь сдержанно-благосклонно, словно вовсе не была пылкой Юлиней Мелдере...

Помощник писаря смотрел им вслед, пока парочка не скрылась в кустах, потом передернулся так, что все кости затрещали. Нет, быть не может! Он не верил собственным глазам. Если б он сам не был мертвецом, то готов был бы поверить, что все это ему привиделось. Все сплошь шло вопреки его расчетам и планам. Быть может, после двухлетнего лежания в могиле его мыслительный аппарат вышел из строя? Или, может, при жизни он все видел наоборот и понимал превратно? Или Юлиня Мелдере и впрямь ухитрилась извлечь выгоду даже из его смерти? Зачем этот богач, этот хваленый Рауска заявился сюда? Чем сумела Юлиня привлечь его внимание? «Говорят, какой-то помощник писаря из-за нее повесился...»

Помощник писаря засмеялся таким злобным смехом, что на глаза навернулись слезы. Но тут же он стиснул те немногие зубы, что еще оставались у него во рту, и прошипел: «Нет, нет, нет!» Чуть передохнув, он снова поднял голову, поглядел на кусты, за которыми исчезли Юлиня и Рауска, и с несгибаемым упорством, почти в отчаянии, без конца стал твердить: «Нет, нет... Нет, нет, нет...»

Кусты зашелестели — парочка возвращалась обратно. Но теперь роли переменились. Рауска шел, как обычно, вразвалку, самоуверенно откинув голову, одну руку небрежно сунул в карман, другою обнимал Юлиню Мелдере за талию. Зато Юлиня теперь прижималась к нему плечом и, вытягивая шею, заглядывала в глаза.

Неужели у Рауски такие дела так быстро идут на лад? Помощник писаря не мог поверить и этому. А он-то, помнится, как потел, сколько мучился и маялся, прежде чем набрался духу пересечь танцевальную площадку и пригласить Юлиню Мелдере на польку... а этот — раз-два, и уже обнимает за талию...

Помощник писаря был человек весьма самолюбивый, иначе он тотчас понял бы, какова разница между ним и баловнем женщин — богачом Рауской. Помощник писаря заткнул уши, чтобы не слышать этого невыносимо сладкого лепета, доносившегося с тропинки, по которой Юлиня и Рауска спускались вниз.

Высунув голову из своей могилы, староста уже довольно долгое время наблюдал за соседом. Но теперь на лице старика не заметно было ни улыбки, ни насмешки.

— Все еще сидишь? — озабоченно осведомился он.— Я здорово соснул, и еще бы поспал, да замучил насморк. Пришлось подняться, прочистить нос.

Староста снова взялся за нос, и тут раздался такой оглушительный шум, словно кто-то дунул в большую пастушью дудку из ольховой коры. Высморкался староста так усердно, что даже слеза прошибла.

— Эх,— сказал он,— зря ты, брат, голову ломаешь. Оставь ты все эти премудрости да отправляйся на боковую. Под утро сон самый сладкий, как, бывало, говаривал покойный барон. А то, может, ты уже что-нибудь придумал?

Помощнику писаря стыдно было сказать правду.

— Не придумал, так придумаю,— отрезал он упрямо. Но голос его прозвучал не совсем уверенно. Он снова зажал уши и отвернулся от разговорчивого соседа.

Староста еще с минутку смотрел на него, потом покачал головой и вздохнул: сердце у него было не злое, и он от души жалел молодого соседа.

— Совсем изведется, бедняга...— пробормотал он себе под нос, заползая на свое ложе.— Вот ведь беда! В старое бы время этаких мудрецов дубинкой...

«Рауска ее надует... Обманет и бросит... Ни за что на ней не женится»,— успокаивал себя помощник писаря. С отчаяния он ухватился за эту внезапно осенившую его мысль, и она показалась ему такой обоснованной и удачной, что он начал подгонять под нее все остальные. Теперь ему казалось, что он повесился лишь для того, чтобы Рауска благодаря его смерти услышал о Юлиле Мелдере, соблазнил ее и бросил и чтобы она поняла, из-за чего ее постигла такая кара. «Да! Не такой Рауска глупец, чтобы на ней жениться. Ни за что не женится!»

Но не прошло и нескольких недель, как помощнику писаря пришлось убедиться, что Рауска оказался именно таким глупцом. Однажды мимо кладбища на гору поднялся длинный-предлинный свадебный поезд. Словно окутанная легким облачком, сидела Юлиня Мелдере, убранная в белую фату. Лицо ее сияло от счастья, и все смотрели на нее и дивились ее красоте и счастью. И было чему подивиться, чему позавидовать: целая мыза, двухэтажный жилой дом в пять комнат, рояль, мягкая мебель, каменные хлева, тридцать дойных коров, пять лошадей... Да где тут счесть все добро!

А тот, благодаря кому пришло к ней все это счастье, сидел на своей могиле, пожелтевший, как воск, крепко зажав руками уши. Как безумный, вперил он взор в желтый песок. Снова и снова он думал о том, как же это получилось, что об истинной причине его смерти знал лишь один человек — волостной писарь и что именно благодаря этому человеку Юлине Мелдере привалило этакое счастье. Неужели возможна подобная нелепость, противоречащий всякой логике случай? Но тут он махнул рукой и той же ночью отправился на мызу к Рауске.

Да, здесь оставалось лишь смотреть да завидовать. Этакого богатства не сыщешь во всей округе. Юлиня Мелдере теперь по праву может задирать свой носик. И кто же ее благодетель? Он, чья смерть должна была стать для нее страшным наваждением на всю жизнь, червем, неустанно грызущим сердце, несчастьем и гибелью!.. О вечная дисгармония, вечная путаница! О жгучая насмешка над самим собой, над делом собственных рук! И помощника писаря охватил такой стыд за свою жизнь и самоубийство, и свои долгие, как сама вечность, размышления, и за то, что он еще пытался разобраться во всей этой бессмыслице. Старосте он не смел на глаза показываться.

Первую ночь после свадьбы Рауска и его молодая жена вовсе не спали. А на вторую ночь, как только Юлиня уснула, во сне ей привиделся повесившийся помощник писаря. Вошел, ни слова не говоря, уселся в ногах кровати и, сгорбившись, уставился на Юлиню. По тому, как он отчаянно таращил глаза, видно было, что он изо всех сил старается заглянуть ей в самое сердце и разгадать какую-то тайну. Юлиня вздрогнула, вскрикнула и проснулась. Рауска тоже проснулся и спросонья пробормотал:

— Что с тобой?

— Помощник писаря...— пролепетала Юлиня, прячась с головой под одеяло.

— Что? Какой помощник? — проворчал Рауска, протянув руку, и ощупал кровать с ее края.

— Который повесился... Я думала...

— А, вздор. Нечего думать, спи.

Юлиня послушалась, повернулась на другой бок и уснула.

1905

1

ВИХРЬ

Вечер накануне свадьбы.

У крыльца небольшой усадьбы Ирбьи, на круглой, посыпанной мелким гравием площадке, подвыпивший конюх с трудом удерживает сытых, лоснящихся вороных коней. Вороные бьют копытами, грызут удила, встряхивают гривами, так что в падающем из окна свете ярко поблескивают позолоченные бляхи оголовья. Конюх успокаивает лошадей, намотав вожжи на руку, откидывается назад и стоит, поглядывая по очереди на все восемь ярко освещенных окон, расположенных по обе стороны крыльца.

На крыльцо выходят владелец усадьбы Ирбьи Мейер и его будущий зять, аптекарь Зоммер. Несмотря на изрядную полноту, Мейер с юношеской ловкостью вскакивает на козлы и вырывает у конюха вожжи. Парень поспешно отскакивает прямо на газон, засеянный сочной зеленой травой и мелкими синими цветочками и огороженный колючей проволокой, оплетенной широколистым вьюнком. В другой раз Мейер не простил бы парню такую неловкость, но теперь он только смотрит на него и от души хохочет.

Зоммер — он тоже под хмельком — старается влезть на козлы к Мейеру, но тот со смехом отталкивает его ногой.

— Куда ты — еще свалишься... Полезай в тарантас да держись крепче. Сегодня мне хочется прокатиться...

Бормоча что-то невнятное, Зоммер лезет в тарантас.

На крыльце появляются госпожа Мейер и ее дочь Элла.

— Карлис! — взволнованно восклицает госпожа Мейер.— Что вы собираетесь делать?

— Проехаться... прокатиться...— смеется Мейер.— Да так, чтобы ветер в ушах свистел. Но-о!

Зоммер, привольно развалившись на мягком сиденье тарантаса, с кривой пьяной усмешкой оборачивается к невесте. Но она не смотрит в его сторону. Лошади вдруг шарахаются. Мейер умело сдерживает их и хлещет кожаными вожжами по мокрым спинам. Они испуганно приседают.

Элла спускается на нижнюю ступеньку.

— Право, это безумие,— вяло говорит она.— Арнольд, вы с папой в таком состоянии... Темно, дороги не видно — долго ли до беды...

— Не бойся, душенька! — Зоммер подмигивает Элле.— До завтрашней ночи я не умру, будь уверена...

— Оставь эту затею, Карлис,— озабоченно говорит госпожа Мейер.— Ведь темно, да и лошадей нужно поберечь к завтрашнему.

Мейер на мгновение трезвеет и с подчеркнутой учтивостью отвечает жене:

— Не тревожься. До лесничества и обратно три-четыре версты, лошади и не почувствуют.

Он снова хлещет вороных и так натягивает вожжи, что лошади с хрустом закусывают удила. Потом он немного отпускает их. Вороные вихрем срываются с места.

— До свидания, милочка, жди меня! — успевает еще крикнуть Зоммер и, сорвав с головы шляпу, начинает махать ею, но непослушные пальцы не могут сопротивляться встречному ветру,— шляпа вырывается у него из рук и кувырком катится обратно к самому крыльцу.

Госпожа Мейер, подавшись вперед и затаив дыхание, смотрит, как тарантас с быстротой ветра приближается к четырехгранным кирпичным столбам ворот. Еще мгновение — и он исчезнет в сумраке кленовой аллеи. Госпожа Мейер выпрямляется, тяжело вздыхает, подбирает шляпу будущего зятя, стряхивает с нее пыль. С тревогой смотрит на Эллу.

— А ты, доченька...— начинает она и умолкает.— А ты, Элла... не удивляйся этому: все мужчины таковы — исключений нет. Когда подвыпьют, часто сами себя не помнят...— Она снова искоса посматривает на Эллу, но на лице дочери уже нет той упрямой иронической улыбки, которая часто доводит госпожу Мейер до слез, до истерики. Элла стоит в тени, наклонив голову, бессильно опустив руки, вся ее фигура выражает усталость.

— Элла,— шепчет ей мать, идя в дом,— ты не подавай вида

перед гостями. Эти сплетницы еще могут нас скомпрометировать.

У дверей она останавливается, придает своему лицу обычное, слащаво-приветливое выражение и только после этого отворяет дверь.

В комнате сидят три гостьи. Жена управляющего имением и жена лесничего — такие же упитанные, с такими же одутловатыми щеками и жирными подбородками, как у госпожи Мейер. Третья гостья отличается от них худобой, изможденным лицом, длинным горбатым носом. Отличается она и тем, что ее величают не сударыней, а просто мадам.

При появлении госпожи Мейер и ее дочери гостьи тоже стараются состроить приветливые физиономии, чтобы хозяйка не догадалась, как они судачили насчет неотесанного хозяина усадьбы и его пьяницы-зятя.

Госпожа Мейер и Элла садятся. Гостьи придвигаются к ним. Их улыбки, взгляды, каждое движение как будто говорят: мы благовоспитанные, образованные, интеллигентные дамы, и, право же, ничего дурного, предосудительного здесь не заметили. Мы не заметили, как хозяин со своим зятем напились допьяна, мы не слыхали ни одного циничного выражения, ни одного грубого намека, которыми они не стыдились обмениваться даже в присутствии дам... Госпожа Мейер тоже улыбается. Улыбка ее говорит: вы и сами прекрасно знаете, что вы всего лишь глупые невоспитанные выскочки, что я оказываю вам великую честь, принимая вас в своем доме. Но этого я не выскажу, ни один мускул лица не выдаст моих мыслей о том, что вы скучны, надоедливы и целый день мешаете нам готовиться к завтрашнему торжеству.

Одна Элла не принимает участия в этой своеобразной мимической игре. Она сидит, бессильно уронив руки на колени, откинув голову на мягкую спинку кресла, полузакрыв глаза. Свободное белое платье, бледное лицо с классическими строгими чертами, с темными дугами бровей над полузакрытыми глазами, и обрамляющими его густыми каштановыми волосами — все в ней напоминает только что распустившуюся белую астру среди тронутых морозом георгин.

— Деточка, ты простудишься...— говорит госпожа Мейер. В ее голосе звенит неподдельно нежная, трогательная нотка. Поднявшись с кресла, она старательно затворяет дверь.

Элла чуть приподнимает веки, кидает из-под длинных ресниц быстрый взгляд. В это мгновение глаза ее напоминают глубокий источник, в который упал луч полуденного солнца. Но го-

ворить ей не хочется. Она так устала. Она чувствует, что устала не столько физически, сколько морально. Душа ее дремлет, как утомленная птичка, бессильно опустившая крылья...

— Нам уже пора по домам...— улыбается жена лесничего и делает вид, что хочет встать.

— Да, пора,— присоединяется к ней жена управляющего.

— Кхе-кхе,— покашливает третья, улыбается и ерзает в кресле.

— Нет, сударыня, прошу вас!..— восклицает госпожа Мейер, причем и лицо ее и вся фигура выражают решительный протест.— Мы еще будем пить чай, да и потом... надо подождать, пока вернутся мужчины — на этих же лошадях вас и отвезут... Мужчины... они поехали... вернее, я их послала в лесничество...

Госпожа Мейер улыбается жене лесничего, а жена лесничего улыбается в ответ госпоже Мейер,— они как бы ласкают друг друга улыбками, они кивают друг другу. В такт им кивают и остальные гостьи.

— Ну, если вы так настаиваете...— говорит жена управляющего,— мы посидим еще минуточку, одну только минуточку. Но вы, госпожа Мейер, не извольте беспокоиться — у вас ведь еще столько хлопот перед свадьбой. Мы и одни посидим. Не беспокойтесь...

— Ах, сударыня, что вы! — Госпожа Мейер машет руками и сама чувствует, сколь естественно и искренне это у нее получается.— Ну помилуйте, какое же тут беспокойство, да боже сохрани... Такие дорогие и редкие гости!.. Да и какие у нас могут быть нынче хлопоты — все уже сделано, все готово. Вот на прошлой неделе... всю неделю... ах! — Госпожа Мейер делает неопределенный жест рукой, означающий нечто огромное и тяжелое.

— Ах... Ах! — сочувственно глядя на нее, вздыхают гостьи.— Как не понять. Ведь это не то, что у каких-нибудь мужиков: заколют пару поросят, напекут лепешек из пуда пшеничной муки, сварят бочку пива — вот вам и свадьба. Ха-ха-ха!

Сравнение завтрашнего торжества с крестьянской свадьбой кажется дамам настолько комичным, что все четверо некоторое время от души хохочут,— понятно, не слишком громко и не забывая прикрыть рот рукой.

— Ну, конечно...— говорит сухопарая дама, закатив глаза.— Мы обязаны считаться с культурными запросами... Это относится и к свадьбе. Но разрешите мне заметить: господина барона, по-моему, не следовало бы приглашать.

Госпожа Мейер широко открывает глаза.

— Но, милая, почему же не стоит приглашать господина барона?

— Да хотя бы потому, что он не принадлежит к нашему кругу. Он из другого круга... Из высшего круга. К тому же он всегда чуждался нашего общества. Он такой гордец...

Госпожа Мейер с достоинством качает головой.

— Не знаю, как с другими, а с нами он всегда очень мил. А Элле он почти что крестный. Ведь не станете же вы отрицать, что присутствие господина барона придаст свадьбе особую торжественность.

— Но эта торжественность произведет на остальных гостей невыгодное впечатление. Все они так или иначе зависят от господина барона.

Хозяйка чувствует себя немного задетой.

— Позвольте... позвольте... Ирбьи теперь наша полная собственность — и я не понимаю, почему мы должны считать себя зависимыми от господина барона... Господин барон бывал у нас не раз, но он никогда не давал нам почувствовать, что мы когда-то были арендаторами его имения.

— Потому что он слишком воспитан... Но вряд ли он это забыл,— память у него прекрасная.

На лице госпожи Мейер легкий румянец проступает сквозь интеллигентную бледность и улыбчивое спокойствие. Уничтожающим взглядом окидывает она сухопарую гостью.

— Вы, однако, забываете, моя милая, что мы перед господином бароном не должны вытягиваться в струнку, как бывшие трактирщики и шорники. О нет! Есть все-таки разница...

Жена управляющего и жена лесничего беспокойно ерзают в своих креслах. Только бы не вышло скандала! Только бы не это! Скандала они боятся пуще огня. Они стараются погасить угодливыми улыбками внезапно вспыхнувшее пламя.

— Кхе-кхе! — покашливает жена лесничего и улыбается, будто эта маленькая стычка была всего-навсего невинной шуткой.

— Кхе-кхе! — вторит ей жена управляющего и подыскивает слова: — Да-а... конечно, конечно... А скажите, милейшая госпожа Мейер, как поживает ваш красавчик Себастьян?

Себастьян — это старый серый ожиревший мопс, который неизвестно за какие заслуги пользуется в усадьбе Ирбьи положением почетного гражданина. Днем он с равнодушным видом разгуливает по цветочным клумбам, пыхтя копается в кучах навоза на заднем дворе либо тащится ко рву, чтобы полако-

миться там останками подохшего в прошлом году теленка, а ночью спит рядом с хозяйкой под плюшевым одеялом.

При имени Себастьяна взгляд хозяйки становится теплее. Это более приятная и невинная тема, чем господин барон и его отношение к людям иного общественного круга,— и более приятная и более значительная...

— Благодарю за внимание,— живо отвечает она,— бедному Себастьяну совсем плохо: от простуды он как будто оправился, но теперь новое горе.

— Что вы говорите, милочка! — всплескивает руками жена управляющего.

— Ах! — сочувственно вздыхает супруга лесничего.

— Да... вот уже вторая неделя — с прошлого четверга пошла вторая неделя,— как он чем-то заболел... чем-то вроде чесотки... У бедняжки вся спина стерта до крови...

— Ах, бедное создание! — вздыхает жена управляющего, вытянув губы трубочкой.— И с чего бы такое несчастье?

— Не знаю... мне кажется, что все от этой же простуды. Зоммер говорит, что от ожирения, но это глупости. Он ведь ест так мало — даже больно глядеть на него. Я вам скажу, милочки, это просто несчастье, что у нас здесь нет ученого ветеринара. Лечить людей — невелика премудрость, но бессловесное животное ничего не может объяснить. Я достала у Зоммера какое-то лекарство, обмыла Себастьяна — и что вы думаете? — оказывается, он дал мне неочищенную карболку с омерзительным запахом. А ему ведь отлично известно, как мне дорого это животное! Подлили мы туда одеколона, чтобы хоть заглушить невыносимый запах, но, представьте, эта отвратительная жидкость разъедает... Бедный Себастьян воет, как только завидит бутылку...

— Бедняжка! — вздыхают гостьи.

Дамы, как по команде, оборачиваются к Элле: уж не смеется ли она? Но ее лицо ни о чем не говорит. Глаза снова закрыты, и только длинные ресницы подозрительно вздрагивают, и в уголках губ затаилось что-то лукавое.

Госпожа Мейер встала и направляется в спальню. Немного погодя она возвращается оттуда, держа на руках что-то завернутое в шерстяной платок. Она несет этот сверток также бережно и осторожно, как горничная — горячее жаркое. Из-под платка доносятся тяжкие вздохи. Это стонет больной Себастьян.

Госпожа Мейер расстилает платок на полу и выпускает на него Себастьяна. Это седой, морщинистый мопс. Слабые ноги не держат его — Себастьян садится. Он поглядывает по

сторонам белесыми глазами,— не видно ли где угрожающей бутылки с карболкой, потом успокаивается. Он никого не замечает, ничем не интересуется — просто сидит и ждет, когда его снова отнесут в спальню. Его морщинистая морда выражает сытую апатию, кислую скуку и брюзгливое равнодушие к жизни...

Дамы придвигают свои кресла поближе и наклоняются над Себастьяном. Их лица выражают не только простое любопытство, но и искреннее сочувствие тяжелой судьбе мопса.

— Несчастное создание! — говорит жена управляющего, и в голосе ее слышится непритворная дрожь.

— Бедный страдалец!..— шепчет жена лесничего и гладит больного по голове.

Себастьян с трудом подымает веки, и в его глазах ясно можно прочесть: «Да, я больной, я страдалец, и мне непонятно, за что я должен нести тяжкий крест...»

А госпожа Мейер обнимает больного за шею и горестно вопрошает:

— Ну, скажи же, что с тобой?

Добрые полчаса они охают и вздыхают над мопсом, потом одна за другой усаживаются в свои кресла и по очереди испускают тяжелые вздохи. Себастьян растягивается на платке.

— Мужчин все нет,— озабоченно говорит госпожа Мейер и оборачивается к темному окну, как будто за ним можно что-то увидеть. И тут, забыв всякий такт, она подвигается поближе к гостьям и, бросив тревожный взгляд на Эллу, дает волю своим чувствам.

— Боюсь я за них...— шепчет она.— Ночь темная, дорога плохая, канавы размыты водой и такие глубокие... а лошади застоялись...

— Не волнуйтесь, милая.— Жена управляющего кладет свою пухлую руку на руку госпожи Мейер.— Ведь господин Мейер правит лошадьми лучше всех в округе.

— Да, но... Вы, верно, заметили, что оба они немного... Чуть что — и может случиться несчастье...

— Не в первый раз, вы же сами знаете,— успокаивает ее жена управляющего.

Госпожа Мейер еще раз бросает тревожный взгляд на дремлющую Эллу и еще тише продолжает:

— Вы и представить себе не можете, что мне приходится переживать из-за его безрассудства. В нем есть мужицкая кровь: говорят, мать его была простая крестьянка,— отсюда это порою непростительное сумасбродство. Как-то в первый год

после женитьбы — я не забуду этого дня до самой смерти — мы ехали по тонкому льду только что замерзшего озера в соседнюю усадьбу...

Госпожа Мейер закрывает глаза и содрогается.

— Лед все время потрескивает, словно кто-то ходит босиком по рассыпанному конопляному семени. По временам слышен хруст, и трещины разбегаются далеко во все стороны. Я смотрю во все глаза, но ничего не могу разглядеть. Вижу только белое искристое облако или туман и порой слышу, как тяжело, со свистом всхрапывают лошади. Такие же вот лошади были, как и сейчас... В том месте, где начинались камыши, лед подломился, но лошади вынесли нас на берег. За какие-нибудь семь-восемь минут мы с быстротой вихря промчались через озеро...

Гости сдержанно улыбаются: рассказ хозяйки дома разжег их любопытство, но они не знают толком, как отнестись к столь неожиданной откровенности, и потому молчат.

— После этого я целую неделю пролежала в постели,— продолжает госпожа Мейер. Потом еще раз бросает взгляд на дочь, пододвигается ближе к гостьям и продолжает: — Избави бог пережить еще раз такое... И все же... тогда я чувствовала не один страх. Голова у меня закружилась, мне казалось, что я легкая снежинка, подхваченная вихрем. Нет у меня ни воли, ни силы, только одно чувство, одно желание не покидает меня: пусть это страшное, но дивное мгновение все длится, длится, пусть никогда не покидает меня та сила, что обхватила меня жаркими руками и несет вдаль. Пусть мне больше никогда не придется ступить на холодную, сырую землю...

Госпожа Мейер приходит в себя и неожиданно обрывает рассказ. Как она могла так забыться! Опасливо глядит на дочь, потом завертывает Себастьяна в платок и несет его обратно в спальню. Гостьи торопливо достают носовые платки и, прикрыв ими рты, переглядываются. Очень интересным показался им рассказ госпожи Мейер.

Элла видит из-под опущенных ресниц все, что происходит в комнате, слышит все, о чем здесь говорят. Она обладает особым даром — не глядеть, но все видеть, не слушать, но слышать. Это не раз помогало ей ловить взгляды, которые ей иначе бы никогда не заметить.

Но все, что она сейчас видит, ее не интересует. Вечно больной мопс, скучные гостьи и их тайные улыбочки давно успели надоесть. Элле кажется, что она целую вечность наблюдает только праздность, мелкие интриги, скуку жизни... А сей-

час она прислушивается к себе и удивляется: рассказ матери пробудил в ней что-то неведомое, могучее, волнующее душу. Она уже не видит ни комнаты, ни гостей. Пред ней широкая гладь озера, покрытая тонким голубоватым льдом, седая от снежной пыли полость саней, мглистое облако и блеск подков. Ветер свистит, летят снежные комья, мимо мелькают придорожные ели, поросший кустарником берег. Далеко позади остаются Ирбьи, дебелые гостьи, тайные улыбочки, мопс и бутылка с карболкой, пахнущей одеколоном. Еще далеко впереди — поросший камышом берег озера, темная зубчатая полоса леса. Все пронзительней свищет ветер — сердце бьется, щеки горят от мороза и от захватывающего, заставляющего неметь все тело наслаждения... Неожиданно она вздрагивает и открывает глаза, инстинктивно почувствовав устремленный на нее пытливый взгляд четырех пар глаз.

— Что с тобой? — озабоченно спрашивает мать.— Щеки горят, как в огне,— уж не больна ли ты? — Она кладет руку на лоб Эллы. Но Элла отталкивает влажную руку.

— Ничего — это так...

Гостьи считают своим долгом выразить сочувствие, но взгляд Эллы останавливает их.

— Деточка, прими каких-нибудь капель...— Госпожа Мейер уже готова бежать за каплями, которые у нее всегда имеются в большом выборе: тут и новейшие чудо-эссенции, и настойки от нервного расстройства, и капли от малокровия. Но в эту минуту приезжают Мейер с Зоммером, а с ними и лесничий.

Шум, приветствия, шутки, смех...

Но вскоре все затихает и входит в рамки умеренности и благопристойности. Стихает и внезапное возбуждение Эллы.

Все сидят за ужином. На столе появляются кое-какие предвестники завтрашнего торжества, а на лицах — предвкушение завтрашнего веселья. Элла устало, бесшумно двигает ножом и вилкой, стараясь не стучать по тарелке. Голова у нее тяжелая, она чувствует усталость, и малейший шум, громкое слово причиняют ей почти физическую боль. Но слышит она и видит все.

Напротив нее сидят отец и лесничий и с явной поспешностью опустошают свои тарелки. А стоит ей немного повернуть голову налево, как она видит такое же жирное и гладкое улыбающееся лицо, лысый череп и голубые влажные глаза, которые время от времени заискивающе смотрят на нее, в то время как руки с толстыми пальцами подают ей то стакан, то салфетку,

то корзинку с хлебом: Зоммер весьма услужлив и внимателен к своей невесте. Но Элла почти не замечает этого. «Кто же из этих трех мужчин старше на вид и кто из них уродливей?» — думает она. Отец ей, пожалуй, милей и приятней других, но не больше.

Говорят много. Мужчины стараются быть остроумными и находчивыми, дамы — серьезными и важными. Только глаза госпожи Мейер напряженно следят за каждой ложкой, и когда кто-нибудь капает на снежно-белую скатерть, губы ее нервно поджимаются и на щеках появляются красные пятна.

Элла понемногу забывается. Руки ее продолжают машинально двигаться, она видит и слышит все, что делается вокруг, но словно сквозь туман или через стену — как будто ей нет никакого дела до всего происходящего. Но она знает, что все это устроено только ради нее, что она здесь как в резиновом обруче, который стягивается все туже и туже. Ей кажется, что она жила долго-долго и будет жить все так же день за днем, словно в потемках... Будто мелкий ручеек, журчит и течет эта жизнь мимо нее. У Эллы такое ощущение, будто чья-то влажная, тяжелая рука лежит у нее на голове и все ниже и ниже пригибает ее. Вдруг что-то просыпается в ней, приходит в волнение, снова на щеках у нее появляется румянец, сердце бьется сильней, глаза блестят...

Госпожа Мейер опять бросает тревожный взгляд на дочь.

— Элла, детка, что с тобой? — тихо спрашивает она, и все взоры устремляются на девушку. Элла вздрагивает, как от грубого прикосновения к больному месту.

Она открывает и снова закрывает глаза.

— Быть может, ты простудилась?

Ответа нет. Все с любопытством и тревогой смотрят на нее.

— Деточка, о чем ты думаешь?

Губы Эллы конвульсивно вздрагивают. Потом слышится несвязный, тихий, но страстный шепот:

«Мглистое облако и блеск подков... снежные комья взлетают над головой... Ветер свистит в ушах... Сердце бьется... щеки горят...»

Элла ежится, проводит рукой по лицу и встает. Лицо ее снова бесстрастно и холодно, как и прежде, только на щеках еще горит предательский румянец и за длинными темными ресницами огонек.

— В комнате душно, и мне стало немного нехорошо,— медленно произносит она, улыбаясь одними губами.— Извините, я ненадолго выйду в сад.

Она поворачивается и, чуть пошатываясь, направляется к двери.

— Может быть, проводить тебя, душенька? — спешит спросить Зоммер и в то же время с тревогой посматривает на полную бутылку рома, только что появившуюся на столе.

— Нет, не ходи! — звучит резкий ответ Эллы, но тут же голос ее становится мягче: — Пожалуйста, останься, не беспокойся — я скоро вернусь.

Белая фигура скрывается за дверью, и кажется, будто в комнате кто-то убавил наполовину свет. Смущенные дамы некоторое время молча звенят ложечками, покусывают салфетки и смотрят на скатерть. Госпожа Мейер, стараясь скрыть растерянность, склоняется над столом. Но тут напоминает о себе бутылка рома. Мужчины чокаются, и Мейер снова с жаром начинает:

— Собаки этой породы отличаются своей изумительной способностью акклиматизироваться. Собаки более слабых красивых пород, как наш Себастьян...

— Здешний климат способен убить даже немецкого быка.— Лесничий ударяет кулаком по столу.— Здесь ничего не делается для осушения огромных болот и заболоченных лугов, которые насыщают воздух вредными испарениями. Наша культура...

В разговоре о выносливой породе собак и больном Себастьяне принимают участие и дамы, и таким образом все стараются замять неприятное происшествие.

Элла медленно прогуливается по усыпанным гравием ровным дорожкам сада. Щеки ее горят, несмотря на ночную свежесть, в глазах вспыхивает огонь, который она так старательно прятала. Ворот платья расстегнулся, обнажив шею до самой ямочки. Прохладный воздух приятно ласкает разгоряченное тело. Руки машинально развязывают на голове узкую ярко-красную ленту, и волосы каштановыми волнами падают на шею и плечи.

Белесые полосы света тянутся из освещенных окон в сад и на мгновение падают на белую фигуру девушки. Они скользят дальше, прячутся в тени кустов и, постепенно тускнея, теряются в чаще ветел. Ночной ветерок, словно влюбленный мальчик, робко трогает каштановые волосы, закидывает одну прядь на лоб, но тут же снова поправляет ее, касается мягкими губами девичьей шеи, а потом, спрятавшись за куст сирени, навевает оттуда запах цветов...

В саду необозримое море цветов. Падая в чащу, каждая полоса света играет множеством красок. Низкие пальмы на бетонных постаментах медленно покачивают своими пальчатыми листьями, словно порываясь схватить в воздухе что-то неуловимое, неосязаемое. Затянутая зеленой ряской поверхность овального бетонированного водоема время от времени тихо колышется. Аромат и тишина... Покой...

В цветущих кустах теряются садовые дорожки, посыпанные мелким белым гравием; они тянутся вдоль и поперек, как белая наметка по цветистой ткани. Чуть слышно ступают по ним ножки в белых атласных туфельках. Элла перебирает пальцами мягкие листья, которые протягивают ей кусты, растущие по краям дорожек. Она срывает один, другой цветок, подносит к губам, нюхает, мнет и бросает себе под ноги.

В нижнем конце сада она останавливается у посаженных вдоль изгороди подстриженных кустов и, заложив руки за спину, смотрит в сторону дома. Свет из окон сюда едва достигает. Аромат и тишина... Покой.

Но на сердце Эллы нет ни покоя, ни тишины. Там все волнуется, как разбушевавшееся море. И пенногривые волны страстно шепчут на своем невнятном языке, зовут ее покататься на их зелено-бурых спинах. Элла прислушивается к их шепоту, и неудержимая тревога все больше и больше охватывает ее, наполняет каким-то пылким стремлением. То нервно убыстряя, то замедляя шаг, она возвращается к дому.

Отсюда слышно, как где-то во дворе, у людской, кричат пьяные батраки, играет гармошка, пляшут. То ли от сырости, то ли еще от чего легкая дрожь пробегает по спине Эллы. Она останавливается и слушает.

Она не задумывается над тем, почему эти крики, почему все это грубоватое веселье манят ее, зовут уйти прочь от этой мелкой, словно тинистый ручеек, жизни, прочь от тихого, безмятежного покоя. Пальцы ее судорожно сжимаются.

Вдруг она замечает неподалеку какого-то человека. Он стоит на самой широкой дорожке, ведущей к веранде, и разравнивает гравий. Вглядевшись получше, Элла узнает его. Это Смилга, исполняющий в Ирбьях что-то вроде должности садовника.

Почти каждый день они встречаются здесь в саду. Каждую весну Смилга достает новые сорта цветов, каждый день он работает здесь и все устраивает по вкусу Эллы. И Элла не может без волнения думать о том, как тонко Смилга угадывает малейшее ее желание, как хорошо знает ее вкус. Она замечает

его затаенные взгляды, и тогда ее кидает в жар. Иногда ей хочется целыми днями быть в обществе этого здорового и жизнерадостного парня.

Он единственный из работников усадьбы, кто сегодня не пьян. Одет он все в ту же куртку с заштопанными локтями, на голове соломенная шляпа с широкими полями, под которыми прячется коричневое от загара лицо с прямым носом и густыми усами. Эллу Смилга давно уже заметил, но, когда она подходит к нему, он даже не поднимает головы. Сильные руки водят граблями по ровной дорожке.

Шурх-шурх! — Истертые до блеска зубья грабель, скрежеща, врезаются в белый гравий. С шуршаньем катятся маленькие камешки к ногам Эллы. Смилга останавливается, но не поднимает головы, когда маленькая ручка берется за грабловище.

— Послушай, Смилга... почему ты так поздно?

Он не может отвести взгляд от ее руки.

— Так... Нужно разровнять дорожки, чтобы завтра все было прибрано.

Элла замечает, что голос у него сдавленный и хриплый. Ее рука соскальзывает вниз, к его руке. Он вздрагивает, словно ее холодные пальцы обжигают его.

— Неправда...— со смехом говорит Элла.— Ты хотел встретиться со мной.

От обиды он меняется в лице. Он отдергивает руку, и грабли падают на дорожку.

— Завтра ваша свадьба... Завтра вы здесь последний день...— говорит он, как-то странно втягивая в себя воздух.

— Конечно... Но о завтрашнем дне будем думать, когда он наступит. А сегодня мы еще повеселимся.

— Еще бы, там и так уж веселятся вовсю...— Он кивает головой на дом, откуда доносятся громкие голоса Мейера и лесничего.

— Там?.. Там это всегда было и будет... А сегодня повеселимся мы... Понимаешь — мы! — Она подходит вплотную к Смилге.

Смилга поднимает голову, и его глаза ясно говорят то, что в голосе звучит так приглушенно, еле слышно. Но он упрямо морщит лоб.

— Мне... мне с вами не полагается веселиться! Вы — помещичья дочка, а я садовник. Вы невеста, а я...

Он замолкает и круто поворачивается, но в следующее мгновение чувствует свою руку в руках Эллы и слышит у самого уха ее шепот:

— Забудь сегодня, что ты садовник, а я помещичья дочь, невеста... Пойдем туда, где поют и танцуют...

— Нет — пустите меня!

— Один вечер за всю свою жизнь я хочу быть свободной... Хочу кружиться, словно в вихре, пока не закружится голова... Пойдем...

— Нет...

— Ты, может быть, боишься?.. Нет в тебе смелости! Хорошо, оставайся, трус,— а я пойду одна.

Но горячее дыхание, которое чувствует Смилга на своем лице, аромат, который исходит от волос Эллы, ее горящие глаза — в конце концов опьяняют его. Он хватает девушку за руку.

— Хорошо, пойдем... Один раз за всю жизнь... А потом хоть смерть!..— Быстро, почти бегом, направляются они к воротам. Стройная фигура Эллы прижимается к нему, и дрожь пробегает по его телу.

— Не туда,— шепчет Элла,— не через ворота: там в окна увидят...

Не говоря ни слова, Смилга сворачивает в другую сторону. Сад здесь обнесен дощатым забором фута в четыре высотой, и нет калитки. Но они не задерживаются ни на минуту. Они понимают друг друга без слов. Смилга отпускает руку Эллы и легко перескакивает через забор. Стоя по ту сторону, он протягивает через забор руки, помогает ей взобраться на первую, потом вторую поперечину. И когда она неуверенно, на носках становится на верхнюю поперечину, он берет ее за талию и опускает на землю. И в эти недолгие мгновения, пока Смилга обхватывает ее сильными руками и крепко-крепко прижимает к себе, у Эллы перехватывает дыхание, она почти теряет сознание...

Она не чувствует больше, как дрожат руки Смилги. Она не чувствует под ногами земли, когда бежит по дорожке мимо круглого газона. По ногам бьет мокрая от росы, высокая, нависшая над проволочной оградой газона трава. От росы намокает светлое шелковое платье и тонкие шелковые чулки, но глаза у Эллы блестят, губы упрямо сжаты, на лице вызывающая улыбка. Приподняв одной рукой подол платья, она нарочно проходит мимо самого газона, сбивая ногами капли росы.

На лужайке перед людской батраки усадьбы Ирбьи празднуют канун свадьбы хозяйской дочки. Из кучерской вынесли маленький, со скрипучими ножками столик. На нем стоит керосиновая лампа без колпака, но никто не удосужился ее за-

жечь. Возле куста акации на сбитых из досок козлах стоит бочонок пива. Тут и там валяются бутылки — и полные, и наполовину выпитые, и пустые. Так, по старому обычаю, строят в усадьбе Ирбьи мост от низшей к высшей культуре. Второпях Элла наступает на разбитую бутылку или стакан. Стекло с хрустом разрезает тонкую туфельку и чулок, слегка ранит ногу, но боли Элла не чувствует. С горящими глазами, с полуоткрытыми губами, из-за которых сверкают два ряда жемчужно-белых зубов, она подходит к девушкам и женщинам, собравшимся у двери дома. Они шумят, визжат, смеются. Мужчины толпятся поодаль, у бочонка с пивом, и оттуда доносятся шум, крики, пение.

Увидев Эллу, женщины обступают ее со всех сторон.

— Барышня!.. Милая барышня, и вы к нам пожаловали?

Все они, одна за другой, подходят к Элле, берут за руки, гладят по голове, обнимают свою барышню, у которой завтра свадьба... Они наперебой что-то говорят ей. Растерянная Элла стоит и ничего не понимает в этом гаме. Ее овевает ароматная свежесть летней ночи и жаркое дыхание здоровых людей. Закаленные в труде руки тянутся к ней, раскрасневшиеся лица пышут огнем, блестят глаза. И снова мощный, страстный порыв, словно горячая волна, подхватывает Эллу.

Она быстро бежит на середину двора, а вместе с нею и все женщины и девушки. Так ветер порой срывает с осины ворох листьев и, кружа и подбрасывая их, гонит через поляну.

— Почему вы не танцуете? — спрашивает Элла и, сама не понимая почему, весело, неудержимо смеется.— Разве некому играть?

— Есть... есть! — слышится в ответ.— У кучера есть гармоника!

Жена кучера подхватывает за другими:

— У кучера есть гармоника!

— Где он?

— Там, за столом...— Женщины поворачивают к столу, но кучера там нет. С гармоникой под мышкой он отправился к группе мужчин, собравшихся у бочонка.

Конюх выполняет сегодня обязанности трактирщика. В одной рубашке, без пиджака, босиком и без шапки он стоит на коленях у бочонка, безостановочно наливает пиво то в штоф, то в глиняный кувшин без ручки. И чем больше пьют сегодня батраки, тем сильнее их жажда.

Кучер с гармоникой под мышкой поднимает полную кружку, из которой пиво медленно переливается через край, прямо

на землю. Конюх наполняет стакан и встает. Сегодня они с кучером должны выпить, но не пьют, смотрят друг на друга и не двигаются с места. Вокруг них толпа мужчин. Все знают, что кучер и конюх с давних пор не ладят. Стоит им встретиться в пьяном виде, как начинается ссора и драка. И на этот раз остальные стараются удержать их, но как-то вяло, всем охота посмотреть на стычку молодых, крепких мужчин. Элла не просто с любопытством смотрит на этих людей; ей понятно выражение их раскрасневшихся лиц и мутных от хмеля глаз.

Но до настоящей драки дело сегодня не доходит. Видимо, присутствие хозяйской дочки немного охлаждает пыл противников. А тут и жена кучера хватает мужа за полу пиджака.

— Не дерись, голубчик! — просит она и тащит его в сторону. Но он с силой отталкивает ее.

— Прочь, баба!.. Смотри, как бы самой не попало...

Жена кучера от резкого удара отлетает в сторону, но куст акации не дает ей упасть.

Осыпанная цветами, она выбирается из зарослей и смеется так, что блестят ее крепкие белые зубы. Женщины и девушки обступают кучера, дергают его, тормошат, смеются.

— Сыграй, голубчик... Ну, хоть немножко поиграй...

Кучер пробирается сквозь толпу, пытается поймать жену, а она смеется, сверкая белыми зубами, словно танцуя, ускользает от него. 3

— Ну, сыграй что-нибудь, голубок!

Кто-то поднимает упавшую гармонику и сует ее в руки кучеру. Подходит Элла, берет гармониста за руку и, улыбаясь, уговаривает его, заглядывает ему в глаза.

— Для меня ведь сыграешь, правда?

Она подходит еще ближе, поднимается на цыпочках и заглядывает ему в глаза. Лицо девушки сияет от захватившего ее веселья. Кучер на мгновение замолкает, потом смешно морщит губы и начинает смеяться так, что слезы катятся у него по лицу.

— Сыграю... черт подери! Но тогда вы, барышня, должны танцевать.

Элла кивает кучеру головой. И он, не сводя с нее глаз, начинает играть. Элла подбегает к Смилге, который все это время следил за ней, и вот они кружатся, сначала медленно, а потом все быстрей и быстрей. Руки садовника снова держат ее за талию, его горячее дыхание обдает ей лицо, шею. Глаза Эллы блестят, дышит она прерывисто... Девушка ничего не видит вокруг себя. Она, точно сухой лист, подхваченный ветром...

Перед людской все кружится каруселью. Пляшут и парами и в одиночку — и молодые и старые. Парни скидывают пиджаки и шапки. У девушек высоко вздымается грудь, так, что вот-вот лопнет кофточка, горят щеки, глаза блестят. Мужчины теряют свои трубки. Женщины кружатся-кружатся, потом, запыхавшись, бессильно опускаются в сторонке на мокрую от росы траву, чтобы отдышаться и сейчас же снова смешаться с толпой. Осколки разбитых бутылок похрустывают под ногами, и на зеленую мокрую траву падают капельки крови. Кучер как одержимый растягивает меха гармоники, и то вытягивается прямо, как палка, то сгибается в такт музыке, то отбивает такт ногой, то неожиданно повертывается кругом, и тогда гармоника издает резкий, пронзительный звук.

Элла отпускает Смилгу, танцует с другим парнем, с третьим, с четвертым, потом подхватывает какую-то пару и вертится вместе с ней по двору. На минуту она отрывается, кружится одна и, закинув голову, жадно вдыхает прохладный ночной воздух. Рядом с ней останавливается запыхавшаяся жена кучера и конюх. Элла поворачивается к ним. Она понимает этих людей. И новое чувство горячей волной охватывает ее. Она обнимает жену кучера, вертит ее, порывисто целует и снова толкает к конюху.

— Танцуй!.. Один раз за всю жизнь!

Она замечает Смилгу и снова танцует с ним. И снова его дыхание обжигает ей лицо и шею, в ушах свистит ветер, а в глазах пляшут огненные искры.

— Держись крепче... Пропадай все пропадом...— слышит она страстный шепот, но не задумывается над тем, Смилга ли это шепчет или кто другой. Она так прижимается к садовнику, что ее волосы, как мягкое облако, касаются его лица. Глаза ее полузакрыты, она без слов напевает мелодию песни.

Вдруг гармоника умолкает, и все стоявшие перед домом или танцующие останавливаются. Элла через силу отрывается от Смилги и инстинктивно поворачивается в сторону барского дома.

У куста акации стоит госпожа Мейер с керосиновой лампой в руке. Дрожащий свет лампы падает на смущенные и испуганные лица стоящих за ней Мейера, Зоммера, лесничего и трех дам. Лицо госпожи Мейер бело, как мел, глаза широко открыты, руки трясутся.

— Элла, дитя мое! — зовет она, и голос ее звучит так, будто она зовет дочь из бездонной пропасти.

Элла медленно подходит к матери и не замечает, что Смилга, как пьяный, идет за ней по пятам. И с каждым шагом, который приближает ее к свету лампы, огонь, что горел в ее глазах, постепенно угасает. Прежним ироническим взглядом она окидывает растерявшихся родных и гостей и только тогда замечает Смилгу. Глаза ее еще раз загораются.

На столе стоит кружка пива. Она берет ее, протягивает Смилге.

— Пей... за мое счастье. Завтра у меня свадьба...

Дрожащей рукой он подносит кружку к губам и жадно пьет. Глаза его с мольбой, словно прощаясь, впиваются в лицо Эллы. Он протягивает ей кружку, и Элла подносит ее к губам.

— За твое счастье, Смилга... Спасибо тебе за сегодняшний вечер...

Отпив немного, она смотрит в кружку и кивает головой.

— Нет, она должна быть пустой... Пустота должна быть всюду...

Она снова пьет, затем бросает пустую кружку, которая разбивается вдребезги. Потом Элла поворачивается и идет к дому.

За ней следуют родители, жених и гости. Зоммер не решил еще, как ему быть: разыграть ли роль обиженного жениха или великодушного джентльмена. Гостьи комкают носовые платки и не знают, что сказать.

Госпожа Мейер, поджав губы, опустив глаза, несет лампу. Заметив на белом чулке Эллы красное пятно, она вся передергивается и берет лампу в другую руку, чтобы нога дочери была в тени.

Мейер чувствует, что надо как-то оправдаться и извиниться перед гостями. Но и он не находит нужных слов. Происшествие было слишком неожиданным и необычным. Наконец он поворачивается к Зоммеру и начинает его убеждать:

— Не принимай это всерьез. Она еще ребенок... и характер у нее неровный. Замуж выйдет — остепенится.

Зоммер наконец принимает решение. Он великодушно машет рукой, и его заплывшее жиром лицо выражает готовность к еще большим жертвам.

Элла слышит, как шепчутся за ее спиной. Но она не думает об этом. Ей кажется, будто позади нее все проваливается в бездну. Медленно вступает она в глубокую пещеру, где с каждым шагом становится все темней и темней и откуда нет выхода.

2

В МАЛЕНЬКОМ БЕЛОМ ДОМИКЕ

Теплый туманный зимний день.

Вокруг маленького белого домика, стоящего на краю шоссе, с криком летают вороны. Порою одна из них отрывается от стаи, садится на снег. Словно черными точками испещрена покрытая снегом равнина. Вокруг нее еловый лес — как черная кайма на белом саване...

В маленьком белом домике у роскошного дамского письменного стола сидит супруга аптекаря Зоммера и медленно пишет что-то в большой рецептурной книге. Записывать в книгу рецепты — обязанность помощника аптекаря. Но госпожа Зоммер берется за это дело сама, когда время тянется бесконечно медленно, вот как сегодня,— муж еще затемно уехал с лесничим на охоту. Красивый почерк госпожи Зоммер заметно отличается от каракуль и неровных завитушек помощника аптекаря. Во всех четырех комнатах дома царят полумрак и тишина зимнего дня. Только из аптеки, где работает помощник, слышен звон пузырьков. За тремя дверями, в кухне, пересмеиваются горничная и кухарка. Теплый воздух комнат насыщен запахами аптеки и только что поджаренного кофе.

Госпожа Зоммер в третий раз поднимает голову, оборачивается, смотрит, снова склоняется и пишет.

Боковая дверь тихо приоткрывается, и в ней показывается полный месяц,— нет, это лицо кухарки...

— Простите, барыня, не поставить ли кофе?

— Нет, еще рано.— Госпожа Зоммер не отрывается от книги.— А ты посматривай — как увидишь, что господа выехали из леса...

Госпожа Зоммер еще некоторое время продолжает писать, потом бросает перо, поднимается и подходит к стене. Там стоит ее черный, с обитыми черным штофом стеклянными дверцами книжный шкаф. Когда-то в дни ее юности он был сверху донизу набит книгами. Госпожа Зоммер смотрит, и ей кажется, что она и теперь еще видит, где стоял Шиллер, где Харденберг, Гамерлинг, Тургенев, Байрон... Но это обман зрения: давно уже в шкафу нет ни одной книги — они постепенно исчезали, одна за другой... Теперь в шкафу другое — множество пестрых детских вещей. Тут и платьица, и рубашечки, зимние и летние шапочки, сапожки, игрушки... Вещи безвременно умершей Натыни...

Госпожа Зоммер с минуту смотрит на шкаф, но в глазах ее не видно привычных слез. Рука комкает носовой платок, не поднося его к лицу. Губы ее сжаты, бледное продолговатое лицо холодно, черты его неподвижны, словно высечены из мрамора.

Она чуть ли не с досадой, с горечью даже, отворачивается, подходит к окну, прижимает лоб к запотевшему стеклу. Сквозь мутное стекло неясно виднеется ровное шоссе, стоящие вдоль него телеграфные столбы. По шоссе с карканьем прыгают вороны. Слышно, как где-то звенит колокольчик едущего лесоруба, но никого не видно. Вдали, на опушке леса, поднимается дым от костра и исчезает, растворяясь в серой зимней мгле.

Госпожа Зоммер отворачивается от окна, лицо ее выражает твердую решимость. Быстрыми шагами она подходит к шкафу. Ключ с треском поворачивается в замке. Со звоном распахиваются стеклянные дверцы. Торопливо, словно боясь опоздать, госпожа Зоммер срывает с вешалок платья, хватает шапочки и обувь с нижней полки, пока не набирает целую охапку. Потом быстро с ношей в руках идет через три комнаты. В самом углу спальни стоит старомодный, выкрашенный в красный цвет, обитый рубчатой жестью сундук. Она бросает в него вещи покойной Натыни, захлопывает крышку, дважды поворачивает ключ в старом ржавом замке.

Словно испугавшись своего поступка, она быстро покидает спальню. Снова садится за рецептурную книгу, берет ручку, несколько минут сидит неподвижно, потом встает. Дверцы шкафа остались открытыми — она затворяет их. Как мрачно поблескивает прохладное стекло... Кажется, что комната, вся квартира стала мрачной, пустой... И сама она здесь словно чужая, словно ей и присесть негде и ни к чему нельзя притронуться. Она медленно идет из кабинета в гостиную, из гостиной в столовую — подходит к двери спальни. В спальню как-то страшно входить... Будто она совершила преступление. Она снова возвращается и снова бродит по комнатам... Но когда она думает о совершенном, мало-помалу ее охватывает странное, непривычное чувство — ей как-то вольнее, легче дышится...

Пасмурный день переходит в вечерние сумерки. Ночь простирает над лесом свои мягкие черные крылья. Вороны с карканьем садятся на елки и постепенно умолкают. В лесу и на полях воцаряется тишина. И только вдали тоненько звенит колокольчик лесоруба. К маленькому белому домику, стоящему посреди поля, подъезжают сани охотников. В них двое мужчин — аптекарь и лесничий. От лошади идет пар, словно ее

облили горячей водой. Вокруг саней с лаем прыгают две худые пестрые собаки.

Конюх спешит принять лошадей. Охотники вылезают, громко разговаривая, подходят к двери. Дверь отворяет сама жена аптекаря. На крыльце и в передней охотники обивают с валенок снег.

— Здравствуй, душенька! — смеется аптекарь. Смеется он редко, да и то лишь, когда выпьет.— Что ж не вышла навстречу, мы бы тебя прокатили. Погода чудесная... Подумай, четырех зайцев убили! Настоящая праздничная добыча.

— В оттепель,— перебивает его лесничий,— когда снег падает с веток, зайцы прячутся по кустам, вдоль опушки. Если бы не такой глубокий снег...

— Скучала без меня? — спрашивает Зоммер, проходя мимо жены.

— Как Пенелопа по Одиссею! — смеется лесничий.

Мужчины входят в комнаты. Жена аптекаря остается в передней запереть дверь. Здесь пахнет лесом, сыростью и водкой.

— Элла,— слышится громкий голос Зоммера.— Иди к нам.

Она идет к ним. Идет и думает, почему сегодня голос мужа звучит так странно, словно он говорит в помещении, из которого вынесены все вещи. Она входит в гостиную, садится и смотрит на мужчин.

Лесничий сидит возле зеркала, по обыкновению уперев руки в колени. Его одутловатое лицо с короткой седой бородкой еще краснее, чем обычно. Гладкая лысина тоже порозовела. Он много говорит и смеется, кажется, больше чем когда-либо. Зоммер развалился в кресле напротив него. Его лицо с растрепанными усами тоже раскраснелось от тепла натопленной комнаты и выпитой водки. Он мало говорит, больше слушает и смеется, кажется, больше чем всегда.

Да, кажется... Но Элла не убеждена в этом, ведь сегодня все не так, как в другие дни. Медленно, но упорно в ней растет желание остаться одной в этих пустых комнатах, обдумать до конца все, что сейчас волнует ее душу, что звучит в ушах, стучит в висках, будто кто-то ударяет по ним молотками... Она не слышит обращенных к ней вопросов лесничего. Аптекарь с удивлением смотрит на жену.

— Элла,— начинает он, воспользовавшись паузой в рассказе лесничего.

— Да? — словно издалека отзывается она.

— Позаботься о лампе, ведь уже темно...

Элла молча встает. Но в эту минуту отворяется дверь, ведущая в кухню. Входит горничная в туго накрахмаленном переднике, неловко приседает перед лесничим и говорит:

— Пожалуйте, господа, к столу.

И ее монотонный смешной голос кажется Элле сегодня чужим, неуместным.

— Иди, нечего тут бездельничать.— Она выпроваживает горничную в кухню. Горничная удивленно смотрит на хозяйку...

В столовой лесничий и аптекарь сидят друг против друга, Элла — в самом конце стола, далеко от мужчин. На столе душистый кофе в белых фарфоровых чашках.

Разрисованная цветами майоликовая лампа на позолоченных цепях разливает мягкий желтоватый свет. У одной стены мрачно возвышается тяжелый, резного дуба буфет, на нем две оправленные в серебро хрустальные вазы. Напротив сонно тикают дорогие стенные часы. Блестящий маятник, как маленький месяц, мерно покачивается из стороны в сторону за стеклянной дверцей.

Рядом с часами, в углу, влажным блеском отсвечивает на полочке медная посуда. Четыре фикуса, почти в рост человека, олеандр и филодендрон совершенно закрывают окно своими листьями. Пальма в зеленом глиняном горшке на круглом постаменте протягивает три ветки до самого стола, а двумя другими почти заслоняет стоящую за ней белую статую Флоры.

В комнате тепло, приятно пахнет, кажется, здесь царит вечный мир.

Элла, как во сне, выпивает свою чашку кофе... Она хочет встать, чтобы налить еще, но, подняв голову, остается на месте и прислушивается к разговору мужчин.

— Да, теперь не то, что прежде...— говорит лесничий.— Четыре зайца... Лет пять тому назад мы бы не меньше десятка привезли.

— Может быть, на зайцев напал мор, как на раков,— пытается пошутить Зоммер и подмигивает жене уже затуманенными глазами.

— Хуже, чем мор! — Лесничий отхлебывает большой глоток из чашки.— Мужики... Теперь у них у каждого — ружье. Пусть даже старая кремневка с польских времен, но зайца или тетерева берет... Просто беда!

Аптекарь не отвечает, только искоса посматривает на жену.

— Вконец испорченный народ. Никакого представления о том, что твое, а что мое. Нет у них уважения к чужой собственности — вот в чем все дело. Конечно, удивляться тут нечему: с тех пор как они оторваны от влияния высшей культуры...

— Гм...— бурчит Зоммер, все еще искоса посматривая на жену.— Мне кажется... мне кажется, ты рассуждаешь слишком односторонне.

Но лесничий вошел в раж и не слушает.

— Что можно ждать от народа, который находится на самой низшей ступени культурного развития! Какие могут быть у этих людей идеи, стремления? Да и какую жизнь они ведут?

Громкий смех прерывает поток его красноречия. Лесничий, будто ужаленный, вздрагивает, поворачивается к аптекарю, но тот прячет глаза. Лесничий оборачивается, потом осматривает комнату, пытаясь отыскать причину этого смеха. Останавливает свой взгляд на госпоже Зоммер, багровеет еще больше и опускает голову.

Губы Эллы еще вздрагивают от кощунственного смеха. Но лоб ее наморщен, в глазах отчаяние. Видно, что она едва сдерживает слезы.

— Идеи... стремления...— повторяет она тихо, издевательским тоном. При этом губы ее едва шевелятся. Новый взрыв смеха, еще более горького, прерывает ее слова.

— Элла... милая...— Зоммер подымает руки, стараясь унять ее.

Лесничий обижен. Он сидит прямо, поджав губы, его застывший взгляд устремлен поверх головы аптекаря в стену.

— Простите...— снова тихо начинает Элла.— Я просто кое-что вспомнила. В городе, у начальницы гимназии, где я училась, был попугай, который умел говорить три слова: «Доброе утро, мадам!» Он их выкрикивал и утром и вечером, не понимая сам, что орет. А здесь я уже в десятый раз слышу: высшая культура... идеи... стремления...

— Но, Элла... милая! — Зоммер вскакивает со стула, не зная, как все это принимать, всерьез или как шутку.

Но лесничий понимает, что это не шутка. Схватив салфетку, он прижимает ее к губам, швыряет на стол и... медленно, торжественно поднимается. Зоммер кидает угрожающий взгляд на жену и подбегает к лесничему.

— Что ты... садись... ведь она просто пошутила.

Но лесничий медленно и торжественно высвобождает свою руку.

— Шутки имеют границы...— На середине комнаты он останавливается, поворачивается.— И хотя басенка уважаемой госпожи Зоммер ни в коей мере не может относиться ко мне, я все же считаю для себя невозможным переступать в дальнейшем порог дома, где так обращаются с гостями. Всего доброго! — Произнеся это длинное предложение, он галантно раскланивается.

Зоммер подбегает к лесничему, хватает его за полу пиджака.

— Постой же... что за глупости. Садись.

Лесничий не садится, а направляется к двери. Зоммер не пускает — в отчаянии он обеими руками держит его за полу. Элла, склонившись над столом, кусает салфетку. Глаза ее блестят от затаенного смеха. Сцена так забавна, что она еле сдерживается. Потом встает, бежит в спальню, бросается ничком на кровать и смеется, смеется...

Немного погодя по шоссе мимо маленького белого домика проносятся сани лесничего. Собаки с лаем мчатся за ними.

Аптекарь, держа лампу в руке, с такой силой захлопывает дверь, что весь дом сотрясается. Красный от гнева и волнения, он входит в комнату и ставит лампу на письменный стол. Некоторое время стоит в раздумье, не зная, что делать. До слуха его доносится звон склянок из аптеки, и он направляется туда. Вскоре на весь дом раздается его резкий, визгливый голос. Аптекарь отчитывает своего помощника.

Из аптеки он выходит еще более красный, еще более возбужденный. Это старая история: волнение Зоммера не утихает, а все усиливается и усиливается, пока наконец нервы не выдерживают, как чересчур туго натянутая струна. Он берет со стола лампу — она дрожит в его руке. Теперь он пойдет — скажет жене... выругает ее... он сам еще не знает, что скажет ей, но гнев подгоняет его с непреодолимой силой. Он делает несколько шагов к двери, потом останавливается, словно его обухом ударили по голове, и широко раскрытыми глазами смотрит на пустой шкаф... Лампа, качнувшись, накренилась и чуть не выпадает у него из рук. Он подходит вплотную к шкафу, поднимает высоко лампу и, нагнув голову, пристально смотрит. Пусто...

Когда он снова выпрямляется, в лице у него нет ни кровинки. Губы синие, вокруг глаз резко обозначена сеть морщинок. Медленно, понурившись, как под тяжестью ноши, он идет искать Эллу.

В гостиной ее нет, в столовой тоже. Из столовой выскакивают испуганные горничная и кухарка. Элла лежит в спальне на кровати, заложив руки за голову, свесив правую ногу. Открытые глаза ее, плотно сжатые губы, вся ее поза выражают упрямство, презрение, вызов.

Зоммер ставит лампу на комод, оборачивается к кровати и стоит не двигаясь. Он смотрит на жену, но видит только ее упрямство, вызов — и больше ничего.

— Элла! — зовет он громко, словно издалека.

Она лишь чуть заметно шевелит губами.

— Ну...

— Скажи...— Он не может решить, с чего начать разговор.— Ты вынула из шкафа...

— Вещи Натыни... совершенно верно. Они там, в сундуке...

Зоммер судорожно глотает воздух.

— И это сделала ты... ты...

— Конечно я, кто же еще.

— Ты с ума сошла! Что на тебя... сегодня нашло...— говорит он отрывисто.— С ума сошла... Мы часами сидели вместе, перебирали вещи нашей девочки... Почти ежедневно плакали над ними... И вот тебе — в сундук! Ну, говори же, объясни мне!

Элла пожимает плечами. Взгляд ее устремлен в потолок, лицо словно леденеет, становится все более безразличным, бесстрастным.

— Сколько раз я говорила тебе, но ты не хочешь понять. Вот уже полгода, как ты один плачешь над ее вещами. Я больше не плачу. Мне надоел этот культ мертвых, я хочу жить...

Сжав кулаки, Зоммер подходит ближе к кровати. Он говорит, глотая слезы, комком подступившие к горлу.

— Ты низкая женщина, Элла. У тебя нет сердца. Ты никогда не любила ребенка. Теперь я это вижу. Ты даже память его оскверняешь.

— А если эта память испортила мне всю жизнь.— Элла подбирает ногу на кровать, облокачивается на подушку.— Вот уже третий год мы справляем поминки. Отец, мать, лесничий — кроме них, никто к нам не заходит. Наш дом превратился в монастырь, меня ты хочешь сделать монашкой, плакальщицей... не знаю, кем еще. Но я живой человек, и я... выбросила весь этот хлам в сундук. Теперь он больше не будет мозолить глаза.

— Я вижу,— хрипит Зоммер,— нет, я чувствую, за этим кроется еще что-то. Ты не думай — я наблюдал за тобой... У меня тоже есть глаза. Ты уже давно насмехаешься надо всем, что я говорю или делаю. За утренней и вечерней молитвой ты

сидишь, поджав губы, словно истукан, сама не поешь и других не слушаешь. А при лесничем глаза у тебя блестят, как у кошки... Вот и сегодня... Нет, это выше человеческого понимания! Вставай, и мы сейчас же поедем к лесничему извиняться.

— Поезжай! — резко отвечает Элла. И, словно приготовившись к борьбе, садится на кровати.

— Ты должна поехать! — топает ногой Зоммер.— Сейчас, сию же минуту! Вставай!

Но жена как будто и не слушает его. Уронив руки на колени, опустив голову, сидит не шелохнувшись.

Зоммер подходит ближе. Глаза его вот-вот вылезут из орбит, пальцы судорожно сжимаются. Но он еще владеет собой.

— Сейчас же вынь эти вещи и положи их на место! — с трудом произносит он сдавленным голосом. Теперь ему безразлично, что будет делать жена, только бы она уступила. Только бы удалось сломить эту холодную, угрожающую строптивость, которая все растет и растет в ней.

Он тяжело вздыхает, выпрямляется и смотрит на жену. Но она продолжает сидеть в той же позе. Даже пальцем не шевельнет, бровью не поведет... Долго сдерживаемый гнев и волнение горячей волной захлестывают его, бросаются в голову, наливают каждую мышцу. Он и сам не знает, что делает. Чувствует только, что ладонь его ударяется о щеку жены... И, пошатываясь, как пьяный, он выходит из комнаты.

Слегка качнувшись от удара, Элла снова сидит неподвижно и широко раскрытыми глазами смотрит вокруг себя. Пусто и тихо...

Лампа на маленьком старомодном, но красивом комоде слабо освещает небольшую комнату. Темная медвежья шкура на полу тускло лоснится, напоминая о занесенных снегом лесах и вызывая сладостное предвкушение тепла уютной, мягко освещенной комнаты. На покрытых красными стеганными одеялами кроватях возвышаются четыре подушки, как снежные сугробы средь озера крови. У изножья кроватей стоит белый в черных прожилках мраморный умывальник. Взгляд Эллы скользит по всем этим предметам и останавливается на противоположной стене.

Маленькое простое металлическое распятие... Сколько раз она вот так же смотрела на него! Смотрела целыми часами — пока не потемнеет в глазах, пока не заболит голова. А ведь и он мертвец... или нет? Разве не царствует он и посейчас над миллионами людей? Разве его мысли до сих пор не вызывают в человечестве мечту о вечности бытия? Значит, всем человече-

«В лоне семьи»
«На вырубке»

ством правит мертвец? Нет, нет, он не может быть мертвецом! Может быть, он смотрит сейчас на нее и видит в ее глазах тот же зеленый огонек, что видит муж...

«Муж... Натыня...» Элла приходит в себя. Она чувствует, что левая щека горит, как в огне. В одно мгновение она вспоминает все происшедшее, зарывается лицом в подушки, и как недавно от сдерживаемого смеха, так сейчас тело ее сотрясается от безумных рыданий. Но причина давешнего смеха и теперешних слез одна и та же...

Элла не слышит, что кто-то подъезжает к дому. Не слышит, как аптекарь бежит встречать. Она не думает о том, что сегодня среда, а по средам приезжает отец с матерью из своего имения, находящегося верстах в семи. Все годы ее замужества они неизменно бывают здесь каждую среду. Приедут, посидят, посмотрят и снова уедут.

Мейер, скинув в передней шубу, мелкими шажками семенит по гостиной и потирает руки, словно они замерзли. Красноватые глаза его с удивлением посматривают то на одну, то на другую дверь: почему это Элла не выходит, как обычно?

Услыхав, как жена шепчется в кабинете с зятем, он останавливается и прислушивается, но ничего разобрать не может. И чтобы его не заподозрили в подслушивании, Мейер откашливается и, потирая руки, снова принимается семенить по гостиной. По всему чувствуется — здесь что-то произошло.

Входит жена — полная, пухлая, с болезненно бледным, усталым и озабоченным лицом, с седыми, зачесанными за уши волосами. Взглянув на нее, Мейер замирает на месте. Он ясно чувствует: здесь что-то случилось.

— В спальне? — тихо спрашивает госпожа Мейер.

Зять молча кивает головой.

Госпожа Мейер уходит, Зоммер с тестем остаются одни. С минуту они стоят рядом, не глядя друг на друга. Потом аптекарь спохватывается.

— Садитесь,— приглашает он и садится первым на всегдашнее место. Мейер усаживается рядом с зеркалом, на место лесничего.

— Прошу.— Зять протягивает серебряный портсигар и сам закуривает первым.

Мейер сосет сигару, торопливо выпуская тонкие струйки дыма, и внимательно разглядывает две вазы, стоящие на подзеркальнике. Он смотрит на них так, будто впервые видит свой же подарок дочери к шестой годовщине свадьбы. Вазы довольно тонкой работы из матового зеленоватого венецианского стекла.

Искусственные красные маки в них очень напоминают живые, кажется, что они распространяют специфический горьковатый аромат по всей комнате, устланной красным ковром, с красной штофной мебелью. Потом его взгляд останавливается на огромном филодендроне в углу. Верхушка его упирается в потолок, а меж вырезных листьев поблескивает золоченая проволочная клетка в виде швейцарского домика, в которой сидит, спрятав голову под крылышко, маленькая желтая птичка.

Тепло, уютно... тихо...

— Все еще тает... на дворе? — наконец произносит Зоммер. По голосу чувствуется, что вести разговор стоит ему больших усилий.

Мейер кивает головой и ищет глазами плевательницу — у зятя слишком крепкие сигары.

— Да, тает. Такая оттепель среди зимы — вещь невиданная. Мне думается, весь снег сойдет.

— Н-да...— протягивает аптекарь, прислушиваясь краем уха к тому, что происходит в спальне.

— Вот увидишь... Оттепель уже больше недели, а до новолунья девять дней — раньше нечего и ждать мороза.

— Ты же знаешь: я не верю в приметы.

— Не веришь в приметы! — смеется Мейер, но спохватывается, обрывает смех и смотрит на дверь в спальню.— Вот увидишь. Вся ледяная корка стает с дороги...

— А мы еще не привезли лед для погреба!

— Не привезли! Какая неосмотрительность! А вот мы еще на позапрошлой неделе привезли, теперь весь смерзся в одну глыбу. Надеюсь, он у меня до будущей зимы продержится. Что же вы глядели? Ведь лошадь была свободна.

— Дрова возил. Думали, что лед еще слабый. Только сегодня лесничий говорил, что им тоже привезли.

— Да, теперь все запаслись. На охоту с лесничим ездили?

— Ездили.

— Да... в лесу снег падает с веток. Сейчас зайцы больше по кустам у опушки прячутся.— У Мейера начинают блестеть глаза.— Много настреляли?

— Четырех.

— Гм... не много. Положим, всем известно, какие вы стрелки. С чего это лесничий сегодня так недолго пробыл?

— Уехал...— Аптекарь бросает недокуренную сигару в пепельницу.

— Спешные дела?

— Н-да...— Вдруг аптекарь наклоняется к тестю и начинает ему рассказывать. Торопясь и волнуясь, он говорит долго и сбивчиво.

В спальне госпожа Мейер грузно, неподвижно сидит на краю кровати. Ее широкая холодная ладонь покоится на груди у дочери. Голова у нее как будто ушла в плечи, глаза, не отрываясь, смотрят на дочь.

Элла все так же лежит на спине, заложив руки под голову. Она успокоилась, только дыхание у нее еще прерывистое. Даже в полумраке видно, как горит ее левая щека.

— Сколько у меня забот, и все из-за тебя,— тихо, укоризненно говорит мать.— Голова из-за тебя поседела.

— Ты, мама, всегда как по Библии читаешь...— говорит Элла тихим, но твердым, уверенным голосом. Волнение ее почти улеглось.

— Как по Библии? — восклицает мать, потом задумывается и приходит, видимо, к выводу, что дочь права.— Пусть так. О господе всегда следует думать. А ты, дочка, забыла его.

Элла ищет глазами распятие на стене, но лежа не может его увидеть. Она пожимает плечами.

— Тебе кажется, что я причиняю вам такие же заботы, как сыновья Иакова своему отцу, что по моей вине у тебя седые волосы...

Энергичным движением руки госпожа Мейер прерывает дочь:

— Грех, дочка, так говорить! Я ведь этого не сказала. Послушаешь тебя — и кажется, что тебе все безразлично...— Несколько минут она сосредоточенно думает. Заметно, как лицо ее сереет от невысказанных, гнетущих, мучительных, а может быть, самой неясных мыслей.

— Я не говорю, что ты плохая, что все делаешь назло... Но у тебя дурной характер: с детства ты делаешь все по-своему... все по-своему. У каждого человека есть отец и мать, есть страх божий, а у тебя...— Она опять замолкает, словно боясь сказать лишнее.— С самого твоего детства мы с отцом в вечной тревоге за тебя. Ты слушаешь, делаешь, что приказывают, но чувствуется, что сама думаешь иначе... всегда думаешь иначе. Вот и когда Зоммер тебя посватал. Все понимали, что лучшего мужа тебе не найти. А ты — стоишь и усмехаешься, будто речь идет о другом человеке, будто самой тебе вовсе и дела нет до того шага, от которого зависит счастье либо несчастье всей жизни.

— А зачем мне было думать? — неожиданно говорит Элла. Она как будто издевается над собой.— Я ведь все равно не могла изменить ваше решение.

— Но разве мы это делали ради себя?! Разве сама ты не понимаешь, что все делалось для твоего счастья? И даже если что-нибудь вышло не так, то ведь у тебя есть отец, мать, вырастившие тебя, к ним ты всегда могла прийти со своим горем. Но ты — как истукан, камень... ты как чужая. И венчаться шла тихая, бледная, многие поговаривали, что мы тебя силой выдали... И потом... когда хоронили Натыню... У нас сердце разрывалось на части, Зоммер был как помешанный, только ты была спокойна... Отец уверяет, что видел, как ты улыбалась... И вот теперь опять Зоммер рассказывает... ты бросила вещи Натыни в сундук. Ты, наверно, никогда не любила своего ребенка.

— Ошибаешься, мама. Я его любила.

— Но как же можно забыть! Разве мать может забыть своего ребенка? Ну, объясни, говори же.

— О чем? Об этих тряпках?

— Нет... да и о них и обо всем. Я уже давно заметила: ты что-то скрываешь от нас. Между нами выросла пропасть — с каждым днем она становится все шире. Скоро мы с отцом уже не сможем приезжать сюда...

Элла решительно приподнимает голову с подушки, потом снова опускает.

— Лучше, мама, не спрашивай.

— Нет, ты расскажи. Все расскажи, ничего не утаивай.

— Хорошо.— Лицо Эллы снова принимает холодное и решительное выражение.— Придвинься поближе, еще... вот так...

Мать придвигается. Ее болезненное лицо выражает страдание, но она старается овладеть собой. Тяжелая холодная рука гладит темные мягкие волосы дочери. Элла понимает, как много любви в этой материнской ласке.

И тогда она начинает говорить тихим, но ровным голосом. Говорит короткими, размеренными, связными фразами, как будто уже давно подготовилась. За годы замужества у нее было достаточно времени продумать все это сто раз. Вначале Элла вспоминает один-два случая из детства, свои душевные переживания. Но чем дальше она рассказывает, тем шире становится тема ее рассказа, тем больше она углубляется в свои и чужие чувства, взгляды, убеждения... Все события своей жизни перебирает, перекапывает она до самого дна, как перекапывают землю, перед тем как посадить в нее молодые саженцы.

Но саженцев этих мать не замечает... Она чувствует другое: с каждый словом дочь становится все более чужой, далекой. Элла совсем съежилась на кровати и не шевелится,— только ее большие потускневшие глаза с отчаянием, как бы в поисках помощи, блуждают по комнате. На комоде в круге света, отбрасываемом лампой, стоит красная бархатная рамочка с фотографией Эллы. Застенчивая девочка в белом, сшитом к конфирмации платье, с книгой псалмов в руках. Такой, как на фотографии, она навек осталась в сердце матери. А теперь в ушах ее звучит чужой голос. Все, что они считали неприкосновенным, нерушимым, священным, осквернено, растоптано, разрушено... Мир, который раскрывает перед ней Элла, чужд ей. Чужд и враждебен... Черная пропасть между матерью и дочерью становится все шире...

Неожиданно Элла замолкает. Многое можно еще сказать, но к чему? Застывшей, холодной, как лед, кажется Элле рука матери. Она невольно отворачивается. Рука матери соскальзывает с ее головы на кровать. К чему говорить? Мать поняла, слышала — ведь все было сказано ясно, недвусмысленно, но потускневшие глаза, сгорбленная фигура выражали один вопрос: но почему же? Почему? А разве Элла сама может ответить на этот вопрос?..

Мать вздрагивает и отодвигается. Крупные горячие слезы медленно текут по ее щекам, падают на колени.

Дверь из гостиной отворяется. Мелкими шажками, покашливая, входит отец. За ним Зоммер. Пройдясь взад и вперед по комнате, Мейер приближается к Элле, наклоняется, осторожно берет ее за руку.

— Гм... жара нет. Пульс нормальный...— Он отпускает руку дочери и отходит от кровати.

Элла усмехается. Все трое ежатся, словно чем-то неприятно задетые. Мать втихомолку вытирает слезу.

— Вы считаете меня больной? — Элла быстро приподнимается и садится на кровати, облокотившись на подушки.

— Ну, что ты,— зачем же больной...— Отец принужденно смеется.— Знаешь что? Поедем кататься?

— Что? — не расслышав, переспрашивает Элла.

— Поедем кататься — все вчетвером. Велим запрячь и вашу лошадь. По двое в санях, и — поехали...

— Что это за катанье ночью?

— О, теперь ночи светлые. Теперь ночью приятней, чем днем... И заодно завернем к лесничему.

— Опять! — Гримаса отвращения появляется на лице Эллы.— Оставьте меня наконец в покое с вашим лесничим!

— Нет, детка, так нельзя...— Постепенно голос отца становится уверенней и строже.— Лесничий — уполномоченный господина барона, и все мы от него зависим. Ссориться с лесничим опасно: он не простит! Да еще такое оскорбление! Детка, детка, разве можно быть такой невежливой!

— Н-ну... Он еще не того заслуживает,— цедит Элла сквозь зубы.

Зоммер вздрагивает, словно ужаленный. Мейер делает вид, что не слышал.

— Ну, хорошо, в таком случае поедем просто так, покатаемся...— угодливо продолжает он.— Чудесная погода сегодня... Дорога гладкая, как полотно...

В комнате воцаряется молчание. Все ждут, что скажет Элла. Но она молчит.

— Ах...— тяжко вздыхает мать.— Разве она послушается. Что мы для нее!

— Тише, жена, помолчи! — обрывает ее Мейер.— Что ж, Элла, поедем?

Молчание. Потом Элла, словно разбуженная, подымается.

— Поедем.

Слышится громкий вздох облегчения. Кто вздыхает — неизвестно.

Через полчаса Элла стоит в кабинете, готовая к выезду. На ней длинная теплая шуба, на голове шерстяной платок, на руках теплые рукавички. Одеться ей помог муж. Отойдя в сторону, он смотрит на нее. Мать еще хлопочет вокруг дочери, завязывает платок, натягивает рукавички. Элле все это безразлично: пусть... она стоит и бездумно смотрит на пустой шкаф.

Мать перехватывает ее взгляд.

— Завтра положи все на место...— шепчет она.— Хорошо?

— Да,— машинально отвечает Элла.

В глазах матери вспыхивает огонек надежды — заблудшую дочь еще можно спасти.

Перед домом неторопливо бьют копытами лошади Мейера и аптекаря, запряженные в двое саней. Садятся так: в одни сани — мужчины, в другие — обе женщины. Трогаются. Копыта лошадей гулко стучат по замерзшей дороге. Снег слегка поскрипывает под гладкими полозьями.

Мать долго усаживается, укрывается теплой медвежьей полостью. Элла держит вожжи. Лошадь ударяет подковами по задку передних саней.

— Ах,— облегченно вздыхает мать.

Теплая светлая зимняя ночь. Ровные, покрытые снегом

поля усеяны редкими кустиками. Луна быстро скользит среди рваных облаков. Душу охватывает нежное романтическое чувство. В нем сливается все лучшее из пережитого: далекое сказочное детство, тайные грезы, любовь... Особенно — любовь!

Чувство это необычайно обостряет внутренний слух человека.

Мать еще слышит, как звучит грубая дребезжащая струна, такая враждебная ей и всей этой тихой ночи, когда все в природе стремится к мягкой нежной гармонии. Она еще раз протяжно вздыхает.

— Вещи Натыни положи на место,— повторяет она.— Пусть останутся как память. Твой муж так любил ребенка...

Элла бездумно слушает слова матери. После недавнего возбуждения она впала в апатию.

— Не давай волю своей фантазии,— продолжает мать.— Ведь тебя всегда приходилось усмирять, держать в узде. Когда ты еще была девушкой, помнишь, сколько забот ты нам причиняла. Теперь дело иное. Теперь не мы, а ты сама отвечаешь за все свои поступки. Честь всей нашей семьи, более того — всего нашего сословия, зависит от поступков каждого отдельного человека. И от каждого нашего слова — хорошего или плохого — зависит, поднимем или уроним мы эту честь.

— Мама, а тебя не клонит ко сну? — без всякого умысла спрашивает Элла.

Мать делает вид, что не слышит ее. Может быть, она и вправду не расслышала.

— У тебя есть муж. Ты молода, неопытна, ты еще не можешь должным образом понять, что значит для тебя муж. Твоя жизнь по законам божеским и человеческим навеки связана с ним. Ты не имеешь права иметь убеждения, мысли, желания, до которых не было бы дела твоему мужу. Между вами должно царить согласие — вся ваша жизнь должна звучать как аккорд.

— Должна, должна...— бормочет про себя Элла. Неведомо, что она при этом думает.

— Память о дочери была связующим звеном между вами. Пойми, не из-за себя, из-за тебя же муж так дорожит ею. Без этого звена исчезнет чувство долга друг перед другом. Когда исчезает чувство долга, кончается все. Подумай сама, разве не в той же мере, в какой росли дурные, ложные и грешные мысли, убывала твоя любовь и привязанность к ребенку? Где кончается любовь, там кончается все. Долг и любовь — вот два понятия, на которых зиждется мир... Да...

Мать снова протяжно вздыхает и замолкает. Она еще верит в спасение заблудшей дочери.

Долгое время царит молчание. Элла чувствует, как вновь стали колыхаться тихие воды ее апатии, как на них появляются волны. С плеском ударяются они друг о друга, наполняют все ее существо смутным шумом. Но она по опыту знает, что нельзя прислушиваться к отдельным всплескам, что нужно уловить общее звучание. На этот раз она слышит его ясно, отчетливо.

— Долг и любовь... Если, как ты говоришь, существует такая норма, по которой следует жить, догма, которой должны руководствоваться во всех случаях жизни, то выразить ее можно только словами: сначала любовь и только потом долг. А вы... Вы все перевернули: сначала у вас свадьба — потом любовь, сначала традиции — потом добродетель, сословие — потом честь этого сословия, сначала закон — потом грех. В вашей жизни нет места живому человеку.

Она замолкает, переводит дух, ждет, что скажет на это мать.

Мать молчит.

— Ты говоришь: нужна гармония...— взволнованно продолжает Элла.— Но вы требуете только внешней гармонии — чего-то такого, что хоть со стороны напоминает гармонию. А видимость еще ничего не значит. Важно только то, что в сердце. Какая гармония может быть между двумя мирами, которые так же противостоят друг другу, как день ночи? День — враг ночи, шаг за шагом он прогоняет ночь, поглощает, уничтожает... Ты слышишь меня, мама?

Мать молчит.

Элла берет вожжи в правую руку, левой натягивает повыше медвежью полость, наклоняется, смотрит...

Мать спит...

Элла отпрянула, словно ее ударили по лицу. Теперь, когда она решила высказать, что у нее наболело,— мать заснула! Она спит крепким сном... Голова ее склонилась, подбородок уткнулся в мягкий воротник, руки глубоко спрятаны в муфту. Время от времени раздается ее похрапывание.

Кому же высказать то, что годами бродило в ее душе, пока наконец не приняло определенную, ясную форму? Ровному снежному полю, на котором черные островки кустов смотрят, словно впалые насмешливые глаза? Старухе луне, которая, ныряя в облаках, плывет неизвестно куда? Лесу, что черной стеной надвигается все ближе?

Вокруг мертвая тишина. Лошади бегут по ровной, мягкой дороге. Поскрипывают полозья. А нить мыслей Эллы все тянется дальше...

Голова лошади упирается в черный силуэт леса, как в отвесную стену утеса. В следующую минуту по обе стороны дороги начинают мелькать черные и серые причудливые тени. Топот лошадей гулко отдается в молодой еловой поросли. Смолистой сыростью веет в лицо. Становится страшно в этом таинственном черном лабиринте. Но только на мгновение. И снова тянется нить Эллиных мыслей.

Слышно, как останавливаются передние сани.

— Ну как — вам не страшно? — раздается ободряющий голос Мейера.

— Нет. Поезжайте вперед.

Элла крепче натягивает вожжи, наклоняется и заглядывает в лицо матери. Нет — не проснулась, глаза закрыты, и слышно похрапывание. В Элле рождается новая мысль. Она трясет мать за руку.

— Мама, проснись! — тихо говорит Элла.

Мать лишь меняет позу.

— Мама! — повторяет Элла и трясет сильней.

Мать в ответ лишь шевелит губами, тяжело вздыхает и снова продолжает храпеть. Элла знает этот полулетаргический сон матери, знает, что теперь ее уже ничто не разбудит. Она натягивает вожжи, лошадь замедляет бег.

Постепенно глаза Эллы привыкают к лесному мраку. Теперь она уже ясно различает серо-черные стволы елей и осин в чаще жимолости и крушины. Внизу, под деревьями, снег кое-где стаял, грязными пятнами выделяются поросшие мхом кочки. Невдалеке белеет сквозь деревья вырубка. Без крика, лишь взмахивая крыльями, подымаются с елей вороны и, с шумом рассекая воздух, скрываются где-то позади.

Передних саней не видно, Элла останавливает лошадь, прислушивается. Вокруг лесная тишина... и только позади шелестят вороньи крылья... Дрожь пробегает по ее телу. Но тут Элла успокаивается: ведь она здесь не одна. Мужчины пусть себе едут. Чем дальше от них, тем лучше.

Лошадь рвется вперед, но Элла сдерживает ее. Ах, если бы можно было ехать так вечно, ехать и никогда не возвращаться обратно!

Вдруг что-то выскакивает из зарослей папоротника у самой обочины. Маленькая заснеженная елочка клонит верхушку к дороге; мягкая снежная шапка падает под ноги лошади. Лошадь

шарахается и вдруг поворачивает в сторону, на лесную тропинку. Полозья скрипят на кочках и ухабах, темные стволы деревьев мелькают перед глазами.

Испугавшись, Элла пытается остановить лошадь. Но тут же чувствует, что это ей не удается. Она не в силах сдержать взбесившуюся лошадь. И, невольно закрыв глаза, Элла откидывается на спинку саней.

Пусть несется лошадь. Пусть опрокинет, пусть ударит о дерево и убьет их. Какой смысл имеет жизнь? Для чего жить? Сколько раз ей хотелось уснуть и больше не просыпаться! Ветки бьют ее по лицу. Ударит о дерево — и конец...

Но ничего не происходит. Слышно, как тяжело дышит лошадь, как скрежещут полозья на ухабах. Ветер свистит в ушах. Щеки горят. Странное тепло разливается по всему телу.

Зачем умирать? Жить свободной гораздо веселей. Идти, куда душе угодно, слушаться веления крови. Никого не бояться, ни у кого не спрашивать, никого не просить. Пусть вечно свистит ветер в ушах и кипит кровь.

— Но! — Элла ударяет лошадь вожжами. Дальше! Дальше от мужа, от отца, от матери... Дальше от этой жизни, скованной традициями, заплесневевшей от мелких забот и еще более мелких радостей. Жить — жить свободно и красиво!

Пусть лошадь растопчет копытами это опостылевшее, омерзительное таинство брака! Пусть разлетятся под полозьями ханжеские добродетели! Быть свободной, как ветер, что гуляет по снежной равнине...

— Но! Милая! — Элла натягивает вожжи, ликуя от радости. Сани кидает от ухаба к ухабу, они вот-вот перевернутся. Пусть трясет! Пусть ветки бьют по лицу, пусть ранят — кому нужна ее красота! Мужу? Смешно... Вслед за мужем она больше не поедет. Он ее больше не увидит.

Нора и Хельмер?

Нет. Ведь у них нет теперь того, что крепче всего связывает мужа с женой,— нет ребенка. Даже памяти не осталось... Как хорошо на сердце! Как свободно и легко! Проснувшиеся мысли волнуются, как пламя, освобожденное порывом ветра из-под слоя пепла. Свободна и одна...

Вдруг она спохватывается. Какая-то тяжесть давит ей на плечо.

Она наклоняется, смотрит, долгое время не может прийти в себя. Потом холодный порыв ветра гасит пламя ее чувств.

Мать!..

Она совсем забыла о ней... Да и куда это собственно хотела она ехать? От кого бежать... когда мать тут, в санях?.. Лошадь несется, как бешеная. Элла натягивает вожжи. Лошадь останавливается. Слышно ее тяжелое дыхание, слышен терпкий запах лошадиного пота. Спокойно, но безжалостно Элла отталкивает от себя тяжелое, дряблое тело матери. Она начинает шевелиться, двигаться, слышен ее тяжелый вздох. Мать открывает глаза.

— Скоро приедем? — раздается сонный тревожный голос.

Элла не отвечает. Этот сонный тревожный голос доносится из того старого мира, который, ей казалось, она покинула. Из того мира, который, как она думала, исчезает, точно ночь с наступлением дня. Неужели спящие и мертвые всегда будут пробуждаться? Элла сжимает зубы, подавляет крик отчаяния...

Лес кончился. Начинается равнина — такая же однообразная, как и вокруг маленького белого домика. Черные кусты смотрят на нее, как темные глаза из глубоких впадин. Только здесь все кажется неясным, расплывчатым, далеким: густой туман клубится над землей.

— Куда мы едем? — снова раздается слабый голос матери. В нем слышится усталость, укоризна, страх...

Элла не отвечает. Да и что может она ответить? Разве она знает, куда ведет эта извилистая дорожка... Она узнает это, лишь когда снова окажется там, откуда началась эта езда. Там она в конце концов и окажется. Элла это чувствует. Чувствует, как угасает и затихает в ней все, что еще так недавно горело и бурлило. Чувствует, как снова попадает под гнет апатии, которая все эти годы давила ее. Ах, сил бы ей!.. Но к чему они, когда мать сидит рядом с нею в санях — грузная, неподвижная... Элла наклоняется, смотрит матери в лицо, вздрагивает — из круглых застывших глаз матери медленно одна за другой текут крупные, тяжелые слезы. Точно такие, как давеча в комнате.

Но теперь все по-другому. Элла чувствует, теперь ей эти слезы уже не безразличны. Сердце ее полно нерешительности и горькой обиды за свою трусость. Она охватывает внутренним взором прошлое и видит: в каждый решающий момент рядом с ней, как судьба, была мать со своим изможденным лицом, с крупными, тяжелыми слезами.

Что это? Вдалеке залаяла собака?..

Лошадь весело зафыркала и сама, без понукания, затрусила мелкой рысцой. Снежный покров быстро убегает назад, будто его тянет невидимая рука.

Мать подносит руку к лицу, тяжело вздыхает. Элла свободно держит вожжи. Пусть лошадь бежит, пусть остановится, как ей угодно...

Снова лай — теперь уже громче и слышней. Уже можно различить, с какой стороны. Лай кажется знакомым.

Пусть себе лает... Элла закрывает глаза. Усталость сковывает все ее тело. Спина болит. На миг охватывает желание очутиться в маленькой уютной спальне с разостланной на полу шкурой медведя, с красным одеялом и белыми подушками на кровати, с портретом девочки в белом платье и с книгой псалмов в руках, с металлическим распятьем на стене... Как приятен и сладок там сон!

Элла открывает глаза. Прямо перед нею вспыхивают красные огоньки. Кто-то ходит с фонарями. Слышен знакомый лай собак. Слышны взволнованные мужские голоса.

Элла узнает их: это говорят муж и отец. Там маленький белый домик...

В сердце закрадывается тайная радость. Элла подгоняет лошадь.

1905—1907

HOMO SAPIENS[1]

Что за праздник сегодня у испольщиков в Маз-Киркуцисах?

Иванов день вот уж три недели как миновал. Клевер скошен, а сено только еще начинают ворошить. Сейчас самая горячая пора, когда летней работы у всех по горло и даже выше, когда о праздниках и гулянии может думать разве только ленивый, вечно сонный пастух Андж. И ведь сегодня не воскресенье. Какое там! Воскресенье было три дня тому назад, и если считать по-старому, то выходит, что сегодня четверг.

А у испольщиков в Маз-Киркуцисах все-таки праздник. Комнатка тщательно прибрана и украшена. К величайшему удовольствию пастуха Анджа и прочих маленьких людишек в усадьбе, испольщик Брумелис, несмотря на больную ногу, кое-как взобрался на дуб за ветками. Хозяйская дочка Марта украсила этой зеленью потолок в комнате. Пол вымыт так, что местами кажется, будто доски прозрачные. На плите, как на параде, выстроились котелок, подойник и две шайки — одна, побольше, железная, другая, поменьше, с деревянной дужкой. В самой же печи, в темноте, притаилось глиняное блюдо, крышкой которому служит опрокинутая миска и еще что-то побольше размерами. На радость мухам даже печь истоплена, как это всегда бывает по большим праздникам.

Сам Брумелис сидит на кровати босой, в холщовых штанах и рубахе, волосы у него гладко причесаны. Бороду он тщательно выстриг ножницами, которыми стригут овец, так что теперь подбородок и добрая половина щек у него совершенно гладкие. Брумелису жарко, пот заливает глаза, но он не смеет

[1] Человек мыслящий *(лат.)*.

его смахнуть, боясь взъерошить старательно приглаженные женой волосы.

Жена Брумелиса, гладко причесанная, в новом переднике, тоже сидит — у окна за столиком. Порой она посматривает на миску, которая загадочно пофыркивает на плите, потом на старика — он, по ее мнению, уже просидел глубокую яму в пышно взбитой постели. Она снова и снова поворачивается к окну с таким любопытством, что забывает смахнуть капли пота, висящие, словно бусинки, у нее на носу и на подбородке.

Входит дочь хозяина — Марта, она тоже нарядилась. Чета Брумелисов поворачивается к ней и спрашивает — глазами задает вопрос, прежде нежели рот успевает произнести слова.

— Ну?

Марта качает головой. Потом даже отмахивается.

— Ничего. Смотри — не смотри, а его нет и нет.

Вид у Марты грустный. От этого и жене Брумелиса становится тоскливо, а потом тоска берет и самого Брумелиса.

— На машине-то на этой он, верно, не поехал,— через некоторое время говорит жена Брумелиса.— А то бы он уже давно здесь был.

— Ну, а на наших-то ему тоже пора быть...— Брумелис чешет за ухом.— Далеко ли здесь.

— Тебе все недалеко...— начинает жена, но не кончает.

— Да, уж должен бы приехать,— заверяет Марта.— Коли ветер с той стороны, здесь всегда гудок слышен. Не случилось бы только несчастья...

Жена Брумелиса от страха подскакивает.

— Несчастья! Что ты, дочка, говоришь! Какое же могло с ним приключиться несчастье?

— Почем я знаю, да ведь всякое бывает. Может, сошел с рельсов...

— Это Юкум, что ли?

— Поезд. Сколько раз про такое рассказывали!

— Ну...— бурчит Брумелис.— Это только зимой может случиться, когда из-за вьюги пути не видать или когда поезд наезжает на сугроб.

— Молчи уж лучше! Что ты, старик, понимаешь! — в сердцах прерывает она мужа.— Не приведи господь, всякое ведь приключается.

— Еще в прошлое воскресенье я читала в приложении...— дрожащим голосом говорит Марта.— Про одного молодого графа, он вот тоже ехал домой на родину. Отец, мать и... невеста ждали его... но у самой станции поезд соскочил с рельсов... и он

погиб. Мать и невеста горячими слезами поливали его холодный труп...

С трудом она выговаривает последнее слово и сама заливается слезами. Потом закрывает глаза кончиком передника и плачет навзрыд. Почти одновременно с ней начинает плакать и жена Брумелиса.

Брумелис неспокойно ерзает на кровати. Забыв о прическе, над которой трудилась жена, он рукавом утирает со лба пот.

— Ну... ну... что за враки. Что за рев? Как дети малые...

Брумелис снова трет рукавом лицо, но, пожалуй, больше глаза, чем лоб. Он усердно пытается начать разговор.

— Гм... да... Но какой же наш Юкум граф? Да и там совсем иное дело — с людьми большими всякое бывает. А мы что? И какая ты, Марта, ему невеста? Еще до этого не дошло...

У жены моментально высыхают слезы.

— Молчал бы лучше! Не невеста! А кто же она ему по-твоему! Ясное дело, невеста!

Марта смущенно трет глаза.

— Окончательно мы, правда, не договаривались. Но я думаю... и он думает... и я думаю...

— Чего там еще раздумывать! — прерывает жена Брумелиса.— Думай — не думай, а выходит одно: невестой была, невестой и осталась. Раньше, когда он еще здесь жил, то вы с ним все вдвоем... Ну, а письма-то где, которые он тебе посылал? Через день ведь их посыльный приносил...

— Да... прошлым летом. А теперь он уж давненько не писал.

— Что ж это она говорит! Как же нет, когда писал! Ведь недавно, на троицу весточка пришла.

— Да, но это только поздравительная открытка...

— Погляди-ка! А разве такие поздравительные открытки каждому посылают? И коли он теперь реже пишет, то, знать, потому, что времени нет у него.

— Понятно! — соглашается с ней Брумелис.— Тот, кто тридцать рублей в месяц платит, знает за что. Тридцать рублей в месяц... Боже ты мой, да ведь это куча денег! Это выходит больше, чем три сотни в год?

— Больше... Это выходит...

Марта начинает считать, но перестает и прислушивается. Старики тоже слушают.

— Ты что-нибудь слышишь? — шепотом спрашивает жена Брумелиса.

— Мне показалось... как будто колокольчик... но, может, я ослышалась.

— Лучше бы ты сам поехал встречать его на своей кобыле,— немного погодя говорит жена Брумелиса.

— Да разве бы я не поехал! — волнуется Брумелис.— Но ты же видишь, что он не хочет. Писал ведь, что на почтовых приедет. Ну, где письмо-то? Дай, пусть Марта прочтет.

Жена Брумелиса открывает ящик стола, вынимает открытку и, немного отвернувшись, подает ее Марте. Та берет ее и в десятый раз, почти не глядя, на память читает:

«Отец, мать! Принимая во внимание вашу просьбу, прибуду к вам третьего июля. Свою старую, хромую кобылу за мной не присылайте: она бежать не может, а я не переношу тряску на телеге, на деревянных осях. Приеду на почтовых».

— Гм...— ворчит Брумелис.— Не худо бы тебе всю жизнь иметь телегу на деревянных осях.

— Замолчи ты! — прерывает его жена, глядя на Марту, будто ожидая чего-то еще.

— Подпись нельзя разобрать...— Марта, красная, смущенная, кладет открытку на стол перед женой Брумелиса.— Это не его имя... а почерк его.

— Кто же другой напишет, он сам и писал. Да вот одно я в толк не возьму,— на что эта бесстыжая картинка...

Не окончив фразы, она вскрикивает. Марта тоже вскрикивает и бежит к окну. Брумелис делает попытку встать, но снова садится. Слышится громкий звон колокольчика.

— Приехал?! — восклицает жена Брумелиса и, не дождавшись ответа, выскакивает из комнаты. Марта мечется из угла в угол, пока наконец не прячется за дверью.

Но вот дверь широко открывается, и появляется молодой человек в желтом пыльнике. У него маленькие светлые усики и такая же бородка, очки на носу, вогнутая соломенная шляпа с очень широкими полями, в руках трость с металлическим набалдашником. Влетает он так, словно за кем-то гонится или от кого-то бежит. Размахивая руками, жестикулируя, не глядя ни вправо, ни влево, он начинает большими шагами ходить по комнате.

Брумелис, несколько смущенный, покашливает.

— Здравствуй, сын! Что ж ты меня больше не замечаешь? Очки на носу, а не видишь.

— Здравствуй,— цедит сын сквозь зубы.— Вижу, отлично вижу.

Отец с еще большим недоумением следит за сыном, который продолжает бегать по комнате.

В это время входит мать, тихонько прикрывает за собой дверь. Она остается стоять у порога.

— Разве у тебя, Юкуминь, ничего нет с собой? В коляске я ничего не нашла.

— Нет, ничего.

И он продолжает ходить по комнате не то в возбуждении, не то в раздражении.

— Послушай, Юкум,— начинает мать немного погодя, и в голосе ее слышится обида.— Разве ты не видишь, кто здесь стоит?

— Вижу, отлично вижу.

— И ты ничего не скажешь ей?

— Что ж я, по-твоему, должен ей сказать?

— И, сынок, разве мне тебя учить! Ну, поздоровайся хотя бы.

— Пусть она здоровается...

Отец пытается все это превратить в шутку. Он неестественно смеется и встает.

— Он все шутит... Но что это ты, сынок, бегаешь, как ошпаренный. Садись. Мать, помоги ему снять пальто... или как это там называется.

— Сними, сыночек, сними!

Старушка спешит сыну на помощь. Он позволяет раздеть себя, и мать осторожно снимает светло-желтый пыльник, тщательно складывает его и кладет в ногах кровати. Потом возвращается и с любовью смотрит на сына. Перед ней стоит худощавый юноша в светлых полосатых брюках, в светлом пиджаке, с красной розой в петлице. На нем высокий воротничок и клетчатый, завязанный петлей галстук.

Отец, стоя, некоторое время рассматривает его, как некое диво. Невольно у старика прорывается смех. Он тут же рукой прикрывает рот и снова опускается на кровать, но еще долгое время не может успокоиться. Прикрывает руками рот и то и дело тихонько сморкается.

Марта, не то смущенно, не то удивленно, смотрит на гостя, прикрыв лицо передником.

Сын обращает гордый, уничтожающий взгляд на отца. Он прислоняет трость к столу, бросает на стол шляпу и садится сам. Его светлые волосы, спутанные и примятые, длинными прямыми прядями падают на лоб и плечи. Он барабанит пальцами по столу.

— Ну, я здесь долго не выдержу. Что здесь за атмосфера?

— Как ты сказал, сынок? — услужливо спрашивает мать, но тут же спохватывается: — Ах, да... здесь и впрямь жарко. Печь сегодня утром топили. Пироги испекли. Но что же я стою, как овца? Болтаю без толку, а сыночку поесть не даю...

Она спешит к печке.

— Оставь, у меня пока еще нет аппетита.

— Как же так, Юкум! — восклицает отец.— Гостю кушать положено.

— Тише ты, что ты понимаешь! — обрывает его мать.— Хоть немного поешь, сынок. У меня сегодня отменное телячье жаркое.

В ответ сын лишь пренебрежительно морщит лоб.

— Закусим немного, Юкум,— поддерживает ее и отец. Он говорит и сам облизывается.— Вот это, брат, закуска. В комнате с самого утра до того вкусно пахнет — просто слюнки текут.

— Помолчи, отец,— снова обрывает его мать.

— Послушайте, мне нужно вам кое-что сказать,— начинает сын медленно, торжественно.— В каждом предложении у вас: сыночек, Юкуминь, Юкуминь, сыночек... Так вот, мне необходимо сказать вам, что я вам больше не «сынок» и не «Юкуминь».

Мать, отец и Марта от неожиданности вздрагивают. Мать и отец почти одновременно восклицают:

— Не сын? — жалобно говорит мать.

— А кто же ты? — спрашивает отец.

— Нет, я вам не сын! — обиженным тоном отвечает он.— Юкум — что это за имя! Брумелис — что это за фамилия! В этих словах нет никакой гармонии, нет поэзии, нет красоты! — Он вскакивает и тут же опрокидывает трость.— Имя человека — это символ его бессмертного бытия. Юкум Брумелис! Как может примитивное, мужицкое, банальное имя отражать мою окунувшуюся в тайны вечности душу! Мою крылатую, белоснежную, жаждущую душу! Мою потонувшую в хаосе, растерзанную ужасами, воскресшую в ночь ликования душу!.. Вы там, которые по законам физиологии считаетесь моим отцом и моей матерью, не называйте меня больше своим сыном! Я вам больше не сын. Я больше не Юкум Брумелис!

Застыв от удивления, с раскрытым ртом, отец и мать взирают на сына, как на чудо заморское. А он стоит, прислонившись спиной к столу, с выпяченной грудью, вытянутыми руками. Потом старики поворачиваются друг к другу.

Марта в испуге пятится к двери и ощупью, не поворачиваясь, пытается ее открыть.

— Меня зовут...— продолжает сын уже с меньшим воодушевлением и пафосом, но с еще большим достоинством и гордостью.— Разве вы действительно еще не знаете моего псевдонима?

Отец и мать снова смотрят друг на друга.

Сын пренебрежительно машет рукой.

— Где им понять высоты культуры, им — стоящим на низшей ступени развития! Но ты, Марта? Ты же еще в том возрасте, когда возможна некоторая ориентация в вечном царстве поэзии. Ты могла бы проявить интерес к лучшему сыну народа, к его поэтической судьбе, полной синих кошмаров... Марта?

— Да?

— Как меня зовут?

— Я, Юкум, не знаю...

Величественно, как сам Аполлон, он поворачивается, берет со стола открытку, протягивает ее Марте.

— Возьми и прочти.

Марта берет открытку, но опускает руки.

— Я, Юкум, не могу разобрать...

Тогда он берет открытку кончиками пальцев и, держа ее на большом расстоянии от глаз, делает ударение на каждом слоге, читает, словно решая вопрос жизни и смерти:

— Ялмар Серенгард.

— Ялмар Серенгард...— словно эхо, вторит Марта, не переводя дыхания.

Ялмар Серенгард поворачивается к старикам, которые стоят не шевелясь, все больше цепенея от удивления.

— Слышали: Ялмар Серенгард. Ну-ка, старушенция, повтори.

— Ну что ты, сынок...— Голос у старушенции дрожит, старая рука судорожно теребит кончик передника.

— Нет, ты повтори, не бойся. Это имеет большое значение. Имя — это символ души... то есть символ бытия человеческого. И я желаю, чтобы те, кто говорит обо мне, знали мое имя, знали меня. Таков мой принцип, и я требую, чтобы вы считались с моими принципами. Вот чего я требую от вас. Ну, повтори ты, старикан: Ялмар...

Старикан откашливается и бурчит что-то похожее на «алмар».

— Серенгард...

Старикан, совершенно сбитый с толку, старается выговорить, но получается нечто похожее на «серый гад...»

Тут Ялмара осеняет какая-то мысль, и он поворачивается к Марте.

— Я все же поражаюсь, как мало здесь знают своих поэтов, толкователей бессмертных звезд, измерителей мистических глубин. Неужели в этом доме никогда не произносили моего псевдонима?

Марта отрицательно качает головой.

Тогда Ялмар поспешно вытаскивает из внутреннего кармана два совершенно истрепанных и замызганных журнальчика, листает один, второй, кладет один на другой и протягивает их Марте. Указывает пальцами, потом с олимпийской самоуверенностью поворачивается и принимается медленно прохаживаться по комнате.

Старушка дергает старика за рукав.

— Пусть они вдвоем поговорят об этих книгах,— шепчет она.— Пойдем пока.

— Вот еще! — тоже шепотом возражает ей старик.— Что ж, я со своим кровным сыном и поговорить больше не умею? Господи, ну и времена!

— Тише ты! — обрывает его жена и выталкивает за дверь.

Ялмар Серенгард снова останавливается против Марты.

— Ну, прочла?

— Да...— отвечает она, все еще смотря в журналы, которые дрожат в ее руках. Губы у нее тоже дрожат. Все лицо ее залила густая краска.

— Красиво?

— Д-да... я думаю... красиво.

— Ты думаешь! Читая поэзию, думать не следует. Скажи лучше, что ты почувствовала?

— Ничего... Я ничего не поняла...

— О, sancta simplicitas! [1] Неужели стихи нужно понимать! Современная импрессионистская поэзия! Она говорит языком субъективным, действует непосредственно на чувства, на душу, на сверхчеловеческое бытие человека. Скажи, Марта, ошибаюсь, ведь тебя зовут Марта? Ну скажи, не видела ли ты, как вокруг тебя летали нежные, прозрачные, эфирные существа? Разве сирены, нимфы и наяды не плескались вокруг тебя в серебряных волнах облаков, озаренных лунным светом? Разве не слы-

---

[1] О, святая невинность! *(лат.)*

шала ты вдалеке божественную музыку, подобную симфонии Бетховена, или скрипке Паганини, или Эоловой арфе, или вальсу Штрауса? Скажи, ты видела, ты слышала?

Марта, будто в испуге, отступает на несколько шагов. Она смотрит вправо, смотрит влево, бросает растерянный взгляд через плечо. Качает головой.

— Нет, ничего не слыхала, не видала...

Вздохнув, Ялмар Серенгард берет из рук Марты свои тетради, сворачивает их и сует в карман, потом снова садится на прежнее место.

— Кому ни дашь читать,— никто ничего не видит и не слышит. Я, видимо, на полвека раньше, чем нужно, родился на свет. Сейчас меня не понимают, но потом мои труды... мне будут воздвигать монументы — из белого итальянского мрамора... Изваяние мое будет стоять на высоком пьедестале и будет смотреть на вечно синее море, где плещутся голые нимфы и сирены... Но все-таки хоть какой-нибудь аромат ты почувствовала — нежный запах роз, фиалок? Тоже нет! О, проклятье судьбы быть поэтом!

И, воодушевляясь таким образом, он все внимательнее вглядывается в лицо Марты. Его все больше привлекает здоровое, обветренное, покрытое нежным румянцем лицо деревенской девушки. Он постепенно становится тише, говорит спокойнее, взгляд его делается каким-то скользким, настороженным.

— Ну, что это ты все прячешься в углу? — обращается он к ней довольно учтиво, как бы спустившись с высот на землю.— Не прячься. Хотя в тебе нет ни благородства Елены, ни страстного огня Клеопатры, но все же есть кое-что, могущее на миг заинтересовать и возбудить в мужчине некоторые инстинкты, о которых пишет Мантегацца и Вейнингер... Подойди поближе. Я не хочу лишать себя такого наслаждения, которое испытывает мужчина, погружая свои взоры в гармонию женских форм. Иди же, я тебя зову!

И когда Марта еще больше съеживается, он встает, берет девушку за руку, ведет ее к столу и снова садится.

— Так. А теперь отними-ка руку от лица. Мне кажется, что мы знакомы целую вечность. Или я ошибаюсь?

— Что ты мелешь! — восклицает Марта, мгновенно вскипев.— Знакомы? Только знакомы? А давно ли, скажи, ты мне через день письма писал? Разве ты это позабыл?

— Женщины очаровательнее всего тогда, когда они сердятся,— спокойно философствует Ялмар Серенгард, предоставляя глазам своим то наслаждение, о котором он только что говорил в такой форме, что Марта снова вспыхивает и закры-

вает лицо передником.— Нет, я ничего не забыл. То есть мое внешнее «я», может быть, и забыло, но в глубине моего существа каждое переживание и каждое наслаждение лежит и выкристаллизовывается в ожидании часа поэтического экстаза, чтобы подняться из глубин на вечный свет ослепительного искусства.

— Не бреши! Говори так, чтобы человек мог тебя понять! — снова вспылила Марта, но тут же спохватилась.

Ялмар Серенгард снисходительно улыбается: «Tout comprendre, c'est tout pardonner» [1], как сказано в иностранном словаре... то есть как говорит французская поговорка. Как можете вы, смертные, понять ход мыслей и манеру выражаться, свойственные олимпийцу...

Он умолкает, ибо взгляд его приковывается к бутылке на подоконнике. Ялмар несколько раз поворачивается к ней, потом, взяв ее, вертит в руках.

— Это, несомненно, беленькая...

— Ты... видно, только насмехался надо мной...— тихо говорит Марта. Но в голосе ее звучит та угроза, которая слышна в реве тигрицы и в мяуканье кошки, когда человек слишком близко подходит к ее логову.

Ялмар Серенгард занят своим делом — он берет с подоконника чайный стакан, наливает в него из бутылки, пьет, крякает.

— Кошмарный напиток! И тем не менее мы, богом избранные жрецы, вынуждены его пить, ибо народ еще не дорос до своего совершеннолетия и не может еще выплачивать нам пенсию вечности или, по крайней мере, выписывать на праздник для нас, избранных, по бочонку вина из Венгрии, Къяхты или Малаги. Нам полагается нектар и амброзия, а мы вынуждены пить эту вонючую, гнусную монополку!

Наливает и снова пьет.

— Ты не думай, что я тебя презираю,— словно вспомнив о ее словах, обращается он к Марте.— Ничуть. Я принадлежу к тем людям, девиз которых: «Пользуйся мгновением». Наслаждаться там, где представится случай и при любых обстоятельствах. Поди же сюда!

— Что? Куда?

— Иди, сядь ко мне на колени.

— Что? К тебе на колени?

— На колени! Я говорю — на колени. Ты не стесняйся. Мы, поэты, умеем найти каплю меда даже в самых простых по-

---

[1] Все понять, значит все простить *(франц.)*.

левых цветах. Мы признаем даже самую простую, нестилизованную, хаотическую, варварскую красоту. Иди же!

Правой рукой он наливает из бутылки, пьет, а левой тем временем берет руку Марты и тянет девушку к себе.

И тут происходит то, что уже сотни раз происходило в подобного рода случаях — нечто совершенно неизысканное и варварское.

— Пусти, скотина,— кричит Марта не своим голосом и вырывается. От злобы и волнения лицо ее на мгновение совершенно побелело.— Обманщик! Подлец!

Она поворачивается и выбегает из комнаты, будто у нее под ногами земля горит. От неожиданности Ялмар Серенгард проливает оставшееся в стакане себе на рукав.

В дверях появляются старик и старушка. Они подходят к Ялмару Серенгарду, то и дело оборачиваясь в сторону выбежавшей Марты.

— Что это вы? Поссорились? — озабоченно спрашивает старушка.

— Между нами подобных отношений быть не может,— демонически усмехаясь, отвечает Ялмар Серенгард.— Слишком велика дистанция между нами. Я стою на вершине Гималаев, а она в самой низине Ганга... А вы-то знаете, что такое — Ганг? А?

Старушка смущенно теребит передник.

— Я... Я... Может, знала в былые времена... Нынче голова у меня дырявая. Может, ты, старик, помнишь? Ты ведь раньше повсюду бывал...

Старик чешет затылок.

— Позабыл... Да, раньше — раньше другое дело. Где я только не бывал! Ездил до самой Валки, до эстонцев, землю литовцев объездил вдоль и поперек. На Псковском шоссе там, в одном месте, была Ганская мельница — может, это и есть...

Ялмар Серенгард переводит взгляд со старушки на старика и обратно. Иронически улыбается, наслаждаясь плодами своего интеллектуального превосходства. Но когда старик замечает, что бутылка в руках сына принимает горизонтальное положение, он, подавляя смущение, придвигает стул и садится.

— А! — с радушной улыбкой говорит он.— Попробовал? Это хорошо. Взрослому человеку надо выпить — это я всегда говорил. Выпей, выпей и мне налей! Это я для тебя вчера принес бутылочку.

Ялмар Серенгард пьет, но забывает налить отцу. Стакан он держит в руке.

— Но разве ты не закусишь? — Старушка подходит ближе к столу.— У меня в печи превкусная телятина. Пироги есть... Да что это я разболталась! Подавать надо, и все тут.

Она спешит к печи, достает блюдо с мясом, покрытое опрокинутой миской, и решето с пирогами.

— Отведай, сыночек, отведай,— подбадривает Ялмара старик.

— Телятина... пироги...— Ялмар Серенгард с уничтожающей иронией кривит рот и смотрит на стол.— И нет ни ножа, ни вилки!

— И правда, сыночек, нет у нас этих самых вилок-то. А нож — о господи! Ножа тоже нет! Старик, дай-ка ты свой ножик. А ну-ка, живо! Отведай, сыночек, пирогов моих. Из самой белой пшеничной муки испекла.

Старик вынимает из кармана штанов нож, открывает его, обтирает и кладет на стол. Ялмар Серенгард принимается за еду, но ест с таким кислым видом, что кажется, будто все существо его полно пренебрежения к каждому куску, который он отправляет в рот.

Старушка стоит около сына и, сложив под передником руки, смотрит на него. Счастливая улыбка на ее лице говорит о том, как она рада, что сын не побрезговал ее угощением.

Старик откашлялся и облокотился на стол.

— Нынче у нас хороший год... Весь сарай доверху набили сеном... да. И сено лучше, чем летошнее. Осока местами по сих пор... Осоку, правда, скотина не любит, но ничего, на подстилку...

— Когда есть клевер, скотина осоку не ест,— вмешивается старуха.— А когда нету — и стебелька не оставит. Как в летошний год — не хватило и в ясли положить.

— Ну, как же. Скотина тоже может разбаловаться, как и человек. Когда полно добра,— худое не ценят... Да... Но вот не знаю, как рожь нынче наливаться будет: когда цвела, налетел ветер да с ливнем. Это добра не сулит. Посеять мы хорошо посеяли. Пар подняли, боронили вовремя... Навоза, правда, маловато было... а известное дело, когда навоза нет, нет и хлеба...

Ялмар неожиданно закрывает рот рукой. И непонятно — подавился он или смеется.

— Что с тобой, сынок? Поперхнулся? Надо по спине похлопать.— И старушка делает попытку подойти к нему.

— Ты лучше выпей, тогда все пройдет,— советует ему старик.

Ялмар Серенгард отталкивает руку старушки и принимает совет старика — наливает стакан и пьет.

— Да-да... вот они какие дела,— снова начинает старик.— На позапрошлой неделе продали годовалого барана и двух ягнят. Цены за них настоящей не дали, но пришлось все-таки продать... Надо было уплатить подушную подать. В этом году большая подушная подать: пять рублей с копейками. Д-да... За тебя тоже внесли. Скажи-ка, Юкум, как это получилось, что ты за прошлый год не уплатил подать? Разве писарь не прислал тебе извещение?

— Нет.

— Вот тебе и раз! Что за человек! И за что только волость ему деньги платит! Говорят, ему еще пятьдесят рублей прибавили. А ведь он даже не сообразит извещение послать!.. И знаешь, Юкум, столько мы с этим сраму натерпелись, столько сраму... Пошел я в волость, а писарь этот самый, будь он проклят, писарь этот и показывает мне: вот полюбуйся, твой сын занесен в список должников. Я, говорит, в полицию сообщу, этапом велю его вернуть в волость. Прихожу я домой и говорю своей старухе: так, мол, и так, мы срамить свое дитя не дадим. Что бы там ни было, а уплатим. Ведь сын же нам отдаст.

— Да! — подтверждает старушка.— И я говорю, приедет Юкум, он нам вдвое, а то и втрое больше отдаст. Ведь этакое жалованье получает, что ему пять-шесть рублей!

Ялмар Серенгард ест уже лениво. Но все же, заглянув еще раз в миску, он как бы нехотя берет пальцами еще кусок.

— Пять-шесть рублей... Разве это деньги? Это подаяние нищему! Пять, шесть тысяч должен был бы мне народ ежегодно выплачивать. А впрочем — мне наплевать на деньги! Мне деньги не нужны! Я не раб мамона.

Старик весело смеется.

— Ну и шутник же наш Юкум: ему деньги не нужны! Послушай, старуха, что это ты тащишь? Ах, да... она все с барахлом своим возится!

А старушка тем временем вынула что-то из-под кровати. С торжественной таинственностью, сияя от радости, осторожно несет она сверток и кладет на стол.

— Вот, сыночек... полотно... сама ткала, да шить не стала: ведь я не знаю, какие рубашки носят в городе. А это — две пары носков...

— Ты только погляди! — Старик, улыбаясь, указывает на подарки.— Так вот над чем ты просиживала ночи напролет. А я-то и не догадывался!

Ялмар Серенгард скосил глаза на разложенные перед ним вещи. Он потянулся и небрежно пощупал полотно рукой.

— Подумаешь, добро какое...

Старушка вздрагивает и сникает. Старик от неожиданности закашлялся.

Ялмар Серенгард, окончив еду, встает.

— Невыносимая атмосфера... Неужели нельзя хоть окно открыть?

— Нет, нет, уж лучше окно не трогать: скобы совсем заржавели. Мы как-то раз его открыли, рама упала в крапиву — и стекло вдребезги. Пятнадцать копеек стекольщик взял с нас за новое стекло.

— Будет врать-то,— перебивает его старушка.— Тринадцать.

— Не спорь, я лучше знаю: сам платил. Один гривенник, одну старинную монету в три копейки и одну в две копейки. Сколько же это — тринадцать или пятнадцать? Пусть Юкум скажет, он лучше нашего считать умеет.

Ялмар Серенгард, внимательно слушавший этот разговор, снова прикрывает рот рукой. И снова нельзя понять, смеется он или кашляет.

— Опять! — пугается старушка.— Что это с тобой?

— А ты что смотришь? Даешь парню сухое мясо да пироги! — сердится старик.— Лучше бы сварила что-нибудь пожиже.

— Ох! И как это мне в голову не пришло! Эх, голова моя дырявая.

В этот момент во дворе слышится колокольчик извозчика.

— Это, сыночек, верно, твой кучер? — спрашивает ошеломленный старик.— Чего же он ждет? Почему не уезжает? Может быть, ты позабыл дать ему на чай... Дай, мать вынесет...

— Да, сыночек, я мигом.

Ялмар Серенгард, махнув рукой, надменно объявляет:

— Не надо. Я сейчас уезжаю.

— Как? Неужели ты хоть один-единственный денек не побудешь с нами? — Старушка гладит Ялмара по плечу.— Останься хоть до утра.

Ялмар Серенгард резко качает головой.

— Это невозможно. В такой атмосфере... Это было бы против моих принципов. Поймите: против моих принципов. Эта атмосфера... эта обстановка... эти люди... они оскорбляют мои эстетические чувства... Я поэт... Понимаете: поэт! Я не могу быть где попало, как попало... Нет, не могу. Это противоречит моим эстетическим чувствам и моим принципам. Понимаете! —

Он обрывает свою речь, в которой уже заметно ощущается присутствие содержимого опустошенной бутылки, и смотрит в окно.

— Скажите, вот та, что там идет, разве это не... ну, как ее звать?

— И, сынок! — с упреком в голосе замечает старушка.— Разве ты не узнаешь Марту! Это же Марта, дочь нашего хозяина, с которой ты вместе пас свиней.

— Ах да, Марта. Теперь я вспоминаю. Вам нечего удивляться, если я позабыл: сколько идей, сколько проблем бродят в моей голове и ждут разрешения! Где же мне помнить имя какой-то деревенской девчонки!

— Ну конечно, сыночек...— заикаясь, говорит старушка.— Конечно... Мы и сами видим, что тебе не больно нравится у нас... Мы простые, темные, деревенские, а ты в городе привык с образованными... И все же насчет Марты не сомневайся... ни, ни! Она тоже образованная: почти полные три зимы ходила в волостную школу. Читает, как сам священник, и газеты, и книги... Вечерами зимой все собираемся ее слушать. И бывает, так смеемся, так смеемся...

— Гм... да,— бурчит старик и осторожно вынимает из миски кусок мяса.— Иной раз от смеха в животе колики.

— И работящая, надо тебе сказать! Как птичка, как ртуть, подвижная и целый день хлопочет. Мать больна, так она одна со всем решительно в доме справляется. Такое усердие не часто встретишь в наши дни. Я тебе вот что скажу: счастлив будет тот парень, который ее возьмет.

Ялмар Серенгард усмехается.

— Да, в берущих, видимо, недостатка нет...

— В желающих, сыночек, в желающих. Но она — ни с кем, ни-ни-ни. Ни столечко! У меня, говорит, есть друг детства, того и жду... Она ведь, сыночек, о тебе только и говорит...

— Обо мне? — У Ялмара Серенгарда опускается угол рта.

— Да... А нам она, могу тебе сказать, будет дочь родная... Ведь она, сыночек, на тебя одного надеется... Если бы ты ее взял, ты бы не пожалел, вот мое слово.

— Да я и намеревался взять. Марта, сказал я, иди, садись ко мне на колени... Хе-хе,— она грубо выругала меня и убежала.

— И, сыночек, зачем же ты этак сделал! Неужто нынче так можно... Поженитесь, тогда уж...

— Что ты сказала: по...?

— Поженитесь, ну да. Разве приличной девушке подобает этак...

— Пожен...— Ялмар Серенгард закрывает рот рукой и

отворачивается. Но теперь он больше не в силах владеть собой. Он вскакивает.

— Жениться!..— кричит он и прыскает со смеху. Корчась и изгибаясь, он хохочет, позабыв о своих эстетических чувствах и гордой осанке.

У старика мясо вываливается из рук. Он тоже быстро вскакивает.

— Мать! — Голос его дрожит от гнева.— Что ты тут болтаешь! Ведь он все время издевается над нами.

Ялмар продолжает смеяться, расхаживая по комнате.

— Ну, сыночек...— Старушка тоже обижена.— Над отцом с матерью смеяться нельзя — это грех. И над Мартой тоже нельзя смеяться: она девушка честная.

— Честная, да...— Ялмар все еще не может успокоиться.— Да, все они неповоротливые и честные, эти деревенские простушки, как коровы, которых они доят. И когда поэт, бессмертный средь людей, подобно Пану удостаивает ее чести и говорит: сядь ко мне на колени,— она с руганью убегает. А где же воспитание! Где понимание того вечного, изысканного наслажденья, делающего человека похожим на фавна и веселого Эроса и... и прочих богов. Такая женщина просто грубый, сырой кусок мяса. Она не понимает, что только через мужчину она обретет содержание и значение, что только через мужчину она может пасть и снова подняться... Да я плюю на такое существо! Моя высшая сущность, мое трансцендентальное «я» жаждет иных наслаждений. Я люблю женщин, смело и открыто служащих своему высшему, божественному назначению.

— И, сыночек,— бормочет окончательно сбитая с толку старушка.

Ялмар Серенгард с королевским величием поворачивается к ним.

— Повторяю: никакой я вам не сын. Не называйте меня сыном, это меня оскорбляет. Смертельно, невыносимо оскорбляет. Какое право имеете вы на это? Простой, банальный, физиологический акт — ничто для человека, поднятого выше трех измерений этого мира, выше времени и пространства, в бесконечность вечности... Да — veritas, veritas [1]. Я от вас ничего не унаследовал, кроме этой ничтожной, не имеющей ценности жизни. За это вам не следует никакой благодарности. Наоборот: мне стыдно, глядя на вас, за ваше грубое, неотесанное варварство. Грязь прилипает к моей душе каждую минуту, которую я

[1] Истина *(лат.)*.

провожу в этом болоте, полном убийственных испарений. Я стыжусь того, что родился в век, когда дети еще не имеют права выбирать себе родителей.

— Ты слышишь...— дрожащим голосом шепчет старушка,— как он нас ругает...

— Гм... да...— шепчет ей в ответ старик.— Ругает. Мне кажется, что у него здесь...— И он дотрагивается пальцем до лба.— Лучше бы я не показывал ему бутылки.

Ялмар Серенгард бегает по комнате. Он старается, но не может обуздать в себе гнев сверхчеловека, свое поэтическое возбуждение. Наконец он останавливается.

— Мне жаль тебя, старик, и тебя тоже, старушка... Мне искренне жаль вас. Но я не могу иначе. Вы прозябаете и задыхаетесь в вашем ничтожном и гнусном бытии, а я поднялся выше жизни и людей. Юкум Брумелис умер,— как старую грязную одежду, я скинул его с себя. Я, Ялмар Серенгард, сверхчеловек, я высший тип человека, я человек будущего — homo sapiens. Плевать я хотел на Юкума Брумелиса... на всех вас! Слышите: на всех я плюю и... и... еду обратно в Ригу!

Homo sapiens бежит к кровати, хватает желтый пыльник, поспешно пытается надеть его. Он спешит и никак не может попасть в рукава.

Старушка боязливо подходит к нему.

— Ты, значит, всерьез?.. Останься, ну хотя бы до завтра.

— Прочь с моего пути, жалкое создание! — вопит он в экстазе и надевает шляпу. Потом, немного подумав, берет полотно и носки и рассовывает подарки по карманам.

Старушка спешит к столу, берет из него бумагу, заворачивает в нее кусок мяса, кладет сыну в карман. Хватает пирог и тоже сует ему в карман.

— Ну, на дорожку...— шепчет она сквозь слезы.

Homo sapiens делает торжественную паузу.

— Так. Оставайтесь же у своего золотого тельца. А я снова поднимусь на свой Синай!

И он гордо направляется к выходу, где сталкивается с Мартой.

— Ага, значит, наутек,— говорит она без малейшего уважения, но с гневом и с издевкой во взгляде. И, выходя следом за ним, кричит: — Обманщик! Жулик!

Жалкие создания молча и в недоумении переглядываются. Потом оба разом бросаются к открытым дверям.

— Зови же его назад! Не пускай его! — плача, подталкивает старика старушка.

Но старик в нерешительности топчется на месте,— бежать ли ему или нет.

— Нет... зови ты! У тебя лучше получится...

— Опоздали, он уже в коляске. Уедет... О, господи! И что это Марта там ругается!

— Уедет... Старуха! Где же... ведерко с маслом, которое ты ему приготовила?

У старушки даже ноги подкашиваются, она ударяет себя по лбу рукой.

— Ох, пустая моя головушка! Там... под кроватью... Ох, пустая моя головушка!

На дворе слышен сердитый голос Марты.

Старик шарит под кроватью, находит маленькое беленькое ведерко и бежит во двор.

— Подожди! — кричит старушка.— Постой, сынок, вот тебе еще ведерко с маслом. Подожди, сынок!

— Тише ты! — прерывает ее старик и машет ведром в воздухе.— Постой... Ал-мар... Серый гад!

Но за дверью громко заливается колокольчик.

Старушка и старик остаются стоять на пороге домика, отведенного испольщикам в Маз-Киркуцисах, и слезы текут по их морщинистым щекам.

1909—1910

Положив ложку и посидев с минуту в раздумье, Апог встал. Андр украдкой оглянулся на отца и прилегшую на постель мать, шмыгнул к двери и стал потихоньку приподнимать крючок.

— Никуда не убегай,— строго сказал отец,— будешь вертеть точило.

Крючок, брякнув, упал назад. Андр обернулся, но надеяться было не на что. Мать лежала, обвязав голову платком, от нее сильно пахло приторными каплями. Когда у матери болит голова, она должна после обеда немного полежать и ей нельзя гнуть спину у точила. А отец уже взял с кровати шапку, выбил ее о ладонь и надел.

Сжав губы, Андр вернулся, взял со стола штоф с водой и зачерпнул еще из ведра у плиты. Он нарочно плеснул на пол — мать на кровати открыла воспаленные глаза.

На дворе Андр взглянул на выгон. Возле мочил Квиешанов его ждет Янцис. Утром они вместе пасли скотину и в одном из мочил, которые весною заливала речка, обнаружили щурят. Ребята условились в обед выловить их и поделить. Андр обещал прийти во что бы то ни стало, он не ожидал, что отец вернется с дальнего «острова» домой обедать. Теперь Янцис, должно быть, один выловит всех щурят... Ручаться за него нельзя... Андр еще крепче сжал губы. В горле у него запершило, он никак не мог глотнуть.

Перед каретником отец уже возился с точилом. Отодвинул его от стены и загнал поглубже клинья у оси. Затем взял прислоненную к стене большую лопату и осмотрел затупившиеся о камни края.

— Ну, пошевеливайся,— сказал Апог, не глядя на Андра. Он вообще редко смотрел на него.

Андр, нарочно медля, лил воду в выемку точила. Лил больше мимо, наземь. Пусть льется! Все равно Янцис выловит всех щурят...

— Ну, верти! — Отец приложил край лопаты к точилу. Из клети вышла хозяйка с тюком холста.

— Неужто мальчишка сможет? — засмеялась она.

Апог, как обычно при хозяевах, сделал приветливое лицо.

— Сможет, он у меня крепыш. Один полмиски похлебки съел... Ну верти,— добавил Апог уже тише и жестче, когда хозяйка отошла.

Андр вертел. Вначале дело шло шутя. Но он по опыту знал, что потом будет все тяжелее. Наточить большой нож или старую косу легко, но с новой косой, с только что выкованным топором или затупившейся лопатой маеты много. Уж лучше нарвать и накрошить три корыта листьев.

Андр вертел... Наточить старую косу—пустяк. Можно вертеть одной рукой и смотреть, как сверкающее лезвие медленно, полукругом скользит по точилу от острия до пятки и обратно. На обушке косы почти не угасают синеватые блестки. В конце косовища красиво, ровно намотан жгут из лычка или полоски жести, а клинышки напоминают спеленатых вместе младенцев — только головки выглядывают. Коса так красиво поет: у острия тонко, визгливо, даже в ушах щекочет, но чем ближе к пятке, тем звук ниже... А лопата только глухо гудела. Она тяжело и мягко липла к точилу, и вертеть становилось все труднее. У косы затачивается один верхний край лезвия, нижний же только раз легко проводят по песчанику, зато лопату точат с обеих сторон одинаково. С обеих сторон она сильно выщерблена камнями, и зазубрины нужно сточить поровнее, иногда ее острый край бывает весь изогнут — вот тогда попотеешь. Придерживая правой рукой черен, отец ладонью крепко прижимал лопату к точилу. Камень со скрежетом, неохотно грыз толстое железо. Вначале он вращался довольно быстро и ровно, но вскоре начал вертеться все медленнее, толчками. Андр поминутно менял руки и наконец ухватился обеими. Но ровно вертеть уже не мог. Повернуть ручку сверху вниз нетрудно, но снизу вверх шло тяжело. На руках набухли синие жилы, от одышки сердце готово было выскочить из груди. Сопротивление в верхней и нижней половине круга до того разное, что вертеть равномерно невозможно. Когда Андр толкал ручку вверх, один конец оси выскакивал из паза, с силой прижатая отцом лопата соскальзывала, и тот уже раза два бросил злой взгляд на Андра.

«Освобожденные»

Апог остановился, поднес лопату к глазам и провел по ней большим пальцем. Выругался, сплюнул и снова приложил лопату к точилу.

— Ну, верти! — крикнул он.

Андр тем временем подлил из штофа воды. Плеснул и на концы оси, которая уже начала выть. Андр снова принялся вертеть. Теперь отец нажимал с удвоенной силой, налегая всей ладонью. Мягкий песчаник со скрежетом терся о железо, вода стала густой, как грязь. Коричневая жижица плескалась о лопату. Отец, согнувшись, нажимал. Голова его время от времени касалась соломенной шляпы Андра, и мальчик чувствовал запах изо рта отца. Порою болезнь Апога как будто проходила, и тогда пахло не так сильно. А теперь вынести невозможно было. Запах как-то волнами ударял в нос, и Андру от него становилось еще тяжелее, чем от работы.

Все туже вертелось точило, все чаще выскакивала из паза ось. Но сердитый взгляд отца теперь уже не пугал Андра. Он думал только о том, что скоро конец. Тогда он побежит к мочилам. Яницс не успеет выловить всю рыбу. И они все-таки поделят ее пополам.

Наконец отточили. Осмотрев лопату, отец молча вскинул ее на плечо и пошел к дому. Андр бросил опасливый взгляд на дверь и уже двинулся было мимо сарая. Но сегодня ему не везло. В дверях вдруг появилась мать с кувшином воды, голова у нее была туго обвязана черным платком.

— Куда бежишь? — крикнула она. Голос у нее раздраженный, надтреснутый, страдальческий.— Наруби капустных листьев поросенку... Две охапки... Только побольше!

— Хватит и одной,— несмело попытался возразить Андр и откашлялся, чтобы скрыть дрожь в голосе.

— На воскресенье тоже! — еще резче крикнула мать.— Сначала одну — и сгребешь в сторонку. Потом изрубишь другую...

Она поставила кувшин на лавку у двери и перелезла через плетень в хозяйский огород полоть морковь...

Держа правой рукой на плече лопату и в левой кувшин с водой, Апог шел к «острову». Туда было около получаса ходу. Хозяйские владения тянулись почти на версту. Потом начинались соседские луга и пастбища, и только за ними, вклиниваясь в помещичий лес, лежал «остров» — большой, довольно низкий участок поля и луга. К нему было трудно пройти, раньше хозяин сеял на нем клевер, вику и яровые. Теперь там уже ничего не родилось. Оставалось только унавозить и посеять

рожь. Апог подрядился расчистить заросшие канавы. Все ближе к дому. Рытьем канав он только и кормился, временами ходил на заработки в дальний конец волости.

Жена, наливая воду, намочила оборы от постол, которыми был перевязан кувшин. Влажное прикосновение приятно холодило пальцы. Сегодня опять палило немилосердно. Правда, дул слабый ветерок, но от него почти не было проку. Редкие одинокие облачка таяли на солнце, как только приближались к нему. Апог давно знал: когда люди выходят на работу в обед, солнце печет, как оголтелое. Воздух звенел от жары, и вдали, над лесом, будто дрожали струи расплавленного стекла...

Апог снял жилет, достал из него нож и сунул в карман штанов, жилет повесил на черен лопаты. Надвинул шапку на глаза. Хотя он только что ел похлебку, но после селедки захотелось пить. Он поднес ко рту кувшин и немного отпил. Больше нельзя — не хватит до вечера.

Апог не пошел по дороге. Канавами вдоль лугов и пастбищ было, правда, не ближе, но зато привычней. Ему редко случалось ходить по дорогам. Он все лето проводил на болотах, лугах и пустошах. Не измерить канав, вырытых и расчищенных им на своем веку... Но не об этом думал теперь Апог. Он думал: вот бы затянуло небо, пошел бы благодатный дождичек и проморосил бы до вечера. Время от времени он смотрел вдаль, где над лесом дрожали струи расплавленного стекла.

Косовица еще не подошла — только кое-где виднелись отдельные скирды клевера. Но высохший погремок так и трещал под ногами. Клевер стал черно-коричневым, а там, где почва была пожирнее, желтые гроздья полегшей чины склонялись над кочками. Но это не занимало Апога. Он свернул в овсяное поле и широким, размеренным шагом пошел по заросшей канаве. Под ногами путалась уже отцветающая полевица, сероватолиловая пыльца горстями набивалась в высохшие постолы. Местами алели кустики земляники. Ноги скользили по ней, а от раздавленных ягод в воздухе стоял кисло-сладкий аромат. Апог подумал, что в будущем году этот участок непременно оставят под паром, придется расчищать канаву, может, опять будет заработок. Но меньше чем шесть копеек с сажени он не возьмет. А этот мошенник — скряга, навряд ли столько даст. Сам, когда запьет, деньги горстями швыряет, а с рабочего человека последнюю шкуру готов содрать.

Жарко было идти полем, но возле «острова» на Апога, точно в риге, пахнуло зноем. Ни ветерка. По сторонам и впереди стеною стояли деревья. При взгляде на красное от щавеля,

словно подожженное пылающим солнцем, паровое поле резало в глазах. У Апога перехватило дыхание. Такая адская жара не к добру. Вот-вот надвинется градовая туча. Хоть бы дождь полил, мягче бы копать было.

Апог прошел по очищенной канаве до того места, где начиналась неочищенная. Тут он бросил лопату, кувшин с водой поставил в тень ивового куста. Пошел дальше по поперечной, заросшей ивняком канаве и достал из густого куста топор, бечевку с колышками и грязный, задубевший мешок, в котором был небольшой сверток. Вернулся на прежнее место, бросил мешок в тень и хотел нагнуться за лопатой. Но тут он почувствовал, что слишком устал, и провел ладонью по лицу — она стала влажной. Посмотрел на солнце, потом в сторону поля: нет, у Квиешанов не вернулись еще убирать клевер. Стало быть, сейчас не больше половины второго. Полчасика еще можно поваляться. Зато к вечеру он поднажмет — ночи теперь совсем светлые.

Апог уселся в тени. Достал из кармана штанов кисет, развернул, зачерпнул лопаточкой белого порошка, ссыпал в рот и запил водой из кувшина. Затем он лег на живот, оперся подбородком на руки и закрыл глаза.

Сперва он ощущал только, как солоновато-кислый порошок приятно таял во рту, как от него внутри разливалось тепло. Удивительное лекарство! Не посоветуй люди, давно бы уже на погосте был... И только он подумал об этом, как сразу ощутил боль под ложечкой. По-настоящему болезнь давала о себе знать только два-три раза в год. Начиналась она постепенно, колотьем в боку и схватками под ложечкой, с тошнотой и рвотой. И тогда дня три, а то и неделю, приходилось отлеживаться. Порою боль становилась такой лютой, так его схватывало, что он корчился, метался и кричал в голос. Тогда ему клали на живот горячие припарки с золой — и опять легчало. В перерыве между приступами его донимала только противная отрыжка, начинавшаяся откуда-то из самой глубины, и страшная изжога, от которой очень помогала сода. А вот от запаха ничто не помогало, и никогда не отпускала боль — она то слабела, то становилась сильней. Но терпеть можно было, хотя иной раз приходилось стискивать зубы и зажмуриваться.

Вот и теперь снова заныло... Начиналась противная изжога. Апог потянулся и открыл глаза. Уснуть он уже не мог. Боль — это еще не самое страшное. Обычная боль — это то же, что привычный черен лопаты или привычный сенник. Они, правда, не мягки — но много ли мягкого и легкого в жизни

поденщика? Надо терпеть... Но как только Апог начинал об этом думать, он уже не мог спать. Мысли об этой всегдашней боли, о том, что сильные приступы случаются все чаще, мысли о судьбе жены и Андра, о многих несбывшихся надеждах и о тех, которым не суждено сбыться, все назойливей теснились в голове и порою не давали покоя всю ночь...

Апог посмотрел на паровое поле. Словно красное покрывало перед глазами. Оно ходило волнами и скрывалось на опушке за деревьями. Черно-зеленой стеной стоял лес. Внизу густо рос мелкий орешник, выше поднимались серые и коричневые стволы, а над ними причудливо круглились кроны. На темном фоне елей светились бледные полоски берез. Местами хвойные деревья исчезали за кудрявыми макушками ясеней и кленов. В стороне одиноко стоял старый вяз с разметавшимися от жары во все стороны седыми кудрями, а возле него робко тянулся к опушке дуб-подросток. Ветра не было, но в лесу что-то шумело — в лесу всегда шумит. Рассудительные птицы попрятались кто куда, только шалунья-малиновка заливалась весь день. Упала прошлогодняя шишка, и белка, вспугнув сама себя, зачмокала и, царапая коготками, шмыгнула вверх. Далеко, в конце «острова», где лес сразу кончался и где от скрытых кустарником мелких озер и болот поднималась перед стеною далекого бора синеватая дымка, изредка крякали дикие утки.

Эти отрывистые одинокие звуки только оттеняли шепотливую лесную тишину. Весь лес наполняла тяжелая дрема. Но Апог не спал. Веки у него отяжелели, но не смыкались. Ноющей боли он как будто уже не чувствовал. Кинув взгляд на расчищенный участок, он пристально посмотрел туда, где его ожидала работа. Вдоль и поперек тянулись канавы, заросшие ивняком. Ни одной прогалины — сплошные зеленые курчавые лозы переплелись, перепутались между собою. Словно весь этот клочок иссохшей, истощенной земли был перевязан зелеными толстыми веревками.

И Апогу надо их разорвать... Выдергивать, вырывать корешок за корешком. Начав с одного конца, он уже не мог остановиться, пока не добирался до другого. Топором, лопатой — наконец ногтями, но надо истреблять живучего врага... Апог стиснул зубы. Полжизни он воевал с ивами, а они все росли. Чем больше он вырубал и истреблял их, тем обильнее были побеги. Расчищать и рыть канавы — еще ничего. Но с этими проклятыми ивами настоящая каторга. Они съедают у человека здоровье.

Другой бы увидел здесь только зеленые ивовые кусты. Но Апог видел больше. Еще издали он различал тонкие корни, которые нужно было выдергивать по одному. Тут попадались и ракиты — годовалые деревца со стволами и кронами, фута в три высотой; за пять-шесть лет они вырастают в большие деревья с серо-коричневой, словно потрескавшейся корой, с крупными пушистыми барашками,— пчелы весною летят на них за первым медом. Коричневые, блестящие и мелкие серо-белые ивы, из прутьев которых пастухи плетут корзины для картофеля, жирные, зеленые ивы с такими нежными черешками листьев, что ветер посильнее срывает их. Из таких ив делают свирели, а когда они подрастают, вырезают вилы. И наконец, приземистые, ветвистые ивы, которые разрастаются на глазах и очень быстро покрывают болотистые луга — они кривые, корявые, узловатые, и под корой у них местами выступают как бы отростки. Ветка у них выходит из ветки, они скрытны, коварны и не желают держаться прямо; срубишь — и только тогда видишь, что корень не там, где ты срубил, что он изогнулся и зарылся в траву, в землю; вырывая такой корень, портишь и обваливаешь выровненную стенку канавы.

Порою стоило только Апогу посмотреть на эти проклятые гривые, корявые пепельные ивы, как у него от злобы спирало дыхание и сжимались кулаки. Сколько он их вырубал, дергал, ломал, а они все росли — их нельзя было уничтожить. Они, как зараза, как напасть, съедали у человека все здоровье.

Апог уже не мог успокоиться. Он стал подниматься и потянулся за лопатой, но тут же отдернул руку и присел. Снова сильно кольнуло в боку. Ему показалось даже, что он невольно застонал. Но этого не могло быть — от такой боли еще не стонут. Апог положил ладонь к подбородку и дыхнул на пальцы: ну да, опять этот запах. Когда начинает пахнуть сильнее — плохой это знак.

Подавив вздох, Апог взял кувшин. Зачерпнул лопаткой из кисета намного больше обычного. Проглотил порошок и немного подождал. Да, именно к больному месту, туда, где садняло сильнее всего, полилась ласковая прохлада. Рот обдала кислая отрыжка. Хорошо, что ему посоветовали этот порошок!

Позади, на поле, тоже начали работать. Кто-то осаживал лошадь, что-то звякнуло. Должно быть, работники из Квиешанов приехали за клевером. Апог не оглянулся. Какое ему дело до других. Другие помогать ему не станут. Не мешкая и не прислушиваясь, он быстро встал.

Изрядная часть канавы уже очищена от ивняка. Апог протянул бечевку и вбил колышки. Это было лишним: канава, правда, обвалилась и заросла, но совсем прямая, в середине можно было копать и без бечевы. Начал. Острая лопата хорошо резала. С хрустом разрубала высокую траву, более мелкие корни лабазника и ив. Край ссохшегося постола больно впивался в левую щиколотку. Но босиком копать нельзя, голой ступней не нажмешь на узкий железный упор и не вонзишь лопату в твердую, окаменевшую землю. Дождя бы. Но надеяться на это нечего. Жарко, как в пекле. Сплошные корни... С хрустом резала лопата. Ровными, почти отмеренными кусками вырезала она середину заросшей канавы. После каждого удара лопатой Апог отступал назад и, пятясь, постепенно приближался к невырубленному ивняку. Правая нога на лопате, одна рука обхватила черен, другая — ручку; в каждый удар надо вложить силу и тяжесть всего тела. Земля твердая, как кирпич. А корней становилось все больше. Те, что шли вдоль канавы, лопата перерезала, но поперечные оставались. И как только Апог поднимал дерн, то задевал какой-нибудь корень. И размеренно двигавшиеся мышцы вдруг сбивались с привычного ритма, жилы на руках растягивались, спина горбилась, дыхание становилось хриплым, прерывистым. Точно острыми когтями схватывала боль под ложечкой. Но больше всего сердило не это, а задержка в работе. Приходилось отступать и в одну и в другую сторону и тогда уж ударять вторично... Один за другим куски дерна кувырком летели направо и ложились ровной широкой грядкой.

Труднее всего выравнивать стенки. Хотелось с одного приема поддеть до самого дна, чтобы куски дерна были побольше. Стоя на краю канавы, не очень удобно выбрасывать его. Тянувшиеся повсюду корни ив портили стенку; она обваливалась, когда лопата выворачивала их. Иногда даже случалось, что какой-нибудь длинный тонкий корень срывал с нее дерн. Тогда у Апога загорались глаза и губы что-то злобно шептали.

Апог протянул бечеву и выровнял другую стенку. Выбросил со дна землю и на минуту присел на краю канавы. Но рассиживаться было некогда. Он напился и взялся за топор. Теперь надо было сначала вырубить кустарник.

Левая рука хватала густую верхушку, а правая рубила. Настоящих деревьев здесь не было — вся канава заросла серыми жилистыми кустами. Но редкий из них удавалось одолеть с одного удара. Корни обычно оказывались совсем не там, где можно было ожидать, топор попадал в траву, не переру-

бив спрятавшуюся в землю кривулину, а только глубже вгоняя ее, вырывая из левой руки верхушку куста и больно растягивая сухожилия под мышкой. От хрящеватой почвы и камней топор совсем затупился. Время от времени он позвякивал, и тогда Апог сердито вздыхал: «Эх!» Отрубив ветку, он осматривал топор. Ну вот, еще одна зазубрина! Все лезвие было в зазубринах, по нему смело можно было провести пальцем. Тут уж ничего не поделаешь. Топор не служил и полдня, сразу тупился о хрящ и камни. Приходилось рубить таким, какой есть. Колотить точно молотком, чтобы одолеть жилистые корни.

Гневно отброшенные рукой отрубленная ветка или кривой корень с шумом и шелестом летели по воздуху. Широкой полосой, местами целыми кучами, лежали кривые, скрюченные корни и извилистые, перепутавшиеся между собой ветки. В знойный день они удивительно быстро вяли. Из белых отрубов сочился сразу же засыхавший коричневатый сок, листья повисали и сворачивались. Горький запах увядания стоял над «островом». Возле расчищенных канав на паровом поле валялись кучи бурых, словно обгоревших веток.

Бух! бух! — падал тупой топор на прятавшиеся в траве и земле кривые корни. Каждый удар топора сопровождался выдохом. Легче, когда грудь подымается и опускается вместе с топором. Но работа все же была трудна, потому что каждая ветка, каждый корень извивался по-разному, и каждый из них надо было рубить по-особому. Апог то и дело должен был менять положение ног, наклон спины, поворот головы и каждый удар наносить иначе, в ином направлении и с иной силой — ни одно движение не походило на предыдущее. Эти ивы вытягивали у землекопа все жилы, работа дробилась на отдельные мелкие, не связанные между собою движения.

— Бух! — ударил топор и отскочил. В камень он не попал — это можно было определить на слух. Но левая рука, сжимавшая верхушку, сразу же почувствовала, что ветка не только не перерублена, но даже не согнулась. Может, попал зазубриной? Апог ударил еще раз внутренним, более острым углом. Бух... Ветка не надломилась и не согнулась. У Апога загорелись глаза, губы что-то злобно прошептали. И тогда посыпался удар за ударом. Левая рука ожесточенно дергала верхушку, чтобы ветка не гнулась, правая замахивалась и рубила. Раззадорившись, Апог забыл и про усталость. До этого рука с трудом заносила тяжелый топор,— он немного свешивался вниз и только на самом верху, стремительно подброшенный доведенной до плеча рукой, вздымался, чтобы с силой обру-

шиться на непослушный корень. Теперь же топор взлетал ровно, словно стал легче, и так же ровно опускался. Но ветка не поддавалась.

Апог сердито сплюнул и бросил топор. Вот напасть! Неужто не срубить. Поплевал на ладони и ухватился обеими руками. Хоть так ее вырвать! Уперся ногами в том месте, где должен быть корень. Ничего не вышло. Руки заскользили, ладони стали влажными, к ним пристали кусочки коры и листья, в обоих боках словно иглами закололо, дыханье в груди стеснилось, и ее так сдавило, что на мгновение у Апога потемнело в глазах, а ивовая ветка сидела в земле все так же крепко.

Не выпуская ветку из рук, Апог на минутку опустился на край канавы. Он тяжело дышал. Колотье в боках прошло, но под ложечкой словно кто-то нажимал тяжелым кулаком. Дышал он порывисто, и если бы не стиснул зубы, у него с каждым выдохом вырывался бы стон... Апог все это чувствовал и осознавал — боль слишком усилилась, нельзя было не думать о ней. Но его сердитый взгляд не отрывался от сжатой в руках, общипанной ивовой ветки, уходившей в траву. Она была толщиной в руку, вся в неровных морщинах, слабая, покорная на вид, и как невинная страдалица томилась в лапах землекопа. Невинная, разлученная с семьей ветка... Но Апог знал, с кем имеет дело. Она у него не первая, и все они на один лад. Полжизни он рубил, корчевал, истреблял ивы, а они вырастали вновь и вновь, еще более ветвистые, густые и упрямые. Разве не из-за них у него эта болезнь. Они теперь думают, что он уж до того старый, слабый и хворый, что больше ни на что не способен, что ему уже конец... что он уж не работник и не кормилец... Упрямиться вздумали, насмехаться над ним, над его болезнью и немощью!

Апог на минуту выпустил из рук ветвь. Она быстро и как будто радостно отпрянула к остальным. Только по смятой и поредевшей листве ее можно было отличить от других. Ну, постой пока, погоди!..

Дрожащими руками Апог схватил кувшин, проглотил порошок и запил. Вода лилась на грудь, за раскрытый ворот рубахи и текла по вспотевшему телу. Но Апог не замечал этого. Кувшин он поставил тут же на солнцепеке. Кисет с порошком забыл на земле. Взяв топор обеими руками, он несколько раз с силой хватил им. Никакого толку. Ветвь не переломилась и не согнулась, только верхушка ее сильно вздрогнула. Апог бросил топор и взялся за нее обеими руками. Ногами уперся в то

место, где должен был быть корень, и рванул. Руки, срывая листья, кору, скользнули вверх. Он задыхался, из горла вырывался прерывистый хрип. А ива по-прежнему не поддавалась. И тогда Апогом овладела необычная, давно не испытанная ярость. Как безумный, принялся он дергать, гнуть, ломать и вертеть иву в разные стороны. Он сам понимал, что скручивает ее жгутом и что лозу пепельной ивы перервать нельзя. Но он был не в силах овладеть собой. Апог не обращал внимания на все усиливающуюся боль и хрип в груди — он только гнул, перекручивал и дергал. Он не замечал, что ива у корня уже стала совсем податливой и размочалилась. Апог упирался ногами и тянул. От усталости он поскользнулся и подался вперед, к несрубленному кусту. Сжатая в руках ива оказалась у него между ног. Так было удобней тянуть. Он уперся ногами и всем телом рванулся вперед. Ветвь с хрустом оторвалась от главного корня, и Апог, не выпуская ее, тяжело рухнул.

Он сам не понял, что с ним произошло. По лицу хлестнули покрытые мягкой листвой верхушки. Шею словно царапнуло острым когтем. Затем что-то ударило его в живот, и перед глазами завертелись черные круги. Ему все время казалось, что ноги у него чудно и как-то легко болтаются в воздухе, а голова все опускается и опускается в удушливый мрак, что он никак не может вздохнуть и от этого становится все толще и тяжелее и вот-вот задохнется.

Апогу казалось, что все это продолжается бесконечно долго. Когда он очнулся, то прежде всего услышал хриплый протяжный стон. Что-то долго шипело, и вдруг раздался этот тихий, однообразный прерывистый стон. Апог сообразил, что это стонет он сам. Он попытался открыть глаза, но их сразу что-то резануло и больно закололо. Теперь он и так знал, что упал с вырванной ивовой ветвью и лежит в кустах, что сильно ушибся, не может перевести дыхание и скоро задохнется, что голова его словно опущена в кипяток, а грудь, живот и все тело раздирает невыносимая боль.

С большим трудом Апог сел. Всякое движение удесятеряло боль, и он едва сдерживал крик. Руки, словно оторванные, бессильно повисли над канавой. Спина согнулась. Рот, казалось, был полон чем-то горьким. Но он выплюнул только немного липкой коричневой жидкости. От густого невыносимого запаха нос как будто был завязан толстым платком. И с каждым выдохом вырывался стон. Апог не старался и не мог сдержать его. Боль уже нельзя было ни превозмочь, ни унять. Он весь был во власти ужасных страданий, точно его

схватили тысячью раскаленных клещей, не давая шелохнуть и пальцем.

Обычно боль утихала, но теперь она, казалось, нарастала волнами. Временами она так скручивала его, что Апог кричал в голос. О работе теперь уже нечего было и думать. Ни о чем он больше не мог думать. Тело его обмякло и с каждой минутой все больше слабело. Оставалось только лечь на спину. Он понимал, что тогда ему уже не встать. Но воля к жизни еще не погасла. Только бы добраться до дому. Он испытывал жажду, невыносимую жажду. Изжога словно ошпаривала глотку и рот. Он забыл о кувшине с водой, о порошке, обо всем. Только бы попасть домой... Апог оперся на руки, но, застонав еще громче, упал на спину. Подняться он не мог. Он попытался стать на колени — и это ему удалось. Пополз, пошатываясь, и увидел рядом топор и лопату. Он протянул руку, чтобы поднять лопату. Неужели это та самая лопата, которой он работал изо дня в день? Она словно вросла в землю, словно ее привинтили к ней. Троих таких, как он, надо, чтобы поднять ее...

Наконец он встал и попытался идти. Спина гнулась, колени подкашивались. Как пьяный, петлял он по щавелю. Ноги путались в полевице. Шапка его осталась в ивняке, взмокший лоб облепили мухи, но он не замечал этого.

О том, чтобы перебраться через очищенную канаву, нечего было и думать. Апог свернул к опушке. Надо было пройти две лишних пурвиеты. Вдоль опушки, затем через луга до самых Квиешанов тянулась старая лесная дорога.

Апог не заметил лесной прохлады. Он ничего не видел. Перед глазами мелькали огненные круги, дышать было тяжело. С каждым шагом идти становилось труднее. Апог боялся одного: только бы не упасть — тогда он больше не встанет.

В каждой выбоине нога спотыкалась и тело бессильно подавалось вперед. Он крепился, крепился, стиснув зубы. Руки безжизненно повисли. Голова переваливалась с плеча на плечо. Рубашка на спине потемнела от пота.

Где-то вдали слышны были голоса и смех. Это работники из Квиешанов копнили клевер. Как-то легче, спокойнее стало на душе у Апога. Люди... так или этак, а на земле валяться не оставят. Помогут, доведут до дому.

Вот старая, когда-то глубокая, а теперь совсем обвалившаяся канава. Кое-как все же перебрался. Но когда он вылез из нее, зацепился ногой за кочку; пошатываясь, Апог сделал два шага, тяжело рухнул наземь и уже не поднялся.

Ужасная тяжесть прижимала его к земле. Когда он падал, у него еще промелькнуло в голове: может, люди видели, может, они придут и помогут раньше, чем его заедят комары и слепни. Но когда он ударился о землю, все стало для него чужим и далеким, призрачным и безразличным.

Перед глазами только мельтешили серые хлопья. Всмотревшись, он увидел, что это вовсе не хлопья, а кривые, корявые ивовые ветки. Они обвивали шею, грудь и живот, они душили Апога.

На пригорке смеялись молодые, здоровые работники. Апог лежал на поляне и глухо стонал.

1913

Покрытая гатью военная дорога сворачивает под острым углом на большак. Сосны так сильно вырублены, что сквозь них далеко виднеется его белая гладкая лента. А за ней — осоковый луг и мост с длинными перилами.

Маленькая хибарка на большаке у перекрестка. Серые, размочалившиеся под солнцем и дождем бревна. Ободранная гонтовая крыша с красной трубой. Крохотная веранда с выбитыми стеклами и заколоченной дверью. Прибитая с былых времен на углу жестяная вывеска со стершейся надписью: «Табак, папиросы, фруктовая вода». За хибаркой хлевок и клетушка под общей крышей. Четыре яблони... Вот и все хозяйство Мартыня Клявы.

На дворе его жена глазеет из-за дома. Сам Клява с уздечкой в руке идет мокрым лугом от сосен. Радостно возбужденный, шагает напрямик к дому. Широко размахивает уздечкой. Шапка на затылке. Ворот рубашки расстегнут.

Он тычет пальцем свободной руки туда же, куда смотрит жена. Ждет, чтобы она повернула голову. Но она так загляделась, что ему не дождаться этого.

— Ну, вишь, как уезжают! — Он останавливается и грозит пальцем.— Говорил я, что ненадолго это. Разве не говорил?

Жена не отвечает. Ничего он, разумеется, не говорил. Только третьего дня начал болтать.

А оба воза исполкома тем временем скрываются на пригорке за кустом. Глазеть больше не на что. Жена берет ведро. Еще раз бросает взгляд на пустынную дорогу.

— Два воза. Страх как нагружены. Мешки да ящики. Цирценис на лисапеде. Остальные пешком. Все с ружьями на плечах.

— С ружьями! — усмехается Клява.— Далеко они уйдут! У Эрглей зеленые. Схватят, как цыплят.

— Катрина Лапинь тоже с ними. В желтых ботиночках. Чулочки, белое пальтишко. Тоже с ружьем на плече.

— С ружьем! У Эрглей уже зеленые. Пятьсот человек. Пулеметы, две пушки.

— Не болтай. Какие у них пушки!

Жена сучковатой палкой пытается вытащить ведро из колодца.

Клява накинул уздечку на частокол. Кричит:

— Так я вру, наверно? Да? Вчера человек из тех мест приходил и сказывал!

— Никак жердь подлиннее не подыщет. А ты хоть разорвись! — Перегнувшись через низкий сруб колодца, жена все же зачерпывает воду и вытаскивает ведро. Делает шаг, оборачивается.— Вечно со своей политикой шляется где-то!

Клява не сразу находит, что ответить. Жена хлопнула дверью. На какое-то время удовольствие испорчено. Но вскоре это проходит. Стоит ли на глупую женщину обижаться? Да что баба в политике смыслит?!

Отвалив борону от стены хлевка, он опрокидывает ее зубьями кверху. Один зуб расшатан. Выпадет. После обеда последнюю полоску ячменя проборонить надо. Накануне запахал.

Он возится с бороной и время от времени поглядывает на дорогу, туда, куда ушли исполкомовские возы.

Понемногу Клява опять веселеет. То и дело многозначительно ухмыляется.

Жене не сидится дома. Вскоре она снова выходит.

— Катрина Лапинь картонку из-под шляпы увезла.

Она усмехается. Клява громко поддакивает ей:

— Вот видишь, как уезжают теперь! Как уматывать-то приходится! А то сами не знали, чего хотят. Тоже мне шишки! Сели народу на шею и невесть каких господ из себя строили! То одно предписание, то другое. То с лошадью куда-то поезжай, то аренду плати, то подати какие-то!

— Два штофа молока с коровы отдай им. Для бедняков! Почему это я должна каких-то нищих кормить? Виновата я, что у меня есть, а у них нет? Кто обо мне заботился?

— Должен невесть кому аренду платить — исполнительному комитету какому-то!.. Плевать мне на них с их комитетом! Барину я три года копейки не платил, так Катрина Лапинь с меня теперь взыскивать будет. Знаю я ее, видел, как она тут за скотиной бегала.

— На шляпки, на шляпки ей нужно! О господи!

Клявы замолкают. Мимо хлевка, со стороны поля, идет Петерис.

Жаркий, солнечный день, а он в полупальто, в забрызганных крагах. На плече винтовка. Запыленный, потный, не то издалека пришел, не то очень спешил. Отца и мать как будто и не замечает. Идет прямо в дом.

Сначала мать, а потом и отец идут вслед за сыном.

Мать без нужды начинает что-то переставлять на полке с посудой. Клява наклоняется к плите, словно за угольком — разжечь трубку. При этом он прекрасно знает, что на обед ничего не стряпали и печь не топлена.

Не снимая с плеча винтовки, Петерис роется в своем ящике. Перебирает книги, просматривает бумаги. Иные сует в карман, иные рвет, иные бросает обратно. Отца с матерью он так и не замечает.

Оттого ли, или от солнца, которое бьет из окна прямо в лицо, или же потому, что наклоняется, Клява заметно краснеет.

— Ружье теперь в кусты закинь. Хватит, поважничал!

Мать, тоже покраснев, оставляет свою посуду.

— Бросит он его! Скорее невесту бросит!

— В кусты, говорю! — Клява трясет кулаком.— Хватит, поохотились! Видал, как улепетывают! Куда все эти горлодеры подевались? Я говорил!

— И эта же Катрина Лапинь... Картонку из-под шляпы повезла!

— Они с меня аренду спрашивали! Я самому барину три года не платил!.. Тоже мне, власть нашлась! Собрались всякие, которым работать неохота!

Теперь оба, не отрываясь, смотрят на Петериса. Но тот притворяется, что не слышит их. Только роется в своих бумагах.

— Весь ящик этот — в печь, говорю! Невесть что напихал туда. Хватит вам листовки раздавать и всякой там чепухой заниматься. Теперь вам покажут коммуну!

— Ком-муновцы этакие! Чтобы все из одной миски жрали! Чтоб все одним одеялом укрывались! Тьфу, будь они неладны!

У Клявы голос стал каким-то визгливым.

— И чтоб ты мне больше не путался с ними!.. Ружье в кусты, и завтра же утром за борону. Хватит! Пора опять за дело взяться. Теперь уж не то, что раньше будет.

— О господи, подумать только! Где же это слыхано — восемь часов работать! А если тебе сено складывать? Или ты за эти восемь часов домой не поспел? В лесу человеку оставаться, не иначе.

— А как же! Ложись у канавы и спи до утра.

— Ну, скажите, разве разумный человек такое говорить станет?

Петерис оборачивается. Он, как обычно, смотрит исподлобья сперва на отца, потом на мать. В глазах и досада, и злая усмешка. Сейчас скажет что-нибудь. Клява возбужденно шарит в кармане пиджака. Жена вытянула шею. Ну, пускай только попробует, пускай только скажет!

Но Петерис сдерживается и ничего не говорит. Поправляет на плече винтовку и выходит. Крупными, гулкими шагами. С треском хлопает дверью.

Ни слова!

— Ну-ну! И это сын! Вишь, как он!

— Он нас и за людей не считает!

У матери на глазах слезы.

— Те для него хороши! Те ему родные! — Голос Клявы стал совсем писклявым.— Кто же виноват, как не ты сама. Да разве я не говорил? А она все: сынок, сынок! Вот тебе и сынок!

— Ну да, теперь я виновата! А сам ты! Вот всегда так... Ах, поскорей бы пришли! И всыпали бы всем. Подряд. Настоящими березовыми розгами. Так, чтоб два дня сидеть не могли. Вот тогда узнали бы коммуну.

— Пороть их надо! Всех подряд. И в первую очередь тех, что уехали. Подстрекателей и верховодов этих!

— Катрину Лапиню... И тех, что за ними побежали, тоже. Пускай узнают, что такое порядок.

— Отца, мать не слушают, так пускай чужие люди поучат.

— И поучат. Ох, как поучат! Одни голодранцы собрались. Коммуна... Указчики и распорядители выискались! Аренду плати им! Я барину три года не платил...

Кляве что-то приходит в голову. Он выскакивает во двор. Смотрит из-за хлева, но ничего не может разглядеть. Куда же он убежал? Побегай, побегай мне еще!..

О работе Клява больше и не думает. Борона как лежала перевернутой, так и лежит на дворе. Он идет к ближнему соседу потолковать о неожиданном освобождении.

Возвращается только вечером, когда уже темно. Веселый, каким не был все последние годы. И страшно словоохотли-

вый. Жену он просто заговаривает, рассказывая свои новости.

— В Риге коммунистов бьют, как цыплят! Карточку в кармане найдут — бах! — и в Даугаву. Учить их надо! Чего там! А то людям житья не было. Обирали каждого, у кого еще что-нибудь осталось. Всех равными сделать хотели. Нищими! Наконец-то опять настоящая власть будет! Наконец-то опять по-человечески заживем!

Жена уже спит. А Клява еще долго ворочается с боку на бок и все говорит, говорит...

Утром он валяется до завтрака. Только когда жена начинает его совестить, он вылезает из-под одеяла, куда залез с головой, спасаясь от мух. Он такой же возбужденный и говорливый, как накануне, когда ложился.

А жена ходит задумчивая, даже хмурая.

— Будет тебе балабонить. Совсем не знаешь еще, какова эта новая власть. Ты радовался и в тот раз, когда немцы вошли.

— Не-емцы! Ну и гусыня! Говорят же тебе, что теперь свои будут. Люди, которые кое-что понимают и умеют. И у кого кое-что есть.

Он столько наслышался у соседа о ждущих их благах, что пессимизм жены не производит на него никакого впечатления.

Насвистывая, он выводит лошадь, там же, у колодца, поит ее, надевает ей на шею хомут.

Жена, ходившая привязывать корову, возвращаясь большаком, оглядывается. Идет и оглядывается.

— Эй, муж! Поди-ка глянь, что там такое!

Клява, насвистывая, выходит на дорогу.

— Смотри, смотри! Верховые как будто.— Лицо его становится бледным как полотно.

— Ну, не болтай! Верховые! Откуда тут верховые возьмутся? Просто едет кто-то. Должно быть, опять комитет какой-нибудь.

Его и самого охватывает беспокойство. Он опять пытается насвистывать, но как-то не выходит.

Облако пыли все надвигается. Уже отчетливо видны морды лошадей. И чуть погодя можно различить хорошо знакомые каски всадников.

— Боже! Немцы!..— лепечет жена побелевшими губами.

Конных человек десять. В руках карабины. У всех такой вид, словно на них собираются напасть из ближнего куста.

Некоторые на всякий случай приотстают. Двое подъезжают поближе.

Жена машинально тычет мужа в бок.

— Боже... Молодой барон!

Клява всматривается пристальнее. И впрямь. Он самый. Только в военной форме какой-то другой. Усики отрастил. Лицо словно разбухло. И сердитый какой! Ох, до чего же сердитый! Глаза красные, как у плотвы.

А барон все приближается, голова лошади уже между Клявами, она чуть не прижимает их грудью к частоколу. Барон и не замечает, как Клява, сняв шапку, здоровается.

— Дэрмо собачье! Кде же твой полшевик?

Обтянутая перчаткой рука подозрительно сжимает желтую плетку. Клява искоса поглядывает на нее и пытается выскользнуть из щелки между грудью лошади и частоколом.

— Не знаю, господин барон. Тут...

Свистит в воздухе плетка. Она чуть задевает шапку Клявы. Та летит наземь. Лошадь, отгоняя мух, наступает на нее. У Клявы по спине словно раскаленную проволоку протянули. Он нагибается, простирает руки. И жена тоже как-то чудно нагибается, словно хлестнули ее самое. Затем она приваливается плечами к частоколу, рот приоткрыт, побелевшие губы дрожат.

— Не знаешь! Мошенник этакий!

Барон снова замахнулся плеткой. Над самой головой Клявы. Он съежился от страха. Не потому, что очень больно. Но... где это видано, чтоб взрослого человека били!.. Его! И за что?

— Ушел! — опять машет он рукой в сторону дороги.— Ушли все! Еще вчера. Два воза...

Опять засвистела плетка.

Клява видит, что барон норовит попасть ему в лицо. Клява, опустив голову, инстинктивно защищает ладонью глаза. Плетка задевает висок. И Клява сразу чувствует, как там набухает большая кровяная шишка, заслоняя сбоку глаз.

Спина горит огнем. Ноги словно не его. Колени подкашиваются. Он озирается из-под ладони, словно ищет помощи. Рядом другой всадник тоже замахнулся плеткой.

У жены страшно вздымается и опускается грудь. Всем телом она наваливается на частокол и воет. Истошно, визгливо, как прижатая дверью кошка. Засвистела и плетка другого.Так и липнет к тонкой ситцевой кофте жены. На груди и плече у нее мгновенно проступает красная полоса. Затем кровь, просачиваясь бурыми пятнами, течет вниз.

Клявы притихли, словно оцепенели.

Молодой барон что-то кричит. Солдаты подъезжают и спешиваются. Только двое остаются в седлах — подержать свободных лошадей.

Немцы бросаются в дом, в хлев, в клетушку. Ворошат, ломают, колотят. Один берет лошадь Клявы за повод, щупает, вертит, хлещет ее плеткой. У всех у них в руках плетки.

Молодой барон ходит вокруг дома, ищет что-то.

Клявы таращат глаза. Как на призраки. Как на пожар.

Первым приходит в себя он. Поблизости никого нет. Пошатываясь, точно пьяный, он идет к жене.

— Ты молчи... бить уж больше не станут...

Она и так молчит. Рот приоткрыт, но губы уже не дрожат. Только по щекам текут слезы. А сквозь кофту сочится кровь и крупными каплями капает на фартук и ноги. Она не слышит, что говорит муж. Ничего не видит. Глаза словно заволокло туманом.

Клява видит все, до мелочи.

Из открытой половины окна вылетает старая коробка, где жена хранит свои шелковые платки и всякие безделицы. Хлопают, не переставая, двери. На дворе собирается все больше солдат. Один держит в руке одеяло с кровати. Другой — старые сапоги Петерпса. Третий вышел из клетушки и складывает кожаные вожжи. А вон тот вытащил из устья печи миску с остатками зажаренной к завтраку свинины. Хватает пальцами и большими кусками отправляет в рот.

Барон разговаривает с тем, с которым ехал рядом. Тот потирает ноги и что-то показывает. Он пробует ходить, но ему словно вывернули ноги.

Барон машет Кляве плеткой.

— Иди сюда, скот!

Клява нехотя подходит. Все гурьбой обступают его. У всех в руках плетки.

— Запрягай лошат в телег! Только живо, скот!

Клява рысцой кидается к хлеву, где стоят его дроги. Ему и в голову не приходит мешкать или перечить. Когда при большевиках велели съездить на два часа куда-нибудь, он два дня сряду ругался. Теперь так нельзя. В мозгу одна мысль: только бы больше не били! Спина горит, как ошпаренная. Голова обнажена. Длинные волосы растрепаны, липнут ко лбу, лезут в глаза.

За десять минут лошадь запряжена. Солдаты ходят вокруг, о чем-то переговариваются по-немецки. Иные мимоходом ударяют его плеткой. Но только так, в шутку. Совсем не больно.

Жена стоит там, где стояла. Она не сдвинулась ни на шаг. Кажется, она не видит и не чувствует, что здесь происходит. Она поражена и ошеломлена.

— Поезжай! — кричит барон и прыгает в седло.

Остальные тоже садятся на лошадей, берут карабины в руки. Только один взобрался на дроги. Карабин он держит наизготовку. Клява кое-как усаживается на передке. Лишнюю лошадь один из всадников берет в повод.

Немец, севший в повозку, прикладом тычет Кляву в плечо. Больно ударяет острым краем. У Клявы по локоть немеет рука. Чуть не выскользнули вожжи. Хорошо, что успел подхватить другой рукой. Дергая вожжи, он подгоняет лошадь. Кнут он забыл. Без кнута лошадь идти рысью не заставишь.

— Поезжай, скот! — орет барон еще яростнее прежнего.

Клява подается вперед в ожидании нового удара. Но барон едет рядом и нахлестывает его лошадь. Ей словно подменили ноги. Седок Клявы, молодой мальчишка с едва заметным пушком на верхней губе, растянулся во весь рост. Ногами уперся Кляве в спину так, что тот с трудом держится на телеге. Остальные едут сзади. По два. Один все еще держит миску с мясом. И все ест, словно с голодухи.

Поднимаются на пригорок, где дорога на повороте чуть взрыта.

Проезжают шагов тридцать, не больше.

И вдруг Клява замирает, кровь бросается в голову. Руки не чувствуют больше вожжей. На мгновение он забыл, кто его окружает.

Из-за низкого ольхового куста на взрытом повороте дороги им навстречу выходит человек. Он в полупальто. На плече винтовка. Петерис!..

Он останавливается. Видимо, не может решить, кинуться ли ему обратно или в сторону.

На его счастье, неподалеку, где-то за соснами, раздается выстрел. Всадники, насторожившись, на миг поворачивают туда головы. Петериса они замечают только тогда, когда он, уже подавшись немного назад, за ольховым кустом опускается на землю. Сумасшедший, что он делает?..

Всадники тоже останавливаются, осаживают лошадей. Клява машинально сдерживает и свою.

Барон еще сильней выпучил и без того выпученные глаза. Вот-вот они выскочат из орбит. Он раскрывает рот. Сверкают большие передние зубы. Но он не успевает ничего сказать.

Из куста гремит выстрел. Резкий, заунывный звук так и впивается в мозг. Пуля свистит над головой. Петерис второпях взял чересчур высоко. Лошади пугаются, вздрагивают. Сумасшедший, что он делает!..

За первым выстрелом второй, третий, четвертый, пятый... Кляве кажется, что пули летят совсем рядом. Вдруг лошадь под одним из немцев всхрапывает, поднимается на дыбы и валится головой вперед. Солдат кувырком летит через ее шею и остается лежать ничком на песке. Лошадь храпит и брыкается, лягает его.

Всадники отвечают беспорядочными выстрелами. Непонятно, поворачивают ли они сами или же их уносят лошади. Немцы врассыпную скачут по дороге и полю, обратно к хибарке Клявы. Некоторые отстреливаются. Сидевший на телеге спрыгнул с нее и бежит за остальными. Клява, дернув вожжи, тоже поворачивает свою лошаденку.

Чуть погодя из ольхового куста снова раздаются выстрелы. Один за другим пять выстрелов. Пули опять жужжат возле Клявы. Но ему не страшно. Об этом он и не думает — на уме у него только одно: сумасшедший, что он делает? Застрелят, как пить дать! Один против десяти!..

Спина уже не болит. Он дергает лошадь и мчится галопом. Знает, что стреляют не в него.

Дроги с грохотом подпрыгивают. У Клявы пересохло во рту, словно от сильной струи горячего воздуха. Солдат, сидевший на телеге, лежит ничком поперек дороги — каска слетела, но зацепилась ремешком за подбородок. Из затылка черной струйкой бьет кровь, течет по уху и виску. Немец дрыгает ногами, как недавно та лошадь. Одну руку он подмял под себя, а другой как-то странно, словно играя, колотит по песку. Клява проехал по его ногам.

А выстрелы все трещат и трещат. Может, Кляве только так кажется? В ушах гудит. В висках громко стучит кровь.

Он отпускает вожжи и прямо вываливается из дрог. Как очумелый, машет жене, хочет крикнуть ей. Но губы словно слиплись, не могут произнести ни слова.

Жена стоит, где стояла. Только повернулась и смотрит на пригорок. Она как будто не слышит выстрелов, не видит, как немцы, осадив взбесившихся лошадей, поворачивают обратно. Она видит только ольховый куст, маячащий зеленым клубком на пригорке.

Всадники разбились на группки. Только двое скачут по дороге. Четверо — справа и трое — слева. Ясно:.. они обходят. Окружат. Схватят.

Клява непроизвольно вскидывает руки. Хочет что-то крикнуть сыну. Но снова опускает их, не издав ни звука.

Нет уже никакого смысла. Петерис поднялся из своего укрытия. Раньше, чем всадники снова показались на дороге. Он понял то, что понял бы каждый. Девять конных от одного пешего не побегут.

Клява смотрит. Не только глазами, всем существом. Он задыхается, сжимает руками частокол, чтоб не упасть.

Недогадливый, почему не бежит обратно за горку или в сосны! И Клява, словно на пригорке он сам, понимает почему. Сосны редки, и между ними можно свободно проехать верхом. А по другую сторону дороги ровный луг. За пригорком открытое поле: там от конных не уйти.

Но Петерис бежит к загону. Это близко. Не больше ста шагов. Там густой ивовый и ольховый кустарник. Вдоль него оставшиеся от войны траншеи. А в одном шаге от них, скрытые в кустах, два ряда проволочных заграждений. В первом проделан узкий проход, и совсем в другом месте—во втором. Только тот, кто знает, найдет их. Верхом не проехать.

Петерис бежит, пригнувшись, винтовку держит на весу. Бежит так, как не бежал еще никогда в жизни. А немцы, отгадав его намерение, мчатся во весь опор, пытаясь опередить беглеца.

Клява еще крепче сжимает частокол, чтоб удержаться на ногах. Ему чудится, что бежит он сам. Ноги отяжелели, словно налились свинцом. Он задыхается. Сейчас свалится... В глазах темнеет.

Всадники вскидывают карабины. И это спасает беглеца. Возбужденные, со скачущих лошадей они целятся неточно. К тому же лошади сбавляют ход, и беглец выгадывает несколько секунд. Этого достаточно.

На миг он пропал в траншее. Затем шапка его еще мелькнула за крайним, более низким кустом. И Петерис исчез.

Перед первыми кустами лошади поднимаются на дыбы. И в этот миг из кустов гремят еще два глухих выстрела. Он стреляет из револьвера... Не найдя прохода, всадники скачут дальше, в объезд. Один отстал. Он без шапки. Припал к шее лошади. Руками вцепился в гриву.

Проскакав немного, передние поворачивают и мчатся обратно. Возвращаются и остальные. Стреляют, не переставая, наугад по кустам.

Вспугнутая воронья стайка, кружась, взлетает все выше и выше, каркая в смертельном страхе...

Клява больше не смотрит. Руками ухватился за частокол, голова закинута, глаза прикрыты. И все же он видит. Более того, он живет там, за проволочным заграждением.

Это преследуют и ловят его самого. Он перебегает речку, переходит трясину. Там его могут преследовать только пешком. Кусты, осока — чужой заблудится и не выберется. А потом сразу большой лес. Орешник как стена. Сплошная заросль березок. Только тот, кто исходил здесь все, как они с Петерисом, знает все потаенные тропы и прогалины. В ушах стоит шелест ветвей. Ноги бесшумно скользят по мягким, загнившим листьям. Он не бежит по горке, а сворачивает к низине. Держится канавы; она лесом уходит к озеру, вокруг которого на двадцать верст простираются топкие, заросшие кустами луга. А за ним перекрещиваются три большака... Он уже бежит по большаку. Миновал Видземе... Бежит по просторам России. Мимо скользят чужие села и города с зелеными крышами домов... Он точно летит на крыльях... Ему легко и вольно...

Клява не замечает, что у него по лицу текут теплые слезы радости.

1919

1

На генеральную репетицию пьесы «Ветров противоборство» собрались все руководители театра и близстоящие к ним лица. Незанятые в премьере актеры и актрисы кучками сидели в зале и в партерных ложах. Даже капельдинеры и гардеробщики то и дело входили в зал и смотрели, стоя у дверей.

Рядом с режиссером, в первом кресле пятого ряда, сидел автор, Янис Зиле. В сером летнем пальто, в серой шляпе. Положив подбородок на металлическую ручку трости, он небрежно глядел на сцену и столь же небрежно слушал шепот режиссера, делающего свои замечания.

Режиссер не мог усидеть на месте. То и дело вскакивал, чтобы дать еще какие-то указания.

Наконец Зиле протянул руку и усадил его.

— Не надо. Теперь уже поздно. Общее звучание есть. А это главное. Ваши замечания теперь только испортят дело.

Режиссер был крайне недоволен.

— Получается совсем иное, чем на первых репетициях. Казалось, так серьезно и основательно проработано, что уже ничего не может измениться. А теперь полюбуйтесь, что получается. И ведь уже который раз такое. Просто не знаю, в чем дело. На генеральных получается совсем не то, что готовится заранее.

— Кажется, это можно объяснить,— сказал Зиле, глядя, как на сцене громко беседуют отец с матерью, все оживленнее жестикулируя.— До этого только репетиция, это каждый знает. И вдруг все осознают — а это уже игра всем ансамблем. Надо быть собранным и настроенным. Это уже новая и куда более трудная задача. Кроме того, столько зрителей. Даже сам автор...— Он усмехнулся.— Как будто он и на сцене умнее

всех. Я гляжу, даже самые старые актеры основательно нервничают.

Режиссер отмахнулся.

— К сцене никто привыкнуть не может. К солнцу и морозу привыкаешь. К пушкам и свисту пуль. Привыкнуть, в смысле притупить нервы. Актер же не имеет права на притупление нервов, это для него смерть. Его нервы должны быть чуткими, как воздушная арфа. Не только к тому, что заключено в роли, но и к тому, что происходит в зале... Больше вперед! Попрошу больше вперед! — неожиданно прервал он себя и двигавшихся на сцене актеров.

В голосе его явно слышалось недовольство игрой. И поэтому какое-то время в ходе репетиции ощущалось замешательство.

Зиле снова успокоил его:

— Да уймитесь вы. Если уж так нужно, скажете после окончания. А пока посмотрим все в целом.

— Вы не представляете, как мало можно полагаться на все репетиции и постановочную работу. Какая-нибудь мелочь срывает весь твой замысел. Зайдет кто-нибудь с другой стороны стола — и сразу меняется вся мизансцена. Переместится логический акцент в реплике — и тут же меняется вся картина и вся игра. Каждая постановка полна неожиданностей. Никто не может этого предвидеть и учесть. Ни режиссер, ни сам актер. Все зависит от момента.

— Ну, ну,— попытался шутливо урезонить его Зиле.— Вы, как погляжу, сразу и пессимист и фаталист? Тогда от всех этих репетиций и прогонов нет никакого толка. Это же не так — пусть даже вы во многом и правы. Теперь много говорят о единой тональности спектакля, где ни одна роль не возвышается над другими, а все сливаются в нечто, образующее единое гармоничное звучание. Но я заметил, что и при общей тональности у одной-другой роли главная задача. И как драматург, я считаю так же. В драме тоже есть свои идейные и психологические лейтмотивы, как в музыке. Этот лейтмотив придает постановке тот или иной характер и окраску. И ощущается он, конечно, только исполнителями главной роли.

— Это верно,— согласился режиссер,— но и неверно. Ваши лейтмотивы могут быть выражены сотней разных способов — и идейно, чаще психологически, а уж пуще всего технически. И тут какая-нибудь второстепенная роль играет решающее значение...

Первое действие кончилось. Опустился занавес. Где-то по бокам залы зажглось несколько тусклых лампочек. Группы зрителей стали видны лучше. Режиссер прошел за кулисы.

К Зиле подошли несколько пожилых актеров, которые, по обыкновению, больше обращали внимания на содержание пьесы и авторскую работу, чем на игру. Все недостатки и просчеты они, как всегда, относили на счет автора. Зиле было приятно поболтать с ними. За их словами обычно стоял здоровый инстинкт самозащиты и профессиональная солидарность.

После нескольких общих, незначительных фраз один из них сказал:

— А вы не считаете, что в этой пьесе повторяется ваш обычный прием. Вы наращиваете действие до второго или третьего акта, а в последнем оно ослабевает, а значит, ослабевает действие и общее воздействие.

— Вы хотите сказать, что это драматургический просчет?

— Со сценической точки зрения — несомненно. К тому же это так легко исправить. Вы же так хорошо знаете технику подмостков.

— К сожалению, о вас и современной драматургической технике не могу сказать того же. Вы все еще понимаете действие только чисто внешне — громкий разговор, жесты и движения. Но глубочайшая душевная трагедия не всегда выражается криком. То, что вы считаете просчетом, для меня намеренный и сознательный момент. Предшествующее напряженное звучание нужно мне только для того, чтобы привлечь внимание к назревающему и подготавливающемуся. Это увертюра — сама трагедия начинается позже. И именно внешняя приглушенность, после бурного начала, подчеркивает ощущение глубины и весомости происходящего. Я не знаю — может быть, я ошибаюсь, заблуждаюсь. Но таково мое намерение. Поиск, который для меня еще неясен.

— Все поиски рискованны и всегда кончаются фиаско. У сцены свои законы, и они не позволяют себя игнорировать. Без отчетливо слышимого всеми слова и подкрепляющего его выразительного жеста никто не поймет внутренний трагизм. Внутреннее всегда должно проецироваться через наружное. Разумеется, это творческая задача актера. Но драматург должен дать ему необходимый материал, за что зацепиться и что сыграть. Иначе публика смотрит и не понимает.

— Слушает и зевает...

— Это потому, что драматург исходит из своего мира, а актер из своего. И между поэтом-творцом и артистом-воплоти-

телем нет идейного и психологического контакта... Мне кажется, что Зийна Квелде все же понимает, что именно я задумал. От ее роли зависит судьба всей пьесы.

То ли актеры имели что-то против исполнительницы главной роли, то ли, по обыкновению, не могли себе представить, что автор может что-то понимать в актерских индивидуальностях и распределении ролей. Зиле никогда не мог уяснить, где в этом мире кончается объективная оценка и где начинается простая, субъективная тенденция.

— Зийна — да... Но все же эту роль надо было дать Милде Звайгзне. Тут нужен сильный темперамент. Зийна слишком лирична. Роли героинь с сентиментальным звучанием больше подходят к ее амплуа.

— У Звайгзне и внешность более подходящая.

— Это вовсе не роль героини. Если вы ознакомитесь с пьесой целиком, то увидите, что там действуют самые ординарные люди. Это обычная трагедия, которая только благодаря отдельным эпизодам и отдельным людям выявляет свою трагическую окраску. Для этой роли не требуется ни героической фигуры, ни прочих внешних данных, присущих сценическому герою. Только умная женщина с глубокой душой.

— И достаточно привлекательная... Этому драматурги всегда придают большое значение.

Оба актера переглянулись и улыбнулись.

Занавес снова поднялся. Репетиция продолжалась.

Из-за кулис время от времени доносился нервный голос режиссера. Начало нового действия шло определенно слабее предыдущего, видимо из-за поспешно сделанных режиссером указаний. То и дело сам он, жестикулируя и поправляя актеров, показывался в просвете между декорациями или за окном в холщовой стене.

Зиле не обращал на это никакого внимания. С жадным любопытством ждал он выхода Зийны Квелде. Разумеется, она интересовала его из-за самой пьесы. Он знал, что на этой роли, как на центральном стержне, держится все действие. От нее зависит судьба произведения, его идеи и всего нового поиска.

Зиле сидел, выпрямившись, крепко обхватив обеими руками ручку трости.

Она вышла на сцену медленно, медленнее, чем он себе это представлял. Но и так хорошо. Ему казалось, что ритм пьесы определенен, более ускоренный, чтобы говорить так медленно такие недлинные и вроде бы совсем незначительные фразы.

То ли он сам неверно понимал смысл своей пьесы, то ли действительно центр тяжести находился в одной роли, но теперь он все внимание обращал только на Зийну Квелде. Самый мельчайший ее жест не проходил незамеченным. Он слушал свои собственные слова из ее уст, и потому, что они были произнесены именно ею, слова эти приобретали необычную эмоциональность и насыщенность.

Одета она была в простое коричневое гладкое платье. Оно шло к ее невысокой, стройной фигуре. Волосы накладные, темные, просто причесанные. Это его неприятно поразило. Он представлял ее с пышными светлыми волосами. И брови в тон волосам — темные и густые. Лицо не слишком, но все же заметно накрашено. Хорошо видны ее сдержанные черты. Вся фигура кажется несколько чужой, но все-таки к ней можно привыкнуть.

Несмотря на весь сценический опыт, видно, что и она немного волнуется. Красивые руки то и дело приглаживали платье, покамест не нашли для себя нужного места.

Во время первой паузы, когда ей надо было задумчиво стоять, обратясь лицом к залу, она поискала кого-то глазами. Знает, что он тут, и смотрит. А найдя, еле-еле заметно наклонила голову. Наверняка, кроме него, никто этого не заметил. А ему было приятно, что она вспомнила. Он почувствовал глубокую симпатию к этой женщине, в чьей власти теперь была судьба его произведения. Он ответно поклонился, не подумав, что это может помешать ей.

Действительно, в ее роли не было ничего кричащего и броского. Только сейчас Зиле понял, насколько рискован его поиск в этом мире, где модны легкие народные пьесы и театральщина с ее фарсовой эффектностью. Но с первого шага и с первой фразы он решил, что на эту исполнительницу можно положиться.

Именно отсутствие внешнего эффекта лучше всего говорило о том, что она глубоко проникла в суть роли. Ей не нужно было прибегать к драпировке, она могла заинтересовать легко и свободно своей естественностью...

Особенно пленяла ее речь — с первой фразы. Зиле и раньше с особым удовольствием слушал голос Зийны Квелде. Теперь же отдавался ему, как убаюкивающей музыке. В нем не было искусственных театральных интонаций. Он звучал отягощенный мыслью и тем не менее легко и звучно, передавая глубину чувства. Ведь это же были его собственные слова, но в ее устах они приобретали новую окраску и теплоту. Самое мель-

чайшее движение представлял он себе, создавая эту пьесу. Но что касается языка, то тут он требовал лишь передачи идейного содержания. И лишь теперь понял, насколько это недостаточно. Только слова, исходящие из души, становятся живыми, только от них трепещут нервы слушателей. Ему принадлежала одна пустая форма — она же наполнила ее своим жизненным содержанием...

Когда Зийна Квелде на время ушла со сцены, Зиле глубоко перевел дух. Что теперь там делалось и говорилось, его не интересовало. Это только вспомогательные картины, предварение дальнейшего. Теперь яснее, чем когда писал, он видел, что весь груз содержания лежит на этой роли.

В антрактах он разговаривал со знакомыми. Слушал похвалы и критические замечания. Шутил и кое с кем пререкался. А мыслями был не здесь.

После окончания репетиции он прошел за кулисы. Зачем? Ведь хорошо знал, что раньше у него этого намерения не было. Дома ждала работа. Но об этом он подумал только тогда, когда очутился в комнате за сценой и когда режиссер, несколько озабоченный, направился ему навстречу.

— Вы не судите по генеральной репетиции,— как будто принялся оправдываться он.— Премьера будет лучше.

И он вновь принялся рассказывать о постоянной спешке, недостаточном числе репетиций и прочих бессчетных препятствиях, которые обступают подмостки вражескими легионами. Наверное, нигде в мире не приходилось слышать столько жалоб, как в этой комнате за кулисами.

Но Зиле был доволен и постарался так же настроить и режиссера.

Молодая, живая девчонка за роялем барабанила вальс из популярной оперетки. Два хориста, спеша к выходу, громко подпели ей и хлопнули дверью.

Зийна Квелде в пальто и модной весенней шляпке вышла из грим-уборной и кивнула Зиле.

Он подошел к ней и тепло пожал руку. Рука была прохладная, а пожатье, как ему показалось, чуточку сдержанным.

— Благодарю,— сказал он. И сам при этом подумал: за что?

Но она угадала. Отрицательно покачала головой и выдернула руку.

— Не за что. Я сегодня не в форме. Вот увидите, на премьере будет лучше.— Она выглядела чуточку взбудораженной, нервной.— Вы домой? Тогда можем пойти вместе.

Они вышли на улицу.

— Я не хочу вас хвалить,— сказал Зиле, не глядя на нее и осторожно держась рядом с нею,— но я знаю, что эта роль и вся пьеса в надежных руках.

Его слова доставили ей удовольствие.

— Я стараюсь, как могу. Но, может быть, эта роль больше подходит Милде Звайгзне? У нее больше темперамента.

Зиле уловил ревнивую нотку — от соперничества не свободны даже самые большие художники сцены. Ему было приятно опровергнуть ее. В эту минуту он мог быть даже чуточку несправедливым.

— Вы хорошо знаете, что героини старого типа не для моей пьесы. Героев и героинь я терпеть не могу. Кроме того, в жизни, а значит, и на сцене, век героев миновал. Кажется, вы первая это уловили.

— Неужели же во мне и впрямь нет ни капельки героического? Но я же сыграла Марию Стюарт, Фьордиссу, Гуну и Спидолу. И, мне кажется, сыграла довольно неплохо.

Она произнесла это с подвохом и хитро посмотрела на него.

Зиле охватило какое-то нервное возбуждение.

— Я не очень хорошо сознаю, кого, собственно, вы называете героем. До сих пор я видел лишь сценических героинь. И все они казались мне глубоко комичными. Все это рудиментарный продукт мужской фантазии, литературной традиции того периода, который знаменовался приверженностью к древнему эпосу, классическим карикатурам и эмансипацией. Противоестественная смесь искусственной психики с ярко размалеванным внешним образом. Раскрашенные деревянные статуи я терпеть не могу. Вам, женщинам, надо наконец освободиться от шаблонов, выработанных мужским воображением. Ведь вы же имеете право быть действительно самой собой. Как в жизни, так и в искусстве. И в искусстве прежде всего! Потому что часто именно искусство открывает дверь к истинной сути жизни.

Какое-то время Зийна шла молча. Зиле сообразил: его рассуждения слишком клочковаты и неясны. Обычная его беда. Только с пером в руке может он связно думать и убедительно выражать свои мысли.

А она уже довольно давно искоса наблюдала за ним.

— Вы умеете так... интересно говорить. Почему вы не хотели прийти на первые репетиции? Объяснили бы, как именно вы представляете каждый характер и положение.

Зиле наморщил лоб.

— Разве я недостаточно ясно выразил это в своей рукописи? Вы думаете, что я смогу языком дополнить и исправить то, что напортил пером? Тогда вам непонятен труд писателя и его особенность.

— Это не так,— стояла она на своем.— Предисловий не надо. Они излишни, и исполнять их роль нет возможности. Вам в вашем произведении все кажется ясно и понятно. Но другой не всегда может уловить мысль и установить эмоциональный контакт с автором. В результате чисто индивидуальных особенностей характера что-то может остаться непонятным или неверно истолкованным.

— Мне кажется, что если актер, углубляясь в роль и живя в ней, инстинктивно не уловил чего-то, то этого ни внушить и ни передать никакими разъяснениями и толкованиями. Нам же нужно не машинальное копирование, а исполненная жизни игра, в которой проявляется дух и душа самого артиста.

— Я не знаю... мне кажется, что я свою роль почти прочувствовала. Во всяком случае меня она пленила, как мало какая...

— Да. Это я понял по первой фразе, которую вы произнесли.

Она была явно тронута этим признанием.

— И все же вы не судите по этой репетиции. Я была неуверенна и смущалась, как школьница.

— Этого нельзя было заметить.

— Мы умеем сдерживаться и маскироваться. Но это сказывается на игре, портит ее. И так всегда, когда на репетиции автор.

Зиле доброжелательно усмехнулся.

— Вы же видите, во мне нет ничего страшного. Я ничуть не умнее тех, кто смотрел.

— Но ближе всех. Вы видите свои характеры и образы такими, как они стояли у вас перед глазами. И вот выходит актер и изображает что-то совсем другое. У меня такое чувство, что я разбиваю прекрасную статую или вазу.

— В одном отношении вы правы. Я часто вижу на сцене не то, что мне самому представлялось. Но не каждый раз с разочарованием. Конечно, приятно, когда изображение совпадает с твоим видением и замыслом. Но и иное, если только оно художественное и совершенное, тоже привлекательно. Неожиданно новое и захватывающее.

— А что вы думаете... обо мне.

С минуту Зиле колебался.

— Мне бы не хотелось, чтобы вы думали, будто я льщу... Вы ухватили главное — до последней мелочи. Я был просто потрясен. И ваше исполнение полно живой теплоты. Моя роль, а, значит, с нею и вся пьеса в надежных руках.

— Я хочу верить, что вы не льстите. Мне и самой кажется, что эта роль мне близка. Я разучила ее так легко, как редко бывает. Очевидно, в этой женщине есть что-то от меня. Порою я полностью сживаюсь с ней, забывая, что всего лишь играю и изображаю. Я переживаю все это. Не думаю, что Милда Звайгзне играла бы лучше.

Зиле махнул рукой.

— Я с самого начала категорически потребовал, чтобы роль дали вам. Знаете, что мне больше всего нравится в вашей игре? Ваш голос. У вас удивительно женственный, мелодичный голос.

— Я довольно основательно его ставила. Вы, верно, знаете, что я немного и пою? Сейчас меня зовут в Петербург, там есть небольшая опера...

— Нет, самое лучшее в вашем голосе не школа, а естественная, неподдельная чистота и задушевность. Задушевность, вот что главное. В вашем произношении любое мертвое слово становится теплой волной. Мне кажется, слушая вашу речь, даже самый далекий и чужой человек не может остаться безразличным.

Щеки ее слегка зарумянились.

— Не отрицаю, эта роль мне близка и дорога. Я живу в ней. Поэтому все, о чем вы говорили... Я и сама чувствую, что мой голос звучит как-то не совсем обычно. Но это потому, что в пьесе такой наполненный мыслью и мелодичный язык. И конструкции такие легкие и притягательные. Не приходится мучиться с длинными, запутанными периодами, которые машинально откладываются в памяти и делают язык декламационно-неестественным и фальшивым. Ваш язык полон живой образности, удивительно богат звуковыми оттенками. Вы динамически сочетаете элементы музыки и цвета. Это в пьесе новое, и я предвижу ее большое сценическое будущее. Это средство сценического выражения будущего театра. Это расширяет творческие возможности артиста и позволяет ему передать частицу своей собственной души...

Неожиданно она засмеялась.

— Мы тут восхваляем друг друга, как два декадента. Взаимное умиление слишком сентиментальное и не очень эстетическое занятие. Поговорим лучше о чем-нибудь другом.

Зиле покачал головой.

— Я большой себялюбец. Мне больше нравится говорить о собственных произведениях. Я действительно счастлив, что у моей роли такая исполнительница... Да, вот что! Зачем вы так накрасились и зачем эти накладные волосы? На что вам это понадобилось?

Зийна Квелде запрокинула голову и с каким-то озорством посмотрела на него. Но слова ее звучали серьезно.

— Совсем без грима нельзя. При искусственном освещении естественный цвет тела кажется неестественным. В сценическом перевоплощении все искусственно.

— Но эти волосы не нужны. Почему вы думаете, что внешность вашей героини именно такова? Вы же не Милда Звайгзне.

— Потому что...— Она на миг засмеялась.— Мне казалось, что вам она так виделась. Мученицы и героини уже давно подаются брюнетками. Очевидно, так эффектнее.

— Это суррогат, выработанный рутиной,— раздраженно ответил он.— Я не думаю, что и вы должны с ним считаться. Страдание и пафос никак не связаны со светлыми или темными волосами. Ни в жизни, ни — мне кажется — на сцене. У вас такие красивые... Я хотел сказать, такие характерные волосы. Вам нет никакой надобности заменять их. Это отнимает у вас то привлекательное и неповторимое, что есть в вашей личности.

Она не смогла скрыть удовлетворения при виде такого интереса к своей особе. По обыкновению, кокетливо встряхнула головой и пристально посмотрела на него.

— Можно подумать, что вы уже говорите обо мне не как об актрисе, а как... безотносительно сцены.

— И о той и о другой. Вы принадлежите к тому редкому числу актеров, у которых артистизм сочетается с человеческими качествами. Истинной красоте всегда присуще и то и другое.

Она поняла, что разговор приблизился к грани рискованного и стала сдержанной.

Но они уже подошли к дому.

Она поставила ногу на первую ступеньку и протянула руку. Хотела было поспешно и официально проститься, но, взглянув ему в лицо, не смогла. Он смотрел с такой неподдельной симпатией и такой наивной доверчивостью, что с точно таким же доверием она инстинктивно потянулась к нему.

— Может быть, навестите меня как-нибудь,— сказала она и сама удивилась своему приглашению. Еще миг назад ей и в

«Ветров противоборство»

голову ничего подобного не приходило. И чтобы придать приглашению официальный оттенок, сухо добавила: — С вами интересно поговорить об искусстве.

Зиле поклонился.

Пожатие ее руки было неосознанно крепким. Повернулся он только тогда, когда край ее платья исчез в прикрываемой двери.

2

На другой день после представления у Зийны Квелде всегда болела голова. Чем хуже игралось и чем слабее был спектакль, тем хуже она себя чувствовала.

Сегодня усталость была чуть заметна. Больше по привычке, она прикорнула на диване. Как в школьные годы — забившись в угол, подобрав ноги. В руках стихи Уитмэна. В такие дни она избегала читать что-нибудь связанное со сценой и театром. Ей необходимо было отдохнуть, рассеяться или просто побездельничать.

Она приучила себя не вспоминать о том, что было вчера. Вот и сейчас не думала об этом. Но общее самочувствие было приятное. Этого было достаточно. Она знала, что играла довольно прилично. И если преступить обычное строгое правило, то даже могла представить фразы, которые рецензенты в сегодняшней газете написали о ее игре.

Она улыбнулась. Человек, он чудаковатое существо. А актер чудаковатый человек. Так сказать, чудак в квадрате... Ему нравятся даже глупые аплодисменты и пустые похвалы. Вот же извращенная натура. Но никто ничего не может поделать со своей натурой.

За дверью в коридоре послышался какой-то шум. Но Зийна Квелде не придала этому никакого значения. У себя дома она была баловнем и, как каждый баловень, немного деспотом. Слышала она только то, что ей хотелось слышать, а все остальное просто игнорировала.

Но тут мать приоткрыла дверь. А в щели приоткрытой двери она увидела Яниса Зиле.

В первый момент это совсем не показалось ей приятным.

Тут же представились длинные разговоры о вчерашнем представлении и обо всем, что с этим связано. А это могло только испортить спокойное и благодушное настроение.

Но вид Зиле тут же рассеял неприятное чувство.

Одет он был очень тщательно. Слегка растерян и смущен,

точно те школяры, которые время от времени являются со своими цветами. И ради него не надо было вставать. Она осталась на своем месте — только вытянула ноги и оправила платье.

Драматург держался даже как-то робко.

— Прошу прощения. Я воспользовался приглашением. Но, кажется, не вовремя. Вы больны.

Почему-то и такая роль ей оказалась по вкусу. Что ж, если ему так угодно...

— Я пользуюсь привилегией полдня поболеть после представления. Но вы не беспокойтесь. Ничего серьезного. Типично актерская болезнь. Чтобы дать нервам отдых и просто побездельничать.

— Но этому отдыху я и помешал.

— Ничему вы не помешали. Мне даже кажется, что я ждала вас. Предчувствовала, что придете.

— Да. Я хотел поблагодарить вас.

— Ах, оставим эти обывательские благодарности и похвалы ради приличия. Нам это обоим ни к чему. Еще вопрос, кого больше нужно благодарить. Вашей заслуги тут больше. Вы же творец и вдохновитель, а я всего лишь исполнительница. Ну, ну, ну — бросьте! Я знаю, что говорю. Каждый из нас делал свое. Каждый свою задачу выполнил, и успехами можем быть довольны. В особенности вы... Но что вы стоите? Вам же некуда спешить.

Зиле взял стул и присел к ее ногам. Еще внимательнее вгляделся в ее лицо.

— Говорите, что хотите. Не верю. Вы больны. Такой бледной я вас еще никогда не видел.

— Ах, о такой болезни и говорить не стоит. Это часть актерского здоровья, и потому приятна. Чем больше роль захватывает и чем лучше ее играешь, тем больше она отнимает у тебя чувств и энергии. Небольшая слабость и усталость после этого естественны.

— Со вчерашнего дня я думаю о вас. Как вы это можете выдержать? Как у вас хватает нервов и энергии? Ведь вы же, по сути дела, горите огнем. И так когда-нибудь сгорите.

— Когда-нибудь все сгорим — и вы, и я. Но мы до тех пор и существуем, пока горим. Огонь — это наша жизнь.

— Со вчерашнего дня во мне, кажется, проснулось правильное понимание сценического искусства. То, что мы можем вам предложить в роли, ерунда. Огнем оно жжет только благодаря вам. Вы наполняете безжизненный материал своим духом и душой. И когда вы увлекаете и вдохновляете, тогда это вы-

глядит так, словно написано поэтом. У вас самое неблагодарное ремесло на свете. Самопожертвование — вот ваша героическая роль. Это величайшее геройство, то, что вы изображаете. Но вы думаете, что это понимают? Именно это понимают? И как у вас еще хватает сил и энергии...

Зийна Квелде заложила руку за голову и какое-то время задумчиво смотрела в стену.

— Что-то в ваших мыслях справедливо. Когда я играю, увлекаясь и вдохновляясь, мне всегда кажется, что я возвышаюсь над своей ролью. Нет, это не совсем то... Роль я воспринимаю как раму, как контур, который я сама должна заполнить своим содержанием. Я произношу ваши слова, а в это время в моей душе половодье — так и уносит. Думаю вашей мыслью, а она разрастается от всего, что во мне годами накапливалось и разрасталось. От всего, что во мне, вокруг меня и позади меня. И от того, что я порою смутно ощущаю, вдали. Тогда мне кажется, что я всему могу придать ощутимость и зримость... Я знаю, что это нереально. Пожалуй, даже неверно... На это мне часто указывали. Но иначе я не могу.

Зиле в восторге не отрывал от нее глаз.

— И не слушайте их. Это единственно настоящее и ценное. Не смущайтесь, если говорят, что вас не понимают. Вы такая актриса, что имеете право требовать, чтобы они пытались понять то, чего еще понять не могут. Не могут сегодня, смогут завтра.

Длинными, нервными пальцами она машинально перелистывала книжечку.

— Я люблю полный зал — что тут скрывать. Все мы одинаковы. Это наша неисправимая слабость. Но вам я могу признаться в том, чего еще никому не говорила. Я играю не для этого зала. Когда я выхожу на сцену, я стараюсь кого-нибудь найти... Иногда это девушка, которую еле различишь в сумраке зала. Иногда неведомый застенчивый юнец, взгляд которого я неотрывно чувствую на себе... Порою это сломленная жизнью женщина,— мне кажется, я даже расслышала ее приглушенный вздох... И все время у меня такое ощущение, что я играю только для нее. Я стараюсь, чтобы она поняла то, что я сама переживаю и вижу.

Зиле восторженно смотрел на нее.

— А для кого вы играли вчера?

Она на минуту задумалась.

— Сегодня я старалась это вспомнить. Мне кажется, для вас...— Но, заметив, что его глаза загорелись и щеки заалели,

холодно выпрямилась.— Это же естественно. Вы лучше всех поняли меня... Вообще я должна сказать: не надо актрису представлять в жизни такой, какой ее видишь на сцене. То, что привлекательно в искусстве, далеко не всегда такое же в жизни. Чаще всего совсем наоборот.

— Это уж скорее относится ко мне...

— К вам? Не знаю.

Подперев подбородок ладонью, она стала разглядывать его. Впервые так близко и так интимно.

Несмотря на чуточку смешную тщательность в одежде и черный, претенциозно завязанный галстук, Зиле не казался непривлекательным. Гладкое, слегка усталое лицо без деланной задумчивости, но и без излишней застенчивости, которая в ее глазах делала забавными всех поэтов. Ничего эксцентричного и ничего слишком уж мужественного.

— Мы, актеры, не выносим актеров вне своей профессии. В вас от этого актерства ничего нет. Мне кажется, вас можно уважать и как человека. Разумеется, раньше я вас представляла иным. У нас, женщин, свой шаблон.

— Свой идеал, вы хотите сказать.

Она невольно усмехнулась от необычного тона его голоса.

— Да не становитесь вы снова сентиментальным! В поэзии это вам необходимо! Но горе тем, кто пытается сделать лирическим стихотворением жизнь! Они становятся слащавы и невыносимы. И с этим приходится сталкиваться так часто, что даже уже не смешно. Мне совсем невесело, когда здесь появляется со своим букетом какой-нибудь реалист или юнец с землемерных курсов.

— Похоже, что они вас часто навещают.

— Случается...— И все же она не смогла удержаться и громко расхохоталась.— Особенно после того, как мне приходится сыграть роль какой-нибудь молоденькой девчушки, ужасно влюбленной и ужасно чувствительной. Из приличного общества и в шелковом платье — это уж непременно. Вы и представить не можете, как влияет на сердца мальчишек гардероб и красная роза в волосах. Красная роза — это обязательно... И когда он здесь стоит, и переминается, и смотрит на меня, как китаец на своего божка... И никак не может понять, то ли декламировать то, что зазубрил, то ли перейти на человеческий язык. И одной рукой все шарит в кармане. Там у него наверняка заклеенный конверт. Мне каждый раз хочется сказать: «Да вытаскивайте вы его!» Или вытащить самой, распечатать и поглядеть, что там — любовное письмо или четвертная.

Зиле тоже рассмеялся.

— И как вы себя в таких случаях ведете?

— Не знаю, веду ли я себя вообще как-нибудь. Я только смотрю широко раскрытыми глазами и жду, что будет. А мой кавалер окончательно теряется и норовит по возможности быстрее избавиться от своего букета и убраться за дверь. Правда, иной смотрит на меня такими же широко раскрытыми глазами, как я на него. И я ясно вижу, что он во мне ужасно разочарован. Потому что без грима и без распущенных кос я совсем не такая молодая и красивая, как на сцене. И когда я это вижу, я уже не могу сдержаться. Я нарочно еще больше морщу лоб, втягиваю голову в плечи, а как-то даже ковыряла пальцем в носу... Вы бы только посмотрели!

Она вновь расхохоталась, громко, звонко, беззаботно, как озорная девчонка.

— Иной раз за это приходится расплачиваться. На следующем представлении, когда аплодисменты чуть стихнут, слышу на галерке ужасное шиканье, а то и свист. И я убеждена, что это мой последний кавалер со своим товарищем по парте.

Обоим было страшно весело, точно их интересовали эти смешные вещи.

Но вдруг Зийна посерьезнела. Зиле увидел вертикальную морщинку между ее бровями.

— Надоели мне эти шмыгающие носами молокососы. Последнее время даже шутить не хочется. Велю матери гнать их в шею вместе с букетами. Пусть лучше свистят со своей галерки.

И оба помолчали.

— Ну, разве они одни... Могу себе представить, что у вас и взрослых поклонников много.

— Поклонников...— бросила неприязненный взгляд Зийна.— Вот и у вас нет другого слова, кроме этого пошлого, дурацкого словца. Поклонники... Я знаю, чего они своим поклонением добиваются. Ах, как я их знаю, эти восторженные лица и умильные взгляды. Иной раз я играю, окруженная этим их восхищением. И тогда я теряю равновесие, мне хочется убежать и спрятаться за кулисы. С трудом сдерживаюсь и продолжаю. Тошнота к горлу подступает, становлюсь нервной и не владею ни движениями, ни языком. Такое ощущение, будто на меня смотрят, как на проститутку...

Зиле несколько смущенно пытался сформулировать свои мысли.

— Это потому, что вы и как человек... скажем открыто, как женщина очень привлекательны. Я понимаю, вас, как актрису, оскорбляют эти животные инстинкты, которые просыпаются в мужчинах от вашей человеческой притягательности. Но мне кажется, это естественно. Наши духовные симпатии и инстинкты не всегда можно отделить от чисто физических.

— Какое мне дело до вашего психологизирования! Мне претит роль объекта для разглядывания и ухаживания. Мне претит быть объектом удовлетворения инстинктов. Я все время чувствую себя в опасности. Мне все время кажется, что люди хотят схватить меня, чтобы уничтожить во мне это единственно ценное, эту крупицу артистического таланта... Скажите, разве это не унизительно? Обидно до глубины души...

— Вы хотите, чтобы вашу артистическую личность абстрагировали... чтобы ее отделяли от человеческой. Чтобы содержание отрывали от формы. Но мы же не метафизики. И вы не из аскетов. Или как раз аскетическая натура? Это было бы прискорбно!

— Мы...— Она кокетливо прищурилась.— А вы и себя относите к... ним?

Ему неожиданно захотелось ответить шуткой.

— К вашим поклонникам? К этой пошлой шатии?.. К сожалению. Поступайте, как знаете. Только не собирайте лоб в гармошку — хотя это вовсе не так уж безобразно, как вам кажется.

Оба по своему характеру не могли долго быть серьезными. Им нужны были частые перемены в настроениях. Оба выдерживали разговор в легких тонах и испытывали от него удовольствие. Примерно так, как старые знакомые, снова встретившиеся после долгой разлуки. То легкое недоверие, которое с самого начала чувствовалось в ее голосе и взгляде, исчезло. А его оставило смущение и неловкость от непривычного нового костюма.

— Скажите, откуда вы так хорошо знаете женскую душу? — совершенно неожиданно переменила тему разговора Зийна Квелде.

Зиле пожал плечами.

— Не скажу, чтобы я ее знал. А вам кажется, что знаю?

— Мне не кажется. Я вижу. В этом-то я компетентна. И это вам скажет каждая, посмотревшая вашу пьесу.

— Я не знаю, что говорят женщины. Мужчины, те судят по-разному.

— Мужчины... Они же всезнайки. Судачить они умеют, а не судить. Притворяться и воображать, а не знать.

— Не забывайте, что я всего лишь один из них. Ведь и я могу притворяться и воображать.

— Потому-то я и спрашиваю: почему вы можете это так хорошо знать?

— Если вы не льстите — то только потому, что я могу глубже вникать и вернее изображать.

— Иногда кажется, что вы читаете женскую душу, как открытую книгу. Как это вам удается? У вас, должно быть, были связи с различными женщинами. Не возражайте, я при этом не имею в виду ничего грязного. Но широкий опыт и свои личные разносторонние наблюдения, кажется, необходимы для этого.

— Широта и разносторонность нужны статистику, а не психологу. Поле личных переживаний и наблюдений у писателя сильно ограничено. Никакое численное накопление их не выведет его за пределы собственного субъективного мира. Он навечно ограничен узким кругом своего воображения.

— Вы говорите как субъективист и идеалист. Где же ваш престиж социального писателя?

— Об этом мы могли бы говорить много...

— Лучше не будем! Не сегодня. Я вижу, что разговор с вами начинает меня будоражить — почти, как вчерашняя игра. А я хочу отдохнуть...

Она простодушно коснулась лежащей на колене руки Зиле. И он тут же уступил. Разговор и помимо его желания сползал к очень серьезным вопросам. Но ведь не ради диспута он сюда пришел, а просто поболтать.

— Через неделю кончается сезон. Что вы думаете делать летом?

— Ничего я не думаю делать. И вообще не думала об этом. И никогда не думаю. Полагаюсь на случай и всегда получается лучше всего. Если удается, уезжаю — все равно куда. А нет — живу в городе. И тоже хорошо. О своих вакациях никогда не жалею. Живу как бог на душу положит. Много читаю, но без особого отбора. Я удивительно неметодична и неуравновешенна. Так меня и тянет пожить свободной, рассеянной бродячей жизнью. Когда не надо в определенное время вставать и в определенный час являться на репетицию.

— Скажите, как это получается: о вашей личной жизни ничего не слышно. О многих ваших коллегах рассказывают даже анекдоты. А о вас почти что и не говорят.

Взгляд ее резко блеснул.

— Вы собираете анекдоты из актерской жизни? Изучаете мою личную жизнь? А какой вам интерес? И достойно ли это вас?

Как недавно она, теперь он успокаивающе положил свою руку на ее.

— Не будьте вы такой мнительной, Зийна Квелде. Ничего я не собираю. Но и не считаю, что мой интерес к человеку может быть для него оскорбительным.

— Я и не считаю! Совсем наоборот. Мне просто приятно, что обо мне думают. Ведь мы же все честолюбивы. Но и не настолько испорчены, как о нас полагают. По буржуазным шаблонам мы не живем и не можем жить. Наша работа требует иной жизни и иного склада... Но что мы так много говорим обо мне. Расскажите лучше, над чем вы теперь работаете. Мы все интересуемся, что будет нового в следующем сезоне.

Так они разговаривали, спокойно и приязненно, как старые-старые знакомые.

3

Зиле проводил Зийну Квелде на новую постановку какой-то старой пьесы. Это была последняя репетиция в сезоне.

Он сидел за кулисами и смотрел на сцену.

Зал был почти пуст. Только какой-то капельдинер или гардеробщик время от времени просовывал голову в дверь.

К Зиле подошли один из актеров, игравший обычно героев, стройный, сухощавый брюнет, и первый любовник, юркий и улыбчивый.

— Вы часто нас навещаете,— сказал герой.— Не думаете ли в следующем сезоне стать нашим заведующим репертуаром?

— Почему вы так... Нет, не думаю.

— А хорошо было бы,— улыбнулся любовник.— Мы бы могли работать совсем иначе, будь у нас литературно более образованный репертуарный руководитель.

— Который к тому же и сам драматург,— добавил герой.

— Я думал об этом. Мне кажется, что вы заблуждаетесь. Хороший драматург еще не хороший заведующий репертуарной частью. Сценическая техника мне еще во многом незнакома. Потому-то я сейчас и стараюсь с нею как-то ознакомиться.

— И это необходимо. Вся беда в том, что наши драматурги не знают сцены и не считаются с тем, что возможно и что нет.

Что в литературном воображении, за письменным столом, кажется впечатляющим, на сцене порой никак не звучит.

— Они иногда такое сочиняют, что на сцене и не поставишь.

— Ну, по-моему, нет такого, чего нельзя было поставить. Если бы драматург все время ограничивал свое воображение возможностями сегодняшней сцены, то был бы невозможен прогресс искусства. А ведь сцена должна все время развиваться, должна стараться усвоить и передать все, что дает драматургическое воображение.

— Только не надо этому воображению уноситься за облака. А вообще о сцене нам спорить нечего, тут вы в чем-то правы. Но с постановочными и актерскими возможностями поэты должны побольше считаться. Они часто пишут такие роли, где сам гений спасует. Есть роли, за которые, мы так сказать, деремся. А есть такие, которые никто не хочет брать.

— В этом отношении, наверное, Блауман надолго останется непревзойденным мастером.

— Если я вас правильно понял, драматург должен писать роли для уже знакомых ему определенных актеров. Так именно делал Блауман. Могу представить, что актеру это очень удобно. Надо только тряхнуть нажитым опытом или уж, на крайний случай, позаботиться о новых, не очень затасканных эффектах. А вот идет ли это на пользу всему драматургическому искусству, это весьма сомнительно.

— Но ведь и вы частично пишете для определенных актеров.

Герой согласно покивал головой.

— Например, в своей последней пьесе.

— Вы имеете в виду Зийну Квелде? Но многие из ваших коллег хотели меня убедить, что эта роль больше подходит Милде Звайгзне. С драматургическим воображением дело обстоит так. К собственному видению невольно примешивается и впечатление от уже виденного на сцене, что-то комбинируется и взаимно преображается. Но копировать,— воображение не копирует и не может,— потому что оно самостоятельный творец, а не натуралистический переимщик. Известное духовное родство и психологический контакт между поэтом и артистом необходим. Только так идейная и художественная проблема театральной игры и может найти живое, пластическое разрешение. Потому что артисты они оба: и поэт и актер. Сценический образ — это общность духа и души обоих. Поэтому он так сложен и так редко достигает совершенства.

— И вы думаете, что у Зийны Квелде и с проблемой и с душой все в порядке?..

Герой и любовник переглянулись поверх головы Зиле.

— Да,— серьезно произнес герой,— теперь-то она уже присмирела и урезонилась. Первый молодой задор спал.

— Такой жизни долго никто не выдерживает,— многозначительно добавил любовник.

Кровь вдруг ударила Зиле в голову.

— Какой жизни? Что вы хотите сказать?

Любовник слегка опешил.

— Ничего особенного. Я не говорю, что она хуже других.

Герой с высоты насмешливо посмотрел на сидящего.

— Но и не лучше. Сцена не терпит ни ангелов, ни дьяволов. Те, кто их изображает, в жизни меньше всего ангелы или дьяволы. И Зийна Квелде не из той и не из другой категории. Заурядная актриса с хорошими и с плохими качествами.

Зиле вскочил.

— Почему вы мне рассказываете о Зийне Квелде? Я вас об этом просил?

— Ну-ну, не кипятитесь! Мы же ничего дурного не сказали. Она хороший товарищ и способная актриса. Только смешно, когда взрослые люди и выдающиеся художники порою ведут себя, как зеленые гимназисты. Идеализируют то, где идеализировать-то нечего, и только компрометируют себя в глазах общества.

— Прошу прощения, господа актеры. Я весьма признателен за вашу заботу. Но позвольте мне самому заботиться о своей репутации. До сих пор я как-то обходился без вашей любезной помощи, обойдусь и впредь.

Он повернулся к актерам спиной и уставился в просвет между декорациями.

Разговор их был таким громким, что работа на сцене на миг прекратилась. Зийна Квелде вопросительно оглянулась. И в этом взгляде была какая-то догадка, что говорят о ней.

По дороге домой Зиле был необычно молчалив.

Зийна, напротив, очевидно в предвкушении близящегося отпуска, вела себя, как озорная школьница.

— Мой поэт что-то сегодня угрюм,— рассмеялась она.— Позволительно узнать причины?

Он не ответил прямо на вопрос.

— У вас есть среди коллег враги?

— Вра-ги? Не замечала. У нашей дружбы и вражды всегда есть нечто от знакомых ролей. Быстро возникает и быстро проходит. Но мы со всем этим управляемся довольно хорошо.

— Скажите... Не знаю, как бы это выразить... Я не слишком часто нахожусь с вами? Вам так не кажется?

Она со смехом покачала головой и, по своему обыкновению, лукаво посмотрела на Зиле.

— Это еще что? Побаиваетесь за свою репутацию?

— Нет, за вашу.

— Что это значит? Говорите яснее.

— Кое-кто из ваших коллег счел сегодня нужным дать мне понять, что мы слишком уж близкие друзья. Начали мне открывать ваше прошлое...

Она резко передернулась и прервала его:

— Какое им дело... и вам... до этого!

— Мне — абсолютно никакого. Я не допытывался. Я только передаю вам.

— А почему передаете? Мне никакие рекомендации не требуются. И никакого заступничества я не потерплю. И никаких наставлений не приму!

Зиле постарался успокоить ее.

— Этого вам и не надо делать... Если я упомянул об этом, то только потому... Я думал, что, может быть, я действительно слишком навязчив. Я же не знаю, как вы на это смотрите.

— Кто встречается со мной, должен знать, как я на это смотрю. Я свободна и независима, и схожусь с тем, кто мне нравится. Если кому-то хочется шипонить и сплетничать — пусть. Мне от этого ни жарко, ни холодно. Если кто-то думает, что я его компрометирую — извольте. Улица достаточно широка. На той стороне еще есть место.

Зиле просто не знал, куда ему деться.

— Вы превратно меня поняли... Вы совершенно превратно поняли меня...

Взглянув на его несчастное лицо, Зийна рассмеялась.

— Эх вы, прославленный драматург! Ну, бог с ним! Не будем больше умствовать, не будет и ум за разум заходить. Откровенно говоря, мне ваша дружба — если можно так сказать — очень льстит. Мне кажется, я могу ее оценить должным образом. Но какое значение имеет дурацкая болтовня?

— Никакого, никакого! — с жаром воскликнул Зиле.— Признаю свою глупость. Прошу прощения. Первый и последний раз.

Они пожали друг другу руки и дружески расстались.

4

Сезон, полный труда, волнений и всяческих неожиданностей, подошел к концу. Прежде чем разъехаться, кто на гастроли, кто отдыхать, кто в клинику,— вся труппа отправилась повеселиться в большой загородный сад.

Были все большие и малые деятели и работники сцены. Парикмахеры и портнихи. Режиссеры и члены репертуарного комитета. Многие литераторы и даже просто любители театра и друзья актеров.

Сначала у всех было только одно желание — встряхнуться. Как всегда в таких случаях, веселье выглядело несколько искусственным, чрезмерным. Но большой парк с огромными деревьями, со свежей зеленью и сверкающим мельничным прудом в низине вскоре по-настоящему взбудоражил и развеселил всех. Прихвачено было немало еды и питья, это тоже произвело свое действие. Теплый, ветреный, слегка облачный день развеял последний осадок от зимы с ее треволнениями.

Все здесь принадлежало им. Редкие гуляющие издали подозрительно вглядывались в слишком уж шумное общество и держались стороной. Несколько благодушных обывателей сморщили носы при виде эксцентрично одетых, непринужденно болтающих женщин. Бросили недокуренные папиросы на землю и исчезли за воротами.

— Спорю, что эти филистеры считают нас окончательно падшими созданиями! — воскликнула обычно наивная — но на сей раз далеко не наивно — Анна Салнис, указывая вслед им зеленым зонтиком.

— Это те,— драматически провозгласил благородный отец Фрицис Льепкалн,— кто на сцене готов тебе весь свой бумажник отвалить, а на улице на другую сторону сворачивает.

— Особенно, когда их супружницы и дочурки рядом.

— Даже если их и нет рядом,— откликнулся первый любовник Заринь. Стоя на краю оврага, он пытался ручкой своей трости зацепить ветку липы с еще нераспустившимся цветом.— Вы с вашими красными и зелеными зонтиками можете раздразнить самого флегматичного индюка.

— Красный и зеленый. Зеленый и красный — это прямой вызов мелкой, тусклой обыденности.— Мешковатый осветитель, переминаясь с ноги на ногу, обстоятельно набил свою английскую трубку. Точно дымящаяся груша, повисла она на кривом чубуке в уголке его рта.

— Эвое! — завопил кто-то.— Берем штурмом эту Голгофу! — И, точно борзая, помчался к самой вершине холма.

Смеясь и толкаясь, вся орава последовала за ним.

Зиле с Зийной Квелде шли самыми последними.

— Мы, наверное, самые здесь рассудительные,— усмехнулась она.

— Не знаю, как вы. Но я свой рассудок сегодня упрятал подальше. Да здравствуют один день в году озорство, безрассудство — по мне даже глупость!

— Согласна. И глупость имеет право на существование. Да здравствует глупость!

— И в самом деле! В качестве контраста глупость просто необходима. Без нее самая прекрасная мудрость теряет свое значение. И человек становится монотонным и серым, как неотбеленный холст.

— Как неотбеленный холст... Вы остроумны, драматург. А ну, не отставайте!

Она побежала. Но Зиле не прибавил шага. С улыбкой смотрел он, как ее фигура, обтянутая светлым платьем в полоску, исчезает за выступом холма. Гибкая и ловкая, полная здоровой силы и сознания своей прелести. Малейшее движение пластично и грациозно — но без той принужденности и неискренности, которые присущи всем им. Удивительное сочетание культуры и природной естественности.

Но исчезла она не совсем. Он видел широкую шляпу с белым пышным пером, на котором теперь играло солнце и трепетные зеленые отблески от вязов. Округлое, интеллигентное лицо и покатые плечи, легко колышущиеся от учащенного дыхания.

— Нет, вы все же слишком рассудительны. Или я слишком неблаговоспитанна. Мы друг другу не пара.

— И впрямь. Придется вам подыскать кавалера помоложе.

Вместо ответа она просунула ему руку под локоть.

— Знаем мы этих молодых старичков. Этакое кокетничание своими годами. Но не скажешь, что это неприятнее обычного кокетства.

Все скамейки на поляне на самой вершине холма были заняты. Остальные стояли вокруг, беззаботно болтая и смеясь. Можно было уловить и кой-какие замечания по их адресу.

— Сила и красота! Идея и образ! Мысль и воображение! Да здравствует святое двуединство!

— Да здравствуют чернила и пудра!

— Так и стойте посредине — как статуи на классическом пиршестве...

Но даже явная насмешка сегодня не задевала и не обижала. Никто сегодня не думал плохого. Без насмешки и взаимного подтрунивания это общество не могло обойтись. В глубине души все они были хорошие люди, хотя и с издерганными сценой нервами и неуравновешенным характером.

Они отошли к сторонке, где поэт Апсэспетер, в панаме, с висящей на локте никелированной тростью, с веточкой рябины в петлице, старался объяснить пяти хористкам, суфлерше и помощнику режиссера красоту природы.

— Взгляните, как спокойно зеркало озера. Как застывшее серебро...

Зийна, сдерживая смех, подергала Зиле за руку.

— Вы послушайте: как застывшее серебро...

Зиле потряс ее за плечи.

— А ну-ка, уважайте поэтов! Невоспитанная девчонка!

— Окрест зеленые кусты — точно вал, точно сама тайна. И красная труба ленточной фабрики бросает на него тень. Словно легкие мостки, по которым следуют наши мечты.

Молоденькая девчушка с синими глазами и светлыми косами не отрывала глаз от поэта. И губы ее восхищенно повторяли все движения его губ.

Зийна не смогла удержаться. На лбу ее снова выступила вертикальная морщинка.

— Я возражаю. Эта труба совсем не красная.

— Виноват...— Поэт уязвленно обернулся.— Как это так — не...?

— А вот так — не красная. Закопченная, серая. Вверху даже совсем черная.

— Когда смотришь поверхностно. Когда нет эстетического зрения. Фабричная труба из кирпича, а кирпич должен быть красным. Я думаю, против этого вы не станете возражать.

— Ну, это совсем другое дело. Если «должен быть», тогда и возражать нельзя. Но этот вал... эта тайна. Чего там таинственного! Вы только поглядите: бабы в ивняке белье полощут. А вверху мальчишки лазают!..

Точно две стрелы, вонзились голубые глаза в Зиле. Он испуганно потащил свою подругу дальше.

Тучный комик Адлер, крепко подвыпив, водрузился на скамью. Держа на отлете свой котелок, он колотил в него кулаком, точно звоня в колокол.

— Дети мои... Детки! Минуточку внимания! Я хочу сказать слово. Серьезно...

— Ну, разве не гениальный комик! Весь сезон шутки шутил, а сегодня серьезно...

— Одну минутку, дети мои! Весь сезон вы были рабами публики. А этот день принадлежит вам. Плюйте на все. Не думайте об осени. Только раз в году расцветает весна. Только раз в жизни мы бываем молодыми...

— Без сантиментов, Адлер, без сантиментов!

— Минуточку!.. Дышите полной грудью, дети! Полными пригоршнями берите от жизни. Она проходит мимо, как пролетает пух, как облако, как... Завтра, может быть, уже будет поздно...

— Что можно выпить сегодня, не оставляй на завтра!

Оратору сунули в руку недопитую бутылку. Девушка, светлое платье которой он, топчась на скамье, придавил пыльным сапогом, дергала его за штанину.

— Хватит глупить, слезай.

— Минуточку...

Но его уже не слушали. Адлер расплакался и, заслонив лицо шляпой, сполз на землю.

Зиле с Зийной направились по дорожке, огибающей склон. Позади осталась толпа с ее хохотом и говором. Внизу возвышались зеленые сугробы кустарников. За ними изгиб парка, дальше луг, плотины, станция, красные и зеленые вагоны — и хаос города с крышами и церковными башнями.

— Поглядите,— указал Зиле.

Она кивнула. Им показалось, что они понимают друг друга.

С сумерками толпа разделилась и разбрелась. Сидели вдвоем, вчетвером на скамейках под нависшими ветвями. В отдаленных углах сада и в изгибах тихих дорожек. Редко где уже слышался громкий говор и смех. Тихая, интимная беседа, отдельные возгласы, иногда даже вздох или приглушенная скорбь. Эти люди чувства и темперамента не могли долго находиться в одном состоянии. И без того все время в одной компании. А этот свободный сумеречный вечер лучше проводить вдвоем или втроем.

Таинственное перешептывание доносилось из кустистых укрытий и с покрытых тенью скамей. Парк был полон необычной истомы и аромата листвы. Вдалеке грохотал город и вспыхивали редкие красные огни.

Зиле с Зийной Квелде бесцельно бродили по извилистым дорожкам и почти не разговаривали.

Было хорошо и без этого.

Они старались не тревожить сидящих и потому шли по открытым местам. Обошли весь парк кругом и наконец присели на вершине холма.

Здесь уже никого не было. Большие деревья тихо шелестели от вечернего ветерка. Луна еще не взошла. Мельничный пруд отливал потухающим багрянцем заката.

— Вам не скучно? — промолвила она, слегка прижавшись к нему плечом.

Он тихо и от всего сердца рассмеялся.

— Придет же такое в голову... Целую вечность бы так сидел.

— А вы без гипербол. Оставим их лирическим поэтам. Ни в какие вечности я не верю. Но эта минута чудесна.

Он взял и пожал ее руку — словно тут была какая-то его заслуга.

— Вся жизнь была бы такой, если бы люди умели ею пользоваться. Если бы у них было больше отваги черпать полной чашей и не думать о завтрашнем дне. Не смотрите часто назад и не прорицайте будущее. Иначе самое лучшее и ценное в жизни пройдет незамеченным и неизведанным. Непережитым и непрожитым.

— Ради бога, не философствуйте. Не сегодня. Не будем портить этот вечер умными разговорами... Мне кажется, что и рассуждая о жизни, мы только мешаем себе жить полнее.

Снова помолчали.

— Мне что-то прохладно. Не пора ли домой?

Об этом же подумал и Зиле. Они поднялись и вышли из парка.

И вот они уже сидели на извозчике и медленно ехали по неровным, пустым и темным уличкам. Так приятно было чувствовать друг друга рядом, быть вдвоем, сознавая, что никто их не видит и не разглядывает с любопытством. Точно в каком-то укрытии.

Зиле спрыгнул первым — как молодой, услужливый кавалер. Помог ей слезть. Растерянно остановился. Она не произнесла ни слова, не протянула на прощание руку. Вошла в подъезд и оставила дверь неприкрытой.

С минуту он колебался. Так, колеблясь, и последовал за нею. Закрыв дверь, остался стоять подле нее.

— На лестнице темно...— услышал он где-то в отдалении голос Зийны.— Идите осторожно. И здесь, внизу, приступок.

Послышались ее шаркающие, удаляющиеся шаги.

Сердце его бешено колотилось. Это было приглашение. Она позвала его.

Нащупывая ногой ступени, скользя рукой по гладкому поручню перил, он последовал за нею. Особенный страх он почувствовал в той темноте, где недалеко шаркали ее шаги. Но он не остановился бы, даже если ступени проваливались под ногами. Пробиваясь сквозь темноту, он следовал за нею.

Шагов впереди он уже не слышал. Очевидно, остановилась у своей двери. Где-то совсем близко он уловил ее дыхание, а может быть, шорох ее одежды. Или только в воображении. Он подался вперед, стараясь проникнуть взглядом сквозь тьму. И тут ему показалось, будто теплое дыхание коснулось его лица.

Решив убедиться, он протянул руку и коснулся ее волос. И тут же отдернул ее, словно обжег пальцы.

— Простите. Я не хотел...

Она тихо засмеялась.

— Какой вы пугливый.

Ключ как-то неприятно скрежетнул в двери. Сразу же за нею, в передней, вспыхнувший свет ослепил глаза.

В каком-то изнеможении, словно погрузившись в раздумья, Зийна положила шляпу на зеркало и медленно принялась расстегивать жакет. Что-то зацепилось сзади за кружева, и она не могла их отцепить.

Повернув голову и глядя на него через плечо, она чуть ли не зло сказала:

— Да помогите же!

Его нервные, неловкие руки скользнули по ее плечам. Он легко снял ее теплый, полный ароматов жакет и в каком-то опьянении так и держал его. Не сообразил пойти и повесить.

Зийна, поправляя волосы, видела в зеркале его лицо. Взгляды их встретились. Ему показалось, что она кивнула и улыбнулась своей милой улыбкой. Черты ее лица не дрогнули. Но в глазах проступил обжигающий нежностью внутренний жар...

Когда Зиле вошел в комнату, она глубоко сидела в кресле. Руки безвольно сложены на коленях, голова откинута. На груди еще в парке сорванный увядший вязовый цвет.

Он сел на низенькую скамеечку к ее ногам.

Обеими руками крепко стиснул поручень кресла. Потом наклонился и поцеловал ее руки. Одну, потом другую...

Но вот его губы коснулись только ее одежды. Он почувствовал, как две руки гладят его голову, как пальцы перебирают его волосы и ладони закрывают его уши.

Она подняла его голову. Сама нагнулась близко-близко и заглянула ему в глаза.

Глубоким, бесконечно долгим взглядом.

Он видел только эти глаза. Все вокруг — весь мир — взвилось, словно ветром подхваченный полог, и утонуло где-то по-за ними. Словно в сладком бреду, он погрузился в эти глаза. В ушах его свистели ветры десятков самых разных чувств. Вот он и незабываемый сон наяву, который уже никогда нельзя будет вспомнить...

5

Три дня длился этот сон. Зиле приходил после обеда и оставался до поздней ночи. Они никуда не ходили. Ничто не тянуло их из комнаты. Кроме них двоих, не было ни мира, ни жизни.

На четвертый день Зиле застал гостя. Пожилой мужчина, корпулентный, великолепно одетый, благоухающий и в высшей степени галантный. Он поднялся при виде его и с величайшим почтением поклонился Зиле.

Зийна Квелде представила их друг другу. Это был тот субъект, что звал ее в петербургскую оперу.

Зиле и не пытался скрыть свое нерасположение. Пусть тот поймет, что явился напрасно и, главное, не вовремя. И что он, Зиле, здесь тоже имеет слово.

Но тот, кажется, и сам все понял. С Зийной он уже поговорил. А теперь больше беседовал с ним.

— Я все же не оставил надежды. Мадемуазель Квелде не может ничего выставить против моих аргументов. Теперешнее ее материальное положение не идет ни в какое сравнение с тем, что я могу ей гарантировать.

— Материальное положение дело важное. Но для артиста не самое решающее.

— А кто это утверждает! Но я обещаю и большие виды для ее артистической карьеры! Это я ей твердо гарантирую.

— Если вы подходите к ней, как к карьеристке, то вы слишком низко ее оцениваете.

— Нет! Я не карьеристка.

— Пардон, мадемуазель. Каждый артист — карьерист, если уж пользоваться этим устарелым словом. И карьерист ровно

настолько, насколько он настоящий артист. Что такое карьера? По моему разумению — непрестанное возвышение по ступеням развития и популярности. То, что мы по внешности называем карьерой, то, по сути дела, только путь внутреннего развития. Путь к совершенству. Кто от него отрекается, тот отрекается от себя и своего искусства. Но сколько может артист находиться на латышской драматической сцене? Отнюдь не принижая латышское искусство, мы же знаем: здесь Зийна Квелде уже на высшей ступени. И удержаться на ней ей легко. А что дальше? Рутина, благодушное прозябание, как прозябают десятки других.

— К сожалению, тут вы отчасти правы,— задумчиво сказала Зийна.

— Не давайте обольщать себя сладкими словами,— взволнованно перебил их Зиле.— Латышское драматическое искусство поднимется выше, чем вы представляете. И именно Зийна Квелде одна из тех, кто будет содействовать этому, перед кем стоят большие задачи. Она первая драматическая актриса. А что она может как певица, этого мы еще не знаем.

— Пардон! Немного и это знаем. Я ее слышал, а в певцах я разбираюсь, этого вы не можете оспаривать. Я говорил с ее учителем. Я вполне убежден, что ее как певицу ожидает блестящее будущее. Опера включает в себя и драматическое искусство. И вообще это синтетический, а следовательно, наивысший вид сценического искусства.

— Избитая фраза, в которую никто больше не верит... Но оставим этот искусствоведческий диспут. Скажите лучше, почему это вы так заинтересованы в художественной карьере Зийны Квелде? Вроде бы пора меценатов уже миновала.

Джентльмен, галантно улыбаясь, покивал головой:

— Разумеется. Я в такой же мере ценитель искусства и артистов, как и коммерсант. В этом я открыто признаюсь. Если я говорю о карьере Зийны Квелде как певицы, в чем я глубоко уверен, то все время имею в виду и свою роль с ее чисто коммерческими интересами. Мы оба от этого можем только выиграть. Только выиграть.

И он так равнодушно повернулся к Зиле спиной, словно все это время и не разговаривал с ним. Словно для него он посторонний и в высшей мере безразличный человек. А с Зийной Квелде галантно раскланялся.

— Итак, вы все обдумаете. До следующей субботы я буду здесь. Если согласны, только дайте знать. Дорога за мой счет. Аванс — и все, как договаривались.

Зийна вышла его проводить. Зиле нервно расхаживал по комнате.

— Наглый субъект!

Зийна задумчиво присела к столу.

— Немного есть. Но торгаши все такие. Коммерсанты от искусства не лучше прочих. Этот, по крайней мере, откровенен.

— Не понимаю, почему вы вообще пускаетесь с ним в какие-то разговоры.

— А что тут такого? Пусть выговорится.

— Это не ответ. Может быть, что-то и запало в голову из его посулов?

Она покачала головой.

— Я его посулы серьезно и не слушала.

— И не надо! — с жаром воскликнул он.— Я вам твердо говорю, вы драматическая актриса — одна из первых, может быть, даже первая. А как певица вы будете одна среди сотен.

Зийна слушала его с улыбкой.

— Не припоминаю, чтобы вы что-нибудь подобное говорили раньше.

— Потому что мы всегда говорили только о театре. До оперы нам не было дела. Будущее сценического искусства идет от театра. Для объединения будущего искусства нужно нечто совсем иное, чем теперешняя опера. Скорее уж какие-то образцы можно найти в старой классической драме. Драме там будет принадлежать решающая роль. Все, в ком есть хоть сколько-нибудь таланта, должны оставаться в драме. Вы — в первую очередь.

— Если только у вас... А у вас на эту драму нет своих коммерческих видов — как у этого, на оперу?

Зиле опешил.

— Как... как вы это могли подумать?

Она взяла его за руки и привлекла к себе.

— Какой вы несообразительный. Неужели вы не понимаете, что я имею в виду?

Держа ее руки в своих, Зиле наклонился к ней.

— А если бы и так? Разве для вас кажется возможным выбор между... этим — там... и мной?.. Да, я всей глубиной сердца, всем существом желаю, чтобы вы остались тут. Я зашел уже так далеко, что без вас не могу ни жить, ни работать. Неужели вы не сознаете, насколько глубоко вы вошли в мою душу? Не сознаете?

Она задумчиво наклонила голову и высвободила руки.

— Так вот как далеко зашло? Я вижу... Этого я вначале не думала... Но кто об этом думает?.. Это получается само собой... Но что вы стоите? Садитесь же.

— Нет! Вы знаете, а я уезжаю. На несколько дней надо выехать. Зашел по пути...

Они простились тихо и сердечно. Зийна так смотрела ему в глаза, словно хотела разглядеть его душу.

Медленно-медленно спускался Зиле по лестнице. Как будто что-то забыл — самое главное.

Посреди улицы остановился и задумался. Что это? Не вернуться ли?

С угла огляпулся. Зийна стояла у окна и кивала ему.

Он снял шляпу. Простился с нею... с окном с белыми занавесями, со всем домом, с которым он сжился, с улицей, по которой так часто ступали ее ноги. Он готов был опуститься на колени и целовать эти гладкие камни...

6

На третий день Зийна Квелде получила письмо. Долго лежало оно нераспечатанным перед нею на столе. Облокотившись на стол, подперев голову руками, сидела она и смотрела на знакомый нервный почерк.

Что он мог писать? Казалось, она знает это так хорошо, что вопрос уже неуместен. Но почему тогда это письмо? Разве не было все высказано обстоятельно и подробно? Что ему еще нужно сказать?

Подступил какой-то гнев. Почему он ни на миг не оставляет ее в покое? Все эти дни она прожила в каком-то стремительном водовороте. Чувства и нервы тосковали по отдыху и покою. А эти дни утомили ее больше, чем весь долгий сезон.

И все же — без него она чувствовала какую-то пустоту. Окружающее без него казалось серым и безразличным. Пустым и мертвым без его шагов и голоса. Бессодержательным и голым без его вспыхивающих мыслей и кипучих идей. Покинутой и одинокой чувствует она себя без его теплой ласки и проникновенных глаз. Без его глубоких-глубоких, ласкающих глаз...

Что этот человек с нею сделал! Она уже не узнает себя. Утратила всякое равновесие — как молоденькая девица, как дурочка, без собственной воли и характера. Точно сорванный цветок, крутится в быстром омуте. И страшно и неотвратимо тянет погрузиться в эту глубь.

Она встала и оделась. И только тогда подумала: а куда? Хочет бежать от этого письма и от самой себя... И почему этот человек не дает ей ни минуты покоя? К чему это письмо? Несколько строк глупого приветствия, как заведено. Удивительно, что еще не прислал открытое письмо с видиком и напечатанным в уголке стишком. Но дойдет еще и до этого...

Она сердито распечатала конверт. Но там были два мелко исписанных листка.

Она растерянно присела. О чем он мог так много написать?

Первые строчки быстро пробежала глазами. Потом начала их снова, медленно, вникая в каждое слово, продумывая каждую фразу. Спокойствие тут же улетучилось. Письмо покорило и захватило ее. Она не могла оторваться и отвлечься от него.

Это было не письмо. Что-то вроде стихотворения — бурная симфония чувств и мыслей. Растрепанное по внешнему виду, но удивительно цельное по своему понятному и прочувствованному языку души.

Она чувствовала, как горячая волна подхватывает и увлекает ее в омут. И как он умеет коснуться самых скрытых и тонких душевных струн. Ей показалось, что она сама себя не знала так хорошо. Он проник даже туда, где подсознательно покоились неведомые ей женские инстинкты, которых она сторонилась, старалась разминуться с ними. А он проник, точно вор, взломщик, для которого нет ничего святого. Обшарил все потайные углы, все выволок и перетряхнул.

Лицо ее пылало. Она была взбудоражена.

Так дальше нельзя. Этот человек доведет ее до предела. И она знала: стоит перешагнуть его — и возврата уже не будет.

Словно подхваченная жарким ветром, стремилась она вперед. Так пьяняще приятно отдаваться вихрем вздымающейся, сокрушающей силе. Пусть несет... Пусть вздымает и снова бросает в пучину. Правда, женская гордость, упрямство и какое-то опасение, словно свежий, робкий встречный ток, били в лицо и предостерегающе звенели в ушах.

Нужна ясность. Для самой себя. Так нельзя... Так больше нельзя!..

Зийна Квелде вышла на улицу. Письмо лежало в кармане, но она не думала о нем. Не думала и о том, куда идет, хотя и знала куда.

Она знала, что Зиле женат и где его квартира, хотя никогда об этом и слова не было сказано. Она знала, зачем идет туда, хотя и не думала об этом.

— Меня зовут Зийна Квелде,— представилась она женщине, которая впустила ее.— Я актриса. Зиле меня хорошо знает.

Она сама с удивлением прислушивалась к своему голосу. Но ведь это же ее собственный голос...

— Мужа сейчас дома нет, если вам нужен лично он. А если кто-нибудь другой, то пройдите.

Зийна Квелде остановилась посреди просторной, светлой комнаты.

Значит, вот она, его жена... Немного моложе ее. Среднего роста, простая и серьезная. Ничего особенного с первого взгляда и не обнаружить. Очень чисто одета, без следов кухни и стирального корыта. Руки гладкие и чистые, но явно привычные к работе. Ни одна черточка не выдает, приятно ей это посещение, неприятно или совершенно безразлично. Лицо довольно любезное, но сдержанное и спокойное.

Зийна Квелде почувствовала какую-то неловкость.

— Я актриса, которая играла в его новой пьесе.

Та кивнула головой.

— Я знаю. Я вас знаю.

Зийна впилась глазами в ее лицо. Что же эта женщина думает? Знает она или нет?

— А я вас до сих пор не знала. Вы, очевидно, редко выходите из дома?

— Нельзя сказать. Довольно часто. Ходим на все премьеры... Но вы присядьте хоть на минуту — если не спешите.

Они присели к письменному столу Зиле. Каждая в своем конце — пустое кресло его посредине.

— Значит, здесь он работает...— вымолвила Зийна, повернув несколько исписанных страниц.

— Да. Только я вас прошу ничего тут не перепутать. Он этого не выносит.

Зийна улыбнулась.

— Вам, вероятно, пришлось хорошо усвоить, что ему нравится, что нет.

— Мне — нет. Я это знаю и без усвоения. Я у него ничего не перепутаю. А посторонних он не выносит.

— Ах, посторонних...— Зийна нервно передернулась. Ей хотелось смеяться. Но она сдержалась и только презрительно надула губы.— Очевидно, интересно быть женой писателя? Вы очень жалуете своего мужа?

— Ну, мне кажется, не я одна.

Зийна чуть заметно покраснела. Что это, скрытый намек

или простодушие? Она решила переменить разговор и спохватилась только тогда, когда уже произнесла эту фразу.

— Вы только вдвоем живете? Детей нет?

— Нет.

— Скажите... Вы должны понять, почему меня интересует жизнь женатых людей. Вам не скучно, не монотонно — так вот вдвоем?

Она взглянула в глаза гостье и улыбнулась.

— Скучно и монотонно — с таким человеком! — Она встала и подошла к полке. Руки ее ласково скользнули по синим и серым корешкам книг.— Видите, вот они, наши дети. У нас большая семья. Нет — мы не знаем монотонности и скуки.

— Но вы-то тут при чем?! — невольно вырвалось у Зийны.

Та не слушала ее, листая толстый том и вглядываясь в мелкий шрифт плотно набранных страниц.

— Я тут знаю любую строчку,— еще когда это было рукописью. Я знаю, как возникают в его воображении эти люди, как они говорят и действуют, будто живые. Я знаю, как возникли в его голове те мысли, которые теперь стольких вдохновляют и увлекают. Как они терзали его своей первоначальной смутностью и как постепенно преобразовались в ясные проблемы и их разрешение. Я все знаю. Я все сопережила. А вы говорите о монотонности. Я сомневаюсь, чтобы ваша, полная перемен и переживаний, жизнь была бы разнообразнее.

— Но вы-то тут при чем? Вы тоже писательница?

— Нет, но я его жена.

Зийну Квелде чем-то уязвила убежденность и уверенность в себе этой женщины.

— Ах, так — значит, вы его вдохновительница, так сказать, идеал. Я слышала, он почти у всех у них должен быть. Скажите, он должен быть необычайно привлекателен — этот идеал художника?

Нечто вроде легкой иронии сверкнуло в глазах женщины, сидящей на другом конце стола.

— Это фраза, о содержании которой меньше всего думают те, кто чаще всего ее произносит. Вдохновительница и идеал... Их вдохновение и их идеалы в них самих. Течение любого потока жизни оставляет в их душе золотой песок. А мы, мы потому и есть рядом, что видим его, что мы там, где они рассыпают эти самородки в своих произведениях. Мы тут, когда им нужен человек, которому можно рассказать о своих рождающихся замыслах. Которому можно поверять терзающие их сомнения и мучительную тревогу. Которому можно показать

картины и изваяния, возникающие под их рукой. Живая, сопереживающая и сопереживающая — вот какая им нужна. Эти стены вокруг, они безмолвны, и бумага, она нема. Им нужно чувствовать вблизи живое сердце.

— Это я понимаю... Но, значит, жена художника сама пассивность. Мне кажется, что и у нее могли бы быть свои взгляды, свои стремления и жизнь. Вы не обессудьте, но мне кажется, что это какое-то своеобразное духовное рабство, то, как вы представляете себе задачу жены художника. Добровольное рабство, а потому и самое тягостное.

— Если так смотреть, то все мы рабы. Своего долга, своего характера, своего сердца. Называйте, как хотите. Но это только старое и неподходящее слово, в которое вы хотите втиснуть все глубокое содержание жизни. Это и труд — радостный, творческий труд. Это и сознание своего значения, хотя имени своего эта женщина не видит ни на одной афише, ни на одном углу.

Зийна кусала губы. Что-то подкатывало и рвалось наружу. Но не хотелось быть бестактной и обижать человека без нужды.

— Признаюсь, мне несколько чуждо то, о чем вы говорите. Такая уж у меня цыганская натура. Представить себе идиллию семейной жизни я никогда не могла. Но вам все же никогда не казалось, что вы слишком привязываете своего мужа к семейному крову и к себе? Ведь им всем необходимы широта жизни, свежесть, смена впечатлений. Необходим ветер и открытое небо, чтобы не свыкнуться с тяжелым воздухом и плесенью теплого угла.

Ее уже явно начала раздражать улыбка превосходства на спокойном лице женщины, ее достоинство и несокрушимая уравновешенность.

— Теплый угол... Вы так подчеркнуто произносите это слово. Тогда я вас спрошу. А вам не приходит в голову, что необходим свой угол каждому работнику умственного труда, где бы не нарушали его раздумия? Теплый угол... Да, озябшими руками нельзя писать. Только те, кто не работает и кому не над чем работать, могут слоняться по свету и жить одними удовольствиями. А праздные гуляки,— вы думаете, они не знают, что такое теплый угол и плесень? Из одного такого угла в другой — вот и вся их жизнь. Это им необходимо, чтобы не чувствовать запаха плесени, которая в них самих. Это те, у кого душа гниет...

— Но можете мне поверить — и те, у кого душа цветет, порою любят вырваться на простор. Хотя бы ради того, чтобы освежиться и рассеяться. Я очень почитаю вашего мужа и не сомневаюсь в вашей согласной жизни. Очевидно, вы можете оценить его как художника выше всех. Поэтому и думаете, что

ради своей семейной жизни, домашнего спокойствия и — скажем открыто — вашего блага он должен избегать любого человеческого увлечения и развлечения, новых впечатлений и переживаний.

В ее спокойных глазах что-то сверкнуло.

— Как вы об этом можете говорить? Что вы об этом знаете? Вы — люди одного дня, играющие десять ролей и все одинаково хорошо. И уже не разбирающие, что ваше собственное, а что только заемное или придуманное. Вы воображаете, что живете широкой и глубокой жизнью, и не замечаете, что бродите по отмели. Раз выехав, вы уже не возвращаетесь домой, вы утратили сами себя и без собственного лица толчетесь среди таких же алчущих наслаждений и веселья. Люди одного дня и одного мгновения, что вы знаете о тех, кто может загореться и увлечься, но кто никогда не отрывается от центра жизни и труда, который удерживает их силой своего притяжения.

С минуту стояла тишина. Зийна Квелде стала серьезной и чуть ли не злобной.

— Видимо, совместная жизнь все же сказывается. И более глубоко, чем я воображала. Я бы все же не хотела, чтобы вы причисляли меня к тем женщинам одного дня и прожигательницам жизни. Я совсем не такая...

— Простите. Я этого и не думала.

— Я понимаю — вы просто увлеклись. У меня, очевидно, нет подлинного семейного инстинкта, и поэтому я кое-чего не понимаю. Как возможен честный брак, если муж, пусть даже и немного, но сознательно идет на развлечение на стороне? Какой-то чужой запах, какая-то грязца всегда прилипает к душе.

Она уже снова овладела собой, глядя серьезно, но вежливо.

— Грязца... Звучит противно. Возможно, так оно и есть. Но в нашей жизни вообще нет абсолютной чистоты. Так уж устроено наше человеческое существование. У человека физического труда своя грязь... потные ноги, чернота под ногтями. Так же и с душевной чистотой... Но таковы мы все. И поэтому не бежим друг от друга. Грязи противостоит наше горячее, наше совместное стремление к чистоте, оно просветляет нашу душу и всю нашу жизнь. Только мужчине и женщине, которые живут едино, необходимо быть едиными и в этом стремлении. И уж тогда оно становится такой силой, которую никакие ошибки и никакие увлечения не могут преодолеть. Это пятна на солнце, которые мы не замечаем и не ощущаем.

Зийна долго сидела молча. Такая же серьезная и задумчивая, как ее собеседница.

Наконец она поднялась и медленно подошла к ней.

— Прошу прощения... Не думайте обо мне плохо. Я не такая дурная, как вы, возможно, думаете.

Та радушно пожала руку актрисы.

— Ничего дурного я о вас не думаю. Вам не за что просить прощения. Мы, женщины, редко когда можем понять друг друга. Потому что выросли в мире, полном притворства, и считаем одна другую чуть ли не врагами.

Какое-то время Зийна Квелде стояла и смотрела на нее. А это не притворство? Действительно не знает или только разыгрывает незнание? А если бы знала, могла бы смотреть так спокойно, почти дружелюбно?

И все же у нее не хватило смелости сказать открыто: вот какая я есть — делайте что хотите...

Подавленная, с тяжелой головой шла она к дому.

7

Дома Зийна Квелде закрыла все окна и опустила занавеси. Яркий солнечный свет был невыносим. Уличный шум раздражал.

В голове что-то бродило. Мысли возникали и схватывались, как ветры, налетающие с разных концов небосвода и сталкивающиеся в узкой теснине.

Она расхаживала по комнате до полного изнеможения. Пока ноги не стали бесчувственными и свинцовая тяжесть не бросила ее на стул. Она присела к столу, но к еде не притронулась.

Ночью лежала без одеяла, хотя было прохладно и тело покрылось мурашками. Все физические чувства отмерли. Рассудок работал безостановочно, точно мельница.

Казалось, ничего придумать и ни к какому решению прийти нельзя. Все гуще и запутаннее сплеталась сеть раздумий.

Но после полуночи она встала и зажгла свет, еще сама не зная, зачем встает и что будет делать.

А бумага уже была перед нею. Только теперь она поняла. Написать ответ. И только тут сообразила, что все время думала об этом. С самого начала было ясно, что надо написать и оставалось только продумать, как это высказать.

Вот и теперь она еще не знала этого. Так много, до чего же много надо написать,— но где взять слова, чтобы облечь в них

спутанные мысли и передать оттенки бушующей стремнины чувств?

Но другого выхода не было. Иначе не обойтись. Это она знала.

Слова пришлось подыскивать только вначале. Постепенно они пошли потоком,— и там она уже писала быстро, не думая больше о логической связи и гладкости выражений...

«...Я не могу уехать, не оставив вам несколько строк. А уехать надо. Вы это знаете так же хорошо, как я. Разумеется, не потому, что опера меня в конце концов увлечет больше, чем драма. Тут вы правы. Я не знаю, где только вы не правы. Я все еще во власти ваших идей и не знаю, когда от них освобожусь. Если вообще когда-нибудь освобожусь... Но это несущественно.

Итак — я должна написать, хотя пишу я плохо и знаю, что не выражу и десятой части того, что хочу сказать. Мне самой эти мои строки, после вашего письма, кажутся тусклыми и невыразительными. Но я надеюсь, вы поймете и то, чего я не могу выразить. Вы же меня понимаете и без слов.

Признаюсь, ваше письмо меня ошеломило. Говорю это не потому, что смотрела на наше короткое знакомство как на легкую игру и приятное времяпрепровождение. Я припала к вам сердцем и душой. Прицепилась, как репейник — вы могли делать со мной что угодно. Но я не думала, что я, простая, заурядная женщина, могу вас так глубоко и трагически увлечь. Ваше письмо потрясло меня. Я все еще не могу опомниться. Я еще не знаю, что вам скажу. Знаю только, что нам надо бежать. Дальше так нельзя. Ради нас обоих — но особенно ради вас.

Как мне вас убедить, что все, что я сейчас говорю и что мною решено, это только ради вашего блага. Поверьте, моя собственная судьба и жизнь занимают меня сейчас меньше всего. Бывают такие минуты, когда даже самый себялюбивый человек думает не о себе, а о другом, кто ему близок и дорог. Возможно, что это только разновидность себялюбия, но не берусь судить. И если приходится сейчас говорить обо мне, то только из-за вас. Вы меня знаете мало — несмотря на ваши большие способности познавать человека. По вашему письму я вижу, что вы во власти своего чувства и своей фантазии. Вы смотрите на меня сквозь призму своего вдохновения. Видите меня в радужных тонах. Я в ваших глазах мерцаю, как сказочная принцесса. Вы не видите, какая она будничная, простая, заурядная, эта женщина, на которую вы взираете, одев ее в вами же придуманное облачение.

Не бойтесь, я не стану себя намеренно принижать и уничижать. Прежде всего, я сама хорошо сознаю свои артистические возможности — и напрасно было бы отрицать это перед вами. Но речь не об этом. В вашем письме описывается женщина, ради которой вы готовы сломать свою теперешнюю жизнь, как трухлявое дерево. Ради нашего совместного будущего вы готовы отбросить свое настоящее как ненужную тряпку, а наше прошлое, прошлое нас обоих, стереть, как стирают мокрой тряпкой меловую надпись. С гордостью и сладким ужасом я сознаю, что это не просто лирические фразы. Свою жизнь и житие вы, словно ограненный драгоценный камень, кладете мне в руку. Я не могу бездумно завладеть им или легкомысленно бросить на землю. К счастью или к несчастью, я хорошо познала его ценность. Моя рука дрожит, и в глазах моих слезы. Я вне себя от гордости и страха.

Будь я в достаточной мере легкомысленна и безрассудна, я бы надела его, как украшение, на палец и хвалилась бы им на улицах и в кинематографах, как делают многие. Или будь одной из тех великих, гениальных женщин, душа которой заключает любимого мужчину, как хрустальный кубок пьянящее вино,— я бы вделала свой драгоценный камень в золотой медальон и на всю жизнь приковала бы его к своему сердцу. Но я не та и не другая. Я простая, заурядная женщина — и поэтому должна вернуть то, что мне дороже своей собственной жизни.

Мне не стыдно сказать вам, что вы не первый мужчина в моей жизни. Вы меня об этом не спрашивали, потому что вы выше этого. Вы не из тех сотен мужчин, которые смотрят на женщину, как на свою собственность и дотошно высчитывают, сколько им принадлежит из этой собственности. И я могу это сказать вам. О многом я не жалею. О многом глубоко сожалею, стыжусь и осуждаю себя. Но бывшее сделать небывшим невозможно. Ни одну минувшую минуту мы не можем перевести назад на циферблате времени, в этом трагизм нашей жизни. Поэтому я после всего пережитого стала рассудительнее. Я уже не могу полагаться на поток чувств. Я оглядываюсь на берег, от которого меня уносит. Я гляжу на полосу прибоя, откуда навстречу бегут белые волны. Я должна знать, куда я следую. В особенности потому, что я не одна. И в особенности потому, что другой — это вы.

Мы были вместе лишь несколько недель. Но для меня они равны долгим годам. Мне кажется, вся моя предыдущая жизнь тускнеет перед этими неделями. Потому и не могу переступить через них, как через те пустые годы. Что я от вас приобрела,

то не могу отбросить, как былые часы беззаботного веселья, как игривые пустяки, которыми полна вся моя предыдущая жизнь. Вы обещаете мне сделать всю будущую жизнь столь же полной и богатой. Я понимаю, чего это стоит. Но я не создана для этого. Я вынуждена отказаться — ради себя и ради вас.

Прежде всего ради себя. Для меня это звук чужой, когда я слышу о «всей жизни», «вечности» и тому подобных долгих временах. Я знаю, это в моей натуре и в характере. И поэтому-то мне кажется, что я слышу только красивые, поэтические фразы. Я знаю, вы не обидитесь, если я скажу это открыто. Я не верю ни в какие вечности. Я человек одного дня и не могу быть иной. Я бессильна против своей натуры. Такой я выросла и такой меня сделала моя профессия. Мне кажется, я меняюсь с каждой ролью, которую сыграю. От каждой у меня что-то остается. Порою мне кажется, что я пчела, порхающая с цветка на цветок. Я изменчива, как весенняя пора. Утром вы не можете сказать, что будет к вечеру. Вот и я не могу. В этой беспрестанной перемене — вся моя жизнь и ее глубочайший смысл. Я полевой жаворонок, который не вынесет тесной комнаты. Кто меня любит, тот не захочет заключить меня в клетку — пусть даже увитую благоуханными розами. Да и все это сладкое любовное рабство меня убьет. Кто хочет меня привязать на всю жизнь, тот готовит мне медленную смерть. Вы этого не хотите — нет, нет. Ведь я же вас хорошо знаю.

И это я говорю именно в ту минуту, когда все мое существо наполнено вашей любовью, как сладчайшим ароматом. Когда моя душа, как инструмент с только что натянутыми струнами, звучит от прикосновения чужого ветра. В ту минуту, когда и я всем рассудком и чувствами стремлюсь к вам и когда остаться с вами на всю жизнь кажется мне чем-то величайшим и прекраснейшим, что я только могу себе представить. Но при всем этом я знаю, что это всего лишь прихоть. Я не могу намеренно закрыть глаза и идти, не видя пути. Я плыву во хмелю — вашей и своей — нашей любви. Но я знаю, что любой хмель проходит, а потом остается долгое и тяжелое похмелье. И тогда единственное средство — искусственный наркоз. Но я еще не чувствую себя полностью опустошенной и усталой, чтобы понемногу и окончательно испортить свои нервы и приглушить свою жизнь. Я люблю жизнь больше всего и хочу жить.

И ради вас. Я хочу сказать — главным образом ради вас. Вы человек спокойной работы ума, идей и воображения. В своей поэзии вы революционер, и большой. В жизни вам нужна тишина, сосредоточенность и беспрерывный труд. Вам необходимо

иметь в себе неистощимый запас горючего. Вы должны гореть изнутри, вы не смеете сгорать снаружи ослепительным, уничтожающим пламенем. Вам необходимо вечно томиться ненасытимой, алчной и неутолимой жаждой. Это тяжело. Это трагично. Но в этом значение вашего искусства и вашей силы. Когда напиток выпит до дна, остается пустой, грязный и ненужный сосуд. Где все прогорело, там остается только зола, которую разносит ветер. Пустота — ваша смерть. В одном отношении вы ошибаетесь. Не реальное достижение — ваше счастье. Не завладеть всем обретенным, а вечно стремиться, томиться, добиваться и жаждать — вот ваша натура.

В ваше отсутствие я познакомилась с вашей предыдущей жизнью и работой. Вы не обидитесь? Я могу быть легкомысленной и ухнуть прямо головой в омут, если только на миг. Но если мне надо выйти в море, то я не могу оглядываться на берег и не видеть, что меня ждет в полосе прибоя. Я это знаю и заранее. Женщина, самая безудержная, не может не интересоваться, не стоит ли на ее пути другая. Я познакомилась с вашей женой, и это решило мою судьбу.

С самого начала скажу, что я не потому ухожу от вас, что у вас жена. Во мне нет ничего от обывательской морали. У своих, так называемых поклонников, я никогда не спрашиваю свидетельство о крещении или браке. Это их дело. Но на сей раз я не могла иначе. Я не могу смотреть на вас, как на первого встречного, который подвернулся мне на пути и уйдет, когда ему или мне надоест.

У вас есть жена, перед которой я стояла, полная ревности, зависти и стыда. Мне было стыдно не за то, что я непрошено вторглась в ее жизнь и попыталась присвоить то, на что у нее право первенства. Об этом мы не говорили, хотя я убеждена, что она знает. Ни одного упрека я от нее не услышала, не заметила ни одного неблагожелательного взгляда. Я сталкивалась с разными сценами и знаю, что это значит. Но мне было стыдно перед вашей женой за то, что я задумала занять ее место.

Впервые я вгляделась в бытовую сторону вашего существования и поняла, что значит женщина в вашем труде и жизни. У вас самая лучшая жена, какую вы вообще могли бы найти в мире. При этом я совсем не имею в виду, какова она для вас в практической жизни, как бы это ни было важно. Но какова как товарищ по работе и помощник. Как близкий человек, который знает все ваши замыслы и ход их воплощения. Которому понятны ваши взлеты и ваши падения, минуты всепоглощающего вдохновения и часы мрачной подавленности. Теперь я

понимаю, откуда вы так хорошо знаете женскую душу. В каждой строчке чувствуется ее живое дыхание. Ее глаза сверкают в ваших картинах. Биение ее сердца звучит в музыке вашего языка. Тем, что вы сейчас есть, вы обязаны ей. Вам когда-нибудь это приходило в голову? Вы, мужчины, так заносчивы и неблагодарны. Вы не цените тех сокровищ, которые ежедневно сыплются на вас золотым дождем. Вы бросаете все и устремляетесь к ничего не стоящей, сверкающей на солнце стекляшке.

И я могла подумать, что заменю ее! Я, в своем эксцентричном наряде и со своей эксцентричной, испорченной подмостками натурой. Экскурсантка, разгуливающая по чужим садам и беззаботно срывающая самые красивые цветы, которые кто-то другой с самой ранней весны заботливо выращивал и выхаживал. Нет, все-таки я ужасная эгоистка — и все-то мы такие. И мужчина-то мне нужен только для того, чтобы поставить на него ногу и шагнуть повыше. Девяносто девять из них и не стоят большего. Они чувствуют себя счастливыми, если каблук моей туфли становится на их шею. И надо сказать, что с них довольно этого счастья. Что они еще могут требовать? Но что-то пристает от этих рабов. Неуважение к женщине, ни на чем не обоснованное высокомерие, поверхностность и легковесность. Кто я такая, чтобы связать себя с вами и привязать к себе вас? Это же преступление. Это только на краткий миг — потому что только его и хватит для нашей увлеченности друг другом. Я не признаю никакой вечности, а вы не можете удовлетвориться коротким мигом безумств. Потом наступит пустота и страдание. Для обоих. Для троих. Не будем забывать о третьей,— вы-то в особенности не смеете этого делать...

В вазе на моем столе стоят розы. Я поставила их полураспустившимися. И вот они уже распустились и увядают. И каждый раз, когда я поднимаю голову от этого письма, опадает на стол лепесток. Я не знаю ничего более грустного, чем увядающий цветок. Мне пришло в голову, что так может быть и с нашей любовью. И в тысячу раз лучше, чтобы она умерла сразу в самом расцвете, чем постепенно завяла.

Но речь не о смерти! Сравнение с розой слишком чувствительно и неуместно. Мы просто оборвали связывающую нас нить. И у нас остался маленький клубочек шелка от тех незабываемо прекрасных дней, от короткой, обворожительной ночи — от всех пережитых нами мгновений. Я думаю, ни вам, ни мне — ни ей — не о чем жалеть. Уж мне-то во всяком случае. Я это хорошо знаю. Я, знающая рабов и помыкающая ими, научилась узнавать настоящего мужчину. Кто возвышает, тот не оскверн-

«Угли под пеплом»

няет паденьем в дол. Я ухожу, обогащенная пониманием жизни и ценности жизни. Я прошла по чужому саду, не сломав ни веточки, но моя душа полна цветов. Эти дни самые прекрасные в моей жизни. Я сохраню их, как дорогой подарок от вас. Мне хочется верить — я почти верю, что и вы сохраните в себе хотя бы крохотную частичку того, о чем пишете в своем письме. Эти четыре странички — самое поэтическое из всего, что вы создали. Для меня они тем дороже, что написаны именно мне. Я сохраню их как живую реликвию и буду доставать каждый раз, когда пробудится сомнение в своей значимости, в своей личности и в смысле своей работы.

Я выражаю вам величайшую благодарность. Вы сделали меня другим человеком. Более мыслящим, гордым и самостоятельным. Я знаю, я чувствую, что не способна больше опускаться до того уровня, где находятся все эти девяносто девять поклонников, ухаживателей и меценатов. Я уже не способна отдаваться какому-нибудь поклоннику, потому что вы придали мне цену в собственных глазах. Как будто я получила эту цену от вас, как будто я перед вами в ответе за это доверенное мне. Не беспокойтесь. Я сумею ее хранить. Теперь я понимаю, что значит искусство и какое счастье предаться ему всеми силами души. Я знаю теперь свой путь. Спасибо вам за это.

Ведь мы же расстаемся без ненависти и горечи? И не на век? Вы согласны? Мы еще встретимся как лучшие, задушевные друзья. Я все время буду следить за вашим творчеством, и мне будет глубоко приятно сознавать, что вы становитесь великим. И буду горда тем, что когда-то была вам близка. И вы увидите, что цветы в моей душе будут цвести и цвести и не перестанут цвести вдоль тех ручейков жизни, которые поют сейчас в моих жилах. На дорожках парка, на уличных булыжниках — вся жизнь не изгладит наших следов...»

1920

Обе оконные створки распахнуты настежь. За окном куст сирени, весь в синем цвету. Только с одной стороны видна зеленая, когда-то красивая, а теперь облезшая изгородь, а за нею проезжая дорога. Далее зелено-серое ячменное поле имения и лесная излучина.

Солнце пока низко. Дорога до половины еще в тени от дома. Но тень эта все ближе отползает к дому. Все ярче становится пятно поля, и чернота лесной опушки постепенно бледнеет. Уже можно отличить листву высоких деревьев от низкорослой молоди.

Усыпанная щебнем дорожка поскрипывает под ногами прохожих. Над дверью аптеки, в доме, в том конце дорожки, изредка звякает колокольчик. Где-то едут на лошади. Дребезжание повозки все ближе. Это не солдаты. Слышно, что тарахтит всего одна повозка. Телега — если вслушаться. Какой-нибудь мужик едет. Мало их теперь здесь ездит, в самый сев. На станции, верстах в двух отсюда, пыхтит и время от времени коротко и пронзительно свистит паровоз.

Вечерний ветер с запахом фиолетовой сирени легкими порывами вливается в комнату. Фиолетовые сумерки заполняют все помещение. То ли это от наружного освещения. То ли от охапок цветов, которые здесь повсюду наставлены. На книгах и бумагах, на большом, заваленном разными хозяйственными принадлежностями столе, на маленьком круглом столике, стоящем возле постели, на комоде, даже на подоконнике другого окна. Запах сирени не пьянит и не забивает все, он легкий и летучий, совсем как и ее цвет.

Екаб Берг сидит в своем передвижном кресле у открытого окна. Ноги его, по обыкновению, укутаны теплым полосатым пледом. Дни теперь теплые, после обеда так даже жарко — а они

зябнут. Все время зябнут, как плотно и тепло их не укутывай.

Екаб Берг не думает об этом. Привык. За двадцать три года ко всему привыкнешь. В руках у него книга, но он не читает. Так и лежит она на коленях. Он оглядывает комнату. На улицу он уже смотрел. Теперь осматривает комнату.

Комната жены для него почти чужая. Больше двух-трех раз в году он в нее не попадает. На стене увеличенная поясная фотография — они спустя неделю после свадьбы. Тогда у него еще были обе ноги... Он всегда избегает на нее смотреть. Но сегодня не смог удержаться. Сегодня надо и на нее посмотреть. Он смотрит на свое бодрое юношеское лицо и сравнивает его с отражением пятидесятилетнего мужчины, которое виднеется в открытой створке окна. Качает головой. Просто не верится. Черты вроде бы те же самые, только морщины на лбу и в уголках рта сделали лицо суше и строже. Изъеденный кусок известняка — вот что напоминает ему источенное годами страданий лицо. Буйные кудри поредели и присмирели. И на висках седина ох как заметна. Это у него-то, у которого отец умер в девяносто лет без единой сединки...

И отвернуться не может. Надо еще поглядеть.

Она, кого он двадцать лет держал привязанной к своей искалеченной жизни... Свежая, как несорванный розовый бутон. Стоит вон, заслонив одно его плечо, серьезная... Но лицо и глаза жизнерадостные, внутренняя счастливая улыбка, которую можно скорее подсознательно уловить, чем почувствовать, как запах от росистого цветка. И перед этим их портретом стоит большая узловатая сиреневая ветка в ее любимой вазе... Он вспоминает — каждый раз, когда его сюда прикатывают, перед портретом стоит ветка цветов... Наверняка припасенная специально для такого случая.

Екаб Берг не может долго смотреть на этот портрет. Чувствует, что это может нарушить его дорогой ценой купленное, величайшим трудом завоеванное душевное равновесие... С усилием он отводит взгляд и дальше оглядывает комнату. Комнату его жены, чужую и непонятную ему. Он живет, работает и спит в переделанном под лабораторию павильоне в углу сада. Здесь он чужой. Здесь у него такое же чувство, какое бывало раньше в приемной какого-нибудь профессора или другого светила.

Невольно он усмехается своим мыслям. Тонкие, стиснутые губы чуть изгибаются в усмешке. А в глазах тот же серый, холодный, болезненный блеск.

Заваленный стол с зеленой лампой. Его подарок — с тех времен. Бронзовый резервуар с рельефными рисунками чистенький, как вымытый. Видимо, эти привычки не проходят и с годами. Мещанские привычки, они самые цепкие. Хотя нет, — обрывает он нить размышлений. Даже и мысленно он не хочет ее обидеть. Ведь и он больше всего любит чистоту. Оглядывает свои руки. Прозрачные, словно восковые. Кое-где обожжены кислотой или едкими химикалиями. Кончики пальцев шершавые. Вдруг приходит неожиданная мысль. Он наклоняется вперед, насколько это удается, и разглядывает свое лицо. И оно с восковой желтизной, какое-то помертвевшее. Нет — в мутном зеркале окна не видны черные точки на лбу, которые так и не удалось вытравить. И белые, хорошо разгладившиеся шрамы вокруг глаз. Это после того несчастного случая, когда его сооружение из колб, трубок и банок разлетелось в мелкие дребезги. Все стены лаборатории были в стеклянной пыли. Зажжешь свет, потолок так и сверкает, точно сплошь утыканный иголками.

Но это уже было давно. А что прошло, на том и останавливаться нечего. Это болезнь, с которой только сам можешь справиться. О, он приучился бороться и закалился в борении со своими внутренними хворями. Точно стеклянную пробирку, воля его держит рассудок в крепких руках. И сливает оттуда навязчивое мысленное содержимое, как ненужную жидкость...

Видимо, все ящики стола опустошили. На педантично разложенные книги и вещи ежедневного обихода свалены груды каких-то бумаг и тетрадей. Никогда он их раньше не видел. Что она там может писать и хранить? А вон конверты, которые вроде бы когда-то видал. Целые груды писем разных размеров и цветов. С кем она переписывалась? В нем просыпается нечто вроде любопытства. Но какое ему дело? Что он, цензор своей жены? Соглядатай в ее жизни... и чувствах? Муж... обрубок человека. Человек в кресле. Человек на колесах,— как он иронически себя называет. Пока жизнь теплится в этих бренных останках, следует быть благодарным и за ту неслыханную милость, которая ему даруется вот уже больше двадцати лет. Благодарным за то, что эта цветуще-красивая, здоровая, полная сил женщина стольким пожертвовала ради него. Разве он может на что-то жаловаться? Разве ему чего-либо недостает? У него всегда чистое белье, подушка за спиной и тепло укутаны ноги. А ведь он видывал таких, которые шаркают по улице остатками своих ног и побираются. Доходное предприятие эти обрубки по сравнению с теми, кому приходится побираться, имея

здоровые ноги. Лучший кусок всегда ему первому. Нож для бумаги и карандаш всегда под рукой, когда надо разрезать новую книгу. В лаборатории вся посуда и приборы всегда на своих местах, и всегда до них легко дотянуться... Чьи-то ноги уже походили для него... Конечно, приятно сознавать, что у тебя ноги здоровые и ходить вместо того, кто сам не может двинуться...

Постель с простым, полосатым домотканым одеялом и одной подушкой. Единственная маленькая, тощая подушка в старой наволочке. Та расшитая, что у него за спиной, мягче. А эта специально, конечно же специально, положена на сегодня, когда сюда съезжаются посторонние. И коврика нет у постели, чтобы он поверил, будто раздеваясь по вечерам и вставая по утрам, она босиком ступает на пол. Как будто он не знает, что она холит свои ноги и бережет их от любой простуды. Он же помнит. В нем ведь живы все чувства. Голени зябнут. Но он ясно чувствует холод и в самых кончиках пальцев, ощущает толстую, нечувствительную кожу на подошвах... Насмешка природы эти живые чувства. Именно против этого он боролся все долгие годы. Но оно посильнее всей натренированной воли. Это его судьба.

На столике у кровати его последняя книга. Он видит — страницы разрезаны. Даже карандаш вложен. Чтобы было похоже, будто она только что читала. На столе под бумагами он углядел и обе свои старые брошюры. Там же наверняка и журналы, где напечатаны его статьи и выступления в дискуссиях. Хочет внушить, что она читает научные статьи, что начала интересоваться химией и социологией. Она, которая читала только беллетристику, интересовалась только новейшими сборниками стихов и в газетах прежде всего отыскивала фельетон... Просто зло берет от этого притворства.

Но тут же он спохватывается и берет себя в руки. Прежде всего потому, что привык держать себя в крепкой узде.

И стоит ли в конце концов волноваться, если ей хочется немножко похвастать своим известным мужем? Другие женщины своими мужьями козыряют в гостях, в обществе. На танцевальных вечерах и собраниях. Выводят их показать новые выходные костюмы, умение танцевать и дар речи. А где жене Екаба Берга появиться со своим калекой на колесах? Сиделка при больном. Двадцать лет прикована к этому креслу, еще крепче, чем он сам. Что же удивительного, что она постепенно привыкла козырять своей ролью страдалицы. Что любит поболтать со знакомыми о своем муже, который связан с мировыми светилами. Который переписывается с Хвольсоном, Мечниковым,

Тимирязевым, Плехановым, Бергсоном, Пуанкаре и Вальденом... Всем им необходимо похвастать своим мужем. Незамужние стараются перещеголять одна другую туалетами и числом кавалеров. Замужние хвалятся своими мужьями. Муж у них вместо шелкового платья и белых туфель.

Лицо его перекашивается от иронической усмешки. Такое бывает редко, только наедине. Он живет двумя жизнями. Одна с людьми, другая — в своем мире, в своей лаборатории и наедине.

А все же прохладно становится. Он тихо зовет:

— Льена, пожалуйста, зайдите сюда!

В соседней комнате откликаются. И тут же оттуда входит шустрая, здоровая сельская девушка, чисто одетая, в белом фартучке. В руках у нее полотенце. Верно, только что орудовала им. Стоя в дверях, она ждет, что он скажет.

Екаб Берг с минуту смотрит на нее.

— Как вы, Льена, сегодня принарядились. Совсем как на праздник.

По своему обыкновению, она пожимает плечами.

— Ай, да что вы!.. Это же у вас праздник. Гости из столицы... Надо же немного приодеться.

— А я бы все-таки советовал вам этот белый передник снять. А то уж очень вы смахиваете на горничную у какого-нибудь барона. А мы люди простые... Ну, ну, нечего сразу насупливаться. От этого морщины бывают. А вы для этого еще молоды.

— Простые люди... тоже скажете. А профессор из Петербурга? А молодой Берг? Они же ко всяким столичным тонкостям привыкли.

— Прежде всего, дорогая Льена, Арайс еще никакой не профессор, а простой ассистент. Ну, эту разницу, вы, надо думать, не различаете. А что касается моего сына... Словом, для нас они не бог весть какие господа. Не для нашего, а для своего собственного удовольствия приезжают... Где моя жена?

— Да не знаю толком, в кухне, верно. Или в аптеку ушла.

— В аптеку... да, это может быть. Почему бы ей не пойти в аптеку? Зьемелис ее давний знакомый.

— Да. Он уж нам тут помогал со всякой переноской да перестановкой. Наверху-то комнатка совсем пустая. Кушетку туда перенесли из столовой. Вторую кровать у Зьемелиса взяли.

— Многовато, многовато переноски... Но если моей жене так нравится... Как видите, я вам ничем помочь не могу. Весьма сознаю свою вину, но ничего не могу сделать... Я хотел вас по-

просить откатить немного мою колесницу от окна. Что-то мне зябко. То, что у меня еще зовется ногами...

— Сейчас...— Она быстро подтыкает плед поплотнее и берется за спинку кресла.— Куда вам лучше?

— Если можно — туда, между столами. Так, так. Здесь я могу дотянуться до одного и до другого... Сколько тут бумаги навалили.

— Мне было приказано все ящики вытереть. А барыня сама, сказала, обратно уложит.

— Да, да. Благодарю, Льена. Вы можете идти.

— Если вам что надо, вы кликните. Я рядом буду.

Екаб Берг с минуту смотрит на один стол, на другой.

Потом берет со столика свою книгу. От этой слабости он еще не отвык. Приятно видеть свою книгу на чужом столе. «Пути культуры...» — теперь ему самому кажется, что это броское название неуместно. Слишком неопределенно и замаскированно. Почему бы открыто и определенно не сказать, что думаешь?.. Но это старая история. Об этом он не хочет думать.

Он листает свою книгу. Брови с легкой иронией ползут вверх. Все страницы испещрены замечаниями. Подчеркивания и отчеркивания, отсылки на разные места в его собственных и чужих трудах. Помечены страницы из работ тех ученых, которых он упоминает, на которых ссылается или с которыми спорит. Оттуда выписаны целые фразы, рядом с его положениями и выводами.

Так, со вздернутыми бровями, он качает головой. Нет, этого он не представлял. Довольно много нужно усилий для жены химика и социолога, чтобы показать миру, что она интересуется трудами своего мужа. Что и ее доля тут есть... Он отчетливо представляет, как она, встречаясь или прогуливаясь со своими знакомыми, с умным видом рассуждает о химии и социологии... Я... мой муж... Мой муж... я...

Он сердито швыряет книгу обратно на столик.

Ну, а эти бумаги и тетради на большом столе? Никогда он не шарил на женином столе. Какое у него на это право! Никогда не интересовался, что она делает и с кем переписывается. Неужели он должен контролировать ее знакомства и связи? Разве ей и без того не хватает возни с ним? Надоело, просто опостылело. Только из трусости и непростительного эгоизма приковал он этого цветущего, здорового, жаждущего жизни человека к своим немощным останкам, к своему креслу. Об этом он жалеет каждый день — и в то же время испытывает какое-то

удовлетворение от этого сожаления. Самообман — надежнейшее прикрытие трусости.

И все же его интересуют эти тетради и пачки писем. Он же может на них взглянуть — как невежественный архивариус, который способен только разбирать заголовки, но для которого содержание, выраженное на чужом языке, недоступно.

Вот эти письма — бережно сложенные, крест-накрест перевязанные ленточкой... А, да это же его собственные, писанные в молодости, когда был еще женихом... В те времена, когда оба были молодые, здоровые и красивые, когда от одного наивного приветствия в глазах появлялись счастливые слезы. Но кто об этом думает в инвалидном кресле и на склоне лет. Только сентиментальное малодушие подступает к сердцу. И какое это имеет значение? Он кладет пачку обратно. Пусть лежит. Когда он со своим креслом и остатками ног отправится туда, где ему уже давно уготовано место, вот и этим она сможет похвастать. Когда всякие рецензенты будут писать некрологи, смотришь, и имя жены упомянут. И чем чаще, тем лучше. Кое-что из этих писем она сможет предложить для газет. Целую неделю его и ее имя будет знать весь народ. И она будет расхаживать с траурной вуалью на шляпке и всем показывать свое скорбное лицо. Не так уж плохо быть скорбящей вдовой знаменитого человека. Это порой привлекает больше, чем самая кокетливая улыбка, эксцентричные наряды и золоченые туфельки...

Прозрачные пальцы, нервно корчась, впиваются в край полосатого пледа.

А вот на этих письмах знакомый почерк. Ах да — это же письма от Арая! Да, да. Ведь друг его молодости и ее друг. Но сколько их! Сотни писем. Ну, конечно, разве мало было пережито ею страданий за эти двадцать лет ухаживания за калекой, за двадцать лет рабства... В этих конвертах дружеские утешения и ответы на ее горькие жалобы и упреки по адресу несправедливой, безжалостной судьбы. Это понятно. Становится легче, если поведать свои мучения понимающему другу и услышать сочувствие и благостное утешение.

На время он даже замирает. Закрыв глаза, чувствует, как холодная дрожь пробегает где-то внутри.

Да, и в журналах его статьи читаны, все в подчеркиваниях и пометках. На что только не способна женщина, вынужденная проводить время взаперти, без радостей и развлечений! Но разве он отказывал ей в этом? Разве сам не уговаривал ее пойти, когда неподалеку давали какое-нибудь представление или увеселение? Но и не препятствовал играть роль добровольной муче-

ницы. Да и как бы он мог? Что он вообще может? Должно быть, это куда интереснее. Поди знай. Что вообще можно знать о женщинах?

Он дотягивается и берет сверху одну из тетрадей.

Недоуменно смотрит. Это же подробнейшее описание его лаборатории. Полка за полкой, прибор за прибором и сосуд за сосудом. Все иноязычные названия приведены без единой ошибки. Все точно в том порядке, как расставлено и как он привык. Ясно видно, что тетрадью часто пользуются. А в конце разные пометки насчет кислот, растворов и приборов, выписанных или которые еще надо выписать, отмечено, что подходит к концу и что скоро надо заказывать. Адреса фирм, каталоги и цены...

Нет, это он отказывается понять. Какой, однако, афронт! Он-то думал, что жена живет своей жизнью, а его жизнью интересуется только ради приличия. Но эта тетрадь... и все прочее... говорит, что она гораздо глубже и интенсивнее жила его работой. Даже кажется, что она, время от времени помогая при опытах, слишком даже хорошо знала устройство лаборатории и ее содержимое.

Неужели с той целью, чтобы после его смерти иметь возможность заявить, что и она принимала участие в этих опытах? Значит, вот как далеко может зайти женское коварство и честолюбие? Ну нет, что-что, а так дурно он о своей жене думать не может. Просто она слишком вжилась в свою роль сиделки и помощницы. Со временем появился вкус к работе, в которой она ничего не понимала. Просто сознательно отдавалась этой ерунде, чтобы заглушить естественное стремление здоровой, цветущей женщины к жизни и наслаждениям. Ведь она же вся во власти мелкобуржуазной морали и старых брачных традиций. Просто нет смелости уступить своим инстинктам, чтобы не лишиться в глазах общества звания честной, способной на самопожертвование и несчастной жены. Вот в чем настоящая причина.

И все же как-то не по себе. Как бывает, когда замечаешь, что убежденность, за которую цепко держался двадцать лет, стоит на песке. Когда, возможно, и никакого оправдания нет подозрениям в адрес многих знакомых и друзей на стороне, вне его дома. Не по себе, как любому, у кого вдруг идет прахом долго вынашиваемый и обстоятельно выполняемый труд.

Он берет маленькую, в серой обложке, книжечку и смотрит на название. О, это он сразу узнает. Книжка городской ссудосберегательной кассы. Ее им дали, когда он двадцать лет назад, сразу же после этого несчастья с ногами, получил от своего помощника первый взнос за аптеку и велел положить в сберега-

тельную кассу на имя жены. Весь выкуп за аптеку должен был быть внесен на имя жены, чтобы та была обеспечена на старости, после его смерти. Девять тысяч — этого ей должно хватить. Пока жив, можно обойтись и тем, что есть дома, и небольшими гонорарами, на которые он рассчитывал.

Он знал, что Зьемелис делает свои взносы,— хотя и не так аккуратно, как было предусмотрено соглашением. Двадцать лет. И вот она будет владелицей капитала. Теперь обеспечена и без него. Да, да. Удачно совпало. Как раз вовремя. Да и все-то происходит вовремя.

В этом у него твердая уверенность, тут он фаталист. Он торопливо кладет нераскрытую книжечку обратно на стол. За дверью слышатся шаги Зьемелиса. Даже известно, зачем он идет. Все идет так, как должно идти.

Зьемелис уже тут. Бодрый, здоровый человек средних лет, со светлыми усами и в золотых очках. Как всегда предупредительный и опрятный. Берг хорошо видит, как тот настороженно взглядывает на него. На губах обычный вопрос: ну, как здоровье? Но спросить не смеет. Он отучил его от этого дурацкого, пустого и ненужного вопроса и вообще от бесконечных забот к его бренным останкам. Его так называемое здоровье ни для кого не является секретом. Какое это имеет значение — немножко лучше, немножко хуже. Почему они считают непременным каждую минуту напоминать ему, что он болен? Только для того, чтобы он не забывал, что никогда не будет здоровым? Но это он знает и так. Слишком хорошо знает. Так зачем же этот невысказанный вопрос, который все равно можно прочитать в его глазах?

Сегодня он особенно зол — и на себя и на других. И поэтому предупреждает собеседника. Голос звучит суше и насмешливее обычного.

— Ну, как у тебя со здоровьем, аптекарь?

Тот улавливает иронию, но сдерживается. Берг замечает и это и раздражается еще больше.

— А что там здоровье. У меня его с избытком...— Отрешившись от неприятных мыслей, тот бодро подходит ближе.— А я с приятным сообщением. Хорошо, что как раз в этот день, когда у вас что-то вроде праздника...

Берг пожимает плечами.

— Вот и я гляжу, похоже канун праздника: пыль во всех комнатах смахивают. Только догадаться не могу, что за праздник. Троица уже две недели как прошла...

— Да ладно тебе. Твой лучший друг приезжает спустя десять лет. И сын через два года...

Берг равнодушно смотрит в окно.

— Право не знаю, такой ли уж это торжественный случай. К тому же они всего лишь проездом. Я слышал, что в какое-то путешествие отправляются.

— И я это слышал.

— Ты вообще удивительно хорошо информирован в наших семейных делах. Ну, ну, ладно. Я же ничего дурного не имел в виду. Такие близкие соседи, все равно что в одной квартире живем... Да, в путешествие. Путешествовать приятно. Я сам помню, как это бывало, когда был здоровый и сильный. Полсвета мог за время вакаций облететь. Не понимаю, как ты можешь в своей аптеке годами безвылазно сидеть. Пусть помощник эти порошки развешивает. Кассирша и без тебя с копейками управится. А ты поезжай на мир поглядеть.

— Я человек комнатный... И, кроме того, не могу сейчас. Как начали мимо войска проходить, я считаюсь мобилизованным и все время должен быть на своем месте... Ну, я к тебе с другим.

В руках у него появляется пачка кредитных билетов. Он протягивает ее Бергу.

— Сегодня я могу окончательно рассчитаться. И мне приятно, что именно сегодня.

— Неплохо, что как раз сегодня. У моей жены будет порядочный капитал. Я думаю, она не сможет сказать, что я о ней не думал,— разумеется, насколько было в моих силах. Теперь она сможет жить независимо... А деньги ты отдай прямо ей. Это же ее собственность. Как ты думаешь, на девять тысяч теперь можно прожить?

Зьемелис мнется.

— Я не знаю, есть ли у нее эти деньги...

— Разумеется, этого ты не можешь знать. Но я знаю.— Он похлопывает по книжечке, лежащей на столе.— Каждый взнос положен на проценты с процентов. Она не может сказать, что я о ней не думал. Что я эгоист и забочусь только о себе, как все калеки... И ты теперь полновластный владелец аптеки. Желаю удачи... Ты не знаешь, где теперь моя жена?

— Когда я входил, в кухне разводила огонь.

— Да, да. А до этого была в аптеке.

— В аптеке? Сегодня я ее там не видел.

— Да. Сегодня у нее много дела. Ну, еще зайдет. Вы же хорошие друзья. Скажи, почему так случилось? Почему она загубила свою цветущую жизнь, превратившись в сиделку?

Ведь она могла бы быть аптекаршей и помогать тебе развешивать порошки и получать деньги.

— Зато она помогает тебе развешивать химикалии и приводить в порядок лабораторию. Но не будем говорить об этом. Ты вообще сегодня что-то разговорчив. Это необычно.

— Это потому, что у нас сегодня праздник. Но ты прав. Не будем об этом. Лучше об этом поговорим потом. Сегодня мы еще о многом поговорим... Скажи... Да, что бишь я хотел сказать? Ах да, ты хорошо помнишь моего сына?

— Валдиса? Думаю, да. Хотя прошло уже несколько лет как не видел его.

— Ровно два года. Два года, это основательный промежуток времени в жизни взрослого человека. Мне кажется, он изрядно переменился.

— Надо думать. Но изрядно ли, не знаю. Не считаю. У него, кажется, твердый характер.

— Твердый характер... Ты думаешь, что у мужчины, воспитанного женщиной, может быть твердый характер.

— Анну нельзя отнести к обычным, легковесным женщинам. У нее у самой твердый, уравновешенный склад. И, кроме того, Валдис до двадцати лет рос с вами обоими...

Берг слышит в его реплике только одно.

— Анна... Как хорошо, что у нас по соседству такие интимные друзья. И ты хорошо изучил характер своей жены. Право, если бы меня спросили, я бы даже не смог ответить. И все же, как бы там ни было, я считаюсь ее мужем...

Взгляд его как будто слегка покалывает. Он не отводит его от Зьемелиса. Аптекарь мнется и не знает, что ответить.

Но Берг и не ждет никакого ответа. Он знает его про себя. И вот он опять смотрит в окно и говорит. Разговорчив он сегодня, это он сам сознает. Верно, из-за праздника.

— Может быть, это и странно, но я и сам чувствую сегодня небольшое волнение. В мои годы и в моем положении человек уже давно должен быть выше этого. Мне казалось, я и был выше. Но старая слабость сидит где-то глубоко-глубоко и вылазит, когда мы меньше всего думаем о ней. Потому я сегодня и болтаю, как старая баба... Валдис, говоришь! И насчет характера его. Может быть, ты и знаешь. Я — нет. Похоже, что вообще ты больше моего знаешь о моей семье. Я ограниченный человек. И сам-то себя, как погляжу, не знаю. Ничего не знаю о характере своего сына. И все же знаю. Как линии на своей ладони, вижу, какого он склада. Я могу только наблюдать. На его воспитание я не оказывал ни малейшего вли-

ния. С ребенком надо жить вместе и спать рядом. Воспитывающее и формирующее воздействие имеет только жизнь и пример — незаметный, систематический, неослабный, минута за минутой. Разве я мог привязать его к своему креслу? И воспитывать морализаторскими сентенциями и прочими пустыми словами? Это же смешно. На это у меня ума хватает. Потому-то я и доверил его матери. По сути дела, он только ей и принадлежит. Я тут всего лишь случайный фактор. Преступный фактор, если можно так выразиться... Не спорь, я знаю, что говорю. Социальный психолог и моралист могли бы почерпнуть хорошую тему для поучительного и назидательного сочинения... Но что я хотел сказать? Да. Я не принадлежу к тем блаженненьким, которые обычно восторгаются своими сыновьями и ждут от них бог весть чего. Я знаю, что у умного человека сыновья всегда менее одаренные и уравновешенные... Тут опять тема — законы биологии и психологии. Но оставим научные темы... Скажи, аптекарь, может ли женщина воспитать настоящего мужчину? Разве она у меня воспитатель? Каким может вырасти мужчина, если мать его сызмальства балует, если им руководит женский характер? Я же видел, с ранних дней, устремления и интересы этого заурядного, здорового, нормально развитого мелкобуржуазного ребенка. Учился хорошо, охотно читал приключения, охотно играл в солдат и извозчиков — как все, как все. Любил красивую одежду и сладости. Как все дети в его годы. Но поелику в этом захолустье он не мог приобрести всех необходимых для бюргерских юношей манер и прочих качеств, пришлось ехать в столицу — ради гимназии и университета. Арай высокоученый человек. И у него непременно имеются связи в хорошем обществе. Он порядочный человек и, к несчастью, мой преданный друг. И в немногих своих письмах он каждый раз сообщал что-нибудь о Валдисе. Несомненно, благодаря его внушению сын посылал мне длинные письма, в которых было больше сердечности, чем я могу вынести, и пространные описания общественных настроений и студенческих беспорядков — как будто ему до этого есть какое-нибудь дело... Но вот здесь я впервые вижу сотни писем Арая. И Валдиса. Мне доставалось только охвостье из сочувствия и ради приличия. Ах, я уж и за это благодарен! Все знаю, все понимаю и большего не хочу. Для калеки должны быть дороги даже и остатки здоровой, сильной любви. Это же самое дорогое из всех подачек. Мы, калеки и нищие, далеко не так не благодарны, как нас часто представляют. В особенности мы, интеллигентные нищие...

Зьемелис опирается на заваленный стол. Руки его нервно шарят по краю стола. Лицо багровеет, на нем ясно видны гнев и сожаление.

— Что это за разговор! Что за бессмысленные, неумные умствования! Что с тобой сегодня? Ты нездоров?

Берг сухо, деланно и неприятно смеется.

— К сожалению, если не принимать в расчет эти обрубки ног, я вполне здоров. Здоровее, чем когда-либо. Калеки, они ведь жилистые. Ты не замечал?.. Неумные умствования — ты знаешь, это не так уж плохо сказано. Ты становишься каламбуристом.

Но Зьемелису не до надуманных шуточек. Он глубоко уязвлен и выведен из себя.

— О своем собственном сыне так отзываться!

— О сыне своей жены — преимущественно. А что это ты с такой щепетильностью относишься к вопросам, связанным с моей семьей? Не будь ты таким близким соседом и будь я более мнительным — наши отношения легко могли бы принять довольно пикантную окраску... Ну, ну, не взвивайся сразу же. Ты знаешь, я не поэт, а ты... Ну, ладно. О чем бишь мы говорили? Ах да! — о моем сыне. Я так хорошо могу его представить. Ты потом сможешь сравнить, насколько сильна у меня фантазия и насколько верно она все отображает. С закрытыми глазами я вижу его как живого. Стройный, румяный, пухлые щеки. Нынешнее учащееся поколение ни в чем себе не отказывает. И богатые дядюшки не скупятся в своей роли меценатов... Белая тужурка, до горла застегнутая на все золотые пуговки, без единого пятнышка, без пылинки. Синие брюки в обтяжку и идеально начищенные сапоги. Любит порядок нынешняя молодежь. И времени у нее хватает думать о начищенных сапогах и белых платках. Свойства, необходимые для хорошей карьеры...

Зьемелис уже не пытается скрыть свой гнев. По обыкновению, снимает очки, протирает их пальцами и надевает снова. Стекла, конечно, тут же затуманиваются. Он весь подается вперед, и его близорукий взгляд, и вся поза придают ему довольно угрожающий вид.

— А я говорю: ты бредишь! Чистый бред. Если бы не мое сочувствие к тебе... не будь ты больной, я бы тебе сказал кое-что...

Берг прикрывает глаза, выражая на лице апатию, сменившую минутное возбуждение.

— В том-то и беда, что я больной. Калека. И как больного

вы считаете нужным пичкать меня только особыми капельками. Что вы на самом деле думаете, этого вы не говорите. Это я сам должен догадываться — и догадываюсь лучше, чем вы предполагаете.

Зьемелис с трудом сдерживается. Сочувствие все-таки пересиливает возбуждение и гнев. Голос его снова становится спокойным и мягким. Только чуть-чуть дрожит.

— Тебя послушать, так ты живешь среди врагов или заговорщиков. Все строят против тебя какие-то козни. Разумеется, я не могу сказать о себе. Я здесь человек со стороны, не могу тебе ни помочь, ни повредить. Но к своим ты несправедлив. Тут я должен открыто сказать: к своей жене ты глубоко несправедлив. Больше, чем она тебе сделала добра, никто не смог бы сделать. И к своему сыну. Откуда у тебя такие низкие и необоснованные подозрения? Неужели ты уже не помнишь Валдиса — когда он был здесь два года назад?

— У моей жены с сыном сильные заступники. Только не ко времени. Я не жалуюсь и не обвиняю. Если ты так понял, то понял превратно. На что мне жаловаться? Я не из неблагодарных и не забываю ни единой крошки, упавшей мне с полного стола. Я не о себе — о них говорю. Наша молодежь должна быть более живой и глубокой, чем были мы. Сейчас время, когда на чаши весов брошены судьбы мира. Сейчас не время думать о карьере и лакированных сапогах. Вот здесь,— он хлопнул по своей книге на столике,— я попытался показать пути человеческой культуры в прошлом и предположительное ее направление в будущем. Молодежи предстоит там идти во главе всех. Но разве это поможет? Чем тут могут помочь слова, когда молодежь уходит в устройство своей личной жизни и думает только о карьере? Разумеется, не она, а мы сами больше в этом повинны. Это от нас она все впитала и усвоила... Ты не знаешь, куда это он собирается путешествовать?

— Откуда мне знать, если даже вы не знаете.

— Да, да — прости. У меня такое дурацкое предположение, что ты о нашей семейной жизни знаешь лучше моего... Я думаю: в Крым или на Кавказ. Чудесная природа и повеселее. Именно в такое время увеселения всего приятнее... когда на полях сражений миллионы схватились в смертельной битве, когда весь мир бурлит, как гигантский котел... Ты уже уходишь?

— Да, мне пора.

— Тогда, будь добр, подвези мой экипаж к окну. Оттуда хоть немножко виден мир.

Зьемелис легко подкатывает кресло к окну и уходит.

В соседней комнате он сталкивается с женой Берга. Красная от работы и кухонного жара. Нарядно одетая, бодрая и свежая. Радость ожидания дорогих гостей видны в ее серьезном лице и решительных движениях.

— Как он там? — И она кивком указывает на свою комнату.— Меня не звал?

Зьемелис, раздраженный и молчаливый, смотрит мимо нее. Потом протягивает ей пачку денег.

— Это тебе — последние. Вот мы и в расчете...

Она с какой-то злостью стискивает деньги в кулаке.

— Была нужда именно сегодня...— Она поворачивается и идет к мужу.

Берг смотрит в окно. Анна берет стул и присаживается к его ногам.

— Тебе не холодно? — Она пытается поправить плед вокруг ног, но отстраняется от раздраженного жеста.

— Скоро уже должны быть,— говорит Берг, не взглянув на нее... Голос у него куда суше и отчужденнее, чем когда он говорил с Льеной и Зьемелисом. Лицо точно такое же — замкнутое и безразличное, с восковой желтизной, какое-то высохшее.— Ты не знаешь, куда хоть они едут?

— Нет, об этом Валдис не писал. Ты же читал письмо.

— Да. Но я думал, что, возможно, он в другом... А, все равно. Это мне тоже ни к чему знать. В Ялту или в Пятигорск — все равно. Всюду хорошо... Хорошо, что ты зашла. Мне с тобой надо поговорить до их приезда... Скажи, а ты не хотела бы тоже поехать — ну, скажем, на какое-то время уехать отсюда?

Румянец на ее лице мгновенно потухает. Она инстинктивно выпрямляется. Настораживается, как косуля, услышавшая вдали подозрительный шорох.

Он замечает это. От него ничто не ускользнет, хотя он и смотрит мимо. И он криво усмехается.

— Только прошу тебя без околичностей и осторожностей. Я калека, но не больной, как полагает Зьемелис. Правду я могу перенести в любое время. Я бы и сам хотел, очень хотел бы, чтобы ты поехала с ними.

— Не говори глупости.

— Все-таки уклоняешься. А я было надеялся, что договоримся без долгих объяснений. Это же так необходимо и тебе и мне. Почему ты не можешь сказать прямо, что хотела бы поехать с ними?

— Ты только что сказал, что этого ты хочешь.

— Не отрицаю. Но пойми, что решится это только благодаря твоему желанию.

— Тогда я уже давно решилась.

Ее беспокойный взгляд на миг задерживается на его лице. Он явно недоволен, и ему не хочется говорить об этом.

— Зьемелис сегодня заплатил последние, так?

Анна кивает на стол, куда брошены деньги.

— Ну вот у тебя на книжке и девять тысяч. Это порядочный капитал. Широко жить ты не привыкла. Тебе довольно. Отдых ты за эти двадцать лет заслужила. Немножко жизни, немножко солнца. Надо пользоваться временем, пока есть сила, здоровье и радость жизни. Ты должна поехать с Валдисом.

— Должна... Вечно этот императив. А как же ты один?

Он морщит лоб от иронии, которая явно слышна в ее голосе.

— Ах, позволь уж мне как-нибудь управиться самому! И потом — мне поможет Льена.

— Значит, вот зачем нам приспичило взять эту Льену, хотя она совсем не нужна! Может быть, поэтому мне и эти деньги за аптеку надо было каждый раз аккуратно нести в кассу?

Берг кивает.

— Ведь ты же не считала меня таким деспотом, который решил на всю жизнь приковать тебя к инвалидному креслу. Загубить цветущую жизнь из-за этих бренных останков! Не отрицаю, я эгоист — как все уроды и калеки. Но не мерзавец! Так плохо обо мне ты не должна думать. Мне жаль только, что я не мог раньше тебя освободить. Что так долго тебя изнурял. Но ты прости. С кем судьба поступила безжалостно, те еще безжалостнее поступают с другими.

Своими чистыми, полными боли и блеска глазами она долго смотрит на мужа. И улыбается так, что у того мурашки пробегают по спине.

— Кончим эту пустую болтовню. Скоро гости приедут.

Она встает и разглаживает свое платье.

— Ты не хочешь! Нет? Ну, тогда я хочу. Пойми, мне нужно хоть какое-то искупление за то преступление, которое я совершил, так долго терзая тебя. Теперь, когда ты материально обеспечена, я могу искупить хотя бы часть своей вины. Я так хочу!

Он отворачивается еще больше. Не может вынести этих глаз, которые убивают его своей чистотой.

— Я тебе надоела? Я для тебя такая плохая? Ты хочешь от меня избавиться?

И тут она замечает влагу в его твердо-стальных глазах. У нее и у самой слезы в глазах, но она улыбается, с безграничной жалостью глядя на мужа. Ждет, что он ответит. И чем тяжелее в ней внутренняя борьба, заметная по морщинкам возле рта и на лбу, тем больше наполняются слезами ее глаза и улыбка делается сердечнее.

Но он уже справился со своим внутренним состоянием. Глаза у него по-прежнему холодные и голос сухой и отчетливый.

— Если тебе так угодно — да. Надоела. Ты думаешь мне помочь, а только мешаешь. Так нам обоим будет лучше. Теперь, когда ты материально независима...

— Да, да... — говорит она, оскорбленная до глубины души. Голос ее слегка дрожит от обиды и боли.— Моим желанием всегда было стать материально независимой от тебя. Мое единственное желание. Я скопила большой капитал.

Она берет со стола сберегательную книжку и сует ему в руки.

— Посмотри, посмотри! Там не только то, что Зьемелис платил за аптеку. Благодаря всяким мелким сбережениям я сколотила сумму куда более значительную. Копейку к копейке складывала, пока наконец не стала богатой и независимой от тебя. Все эти двадцать лет я больше ни о чем и не думала.

Берг протягивает книжку обратно.

— Нет, ты посмотри. Тогда увидишь, что мы думаем об одном.

Он нехотя перелистывает книжку. Пальцы какие-то нервные. Толстые листочки похрустывают под ними.

— Что это значит? Я вижу, пятьсот рублей на первой странице. Да и те потом сняты. Только двадцать пять копеек осталось. А дальше — пусто... Где же остальные деньги?

Она смеется сквозь слезы.

— Да, да, спроси, где остальные. Нет! Двадцать пять копеек — вот мой капитал.

С минуту он молчит. Глаза его зло сверкают из-под длинных ресниц.

— Неужели... он все растранжирил?

— Кто — он?

— Валдис... Неужели он не мог сам зарабатывать? В мое время студент умел себя содержать. Или белые тужурки и лакированные штиблеты так вздорожали?

Она слушает, стиснув кулаки, и не верит. Кажется, что говорит кто-то чужой. Но нет, какие тут сомнения. Это он — отец...

— Ты болен. И гораздо тяжелее, чем мы полагали... Сколько стоят белые тужурки и лакированные штиблеты, я не знаю. Но сколько химикалии, приборы, книги и атласы, это хорошо знаю. Очевидно, лучше тебя...— Она хватает со стола какую-то тетрадь и листает перед его лицом.— Здесь последний золотник записан. Я предчувствовала, что когда-нибудь придется давать отчет.

Берг сереет больше обычного.

— И ты хочешь сказать, что все твои деньги ушли на мои нужды?

— Мои деньги и твои. На мои и твои нужды. Гонораров, на которые ты хотел жить, не хватало и на журналы. Кроме тех пятисот рублей, которые надо было дать Валдису при поступлении в университет, все остальное растранжирили мы сами. Потом он ни копейки не получил. Зарабатывал уроками и переводами.

Книжка выскальзывает на пол. Прозрачные пальцы нервно теребят край пледа.

— А что я буду считать? Что я за ревизор? Ну и хорошо. Значит, мы одинаково думали. Вот и еще унижение. Мало сознания, что я, калека, тебе в тягость. Да еще твои последние гроши надо было растратить. Ты отняла у меня последнюю возможность хоть как-то облегчить тяжесть преступления, которое двадцать лет лежало на моей совести. Ты навечно сделала меня убогим, нищим и своим должником. Зачем ты поступила так безжалостно!

— Ты болен, Екаб. У тебя мания самоунижения и самоуничижения. При чем тут твое и мое? Разве мы не одно целое? Разве твоя работа, это и не моя работа? Разве не прожила я с тобой одной жизнью и не была счастлива? Почему ты беспрерывно думаешь о моем несчастье, когда тут ничего нельзя изменить? Мы не можем изменить свою судьбу. Надо смириться и жить. При всех несчастьях жить так прекрасно.

Он уже овладевает собой. Смотрит спокойно и холодно.

— Ты говоришь, как должен говорить каждый здоровый, жизнерадостный человек. А я калека, и у меня свои мысли. Я не могу не думать, почему не подстегнул лошадь на секунду, на полсекунды раньше, тогда бы поезд не сшиб меня на переезде. И о том, почему я сразу после этого несчастья не дал тебе свободу. Не избавил тебя от бессмысленной обязанности

быть женой калеки и сиделкой при вечно больном. Твоя загубленная жизнь на моей совести...

Она смеется сквозь слезы, боль и восторг.

— Ребенок... Ты ребенок! А разве тогда ты не хотел этого и не делал попыток? Все твои попытки, как от каменной стены, отскакивали от моей железной воли. И я об этом не жалею. Нет! Эти двадцать лет остались в моей памяти как что-то красивое и богатое. Я горда и счастлива, что прожила их с тобой, за твоим трудом. А ты еще говоришь о загубленной жизни... Ребенок!

Но он остается при своем мнении. Словно камень в трясине, залегла в голове его одна-единственная мысль.

— Женщины любят романтику и самообман. Но что самообман может зайти так далеко, я не представлял. Не в счастье, а в иллюзии счастья прожила ты эти годы. Пора пробудиться. Хоть и поздно, но пора. Здоровье и сила стремятся к здоровью и силе. Это естественное стремление. Я должен исправить свое преступление — хоть и поздно. С этого дня ты свободна. Ты можешь ехать с ними или делать, что хочешь. И все законные мотивы для нашего развода имеются. Формальности легко уладить.

Она вытирает глаза, но все еще улыбается.

— Чистый ребенок — при всех твоих годах и знаниях. И ты хочешь, чтобы я поверила всему, что ты тут наговорил? Чтобы поверила, что ты это серьезно думаешь? Скоро гости прибудут. Я прошу тебя, брось эту ерунду. Они могут неверно понять то, что мы оба так хорошо понимаем.

Но от этого увещевания и этой улыбки Берг снова теряет самообладание. На виске его бьется синеватая жилка, стиснутые губы дергаются.

— Я вижу, что и ты неверно понимаешь. Ты говоришь ерунда, а я так серьезен, как бывают серьезны, глядя смерти в глаза. Мое решение не изменить ни улыбками, ни слезами. Мы должны расстаться, и мы расстанемся. Разумеется, без ненависти и без шума. Мы же можем сделать это так, что никому не бросится в глаза, никто даже не заметит. Год-другой, и никому в голову не придет, что что-то произошло. Да и какое им дело?

— Ничего не произошло и не произойдет. Пока я жива...

Она делает движение, словно собирается наклониться к нему. Во всей ее фигуре такая тяга к нему, что ему приходится собрать все силы, чтобы холодным жестом удержать ее.

— Ты вынуждаешь меня. Я хотел быть деликатным и не упоминать об этом. Ты же не можешь сказать, что я тебе или кому-либо иному давал понять, что я знаю. Но ты сама вынуждаешь. Так что не жалуйся и не ставь мне это в вину.

Она отступает, словно ожидая удара. Отступает, отступает, пока не припадает к стене. И остается в этой странной, неловкой позе. Ей просто тяжело говорить.

— Ты знаешь? Что ты знаешь?.. Что ты хочешь сказать?

Он вскидывает голову.

— Ты испугалась? Чего же? Неужели ты действительно была настолько наивна и полагала, что я ничего не вижу и не понимаю? Глаза-то у меня здоровые и рассудок тоже. Тут не надо быть химиком, социологом и психологом, чтобы понять это. Ты в свои сорок лет еще здоровая и молодая женщина. Он вполне приличный человек. Самый приличный, каких я видал. Вы одного склада, вам с самого начала надо было быть вместе. Это ошибка, что мы... Но это еще можно исправить. Спасти хотя бы то, что еще осталось от жизни. Я глубоко сожалею об этом малодушии, из-за которого тебе пришлось страдать долгие годы. Но и я изрядно претерпел из-за этого малодушия, изо дня в день мучаясь, не в силах решиться. И вот этот миг настал. Не будем зря тратить слова. Я не скажу, что мне легко. Ты видишь, я откровенен и не скрываю ничего. В качестве компенсации мне остается сознание, что я могу сделать счастливыми двух хороших людей. Ведь вы же мои лучшие друзья. Мне кажется, мы можем остаться ими и впредь.

— Что ты говоришь? О чем ты говоришь?

Голос ее почти беззвучен. Она уже не плачет и не смеется. Подбородок дрожит, как от внутреннего озноба.

— Не мучай, прошу, ни себя, ни меня. Я не хотел говорить об этом. Я думал, мы поймем друг друга без долгих слов. Но ты не откровенна. Ты пытаешься еще скрыть то, что я вижу ясно и что видно каждому. Зачем нам это надо? Разве мы, все трое, не настолько близки, разве мы не взрослые, трезвые люди и не можем открыто смотреть друг другу в глаза? Я, ты и... Зьемелис...

— А! так вот ты о ком... — стонет она от невыносимой боли и ломает руки. Пальцы ее хрустят, как сухие ветки под тяжелым сапогом.— Так вот что мне от тебя приходится слышать! Убей... тогда уж лучше убей меня...

Но тут дверь распахивается и влетает Льена. Взволнованная, улыбающаяся, оживленная.

— Гости приехали! Гости! — шепчет она. Разводит руками и указывает головой на дверь.

А оттуда уже появляются они. В обеих комнатах топот, шуршание одежды, возгласы и смех.

Студент — в толстой, потертой, распахнутой зимней куртке, в сдвинутой на затылок фуражке. Запыхавшись, влетает, раскрасневшийся, потный, ноги пыльные, дорожная пыль на одежде. Смеется, разводит руки, точно собирается обнять всю комнату со всеми ее обитателями. Стремительно обнимает мать, целует ее губы, лоб, волосы, руки. Снова обнимает. Гладит руки — потом, отпрянув от нее, бросается к отцу. Обнимает его, не обращая внимания на то, что легкое кресло на колесах угрожающе пошатывается, и долго смотрит ему в глаза — так близко, что их веки соприкасаются и дыхание смешивается.

Отстраняется он только тогда, когда его отталкивают. Стройная девушка в черном, также запыленном жакете, в широкой соломенной шляпе, обнимает Берга за плечи и целует так простодушно-искренне, что у него на миг перехватывает дыхание. Молодые смеются и одновременно здороваются, мечутся и громыхают — ни минуты не могут оставаться спокойно. Комната ходуном ходит от их смеха, поцелуев, стука сапог и шуршания одежды.

Арай позади них с деланной обидой покашливает. Расталкивает молодежь и освобождает себе проход. Переступает через брошенный зонтик и подходит к Бергу.

— Дайте же и мне, вертоголовые! Мне кажется, я имею такое же право пожать руку старому приятелю.

Долго и сердечно он жмет руку Бергу. В глазах какой-то влажный блеск. Быстро отыскивает платок.

— Ужас какая пыль — эта ваша дорога... Ну, как тебе живется? Сколько лет мы с тобой не видались?.. — Но, заметив, что в лице друга что-то нервно дергается, спешит переменить разговор.— Ты глянь, как сын-то у тебя вымахал? Можешь еще узнать? А она... — И он бьет себя по лбу.— Да ведь ты же ее впервые видишь! Это же моя дочь. Нета, поди сюда!

Он берет ее за руку и подводит к креслу. Та смотрит, слегка закинув голову, часто дыша от бега и волнения, улыбаясь во все лицо.

Берг кивает. И он взволнован, но это видно только по тому, как брови его неравномерно вздергиваются и снова опадают.

— Невеста?

Нета как будто прячется за отца, но не перестает улыбаться и не спускает глаз с лица Берга.

— Уже знаешь? Жаль, что проболтались. А мы хотели приготовить тебе небольшой сюрприз.

Берг уже подавил свое волнение. Серые глаза снова глядят холодно и иронически.

Нета сникает от этого неприязненного взгляда. Точно в поисках поддержки, смотрит то на Валдиса, то на Анну.

— Не так-то уж трудно узнать и без болтовни. И без того понятно — когда молодые в эти годы... и в таких обстоятельствах...

Не столько от того, что он говорит, сколько от его голоса и нервно исказившегося, злого лица в комнате водворяется неприятное молчание. Льена недоуменно оглядывает всех по очереди, потом уже не сводит глаз с Анны. А на нем видно, как борются два чувства: недавняя глубокая обида и вот теперешняя радость от встречи. Два встречных потока сшиблись в ней. Яростная волна в ее груди вздымается так высоко, что кружится голова и захватывает дыхание.

Она замечает, что взгляды всех прикованы к ней. И чувствует — еще миг и случится что-то нелепое и безобразное. Она упадет прямо на том месте, где стоит. И начнет истерически не то рыдать, не то смеяться... Потом собирает все свои силы и отворачивается. Одной рукой обхватывает Валдиса, другой Нету и, опираясь на них, уходит в соседнюю комнату.

Берг остается с Араем вдвоем.

Арай растерян. Смотрит вслед ушедшим, потом подходит к Бергу.

— Что это значит? Что здесь происходит? Ты нездоров?

Голос у Берга глухой. И все же в нем слышно что-то вроде звона стеклянных осколков.

— Если не принимать в расчет ноги, то здоров. Здоровее обычного. Сегодня, когда мы все вместе, разрешим самое важное. Самое важное в жизни. Прошу прощения, что вынужден буду испортить вам эти веселые дни. Но у вас они случаются довольно часто. А для меня все эти годы были одним бесконечным судным днем. Я думаю, пора его кончать. Я всех вас прошу окончить его. Последняя услуга, которую я еще прошу.

Арай стоит в полном недоумении. Лицо его постепенно сереет.

— Ничего не понимаю. Абсолютно ничего.

— Ах, поймешь! Нет ничего слишком сложного и неразрешимого. Так сказать, последнее действие. Простая формальность...

С минуту оба угрюмо молчат и смотрят каждый в свою сторону.

* * *

И вот все сидят за обеденным столом.

В самой середине Берг. Передняя часть кресла задвинута под стол, так что он сидит наравне со всеми. Издали никто не скажет, что это калека. Желтое лицо с высоким лбом и пышными серыми, на висках уже серебрящимися волосами, немного напоминает портрет Ибсена — одноцветная литография на плотной, шершавой, желтоватой бумаге.

По левую руку от него Валдис, за ним Нета. По правую — Анна и Арай. Напротив места для Зьемелиса и Льены. Прислуга обычно ест за одним столом с ними. Это выдумка жены, и Берг не имеет ничего против подобного,— как он иронически говорит,— демократизма.

Пока что Льена сидит там одна. Зьемелиса по каким-то делам вызвали в аптеку.

Обычно здесь едят втроем. Стол мал и неудобен для такого количества людей. То ли поэтому, то ли по другой причине, чувство неловкости испытывает и все общество и каждый в отдельности. Даже Льена какая-то пришибленная — несмотря на те восхищенные взгляды, которые она то и дело бросает на Нету. Непонятно почему — но испытывает какую-то гордость за нее, за то, что она такая же образованная и умная, как мужчины, умеет говорить, спорить и вообще из Петербурга.

Все как будто уже сыты. Напрасно Анна, по обыкновению, угощает то одного, то другого, напрасно и Льена подсовывает то солонку, то хлебницу. Только Арай еще что-то нехотя жует и как-то украдкой, как будто думая о чем-то, смотрит на них. Анна кажется веселой и довольной. Но стоит приглядеться к ее движениям и улыбке, как становятся заметны деланность, прикрытая нервозность и особое, настороженное внимание к мужу.

Нета с Валдисом, голова к голове, читают что-то. Это письмо Бергу от их столичных друзей и знакомых. От студентов и курсисток. Среди подписей много имен рабочих и профсоюзных работников. В письме с восторгом отзываются о последней книге Берга. Прочитав письмо, они читают подписи и на-

перебой характеризуют Бергу и остальным каждого подписавшегося. Оба и сами в восторге. то и дело возбужденно поправляют друг друга и спорят. При всей своей взвинченности, Анна улыбается. Глаза ее блестят от этих похвал ее мужу и его труду. На лице как будто написано: все это верно и приятно, но я это знала уже давно. Для меня тут ничего нового нет.

Арай кончает есть и кивает головой. Он тоже может что-то сказать, но он не хочет прерывать восторги молодых.

Берг холодно усмехается.

— Приятно. Весьма. Поблагодарите, когда снова встретите... Как это там было сказано: «Хотя мы и идем в ином направлении...»?

Нета с Валдисом, водя пальцем по письму, быстро отыскивают его место.

— «Хотя мы и следуем несколько отличными культурными путями, но цель у нас одна и та же. Мало кто ее так ясно различил и так ярко осветил — именно тогда, когда мрак все гуще...»

— Ах, так... Может быть, вы знаете, какие это иные пути, которыми они следуют?

Берг смотрит на Арая. Но тот кивает на другой конец стола.

— Пусть они скажут. Это их ближайшие друзья и соратники. Я больше платонический союзник — сочувствующий.

Валдис отодвигает письмо.

— В твоей книге цели мировой культуры и само ее понятие рассматриваются слишком теоретически. Мы же люди практической жизни и борьбы. Мы находимся среди тех масс, из которых теперь ежедневно вырывают тысячи, посылая их на смерть за высокие, облеченные в звучные слова идеи. Эти идеи утверждаются и в твоей книге. И они же провозглашаются нами, и нашей демократией, и демократией всех других народов. Свобода, самоопределение, братство и сотрудничество между народами... Точно красная ракета, твоя книга выстреливает в насыщенную ненавистью и кровавыми парами тьму. У тебя хватило смелости сказать это открыто и громко. За это мы тебя так и любим. Редкий голос слышится и там, по ту сторону линии фронта. Но вы идеалисты и мечтатели. Напрасно вы верите, что протестами и пропагандой культуры можно чего-то добиться. Провозглашений вечного мира и братства народов было уже много. А жизнь развивается по своим законам. В грохоте пушек и в потоках крови тонут все красивые слова.

Потому мы и предпочитаем другие пути и другие средства для достижения той же самой цели.

Берг слушает с кажущимся вниманием. Но на самом деле он занят своими мыслями. Обычная холодная ирония посверкивает в его серых глазах.

— Вы... Если я верно понял, это означает — современное молодое поколение. Но разве это не те же громкие слова? Ну, скажем, пылкость и благие намерения. Но разве вы способны — по происхождению и воспитанию — на труд и жертвы, а не только на пылкость и громкие слова? Ты меня прости, но я сомневаюсь.

Нета вскидывает голову и сжимает обе руки в кулаки.

— А вы не сомневайтесь. Наша работа только еще начата. Судить можно будет потом.

— Вы меня простите,— говорит Берг, и голос его звучит сухо и холодно,— но в ваших способностях и результатах вашего труда я все же сомневаюсь. Я знаю, что выросло новое поколение. А труд это то, что от вас и в детстве, и в молодые годы находилось дальше всего. Это я говорю, вспоминая свою и нашу молодость. Вы не знаете тяжелого, физического труда ради куска хлеба и непрестанной жажды знаний и образования. Не знаете голодной жизни в чердачной каморке, беготни по урокам и занятий по ночам у коптящей керосиновой лампы. Вы не носили залатанной одежды и стоптанных сапог... Вы не обидетесь на меня, калеку и несчастного человека, если я скажу неприятную правду. Вы не поколение вдовьих детей. Вы — дети образованных, обеспеченных родителей. Вы дети суетного мира и изнеженности. Житейские удобства и развлечения у вас в крови и плоти. Ваша пылкость и жажда труда мимолетны.

— Ты считаешь, что у нас на уме только удобства и развлечения?

Валдис произносит это серьезно, но не обидчиво и не взволнованно. Глубокое уважение к отцу проявляется в каждом его слове и взгляде.

— Ты не знаешь молодого поколения, о котором судишь,— сердито вмешивается Арай.— Не знаешь и не можешь знать. Так же, как не знаешь и не можешь знать жизни, которая за эти годы прошла мимо стен твоей лаборатории. Я тебе должен открыто сказать: твоя книга — чисто кабинетный и спекулятивный труд. Своеобразная смесь мизантропии и идеализма. С теперешней жизнью она мало связана. Точно так же обстоит дело и с твоими взглядами на нынешнее молодое поколе-

ние. У него свои воспоминания. Голод, чердак, книжки и фантастические мечты в одиночестве — это судьба нашей молодости. Ты прав, нынешнее поколение не изведало всего этого в той же мере. Хотя не так уж у них много веселья и развлечений, как ты думаешь. И твой сын может очень хорошо рассказать тебе, как рыскал по столице в поисках уроков и грошовых заработков. Нынешняя молодежь выросла и живет в других условиях, не будем спорить. Из дома она выносит больше интеллектуального багажа. Но по твоим словам получается, что ты это ставишь им в упрек. Они живут и работают в других условиях, чем мы. Мы жили, страдали и мечтали каждый сам по себе. У нас не было общества, кроме нас самих и маленьких групп идеалистов. Теперешняя молодая интеллигенция с первых же дней вовлекается в водоворот общественной жизни и борьбы. Выхваченная из теплого лона семьи и ее опеки и брошенная на житейский сквозняк. Семья утратила свое влияние руководителя и законоположника. Я не скажу, что это плохо. Семья, это замкнутое в себе целое, где царит узость, предрассудки, традиционность, близорукая эгоистическая любовь и затхлый дух себялюбия. Даже в самых лучших свободомыслящих семьях. Я не знаю отца и матери, которые не намеревались бы вырастить ребенка по своему образу и подобию... Сужу по своему опыту. Мы можем быть счастливы, что наши дети служат тем же самым идеалам, которые были дороги и нам. Это дает нам право немного гордиться собой. Это доказывает, что наши идеалы коренятся в реальной жизни и что у них есть будущее, что молодое поколение пытается осуществить то, о чем мы так мечтали и фантазировали.

Берг все время спокойно смотрит на покрасневшее не то от внутреннего пыла, не то по другой причине лицо друга.

— Ты высокого мнения о нашем молодом поколении. Разумеется, ты более компетентен в этом вопросе. Ты можешь ходить, бывать на митингах, собраниях и слушать. Но не ставь это и мне в упрек. Мои мысли не такие безногие, как моя бренная оболочка. Отголосок порою характернее голоса. А я внимательно прислушивался к ним все эти годы. Говорить оно умеет, это молодое поколение, куда лучше нашего. А то, что оно якобы говорит то же самое, о чем фантазировали мы... не знаю, стоит ли нам этим так уж гордиться. Я слыхал и сам полагаю, что у каждого поколения должны быть свои идеалы. Если молодое поколение повторяет только то же, что старое, то оно бедно собственными мыслями и само по себе является лишь копией старого поколения. Значит, оно звенит чужими

деньгами в своем кармане. А по аннулированному векселю в жизни ничего не купишь. Жизнь движется по тем же старым рельсам и ждет другого поколения, которое проложит новый путь.

Анна ласково прикасается к руке мужа.

— Екаб, ты забываешь, что великая идея не может явиться усилием одного человека и одного поколения.

Берг легко берет ее руку и кладет рядом на стол.

— Ах и ты за философствование! Не угодно ли, вот вам то, что Арай назвал семейной узостью и эгоистической любовью! Первое требование к интеллигентному человеку — это свобода от слепой, эгоистической идеализации ребенка. От любви к такому, каким он есть, ради такого, каким должен быть. Великие идеи не могут быть результатом усилий одного человека, это верно. Но это констатируют хронисты и историки. Вдохновленное жизненной борьбой поколение всегда борется за свои, за новые идеи. Продолжение идеи — есть только идейный рефлекс, отражение без сияния и горения. Теплота тут может быть, но огня нет.

Нета хочет что-то сказать, но Валдис удерживает ее и укоризненно качает головой.

— Значит, ошиблись мы в тебе и в твоей книге. Мы-то думали, ты обращаешься к нам. А выходит, смотришь поверх наших голов — на какое-то другое, более молодое, может быть, еще несуществующее поколение. Но без нас оно невозможно. Мы еще непонятый этап в ходе идейной борьбы. И если даже мы сами это сознаем, так неужели от этого утратили свою ценность? Я не знаю, повредило ли когда-нибудь понимание своего положения и своей задачи отдельному человеку, поколению или классу? Наоборот. Теперь общепринято, что без определенного сознания определенная общественная деятельность невозможна...

Нета не выдерживает и перебивает его:

— Самые лучшие идеи и борьба за них так же стары, как и само человечество. В борьбе общественных идей нет ничего внеисторического. Мы видим разные действия, разное оружие и методы — они меняются с поколениями и классами. Но направляющая та же самая. И цель та же самая. Мы ближе к ней на шаг, чем вы. Вы пытались пробиться по одиночке, на свой страх и риск. Потому вы и были так беспомощны, и успехи ваши заключались преимущественно в области фантазии. Мы пытаемся действовать соединенными усилиями, и поэтому

у нас в реальной жизни больше опыта. Это новый метод — то новое, что ваше поколение в массе своей не познало.

Точно подтверждая свои собственные мысли, Берг качает головой.

— В склонении слова «борьба» я с вами тягаться не могу. Это я теперь вижу. Говорить и спорить вы умеете. К сожалению, слишком хорошо и слишком много. Только одно замечание. Вы говорите о старых идеях и новом методе. Но забываете, что новый метод, в первую очередь, новая разновидность идеи. Абсолютная, неизменная истина или ее сущность — чисто метафизическое понятие. Каждая новая форма и ее наглядность находятся в органической связи. Вы хотите сказать, что мы были индивидуалисты, вы же встали на путь коллективизма. Хотел бы я знать, что у вас будет за коллектив без глубоко убежденных и сложившихся индивидов.

— Эти два понятия не исключают друг друга и не находятся в неразрешимом противоречии. Как это годичное наслоение в дереве включает в себя прошлогоднее и держится на нем. Здесь нет никакой метафизики и никакой абсолютной истины...

— Довольно! — резко прервал его Арай.— К черту-дьяволу! Мы что, на какой-то философский диспут явились? Мы же не собираемся решать идейные или социальные проблемы!

— Это верно,— искренне подхватывает Анна.— У меня все время такое чувство, будто я нахожусь между двумя враждующими лагерями. Фу! — и это в первый же момент встречи. Ешьте давайте, как старое, так и молодое поколение! Здесь я руководитель и законоположник. И все должны меня слушаться.

— Извини, повелительница,— криво улыбается Берг.— Одно короткое замечание — и покончим с этой метафизикой... Я не верю в ваш коллективизм. Если мы были индивидуалисты, то вы индивидуалисты в квадрате. Во всяком случае, мы в двадцать лет еще не обзаводились невестами и не предавались радостям жизни. Мы просто не могли. У нас для этого не было ни времени, ни средств. Не правда ли, Арай?

— Екаб! — дергается Анна, жестами утихомиривая его.— Что ты говоришь!

Молодые переглядываются, словно их обдали холодной водой. Льена, скрывая растерянность, начинает без надобности переставлять посуду на столе. Арай смущенно кашляет.

— Да... Ты стал довольно странный. Позволяешь себе вмешиваться в такие вещи. У тебя нет на это никакого права. И сам себе противоречишь. То ты осуждаешь молодое поколение за то, что оно придерживается старых идей, то упрекаешь, что

оно идет своим собственным путем. Такой логики я за тобой раньше не знавал.

— У калеки и логика искалеченная — хочешь сказать. Спасибо за комплимент. Но разреши мне проковылять еще один шаг. Я полагаю, что и у калеки есть своя, хотя и калекина, правда. Я высоко ценю новое поколение — я хочу его ценить. На него я возложил все свои несбывшиеся надежды. Но я не вижу, чтобы у него было хотя бы малейшее желание осуществить то, что они громогласно провозглашают. Мне кажется, сейчас самое подходящее время для дела. Но его я не вижу. Молодому поколению некогда. Ему нужно использовать свободное летнее время. Ему надо ехать на отдых, развлекаться.

Арай багровеет. Обеими руками держась за стол, поднимается и не отрывает глаз от Берга. Льена, ничего не понимая, чувствуя себя здесь лишней, встает и быстро, на цыпочках, выходит.

— О чем ты говоришь? — дружески осведомляется Зьемелис, не замечая умоляющих жестов Анны. Она не может спокойно усидеть на своем стуле, желая всячески прекратить этот разговор, который, как раскрутившаяся шпулька, вращается все быстрее с уже угрожающим гудом.

Берг наклоняется к молодым.

— Теперь все больше в Ялту норовят. Но не следует очень гнаться за модой. Если бы я поехал и будь у меня свобода выбора, я бы только на Кавказ. И не в Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки или другой модный центр. Там, где горожане собираются стадами, они приносят с собой городскую пыль и атмосферу бульваров и кафе. Я бы поселился в каком-нибудь горном ауле, пил бы козье молоко и бродил по горам... — Он снова разражается своим неприятным, глухим смехом.— То есть, будь у меня здоровые ноги и если бы я вообще мог куда-нибудь ездить, не только из лаборатории в дом и обратно.

Валдис пристально глядит на него во все глаза. Обиды в лице его мало, но радушие уже угасло, как солнечный блеск от мелкой ряби.

— Значит, рекомендуешь Ялту или Кавказ? Это было бы чудесно, но, к сожалению, теперь об этом думать не приходится. Курорты для инвалидов и военных спекулянтов. У здоровых и работоспособных теперь другие дела... Разве мама тебе не сказала, куда мы едем?

— Нет, не сказала. Не считает, что мне все можно говорить. Я должен обходиться прописанной врачом пищей и специально процеженными новостями.

— Екаб! — Анна еле сдерживает слезы. Но Берг сегодня не знает никакого сочувствия. Вот он кивает Зьемелису, который принимается за свой прерванный обед.

— Зьемелис, конечно, знает. Он вообще больше моего знает о семейных делах. Это понятно: потому что он здоров. Я ни на минуту не смею забывать, что я калека, и могу желать только то, что мне прописано.

Арай гневно машет рукой.

— Я вижу, ты сознательно с головой влезаешь в свое несчастье и пытаешься сделать его больше, чем оно есть. Кто здесь от тебя что скрывает? Я не понимаю, откуда у тебя эти детские подозрения? Валдис и Нета едут на южный фронт. С неделю отдохнут — и уедут. Нета в этом году окончила учение. Валдису пришлось уйти с последнего курса. Если бы не вызвался ехать на театр военных действий, наверняка сидел бы сейчас в другом месте, где не видят солнечного света. Ты тут нагородил бог весть что о развлечениях и увеселениях. А я тебе скажу, что они слишком далеки от этого. Слишком рьяно и опрометчиво тянутся они к общественному движению. Я не верю, что из этого может выйти что-нибудь хорошее. Лбом еще ни одну стену не прошибли. Я их не понимаю и живу в беспрестанной тревоге. Никак не могу с ними столковаться. Они меня зовут кабинетным человеком и теоретиком. Все время на тебя ссылаются. Как будто ты с ними заодно. И вот оказывается, что ты их понимаешь еще меньше. Могу себе представить, как они озадачены.

— А вот и не озадачены! — живо протестует Нета.— Вы только превратно его поняли. Он не против нашего дела, не против нас самих. Только выражает сомнение, достаточно ли продуманы наши намерения и хватит ли у нас воли.

— Правильно. В этом я действительно несколько сомневаюсь. Ялта и Кавказ отпадают, это я вижу. Но разве эта поездка на южный фронт не то же самое? Разве воображаемая работа в лазаретах и больницах в своем роде не то же романтическое увлечение? По-моему, это филантропия, которая скоро надоест. Что может дать самая идеальная филантропия там, где жизнь пошатнулась в самих основах своих, где здоровые больнее раненых?!

Валдис откидывает свои пышные волосы.

— Ты говоришь логично и понятно. Ты говоришь все то, что нам говорят. Я уже давно все это знаю. Мы все это знаем. И мне удивительно, почему мы здесь не можем понять друг друга и так много спорим. Ведь и мы думаем не столько

о больных, сколько о здоровых. Не в лазаретах и не в больничных бараках гнездится зло, а в самой жизни. И за нее-то мы и думаем взяться. Это наша главная задача... Я знаю, что тут у нас споров не будет. Тут мы поймем друг друга с полуслова.

Он держит руку отца обеими руками. Невыразимая словами любовь видна в его взгляде и во всем облике. Желтое, бесчувственное ко всяким впечатлениям, потухшее лицо Берга делается мягче от этого проявления любви. Он сдвинут с привычного уровня, на котором все эти годы спокойно колыхался, словно прикованная к берегу лодка. Начисто отвык от волнующейся шири — страшится и теряется, как сухопутный человек, впервые попавший на корабль.

Вот он обводит всех глазами. И всюду излучается на него все та же любовь. Он теряется, приходит в смущение, и привычное, насиженное кресло становится неудобным.

Он грубо вырывает руку. Голос его звучит неприязненно.

— Выходит, я ошибался. Все время жил с глупыми и пустыми подозрениями. Старый дурень — вот что вы все думаете. Так оно и есть,— это я сам должен признать. Но где же тогда мои минувшие годы? То, что я сейчас чувствую, вы не можете понять. Как будто я специально наполнял кровью своего сердца большую чашу — чтобы она до краев наполнилась. А теперь вдруг вижу, что туда все время струилась вода. Чаша пуста и сердце тоже... — Он качает своей пышной шевелюрой и пытается улыбнуться.— Вы меня не слушайте. Я старый дурень. Мне бы радоваться, что я вижу свершение своих идеалов. Вы ждете веселья, смеха и восторгов, чтобы самим восторгаться. И ничего этого не видите. Даже этой радости я вас лишил. Вы правы: я болен, как вы и полагали. Не знаю — может быть, я прикидываюсь больным, чтобы скрыть то, что нельзя другим показывать. Я сам не знаю...

Арай садится и перегибается к нему через стол.

— Оставим это мелкое философствование и пустословие. Не будем портить такую редкую минуту свидания. Кто знает, когда еще доведется свидеться. Жизнь теперь разводит людей в разные стороны. Никто не уверен в своем завтрашнем дне. Не будем же упускать те редкие минуты, которые можно прожить по-человечески.

Он достает папиросницу. Закуривает сам и предлагает Бергу.

— Ты раньше курил.

— Да и теперь курю — когда угощают. И не в лаборато-

рии. Там пришлось отвыкать. Этот сарай завален у меня всякими чувствительными веществами и жидкостями.

— Интересно, почему ты занялся преимущественно химией взрывчатых веществ? Или сказался нынешний век с его разговорами только о смертоубийственном?

Берг с удовольствием курит. Видно, что и он рад новой теме разговора.

— Отчасти, вероятно, поэтому. Гула жизни я не слышу. Но эхо залетает и ко мне. Взрывчатые вещества меня интересуют уже давно. Но использование их для уничтожения человечества и культуры меня не вдохновляет. Так далеко моя мизантропия еще не зашла. Знайте же, что калеки и больные лучше всех понимают цену жизни и сильнее всех цепляются за жизнь. Радость трудиться, расти и развиваться, добиваться этого сильнее всего у тех, у кого меньше возможностей участвовать в этом. Чаяния дороже обретения. По-моему, во взрывчатых веществах одна из величайших проблем развития техники, а вместе с тем и культуры. Если мы сумеем запас энергии, который скрыт в одном килограмме динамита или пироксилина, использовать не только для уничтожения, но и для созидательного труда,— какое колоссальное оружие будет в наших руках! Поэтому я с самого начала думал о том, как дисциплинировать, как овладеть и приспособить эту дикую, первобытную энергию, которая теперь уничтожает миллионы цветущих жизней, разрушает города и селения и целые области превращает в пепелища.

— Вы так хорошо писали об этом в научных журналах,— живо восклицает Нета.

— Конечно, немножко фантазируя,— добавляет Валдис.

— Почему фантазируя? — протестует Анна.— Все новое и непривычное кажется фантастическим. В век почтовых дилижансов невероятной и смехотворной казалась проблема железной дороги и паровой машины. Рассказ о веретене текстильной машины ткачи и прядильщики слушали с насмешливой улыбкой — как сказочку для маленьких детей. Средневековые переписчики пергаментов книгопечатание считали фантазией и бредом.

Зьемелис кончил есть и со вниманием слушает, о чем теперь говорят. И Льена появляется снова — стоит у дверей и с интересом прислушивается.

— Все, что непонятно, кажется нам непопятным и невозможным на века. Человек по своей природе глубоко консервативен и инертен. Он любит привычное и цепляется за все

устоявшееся и утвердившееся. Тип мещанина это среднечеловеческий тип.

Валдис качает головой.

— Вот они, абстрактные разглагольствования о человеке и его природе. Современная метафизика — противоположность старой, а вместе с этим второй ее этап и логическое продолжение. Жизнь и человек никогда не были консервативными и не могут быть. Ход развития не признает никакого застоя. В наших неверных оценках и ошибочных суждениях виновата неразработанность исторического мышления.

— Не сознание и не мысль движут развитием,— вмешивается Нета,— а заключенные в самой жизни движущие силы. Развитие жизни, это пылающий костер. Ему все время нужен новый горючий материал. Застыть и вместе с тем развиваться он не может. Тогда он должен потухнуть.

Берг, докурив, бросает окурок в пепельницу.

— Нельзя ли мне еще — горючего материала? Спасибо.— Он смотрит на молодых.— Я вижу — теперь вижу, что вы интересовались и еще кое-чем, кроме развлечений и флирта. Особой беды нет, что ваши рассуждения довольно зыбки, а ваши убеждения пахнут свежей типографской краской. Годы укрепляют и формируют. Был бы живой и подлинный интерес, а остальное со временем приложится. Но спорить с вами нелегко. Вы не заметили, что мы никак не можем держаться одной темы. Консерватизм, метафизика, основной человеческий тип и эти поэтические костры... Все это только так — красноречия ради. Ну, что ж, остановимся на этом костре. Я, к сожалению, не столь большой оптимист и не могу поклоняться идолам — даже так называемому идолу прогресса. Это верно, совсем потухнуть этот костер не может. Тогда все человечество вымрет и вся эта наша крошечная планета остынет. Так далеко мы еще не зашли. Достаточно взглянуть в окно на нашу природу с этим ранним нынче летом. Но полыхать этот наш костер не всегда полыхает. Тут вы меня не убедите. Жизнь идет в сплошных противоречиях и в беспрерывной борьбе враждующих сил. Вернее сказать, в беспрерывной войне силы и бессилия. Бывают эпохи, когда огонь потухает и пресекается и лишь одни угли тлеют. И бывают периоды, когда даже этого тления незаметно, когда все подергивается пеплом и землю заволакивают сумерки. Тогда нужен ветер и целая груда свежего, сухого горючего материала, чтобы снова заполыхало, чтобы сила одолела бессилие. Такой для меня предстает эта пресловутая диалектика жизненного развития.

— И тебе не кажется, что сейчас как раз период, когда должно заполыхать, что сейчас это время силы? Или хотя бы его начало?

Берг еще раньше смотрел на Зьемелиса. Он видит, что тот все время смотрит на Анну и хочет что-то выразить своим взглядом. Что — этого он не знает. И не нужно. У него своя мысль.

Он небрежно бросает недокуренную папиросу в пепельницу и нервно проводит ладонью по лицу.

— Когда гляжу и слушаю вас — кажется, от вас так и пышет жизнерадостностью и решительностью. И я мог бы загореться среди вас. Но, к сожалению, мое время прошло. Я уголь, который от свежего ветра только быстрее потухает... Вы уж простите. Но я устал. Льена, пожалуйста, перевези меня в другую комнату.

И, видя, что все встревоженно повставали, протягивает руку.

— Оставайтесь. Не тревожьтесь. Ничего серьезного. Абсолютно. Я отвык говорить, и длинные разговоры меня утомляют. Оставайтесь спокойно здесь. Через какое-то время я снова буду. Скоро загляну — скоро-скоро... Пожалуйста, Льена!

Льена уже стоит за спинкой кресла и откатывает его от стола. Валдис спешит на помощь.

Но Берг, обратившись лицом к двери, дает знак остановиться. Затем решительно отстраняет Валдиса.

Черты его лица подергиваются и искажаются, словно от сильной нестерпимой боли. Довольно долго он пытается заговорить, но никак не может. Глаза блуждают, как в тумане, а пальцы стягивают плед с ног.

— Я хотел было позже... Но лучше сразу... Все равно же надо сказать, раз уж все тут...

Он глубоко переводит дух и откидывает голову, точно от тяжелого груза.

— Я хотел только сказать, что с этого дня моя жена свободна. От обязанностей сиделки и супруги. Достаточно долго я ее изнурял и угнетал. Я горько сожалею о своем малодушии. Но что делать: духом я не крепче, чем плотью. Но под конец все же набрался мужества и сил. Возможно, от этих красивых, вдохновенных слов, которые я сегодня услышал. Моя жена свободна — совсем и на все времена. Я думаю, вы ее сейчас же возьмете с собой. Все законные формальности, связанные с разводом, можно будет оформить позднее. В подобном случае это легко... Поехали, Льена. Привыкай меня катать...

* * *

Пятеро остаются стоять, словно пол между ними разверзся и стол со всем, что было на нем, провалился в черную пропасть. Только спустя какое-то время обращают они друг на друга застывший в недоумении взгляд. И тут же четверо из них спохватываются и кидаются к Анне.

Она сначала бледнеет. Потом багровый румянец волной приливает к лицу. Обеими руками она обхватывает голову, пошатывается и валится на стол.

— Мама! — обнимает ее обеими руками Валдис, точно спасая от омута.

Нета, растерянная и ошеломленная, подходит и припадает головой к ее щеке.

Анна тихо плачет. Борется с собой и не может совладать. Слезы льются на руки Валдиса и орошают лицо Неты.

Зьемелис, сняв очки, протирает пальцами стекла и не замечает, что они от этого еще больше запотевают.

— Что он хотел сказать? — бормочет он.

Арай пожимает плечами.

— Болен. Я все время замечаю в нем какую-то ненормальную злость и необычную нервозность. Последнее время у него не проявлялись какие-нибудь странности?

— Переутомился он,— сокрушенно говорит Валдис.— Он не слишком много работал?

Но Анна не отвечает. Кажется, она даже не слышит, о чем они говорят.

— Так оскорбить! Так безжалостно, так бесчеловечно обидеть. Уж лучше бы пощечина или плевок в лицо...— С последними словами голос Неты начинает дрожать, и спустя секунду она уже плачет вместе с Анной.

— Как он мог...— удивляется Зьемелис.— Такой деликатный, такой тактичный и спокойный человек.

— Не замечалось за ним подобных странностей? — У Арая все еще возникают подозрения.

— Никогда! — откликается Зьемелис.— Впервые с подобным сталкиваемся. Дурного слова не слыхали.

— С больными такое часто бывает. Все терпят и стараются держаться вежливо и признательно. А внутри все копится горечь на свою судьбу, на себя, на других.

— Не забывайте, о ком вы говорите! — восклицает Валдис.

— Я знаю, знаю! — И Арай принимается быстро расхаживать по комнате.— И именно поэтому удивляюсь. У него такой

твердый и устойчивый характер. С каким изумительным геройством он перенес свое ужасное несчастье. С нерастраченной силой и энергией работал все эти годы. И вдруг эта неконтролируемая возбужденность и жестокость. Непонятное раздражение и ненависть, низкие подозрения и грубые, невероятные оскорбления...

Анна с силой отталкивает своих утешителей и встает. Слезы еще бурно вздымают ее грудь, но лицо уже строгое, полное решимости. Можно подумать, что это о ней шел здесь разговор, а не о ее муже.

— Что вы тут о нем говорите?! Что вы знаете! Что вы можете знать! Вы ему не судьи.

— Ну, Анна,— изумляется Арай.— И ты за него еще заступаешься! Да разве мы его судим? Мы свидетели, как он тебя судил — непростительным, недопустимым образом. Вот о чем мы говорим.

— Ничего вы не смеете говорить! Оставьте его в покое! Оставьте нас в покое!

С минуту неловкое молчание. Анна успокаивается и угрюмо замыкается в себе. И все же ни о чем ином думать или разговаривать никто больше не может.

— Если ты думаешь, что он просто от нервов или болезни...— робко начинает Арай.— Тогда, разумеется, нам вмешиваться нечего. Тогда вы сами объяснитесь, и все снова будет хорошо. Но я все же опасаюсь. Я его слишком хорошо знаю. Пустыми словами он никогда не бросался. Опасаюсь, что он задумал что-то серьезное...

— Вы вечно опасаетесь. Неужели вы не видите, что в этом-то все несчастье. Он не терпит, что все считают его больным и опекают его! Он слишком мнителен, его задевает эта беспрестанная забота и опека. Это все время напоминает ему о его несчастье.

— Но так же не может оставаться,— возражает Арай.— После всего услышанного наши отношения... А бес их знает, какие они теперь, эти наши отношения! То ли нам оставаться здесь, то ли убираться? А если останемся, то что нам тут делать? Жена ты сейчас или вдова — ты-то сама знаешь? Вот и скажи, если знаешь... Нет, ты должна объясниться. Сейчас же ступай и объяснись. Я не тронусь с места, пока не узнаю, могу ли я сюда еще ногой ступить или нет. Есть ли у меня здесь еще что-нибудь общее с вами, или я должен навсегда захлопнуть за собой дверь этого сумасшедшего дома.

— Да, да... надо объясниться...— бездумно отвечает она и

машинально поправляет волосы. Но тут же спохватывается: — Нет, не могу. Ступай поговори ты. Я тебя прошу — будь так добр, поговори с ним ты.

Арай сердито кашляет и выхватывает из кармана папиросницу.

— Так и знал, что придется мне... О чем я с ним буду говорить? Разве я что-нибудь тут понимаю? Сам черт тут ничего не поймет... Ну, ладно, ладно. Поговорю. Я хочу видеть, кто же тут из нас сумасшедший.

Он чиркает и бросает зажженную спичку. Снова прокашливается и подчеркнуто строгой, немножко смешной походкой идет в другую комнату.

Кресло снова у окна. Берг смотрит на улицу. В лице его уже нет ни раздражения, ни нервного возбуждения, ни нестерпимой иронии. Смертельная усталость во всем обмякшем, беспомощном теле. Льена убирает со стола тетради и бумаги.

Он не поворачивает головы и не смотрит. И все же видит, кто вошел. И вроде бы кивает. Значит, ждал. Значит, ему тяжело, что снова придется разговаривать. Но значит, знает: иначе нельзя.

Арай делает Льене знак, и та быстро выскальзывает из комнаты. Потом берет стул и садится рядом с креслом. Пожимает Бергу руку.

— Скажи, что все это значит? Что это, неудачная шутка, каприз больного человека или еще что? Мы стоим и не знаем, что делать, что предпринять. Словно я столкнулся с чужим человеком, который для меня загадка, проблема. Я пытаюсь внушить себе, что знаю тебя уже тридцать с лишним лет. Но тогда я ничего не понимаю. Скажи ты сам.

Берг грустно качает головой. Голос у него тихий и слабый, как у ребенка.

— Я предвидел твой вопрос еще до того, как ты вошел. Вам это кажется странным, потому что вы видели только пустую оболочку, но не знали, что творится внутри нашей внешне гармоничной жизни. Сегодня я хочу искупить то преступление, которое угнетало меня двадцать лет. Преступление, равного которому нет на совести ни у одного человека. У калек есть стремление и других сделать калеками. И я двадцать лет пытался искалечить эту лучшую, эту идеальнейшую женщину. Так пусть хоть последние годы она поживет по-человечески.

— Ты фантаст, и у тебя бред. Мне жаль, но я должен сказать, что ты болен, психически болен. Иного объяснения этому нет и не может быть. Теперь своим безумием ты хочешь

убить ее. Она душой и сердцем держится за тебя, а ты за это хочешь ее оттолкнуть. Грубо — как насильник или пьяница.

— Что ты знаешь об этом золотом сердце! Только я об этом могу говорить. Несчастный, нелепый калека, которого это сердце озаряло солнечным дождем, как старую корягу. Друг ты мой, это героическая женщина, которая займет место в истории. Но это сердце кровоточит, потому что это сердце молодой, сильной женщины. Мы знаем, что́ есть человек, и знаем, что это естественно и необходимо. Порою я был просто счастлив, испытывая ее теплые ласки, вызванные сочувствием и самопожертвованием. Но любви ее я не чувствовал и не мог чувствовать. Потому что она принадлежит другому. Все эти долгие годы.

Арай выпускает его руку и выпрямляется.

— Что ты говоришь? Кому?

Берг грустно усмехается.

— Слишком притупленный у вас взгляд и слаба наблюдательность. Зьемелису...

— Ты бредишь. Ты болен!

— Пусть. Это ничего не меняет. Я говорю то, что я знаю.

— Зьемелис! Этот флегматичный добродушнейший человек, весь мир которого заключен полками и прилавком! По сравнению с тобой! С тобой, с твоими мыслями и трудом, который волнует всех!

— Оставим это курсисткам и лирическим поэтам. Женщина любит не высокие мысли и идеалы, а живого человека. Это верно, мысли и идеи Зьемелиса не волнуют мир. Но у него здоровые ноги, здоровое, полное сил тело и красивое лицо. А это те особенности, которые перевешивают все наши идеи и духовный багаж.

Арай с минуту не может опомниться.

— Неужели я действительно все время бродил с завязанными глазами? Мне казалось, что ни одна женщина не любит своего мужа так глубоко и искренне, как твоя жена тебя. У меня целая груда ее писем. Там можно найти любую мелочь, касающуюся твоей работы и твоих мыслей. Всю твою жизнь с ее страданиями и радостями я знаю, как свою. О себе она пишет в этих письмах только скупые строчки. Все эти годы твоя жена жила только тобой и твоими делами. Я все время был уверен, что это та женская любовь, о которой читаем в легендах и стихах... Ничего не понимаю.

— Я знаю. Мы, люди науки и идей, обманываемся в своей личной жизни и обманываем своих жен. Но об этом не

стоит больше говорить. Я не виню свою жену. Я ее ни в чем не упрекаю. Сколько бы мне не пришлось еще прожить, я не забуду, в каком я перед ней долгу. Я не хочу горячиться и говорить о неверности. Что она могла поделать? Это же требование природы, а природа права. И Зьемелиса я не могу ненавидеть.

Арай выпускает руку друга. Он тоже смотрит на улицу, словно в поисках того же, что высматривает тот. Какое-то время царит тяжелое молчание.

— И ты полностью уверен? У тебя есть доказательства и убежденность, что это не досадное недоразумение?

Берг кивает. Арай знает его. В этом отрывистом кивке больше категорического ответа, чем во многих словах.

Спустя минуту он встает и выходит. Словно наперекор злым силам. Словно страшась предстоящего.

А те в соседней комнате, как стояли, так и стоят. Недоуменно смотрят на него, являющего собою дурную весть. Ждут.

А ему слишком тяжело. Он не может говорить. Ни на кого не глядя, опустив в пол глаза, он незаметно кивает Анне.

А она сама уже встала и идет.

И так же, как до этого Араю, Берг только кивает ей. Он знает, кто входит.

А она уже не оскорбленная и обиженная жена. Гордо выпрямившись, она, словно судья, встает перед Бергом.

— Не надо...— как-то тихо молит он.— Какой толк? Ни ты тут не можешь что-либо изменить, ни я. Природа и судьба сильнее нас обоих.

— Нет ничего сильнее женской чести и гордости. Я вижу, иначе нельзя: приходится пройти через эту лужу грязи, к которой ты меня подвел. Я требую ясного ответа. На чем основываются твои грязные подозрения?

— Ах, не будем говорить о грязи. Я знаю, что ты чиста, как росинка. Но разве это может что-либо изменить? Лучше не настаивай.

— Я настаиваю. И ты должен ответить.

— Ты безжалостна. Ты так безжалостна, какой я тебя никогда не видел. Неужели же нельзя без этих выяснений, которые все равно ничего не прояснят?

Но, взглянув на ее категорически настаивающую фигуру, понимает, что иного выхода нет. И тут же на его изможденном лице вновь проступают обычная холодность и ирония.

— А, все равно... Прошу прощения за свою недопустимую

сентиментальность. Что ж, начнем. Ты, наверное, не заметила, что из окна моего сарая хорошо видна наша столовая?

— Это я знаю так же хорошо, как ты.

— Да? Это интересно. Тогда ты это поздно заметила. Я часто видел, как ты сидишь там у окна, рукодельничаешь или пишешь.

— Когда ты выгоняешь меня из лаборатории, я беру книгу или рукоделье и сажусь к окну, чтобы ты мог меня видеть.

— Так, так... Это почему, смею спросить?

— А почему не смеешь? Потому что я знаю, что ты хочешь, чтобы я всегда была поблизости. Хочешь хотя бы видеть меня. Потому что ты меня любишь больше всего на свете.

— А! даже это ты знаешь. Действительно, опасно иметь женщину поблизости. Для нее нет ни одной двери, ни одного замка. Точно по общественному саду, гуляет она в твоей душе. Укрыться от нее негде... Ну, бог с ним. Но тогда ты еще не знала, что видно из лаборатории. В первые дни, когда эту лачугу только сколотили. Иначе вы бы поставили ее в другом месте.

— Мы?

— Вы с Зьемелисом... Ну, не волнуйся. Ты сама хотела, чтобы я говорил. И я уже не могу молчать.

— Говори. Я слушаю.

— Был ясный осенний вечер, безветренный и безлунный. У тебя на столе лампа — вот эта самая — и книга. На плечах коричневая, вязаная шаль. Голова подперта ладонью — как ты обычно это делаешь. Волосы от зеленого абажура с каким-то лиловым отливом... И Зьемелис — обеими руками оперся на стол, перегнулся, смотрит на твои волосы и не может наглядеться. И говорит, говорит — хотя обычно он такой молчаливый и застенчивый. А я понимаю, что, глядя на тебя, даже немой заговорит. Лицо у него краснее обычного. Очки покосились...

— Дальше, дальше.

Она не отворачивается, не теряется.

— Дальше, говоришь? Хорошо! Я могу слово за словом передать то, что он там говорил, хотя ничего не слышал... «Я признаюсь,— говорит он,— что люблю безнадежно. Что моя любовь напрасна и смешна. Но я не могу иначе, и ты должна это знать. Я знаю, что ты связана с тем человеком и из привычного чувства чести и долга останешься ему верна. Но позволь мне хотя бы быть подле тебя. И знай, когда тебе эта ноша станет тяжела, когда ты устанешь и готова будешь рух-

нуть,— я всегда буду готов протянуть тебе руку...» Не так? Так он говорил?

— Примерно так. Екаб, ты умнее, чем я думала. Я всегда тобой восхищалась. Мне кажется, скоро начну и боготворить.

Берг взглядывает на нее и ежится. На ее лице обычная, самая сердечная улыбка. Ни смущения, ни стыда, никаких страстей! Он вскидывает голову.

— Но я могу изложить и твой собственный ответ на сердечные излияния аптекарского селадона... «И я вас люблю, Зьемелис. Вернее сказать, глубоко уважаю за ваше доброе сердце. Но ни на что не надейтесь и ничего не ждите. Я останусь навсегда верна своему мужу. Мой долг быть рядом с ним в его несчастье, и я это сделаю. Я попытаюсь быть в его трудах тем, чем не могу быть в его жизни. Я не откажусь от своего решения, потому что его труды этого стоят...»

Смех прерывает его. Она смеется громко и звонко — как в самые лучшие времена. С быстротой волны в памяти ярко возникают те давние годы незабываемого счастья и страшного несчастья... Он смотрит на нее широкими бессмысленными глазами.

— Как немного ты все же можешь представить, мой философ. Мой несчастный, мой дорогой, мой милый философ! А вот и не так, не так звучал мой ответ. Ты хочешь слышать? Ладно. Ты сам не хочешь, чтобы я щадила твои чувства... «Зьемелис,— сказала я.— Ты достойный человек, но не больше. Это отнюдь не умаляет тебя. Мы, женщины, не всегда любим достойных. Мне выпало редкое счастье. Тот, кого я люблю, достойнее и лучше тебя. Но это не важно. Я люблю его одного, и этого достаточно. Можешь ждать, можешь не ждать — мне это все равно. Рядом с моим мужем ты растворяешься, как облачко, скользящее мимо солнца. Но всего умнее будет, если ты женишься. Иного лекарства от этого недомогания в твоей аптеке нет...» Вот что я ему ответила...

Он смотрит ошеломленно, не мигая.

— И ты хочешь сказать, что все время...

— Все, все, все время! И будь это время в десятки раз дольше — для меня другого человека в мире нет.

Берг передергивается и подтягивает плед. Вроде бы холодно, хотя голова гудит от жаркого, хмельного гула.

— Тогда я должен сказать еще вот что... Знай же, что ты ошибалась. Ты мне за эти годы стала безразлична...

Продолжать он не может. Слова его прерывает все тот же смех.

— До чего ж ты наивен! Дорогой ты мой! До чего неуклюжа и глупа твоя ложь! Как будто я не знаю. Точно не улавливаю и не чувствую. Точно не читаю в тебе каждую минуту, как в открытой книге!

Она обнимает его, опускается на колени, гладит и целует его. Плачет и одновременно смеется. Поцелуи и слезы обжигают и одновременно холодят, точно солнце сменяется градом...

Как в давние дни, голова его припадает к ее груди. Он съеживается, беспомощный, как ребенок. Теплая рука гладит его лоб, пальцы скользят по волосам. Как раньше... как раньше...

Она слышит — он тихо всхлипывает. Обнимает его крепче, еще крепче. Пусть смерть — она не выпустит его из своих рук. И сама пугается этих мыслей. Пусть будет жизнь — новая, невиданно полная и цветущая жизнь, вот залогом чего пусть будет эта минута...

Но он уже оправился и устало шепчет:

— Что поделать... Все эти долгие годы я провел среди заблуждений и бредовых измышлений. Вы правы: я все время бредил. Заблуждался, подозревая сына, жену, себя самого. Точно угли под пеплом, низкие, злобные подозрения и радость подленького самоунижения и самоуничижения точили мою жизнь. Я ее лишился... Щепотка за щепоткой извел в жарком тигле... Что от меня еще осталось? Кому нужны эти жалкие год-два моего заката? На что я гожусь?

— Молчи, молчи! — Она зажимает ему рот.— Ты увидишь, какой еще прекрасной может быть жизнь! Как мы начнем все заново! Что нам жалеть о прошлом? Мне жалеть не о чем! Совершенно! Один час жизни с тобой я не отдам за год где-то там. И будет еще лучше, еще прекраснее...

Из соседней комнаты входят. Впереди Арай.

— Мы услышали смех и решили, что не потревожим. Где смех, там и остальные не помеха. Смех и слезы... Да, да — все, как надо. Все в порядке, не так ли?

— Все, все! Даже больше того.

Арай прохаживается, потирая руки.

— Вот и хорошо. И очень хорошо. Учитесь вы, молодые. Недоразумения в жизни могут быть и бывают. Они даже необходимы. Без капельки горечи жизнь становится невыносимой, как приторно сладкое питье. Ощущение полноты и счастья возникает только благодаря контрастам. И все же надо возвы-

шаться над всеми контрастами. Чтобы поток гармонии охватывал все это и объединял — как горизонт заключает зеркало моря и небесную лазурь... Смотрите и учитесь!

Молодые берутся за руки и прижимаются плечом друг к другу.

Берг бросает на них грустный и полный какой-то темноты взгляд.

— Какие молодые и цветущие. Вся жизнь впереди. Счастливое поколение...— Взглядывает через окно вдаль, потом снова поворачивает голову и говорит, ни на кого не глядя: — Вы меня простите. Я старый хрыч и временами впадаю в бред. Но теперь опять все хорошо. Совсем хорошо... Я устал. Отвезите меня в мой сарай.

— Да, да,— откликается Арай.— Отдохни немного. Я пойду с тобой.

— Нет, оставь меня на минутку одного. Я достану свои приборы, тогда приходи. Тогда мы вместе кое на что взглянем. Через полчаса... или минут через двадцать...

Льена уже на своем месте — катит кресло к выходу. Все спешат помочь. Но он отказывается.

— Дайте ей самой. Это ее специальность. Арай, дай еще парочку папирос. Сегодня праздник примирения. Я хочу курить.

Арай протягивает ему папиросы и коробку спичек.

Берг обводит всех взглядом. На лице его какая-то увядшая улыбка. У всех чувство: сейчас что-то еще скажет. Но нет. Ничего не сказал. Только кивнул головой и отвернулся.

* * *

Четверо оставшихся некоторое время хранят молчание.

— Кто может познать человека? — задумчиво говорит Арай.— Морская глубина измерена, вековые леса исхожены, а человеческая душа все еще загадка. В самом великом человеке могут таиться самые маленькие страстишки и слабости.

— Не говорите об этом...— тихо говорит Анна и снова погружается в свои мысли. Потом вдруг поднимает голову.— А вы... Мне кажется...

Валдис открывает дверь.

— Ничего. Льена вернулась.

Льена убирает со стола. Уносит посуду и составляет в маленький старомодный буфет. Гости уже ушли. Вот она берет стеклянную банку с прошлогодним вареньем и бодро идет через комнату.

Неожиданно она спотыкается. Руки выпускают банку, и та куда-то бесшумно пропадает. Сама легко валится на бок и, с широко раскрытыми глазами и искаженным от страха лицом, остается лежать на полу, точно лишившись жизни.

За окном вырастает багрово-черный столб. Черные куски дерева и кирпича разлетаются во все стороны, как рассеянные водяные капли из огромного шланга. Со звоном вылетает окно, и мелкие брызги разбитого стекла, словно град от сильного ветра, барабанят по противостоящей стене. Ужасный, головокружительный взрыв заполняет и заглушает все, врезаясь в сознание тысячами стеклянных осколков.

1920

1

Это случилось на второй неделе мая, в среду, около одиннадцати часов утра.

Жена часового мастера, госпожа Ланкевиц, возвращаясь с Даугавского рынка, проходила мимо здания Банка внутренних займов и внешних кредитований. На согнутой руке она несла корзину с покупками. Среди прочей снеди там были и яйца — господин Ланкевиц очень любил пирожки с начинкой из подслащенных яиц.

Собственно говоря, корзина госпожи Ланкевиц не была приспособлена для того, чтобы носить ее на согнутой руке. Корзина уже два раза накренялась, и так как другая рука была занята зонтиком, то придать ей правильное положение можно было, лишь прижав ее к стене и подтолкнув коленом.

Когда госпожа Ланкевиц, миновав подъезд банка, оказалась против крайнего окна, корзина накренилась в третий раз. Госпожа Ланкевиц остановилась. Снова прижав корзину к стене, она пыталась придать ей правильное положение. Казалось, все кончится благополучно. Нужно было лишь подбросить ее как следует коленом, подняв его повыше, но сделать это она не могла, так как по тротуару шли навстречу пожилой господин и двое молодых людей. И тут случилось так, что корзина накренилась еще больше, крышка открылась, и яйцо — одно яйцо — выкатилось на тротуар. Госпожа Ланкевиц вскрикнула и выронила зонтик, но спасти яйцо уже не могла. С тихим хрустом оно разбилось.

В одной из комнат банка стояла Ада Лиепинь — младший помощник бухгалтера. Она только что заполнила страницу и, прежде чем начать другую, подошла к окну посмотреть на улицу. Обычно в это время знакомый лейтенант проходил

мимо банка. И каждый раз здоровался с ней. Правда, в соседней комнате, дверь в которую была открыта, сидел жених Ады Лиепинь, старший помощник бухгалтера Крустынь Брач. Но его это не касалось. Неужто ей теперь нельзя и взглянуть на постороннего человека? Она стояла у окна и ждала.

Случилось так, что именно в этот момент проходившая мимо окна жена часового мастера госпожа Ланкевиц неожиданно остановилась. Аде Лиепинь и самой не раз приходилось нести такую корзину, поэтому она отлично поняла волнение госпожи Ланкевиц и сама заволновалась. Когда госпожа Ланкевиц выронила зонтик и вскрикнула, вскрикнула и Ада Лиепинь —отчасти инстинктивно, отчасти из солидарности. Вскрикнула тонким пронзительным голосом, словно ужаленная, как умеют кричать только женщины.

В эту минуту старший помощник бухгалтера Банка внутренних займов и внешних кредитований Крустынь Брач окунул перо в пузырек с чернилами, чтобы закончить исписанную рядами красивых цифр страницу. Это была своего рода экзаменационная работа. Сам бухгалтер перешел на другую работу в какое-то государственное учреждение, и Крустынь Брач всерьез надеялся занять его место. Оно было ему почти обещано — сегодня ждали только формальной проверки со стороны директора банка.

Он окунул перо в чернила и, держа ручку в воздухе, присматривался, как лучше провести линию по металлической линейке, положенной поперек страницы. В тот момент, когда он опускал руку с пером, в соседней комнате раздался крик. Крустынь Брач сильно вздрогнул и невольно подался вперед. От толчка на исписанную страницу упала черная капля чернил, а другая рука, толкнув металлическую линейку, проехала по капле, размазав ее так, что на странице осталась клякса, похожая на силуэт птицы.

И точно такое же черное пятно, какое стояло перед глазами Крустыня Брача, появилось в его душе. Он почувствовал себя так, словно его всего облили чернилами. Остолбенев, широко раскрытыми глазами смотрел он на испорченную страницу. Обе руки его — и та, что держала ручку, и другая, с линейкой,— сильно дрожали. Уши постепенно краснели.

Произошло все это в одно, ну буквально в одно мгновение.

И вдруг в соседней комнате засмеялась Ада Лиепинь. Крустынь Брач вскочил.

Он швырнул линейку в угол. Хотел бросить и ручку, но вовремя удержался — этак и перо сломать недолго — и с остер-

венением воткнул его в щетку для ручек. Изменившимся голосом он крикнул:

— Ада! Да ты с ума сошла!

Ада Лиепинь, все еще смеясь, вошла в комнату. Смех ее еще больше рассердил Крустыня Брача.

— Ты что — одурела, с ума спятила?

Это уже не походило на шутку. В особенности голос, которым это было сказано, не допускал и мысли о шутке. Ада Лиепинь надула губки.

— Как ты смеешь? Что это за тон? Сам ты одурел.

Тут Крустынь Брач трагическим жестом показал на злополучную страницу.

— А ты еще дурачишься! Посмотри-ка на это!

Неизвестно, поняла ли Ада Лиепинь, что она причастна к случившемуся, или нет. Не в этом дело. Главное то, что Крустынь Брач говорил с ней таким тоном и смотрел на нее такими глазами, словно собирался ее укусить. А ведь на мартынов день назначена свадьба. Значит, вот он каков — ладно же! Она вспыхнула и, отодвинувшись от него, гордо вскинула голову и выпрямилась.

— Я просила бы... таким тоном... таким тоном!.. За кого ты меня принимаешь? Ты что вообразил!.. Дикарь!

Она, собственно, даже не намеревалась говорить ему этих слов. Но стоило лишь начать, а дальше пошло само собой. С каждой фразой голос ее звучал все громче, все злее. Нижняя губа у нее задрожала. В груди заклокотал такой гнев, что просто лопнуть можно было. Ада Лиепинь круто повернулась и выбежала из комнаты, с шумом захлопнув за собой дверь.

Крустынь Брач опустился на стул. Все вышло так, что хуже не придумаешь. Проклятая девчонка, и надо же было ей взвизгнуть! Он разыскал резинку и начал стирать чернила, хотя великолепно знал, что это недопустимо и ничего из этого не получится. Не успел он еще стереть у этой проклятой птицы клюв, как явились три директора смотреть его работу. Вот она, его работа! Вот тебе, Крустынь Брач, должность бухгалтера!.. Они пожали плечами и вышли из комнаты.

Крустынь Брач с трудом сдерживал слезы. Эта сумасбродная девица испортила ему жизнь. Он был переполнен злобой, как высохший гриб-дождевик — пылью. А она не появлялась, и ему не на кого было излить свой гнев.

Просидев так с час, он не выдержал, вскочил, распахнул дверь и высунул голову:

— Глупая гусыня!

И снова упал на стул перед своей испорченной работой.

Как и всякому чиновнику, у которого мимо носа проскользнула желанная цель, Крустыню Брачу казалось, что вся его жизнь разбита. Где там думать о женитьбе, когда жалованья не хватит на то, чтобы снять квартиру побольше и воспитывать будущих детей. Да и какая из этой ветрогонки Ады Лиепинь жена! Обмануть она хотела его, обвести вокруг пальца. Замаиила в свои сети...

Он снова высунул голову в дверь:

— Пошла ты к черту!

Неизвестно откуда взялась у него эта грубость и эти непристойные слова. Это он, который не мог задеть проходящую мимо базарную торговку, не извинившись, это он ругался теперь, как последний оборванец. Но когда он опомнился, было уже поздно. Дверь распахнулась. Появилась Ада Лиепинь в наспех накинутом на плечи жакете и в шляпке. Она сорвала с пальца кольцо и с силой бросила его, как бросают кирпич или ядро фунтов в пять весом. Кольцо ударилось в грудь Крустыню Брачу, отскочило и, звеня, покатилось в угол.

— На, бери, мне оно больше не нужно!..

Это было подаренное Крустынем Брачем обручальное кольцо. Само кольцо было цело, но камешек выпал, и Крустынь Брач тщетно разыскивал его по всем углам. Когда он поднялся, Ады Лиепинь уже в комнате не было. Ада Лиепинь ушла.

Ада Лиепинь шла домой. По правде говоря, она даже не шла, а бежала. Зажав портфель под мышкой, неслась она вперед, словно разъяренная фурия. Шляпка съехала на затылок, непослушная прядь волос выбилась на лоб. К тому же в глазах у нее стояли слезы и нижняя губа дрожала. И эти дрожащие губы время от времени шептали:

— Бери! Подавись им! Мне его не надо!

Она бы выцарапала глаза каждому, кто осмелился бы заикнуться, что она сожалеет о случившемся. Да разве она нуждается в каком-то Крустыне Браче? Разве недостаточно у нее знакомых? Еще получше его! С чего это лейтенант каждый день ходит мимо ее окна? Каждый божий день! А почему он здоровается? И разве на последнем балу дамского корпуса директор Мартиньшмидт не танцевал с ней фокстрот? Лейтенант, правда, красивее, но зато директор богаче... Разве не может она выбрать себе мужа по вкусу?

Ада Лиепинь врезалась в толпу, собравшуюся перед расклеенными на стене кинематографа рекламными плакатами. Работая локтями, она проложила себе дорогу к подъезду. Еще

больше обозленная грубыми замечаниями любителей кинематографа, рванула и с шумом захлопнула за собой дверь. Влетела в вестибюль и в три шага очутилась у другой стеклянной двери, которая открывалась в обе стороны. Ада Лиепинь толкнула ее так, что она с грохотом ударилась об стенку.

В этот момент из первой квартиры на первом этаже вышла госпожа Либесман, супруга владельца этого дома. Она была на последнем месяце беременности и каждый день выходила гулять. Нагнувшись, она старалась поправить что-то на подоле своего платья. Это было нелегким делом. Внезапно дверь вестибюля распахнулась, и кто-то вихрем налетел на госпожу Либесман, перепугав ее до полусмерти.

— Ох! Боже мой!

Она откинулась назад ровно настолько, насколько до этого нагнулась вперед. Зонтик выпал у нее из рук, выпала и чешуйчатая серебряная сумочка-помпадур. Золотые часики на цепочке выскользнули из-за пояса и повисли на животе. Сквозь желтые пятна на лице проступила смертельная бледность. Госпоже Либесман показалось, что в дом ворвались грабители, что Рига горит... Сотни догадок, одна другой страшнее, молниеносно пронеслись в ее голове.

Это было ужасно, но дальше случилось нечто еще более ужасное.

Что-то мягкое ударило в ухо госпожу Либесман, а в другое крикнул что-то сердитый голос.

Это ей-то! Жене оптового торговца и владельца этого дома! Кто же это? Уж не та ли авантюристка... конторщица — квартирантка с пятого этажа!

Задыхаясь, теряя сознание, госпожа Либесман прислонилась к двустворчатой двери своей квартиры. Пальцы никак не могли нащупать кнопку звонка.

Госпожа Либесман забарабанила в дверь кулаками.

— Анна!.. Анна-а!

2

Анна рванула дверь и подхватила сильными руками госпожу Либесман. Прибежала она прямо из кухни, с засученными рукавами, руки по самые локти в муке.

— Барыня! Что случилось? Барыня!

С трудом поддерживая слабеющую хозяйку, она повела ее по коридору. Анна отлично знала свою барыню и не придавала особого значения ее нежданному вторжению. Мысли ее зани-

мали щуки, жарившиеся в кухне на сковороде, и она сердилась на то, что барыня, словно клещ, вцепилась в нее так, что и не оторвать.

Анна втащила госпожу Либесман прямо в столовую и усадила на стул.

— Ну вот, посидите здесь. Все обойдется, все обойдется!

И убежала в кухню. Так и есть: щуки начали подгорать. Анна стала сердито поддевать их ножом и повертывать на другую сторону. Так и есть... Сизый чад и запах пригорелого масла ударял в нос. Что-то теперь барин скажет? Ведь ему и так никогда не угодишь...

Барыня в столовой громко стонала. Возвратясь, Анна застала ее совсем обессиленной: лицо побагровело и покрылось потом, глаза расширились от ужаса.

— Что с вами? Господи, что с вами?

Но барыня только стонала и бессмысленно водила вокруг руками. Вот она заплакала, и крупные слезы потекли у нее по носу и губам. Потом вздрогнула, словно ужаленная, и закричала.

Анна перепугалась не на шутку. Дело-то, видать, серьезное. Судороги, истерика и тому подобное... Она расстегнула барыне платье, стала успокаивать как умела, расспрашивать. Совала ей под нос флаконч ики с одеколоном и нашатырным спиртом, но все напрасно. Барыня только давилась, вздрагивала и плакала крупными слезами. Но вот она стала сползать со стула. Анна кое-как дотащила ее до спальни и уложила в постель. Тогда барыня стала метаться и время от времени вскрикивала истошным голосом.

Да, дело плохо. Анна начала догадываться, хотя ей и стыдно было об этом думать. Она бросилась в кухню и завернула газовый кран. Щуки стали пригорать и с другого бока. Но Анна больше не думала о них, а бросилась в кабинет к телефону. Она долго крутила ручку телефонного аппарата, словно это была кофейная мельница.

— Господин Либесман? Да?.. Это Анна... Анна, да! Скорее идите домой. Барыня заболела... Заболела, говорю! Бегом бегите... ужасно больна... Что? Через полчаса? Нет, сейчас же! Я не знаю, что с ней. Мне кажется — ну вы сами знаете... Сейчас? Хорошо, только поскорей. Пожалуйста, поскорее...

Но господину Либесману не так-то просто было вырваться домой. Вот уже второй день, как заседал он с господином Ротфинком и господином Приеде и вместе с ними калькулировал, на сколько надо повысить цену на сахар. Рубль с каждым днем

поднимался в цене; однако следовало, чтобы подорожал и сахар. В руках этих троих людей были сосредоточены самые крупные запасы сахара, так что они и устанавливали цены на него. Дело это, однако, было весьма сложное. Нельзя было считаться только со сложившейся ситуацией, следовало обсудить и взвесить виды на ближайшее будущее. Господин Ротфинк, как самый молодой и горячий, предлагал в перепродаже и розничной торговле повысить цену с двадцати двух до двадцати восьми рублей. Господин Приеде считал, что следует повысить цену всего на два рубля за фунт. Господин Либесман колебался между тремя и четырьмя рублями надбавки. Накануне они так и не достигли согласия, не было ни малейших видов и на то, что оно будет достигнуто и сегодня. Вопрос оказался сложным. Мелкие торговцы, ожидая перемен, стали придерживать свои запасы. В утренней газете уже появилось сообщение, что сахар почти невозможно достать и завтра последует полный кризис.

И именно в этот момент господина Либесмана вызвали домой!

Вконец расстроившись, он положил трубку и бросился к столу, за которым, перебивая друг друга и размахивая руками, спорили господа Ротфинк и Приеде.

— Извините, господа, но мне надо немедленно ехать домой.

Но его никто не слушал. Господин Приеде в этот момент перегнулся через стол, пытаясь ухватить господина Ротфинка за пуговицу пиджака.

— Позвольте, позвольте... Ваши расчеты неверны. Я допускаю, что в данный момент шесть рублей на фунт, конечно, больше, чем два рубля. Но ведь мы не сворачиваем наше предприятие с сегодняшнего дня, верно? Нам необходимо считаться с кредитоспособностью покупателей. Да и кроме того, у нас есть достоверные сведения, что чехословацкий синдикат в ближайшее время понизит цены. И так как наши запасы сравнительно невелики...

Господин Ротфинк схватил господина Приеде за руку.

— Милейший господин Приеде! Будущее — пусть даже ближайшее будущее — не является для нас фундаментом. На нем мы ничего не можем строить. Будущее полно всяких неожиданностей. Можете ли вы гарантировать мне, что пошлина на ввозимый в страну сахар не будет повышена? Можете вы мне гарантировать это?

Господин Либесман стукнул кулаком по столу.

— Господа! Господа! Мне необходимо уехать...

Господин Приеде схватил со стола карандаш и вытащил из кармана записную книжку.

— Позвольте... Я сейчас...

— Лучше не пытайтесь. Вы меня не переубедите. Мне кажется, что если я имею в данном случае право голоса, если вы считаете, что я так же заинтересован...

Господин Либесман повернулся, сорвал с вешалки пальто и шляпу. И только тогда, когда он уже был в дверях, компаньоны его опомнились.

— Помилуйте, куда это вы? Что вы?

И в следующее мгновение четыре руки схватили его за пиджак, за полы пальто, за талию.

— Извините... у меня жена... вы понимаете... На полчаса...

Телефон снова зазвонил как ошалелый. Господин Либесман вырвался, бросился вниз по лестнице и вскочил на первого попавшегося извозчика. И, только доехав до угла, он спохватился и дернул извозчика за рукав.

— Сколько?

Извозчик в ответ лишь натянул вожжи.

— Сами знаете, барин.

Несмотря на все свое волнение, господин Либесман не лишился еще практической сметки.

— Нет, я хочу знать, сколько?

— Если сотню, не будет дорого?

— Что? Сотню? Останавливай, я вылезаю. Пятьдесят, больше я никогда не плачу.

Извозчик хлестнул лошадь.

— Ладно, сойдемся на семидесяти пяти.

Господин Либесман хотел было вылезти, но вовремя спохватился. За то расстояние, что проехали, все равно придется платить. А другого извозчика поблизости не видать. Трамвая возле остановки нет. Да вот и остановку проехали, и извозчик свернул на широкую, довольно пустынную улицу. Ничего — можно заплатить. Ведь это его первенец. Да если еще сын...

Дорогой он заранее вынул деньги. Чуть было не позабыл сунуть обратно в кошелек новую четвертную, а на ее место всунуть между двумя другими порванную, кое-как склеенную бумажку, которую вчера не взяли у него в кондитерской. Скомкав в кулаке деньги, господин Либесман подтолкнул извозчика в спину.

— Скорей, скорей! У меня жена умирает...

— Жена? Ага... Ничего, доедем...

Извозчик сделал вид, что подгоняет лошадь. А господину

Либесману казалось, что она топчется на одном месте. Всеми своими помыслами, всем своим существом он стремился вперед к дому, который был уж ему виден. А если первенец будет сыном... Ему очень хотелось поделиться с извозчиком, рассказать ему, что у него ожидается прибавление семейства. Но вот и шляпный магазин... «Парфюмерия»... вот и меблированные комнаты... Приехали.

Господин Либесман соскочил с пролетки и бросился вверх по лестнице.

Положение оказалось серьезным. Клара каталась по кровати и громко стонала. Господин Либесман совсем растерялся. Позвонил доктору Барону. Того не оказалось дома. Доктора Скуйи тоже. Больше он не стал звонить. Написал несколько слов на визитной карточке и погнал Анну к доктору Сливовицу. А сам бегал вокруг Клары, не зная, что делать.

Телефон звонил не переставая. Ну, конечно,— Ротфинк и Приеде. Трубка дрожала у него в руках. Голос охрип. А тут у Клары началась очередная схватка, она завопила на весь дом, и ни слова нельзя было разобрать.

— Алло... Господин Ротфинк! Прошу меня извинить... Сегодня не могу. У моей жены, вы знаете... Опять! О господи боже...

Господин Либесман бросил трубку и зажал уши, чтобы не слышать больше стонов Клары и непрерывных телефонных звонков.

3

У жены адвоката госпожи Зевальд уже было замешено тесто для яблочного пирожного, как вдруг выяснилось, что не хватает сахара. Прислуга обегала весь город — нигде и фунта нельзя было купить. Торговцы стояли за прилавками хмурые и только пожимали плечами. Сахара не было.

Можно было бы занять у жены торговца Пинкуля, которая жила в том же доме, на втором этаже. Но оказалось, что она еще утром одолжила весь свой излишек жене инженера Тумбака. Когда здесь не вышло, попыталась занять напротив, у Зилисов. С ними, правда, не стоило быть на короткой ноге, но, в крайнем случае, могли пригодиться и они. Однако Зилисы уехали в деревню на какие-то похороны, а их квартирант-учитель столовался в другом месте. У него и спрашивать было нечего. Прислуга взялась сходить к дворничихе, придумав соответствующий предлог. Обращаться к дворничихе —

дело рискованное, но, очутившись в безвыходном положении, госпожа Зевальд вынуждена была рисковать даже собственным престижем. У дворничихи получили немного сахару — так с чашку, больше у нее и не было.

Госпожа Зевальд стояла посреди кухни, в смятении ломая руки.

— Катрина, что же мы будем делать? Что делать будем?!

Катрина в это время стояла у миски с тестом и пробовала его.

— А мне кажется, барыня, тесто совсем не такое уж кислое. А как испечется, еще слаще станет. Да если еще постоит, то и вовсе сладкое будет. Я думаю, если добавить побольше масла...

Но госпожа Зевальд сердито перебила ее:

— Уходи ты со своим маслом. Разве я не знаю, сколько полагается класть. У меня есть рецепт...

У нее и правда был рецепт. Яблочное пирожное госпожи Зевальд славилось на весь город. Каждый четверг к ней приходили три, четыре, пять, шесть, иногда и больше знакомых дам на чашку кофе с яблочным пирожным. Они ели, похваливали и тщетно старались выведать у госпожи Зевальд рецепт. Это была ее тайна. Ее престиж, да и отчасти престиж ее мужа, адвоката Зевальда, зависел от этого рецепта. Поэтому нетрудно понять волнение госпожи Зевальд, когда она, стоя посреди кухни, ломала руки.

Катрина облизала вымазанный в тесте палец и вытерла его о передник.

— Барыня, что же нам теперь делать-то?

Госпожа Зевальд перестала ломать руки, подошла к кухонному окну и посмотрела во двор.

— Я тоже не знаю, Катриныня. Они приглашены, и все придут. Они всегда приходят. Ни одна не забудет.

— А кто сегодня придет, барыня?

— Госпожа Саусведер, госпожа Гарайс и жена директора Апмана. Ах, если бы не госпожа Апман!

— А нельзя ли устроить так, барыня: угостить их шоколадом и сахарными крендельками? У нас еще есть в кульке.

— Э-эх, что ты болтаешь! Да и сколько там осталось? Разве ты не знаешь, как они едят? Ах, если бы не госпожа Апман! Она ведь ничего не признает, кроме яблочного пирожного. Она мне ясно сказала: «Я к вам, госпожа Зевальд, хожу только из-за вашего вкусного, восхитительно вкусного яблочного пирожного...»

— Да уж она прямо и не знает, как повыше нос задрать.

— В том-то и дело. После того как ее муж помог получить моему мужу место юрисконсульта в департаменте, она смотрит на нас свысока. Меня она давно шокирует, но что поделаешь... Мы все-таки от них зависим.

— Я вот что думаю, барыня, давайте-ка печь пирожное. Вот увидите, все обойдется.

Госпожа Зевальд тяжко вздохнула.

— Что же поделаешь, придется печь. Но ты себе и представить не можешь, Катриныня, как у меня неспокойно на душе. Быть беде... Проклятые торговцы опять устраивают какие-то махинации.

Ровно в пять явились госпожа Саусведер и госпожа Гарайс. С этими больших хлопот у госпожи Зевальд не было. Она сидела с ними в гостиной и болтала о том, о сем, все время прислушиваясь, не раздаются ли шаги на лестнице. Сердце у нее сильно билось, но тем не менее она еще не теряла надежды. А может быть, и не придет. Может же что-нибудь задержать даже бездетную женщину.

«Дзинь!» — прозвенел электрический звонок. Госпожа Зевальд слегка побледнела и поднялась. Руки у нее чуть-чуть дрожали, и, чтобы скрыть это, она принялась поправлять прическу, которая в этом вовсе не нуждалась.

Вошла молодая красивая жена директора кожевенного департамента министерства промышленности, как обычно, приветливо улыбаясь, ослепив хозяйку и гостей своим новым розовым костюмом. Но и в этой улыбке и приветливости сквозило сознание собственного превосходства, которое заставило страдать и хозяйку дома, и гостей. Но тут ничего нельзя было поделать. Дружбу с госпожой Апман старались сохранить любой ценой. На премьерах и в общественных местах даже на знакомых падал отблеск великолепия госпожи Апман: она была в приятельских отношениях с женами двух министров, а в театре при ее появлении всегда вставал и кланялся из седьмого ряда наш знаменитый поэт Аудзеспудур.

Госпожа Апман гордо уселась и закинула ногу на ногу, чтобы дать другим гостьям возможность полюбоваться ее новыми туфлями, которые стоили две тысячи двести рублей, и шелковыми чулками, купленными за четыреста пятьдесят. Благосклонным взором окинула она наряды своих приятельниц. Но под этим взглядом госпожа Саусведер стала разглаживать платье на коленях, а госпожа Гарайс поправила медальон. Госпожа Зевальд откашлялась и от этого еще больше покраснела.

Гостьи стали подробно расспрашивать госпожу Апман о ее новом костюме. Госпожа Зевальд извинилась и пошла накрывать на стол...

Выйдя за двери, она прижала руки к груди, где так непривычно громко стучало сердце. Тяжело вздохнула. Она была ужасно взволнована. Ее доброе имя, честь ее дома и общественное положение были поставлены на карту. Она все сильнее злилась на себя, на торговцев, на весь мир — в особенности на эту зазнайку, госпожу Апман.

Госпожа Зевальд имела все основания гордиться своей столовой. Мебель там была из светлого дуба, сделанная на заказ по рисункам художника. А такого сервиза не было даже у госпожи Апман. Перед ее прибором госпожа Зевальд поставила пепельницу и серебряную спичечницу, потому что она после кофе или шоколада всегда курила.

Гостьи неторопливо уселись за стол. Катрина внесла серебряный кофейник с шоколадом, разлила по чашкам и стала в раскрытых дверях. Видя, как барыня взволнованно дышит, заволновалась и она.

Госпожа Зевальд сделала попытку зачерпнуть ложечкой из чашки. Но ложка дрожала в руке, поэтому она снова опустила ее и стала без всякой нужды размешивать шоколад. Казалось, она смотрит только в свою чашку. На самом деле, она замечала малейшее движение каждой гостьи.

А они продолжали начатый еще в гостиной разговор.

Госпожа Саусведер спорила с госпожой Гарайс.

— Позвольте, милая госпожа Гарайс, я не могу с вами согласиться. В весеннем номере журнала «Modenwelt» [1] ничего нет. Из этих фасонов просто трудно выбрать себе что-нибудь приличное... Я могу вам порекомендовать «Die schöne Dame» [2]. Купите — вы не раскаетесь.

Она положила кусочек яблочного пирожного на тарелочку. Госпожа Гарайс последовала ее примеру. Потом взмахнула вилочкой.

— Моя портниха приносит мне все журналы. Но я еще не успела просмотреть их. Шить она мне начнет лишь на будущей неделе.

Госпожа Апман приложила ложку к губам. Потом отломила маленький кусочек пирожного.

---

[1] «Мир мод» *(нем.)*.

[2] «Изящная дама» *(нем.)*.

Госпожа Зевальд покраснела еще больше. Словно ища спасения, бросила умоляющий взгляд на Катрину.

— Все-таки самый прогрессивный журнал — это «Pariser Chic» [1]. Я, по правде говоря, в остальные даже не заглядываю.

Госпожи Саусведер и Гарайс одновременно положили в рот по кусочку пирожного и переглянулись. Госпожа Зевальд не могла понять почему — то ли из-за пирожного, то ли из-за высокомерия госпожи Апман. Но они меньше всего интересовали госпожу Зевальд. Она наблюдала за госпожой Апман.

Госпожа Апман отхлебнула еще немного шоколада и поморщилась. Явно поморщилась... Госпожу Зевальд просто в жар бросило. Значит, и шоколад недостаточно сладкий... Госпожа Апман поставила чашку и положила в рот кусочек пирожного. В глазах у госпожи Зевальд все померкло. Она видела только рот госпожи Апман — этот страшный рот, в котором исчез кусочек пирожного и который угрожал самому существованию госпожи Зевальд. Жевавший сначала жадно и быстро, этот рот стал двигаться все медленнее и медленнее. Казалось, он с трудом разжевывает кусок сухой подошвы. И вот он перестал двигаться. Потом потянулась рука и... оттолкнула чашку и тарелочку с начатым пирожным. Пара строгих, вопросительных и в то же время насмешливых и злых глаз уставилась на госпожу Зевальд.

Все кончено... Госпожа Зевальд старалась побороть гнев и слезы. Ей показалось, что стул выскользнул из-под нее, что она сидит на паркете, что она скользит куда-то в пустоту, в пропасть. Ей хотелось вскочить и закричать, но не было сил и перехватывало дыхание.

И как только госпожа Апман опустила руки на колени, госпожа Саусведер и госпожа Гарайс тут же перестали есть и пить. Когда же госпожа Апман снова протянула руку и оттолкнула даже пепельницу и спички, они снова обменялись долгим и многозначительным взглядом.

На губах госпожи Апман заиграла ядовитая улыбка.

— Сахар с каждым днем дорожает...

Госпожа Гарайс поспешила ей поддакнуть:

— И нигде его нет! Сегодня ни в одной лавке нельзя купить.

Госпожа Саусведер тоже заволновалась:

---

[1] «Парижский шик» *(нем.)*.

— Вероятно, лавочники затеяли какие-то махинации... Теперь опять набавят несколько рублей на фунт.

Госпожа Апман не спускала уничтожающего взгляда с потрясенной, еле живой госпожи Зевальд.

— Мы всегда закупаем пудами. Нам Тутер присылает на дом. У нас никогда не случается, чтобы пришли гости и к столу не хватило сахару.

Она поднялась. За грохотом отодвигаемого стула нельзя было расслышать подобного стону вздоха, который вырвался из груди госпожи Зевальд. Госпожа Саусведер тоже поднялась.

— Ах, дорогая госпожа Апман, неужели вы уже...

— Да. Мне пора. Я ведь к вам мимоходом. Вы видите, что у меня еще прическа не в порядке. А сегодня премьера пьесы Аудзеспудура...

Госпожа Зевальд тоже поднялась. Схватилась за край стола, как утопающий за соломинку.

— Прошу вас, побудьте еще немного!..

— Простите — не могу. Мне еще нужно к парикмахеру...

Постукивая каблучками, она так стремительно пробежала мимо госпожи Зевальд, что заколыхалась гардина.

Госпожа Зевальд бросилась вслед за ней.

— Госпожа Апман... Как же так?..

Но госпожа Апман уже надела жакет. Стоя перед зеркалом, она с хрустом прикалывала булавкой шляпу.

— Да, да, да... Мне нужно идти. У меня есть еще и другие дела. Да, да... До свидания, госпожа Зевальд!

Хлопнула дверь. Зеркало на стене вздрогнуло и звякнуло.

Катрина тоже вышла из кухни. Она всем сердцем сочувствовала своей барыне и пыталась ее утешить.

— Барыня, барыня!

Но не было предела гневу и страданиям госпожи Зевальд. Сжимая кулаки, она бросилась на прислугу.

— Что ты суешь нос! Что ты понимаешь!.. Ты — дрянь...

4

Директор департамента господин Апман в пальто, с сигарой в зубах стоял в передней, собираясь на какое-то заседание.

Госпожа Апман хотела, не останавливаясь, пробежать мимо, но он, смеясь, схватил ее за рукав.

— Ну, кисонька, зачем так спешить?

Но супруга вырвала руку и так посмотрела на него, что он совершенно растерялся.

— Оставь меня в покое, дурак! Я тебе не кисонька! У меня есть имя.

Даже неизбалованный ласковым отношением жены господин Апман руками развел.

— Ну, ну...

Госпожа Апман топнула ногой.

— Зови меня по имени!

— Ну... Элла...

— Элла-а... Я тебе не Элла-а-а, раз ты не умеешь заступиться за свою жену... Раз над твоей женой каждый может подшутить и поиздеваться!..

Господин Апман, видавший на своем веку всякие капризы, попытался отделаться шуткой.

— Какая тебя муха укусила? Или, может, трамвай наехал...

Госпожа Апман покраснела как рак.

— Ты считаешь, что твоей жене можно и по щекам надавать. Ты и пальцем не пошевельнешь. Может быть, ты втайне надеешься, что меня когда-нибудь переедет трамвай?

— Элла, что ты говоришь! Кто это тебя так рассердил?

— Рассердил, говоришь? Всего лишь рассердил! И ты осмеливаешься говорить мне это в глаза! Когда меня так оскорбили и осмеяли! Кажется, ты бы должен понять, что, оскорбляя меня, оскорбляют и тебя. Если со мной осмеливаются так поступать, то, значит, плюют и на тебя.

Господин Апман застегнул пальто.

— Никто на меня не плюет. Ты просто-напросто поссорилась со своими приятельницами, отсюда весь этот ералаш. Я замечаю, ты за последнее время стала слишком много нервничать.

— Ах, замечаешь! Значит, ты в последнее время стал мною интересоваться. Весьма лестно. Весьма лестно! Только ты как был дураком — так дураком и остался. Я со своими приятельницами никогда не ссорюсь. Они у меня не такие. С твоими — да! Ты ужасно неразборчив в выборе друзей. Ты не считаешься со своим положением, компрометируешь себя, а заодно и меня.

Господин Апман пожал плечами.

— Ничего не понимаю. Решительно ничего.

— Неужели это еще нужно объяснять! А эти твои Зевальды... И чего только ты покровительствуешь им и выставляешь вперед! Что ты в них нашел? Кому из нас нужно было ходить к ним в гости, поддерживать с ними знакомство, приглашать их в дом — тебе или мне? Мы их из грязи вытащили. А теперь она

осмеливается угощать меня шоколадом без сахара, пирожным без сахара... Пирожное! Да разве это пирожное! Какое-то безвкусное месиво! Меня! Разве это не издевательство!

— Не дури, Элла. У нее, по всей вероятности, не хватило сахара. Только и всего.

— И он еще возражает! Будто я ничего не понимаю, будто у меня нет глаз. Будто я не вижу, как она завидует мне, как после каждого моего слова переглядывается со своими подругами. Все это нарочно подстроено, чтобы поиздеваться надо мной, а потом раззвонить по всему городу. Если ты это так оставишь, между нами все кончено. Если завтра этот Зевальд еще будет числиться юрисконсультом департамента — я тебе больше не жена! Я или он — это мое последнее слово!

Сигара господина Апмана то торчала у него во рту, то оказывалась в руке, потом опять во рту. Другой рукой он взял портфель и сунул его под мышку.

— И завтра, и послезавтра, и после-послезавтра Зевальд будет там, где он был. Он нам нужен, и из-за женских капризов я никогда не увольняю. Ты нервничаешь, вот и все. Пойди выспись.

И ушел.

Госпожа Апман топнула ногой и погрозила кулаком. Но все было напрасно — господин Апман уже ушел.

И это называется муж! Ее муж! Над ней издевались, ее высмеяли самым бессовестным образом! Угостили каким-то пойлом, вместо пирожного подсунули подошву... А он! И это называется муж!

Наконец она собрала всю силу воли, взяла себя в руки. Уселась на диван и попыталась разобраться в нахлынувших на нее противоречивых чувствах.

Ей уже давно известно, что для Апмана она ничто. Абсолютно ничто! Другие мужья готовы для своих жен все сделать, а ему жаль даже двух-трех тысяч, которые она должна заплатить за платье или туфельки. Витолинь брал с собой жену в Берлин — чего только они оттуда не привезли! А она? Когда в соседнем комиссионном магазине продавался сервиз за шестнадцать... или когда она прошлой осенью хотела купить каракулевое пальто... Нет, нет — это не человек!

Зверь в образе человека! Идиот! Пальцем не пошевельнет для нее, в то время как другой на его месте вызвал бы на дуэль, в огонь и в воду кинулся бы. Обращается с ней, как с собакой. Директор департамента — подумаешь, важная птица! А в гостях или на балу на него никто и смотреть не хочет. Весь вечер тор-

чит за картами, вечно сигара в зубах. Все усы никотином провоняли... И бородавка над глазом... Фи!

Госпожа Апман старалась успокоиться, но чем больше она думала, тем сильнее в ней нарастали гнев и отвращение ко всему свету. Госпожу Зевальд и связанное с ней происшествие она постепенно забыла. Ее мысли вертелись только вокруг этого деспота и мучителя. Он казался ей все более невыносимым и ненавистным. Фантазия ее лихорадочно работала, отыскивая способ, как ему отомстить.

Да, теперь она знает... Она, правда, не хотела бы... Она была верной женой. Но если он сам наталкивает на это! Если он сам вынуждает ее... Глаза госпожи Апман грозно сверкнули, но потом, под влиянием нахлынувших на нее новых чувств, заволоклись влагой. Она переоделась, поправила волосы и некоторое время бесцельно постояла у зеркала. Идиот! Не мог оценить такую жену! Ну, ничего, ничего — найдутся другие, они оценят.

Вон на стене висит увеличенная фотография известного поэта Аудзеспудура. Не было еще такого случая, чтобы при ее появлении в ложе он не заметил ее, не вскочил и не поклонился... А эти розы на столе. Это, конечно, прислал сегодня студент Микельсон... Микельсон... Как он целует руку... А как танцует полонез...

Госпожа Апман придвинула к себе букет, обняла его обеими руками, погрузила лицо в цветы. Это она однажды видела в кинематографе — ужасно красиво... Щеки у нее горели, глаза блестели.

Звонок... Она знает, кто это. Госпожа Апман прилегла на кушетку. Она ведь немного утомилась и не может выйти навстречу. Пусть горничная пригласит его прямо сюда.

Вошел Микельсон, еще более возбужденный, чем обычно, в шиллеровском воротничке, темных в светлую полоску брюках, сжимая в руке корпорантскую шапочку... Щелкнул каблуками, низко поклонился и тут же выпрямился.

— Мадам... Вы нездоровы?

Госпожа Апман устало улыбнулась и грациозно откинула голову.

— Ничего... Немного утомилась.

И протянула левую руку, чуть выгнув ее для поцелуя.

Микельсон скомкал шапочку и сунул ее в карман. Опустился рядом на пуф. Одно колено его касалось ковра. Сам он весь как-то выгнулся и подался вперед — словно собирался дотянуться до противоположного берега Даугавы.

Поцеловал руку и хотел было выпустить. Но почувствовал, что ее не собираются отнимать. Тогда он поцеловал еще раз — немного повыше. А потом, осмелев, на самом сгибе. И только после этого руку отняли.

— Господин Микельсон. Не злоупотребляйте моей усталостью.

Но это вовсе не было сказано всерьез. Микельсон это отлично понял.

— Ваша усталость, мадам, придает бодрость и силу... Она подобна источнику вечной жизни.

Госпожа Апман засмеялась, но не очень громко.

— Почему вы не поэт?

— О, что вы! Жизнь тоже поэзия, самая прекрасная поэзия. Ее нужно прожить, как поэму.

Госпожа Апман томно вздохнула.

— Нужно, но разве мы можем...

Микельсон гулко стукнул себя в грудь.

— Для того мы и существуем на свете, чтобы превратить жизнь прекрасных дам в поэзию. Для этого мы и созданы!

— Ну да! На словах вы все герои. А на деле робки и трусливы... Пожалуйста, принесите мне вон ту подушку. Мне так неудобно... Спасибо.

Микельсон все укладывал и никак не мог поудобнее уложить подушку под плечи госпожи Апман. И когда подушка, наконец, была уложена, то выяснилось, что часовая цепочка Микельсона запуталась в волосах хозяйки.

Смеясь, она помогла ему распутать цепочку.

— Шалун! Это вы нарочно. Вы хотите испортить мне прическу.

И ударила его по пальцам.

Он поймал ее руку и больше уже не выпускал. Он снова сидел на своем месте. Одно колено в полосатой штанине на ковре. Сам подался вперед — словно должен был дотянуться до противоположного берега Даугавы...

Госпожа Апман перед зеркалом привела в порядок прическу. Микельсон вытащил шапочку, разгладил ее на ладони и надел на голову. Госпожа Апман улыбнулась ему в зеркало. Он ответил улыбкой. Он никак не мог устоять на месте, так он был счастлив и доволен.

— До свиданья, мой друг, до свиданья! Значит, вечером мы увидимся в театре, пусть даже издали — нам и этого довольно. И это хорошо. Правда?

— Божественная! У меня впереди еще этот проклятый

экзамен. Последний экзамен... А папа сидит у господина Лилиенфельда и ждет... Эх, черт бы побрал всех папаш и все экзамены! Неужели так и провалят...

Снова кто-то позвонил. Микельсон поспешил удалиться.

5

Старый Микельсон действительно сидел в кабинете фабриканта господина Лилиенфельда у письменного стола. Седой, страдающий одышкой, он, словно утопающий, обеими руками держался за подлокотники глубокого мягкого кресла. От продолжительного разговора и волнения на лысине у него выступили капли пота. Узенькие глазки с почтением и надеждой смотрели на сидящего за столом господина Лилиенфельда, который перебирал тонкой белой рукой карандаши и тройной толщины ручки.

Но вот карандаши и ручки разложены по местам. Господин Лилиенфельд погладил левой рукой длинную седую бороду, поправил обшитый шелком воротник пиджака так, чтобы вырезы на отворотах были на одном уровне. Потом вытянул из кармашка уголок красного платочка.

Затем серьезно и строго посмотрел на Микельсона.

— Ваш сын ведет себя так, как совершенно не подобает вести себя жениху моей дочери. Прежде всего, этот беспорядочный, чтобы не сказать больше, образ жизни... Я знаю, я знаю, господин Микельсон. И мы с вами не пуритане. И мы с вами когда-то были молоды. Но всему есть мера и предел. Позорить нас в глазах общества ни я, ни моя дочь не позволим. Мы стоим слишком высоко. Вы извините, но нашу фамильную честь мы ставим превыше всего. Превыше всего!

Микельсон пробормотал что-то невнятное. Надежда в его взоре заметно угасла.

— Все, что вы тут сказали,— прекрасно. Я охотно верю вашим благим намерениям. Но, к сожалению, эти намерения не всегда совпадают с намерениями вашего сына. Все остальное можно было бы извинить и забыть. Но когда он в присутствии других студентов осмеливается называть мою дочь старой немецкой каргой,— простите... это уж слишком...

Он немного привстал с кресла. Но овладел собой и снова сел.

Господин Микельсон попытался встать, но это ему не удалось.

— Господин Лилиенфельд... Вы уверены...

— Позвольте. Более чем уверен. Мне известно все это из самых достоверных источников. Это такая наглость, которую я никогда не смогу простить...

Господин Микельсон судорожно глотал воздух. Одышка душила его, он был словно в кошмаре. Голова склонилась на грудь.

Господину Лилиенфельду стало жаль его.

— Я не прощаю. Я не могу. Но у женщин, к сожалению, иная логика. К сожалению, прошу это запомнить. Моя дочь готова простить и забыть. Женская жалость и великодушие безграничны.

Старый Микельсон бросил неописуемо благодарный взгляд в ту сторону, где находилась комната дочери господина Лилиенфельда.

— Но вы понимаете, что без гарантий мы не можем. Нас слишком долго обманывали и водили за нос. Поэтому мы ставим условия. Первое и самое главное: ваш сын в этом году должен закончить университет. Второе: свадьба состоится в самом ближайшем будущем. Третье: он немедленно должен поступить на фабрику и работать под моим наблюдением. Если вы готовы принять эти условия, то дело еще поправимо.

Теперь попытка Микельсона встать увенчалась успехом. Он протянул через стол свои дрожащие руки.

— Господин Лилиенфельд! Целиком присоединяюсь к вам! Это я вам обещаю! А что я обещаю, то выполняю. Моя честь мне не менее дорога...

Официальная часть на этом была закончена. Теперь господин Лилиенфельд готов был стать уступчивее. Сдержанно улыбаясь, он пожал протянутые руки старого Микельсона и снова усадил его в кресло.

— Успокойтесь, мой друг. Мы всегда понимали и будем понимать друг друга. В нас еще течет кровь нашего славного поколения... Как вы думаете, мне кажется, можно по поводу сегодняшнего соглашения выпить по чашечке кофе с ликером? Это мы можем позволить себе, не так ли?

Он нажал кнопку звонка. Старому Микельсону с его больным сердцем решительно нельзя было пить кофе с ликером. Но мог ли он отказаться? Сегодня, в самый счастливый день его жизни!

Легко, словно юноша, он поднялся и прошел в угол комнаты, где на маленьком столике уже стояла между дымящимися чашками кофе деловито строгая бутылка бенедиктина. Его

усадили на почетное место, на диване. От умиления у него слезы выступили на глазах.

Они пили и болтали, курили сигары и чокались. Глаза у господина Лилиенфельда заблестели. Папаша Микельсон багровел все сильнее. От выпитого ликера, кофе и сигар одышка все больше мучила его, дышать стало трудно. Но он не обращал на это внимания и не тревожился.

Господин Лилиенфельд нагнулся и дружески хлопнул его по колену.

— А теперь поговорим о другом. Мне думается, мы уладим дело с нашим заводом. Тысяч семьдесят или немного больше — это мы можем себе позволить. От этого наш бюджет не пострадает. Вы говорите — несколько новых машин? Да, я думаю, мы это уладим. У нас ведь связи с солидными иностранными фирмами. Правда, мое мнение таково, что сейчас не очень-то выгодно заниматься производством игрушек. Вам следовало бы постепенно перейти на другие виды продукции. Вот если бы вы стали выпускать сапожные колодки или открыли мебельную фабрику... Но все это мы уладим... Разрешите — еще рюмочку.

Папаша Микельсон чуть не прослезился от умиления. Восторг рос в нем, как волна, как лавина, как лес... Он говорил, захлебываясь, смеялся, порывался вскочить с дивана. Но сделать последнее было трудно, так как мешал стол.

Вдруг вошла горничная с запиской. Для господина Микельсона. Папаша Микельсон, улыбаясь, взял записку, посмотрел и подмигнул господину Лилиенфельду. От сына...

Пододвинулся поближе к лампе. Багровый, потный и счастливый, уткнулся в записку. Начал было читать — но отодвинул листок подальше. Снова поднес к глазам, потом опять отодвинул. Улыбка застыла на его лице. Дыхание застряло где-то глубоко в груди. Его больше не было слышно.

Толстые пальцы, державшие записку, дрогнули. Папаша Микельсон повертел ее в руках, потом снова попытался прочесть, прищурив глаза. Написана, кажется, на оторванном от трактирного счета клочке бумаги...

Снова повертел ее и попытался прочесть... «Все. Старая обезьяна снова провалила. Наплевать. Можно закончить в Швейцарии или Германии. А что касается старой немецкой карги, то не стоит стараться. Не стоит. И все-таки я счастлив, безумно счастлив...»

Некоторое время папаша Микельсон тупо смотрел перед собой. Потом листок бумаги в его руке стал странно вздрагивать и шелестеть. Потом он вдруг выбросил обе руки вперед, словно

отталкивая что-то страшное. Листок выпал из рук, перелетел через лампу и, кружась и шурша по паркету, заскользил к двери.

Все тело папаши Микельсона подкидывалось вверх, словно в судорогах, вытянулись под столом ноги. И грудь поднималась, как будто от толчков огромной пружины.

Микельсон старался вздохнуть. Но безуспешно: что-то сдавило его. Голова запрокинулась, лицо стало бурым, как обожженный кирпич, рот широко открылся. Он откинулся на диван и еще несколько раз дернулся.

— Господин Микельсон! Господин Микельсон!

Господин Лилиенфельд стоял испуганный, сжимая обеими руками бутылку с бенедиктином. Когда он решился подойти к старому Микельсону, тот уже лежал спокойно. Не шевелился, не дышал. На губах его выступила розовая пена.

6

Премьера пьесы нашего уважаемого поэта Аудзеспудура привлекла большое число зрителей. Среди них было много писателей, художников и вообще интеллигенции. В правительственной ложе сидели министры. Присутствовал даже посол Финляндии.

Сегодня Аудзеспудур сидел не как обычно, в седьмом ряду, а в ложе партера — ближе к двери на сцену. Спокойным взором оглядел он зал, потом встал и посмотрел наверх. Один знакомый, сидевший в первом ряду партера, посмотрел на него и с улыбкой кивнул головой. Но Аудзеспудур был настолько сосредоточен, что не заметил этого. Он достал носовой платок и вытер руки; откинулся на стуле, потом передумал, подобрал ноги, поставил локти на колени и подпер голову рукой. Но так пришлось слишком низко нагнуться. Шея как-то некрасиво вылезала, к тому же у Аудзеспудура не было полной уверенности в том, что его воротничок достаточно чист. Лучше уж сидеть прямо. Он причесал пятерней волосы, скрестил руки на груди и спокойно, совершенно спокойно стал смотреть через зал на барьер ложи.

Сидящий в шестом ряду критик Бумбат обеими руками поправил пенсне, разогнул одну за другой руки, чтобы разгладить морщинки на рукавах, потом покосился на Аудзеспудура, убийственно улыбнулся и углубился в программу, словно позабыв все окружающее.

Аудзеспудур смотрел на барьер ложи и, однако, видел критика Бумбата. Это было особое искусство — все видеть, не сводя глаз с одной точки. Сидеть, скрестив на груди руки и расставив ноги, было утомительно, но он терпел. Когда Бумбат углубился в программу, Аудзеспудур немного повернул голову и стал наблюдать за дверью, в которую обычно входила госпожа Апман.

А вот и она — в черном, плотно облегающем фигуру бархатном платье, с обнаженными руками. Аудзеспудур вскочил и поклонился. Но она искала глазами поэта на его обычном месте в зале. Аудзеспудур почувствовал себя неловко. Но вот она обернулась, заметила его, ласково улыбнулась и два раза кивнула головой. Успокоенный Аудзеспудур снова сел.

Довольная уселась и госпожа Апман. Правда, на этот раз она не чувствовала обычной самоуверенности и спокойствия. Из зала ей поклонился художник Пукит, бухгалтер департамента Русис и еще кто-то,— имя она не могла припомнить. Всем этим можно быть вполне довольной... Из лож первого яруса в ее сторону направилось несколько бинокле́й. И все-таки она испытывала легкую тревогу. Наклонилась, открыла сумочку-помпадур, чтобы вынуть платок, а тем временем украдкой заглянула в зеркальце. Нет, все как будто в порядке. Лицо такое, как всегда. Кажется, справа на носу немного лишней пудры. Она приложила к этому месту платок и уселась попрямее, подставив свои брильянтовые серьги под свет люстр.

Прямо напротив, в ложе, расселась шумная компания молодых людей. Один из них, зажав в руке шапочку, перегнулся через барьер и несколько демонстративно поздоровался с госпожой Апман. Она узнала... Какой-то студент... Какой-то Микельсон... Она ответила на поклон и повернулась лицом к сцене. Почти сразу же в зале погас свет. Поднялся занавес.

Когда она очнулась от мыслей и стала следить за происходящим на сцене, первое действие уже подходило к концу. Спекдайрис в это время был оставлен в полном одиночестве. Он метался по сцене, заглядывал за все кулисы и кого-то звал. Потом вышел на середину и долго декламировал о том, что нужно идти сражаться с семью лесными вепрями. Но в руке у него не было ничего, кроме можжевелового посоха и серебряной ложечки Сниегулите. Декламация была слишком длинной и утомила зрителей. Но когда под конец зашумела буря, где-то вдали таинственно загремел гром и лесные вепри захрюкали в темноте, публика стала более внимательной и довольно охотно зааплодировала.

Аудзеспудур обвел взглядом зал и задержал его на Бумбате. Но тот углубился в программу, и на лице его ничего нельзя было прочесть. Тогда поэт поднялся и направился к госпоже Апман.

Госпожа Апман была весьма польщена. С чувством пожала ему руку.

— Чудесно, чудесно! Благодарю вас!

Поэт сделал смиренное лицо.

— О, ничего особенного. Я и сам это сознаю. Фрагменты... драматический экспромт, не более. Теперь ведь не дают возможности по-настоящему отработать. А самое лучшее всегда проходит незамеченным для публики. Наши актеры не умеют читать стихи. Да и публика у нас недисциплинированная. Полюбуйтесь на тех студентов, напротив... Вы знакомы с этим блондином?

Но госпожа Апман повернулась лицом к сцене.

— Да, немного... Это некий господин Микельсон... Вы видите в третьем ряду офицера, вон того, что встал? Он поздоровался со мною, но я забыла его имя.

— Вон тот? Если не ошибаюсь, это полковник Ошинь...

Свет стал гаснуть. Аудзеспудур извинился и поспешил на свое место.

Битва с лесными вепрями публике понравилась. Вначале казалось, что они несомненно одолеют Спекдайриса, но под конец Спекдайрис всех победил, сел в лодку и снова отправился на поиски убежавшей куда-то или похищенной Сниегулите. В третьем действии он бился с псоглавцами, чертями и прочей нечистью. И здесь вначале казалось, что они одолеют героя, но под конец все же победил Спекдайрис. В четвертом действии он бился со сполохами и ветреницами. Ввиду того, что на сцене было темно, а за кулисами все время завывал ветер и сверкали молнии, трудно было что-либо увидеть и понять. Зрители шуршали программами и переговаривались. В антрактах автор сидел бледный и потный. Критик Бумбат, спрятав руки в карманы брюк, рассматривал потолок. Пенсне его грозно поблескивало. В пятом действии было светло. Спекдайрис нашел Сниегулите, в королевском замке играли свадьбу. Пили много, и гости вели себя слишком буйно. Один из них даже выронил кубок и, пытаясь поймать его, сам упал. Недисциплинированные зрители смеялись. Еще громче смеялись они, когда Сниегулите, ругая вожака псоглавцев, оговорилась и вместо «ты зверь» выкрикнула «ты бык». Действие само по себе было не так уж плохо, но у публики уже пропало настроение, и это испортило заключительный эффект. Как только Спекдайрис и Сниегулите стали

рядом с королем, чтобы в нужный момент принять его благословение, зрители один за другим стали подыматься и двигаться к дверям. Контролер пытался задержать их, но толпа штурмующих все росла в узком проходе. Поднялся страшный шум, так что из символического монолога короля о будущем народа лишь редкое слово доходило до публики. Когда же за кулисами хор сирот в сопровождении оркестра запел песню, никто уже не хотел больше слушать. Двери распахнулись. Зрители ринулись в гардероб за своими пальто.

Кое-где робко зааплодировали, но тут же смолкли. Аудзеспудур сидел, втянув голову в плечи, словно боялся, как бы его не окатили водой.

Госпожа Апман не выдержала. Она была в самом приятном расположении духа и не могла допустить, чтобы страдал такой милый и внимательный человек, как Аудзеспудур. Она вскочила и стала громко аплодировать, потом обернулась в ту сторону, где сидел не спускавший с нее глаз Микельсон, и кивнула ему.

Микельсон понял. Он так рьяно зааплодировал, что даже штурмовавшая гардероб публика остановилась и прислушалась. Оборачиваясь и энергично кивая головой, он подбадривал своих товарищей и сидящих поблизости зрителей. Госпожа Апман, продолжая аплодировать, кивала головой и приглашала окружающих последовать ее примеру.

Сначала слышались хлопки только в одной ее ложе. Потом они затрещали в партере, поднялись до полупустого первого яруса, охватили спасавшийся бегством балкон. Зал задрожал от аплодисментов.

Первой имя автора опять-таки выкрикнула госпожа Апман. К ней присоединился Микельсон со своей компанией. Аудзеспудур исчез из своей ложи и через несколько мгновений появился на сцене. Аплодисменты нарастали. Даже беглецы оборачивались и аплодировали на ходу. Получившие в гардеробе пальто снова лезли в двери, поглядеть, что происходит в зале, и тоже аплодировали.

Трижды поклонившись, Аудзеспудур убежал за кулисы и вывел оттуда за руки Спекдайриса и Сниегулите. Восторг и аплодисменты зала усилились. Госпожа Апман трудилась без устали. Она сорвала приколотую к поясу розу и бросила ее на сцену. Но не добросила. Чьи-то услужливые руки подняли цветок с пола и бросили дальше. Поэт наклонился, поднял розу и прижал к губам...

Он победил.

7

Критик Бумбат, грозно постукивая тростью по асфальту, спешил в редакцию.

Нет, он не мог вынести такой тупости, такого варварства, такой художественно-безграмотной чепухи. И дело не в том, что Аудзеспудур не был в числе его друзей, что он два года тому назад по-мальчишески раскритиковал его брошюру о ведущей роли интеллигенции в общественной жизни народа. А потом еще написал глупый фельетон, где неудачно пытался коверкать его фамилию. Он, Бумбат, стоял выше такого мальчишества. Но чтобы аплодировали подобной... подобной белиберде да еще вызывали автора — этого его совесть критика не могла допустить. Во что же грозит превратиться наша сцена? Что это — обитель искусства или балаган? Храм бессмертных муз или же просто постоялый двор для всякого рода бродячих дилетантов?

До двух часов ночи просидел Бумбат в редакции. Перо его сухо поскрипывало, выводя строчку за строчкой. На стол шеф-редактора он положил четыре полосных столбца для очередного номера. На подобные... подобные явления нужно было реагировать резко и незамедлительно. Во что собираются превратить наш храм муз?

Бумбат плохо спал ночь. Во сне на него нападали псоголовцы, ветреницы, сполохи и разная нечисть. Одеяло с него сползло, он проснулся, дрожа от сквозняка и в то же время весь в поту. Выпил полграфина воды, снова лег, но уже не мог уснуть. Перед глазами у него неотступно стоял Аудзеспудур, нежно прижимавший к губам розу.

Выйдя утром из дому, Бумбат не дотерпел до редакции — купил в киоске свежий номер газеты и заглянул в него. Рецензии его там не было.

Бумбат так и застыл на месте, прямо у двери аптеки. Что это значит? Куда же девалась его статья? Но в газете было кое-что похуже. Сообщение на десять строк о вчерашнем спектакле, о громадном успехе, чествовании автора и так далее. «Подробная рецензия нашего постоянного театрального критика будет напечатана в ближайшем номере...»

Это, значит, его рецензия — и после такого блефа! Бумбат вскочил в проходящий мимо трамвай. Сейчас он увидит... он узнает... он спросит, что все это значит.

Редактор в явном смущении сидел за письменным столом. Рука его лежала на рукописи Бумбата.

Бумбат, даже забыв поздороваться, ткнул пальцем в газету.

— Прошу объяснить... что это значит? Я требую объяснений.

Редактор почесал ручкой за ухом.

— Видите ли, дорогой Бумбат, так все же нельзя... Я сам был вчера в театре и видел. Пьеса, правда, не бог весть какая, ну, скажем, слишком много лирики, слишком много внешних сценических эффектов, растянутые монологи... Обо всем этом нужно было писать. Но не так, как сделали вы. Вы от нее камня на камне не оставили. Так нельзя.

— Почему нельзя, хотел бы я знать!..

— И вы еще спрашиваете? Вы раздракониваете автора и ругаете публику. И при этом забываете, что автор является сотрудником нашей газеты. Еще вчера мы поместили его стихотворение, посвященное госпоже Э. А. Помните? «Твои глаза — созвездье Ориона, И в звездных снах проходят дни твои...» Прекрасные стихи. Мы уже объявили, что в следующем полугодии будем печатать его новый роман. А вы: «Дилетанты, постоялый двор, гомункулы от драматургии...» Я все эти места подчеркнул. А как вы зрителей разделали! Разве это допустимо? Я сам был там и видел многих уважаемых особ. Даже несколько членов правительства присутствовали. Да кто же после такой статьи станет читать нашу газетку? Ведь наша газета не какой-нибудь социалистический листок!

Глаза Бумбата сверкнули.

— Нет, нет, я не социалист... Нет, нет...— И он оперся обеими руками на стол.— Так вы будете печатать или нет?

Редактор слегка отпрянул и выпятил грудь.

— Позвольте, что за тон...

То, что случилось дальше, вероятно, сам Бумбат предвидел меньше всего.

Откуда-то в его руке оказались большие ножницы для бумаги. Он замахнулся и... ткнул. Острие ножниц вонзилось в рукав редактора и прорезало его.

— Бумбат, вы пьяны!

Редактор вырвал ножницы и положил их на место. Поправил растрепавшиеся волосы, встал. Голос его ни разу не дрогнул.

— Бумбат, если вы пьяны, то пойдите домой и проспитесь! Или, может быть, мне позвать сторожа? Если же вам вообще не нравится у нас — пожалуйста. На ваше место мы найдем другого.

Бумбат засмеялся безумным смехом.

— Значит, вот до чего мы докатились! Значит, критик не

может больше прямо высказывать свое мнение! Всевозможные гомункулы от драматургии будут задирать нос, экстравагантные дамы и кучка подкупленных мерзавцев устраивать овации любому графоману, а критик должен молчать. Храм муз превращают в постоялый двор для всякого рода авантюристов...

Редактор осмотрел прорезанный рукав и установил, что повреждения незначительны. Жена заштопает черными нитками.

— Образумьтесь же, Бумбат, прошу вас. Поймите, что так нельзя. Мы не можем так оскорблять известного писателя и издеваться над публикой... Не забывайте, что Аудзеспудур фаворит госпожи Апман, а господин Апман один из издателей нашей газеты. Понимаете ли вы, что это значит? Один из из-да-те-лей!

Но Бумбат в ответ засмеялся еще более трагическим смехом. Схватив со стола перечеркнутую рукопись, он опрометью бросился в свою комнату.

Там он разорвал все четыре страницы своей рукописи на мелкие клочки и бросил их в корзину. Выдвинул ящики стола, выхватил оттуда все рукописи, и свои и чужие, разорвал их и набил ими корзинку. Схватил со стола чернильницу и вылил ее на бумаги. Потом вытащил спички и все поджег...

Когда редактор отворил дверь, комната уже была полна дыма и корзинка с одного бока прогорела. А Бумбат стоял посреди комнаты и смеялся безумным смехом.

Пожар благополучно потушили. Бумбата отвезли в Саркаикали, потребовались четыре санитара, чтобы с ним справиться.

8

И все это случилось только потому, что в среду на второй неделе мая месяца часов в одиннадцать утра жена часового мастера госпожа Ланкевиц выронила яйцо на тротуар и оно разбилось. И это послужило только началом.

1922

В летнем дворце графа Эстергази еще все спят. Даже в нижнем этаже первого крыла, где живут повара, кухонная прислуга и судомойки, уборщицы и прачки, еще не открылось ни одно окно и не было слышно еще ни одного голоса.

Белые мраморные колонны и лестница в шесть ступеней с балюстрадой по обе стороны тускло отливают влагой только что осевшего тумана. Сырыми кажутся и усыпанные белой галькой, пока еще не приглаженные дорожки с редкими вчерашними следами. Густые ветви миртов, округлая крона лавров и стрельчатые листья пальм сверкают от росы. Увивающий зеленую железную ограду дикий виноград чуть заметно парит на солнце.

Тиса наполовину уже в солнечном багрянце. Виноградники на этом склоне, должно быть, уже зарделись. Тот берег пока еще в сумерках и выглядит темным и холодным. У самой его кромки над водой еще плещется легкая пелена тумана.

Франк Аршалык, садовник графа Эстергази, занимающийся только розами, первым пробудился ото сна. Крадучись выскальзывает он в низкую дверь левого крыла и оглядывается на открытое окно своей комнаты в нижнем этаже. Оно выходит прямо на запад, и солнце туда заглядывает только после обеда. Потому-то он, так любящий солнце, не может по утрам долго спать. Комната кажется ему подвалом с промозглой сыростью. Он уже просил коменданта, обращался даже к управляющему имением, чтобы ему определили квартиру в полупустом правом крыле, выходящем на восток. Он согласен довольствоваться комнатой для прачки или коровницы. Но каждый раз ему отказывали. Во дворце свои традиции, и никто не может их нарушать. Даже сам граф.

Франк Аршалык не сворачивает в узкую платановую аллею, ведущую к оранжерее, куда обычно он отправляется в первую очередь. Он заворачивает за угол — на солнце. На миг

приходится зажмуриться от ослепительного света над белыми дорожками и росистыми кустами. За оградой, зеленым высоким полукругом, тянется вокруг дворца парк с различными насаждениями и десятками хозяйственных строений, кажется, что он отражает весь солнечный свет на колонны и белые мраморные ступени. Волной охватывает влажное тепло. И волна эта кажется еще теплее, когда он бросает взгляд в просвет между двумя тополями, где на юго-востоке виден кусочек сумеречного левого берега Тисы с легкими струйками тумана над черной водой.

Франк Аршалык минует усыпанную галькой площадку перед дворцом. Белый мраморный фонтан в римском стиле еще безмолвен. Только в наполненном с вечера бассейне с увитыми плющом каменными глыбами, сверкая плавниками, снуют мелкие, серебристые рыбки. От цветущих олеандров исходит неприятный запах. Франк Аршалык идет дальше, к зеленым воротам.

Вообще-то ему здесь нечего делать. Его специальность — розы в боковых аллеях и в оранжереях и декорации из цветов в комнатах. Здесь сфера старого садовника. Франк Аршалык заглядывает сюда только для того, чтобы подивиться человеческой безвкусице и тупости. Между метельчатыми группами пальм подстриженные овалы лавров. Темную линию миртов прерывают высаженные в горшках, подпертые колышками зазубренно-жилистые филодендроны. На ковры из распустившихся цветов падает убийственная для них тень широколистых растений... Все в каком-то южном вкусе, слишком пестро и ярко, чрезмерно и негармонично. Тихая прелесть этого края в пренебрежении, поругана. Но это не его сфера. Он всего лишь специалист по розам, не смеющий вмешиваться в дела других. Аршалык пожимает плечами и презрительно вскидывает бровь. Он делает это каждое утро для собственного удовольствия.

Потом бросает взгляд на дорожку. Там виднеются редкие следы. Большие, возле самого края — следы ночного сторожа. До самого утра проходив по двору, он заходит подремать здесь, хотя низшим слугам сюда строжайше запрещено ступать. Но комендант болен, а помощника его никто не боится. Ради крюка в сотню шагов этот глупец рискует своим местом и куском хлеба. Нет, вы гляньте! Пробираясь подле самого края, он даже обломил ветку азалии. Неслыханно — нет, добром это не кончится!

А вот другие следы по самой серединке... туда, почти до ворот, и обратно... Узкие, маленькие, чуточку схожие с листками

олеандра — только одна женщина во дворце может оставить такие следы... Дошла вон до тех миртов. Постояла — земля здесь слегка изрыта. Сорвала несколько листьев. Три — нет, четыре валяются на земле. Пятый вдавлен каблуком... Франк Аршалык закрывает глаза, чтобы увидеть, как тонкие, в кольцах, пальцы мелькают в темной зелени листвы.

Потом он поворачивает и тихонечко идет назад к фонтану. На голове у него широкополая соломенная шляпа, на ногах — мягкие башмаки, которые чуть слышно поскрипывают по гравию. До одиннадцати во дворце и подле него никто не смеет ходить в сапогах.

Он бросает взгляд наверх, на окна. Третье, четвертое и пятое — это ее окна, молодой графини Франчески Эстергази. Желтые тяжелые занавеси опущены. За ними — он знает — другие, тонкие голубоватые. Комбинация желтого и голубого подобрана для того, чтобы комната, даже если солнце просвечивает сквозь занавеси, оставалась сумрачной. Как в старой капелле, куда свет пробивается сквозь потускневшие цветные мозаичные стекла. Графине Франческе в ее двадцать два года уже присуще своеобразное мистическое чувство. Религиозной в прямом значении этого слова ее не назовешь — как и вообще всех этих аристократов, потомков патрициев, всемогущих владык в семидесяти латифундиях, владельцев и совладельцев самых новейших промышленных предприятий и наследников миллионных состояний. Графиня Франческа — достойный отпрыск своего рода. Ее воспитание, образование и природные наклонности — своеобразная смесь эллинизма и католицизма. Вот и этот новый дворец построен отчасти в ее вкусе. С фасада он напоминает некий римский храм, который новейшая фантазия снабдила неподходящим орнаментом. А задняя сторона с глубокой колоннадой и сумрачным двором скорее напоминает какой-нибудь монастырь. Широкий, светлый вестибюль со стройными опорами, а боковые коридоры с узкими, готическими сводами и мутного стекла лампами. И порою, когда графиня Франческа утомлена автомобилем, прогулкой по парку или ванной, дворцовый капельмейстер где-то рядом с ее комнатой тихо играет на органе...

Франк Аршалык еще раз смотрит на закрытые желтыми занавесями окна, вздыхает и сворачивает в тополевую аллею, ведущую к теплицам.

На полпути — широкий просвет платановой аллеи, тянущейся в обе стороны. Здесь мир садовника Франка Аршалыка — до самого входа в оранжерею. Еще издалека струится тяжелый, душный аромат. А подойдешь ближе — и в глазах начинает ря-

бить от игры цветочных волн, колышащихся по обе стороны ложбины. От белоснежных до темно-багровых, почти черных, эти волны роз сливаются в широкую радугу, которая целый день колышется в пьянящем ритме.

Сначала Франк Аршалык поворачивает в правую половину своего царства. Здесь весь розарий с непонятным для посторонних расчетом и намерением разбит на простые и комбинированные группы из кругов, полумесяцев, квадратов, ромбов, трапеций, шестиугольников и треугольников. И растения в каждой группе высажены линиями, кольцами или ячейками сети. Если рассматривать каждую группу порознь, то видны лишь отдельные красивые цветы и пышные грозди бутонов. Но если подойти к мраморной скамье и скользнуть взглядом по всему розарию, то перед глазами вспыхивает радуга. Тогда становится понятно, что ни один куст здесь не высажен просто так. Ни одна группа не находится без своего числового значения в этой математике красок и цветов. В этой радуге нет ни одной посторонней черточки, ни одного чужого пятна. Переход от одной краски к другой происходит по удивительно согласованным оттенкам. И пронзительно яркие и чуть уловимые имеют свое место в этом едином целом. Это цветущие волны, которые, постепенно нарастая, вздымаются до предела и затем, понемногу спадая, баюкают душу в легких объятьях... Графиня Франческа сидит здесь после дурного сна, когда болит голова или когда она взволнована какой-нибудь редкой книгой. Она приходит с пылающими глазами, высоко вздымающейся грудью, нервно стиснутыми пальцами. Иногда нарочно закрывает глаза и не хочет смотреть. Но цветочные волны проникают и сквозь закрытые веки. Радуга лучится ей в лицо, и спустя минуту она уже сидит кроткая, беспомощная и улыбающаяся от пьянящего убаюкивания.

Франк Аршалык проходит в левую половину аллеи.

В первый момент не понять, что здесь поражает глаз. Те же самые розы, те же цветы и цвета, но впечатление совсем иное. Как будто нечто невидимое, неуловимое и все же непреодолимое подчиняет своей власти и куда-то влечет. Глаз ни на миг не может успокоиться, и перебегает с одного цветка к другому, к третьему — по всему розарию и снова обратно. И вновь, и вновь. И безразлично, в каком направлении мечется взгляд. Здесь нет ни путеводного ритма, ни определенного эмоционального потока. Здесь уже нет цветовой радуги и убаюкивающей цветочной волны. Здесь искрящаяся отдельными цветами, кипящая яркими пятнами гладь, которая мелкими, изменчивыми переливами щекочет нервы, волнует и воспламеняет. Контраст за контрастом,

один ярче другого, и каждый еще больше волнует. К карминному шелковистому цветку припал льдисто-холодный, матово-белый. За слегка розоватым, в пунцовом пятне макового цвета вдруг распустилось что-то тяжелое, золотисто-желтое. Есть тут несхожести, словно таинственные враги, угрюмо взирающие друг на друга. А есть такие, что борются в любовном упоении, возбуждая один другого и стыдясь друг друга... Графиня Франческа приходит сюда, когда рокот органа и желто-голубоватый сумрак комнаты делают ее мрачной и подавленной. А через минуту глаза ее уже сверкают, и губы жадно впивают этот изливающийся в радости жизни аромат цветов.

Франк Аршалык садится на мраморную скамью. Здесь, к ногам графини Франчески, он высадил маленькую радугу. Семь причудливо сочетающихся красок. Семь изумительных растений, каких нет больше ни в этом саду, ни где-нибудь в мире.

Все здесь для нее... Франку Аршалыку кажется, что только для того он и учился в Праге, Берне и Гейдельберге, оставил химию ради ботаники, ездил в Ниццу и на Кавказ, чтобы вырастить для графини Франчески эти розы. Это же ее розы! На выставке в Будапеште она получила за них высшую похвалу. Про эти розы были длинные статьи в журналах — и ее портрет. Взглянуть на ее розы приезжают издалека. Их посылают в Вену к августейшему двору в дни больших торжеств... Франк Аршалык чрезвычайно горд этим.

На этой самой скамье она впервые подала ему руку, и он осмелился ее поцеловать. А сколько раз потом! Эти самые розы она с яростно сверкающими глазами приказала вырыть и перенести в оранжерею, когда приехавшая в гости разведенная жена американского миллионера Вандершильда присела здесь и смотрела больше на него самого, чем на его розы. Какое это было время!

Франк Аршалык вздыхает и смотрит на землю. И вчера ее здесь не было. Вот уже который день... И придет ли сегодня?

Он встает и понуро бредет к оранжерее. Теперь он уже не замечает, что одна из перламутровых раковин, которыми выложены края дорожки, выпала. В другом месте трава, которая должна только покрывать черную, хорошо унавоженную и всегда сырую землю, дотянулась до нижних ветвей приземистого розового куста. И у аллеи кто-то вчера осмелился сорвать цветок. Сломанный стебель с увядшими листьями так бросается в глаза. Но Франк Аршалык сегодня ничего не видит.

На скамейке у двери оранжереи, привалившись к поросшей плющом стене, сидит и покуривает свою трубку ведающий двор-

цовыми погребами старый Йонк. К этому пороку он пристрастился еще в те времена, когда у него была своя гостиница с рестораций в Аграме. Тайком он покуривает и здесь, где это строжайше запрещено, где только одни господа изредка дымят сигарой. Но Аршалыка Йонк не очень боится, они добрые друзья. Не торопясь, он прячет трубку.

— Доброе утро, господин Аршалык. А я и не знал, что вы поднялись вместе с баронессой Пикар.

— Баронесса Пикар еще не могла подняться.

Йонк ухмыляется во все свое широкое, румяное лицо.

— Вот и я так думал, пока не увидел. Уже с час, как проснулась. Вы же знаете, этот Аграм еще дает мне себя знать. А тут еще уборщица говорит, что в моей комнате табаком пахнет, вот я и открыл окно — проветрить. Гляжу: госпожа баронесса идет к воротам, за которыми людской двор.

— Людской двор? Вы наверняка обознались.

— Наверняка — нет. Потому что через минуту она уже шла обратно, заметила открытое окно, подошла и смотрит наверх. А я спрятался за занавеской, и она меня не заметила. Постояла немного и вошла.

— Довольно странно.

Йонк усмехается и благодушно вытягивает ноги.

— А я ничего странного не вижу. В ней же течет кровь французского земледела. Вы слышали: барон Пикар женился на ней в шестьдесят лет, и только из-за большого приданого. Ну, понятно, ее древнее дворянское происхождение безупречно, потому что иначе Франческа Эстергази... Что с вами? Простудились?

— Нет... Наверное... камешек попал в башмак.

— Так присядьте и вытряхните. А простудиться легче легкого — когда вы целый день в этой своей бане торчите. У меня голова от этого угара кругом идет, стоит вам дверь приоткрыть.

— К этому надо привыкнуть.

— Да... так о чем бишь я?.. Я только то хотел сказать, что баронесса Пикар здесь уже освоилась, как у себя дома. Поговаривают, что граф этот дворец совсем отдаст дочери и виконту Пикару. А уж тогда баронесса будет здесь настоящей хозяйкой. А что рано встает — так я дамочек этой породы знаю. Большую часть работников выставит. Может быть, и вас. Меня-то уж наверняка.

— Я об этом ничего не знаю.

— А я слышал... Баронесса Пикар, это вам не Эстергази. Она тут все перешерстит. Я не знаю, но вы-то там бываете.

Говорят, вчера чайную чашку взяла у лакея обеими руками... Это-то вы знаете, что виконт Пикар сегодня после обеда приезжает.

— Да, это я знаю. Но что тут особенного...

Франк Аршалык идет в оранжерею. Ему всегда противно слушать лакейские сплетни о господах.

Его охватывает парной, насыщенный душным ароматом воздух. Тропические растения — по-змеиному извиваясь, сплетаясь в узлы, тянутся по обе стороны. Точно полипы или гигантские пауки, карабкаются среди устроенных в каменных бассейнах топей. В голых кривых переплетениях маячат листья выше человеческого роста размером. Серебристые и зеленые клубы кактусов, точно съежившиеся, насторожившиеся и ощетинившиеся животные лежат в огромных горшках и бочках. Причудливые цветы — словно большие бабочки или пестрые птицы так и трепещут, чуть коснется их воздушная волна от проходящего мимо человека.

Франк Аршалык нигде не останавливается. Даже в плодовом отделении, где за запотевшей стеной играют красные, белые и золотистые краски, где огромные зеленые грозди висят на тонких-тонких лозах. Есть там и специальная клубничная теплица, круглый год обслуживающая болеющего белокровием графа Эстергази... Франка Аршалыка все это не интересует.

Он идет в свое отделение, которое во дворце окрестили «розовой лабораторией». Только у него имеется от нее ключ в кармане. Работников он впускает сюда лишь в своем присутствии и ни на минуту не оставляет одних. Здесь целая сеть труб для обогревания и орошения. Изолированные секторы для сравнительных опытов и наблюдений. Покатая стена со сменными стеклами и цветными фильтрами, с помощью которых можно создавать различные комбинации и добиваться различной концентрации света и тепла. В специальном отделении сосуды с различными химикалиями, которые он использует для создания определенных оттенков и форм. Здесь он добился такого, о чем можно написать целые книги. А какие еще замыслы и проекты, этого пока никто в мире не должен знать.

Но сегодня он только мельком оглядывает свои розы. Глаза смотрят на эти годами выращиваемые под неуклонным присмотром растения с изумительными цветами, а мысли витают где-то в другом месте. Он не останавливается у тех видов, которые без подпорки не могут удержать на тонких стебельках большие, темно-желтые соцветия. Не склоняется к тем, которые усеяны

мелкими, типа скабиозы, буро-фиолетовыми звездочками. Поворачивается, запирает дверь и снова выходит наружу.

В парке действительно кажется свежо, хотя солнце бьет уже прямо в дверь оранжереи. Ноги слегка дрожат, и голова как будто чуточку хмельная. Надо присесть там, где недавно сидел Йонк, и привалиться к заросшей плющом стене. Он закрывает глаза и ждет, пока пульс не придет в норму.

На дорожке слышится скрип шагов. Он узнает их. Это Марина, в чьем ведении стол высших дворцовых служащих. Как тень преследует его. И если даже шагов не слышно, то всегда чувствуется издали ее взгляд. Он открывает глаза — ледяные и непреклонные.

Молодая словенка с того берега Дуная сегодня снова в своем фантастическом народном костюме. Так бывает всегда, если во дворце ждут знатных гостей. Иметь с ними дело ей не приходится. Но зато положено стоять поодаль, в нестрой толпе, вместе с другими, чтобы приезжим, если захочется, было на что полюбоваться... Лицо у нее смуглое, как у цыганки. Над темными глазами высоко изогнутые бархатные дуги бровей. В глазах все тот же влажный, истомный блеск, который всегда делает садовника неловким и раздражительным. Назло ей и себе самому он долго смотрит в эти красивые, безгранично покорные глаза.

— Что вам, Марина?

Бархатные брови дергаются от этого холодного, небрежного, даже обидного вопроса.

— Я только хотела узнать, вы будете пить молоко в столовой или у себя в комнате?

— Мне кажется, вы должны помнить. Неделю назад я вас просил: по утрам чай. После оранжереи молоко мне кажется противным.

— Простите, но вчера вы хотели молока.

— Вчера утром я не был в оранжерее. Попрошу стакан чая. В мою комнату — если вам не обременительно.

Он хорошо знает, что ей ничто не может быть обременительно. Что для нее нет большей радости, чем постоянно услужать ему. Но он нарочно говорит так, чтобы задеть ее, причинить боль. Несносна ему эта покорность и влюбленная назойливость.

А когда она поворачивается и, тяжело покачиваясь, уходит, он глядит ей вслед и чувствует сожаление. Ведь эта женщина красивее всех роз. Почему же у него не находится для нее десятой доли того чувства, которое он испытывает к бездушным растениям? Эти цветы развратили его своими слишком уж изы-

сканными красками и порочным ароматом. Он уже не воспринимает простую, естественную красоту.

Марина останавливается у его розария. Даже по спине ее видно, как она блуждает глазами по цветочным группам, как голова ее, словно хмелея, клонится то в одну, то в другую сторону. Нет, право, жаль становится эту девушку. Но он берет себя в руки и отводит взгляд. Ему никогда не нравилось то, что само дается. Он привык завоевывать, побеждать, захватывать...

Когда он возвращается ко дворцу, фонтан уже сеет свой мелкий дождик. Точно сквозь мелкое ситечко, падают капли в бассейн. Вся поверхность его рябит от пузырьков и бесчисленных вскипающе-угасающих кругов. Не различить, где солнце играет в воде, а где весело мелькают шустрые рыбки.

Садовник Клейн с двумя помощниками поливает насаждения. Росистый туман не смыл вчерашнюю пыль. А сегодня все должно блестеть. Резиновые шланги извергают потоки чистой воды на макушки миртов, лавров и олеандров и на длинные листья пальм. Курится белая дымка. Воздух насыщен влагой.

Окна графини Франчески раскрыты. Самой ее не видно, но ее младшая камеристка, сухопарая француженка с голыми, острыми локтями, лежит на подоконнике, глядя наружу. Франц Аршалык здоровается и быстро сворачивает за угол. Терпеть он не может эту девицу с черными, узкими глазками. Надоели ему все эти избалованные бездельем женщины с их извращенной фантазией и чувственно бесстыдными глазами.

Комната уже прибрана. Чай ароматно дымится в фарфоровой чашке. Но ему не хочется пить. Он бросается на кушетку и лежит так, закинув руки за голову. Как будто ни о чем не думает. Но вскоре ловит себя на том, что мысли его снова блуждают по старым путям. Все то же!.. Нигде нет от нее покоя... Злой на самого себя, он встает и начинает одеваться.

Он надевает неизвестно когда и кем придуманный костюм, нечто вроде лакейской ливреи. И вновь у него такое чувство, что вместе с этим костюмом он переменил и свое существо. Он уже не окончивший университет интеллигент, химик и ботаник, ученый, прославленный в своей области специалист, а всего лишь лакей. Бросает взгляд в зеркало и видит, что и в лице и в фигуре появилось что-то лакейское. И ждет звонка.

Сейчас ему надо идти к графине Франческе, в малую столовую, и вместе с другими слугами и служанками ждать, когда та выйдет выпить свою утреннюю чашку кофе. Надо проверить, все ли растения возле стеклянной стены на своем месте и в по-

рядке ли букеты, которые должны каждое утро благоухать на столе. Ему пришлось усвоить причудливый вкус графини Франчески до мелочей, считаться с самыми капризными ее прихотями. И столь преуспел в этом, что, кажется, без него уже не могут обойтись.

Но в малой столовой сегодня никого нет. Это обычно бывает в тех случаях, когда графиня Франческа желает пить кофе прямо в спальной или вообще до обеда валяться в постели. А ее желание — закон. Ее прихоти определяют порядок дворцовой жизни. Все эти десятки ливрей и фантастических облачений — ее рабы, обязанность которых — угождать и исполнять.

Делать ему здесь нечего. Только осмотреть цветы и стоять в качестве декорации рядом с ними. Он и стоит, стиснув губы и прислушиваясь к тому, что происходит за закрытой дверью.

Уже встала. Это слышно по обрывистым приказаниям, по тихим, торопливым шагам камеристки, по щелканью кнопок и застежек и звяканью флаконов.

Шуршит за дверью платье. Он знает, как оно шуршит и как облегает ее холеное тело. Знает больше, чем положено знать слуге и рабу... Но вот уже третий день, как ему приходится стоять за дверью и ждать — позовут или прогонят. Как собаку, которая надоела или стала ненадобна...

В двери появляется старшая камеристка. Уже третий день, как эта молодая представительная дама бросает на него небрежный, презрительный взгляд. Потом исчезает и слышен разговор.

— Господин Аршалык ждет.

— Аршалык? Может идти.

Но он все же не решается уйти, прежде чем не отпустят. Дама открывает дверь пошире.

— Графине вы не понадобитесь. Можете идти.

Следует церемонно поклониться и удалиться. Чувство у него именно такое, как у собаки, которую прогнали от дверей.

Почему бы не дать указание управляющему, не выплатить жалованье и не уволить совсем? Вчера и позавчера еще казалось, что из опасения — а вдруг он проболтается? — вынуждена сносить. Но сейчас вспоминаются давно слышанные невероятные рассказы о том, что выделывают эти аристократы, и становится ясно, что никакого опасения тут нет. Эта вельможная знать с их богатством и властью стоит выше мнений своего окружения. Для них никакие приличия и мораль неписаны. Может быть, у нее еще какие-нибудь виды на него... Ну, кто он здесь такой? Лакей, шут — такой же, как и все...

Франк Аршалык скидывает ненавистный лакейский костюм и надевает свою рабочую одежду. Потом выходит за ворота, на людской двор, где приводят в порядок автомобили и конюхи ходят с ведрами, щетками и тряпками. Возвращается к своим розам и без всякой цели бродит, словно что-то осматривая или наблюдая.

После обеда он замечает, что у дворца графиня Франческа отделяется от баронессы Пикар и по платановой аллее медленно идет в его сторону. Она в гладком темном платье, с тонкой палочкой слоновой кости в руке. Временами, играя, она бьет ею по округлому, упрямому листу и, прищурившись, следит, как тот трепещет в воздухе. Кастор, как всегда грузный и усталый, следует за нею по пятам. Нес лепив и глуп, слушает только ее одну.

Франк Аршалык стоит на самой середине аллеи. Но она как будто не замечает ни его, ни его приветствия. Небрежно сворачивает налево, и каждая черточка ее лица говорит о том, как отлично выспалась она в эту ночь. Идет она, слегка покачиваясь, помахивая палочкой, держа ее обеими руками. Каждое мельчайшее движение взвешено, отрепетировано и отшлифовано. Но все это внешнее кокетство только еще больше подчеркивает ее природную красоту и привлекательность. Франку Аршалыку кажется, она сродни тем розам, которые он выращивает в своей оранжерее, которым с помощью искусственного освещения и химикалий придает невиданную, экзотическую окраску... Впереди Кастор, затем он — так и следуют они за своей повелительницей.

Графиня Франческа садится на скамью. Каждый может понять, что пришла она сюда не ради роз. Глаза ее равнодушно скользят по цветочным группам, нигде не задерживаясь. Потом, словно впервые заметив его, на миг останавливаются на садовнике. Высокомерный, равнодушный взгляд — как будто лезвием полоснули. Какой-то миг — и тут же взгляд перебегает на пса. И снова на него. Он понимает: сравнивает их. Белые пятнышки выступают у него на висках и на скулах. Он уже хочет повернуться и уйти. Но она говорит:

— Господин Аршалык. Вы со мной сегодня еще не здоровались.

— Вы ошибаетесь. Только что, в аллее...

— Ах так. Тогда я не заметила. Простите.

Он чувствует в каждом слове насмешку. Его унижают, его терзают. Попирают ногой...

И действительно, точно угадав его мысли, она слегка вытя-

гивает ногу и, примяв веточку за веточкой, втаптывает в землю великолепный белоснежный цветок.

— Вы не находите, что этот ряд, взятый сам по себе, производит комическое впечатление. Как будто человек, выращивший их, хотел этим похвастать.

— Раньше вам так не казалось...

— Да, раньше мне так не казалось.

Цветок уже в земле, и нога безжалостно вминает его. А когда ему снова разрешают распрямиться, там остается только бесформенный комок, весь в песке. Несколько беспомощных листочков отрываются и опадают один за другим.

Франк Аршалык изо всех сил стискивает зубы, чтобы не закричать.

Дотянувшись, она белой палочкой колотит по лилипутьих размеров карминному цветку — самому красивому, который когда-либо распускался в саду.

— Ваш вкус, господин Аршалык, не столь уж безупречен.

Как это часто бывает с человеком, волнение и боль которого достигают предела, голова его вдруг проясняется. Наступает удивительное, полное отчаяния и безграничной ненависти спокойствие. Огрызнуться, ужалить по возможности глубже и больнее. Он смотрит ей прямо в глаза.

— И мне так начинает казаться, графиня.

Ага, ужалил! Темные брови вздрагивают. Но она умеет владеть собой. И это тоже врожденное и отшлифованное.

Белая палочка переворачивается толстым концом. Потом широкий взмах — и она падает среди желтых роз. В середке, в самой гуще.

Она поднимает гордые глаза на садовника и с минуту ждет. Пес поднимается на ноги и флегматично ждет приказания принести. Но она смотрит на садовника.

— Принесите!

Всем усилием воли он не может удержать дрожь, пробежавшую до самых кончиков пальцев.

— Прошу прощения. Но я всего лишь садовник.

Она встает. Глаза горят, лицо еще бледнее. Одна рука опирается о перила скамьи, другая гневно вытягивается.

— Кастор!

И огромное, грузное существо тяжелыми скачками кидается к нужному ряду роз, к желтой группе. Шипы вонзаются в кожу. Пес злится, фыркает и лает, продирается всей грудью, падает на брюхо, ползет по мягким стеблям, хватает их зубами и расшвыривает лапами. Изрыл все вдоль и поперек, пока добрался.

А когда выскакивает, позади его остается страшное, истерзанное, примятое и вытоптанное лежбище. И это как раз та группа, возле которой она чаще всего задерживалась, перебирая бутоны и прижимая их к губам.

А теперь вот уходит, помахивая палочкой, даже не взглянув на него.

Франк Аршалык стоит неподвижно. Гнев уже миновал, оцепенение ненависти ослабло. Он и сам истоптан и уничтожен. Беспредельная тоска удерживает его свинцовой тяжестью на том же месте. Кажется, что он сам совершил преступление, сам бросил и сам уничтожил. Теперь вот кажется, что надо было самому пойти — опередить пса, самому измять и вытоптать свой труд и свое искусство. Ведь она же этого хотела...

Он опускается на скамью и тупо смотрит на вытоптанные цветы.

Ему кажется, что больше здесь нечего делать. Все противно и невыносимо. Любая роза, на которую ни взглянешь, вонзает свои шипы ему в грудь. Осмеян, втоптан в землю и даже ни кому не смеет об этом сказать. Но постепенно в груди снова что-то набухает. Злыми, полными ненависти глазами разглядывает он дело своих рук. Свой мозг, кровь и нервы вложил он в каждое цветущее растение. Но разве это цветы? Это багровая и блеклая, желтая и белая усмешка. И она томит, и одновременно пьянит, эта чудовищная усмешка...

И все же под вечер он стоит на своем месте, перед дворцом, возле фонтана, у первых кустов. Графиня Франческа не появляется. После церемонии она ожидает гостей во внутренних помещениях. Граф Эстергази с баронессой Пикар на террасе. Он сидит в специально устроенном кресле, потому что его слабые ноги не могут долго стоять. Баронесса, уже как свой человек, стоит рядом, положив руку на спинку кресла. На лестничных ступенях — по обе стороны всей широкой дороги до самых ворот выстроились дворцовые служащие высокого ранга. Возле обоих углов дворца, в отдалении, частично за насаждениями и цветами, группы низших слуг, в причудливых народных костюмах. Виконта Пикара ожидают как самого высокого гостя. Каждому понятно, что это означает.

Франк Аршалык не может устоять спокойно. Ему кажется, что он мог бы держаться вполне хладнокровно, если бы от угла сюда не смотрела Марина. Глаз ее на таком расстоянии не различить. Сама она временами совсем пропадает в толпе, которой разрешено бесшумно перемещаться. Но взгляд ее он ощущает ежеминутно. Точно судьба, он неотвратим и не дает покоя.

Фырканье автомобиля еще издалека слышно на парковой дороге со стороны станции. Обе половинки ворот бесшумно распахиваются. Он, будущий господин и повелитель, сбрасывает пыльник и вылезает. Среднего роста, средних лет, суховатый, но еще гибкий, спешит он по дорожке к дворцу. Видно, что немного смущен необычно торжественной встречей, но старается не выйти из роли. Франк Аршалык не сводит с него глаз. То ли случайно, то ли руководимый мужским инстинктом, тот, проходя мимо, вскидывает на него глаза. Немного мутные, много повидавшие и многим пресытившиеся глаза. И Франку Аршалыку в этот момент кажется, что он мог бы сейчас подойти к нему и дружески хлопнуть по плечу...

Из этого странного состояния его выводит небольшое происшествие у ворот. Пока оба автомобиля еще не уехали и ворота не захлопнулись, в них пытается пройти какая-то пожилая женщина в крестьянском платье. Близстоящие слуги кидаются ей навстречу — словно она или зачумленная, или угрожает целости дворца. Так и вытолкали грубо обратно. И она исчезла в туче гари и пыли, поднятой уехавшими автомобилями.

Франк Аршалык узнал ее, и уже не может успокоиться. Побагровев, он тяжело переводит дух. Раньше, чем положено, покидает свое место и скрывается в комнате.

Но долго там находиться нельзя. Надо снова быть на своем месте — в парадных помещениях дворца, по которым теперь проводят гостя. Весь дворец напоминает музей: в каждой комнате есть на что посмотреть и чем полюбоваться. Здесь все построено, украшено и обставлено для обозрения. Десятки художников и мастеров работали здесь — каждый в своем роде и каждый со своим замыслом... Со всех концов света собраны редкости и драгоценности — древнейшие сокровища из раскопок, антики, а рядом с ними наиновейшие изделия. Чтобы посетитель видел, на что способны миллионы, полученные от латифундий графа Эстергази, от нефтяных скважин, медных рудников и залежей, где добывают мрамор...

Виконт Пикар ошеломлен — это чувствуется. Но умеет вести себя. И если наблюдать за ним пристально, то видно, как уголки его крепко сжатых губ дергаются от безвкусицы, с которой эти миллионы растрачены.

Франк Аршалык этого не видит. Он смотрит, как граф Эстергази с баронессой Пикар отделяются. Он, с его слабыми ногами, не может долго ходить. И баронесса, как заботливая мать, ни на шаг не покидает его. Отпрыски их, предводительствуемые церемониймейстером, вдвоем продолжают экскурсию.

Когда входят в комнату, где Франк Аршалык стоит у своих цветов и растений, бескровное лицо виконта Пикара становится вдруг еще белее. Он деликатно прикасается платочком ко лбу: голова чуточку кружится от этой смеси тяжелых ароматов и испарений, которые не могут вытянуть даже высокие открытые окна. Но он и не скрывает этой своей физической слабости. Держится он прямо и направляет свой монокль на все, что в этой комнате заслуживает внимания. Только Франка Аршалыка на сей раз, видимо, не замечает. Слишком много тут всяких ливрей, чтобы обращать на каждого внимание.

Франк Аршалык смотрит на этого еще моложавого, но уже худосочного человека и снова чувствует примерно то же, что недавно, там, у своих роз. Сшитый по последней моде сюртучок обтягивает тщедушные плечи. Пальцы унизаны кольцами. В галстуке сверкает бриллиантовая звездочка. Но эта бескровная бледность лица, эта сетка синих жилок на руках... Никакая медицина или косметика не смогут добиться хотя бы иллюзии силы и мужского здоровья в этом преждевременно увядшем теле. И рядом с ним Франческа, стройная, цветущая, красивая... Стена начинает клониться в глазах Франка Аршалыка. Он устремляет взгляд в пол.

А те на минуту присаживаются в овальной нише, как раз напротив него. Сопровождающие остаются на почтительном отдалении. В комнате отчетливо слышно, как графиня разговаривает со своим гостем.

Ни по голосу, ни по виду не скажешь, что им обоим скучно, что только традиции и какая-то настоятельная родовая и жизненная необходимость свела их вместе и не отпускает. Они милы и любезны друг с другом — женщина чуть сдержанна, мужчина порою великолепно имитирует сердечность.

Графиня пестрым японским веером обмахивает лицо. Гость вынимает монокль и вставляет его снова.

— Эта комната выходит прямо на юг.

— Значит, тут всегда много солнца.

— Растения любят солнце. Солнце и влагу.

Гость что-то вспоминает, и на лице его появляется восхищение.

— Ваши розы славятся по всей Европе. О ваших садах рассказывают изумительные вещи.

Она небрежно пожимает плечами.

— Была в свое время такая прихоть. По правде говоря, мне они уже надоели. Вам не кажется, что розы — как бы это сказать — слишком назойливы?

— К тому же они слишком сильно пахнут.

Гость улыбается и снова прикладывает ко лбу платочек.

Она бросает на него чуть иронический взгляд.

— У вас слабые нервы. Но я вас понимаю. По правде говоря, розы, это культура немного плебейская. Я довольно основательно интересовалась фольклором южан — и там все время идет речь о розах. Мне кажется, тогда я ими и заинтересовалась. Но вы же знаете, как долго длится такой интерес.

Гость улыбается одними губами и качает головой.

— Я вас понимаю. Ради разнообразия я как-то был даже в народном театре. Это все равно что принять холодную ванну. Вы знаете «Сирано де Бержерака» Ростана?

Она с явной скукой кивает.

— Вам не угодно пройти дальше? Библиотека на втором этаже...

Точно высеченный, точно получив пинок, Франк Аршалык плетется в свою комнату. Что-то он стал болезненно мнителен и чересчур уж чувствителен. Все, что она говорит, он принимает на свой счет. Каждое слово воспринимает как пощечину, как плевок в лицо. Машинально открывает и закрывает дверь. Смотрит широко раскрытыми глазами, но видит перед собой одну пустоту. В ушах все еще звучит мелодичный, полный острых шипов голос графини Франчески.

В комнате его ждет Марина. Эти темные, бархатные глаза ему кажутся неживыми. Приходится как будто возвращаться из какой-то дальней дали, чтобы понять, что она так робко говорит.

— Господин Аршалык... Пришла ваша матушка.

Он дает провести себя за ворота, на людской двор, где его мать пристроилась где-то в жилье работников при именье. Но вот в памяти всплывает недавнее гнусное зрелище — детины в галунах выгоняют старую, простую женщину, будто приблудную собаку, за ворота. Он погружается в воспоминания о детстве, жизни в семье, в старом отцовском дворе, погружается в нарастающую ненависть к теперешнему окружению, к ее и к своей собственной жизни.

Но мать явилась не жаловаться. О недавнем оскорблении она и не говорит. Есть у нее и поважнее печали.

Оба младших брата в Галиции попали в плен к русским. Старший неделю назад вернулся из краковского госпиталя с деревянной ногой. Сестра где-то в Вене или Будапеште греховодничает. Отец заболел от пережитых потрясений... На все письма не могли дождаться ответа — вот она и приехала. Со всякими злоключениями и трудностями, по забитой войсками железной

дороге, в незнакомое место, среди чужих людей... Как раскаленные камни, простые, безыскусные слова проникают в сознание Франка Аршалыка. Он сидит, обхватив голову руками, и не может избавиться от этих кошмаров совести, которые как туманные призраки стоят перед глазами.

Мать не казнит его, не взывает и не настаивает. Когда он снова открывает лицо и оглядывается, ее уже нет. Ушла, в ночь, во тьму. Надо бы догнать, но он не может. Слишком быстро и неожиданно все это обрушилось на него. Не может он все эти годы враз, точно пыль, стряхнуть с себя. Привыкнув к научному мышлению, мозг стремится прежде всего расчленить, взвесить и определить. Проведенное в послушании время путами стреножило неистребимую мужицкую строптивость и инстинктивную жажду простора и приглушило волю.

Франку Аршалыку кажется, что он напоминает лодку, которой некуда пристать в разбушевавшихся волнах противоречивых чувств.

Но тут легкая рука прикасается к его плечу. Опять эта Марина. Учуяла, что в нем уже нет ни злости, ни гордости? Унижен, раздавлен — беспомощен, как ребенок.

Она уводит его обратно в комнату. Там он и сидит, устало подперев голову. А она стоит, прислонясь к столу, и не отводит своих черных глаз.

Франк Аршалык сидит молча, но ему кажется, что он разговаривает. В этом дворце привыкли говорить только то, что официально разрешено. Все счеты с самим собой надо разрешать в молчании. Здесь никто друг другу не доверяет. Каждый смотрит на другого и соображает, нельзя ли, наступив на него, подняться ступенькой выше. Скрытность, лицемерие и предательство пропитали все, как неизгонимый чад... Даже теперь, когда он осмеян, оскорблен и выкинут, Франк Аршалык не говорит вслух. Даже Марине не говорит, хотя она за него готова в огонь и воду. Годами копившаяся горечь и ненависть разрешаются тягчайшей рефлексией. Воспоминания хаотически перемешиваются с обрывками мыслей и бредовыми перепутавшимися желаниями.

...Лавры, мирты, пальмы и олеандры... И цветущие розы! Разве все это не растет и не цветет на гниющих отбросах? В праздности и подлости, в никчемном времяпрепровождении живет вся эта свора слуг. Клоуны и скоморохи в своих пестрых лохмотьях. Вся их служба — угождать трем-четырем извращенным богачам, выламываться так, как того требует вкус дегенерата.

...Продались душой и телом. Глядя на безумную роскошь владельцев дворцов, на их расточительность и распутную жизнь, вы и сами как общественные личности развратились... Человеческие тени и карикатуры... Хуже старинных швейцарцев и мамелюков. Здесь тратятся миллионы, которые рабы своим трудом добывают на виноградниках, соляных разработках и каменоломнях, в шахтах и из нефтяных скважин.

Вся Европа скоро заполыхает в борьбе за независимость и свободу народов. А эти выродки — смертельные враги любой свободы. Точно чума, точно гниль ползучая распространяется из этой страны по всему миру.

...Он созывает всех слуг. От управляющего до шофера и последнего подметальщика, всех. Он посреди них — обращается к ним. Слова его, как раскаленные искры, сыплются на головы этих рабов и воспламеняют их сознание. Хватит раболепствовать, хватит терпеть унижение и насмешки.

...Они раскрывают ворота и, скинув пестрые шутовские лохмотья, с мятежными песнями выходят в широкий мир... Нет — они врываются обратно во дворец, и он — во главе их. Белые залы дрожат от их шагов. Драгоценные вазы бьются от их кулаков. Зеркала со звоном разлетаются, и хрустальные осколки вылетают в распахнутые окна. В библиотеке рушатся дорогие ренессансные шкафы, и позолоченные книги валятся на пол. Стены, увешанные оленьими и косульими рогами и птичьими чучелами, стоят голые. Дорогие занавеси, как бурей сорванные птицы, летят над пальмами и олеандрами. Постели с шелковыми покрывалами и белыми подушками сбиты в комок, измяты грязными ногами...

...И все пусто и тихо. Ветер свистит в провалах окон, и бродячие собаки воют... Где-то еще стоят графиня Франческа и виконт Пикар. Она кокетливо поигрывает слоновой палочкой, он, втиснув в глаз монокль, жадно смотрит на ее тело. Но тут подходит он, Франк Аршалык, и хлопает его по хилому плечу... «Вы можете ее взять, барон. Я разрешаю вам, барон... Вы — барон, вы получите то, что сначала принадлежало садовнику. Желаю вам счастья, барон...»

Он даже скулит от невыносимой боли. Марина наклоняется и легко, кончиками пальцев, прикасается к его волосам. Он чувствует на своем затылке теплое дыхание и поднимает голову.

Бархатные глаза Марины подернуты влагой. Пухлые губы ее дрожат от шепота.

— Господин Аршалык... Господин Аршалык...

Он смотрит широко раскрытыми глазами. Что этой женщине надо?

В дверь стучат. Кто-то входит.

— Господин Аршалык, вам пора переодеваться.

Переодеваться? Да, ему пора переодеваться...

Он проводит рукой по лицу, но туман и хаос не рассеиваются. В голове какая-то сумятица и пустота. Только отвращение, гадливость и злость мутным потоком рвутся наружу.

Так, с голой головой, он и выскакивает наружу.

Фонтан вскидывает в воздух свои дробные струйки. Позади них трепещут цветные электрические огни. В воздухе играют причудливые радужные сполохи, отбрасывая изменчивые отблески на белую площадку. Где-то вдалеке из открытых окон доносятся звуки струнного оркестра, настраивающего инструменты перед вечерним концертом.

Франку Аршалыку все кажется продолжением той насмешки, которая преследует его с самого утра. Он и есть тот белый цветок, который графиня раздавила своим башмаком. Пес, которому надо бежать, когда его зовут, и уходить, когда от него отмахиваются...

Он идет к своим розам. При тусклом свете из окон дворца и неверном отблеске фонтана нюансы не видны. Только темные помпоны покачиваются над зелеными холмиками, а там вон белые комочки перекатываются по покатым лиственным куполам. А там вон истерзанные желтые розы, измятый, вытоптанный розарий.

Как собаку послала его... Хорошо. Пусть так и будет!

Он кидается в самую гущу, высаженную им. Тяжелыми ногами топчет ее. Нагибается, хватает, вырывает целыми охапками. Вырывает, терзает, швыряет через голову. Полные бутонов стебли, отростки с тяжелой листвой, колючие ветви смешиваются с мягкой, клейкой землей.

Он топчет свой розарий, оставляя широкие вмятины. Топчет и уничтожает его целыми грядами. Аромат роз смешивается с запахом земли и перегноя. Там, где руки прикасаются к еще нетронутым стеблям, орошенные вечерней поливкой листья стряхивают на них теплые капли. Где он склоняется рвать и уничтожать, нежно-бархатные лепестки гладят его по лицу... Он стискивает зубы, чтобы сдержать стон, и нарочно вызывает в себе звериную, безумную ярость, от которой дергается, точно в судорогах. Его годы, вложенные в эти растения... Его опыты и находки — его жизнь и любовь распускались в этих цветах.

Его мужская гордость и юношеская чистота растворены в этих пылающих красках... Долой все это!

Вот он у ряда роз перед скамьей. И листочка здесь не оставить. Пусть приходит утром графиня Франческа и смотрит... Он выхватывает нож и кромсает им растения. Руки его в крови, как у убийцы. Его это кровь или роз? Убийца он или самоубийца?.. А разве это не одно и то же?

Он мечется по этой радуге, втаптывает в землю свою долголетнюю работу и себя самого... Затем распахивает дверь оранжереи. Режет, ломает и крушит. В темноте хватает свои банки с химикалиями, выносит по одной, высыпает на останки роз и бьет в мелкие дребезги. Пусть завтра придет графиня Франческа и изрежет свои белые туфельки. Свои маленькие белые туфельки...

Потом выскакивает наружу. Вокруг оранжереи, через калитку, через парк. Долго еще парковая дорожка светится от дворцовых огней... Голая голова, рукава изодраны. Не переставая бежать, закрывает лицо руками и пальцами вдавливает веки. Руки мокрые от цветочного сока, от слез и крови. И аромат роз, тяжелоистомный аромат струится от них...

1922

Мистер Брайтинг вышел из клуба в приятнейшем настроении. И не без серьезных оснований. Наконец-то удалось выгодно продать интендантству партию испорченной аргентинской пшеницы. Утром он отправил жену с детьми в Остенде, так что впереди у него было целых шесть недель привольной холостяцкой жизни... После обеда, когда мистер Брайтинг мельком заглянул в контору, ему впервые улыбнулась новая регистраторша, и это он воспринял как добрый знак. Кроме того, ему стало известно, что вчера вечером его избрали председателем клуба вместо заносчивого Джемса Уатта. Последнее особенно польстило его самолюбию.

В библиотеке клуба кто-то прочел вслух статью из американского журнала — о Версальском мире, о политических идеалах Ллойд Джорджа и о ведущей роли Великобритании в распространении либеральных веяний. Статья расшевелила в собравшихся патриотические чувства. Было выпито несколько бутылок шампанского за всеобщие выборы, и настроение мистера Брайтинга стало еще более приподнятым.

Лакей распахнул перед ним дверь, а швейцар внизу, завидев нового председателя, тоже схватился за дверную ручку. Но мистер Брайтинг помедлил немного, прежде чем сойти с лестницы.

Надевая перчатки, мистер Брайтинг окинул взглядом вестибюль. Сегодня здесь было уютнее чем когда-либо. Даже статуя Ниобеи в нише как будто загадочно улыбалась. Зеркала по бокам ее удивительно четко отражали широкую лестницу, красную дорожку и медные перила. По обеим сторонам входа грациозно, словно цветы, изгибались бра. Лицо мистера Брайтинга в зеркале казалось очень моложавым и свежим.

Медленно сойдя с лестницы, он ласково кивнул швейцару, который пропустил его, а затем бросился отворять дверцу ма-

шины — впервые за все время. Впервые за два года он не побежит сегодня провожать надменного Джемса Уатта... Мистер Брайтинг был очень доволен.

Для прогулок мистер Брайтинг пользовался небольшим автомобилем. Машина нового типа — надежная и прочная. Да и день выдался ясный, теплый.

Садясь в машину, он бросил шоферу:

— Мимо парка!

И откинулся на мягком сиденье, поправив на голове цилиндр. Шофер без слов понял, что ехать надо быстрее. Недаром он третий год служил у мистера Брайтинга.

Мистеру Брайтингу вздумалось еще раз заехать в контору. Управляющий и бухгалтеры, наверное, ушли: часы в клубе показывали без пяти три. А ему давно хотелось убедиться в том, что новая регистраторша остается на полчаса после занятий. Управляющий, верно, сказал ей, а если и нет — они обычно сами делают это, пока не привыкнут к работе. Он за последнее время забросил свою контору. А хозяину не мешает время от времени присматривать за делами, нельзя полагаться на одного управляющего.

Кажется, и шофер немного навеселе. Сидит, развалясь, и слишком часто сигналит, машина у него идет, чуть ли не задевая проезжающие мимо экипажи. В другое время мистер Брайтинг сделал бы ему внушение, но на этот раз только усмехнулся.

На перекрестке, где надо было свернуть направо, шофер хотел сделать плавный поворот и сначала взял влево. Тут-то и приключилась беда.

Навстречу вдруг выскочил грузовик с мешками пробки и еще какой-то экипаж. Лавируя между ними, шофер и не заметил подвыпившего оборванного человечка в фуражке набекрень, который как ни в чем не бывало переходил дорогу, не глядя по сторонам, размахивая руками и, кажется, даже мурлыча песенку,— будто вся улица была в полном его распоряжении. Будто он только что встал и шел умываться. Из-за этого все и случилось.

Шофер увидел его слишком поздно. Он засигналил, затормозил. Но в тот же миг переднее колесо подпрыгнуло и опустилось. Шофер, чертыхаясь, вылез из автомобиля. Бывший моряк, в подобных случаях он давал волю языку. Мистер Брайтинг перегнулся через борт и стал смотреть.

Под автомобилем что-то барахталось и стонало. Сразу собралась кучка людей: два разносчика с корзинами овощей, сол-

дат, шофер грузовика, две дамы в броских летних костюмах. С соседнего перекрестка спешил полисмен.

Пострадавшего вытащили из-под автомобиля. Он был без фуражки. Шофер грузовика нагнулся, достал ее и напялил ему на голову. Измятая, с изломанным козырьком фуражка походила на раздавленную яичную скорлупу.

Пока человечка поддерживали под руки, он еще стоял. Но едва он лишился опоры, как сразу опустился на тротуар и, почти полулежа, уперся в него обеими руками. Голова у него запрокинулась, он плакал, как ребенок. Правая нога была откинута в сторону. Штанина до самого колена превратилась в лохмотья. Из-под нее виднелось запачканное кровью белье.

— Мерзавец какой, прямо под колеса лезет!

У шофера пострадавший вызвал только чувство злобы. Мистер Брайтинг скорее жалел его. Его приятное настроение еще не успело улетучиться. Он был полон нежности ко всему окружающему.

Полисмен наскоро ознакомился с подробностями происшествия. Шофер сигналил, автомобиль ехал в положенном направлении и на положенной скорости — ну, может быть, немножко быстрее, коли на то пошло... С пассажирами все было в порядке... Тогда полисмен набросился на пьяного нарушителя уличного движения и пригрозил ему тюрьмой.

Мистер Брайтинг горячо вступился за несчастного:

— Оставьте его в покое, приятель. У бедняги только и радости — выпить. И на сей раз это дорого обошлось ему.

Одна из дам в броских костюмах — та, что помоложе, улыбнулась мистеру Брайтингу.

— Вы очень великодушны, мистер!..

Мистер Брайтинг любезно поклонился.

— Для меня он тоже человек. Просто — человек, мисс. Либеральная политика Великобритании...

Тут он заметил, что полисмен подходит к извозчику. Волна радости, вызванной обворожительной улыбкой дамы, взмыла еще выше. И ему захотелось стать безрассудно, безоглядно великодушным. Он сам отворил дверцу автомобиля, сошел на тротуар и наклонился к пострадавшему.

— Вы ведь не можете ходить? Нет?

Человечек попытался сесть прямее. Даже плакать перестал, так что окружающие решили, что он просто перепугался. Но он тут же опустился наземь. Лицо у него сморщилось, глаза часто мигали.

— Не могу, мистер. Пропала моя нога...

«Благодетель»

Мистер Брайтинг с улыбкой кивнул дамам.

— Положим, не пропала, голубчик. Просто ты получил жестокий урок.

Увидя восторженные лица дам, он совсем растаял.

— Полисмен! Не надо извозчика. Пожалуй, нам не стоит доставлять хлопоты городской больнице. Умелая перевязка, какие-нибудь лекарства, по утрам чашка крепкого бульона — и дня через три-четыре он встанет на ноги. Я беру на себя все заботы об этом человеке.

Он достал визитную карточку, протянул ее блюстителю порядка. Взглянул искоса на дам и положил руку на грязное плечо раненого.

— У вас есть квартира? Судя по вашему виду, есть. Да? Отлично. Видите, господа, в Англии даже у таких бедняков есть квартиры... Тогда едемте. Мы пошлем за моим домашним врачом, и он скажет, что делать дальше. Если надо положить в больницу — тогда в больницу. Если нет, полежим дома. Главное — умелая перевязка, какие-нибудь лекарства, чашка бульона... Господа, перенесите его в автомобиль!

Сам он придерживал дверцу, пока другие переносили раненого. Тот опять начал стонать — не то притворно, не то от боли. Однако в автомобиль сел охотно.

Дамы подошли поближе. Старшая, пожав плечами, удивленно и в то же время восторженно сказала:

— Что вы делаете, мистер! Вы не знаете даже, кто он такой.

Мистер Брайтинг и сам только что подумал об этом. Не очень-то приятно ему было видеть, как еле прикрытая окровавленными лохмотьями нога бродяги прижималась к желтой кожаной обивке. Восхищение и заботливость дам снова заставили его расчувствоваться.

— Я вижу перед собой только несчастного человека. Я выполняю свой долг. Этого достаточно. Строго говоря, мы тоже отчасти виноваты в постигшей его беде.

Мистер Брайтинг и сам улыбнулся по поводу этих забавных рассуждений. Садясь в автомобиль, он приподнял цилиндр и потом долго чувствовал за спиной провожающие его почтительные взгляды.

Хотя пострадавший полулежал с другого края сиденья, нога его при каждом толчке некрасиво подпрыгивала и задевала брюки мистера Брайтинга.

Он отодвинулся подальше и стал смотреть на витрины магазинов и прохожих, стараясь при этом размышлять о либераль-

ной политике Великобритании, чтобы не слышать стонов.

На окраине города, у самого порта, они подъехали к домишку, который оказался довольно сносным. Три этажа, посредине вход. По одну сторону его — сапожная мастерская, по другую — мелочная лавка. В одном окошке второго этажа выставлены модные картинки, дальше — самодельная вывеска медника. Сапожник в фартуке, с засученными по локоть рукавами, выбежал помочь шоферу перенести раненого.

Подниматься пришлось на третий этаж. Впереди шел мистер Брайтинг с ключом. Лестница была деревянная, крутая и ужасающе грязная. До грязно-бурых перил нельзя было притронуться — перчатки прилипали. На площадке второго этажа навстречу выскочила стая любопытных ребятишек. Они больше смотрели на него и цилиндр, чем на раненого...

«Трущоба, достойная пера Диккенса»,— подумал мистер Брайтинг.

Квартира его даже удивила. Две комнаты, а за низкой дверью, видимо, кухонька. Обстановка нищенская, но все блещет чистотой. На маленьких, в четыре стекла, окошках полотняные занавески. Несколько цветочных горшков... Столики накрыты скатерками, на старой продавленной кушетке — ни пылинки.

Человечка уложили на кушетку. Пока его несли по лестнице, встряхивая на каждом шагу, он громко стонал. А теперь лежал тихо, закрыв глаза, стиснув зубы. Хмель, видимо, выветрился из головы, и он очень страдал.

Вошедшая вместе с остальными жена сапожника подала ему пить, подложила под голову какую-то одежку и торопливо вышла — видно, ей не терпелось поговорить с соседками о случившемся. Шофер уехал за врачом.

Мистер Брайтинг, не снимая пальто и цилиндра, прохаживался по комнате. Давешнего умиления как не бывало, он уже начал раскаиваться в том, что ввязался в эту историю. Его ли это дело! Еще в конце концов окажешься скомпрометированным. Нет, никогда не надо слишком поддаваться сентиментальному настроению...

Расхаживая по комнате, он увидел за полуотворенной дверью спинку кровати. Будто ненароком толкнул дверь ногой, она отворилась пошире. Вторая комната была поменьше, но гораздо уютнее. В глубине стояла кровать — простая железная кровать, купленная, вероятно, у торговца подержанной мебелью. Старенькое бумажное одеяло, у изголовья три белоснежных подушки, положенных одна на другую. Письменный

столик с надломленной ножкой, этажерка. Книг немного, но расставлены они аккуратно, и, видимо, их много раз перечитывали.

От печего делать мистер Брайтинг заинтересовался. Оглянулся на лежащего. Глаза у него были открыты — должно быть, боль немного утихла. Мистер Брайтинг шагнул к кушетке.

— Кажется, вашей жены нет дома?

— У меня ее совсем нет, мистер. Шестой уж год...

Мистер Брайтинг опять заглянул в дверь.

— Значит, вы снимаете комнату. Ага, понимаю: ваша хозяйка вдова, владелица мелочной лавки, что под вами, внизу...

Какое-то подобие улыбки скользнуло по лицу человечка.

— Нет, мистер, это моя квартира. В другой комнате живет дочь. Во время войны я работал в мастерской по изготовлению патронных ящиков. Теперь вот больше года болтаюсь без дела. А тут еще вдобавок ко всем бедам... Эх! — Он смешно нахмурил лоб, почесал в затылке и вдруг поморщился. Вероятно, пошевельнулся, и нога опять заболела.

Мистер Брайтинг оживился. Дочь. Какова же дочь у этого человечка? Значит, даже у таких могут быть дочери... Это открытие рассмешило его.

Он вошел в соседнюю комнату. Кровать с тремя подушками... Как это наивно и в то же время романтично. Взял с этажерки несколько томиков. Сентиментальная беллетристика в дешевых изданиях. Книги, видно, читаны-перечитаны, но обращаются с ними бережно. «Романтично, романтично»,— бормотал мистер Брайтинг. Все это как-то гармонировало с его сегодняшними приключениями и настроением.

Вдруг мистер Брайтинг нагнулся и взял со средней полки фотографию. Девушка в белом платье — видимо, снялась сразу после конфирмации, как это водится у протестантов. В руках книга псалмов, вид торжественный, серьезный. Мистер Брайтинг всмотрелся в ее лицо, откинул голову, отвел руку с фотографией подальше, потом опять поднес к глазам. «Хм... Не может быть...»

С фотографией в руке он вышел из комнаты.

Человечек взглянул на мистера Брайтинга, сразу понял застывший в его глазах вопрос и кивнул головой.

— Да, это она. Моя Амалия...

— Скажите, а почему она так...

И это он понял с полуслова.

— Видите ли, мистер, мы протестанты. Жена у меня была

немка. Я одно время служил курьером нашего консульства в Гамбурге. Там мы с ней познакомились и поженились.

Мистер Брайтинг снова углубился в созерцание фотографии.

— Хм... Удивительно. Сейчас ей лет под тридцать?

— Нет... что вы, мистер! Двадцать второй год. Жена моя умерла через неделю после ее конфирмации. По правде говоря, я с того времени и начал... кое-когда... не то чтобы часто...

— И теперь она содержит и себя и вас... Н-да, с таким личиком это не так уж трудно. Скажем, в каком-нибудь цветочном магазине или модисткой. А если есть еще и любовник,— скажем, буфетчик из солидного ресторана...

— Что вы, мистер, она не из таких! Это верно, она меня кормит. Ну, кто я? Старый пропойца, никчемный человек, камень на шее... Во время войны она служила конторщицей в той же ящичной мастерской. Теперь работает в прачечной Зелигсона, на штопке тонкого белья... Кто я? Старый пропойца, никчемный человек... Что мне теперь сказать ей, как мне ей показаться...

В глазах у него стояли слезы.

Но мистера Брайтинга это не интересовало. Он бодро расхаживал взад-вперед по комнате, поглядывая то в окошко, то на фотографию. К нему вновь вернулось приятное настроение.

«Протестантка... Двадцать два года... Книга псалмов и сентиментальные романы... Кровать с тремя подушками... Романтично!» — Все это возбуждающе действовало на его изощренные чувства... Почти как стакан вина к устрицам...

— В котором часу она возвращается домой?.. Ну, ваша Амалия?

— После пяти. Правда, по дороге она заходит в лавки купить что-нибудь на ужин.

Мистер Брайтинг вспомнил о чем-то и посмотрел на часы. Без пяти минут четыре. Из конторы, значит, все ушли. В конце-то концов проконтролировать какую-то регистраторшу мог бы и управляющий. Что-что, а это можно доверить и ему.

Он прошелся еще раза два по комнате. Опять стал смотреть на фотографию, то поднося к глазам, то отставляя подальше.

Право, какая неожиданность! Он раньше не замечал в себе такого мальчишеского легкомыслия. Это, верно, от шампанского. А быть может, оттого, что в нем еще сохранилась юношеская свежесть чувств. Романтика...

Мистер Брайтинг внутренне улыбнулся. За окном послы-

шался рокот автомобильного мотора. Он положил фотографию на стол.

— Вот что, дружок. Сейчас приедет врач. Умелая перевязка, какие-нибудь лекарства... А это вам на бульон — только не благодарить, никаких благодарностей, дружок! Как-никак мы со своим автомобилем тоже немного виноваты в этом несчастье.

Он положил монету на фотографию и стал застегивать пальто. Оставаться здесь, пока врач будет потрошить его,— нет уж, спасибо. Этого от него нельзя требовать.

— Вы только лежите спокойно. Травма, надеюсь, не особенно серьезная. Врач сообщит мне потом по телефону... А завтра я снова загляну.

Человечек растрогался, даже слезы выступили у него на глазах. На лестнице уже раздавались шаги, и мистер Брайтинг поспешил выйти.

— Так-то, дружок. Передайте привет Амалии. Я еще заеду.

И мистер Брайтинг приехал снова. Около шести машина остановилась перед домом. На этот раз вышел не сапожник, а его жена. Здороваясь, она присела и побежала вперед, вытирая на ходу передником перила лестницы, которые сегодня, будто в честь важного посетителя, были грязнее, чем обычно. Отогнав прочь назойливых ребятишек, она отворила дверь перед мистером Брайтингом и снова присела.

Он приветливо кивнул ей.

— Ну, как пошивает мой протеже?

Разумеется, мистер Брайтинг не счел нужным выслушивать ее ответ. Он вошел в комнату упругой походкой, расстегивая пальто так, чтобы был виден его новый костюм и часовая цепочка с брелоком, усыпанным бриллиантами.

Больного, оказалось, перенесли в маленькую комнату, а кровать с тремя подушками, письменный столик и этажерка с книгами стояли в первой. Человечек лежал на кушетке, совсем осунувшийся, серый. Он не спал и, как показалось мистеру Брайтингу, не проявил при виде его никаких признаков радости или интереса.

Жена сапожника отодвинула стул от изголовья кушетки ближе к окну.

В комнате стоял неприятный запах лекарств, воздух был спертый, тяжелый. Мистер Брайтинг, как приличествует посетителю, обвел взглядом обе комнатки, задержавшись на низенькой двери, за которой должна была находиться кухня, прислушался

и словно бы остался чем-то недоволен. Жена сапожника отошла к изножью кушетки, больной часто заморгал глазами.

Мистер Брайтинг нехотя улыбнулся.

— Как вы поживаете, дружок?

Человечек сморщил лицо.

— Плохо, мистер. Врач говорит, получился разрыв... каких-то сухожилий... Днем еще ничего, а ночью одно мученье. Да еще когда он начинает промывать да перевязывать...

Он застонал так, словно перед ним был сам врач, который собирался мучить его. Но мистер Брайтинг толком даже не расслышал его жалоб.

— Что, что, дружок? Ну, ничего, придется вам некоторое время полежать. Какие-нибудь лекарства, с утра чашка бульона... А почему у вас дверь на площадку всегда отперта и там весь день шумят дети?

— Мне это не мешает. Мы люди привычные. И днем я все равно не сплю.

— Но ведь к вам каждую минуту может войти посторонний человек, а вы даже не в состоянии подняться. Еще украдут что-нибудь. И потом — вас тревожат, а это вредно для больной ноги.

— Ничего, не вредно, мистер. Мы тут привыкли заходить друг к другу. А украдут... что здесь украсть-то?..

— Смотрите, дружок. Позвольте вам заметить — вы пренебрегаете своим здоровьем. А со здоровьем шутить нельзя.

Мистер Брайтинг встал, прошелся, потом переступил порог и как следует осмотрел переднюю комнату. Кровать с тремя подушками. Перед ней, на полу — маленький, видимо, самодельный коврик. Посредине — три красных мака, по краям обшит коричневым шнурком с кисточками. Мистеру Брайтингу показалось, что в прошлый раз коврика не было. Верно, теперь только постелили... Хм...

Жена сапожника опять подбежала к стулу, не зная, надо ли его вынести в другую комнату или оставить на месте. Возвращаясь обратно, мистер Брайтинг увидел, как она, нагнувшись к больному, что-то шепнула ему. После этого человечек повернул голову набок и старался дышать в стену.

— Больше у меня нет времени, дружок. Вижу, что дело у вас идет на поправку. Только лежите спокойно, и недели через две вы снова будете на ногах. Да, да. Современная медицина располагает средствами против многих осложнений.

Мистер Брайтинг вынул часы, посмотрел на них и, будто между прочим вспомнив что-то, оглянулся на дверь.

— Мне кажется, вы говорили... у вас есть дочь?

Жена сапожника утвердительно закивала головой.

— Как же, Амалия...

Мистер Брайтинг вопросительно взглянул на часы, потом на больного.

— Мне кажется... Сейчас двадцать пять минут шестого.

Человечек кивнул головой и поморщился от боли.

— Да... Только теперь она приходит после шести. В прачечной много работы, и она остается еще на час,— конечно, за это платят особо...

— Будьте здоровы, дружок. Я еще приеду. В пятницу, если удастся.

И мистер Брайтинг торопливо вышел, с силой захлопнув за собой дверь.

В пятницу он приехал чуть попозже половины седьмого, но застал только врача, который уже надевал пальто. Врач с конфиденциальным видом показал на дверь, за которой лежал больной, и сказал по-французски:

— Дела у бедняги довольно плохи. Пришлось пустить в ход все средства, чтобы остановить начавшееся заражение крови. Кости целы, но связки и сухожилия повреждены окончательно. Эта нога у него или совсем останется неподвижной, или только будет слегка сгибаться в колене.

За стеной охнул больной.

— Вы не находите, что ему нужна сиделка? У него есть дочь, но она работает где-то в прачечной. До чего эти люди пренебрежительски относятся к своим болезням.

Врач пожал плечами.

— Таких больных целесообразнее всего лечить в клинических условиях. Если вас интересует судьба бедняги, переведите его куда-нибудь из этой трущобы. Здесь без риска и с лестницы не спустишься.

На этот раз мистер Брайтинг подождал только, пока врач не сошел вниз. Когда же он сам с большим риском сходил по ступенькам, то встретил женщину в коротковатом пальто и фетровой шляпке. Лица ее он не разглядел в темноте, но по тому, как она пугливо посторонилась и, неловко поклонившись, взбежала по лестнице, мистер Брайтинг решил, что это и есть Амалия.

Внизу, у двери, он долго натягивал перчатки. Вспомнил, что следовало бы оставить немного денег. Не подняться ли опять? С другой стороны, возвращаться ему не хотелось. Он вдруг оробел. Непонятно, откуда это у него? Неужели нервы не в порядке?

Недовольный, почти злой, мистер Брайтинг сел в автомобиль.

В воскресенье днем он едва успел застать Амалию. Она уже выходила из комнаты, одетая в коротковатое пальтишко, в фетровой шляпке. Мистер Брайтинг распахнул пальто так, чтобы видно было новый костюм и часовую цепочку с брелоком, усыпанным бриллиантами. Вежливо поклонился и стал расстегивать перчатку. От него пахло духами и сигарами.

— Мисс Амалия?

Амалия робко склонила голову и больше уж не поднимала глаз. Мистеру Брайтингу она показалась не такой хорошенькой, как на фотографии, особенно в профиль. Впечатление портил довольно большой нос и длинноватая верхняя губа. Но если глядеть анфас — не видно ни малейшего недостатка. Главное, она выглядела еще моложе, чем на фотографии. Совсем девочка — свеженькая, полненькая. Даже под пальто заметно вырисовывалась высокая грудь и округлые линии плеч. И какая застенчивая! Не важно даже, что это — естественная ли робость бедной девушки или расчетливое кокетство.

— Как себя чувствует ваш отец?

— Он спит.

— Так, так. Отлично. Главное для него сейчас — это покой. Покой и отдых. Какие-нибудь лекарства, по утрам чашка бульона — и я надеюсь, что он скоро встанет на ноги... Не тревожьте его. Вы куда-нибудь спешите? Может быть, мы немного посидим у стола?

Она присела на краешек стула, но глаз все не поднимала.

Мистер Брайтинг смотрел на нее с легкой усмешкой.

— Вас никто не ждет? Может быть, вам предстоит приятное свидание? В таком случае я...

Она покраснела до ушей и в первый раз подняла глаза. Что за глаза! Нет, фотография не лгала! Это были глаза мадонны — до посещения ее архангелом. Мистер Брайтинг совсем оживился.

— Ну, извините. Я ничего дурного не думал. На самом деле, у меня о вас сложилось самое лучшее мнение. Отец ваш подробно рассказал мне о ваших достоинствах, о вашей самоотверженности. В наше время особенно приятно наблюдать добропорядочных людей.

Она теребила пуговицы пальто, не зная, что ответить важному гостю. Но по лицу было видно, что похвалы доставили ей удовольствие.

— Вас там не слишком утруждают работой? Мне кажется, в вашем возрасте не следует работать помногу. Это дурно отзывается на здоровье... и внешности.

Амалия вздохнула.

— Что же делать? Приходится мириться с судьбой.

Судя по ответу, она не блистала умом. Но это дела не портило. Это даже как-то гармонировало с ее обликом.

— Совершенно верно: мириться с судьбой. А судьба иногда поступает с людьми, примерно как с вашим отцом. Но она бывает и более благоприятной. Счастье равно как и несчастье, приходит неожиданно.

Он испытующе поглядел на Амалию. Но по лицу ее не видно было, поняла она или не поняла, куда он клонит. Ну, ничего. В конце концов все эти мадонны далеко не наивны, они только прикидываются такими. Часто под личиной невинности скрываются весьма игривые мысли. Знать бы только, как к ней подъехать. Задача, правда, не такая уж трудная. Времени еще много. Жена с дочерьми вернется не раньше середины августа.

Придвинувшись поближе, мистер Брайтинг отечески взял Амалию за подбородок. Девушка вскинула на него глаза и тут же опустила их. Она была и польщена и немного сконфужена.

— Итак, дитя мое, не надо тревожиться. Вашего отца мы скоро поставим на ноги. Пожалуй, нам придется отправить его в клинику. Ему будет лучше, а вам легче. А уж тогда подумаем и о вас. Времени у нас достаточно.

Мистер Брайтинг встал. Вслед за ним поднялась и Амалия. Он отечески похлопал ее по плечу, когда она пошла проводить его до двери. Там он опять остановился надеть перчатки.

— Думаю, что мы перевезем вашего отца в клинику. А до того вы зайдите ко мне на квартиру... скажем, завтра вечером, часам к семи. Я велю кое-что приготовить для него. Надо подкрепить больного. Ему это будет приятно.

Мистер Брайтинг поехал в клуб в самом приятном настроении. Весь вечер он провел в кругу друзей, много говорил и сыпал остротами. Ночь проспал хорошо, а в понедельник утром рассмешил своими шутками лакея и горничную. Право, иногда не мешает быть поласковее с простыми людьми, хотя бы и с собственными слугами. Вообще Европа после войны стала демократизироваться. А в распространении идей либерализма Англия всегда играла главную роль. Мистер Брайтинг чувствовал, что становится ярым приверженцем политики Ллойд Джорджа. Германия... Зачем выводить из строя Германию? Германия имеет важное значение в экономической жизни Европы.

Свои взгляды мистер Брайтинг изложил еще накануне в клубе. Сегодня, ему казалось, он мог бы гораздо лучше обосновать и развить их. Мысль его приобрела особенную живость и силу. Давно уж он не чувствовал себя таким молодым и жизнерадостным.

Днем лучезарное настроение мистера Брайтинга было немного омрачено письмом жены. Правда, дурных вестей в нем не было — одни лишь ласковые укоры в том, что он скупится на письма, и далее следовала скучная болтовня по поводу купального сезона в Остенде. Однако мистеру Брайтингу неприятно было видеть угловатый почерк жены и фотографию, где они все трое были сняты в модных платьях без рукавов. Безобразными казались и низкие, открывающие грудь вырезы, и худые костлявые руки. Особенно неприглядны были дочери-подростки с длинными шеями и вытянутыми лицами. Обычно мистер Брайтинг относился к ним иронически и не мог подолгу выносить их присутствия. Сегодня он ясно представил, как это, в сущности, забавно, даже оскорбительно, что вот он молодой, свежий мужчина — отец таких больших дочерей. Верно, и смешно же он выглядит в их компании. Зачем, собственно, ему вздумалось так рано жениться? Конечно, интересы предприятия, капитал... Но все это было так давно, что уже забылось.

К вечеру мистер Брайтинг с удивлением почувствовал, что начинает нервничать. Он лежал в кабинете на диване и курил сигару за сигарой. Выпил две рюмки коньяку. Попробовал читать, но все казалось неинтересным. Ему уже захотелось, чтобы пришел кто-нибудь, по крайней мере, легче было бы убить время. Когда же пришел дядюшка, мистеру Брайтингу вскоре стало казаться, что он сидит слишком долго и, пожалуй, не уйдет вовремя. Наконец, тот поднялся, и он взглянул на часы. Всего только половина шестого.

Нервы... А может быть, это признак молодости и бодрости? Мистер Брайтинг порылся в книжном шкафу, взял роман Локка и стал его перелистывать. И тут ему доложили о приходе какой-то незнакомой женщины. Он посмотрел на часы: ровно шесть. Неужели она пришла на целый час раньше?

Но это была жена сапожника, которую прислала Амалия. Отца ее в этот день должны были отвезти в клинику, и она хотела побыть с ним.

Мистер Брайтинг был крайне изумлен. Что это — правда или только хитро придуманный маневр? Но как бы там ни было — выглядит как пощечина и вызов. Вот она как обра-

щается с ним, несмотря на его доброту, на его общественное положение!

Мистер Брайтинг велел дать жене сапожника бутылку хорошего вина и кое-что из провизии. Сам он разговаривал с ней вежливым тоном и ничем не выдал своих чувств. После ее ухода он окончательно потерял самообладание. Небрежно сунул в шкаф роман Локка. Раскрошил сигару и выбросил в корзину для бумаг. Упавшую с дивана подушку отшвырнул ногой на середину комнаты.

Но ничего не помогло. Он никак не мог успокоиться. Все случилось так неожиданно. У него было такое чувство, будто он только что держал в руках какую-то приятную вещицу и вдруг потерял ее.

Мистер Брайтинг поехал в клуб. Там он немного выпил, поиграл на бильярде и даже пытался вступить в спор о политике. Но ему было скучно, и все как-то не клеилось. Тогда, собравшись с духом, он сел в автомобиль, доехал до окраинной улички и дальше пошел пешком.

Сам не зная почему, мистер Брайтинг надел в этот вечер другое пальто, а вместо цилиндра простой котелок. И только теперь он понял, как благоразумно поступил. Ему показалось, что кое-кого из прохожих он встречал и раньше. Впрочем, кого ему опасаться? Он здесь не впервые, он мог и не знать о том, что его протеже уже увезли в больницу. Да и какое ему дело до мнения этих плебеев с задворок... Однако шел он быстро, не оглядываясь. При этом у него было такое же чувство, как в детстве, когда он собирался напроказить.

Хорошо, что на лестнице ни души. Даже ребятишек не видно. Дверь не заперта. Она дома...

Амалия оказалась дома. Она была чем-то опечалена, а при появлении гостя заметно смутилась. На столе лежало почти все, что он прислал с женой сапожника. Услужливая соседка ничего не утаила.

В белой блузке и простенькой, но сшитой по моде юбке, Амалия была несравненно милее, чем в пальто и безобразной шляпке. У мистера Брайтинга сразу взыграло сердце. Он молодцевато оглядел девушку.

— Как дела нашего больного?

У Амалии показались на глазах слезы.

— Плохо. Сегодня он совсем ослабел. Врач говорит, что нога не будет сгибаться.

— Это очень грустно, мисс Амалия. Что же поделаешь? Мы свой долг выполнили.

— О вы, мистер... Вы такой добрый. Мы перед вами в неоплатном долгу...

Мистер Брайтинг улыбнулся:

— Я долги всегда взыскиваю. Ну, не стоит об этом. Поговорим о более приятных вещах. Все равно мы не в силах изменить того, что случилось. Приходится принимать жизнь такой, какова она есть... Но почему вы не пригласите меня сесть? Так. А теперь, пожалуйста, и вы. Так.

Амалия и на этот раз присела на самый краешек стула.

— У нас дела было пошли на лад — ему обещали место возчика у Зелигсона. А теперь из-за больной ноги ничего не выйдет.

И опять на глазах у нее показались слезы. Они у нее както сразу появлялись и сразу же высыхали. «Сентиментальная барышня»,— подумал мистер Брайтинг и почему-то потер руки.

— Вам, вероятно, нелегко одной, с пьяницей-отцом на шее? Так ведь? Могу себе представить. Вы видите, что богатые вовсе не такие черствые люди, как вы думаете. И у богатых есть сердце. И нам больно видеть горе бедняков.

Он и сам размяк от своих слов. В голосе у него звенели задушевные нотки, и это окончательно покорило Амалию. А когда мистер Брайтинг взял ее руку и погладил, из глаз девушки упали две слезинки. Но тут она заулыбалась и стала еще привлекательнее.

— А знаете что, мы, пожалуй, пристроим и вашего отца, несмотря на больную ногу. Мне нужен еще один сторож для хлебного склада. Там, откровенно говоря, здоровые ноги и ни к чему. Надеюсь, у меня он будет получать не меньше, чем у Зелигсона. Само собою разумеется, от пьянства ему придется отучиться. Я еще поговорю с управляющим.

Мистер Брайтинг вынул маленький серебряный блокнот и черкнул несколько слов.

Амалия чуть не запрыгала от радости. Как ребенок, схватила обеими руками руку мистера Брайтинга.

— Как мне вас благодарить? Вы такой добрый!

Мистер Брайтинг охотно протянул ей руку и даже зажмурился, пока она пожимала ее.

— Мисс Амалия, а что, если мы с вами выпьем по стакану за... за здоровье вашего отца и его новое место? Я думаю, мы вправе себе это позволить.

Они чокнулись и стали пить. Мистер Брайтинг плутовато смотрел на Амалию, взглядом и мимикой подбадривал ее: еще, еще! Счастливая, польщенная любезностью гостя, она пила —

медленно, с перерывами. Глаза у нее заблестели, взгляд стал улыбчивым.

Мистер Брайтинг снова наполнил стаканы и придвинулся поближе.

— В жизни было бы меньше зла, вернее говоря, можно было бы в значительной степени парализовать его, если бы бедные больше доверяли имущим, а имущие великодушно протягивали руку бедным. Все мы дети одной нации, все мы — граждане одного демократического государства. Больше доверия, мисс Амалия! За взаимное доверие!

Теперь ее уже не нужно было подбадривать. Она звонко чокнулась и пила, глядя смеющимися глазами на гостя.

Мистер Брайтинг еще раз налил стаканы и вместе со стулом придвинулся к девушке.

— Вот поэтому я и говорю... Я отчасти виноват в несчастье, случившемся с вашим отцом... Я сознаю свой долг перед вами. Вам тяжело работать в прачечной. Вы губите свое здоровье, а получаете смехотворное жалованье. Вы рождены для иной жизни. Вы прекрасны, как мадонна, но никому до этого нет дела... Видите ли, у меня в конторе из рук вон плохая регистраторша. Управляющий уже, кажется, ее уволил, а если еще нет, то уволит завтра. Работа у вас там будет легкая, а жалованье — большое. Летом вы будете работать часа по два у меня на дому. Вы, право, не пожалеете. Идет? Тогда выпьем за это!

Они чокнулись так, что вино пролилось на пол. Держа стакан одной рукой, другую мистер Брайтинг положил на локоть Амалии, провел по плечу и обвил ее шею. Потом поставил стакан, обнял ее, привлек к себе. И засмеялся, потому что губам стало щекотно от волос, когда он потянулся поцеловать ее в ухо.

— Ты у меня будешь наряжаться, как леди, у тебя будет все, чего ты захочешь... Ты будешь кататься в автомобиле. У тебя будет верховая лошадь... Я найму для тебя горничную. Я хочу этого...

Когда мистер Брайтинг встал и откинул назад ее голову, чтобы в последний раз поцеловать и заглянуть в затуманенные глаза, лицо его на миг стало серьезным. Он проговорил привычным резонерским тоном:

— Видите, милое дитя, никогда не надо впадать в отчаяние. Пути судьбы неисповедимы. И каждому несчастью сопутствует счастье. Я думаю, что ваш отец первый скажет это. Передайте ему от меня привет!

1922

Жан Морен, истопник стекольного завода «Этьен Пирсон», сидел в передней своего патрона и работодателя Этьена Пирсона. За все шесть лет, что он проработал истопником, ему ни разу не выпало такого счастья. Впервые случилось это теперь, когда его уволили с работы. Потому, несмотря на свалившуюся беду, он чувствовал себя почти счастливым.

Уже третий час он сидел на краешке стула позади вертящейся вешалки, на которой висела одна поношенная дамская шляпа с надломленным страусовым пером. У ног Жана Морена стояла пара грязных калош, причинявших ему некоторое неудобство: отодвинуть их он не решался, а протянуть над ними ноги казалось ему неприличным. И все-таки, как уже было сказано, он чувствовал себя почти счастливым, попав в переднюю своего патрона. Во всяком случае, он счел это хорошим предзнаменованием. Первые два часа прошли быстро. Третий тянулся уже медленнее. Жан Морен отчетливо слышал бой часов в столовой, сыгравших перед этим мелодию из оперетты «Мадам Сан-Жен». Он подумал, что обычно в это время пил какао и, побранив жену, ложился в постель. Его стала разбирать скука, клонило ко сну.

Лакей Пьер и горничная Жозефина несколько раз проходили мимо — из кухни и лакейской в столовую. Каждый раз они останавливались и любезно заговаривали с ним. И притом без малейшей иронии во взгляде или насмешливой нотки в голосе. Это Жан Морен тоже счел хорошим предзнаменованием. Он надеялся на удачу.

Проходя мимо в третий раз, Пьер снова остановился и возобновил дважды начатый разговор:

— Стало быть, у вас пятеро детей?

Жан Морен снова принялся рассказывать вполголоса, незаметно поглядывая на двустворчатую дверь.

— У меня их было шестеро. Шестого, Эмиля,— он у меня старший,— услали в Алжир. Еще с малых лет слабоват грудью...

Он осекся — нога его снова коснулась калоши — и взглянул на Пьера. Ведь мог бы, думал он, переставить калоши на другое место, а сам на это не решался.

Но Пьеру нужно было отнести в столовую какую-то блестящую посуду. Он не только не убрал калош, но даже не дослушал Жана Морена. Видимо, рассказ не интересовал его. Убежал, как и в первый раз и во второй раз. Но Жан Морен, не избалованный вежливостью хозяев и их слуг, был польщен и этим небольшим вниманием.

Затем вошла с полной вазой фруктов Жозефина, тоже направлявшаяся в столовую. Подняв вазу к люстре, она сказала:

— Смотрите, как блестят эти яблоки. Это гранаты. А это персики. Нам каждое утро присылают с юга ящик свежих фруктов!.. Вы когда-нибудь ели гранаты?.. У вас есть маленькие дети?.. Фу, да вы ведь уже старик... Да, да!

Из столовой ее тихо позвал Пьер, она откликнулась. Затем ушла.

Жан Морен переставил ноги. Из-за этих калош он все время сидел бочком, так что онемела левая нога. Он посмотрел на яркую люстру и заморгал глазами. Они у него не переносили яркого света и слезились.

Жан Морен вытер глаза платком в красную клетку. Подумал и вытер также повлажневшие углы губ. Потянул носом воздух. Откуда здесь такой запах? От фруктов или от этой свежей, опрятно одетой девушки? Улыбнулся. Она ворковала, как голубка, низким нежным голосом, казавшимся сладким и сочным, как эти фрукты. Говорить с нею было трудно. Она не слушала, говорила только сама. Как истая женщина, без всякой связи перескакивала с одного на другое. И все же становилось приятно от ее воркованья, от ее улыбающихся глаз...

Неожиданно и совершенно бесшумно Пьер распахнул дверь, которую Жан Морен заметил только сейчас. Широко распахнул ее, а сам отступил в сторону. Не пригласил, даже не удостоил взглядом. Но Жан Морен сразу понял, что ему надо войти в нее. И вдруг ему ужасно захотелось посидеть еще здесь, никуда не ходить. Этьена Пирсона он видел всего несколько раз, да и то издали. Жан Морен очень боялся его. Он вспомнил о своей улыбке, и она показалась ему недопустимо, непростительно неприличной. Правда, виноват был не он, а Жозефина...

Все это вперемешку одно с другим мгновенно промелькнуло у него в голове. Он растерянно встал со стула. Наступил на одну калошу, нечаянно пнул ногой другую. На ходу откашлялся и вдруг застыл на месте, так что Пьер, затворяя за ним, подтолкнул его дверью.

Комната, куда его втолкнули, показалась после ярко освещенной передней почти темной. Правда, где-то, видимо, очень далеко, горела небольшая лампа под плотным розовым абажуром. От нее тянулась к дверям узкая полоса света, в которой, как тихая желтая водная гладь, сверкал скользкий паркет. Жан Морен почувствовал себя неуверенно в своих тяжелых, подбитых гвоздями башмаках и остановился у двери. Обеими руками он держал кепку, словно это был хрупкий или наполненный до краев сосуд. Глаза у него опять заслезились, но вытереть их он не мог — руки были заняты.

Ему послышалось, будто его позвали, и он пошел вперед. По правде говоря, это нельзя было назвать ходьбой. Он двигался медленно, потому что привык ходить только по земляному полу подвала, по асфальтированному тротуару и по цементным плитам на заводе. Одна нога у него была немного короче и неприятно постукивала в полной тишине.

— Садитесь, Жан Морен.

Голос был гораздо более тонкий и слабый, чем у Жозефины. Морен опустился на какое-то низкое и мягкое сиденье, так что колени у него почти коснулись груди.

Сидеть было неудобно. А молчание слишком затянулось. Жан Морен почувствовал, что лоб у него вспотел и начала потеть спина. К тому же еще кепка выскользнула из рук и упала на пол. Нагнувшись за ней, он почувствовал, что левая нога снова немеет, и растерялся еще больше.

Когда он опомнился, то увидел, что кто-то сдвигает абажур набок. Увидел слабую жилистую руку и перстень с красным камнем на указательном пальце. Полоса света стала шире и ярче. Сверкнула Жану Морену прямо в глаза, и они опять заслезились. Клетчатый платок давно не стирали, и края у него обтрепались,— так что Жан Морен не осмелился достать его. Он попытался смигнуть назойливую влагу.

Потом он увидел голову господина Этьена Пирсона. Сухощавое лицо с коротко подстриженными темными усами. От уголков рта полукругом спускались две морщинки. Мелкие морщинки разбегались от глаз к вискам. Гладкий лоб казался непомерно высоким, так что трудно было определить, где он кончается и где начинается наголо выбритое темя.

Взгляд господина Пирсона был устремлен в книгу. Вот он, не глядя, протянул руку, взял со стола разрезальный нож из слоновой кости, заложил им книгу и захлопнул ее. Он сел почти прямо в глубоком кожаном кресле, в котором до сих пор полулежал. Однако ноги в домашних туфлях с пуфика не убрал.

Больные глаза Жана Морена раздражал блеск булавки в галстуке господина Пирсона. Он откашлялся и повернул кепку козырьком кверху.

Господин Пирсон поднял на него приветливые карие глаза.

— Вы Жан Морен? Вы работали у меня на заводе истопником? Проболели две недели, потом были уволены? Это случилось три дня тому назад? Почему же вы сразу не пришли ко мне? Ходили к мастеру, к инспектору и управляющему. Это вы делали напрасно. Раз вас уволили по заключению врача, то вы должны иметь дело только со мной. Вам следовало сразу же обратиться ко мне.

— Спасибо, сударь...— пробормотал Жан Морен и смутился еще больше. Но на сердце у него стало легко и хорошо. Здесь господин Пирсон не казался ни таким страшным, ни таким важным, как издали, на заводском дворе. Очень обходительный господин. Даже обходительнее мастера Араса, не говоря уже об инспекторе. Жану Морену он понравился с первых же слов.

Но господин Пирсон не смотрел на Жана Морена. Узкой рукой он покачивал на весу книгу с ножом и, казалось, вслушивался в собственный голос. У него был тоненький мелодичный голос, и говорил он, намеренно выдерживая небольшие паузы, будто расставляя знаки препинания и изящно округляя фразы. Жан Морен не привык к этому в обществе рабочих, дворников, ремесленников и лавочников. Ему было трудно уследить за ходом мыслей господина Пирсона. И чем внимательнее он слушал, тем меньше понимал. Но ему были приятны и мелодичный голос, и дружеский тон. Теперь он убедился, что пришел не зря. Пожалел только, что три дня попусту упрашивал менее важных господ.

Господин Пирсон продолжал, разглаживая загнувшиеся углы книги:

— Я знаю, вы уверены, что я снова приму вас на работу. За эти двенадцать лет, что я владею заводом, вы — шестьсот пятьдесят седьмой. Шестьсот пятьдесят шесть человек сидели до вас на этом стуле.

Господин Пирсон слегка махнул правой рукой и усмехнулся.

— Если вы посмотрите себе под ноги, то увидите, как там вытерся паркет. Вы подбиваете башмаки такими гвоздями, точно ходите только по льду. Скажу вам откровенно, Жан Морен, вы ведете себя очень прилично. Другие сидели здесь не так спокойно. Некоторые даже... В таких случаях я нажимаю кнопку — видите вот эту кнопку на краю стола,— и входит Пьер... Но с вами можно поговорить. Надеюсь, вы поймете то, что я скажу вам. По крайней мере, попытаетесь понять. Не так ли, Жан Морен?

— Так точно, сударь.

Господин Пирсон наконец положил книгу. Взял из вделанного в раковину золотого желобка недокуренную сигару и потянул губами. Она не задымилась. Но господин Пирсон не стал искать спичек. Он положил сигару обратно. То ли ему было лень, то ли он заинтересовался предстоящим разговором. Соединил руки на животе и не спеша завертел большими пальцами. Жан Морен смотрел на перламутровую пепельницу, отливающую то белым, то иссиня-зеленым, то бледно-розовым.

— А, вам тоже нравится эта безделушка! Мне привез ее с Индийских островов один приятель — капитан, а мой ювелир придал ей такой вид. Он на такие вещи мастер.

И господин Пирсон пододвинул раковину поближе к Жану Морену.

— Так на чем же мы остановились, мой друг? Ах да — на статистике. Да, видите ли, вы — шестьсот пятьдесят седьмой. И я ручаюсь, что среди этих шестисот пятидесяти шести человек не было ни одного, который бы, точно так же, как и вы, не надеялся, что я приму его обратно... Не знаю, почему рабочие так верят в меня. Но это так. Абсолютно! И, видимо, не без оснований.

Господин Пирсон быстро завертел пальцами.

— Однако они ошибались, как ошибаетесь и вы. Я еще не принял обратно ни одного рабочего, которого заводская администрация, разумеется включая и врача, уволила с работы. Вы понимаете, Жан Морен: никого.

— Да, сударь...

Раковина сверкала невиданной белизной, хотелось потрогать ее пальцем, убедиться, не холодна ли она, как снег. Жан Морен не мог отвести от нее глаз.

— Вы очень редко видите меня, но очень ошибаетесь, если думаете, что на заводе что-нибудь делается без моего ведома. Уверяю вас — ровным счетом ничего. Вы видите на этом столе гору позолоченных папок? Там у меня подробнейшие отчеты и даты.

Каждый вечер я выслушиваю пять докладов: инженер-механика, инженер-химика, инженера по печам, инспектора труда и управляющего. Вы не сомневаетесь, что это так, Жан Морен?

— Нет, сударь...

— Ну видите. Я часто стою у окна, когда вы по утрам направляетесь на работу, а вечером возвращаетесь домой. Из окна моего кабинета все великолепно видно. Я знаю вас всех по имени, а многих и лично. Я подробно осведомлен о вашей жизни, семейных делах, партийной деятельности. О, я хорошо знаю всех вожаков в каждом цехе. Знаю партийных агитаторов и фанатиков из синдикатов — всех, до последнего. Больше того — я знаю, какое впечатление производят на моих рабочих исход муниципальных и парламентских выборов, кризис кабинета и новый закон о воинской повинности, меры, принятые префектурой против преступной пропаганды, и последняя речь лидера социалистов... Но к вам это не относится, Жан Морен. Вы — не социалист. А в синдикат вы вступили из чисто практических соображений. Поэтому лучше будем говорить о вас. О вас и обо мне. Надеюсь, мы поймем друг друга...

Я знаю, что вы хотите сказать. Если бы вы не были таким застенчивым, вы бы уже раза три повторили: дайте мне работу, если не у печей, то на складе или в упаковочном. Назначьте меня возчиком угля. Я уже столько раз все это слышал и столько раз повторял: нет. Все вы, когда остаетесь без работы, думаете, что можете выполнять любую работу. Но вы заблуждаетесь, мой друг. Мы, работодатели, хорошо знаем, что такое профессия и трудовые навыки. Оттого, что вы выработаете в день на пять сантимов больше или меньше, зависят миллионные прибыли, которые мы получаем и которые мы можем потерять.

И потом еще одна вещь. Если рабочий,— как в данном случае вы, Жан Морен,— лишился пятнадцати процентов зрения или другой способности, кто может поручиться, что он вскоре не лишится еще пятнадцати процентов, а через полгода — еще. Эти хронические заболевания не поддаются никакому учету, как сказал мне сегодня заводской врач, и на него в этих вопросах можно положиться. А что значит в бюджете завода один утративший трудоспособность рабочий, которому надо выплачивать пенсию, это вы понимаете, Жан Морен.

Жан Морен, услышав свое имя, встрепенулся. Его убаюкивал этот благозвучный голос, опьяняло окружающее великолепие. Но теперь он очнулся. В нем словно проснулось подозрение, что дело его принимает неблагоприятный оборот. Но все это казалось ему чем-то случайным и далеким, каким-то незна-

чительным эпизодом. Здесь ведь было так тепло и хорошо. Пепельница отливала неуловимыми иссиня-зелеными тонами, казалось, ею можно было любоваться всю ночь напролет.

Господин Пирсон продолжал, слегка опустив голову, уставившись меланхолическими глазами на хрустальную крышку чернильницы.

— Разрешите мне, друг мой, говорить за вас. Я вижу, вы человек застенчивый. Вы не привыкли говорить и не можете выразить свои мысли. Однако вы думаете — это я знаю из опыта. Шестьсот пятьдесят шесть уволенных по заключению врача — вы понимаете, что это достаточная цифра, позволяющая как следует изучить вашу психологию. Да и вашу логику. Одинаковая работа в одинаковых условиях выработала у вас одинаковые чувства и одинаковый образ мышления. Как и ваши предшественники, вы хотели пригрозить вмешательством своего профессионального союза, всяческими там протестами, судом и в конце концов даже стачкой. Но вам не следует быть наивным и воображать, что я всего этого не учел заранее. Разговор с представителями синдиката для меня неизбежен. Не скажу, что с ними так же приятно беседовать, как с вами. Но тут уж ничего не поделаешь. И путь капиталиста не всегда усыпан розами. Но в конце концов мы справляемся и с ними. Вы в своем союзе один из многих тысяч ничего не значащих, незаметных членов, и ради вас одного союз не рискнет поднять большой шум. К тому же у меня всегда под рукой десятки неопровержимых доводов, против которых они бессильны. К счастью, мы живем еще при том проклятом капиталистическом строе, который предусматривает некоторые права и для капиталистов и при котором так называемые эксплуататоры тоже еще имеют возможность жить. Может быть, порою и у них самих возникает небольшой конфликт со своей совестью, но и тут ничего не поделаешь. Это все мелкие эпизоды крупного конфликта между трудом и капиталом, который не зависит от нашей доброй воли и в котором мы не повинны. Вы против этого ничего не имеете возразить, Жан Морен?

— Нет, сударь...

Жан Морен посмотрел теперь на опущенные веки и тонко очерченные губы господина Пирсона, из которых так легко лилась благозвучная речь.

Господин Пирсон заложил ногу на ногу.

— Это была, скажем, фактическая, логическая сторона вопроса. Если говорить деловым языком, вы сперва прибегаете к предложениям и угрозам. Когда же они не помогают — а они

никогда не помогают,— начинаете упрашивать. Надо признать, что это самая неприятная сторона дела. Порою это становится даже очень неприятным. Больная жена, двое-трое, а то и четверо маленьких детей, старики родители... Удивительно живучи эти старые рабочие! Откровенно говоря, это те аргументы, против которых труднее всего возражать. Как бы неправдоподобно это ни звучало, но и у капиталистов и эксплуататоров бьется в груди сердце...

Опущенные веки дрогнули. Полукруглые складки у уголков рта стали еще заметнее. В голосе послышалась слезливая нотка.

— И у капиталистов и у эксплуататоров может быть своя семья, жена, дети и родители. По легко понятной аналогии его тоже трогает, даже потрясает несчастье другого человека.

Миновав чувствительный момент речи, господин Пирсон спустил ноги с пуфика. Положил ладони на подлокотники кресла. Поднял глаза на небольшую статуэтку каррарского мрамора — женщину в шлеме, с птицей в руках. Статуэтка стояла на старом, переплетенном в коричневую кожу фолианте. И вместе с переменой позы изменилось и выражение его лица, мгновенно исчезли и мягкость, и меланхолическая задумчивость. Взгляд его стал острее, губы плотно сжались.

Часы в столовой снова заиграли мелодию из «Мадам Сан-Жен». И господин Пирсон и Жан Морен прислушались. Последнего почему-то раздражала эта грубоватая, задорная мелодия. Часы играли долго. Невозможно было дождаться, когда они, наконец, начнут бить. А когда они пробили, Жан Морен снова вспомнил, что ему уже давно пора быть в постели, что ему целый час добираться до дому, что под мостами Сены теперь лежат густые черные тени, что против большого закрытого ювелирного магазина каждый вечер сидит на тротуаре тощая, затравленная кошка и ноет, как нищая, у которой вместо носа безобразная впадина... Вздорные и бессвязные мысли, не имеющие ничего общего с тем, о чем говорит здесь господин Пирсон.

Господин Пирсон продолжал уже тверже, решительнее и с большим жаром.

— Да, мой друг. Мы с вами принадлежим к двум враждебным классам — и этого нам вовсе не следует скрывать друг от друга. Откровенность — лучший путь к взаимопониманию. Ведь мы с вами не виноваты в том, что на свете существуют капиталисты и эксплуатация, буржуазия и пролетариат, тезис и антитезис, классовый антагонизм. И не в наших с вами силах предотвратить то, что естественно произросло в ходе экономи-

ческого развития — точно так же, как мы не можем остановить движение солнца или предотвратить затмение луны. Затмение луны... вот именно, мой друг. Хотим мы этого или не хотим — мы участвуем в великом социальном прогрессе и содействуем ему. Мы оба, Жан Морен,— вы и я. Я, пожалуй, позволю себе сформулировать это так: я и вы. Несмотря на то что вы пролетарий, а я капиталист, несмотря на то что все, чем вы сейчас обладаете,— это ваши пятьдесят восемь лет и полуслепые глаза. Зато вам принадлежит будущее. Я же владею сейчас миллионами, но зато обречен на неизбежное вырождение и гибель. И если мы подытожим все, о чем мы с вами тут говорили, то, полагаю, можем прийти к выводу, который удовлетворит нас обоих.

Вы, мой друг, говорите мало, потому что излишне робки. Однако мне кажется, я высказал все, что вы думаете,— все, что вы, несомненно, сказали бы, если бы привыкли говорить на подобные темы.

Итак, диалектический ход нашего разговора примерно таков: вы прежде всего протестуете против своего увольнения. Вы грозите синдикатом, своими вождями, судом и, наконец, намекаете на стачку и другие возможности, вплоть до посягательства на мою жизнь. Одним словом, вы пытаетесь меня запугать. Но меня нельзя запугать, на моей стороне закон республики, десяток неоспоримых доводов и префектура. Тогда вы пытаетесь разжалобить меня рассказами о своем недуге и невозможности найти другую работу, о своей больной жене, малых детях, родителях, которых вы должны содержать. Но я к этому привык, как к послеобеденной сигаре, или к партии в карты в клубе, или к любому другому обыденному событию. И тогда вы, наконец, взываете к моей социальной совести и пугаете бедствиями, которые обрушатся на весь мой класс,— ненавистью и местью миллионов обездоленных, обреченных на голод рабочих. На это последнее возражение я еще должен вам ответить. Этот ответ одновременно будет и тем выводом, о котором я уже упомянул и который, я уверен, удовлетворит нас обоих.

Существует только одна-единственная истина и только один путь к ней. Истина социализма, которую наиболее развитые из вас понимают и сознают, а такие, как вы, мой друг, инстинктивно угадывают. Даже слепые чувствуют, что солнце светит и с какой стороны оно светит. Это говорю я, капиталист и эксплуататор, потому что нам незачем быть такими тупыми и социально темными, какими нас часто изображают ваши вожди. В особенности я могу сказать это о себе. Нам — я снова буду говорить от имени своего класса — нет нужды закрывать глаза на эту

великую истину, ибо мы служим ей и содействуем ей точно так же, как и вы.

Но, возразите вы, а где же интересы отдельных классов и порождаемые ими разные идеологии? Эх, мой друг, мы — а в особенности вы — так часто повторяем слово «идеология», что забываем его глубокий смысл, цепляемся за его оболочку, за пустой звук. Но мы должны постигать суть — всегда только суть, мой друг! В ней содержится оправдание не только вашего, но и нашего существования, деятельности и морали.

Мы так часто слышим: вы насильники, вы алчны, как гиены, и хищны, как голодные волки. У вас нет сердца. Вы катаетесь в автомобиле по нашим костям. Вы купаетесь в нашем поту, как в теплой ванне. Превосходно, мой друг. Я не стану спорить по поводу слишком очевидных гипербол и непристойных сравнений. Они нужны вам для утоления горечи, для обманчивого самоуспокоения. Пусть будет по-вашему. Именно такими мы и должны быть. Но такими могут быть только самые здравомыслящие, самые смелые из нас. В большинстве своем мы слишком мягкотелы, восприимчивы и сентиментальны.

Что такое жалость, благотворительность и тому подобные проявления чувствительности? Отдельные мелкие капли, падающие на раскаленные камни, брошенный в море окурок этой сигары, за который не может ухватиться ни один утопающий, чтобы выплыть к берегу. И если современный гуманизм угрожающе растет, то бороться с этой социальной и моральной болезнью в первую очередь и больше всех обязаны вы. Ибо она больше всего угрожает вашим интересам, вашим планам на будущее.

Ибо что такое все рабочее движение со всеми его экономическими и политическими организациями, со всеми его сотнями форм движения масс? Ответный нажим на капиталистов, на гнет капитала, как принято говорить на вашем безобразном жаргоне. Чем сильнее угнетение, тем сильнее противодействие. Сострадание и гуманизм — это лишь сознательные или бессознательные попытки ослабить, дезорганизовать движение пролетариата, это коварство и предательство, это занятие для трусов и малодушных. И в первую очередь для тех, кто не верит в социальный прогресс и преобразование мира на новых основах. Чем хуже, тем лучше — сказал кто-то из ваших лидеров. Я не уверен, сказал ли он именно так. Очень жаль, если он этого не сказал. Ибо в этой проблеме — ключ к социальному прогрессу. За примерами далеко ходить не приходится. Возьмем хотя бы вас, Жан Морен. Вы числитесь членом профессионального союза, но что вы союзу и что вам союз? Вы всегда пытались

как-нибудь пробиться в одиночку. Сознания солидарности у вас нет и на сантим. Во время забастовок вы не раз играли двусмысленную роль. Мои мастера кое-что помнят об этом. Вы надеялись как-нибудь избежать гнета капитализма. И кто остается в выигрыше? Вы? Но взвесьте теперь свое положение и скажите, не прав ли я. Вы сами должны признать, что проиграли жизнь. Вы выйдете отсюда на улицу — старый, нищий, полуслепой и без работы. И единственное, на что вы еще можете пригодиться — это послужить предостережением своему сыну, чтобы он не пошел по вашим стопам.

Господин Пирсон взглянул на угол стола, где стояли часы с фарфоровым циферблатом и золотыми стрелками в стиле рококо. У него осталось еще две минуты времени. Господин Пирсон медленно встал, уперся узкими жилистыми руками в стол.

— Так-то, мой друг. Я рад, что вы пришли и мы немного поболтали. Это совершенно необходимо для взаимного понимания двух человек, представляющих два враждебных класса и противоположные интересы. Я рад, что мы так хорошо поняли друг друга. Сейчас поняли вы, но настанет время — я убежден, что оно не за горами,— когда все поймут, кто является вашим настоящим благодетелем. До свидания, мой друг!

Господин Пирсон кивнул головой. Посмотрел на Жана Морена и, проследив направление его взгляда, увидел сигару в желобке пепельницы.

— А, вы хотите... Пожалуйста!

Он потянулся за ней, собственноручно сунул в рот Жану Морену. Достал из кармана коробочку спичек в серебряном футляре с портретом какой-то дамы. Задержался на нем влажным взглядом. Потом чиркнул спичкой и поднес ее к сигаре.

— Тяните сильнее. Вот так. Ну, теперь хорошо. До свидания, мой друг. Кланяйтесь вашей женушке.

Когда Жан Морен опомнился, господина Пирсона уже не было в комнате. Розоватый блеск перламутра слепил ему глаза. От этого и от какого-то непонятного волнения они снова так заслезились, что уже ничего не видели.

У широкой распахнутой двери стоял Пьер в выжидательной позе.

Жан Морен ничего не понимал. В голове мелькали обрывки смутных мыслей. В ушах все еще звучал мелодичный голос. Доставая из кармана платок, он на всякий случай пробормотал:

— Спасибо, сударь!

1922

С громовым гулом захлопнулись тяжелые железные врата. Был ли это грохот ворот, или отзвуки сурового голоса Яхве, но долго еще грозные раскаты сотрясали воздух.

Оба грешника стояли на месте, куда их низверг гнев Яхве. Черно-багровый мрак окутывал их. Над головой гудел ветер. А в вышине быстро неслись бурые клубы облаков, словно жуткие птицы, прорезающие воздух невидимыми крыльями.

Адам и Ева стояли на том месте, куда их низверг Яхве. После розового полумрака рая они были словно слепые в этой тьме мира. Резкие порывы ветра хлестали их голые тела, привыкшие к нежным дуновениям райских зефиров. Их, живших под вечно мирной лазурью, теперь задевали бурыми крыльями облака.

Они взялись за руки и прижались друг к другу. Ветер разметал длинные волосы Евы, обвил ими ее колени, как мягким развевающимся хитоном.

Адам приник губами к уху Евы:

— Что с тобой? Почему ты такая неспокойная?

Он чувствовал, что по всему ее телу пробегает дрожь, но не знал, как это назвать. У него еще не было слов для обозначения дрожи Евы и своего страха.

Ева еще теснее прижалась к нему.

— Крепче держи меня, прижми к себе. Положи мне руки на бедро, согрей меня своим дыханием.

И она окутала его хитоном своих волос. И засмеялась сладким смехом, почувствовав, как его теплое тело прижимается к ней.

— Пойдем... туда...

Она хотела сказать «дальше», но и для этого понятия у нее еще не было слов. В раю они не ведали разницы между

близким и далеким. И там им некуда было идти. Там дни и годы проходили незаметно, неощутимо.

Окутанная черно-багровой мглой, перед ними желто-серым ковром расстилалась Сирийская пустыня. Под ногами у них похрустывал мягкий песок, еще сохранивший приятное дневное тепло.

Иногда они останавливались и прислушивались к шуму ветра. Мягко скользя по ногам, шелестел взметенный песок пустыни. То были единственные звуки на всей равнине. Их слуху, привыкшему к неумолчному щебетанию птиц и рыку зверей, эти звуки казались скорбными и грозными голосами тишины. Они чувствовали бесконечное одиночество и печаль. Но они еще не знали, как обозначить и одиночество и печаль.

Равнина, устланная мягким песком, окончилась; они шли по холмистой местности, усеянной острым щебнем, из-под которого выдавались твердые ребра камней. Они резали подошвы, было больно. Ноги устали, потом устало все тело. Изгнанники не привыкли подолгу ходить.

Ева потянула Адама за руку.

— Мне хочется сесть.

Но Адам увидел что-то в темноте и хотел дойти до того места.

— Смотри — там, впереди, что-то синее. Что бы это могло быть? Пойдем посмотрим!

То была река — та самая река, которая текла отсюда к райскому саду и поила своей водой всех зверей, все деревья с их плодами.

Они сели на камень, покрытый слоем мягкого песка, и глядели на синий поток.

Им, усталым, было так приятно сидеть. Ева положила голову на плечо Адама. Он оперся рукой на камень, поддерживая ее ослабевшее тело.

Ветер, дувший в долине, почти не касался их. И песок здесь не шуршал под ногами,— теплый и чуть влажный, он заполнял промежутки между выступами камней и покрывал острый щебень. Где-то над рекой слышался шум. В расселине противоположного скалистого берега будто гудела разбитая волынка. Бескрайный, безмолвный простор расстилался вокруг.

Вдруг что-то теплое и влажное упало на шею Адама. В первое мгновение он подумал, что это одна из тех коричневых пчел, которые в райском саду часто садились отдохнуть ему на голову, на плечи. Вот упало опять, и еще раз... Скользнуло по

плечу, по руке. Адам обернулся и посмотрел. То были не пчелы. Что-то капало из глаз Евы.

— Что с тобой?

Ева кончиками пальцев коснулась глаз. Веки были мокрые. На ресницах дрожали большие теплые капли. Когда одна падала, на ее месте тотчас появлялась другая.

— Не знаю. Что-то полилось из них. Этого со мной еще никогда не было.

Дождь? Но ведь он идет из облаков. Адам положил голову Евы к себе на колени и попытался что-нибудь разглядеть. Но ночь была темна, а глаза еще темнее — два черных зрачка с желтыми колечками вокруг. Капли все катились — на этот раз не сверху. Нет, это был не дождь. А нельзя ли выпить их? Адам наклонился и попробовал губами. Нет, они были теплые и солоноватые. И в райском саду есть такие ключи, из которых нельзя пить,— кипя, выбивают они горячими струями из самой глуби земли. Значит, и в Еве есть какой-то скрытый огонь, поднявшийся из земных глубин.

Чуть покачивая голову Евы на коленях, Адам закутался в ее волосы. Он почувствовал, что она постепенно засыпает и начинает дышать спокойно и глубоко. Счастливая! Она могла заснуть даже тогда, когда его голову переполняли странные мысли.

Он посмотрел на реку и заметил, что поверхность ее становится светлее и как будто глаже. Если бы он взглянул вверх, то увидел бы, как постепенно светлело небо, бросавшее свое отражение на воду. Синяя полоса реки отливала посередине зеленоватым золотом, а по краям казалась еще темнее. И вдруг в реке заколыхались одна за другой синие точечки. Скоро стало казаться, что вся вода усыпана синими песчинками.

Адам с волнением глядел на нее. Потом разбудил Еву.

— Поди посмотри, нельзя ли их зачерпнуть горстью.

Ева спустилась к воде. Попыталась поймать песчинки кончиками пальцев, как хватают букашку, быстро бегающую по земле. Попробовала схватить в горсть, как вычерпывают рыбок с красными плавниками. Но вода уходила между пальцев, и в горсти ничего не оставалось. Она рассердилась и ударила ладонью по коварной воде.

— Ничего не могу зачерпнуть.

— Убегают?

— Не то бегут, не то не бегут. Они то колышутся сверху, то словно погружаются в глубину. Иди попробуй ты.

Но Адам устал. Ему не хотелось подниматься из-за пустя-

ка. Ева вернулась и села рядом. Они оба посмотрели вверх и там увидели те же самые песчинки.

Они видели их и раньше. То были звезды. Но в раю звезды были видны всегда, вместе с солнцем и луной, и казались бледными и неживыми. Здесь они сверкали ярко-голубым мерцающим светом, как тысячи глаз, обращенных на изгнанных грешников. Адам и Ева испытывали страх и вместе с тем никогда еще не изведанное наслаждение. Как будто колючки терновника легонько покалывали им кожу.

И пока они изумленно смотрели на небо — где-то далеко за рекой, за грядой темных гор, зажглась золотисто-желтая черта. Постепенно она увеличивалась. Вот она превратилась в полукруг, сделалась еще больше — и вот уже из-за гор встал большой желто-золотой диск. Извилистой сияющей дугой очертил край небосвода и перебросил через реку золотой мост прямо к их ногам. Диск поднимался все выше и становился бледнее и бледнее. На нем появились темные тени, сделавшие его похожим на живое лицо.

Ева порывисто прижалась лицом к груди Адама.

— Яхве!

Ее испуганный крик прозвучал над рекой: отозвались далекие скалы. «Яхве, Яхве... Яхве...» — раздавалось все дальше и дальше и, наконец, в такой дали, что нельзя было различить звука.

Адама взволновал этот неожиданный крик. Он выпрямился, полный юной силы и мужественного гнева.

— Нет!

«Нет, нет... нет...» — раздавалось все дальше и дальше и, наконец, в такой дали, что нельзя было различить звука.

Адам повернул голову Евы к светлому диску.

— Посмотри! Это не Яхве! У него нет бороды. Нет сердитых глаз и громового голоса. Смотри — это луна. Только здесь она больше и ярче — как и звезды. Посмотри, как красиво!

Вся пустыня с ее желтыми просторами и беспорядочно нагроможденными скалами далеко, насколько хватал глаз, светилась в золотом блеске. Река искрилась, словно усеянная мелкими чешуйками. Черные зубчатые тени скал падали на воду, и между ними спокойно колыхался золотой мост.

Они долго смотрели на просторы мира с его невиданным контрастом света и теней. После однообразной пышности рая он казался им странным и заманчивым. Их сердца будто качались на волнах,— то вздымаясь до бледно светящейся луны, то снова опускаясь в черные тени скал, между которыми колыхался золотой мост.

Адам устал от долгой ходьбы и множества незнакомых впечатлений. Голова его медленно опускалась. Он склонился к коленям Евы, приник к ее мягким волосам. И когда он заснул, Еве показалось, что она осталась одна. Ее волновал и пугал этот чуждый мир с его просторами, тишиной и слишком резкими контрастами. Словно огонь, разгоралась в ней тоска по утраченному раю.

Тихонько опустив голову Адама на покрытый песком камень, Ева пошла берегом по течению реки, к раю. Сначала она шла медленно, на цыпочках, все время оглядываясь, не проснулся ли Адам. Но когда плоский камень и спящий на нем человек слились с желтизной пустыни, она побежала. Острые прибрежные камни резали ей ноги. Волосы обвивались вокруг коленей и мешали бежать. Она подобрала их и прижала к груди теплую охапку.

Луна совсем побледнела, и стало светать, когда она увидела черные стены рая. Тонкой чертой вырисовывались они на краю небосклона, но постепенно становились все выше; и вот, неприступные, грозные, поднялись над головой.

Ева упала на землю и долго лежала так. Она видела, что напрасно пришла сюда. Перебраться через стену было невозможно: в ней не было ни прогала, ни щели, через которые она могла бы проникнуть внутрь. Отчаявшись, Ева подняла глаза и увидела острый гребень стены, врезающийся в бледную лазурь неба. Тяжесть еще никогда не испытанного одиночества сжимала ей грудь. Тоска по раю боролась со жгучей жалостью к Адаму. Что ей здесь делать одной, без него? Одиночество, словно ржавчина, разъест ее душу. Ева посмотрела назад. Но там была плоская пустыня с разбросанными кое-где обломками скал.

Что-то зажужжало в воздухе. Обернувшись, Ева увидела двух комаров, вылетевших из-за стены рая и казавшихся необычайно большими на фоне розоватого неба. Они трубили, и казалось, будто кругом ликующе гудит воздух, взволнованный дыханием первой жизни. Это были первые беглецы из рая. И им надоело бесконечное однообразное изобилие, покой и блаженство. Может быть, любопытство заставило их взглянуть на тот мир, куда вчера изгнали людей. Их пример еще найдет подражателей... Яхве, наверное, в своем необузданном гневе не предусмотрел этого. Они были первыми — но как знать...

Вода у ног Евы зажурчала. Она взглянула — две красные рыбки, мерцая серебряной чешуей, проворно плыли вверх по течению. И они!..

Ева задумалась. Они бежали прочь от рая, а она пришла сюда, пытаясь попасть назад. Она снова представила себе жизнь за этими стенами, среди вечного изобилия, тишины и спокойствия. Она снова представила себе, что она одна, без Адама, и, вскочив на ноги, стала всматриваться туда, откуда только что пришла. Словно чьи-то мягкие руки схватили ее за сердце и сжали так, что захотелось крикнуть.

Два комара исчезли вдали. Исчезли рыбки. Ева протянула руки, едва сдержав крик. Все ее существо тянулось назад. Никогда еще она не чувствовала ничего подобного; она не знала, что то была тоска по мужу и мужчине. Она была женой Адама — но только сейчас в ней проснулась женщина. Эта непривычная тревога заставила ее забыть все остальное. Она побежала назад.

Ее ноги были до крови изранены острыми камнями. Но боли она не чувствовала. Тоска прибывала, как прибывает вода во время дождей. Кровь горячей волной шумела в ушах. Ее терзал страх. А вдруг она уже не найдет Адама... Вдруг Адам пошел на тот берег по лунному мосту и в поисках ее блуждает среди гор... Вдруг она останется одна в этой пустыне...

Она не заметила, как позади взошло солнце и что-то пролетело над стенами рая. От страха и отчаяния она закричала.

Было ли то эхо, или это Адам отозвался где-то далеко-далеко? Ее голос звонко скользил по гладкой поверхности реки — Адам должен был услышать, как бы далеко он ни был, куда бы он ни забрел. Ведь не только голос — ее душа, словно чайка, летела над водой через пустыню, на край земли.

И Адам услышал. Ева увидела, как его юное тело, облитое золотом солнца, показалось из клубившегося над рекой тумана. Никогда еще она не видела его таким прекрасным и мужественным. Что она скажет ему о своей трусости и измене, о своем неверии?

Но Адам был слишком поглощен созерцанием великолепного земного рассвета. Он словно охмелел, словно выпил забродившего виноградного сока. В глазах его горело то же солнце, что нестерпимо ярко пылало на утреннем небе. В его мышцах струилась та же река, что с неудержимой силой устремлялась по своему руслу. Его нежность напоминала восточный ветер, который проносился над землей и таинственно шумел у скалистого берега.

Таким Ева еще никогда не видела его. Она легла на его сильные руки, она не могла оторвать от него глаз. Их соединяли уже не только старые узы греха. Новый поток струился через их сердца и пес на своих волнах.

Взявшись за руки, они вошли в реку, чтобы омыть окровавленные, покрытые пылью ноги. И впервые заметили, как прохладна вода, как приятно освежает она, успокаивает боль. И как отрадно ощущать ее свежесть после усталости и боли.

Когда они вышли на берег, к ним подлетели две птички. Одна села на руку Адама, посмотрела на него блестящими умными глазками, похожими на бусины, и полетела дальше — то поднимаясь над землей, то перепархивая с камня на камень. Другая села Еве на плечо, вытерла клюв о ее волосы, поскребла ножкой под крылом и полетела вслед за первой.

Полный умиления и восторга, Адам не выпускал руки Евы.

— Пойдем за ними.

Они шли за птичками до самого подножия гор. Желтый откос, начинавшийся от самой реки, порос широколистными лозами. В глубоких расселинах росли кусты и молодые деревья, которые упорно и гордо тянулись ввысь. Маленькие ручейки, как серебряные нити, извивались между буграми, скользили вниз, катя синие и желтые камешки.

Обе птички, перекликаясь, порхали по широколистым лозам. И когда Адам и Ева поглядели туда, то увидели алые ягоды, тяжелыми гроздьями ниспадавшие в воды ручья. Они ощутили голод только тогда, когда начали есть. Как эти две птички, они лазили по откосу, разыскивая гроздья послаще, перекликаясь, переглядываясь, теряя и снова находя друг друга, пугаясь, тревожась и снова весело смеясь.

Насытившись, они почувствовали усталость. Ева спустилась к ручью и напилась. А когда спустился Адам, она зачерпнула сладкой от сока ягод рукой прохладной воды и напоила его.

И тогда, освещенные солнцем, полные сил и жизни, они поднялись на вершину горы.

Внизу сверкала река, по которой медленно скользила ладья солнца. Позади лежали бескрайние просторы Сирийской пустыни и едва различимая темная черта на краю небосвода. Впереди была волнистая равнина с зелеными пятнами кустарника и деревьев. А вдали на горизонте возвышались громады синих гор с ослепительно-белыми вершинами и темными тенями долин. Оттуда веял ветерок, разбросавший по небу пушистые облака.

Сердца Адама и Евы трепетали от новых ощущений; они прижались друг к другу.

Ева все еще не могла найти слов для выражения своих мыслей. Тогда заговорил Адам. И ей казалось, что это говорит она сама,— так сходны были их мысли и чувства.

— Смотри! Вот он, тот мир, которого мы не знали, но который видели во сне, когда были за стенами рая.

Мы согрешили и были изгнаны. С окровавленными ногами будем мы ходить по земле, в поте лица отыскивая пищу и кров.

Но станем ли мы из-за этого печалиться и просить, чтобы еще раз распахнулись тяжелые врата? Нет. Гнев Яхве длится тысячелетия, а жизнь наша коротка.

Но разве тысяча лет в стенах стоят хоть одного дня на этой свободной равнине?

Только одну ночь мы бродили по земным просторам, но эта ночь стоит больше, чем долгие годы в тех стенах.

Мы не знали, что такое тьма и что такое свет. Что такое страх и отчаяние, что такое смелость и уверенность в себе. Что такое боль и облегчение боли, жажда и утоление жажды, усталость и отдых. Что такое любовь и сомнение, тоска и тревога, горе потери и радость обретения. Мы были словно пустые сосуды. Теперь шум семи потоков наполнил их через край.

Мы были изгнаны. В своем великом гневе Яхве хотел убить нас одиночеством. Но оглянись вокруг. Ветер принес семена, и эти холмы зазеленели. Скоро вся земля за стенами рая станет зеленой. Я видел, как над головой у меня пролетели два комара. Вверх по реке проплыли две рыбки. И эти две птички, мне кажется, уже собираются вить гнездо... Но это только начало. Сперва пришли воздушные и водяные существа, а скоро придут и земные. Яхве не подумал в своем гневе, какой пример он подает всем живым тварям, изгоняя нас.

Пусто будет в раю. Яхве будет ходить среди засыхающих кустов и погибающих деревьев. И больше некому будет восхвалять его и бояться.

Мы пройдем через эту равнину. Мы поднимемся на эти синие горы, с которых открываются широкие просторы. И чем дальше мы будем видеть, тем дальше захотим пойти. Ночью мы перейдем по лунному мосту на тот берег реки. Днем сядем в солнечную ладью и поплывем вверх по реке — все дальше и дальше.

Ну что же, пусть нас мучают голод, и жажда, и усталость. Теперь мы знаем, что такое отдых и утоление. Нас не испугает всевидящее око и великий гнев Яхве. Днем мои руки будут нас кормить, а ночью нас будут согревать твои волосы.

Мы утратили рай. Мы идем покорять землю.

1922

«Le trésor des humbles»

LE TRÉSOR DES HUMBLES[1]

Встав из-за письменного стола, Артур Сукатниек потянулся. Он проработал четыре часа подряд, пока не закончил седьмой главы своего трактата. И теперь сам чувствовал, что она удалась ему еще лучше предыдущих. Аргументируя примерами из истории, социологии и психоанализа, Артур Сукатниек неопровержимо доказал примат нравственно устойчивой личности в развитии общественной морали. Заодно были опровергнуты все пессимистические ложные теории, которые отводили человеку лишь роль незначительной детали в огромном государственном механизме, расшатаны и основы этого механизма. Была найдена живая, сознательная движущая сила культурного прогресса.

Артур Сукатниек был еще молод. Однако не страдал свойственной его возрасту самоуверенностью. Он это прекрасно знал, и именно поэтому у него было так легко на сердце после сделанной работы. Он вовсе не воображал, что открыл какую-то неизвестную, доселе скрытую истину. Любая истина существовала как таковая спокон веку. Нужно было только выявить ее вовремя и соответствующим образом осветить. Река течет в долину не с горы. И тем не менее уровень ее истоков по сравнению с уровнем устья иногда равен высоте гор. Незаметные уклоны, мелкие пороги и являются причиной быстроты ее течения. Но разве думает об этом лодочник, спускаясь вниз по реке? Разве приходит это в голову мельнику, когда он утром, отворяя шлюзы, подсчитывает, сколько мешков муки запишет к вечеру в свою книгу?.. Человеческая деятельность необычайно дифференцировалась. Ныне умственный труд под силу только особо сконструированному и специально натренированному

[1] Сокровище смиренных *(франц.)*.

для этого мозгу. Приятно сознавать себя обладателем такого мозга...

Артур Сукатниек хотел было закурить, но постеснялся. Столь прозаическая процедура могла развеять приятное состояние интеллектуального созерцания. Он подошел к единственному окну, выходившему во двор. Все еще накрапывал осенний дождь. Водосточные трубы тихонечко звенели. Влажно поблескивали крыши. Небо казалось закопченым. Замощенный булыжником двор...

Но тут его лирически приятные наблюдения были нарушены необычным зрелищем.

Он увидел хромого нищего, который обычно прятался здесь, за углом дома, против входа в парикмахерскую. Войдя в ворота и прислонившись спиной к стене, нищий отвязывал деревянную ногу. Отвязав ее, он топнул по булыжнику своей настоящей ногой, которую все время держал в согнутом положении. Потом с ловкостью опытного гимнаста стал и так и этак сгибать и разгибать ее. Поразмяв как следует, он еще раз топнул ею и с явным удовольствием стал на обе ноги. С ним произошло чудесное превращение. Горба на спине как не бывало. Теперь он выглядел куда выше и моложе и стал похож на пожилого, но крепко сложенного почтальона, который каждое утро поднимался наверх с письмами и газетами.

Это сравнение с почтальоном, который ежедневно поднимался на пятый этаж, понравилось Артуру Сукатниеку. «Ах ты пройдоха»,— подумал он и еще раз бросил взгляд во двор. Деревяшка была прислонена к стене. Уперев руки в бока, нищий делал гимнастические упражнения, нагибая и разгибая верхнюю часть туловища. При этом он так же твердо стоял на своих ногах, как любой школьник на уроке гимнастики. Все-таки в этом превращении было много забавного. И тут Артур Сукатниек смутно почувствовал, что между увиденной сценкой и его сочинением существует какая-то связь.

Он взглянул еще раз на мокрые крыши, а потом на свои лакированные ботинки. В прихожей надел шляпу и мелкими шажками затрусил вниз по лестнице. «Ах ты пройдоха, пройдоха!» — думал он. Ему хотелось быть серьезным, потому что этот случай имел глубоко принципиальное значение. Но на лице его появилась улыбка, когда он вспомнил, с каким артистическим комизмом бездельник играл свою роль.

Нищий страшно перепугался, когда Артур Сукатниек схватил его сзади за плечо. Он, очевидно, был вполне уверен, что здесь, между мусорным ящиком и штабелями дров, его никому

не видно. Инстинктивно он бросился к своей деревяшке. Но, почувствовав, что сильная рука крепко держит его, согнул ногу в колене, обхватил ее руками и весь корчился, словно от боли.

— Полегче, сударь, полегче. Не то вы сделаете меня полным калекой.

Но, взглянув в лицо своему противнику, он выпрямился. Вероятно, понял, что тот все видел и притворяться больше не имеет смысла. А может быть, заметил, что он не слишком опасен. Кивнув в сторону полицейского участка, нищий спросил:

— А вы не потащите меня туда?

Артур Сукатшек только что об этом подумал. Вернее, он только сейчас задумался над тем, как поступить с этим прохвостом. В участок — это само собой. Но сначала следует заняться им в собственных целях. Может статься, что субъект послужит блестящим примером для подтверждения правильности его трактата. К тому же представляется случай на деле исполнить то, что в своей теории общественно-морального воспитания он требовал от других. «Непременно, непременно»,— мысленно ответил он на свои еще не четко сформулированные вопросы. Ответ его прозвучал твердо, не допуская никаких возражений:

— Ты поднимешься ко мне наверх.

Артур Сукатшек почувствовал себя задетым, когда прохвост, ничуть не смущаясь, сказал, повторяя его же мысль:

— Всенепременно.— И тут же взял под мышку свою деревяшку.

«Прожженный плут»,— подумал Артур Сукатшек, покачивая головой. Тем лучше. Для эксперимента больше всего годятся самые характерные образцы породы. Тогда результат приобретает принципиальное и неопровержимое значение. И Сукатшек в самом приятном расположении духа повернул к дому.

С видом человека, не располагающего свободным временем, нищий спросил:

— А это высоко?

Сукатшек готов был улыбнуться этому проявлению наивности, таившейся под личиной отъявленного плута. Но он сдержался. Ситуация требовала тем большей внешней серьезности, чем глубже был ее внутренний комизм.

— Всего лишь на четвертый этаж... Теперь ведь тебе нетрудно подняться.

Артур Сукатшек остался доволен своей шуткой. На всякий случай он пропустил нищего вперед. Ручаться за таких нельзя. Но тот, видимо, больше не собирался удирать и бодро

шагал по лестнице. Когда деревяшка, которую он нес под мышкой, ударилась о лестничные перила, он деловито переложил ее в другую руку. Надетый на одну ногу сапог громко стучал по ступенькам. Другая нога, обмотанная грязным промокшим тряпьем, оставляла большие следы на цементных ступенях.

Нищий шел так уверенно, точно бывал здесь не раз. И не удивительно. Каждое утро хозяйка или прислуга бранилась здесь с кем-то. На площадке третьего этажа он остановился и показал пальцем на левую дверь.

— Разве доктор Фрейденфельд здесь больше не живет?

Артур Сукатниек легонько подтолкнул его в спину. Нищий уже начал вести себя развязно. Пожалуй, гуманное обращение здесь будет неуместным. Некоторая строгость не помешает. Сукатниек широко распахнул дверь, подождал, пока нищий прошел вперед, и запер ее. Ключ он незаметно спрятал.

Нищий огляделся, потом поставил свою деревяшку возле двери. Обмотанная тряпьем нога оставляла на паркете следы. Прислонившись плечом к стене, он ловко размотал верхнюю тряпицу и повесил ее на деревяшку. Она была тщательно отделана, с войлочной прокладкой на широком выдолбленном конце. Очевидно, сам смастерил ее, но очень умело.

— Сам сделал? — спросил Артур Сукатниек и сразу подумал, что это неуместно.

Нищий отвечал словоохотливо:

— Нет. У моего зятя маленькая столярная мастерская. Там один подмастерье в мирное время работал на казенный лазарет. По десять штук в день делал. Платили аккордно. Говорит, неплохо зарабатывал. Теперь все жалуется, что кончились хорошие времена.

Значит, у этого пройдохи и зять есть! А у зятя даже мастерская, подмастерья... Артур Сукатниек крупными шагами прошелся по комнате и остановился у письменного стола. Торжественно захлопнул рукопись и отложил ее в сторону. Взял белый лист бумаги, а чуть погодя и карандаш. Зачем это? Поймал себя на том, что делал это затем лишь, чтобы субъект сильнее почувствовал всю серьезность положения. Слишком фамильярно он держится. Но, взглянув внимательнее, не заметил ничего фамильярного в его поведении. Нищий с невинным видом стоял у стола и что-то делал с надетой на голову шапкой. Просто-напросто это он сам нервничает. Собственно, с чего бы ему нервничать? Артур Сукатниек был недоволен собой.

Нищий снял шапку. Вынул из нее какой-то узелок и сунул в карман. Теперь было видно, что череп у него почти лысый,

по совершенно нормальной формы. Не стало и шишки, которая так некрасиво выдавалась на затылке. Артур Сукатниек указал на черную повязку, закрывавшую уши и подбородок.

— Сними-ка и это. Посмотрим, каков ты без этого обмундирования.

— И это можно. Однако я должен сказать, что это вовсе не обмундирование, как вы изволили пошутить. У меня каждую осень немного течет из правого уха. Это от сквозняков... Но, если вам угодно, я могу.

Он снял повязку и тоже спрятал в карман. Все-таки одна щека так и осталась толще другой. Заметив, что хозяин смотрит на нее, нищий провел по ней ладонью.

— Это у меня от верхнего коренного зуба. Слишком рано его запломбировали, и теперь, чуть немного простыну, щека и опухает.

— А разве тебе это порою не выгодно?

Нищий показал еще довольно крепкие белые зубы.

— Одна щека ничего не значит. Теперь ведь зубные врачи ничего не смыслят. Я нынче только до обеда насчитал четырех господ и одну даму с опухшими щеками. А если обвязать...

Артур Сукатниек подумал, что этот оборванец становится недопустимо нахальным. Он откашлялся и принял официальную позу.

— Скажи-ка... давно ты промышляешь этим... делом?

Тот отвечал без запинки, как человек, хорошо знающий и уважающий свое ремесло.

— Тридцатый год. В феврале исполнится ровно тридцать лет.

— Ничего себе. Срок немалый. Как видно, ты не принадлежишь к числу людей, часто меняющих профессию. И все время с этой штукой?

Он кивнул на деревяшку.

— Что вы! С ней я только пятый год — с тех пор, как инвалиды вошли в моду. Сначала, в молодости, у меня был паралич правой стороны. Потом некоторое время я был слепым и ходил в темных очках. У меня тогда был мальчик-поводырь. Но работать вдвоем мало толку. Одно время ходил по деревням погорельцем из Даугавпилса. Только ведь нынче скорее цыган подаст, чем деревенские. Я и глухонемым был...

Он подождал, пока хозяин запишет. Карандаш в руке Артура Сукатниека нервно бегал по бумаге. Такого откровенного цинизма он и вообразить себе не мог.

— И за все это время тебе не пришлось столкнуться с полицией и судом?

Нищий махнул рукой.

— Сколько угодно! В нашем деле без этого нельзя. Если попадешься только раз или два в год, такой год считается удачным.

— Значит, участок тебе знаком. Надо полагать, тюрьма тоже. И тебе ни разу не приходило в голову бросить нищенство и взяться за честный труд?

— Нет, не приходило. Оно мне по нутру... За честный труд, говорите вы? Вы что хотите сказать, что мой труд нечестный?

Артур Сукатниек первно засмеялся.

— Именно это я и хотел сказать. К сожалению, должен был сказать. И ты не стесняешься назвать это трудом? Да ведь это же величайшее нахальство, жульничество и надувательство, какое я когда-либо наблюдал.

Нищий нахмурился. Глаза его гневно сверкнули.

— Это я и до вас тысячу раз слышал. Но глупость никогда не станет мудростью, сколько ее ни повторяй. От вас я ждал иного.

Он выразительно посмотрел на книжные полки вдоль стен, потом перевел взгляд на заваленный бумагами письменный стол.

Артур Сукатниек бросил карандаш.

— Я вижу, что ты прожженный негодяй. Напрасно я привел тебя сюда. Надо было сразу отвести в другое место.

— Это в участок, что ли? Как вам угодно, можно и в участок. Только вы зря рассчитываете удивить и обрадовать их. Они сами давно все знают получше вас. Я и не такие проповеди слыхивал. И с пасторами не раз имел дело... Вы вот все насчет честности. С вашей стороны тоже было бы нечестным рассказывать о том, что я доверил вам одному. Да и вряд ли это входит в ваши намерения. Не затем вы привели меня сюда.

— Ты еще смеешь судить о моих намерениях! Что ты можешь знать о них?

Нищий пожал плечами.

— Мне ведь не впервой. Ну хорошо, положим, я ничего не понимаю. Я жду, что скажете вы.

Артур Сукатниек спохватился, что начал разговор не с того, с чего следовало бы. Этак можно потерять самообладание и способность делать объективные оценки. Перед ним на редкость опытный жулик. Если он не воспользуется случаем, его

теория не будет подкреплена ярким, убедительным аргументом. Артур Сукатшек пытался успокоиться и обрести сознание собственного превосходства.

— Что я хотел у тебя спросить? Во-первых, вот что. Ты сам-то не сознаешь, как это бесчестно, когда здоровый человек выдает себя за калеку и обманывает легковерных людей? Ты, вероятно, занимался членовредительством, чтобы вызвать жалость и побольше заработать?

Нищий посмотрел на свою деревяшку и вздохнул.

— Это вопрос непростой. Вернее говоря, это не один, а несколько вопросов. Я, право, не знаю, с какого конца и начать, хотя мне уже не раз приходилось на них отвечать. Ну да все равно. Занимался ли я членовредительством? Теперь, слава богу, не приходится. Нога, верно, немеет, как постоишь целый день на деревяшке. Никак не могу ее приучить. Вот и сейчас будто мелкими иголочками покалывает. Ну, это пройдет. Да так оно и на всякой другой работе. Рука ли, нога — разница тут небольшая. Когда я был помоложе и поглупей, приходилось и похуже. Но чтоб это было нечестным, сказать не могу. А что считается честным, что — нечестным?

— Ты полагаешь, что я должен объяснить тебе основные принципы общественной морали?

— Не хотите? Ну ладно, тогда я сам скажу. Вот, если я делаю то, чего не делают другие,— это нечестно. Но я ничего такого не делаю. У меня достаточно времени, и я многое вижу. Проходят по улице господа, вытянув шеи в накрахмаленных воротничках. Ручаюсь, что им еще неудобней, чем мне с обвязанной щекой. Идут дамы с перетянутыми талиями, ноги стиснуты двухвершковыми башмачками. Разве это не членовредительство? Да моя деревяшка куда удобней, чем их обувь! И кто из нас настоящий калека и нищий?

Артур Сукатшек закурил папиросу. Так будет легче, если опять не хватит выдержки.

— Я не собираюсь дискутировать с тобой о прихотях моды. Мода — это обычай, глупое обезьянничанье. Но эти люди не нищенствуют и не причиняют другим вреда. А ты попрошайка и, следовательно, нечестный человек.

— Ах, вон оно что! Вы все насчет честности. Говорите, они не нищенствуют? А по-моему — точно так же, как и я. Разве что манера у них другая, у всякого сословия своя манера. А способы одни и те же, и цель одна. Ведь не зря же они уродуют башмачками свои ноги. У них свой расчет. Мы это понимаем. Завлечь и обольстить какого-нибудь дурачка. Под-

цепить и женить на себе. А уж она выжимает из него — не то что я. Мне бросят рубль, самое большее три рубля. А во сколько обходится дураку-мужу ее наряды и всякие безделушки? Мне можно подать, а можно и не подать, я даже не посмею громко выругаться. Но попробуйте отказать ей. Не вы, а она потащит вас на суд общества и государства. Она разведется с вами, и вам еще придется покрывать судебные издержки. У вас есть жена, сударь?

Артур Сукатниек засмеялся, но смех его прозвучал неискренне. Он бросил папиросу в корзину и встал. Оперся кончиками пальцев на стол. Потом спрятал руки в карманы.

— Ты умный нищий. Видно, что у тебя было время кое о чем поразмыслить. Но в твоей мудрости есть большие изъяны. Ответа на самое главное ты так и не дал.

— Вы имеете в виду честность или нечестность? И об этом можно. Вы не рассердитесь, если я присяду на этот стул? Только на самый краешек. Я и не подозревал, что настолько отвык стоять на обеих ногах. Ей-богу, я готов поверить, что там, у стены, моя настоящая нога, а эта вот — чужая. Вы ведь снимаете меблированную комнату? Ну, значит, у вас нет определенной договоренности о том, сколько пятен должна вытирать в день прислуга... Так. Покорнейше благодарю... Честность, говорите? Будь у нас время поговорить об этом подольше, мы бы прежде всего попытались найти точное мерило для двух внешне одинаковых видов труда. Но у вас, я вижу, времени немного, да и у меня тоже. Скоро три часа, в это время чиновники расходятся по домам. А среди них часто попадаются сердобольные люди. Поэтому остановимся лучше на прежнем примере. Почему же я нечестный, а она честная? Потому, что я по-своему стараюсь пробудить сострадание в легковерных гражданах? Потому что она по-своему старается пробудить похоть в столь же легковерном кавалере? Или вы скажете, что мы с ней этого не делаем?

Артур Сукатниек смотрел в окно. Вот он стоит как дурак, а этот пройдоха сидит себе, закинув ногу на ногу. Нечего сказать, приятная ситуация! Хорошо, что никто этого не видит. И черт его дернул связаться с ним!

Но нищий продолжал говорить:

— Если мы будем рассматривать вещи с этой точки зрения — а я утверждаю, что только с этой точки зрения их и нужно рассматривать,— то честным скорее окажусь я. Сострадание — одно из самых похвальных человеческих качеств, это вы не станете отрицать. А если и попытаетесь отрицать, ваши

доводы разобьет любая газета. В них теперь столько пишут о благотворной роли сострадания в самовоспитании человека и в моральном совершенствовании человечества. Следовательно, моя деревяшка будит и развивает в людях самые драгоценные качества. Это в высшей степени честный труд. А те животные инстинкты, которые она старается возбуждать с помощью своих кошачьих лапок? Мужчины и без того достаточно испорчены! Разве честно разжигать низменные инстинкты?

— Оставь в покое и тех и других. Говори только о себе. Ты мошенник и плут. Довольно образованный плут и потому еще более опасный. Ты вымогаешь у людей сострадание и таким образом ловко обкрадываешь их. Да и не только их! Ты перехватываешь гроши, предназначенные беднякам,— гроши, которые действительно могли бы облегчить их нужду. Ты не стесняешься играть роль инвалида. И ты виноват в том, что их всех считают жуликами и обманщиками.

Все это он выпалил сгоряча, без долгих размышлений. Артур Сукатниек уже чувствовал скуку и усталость. Не думая больше о ситуации и позах, он сел за стол. Повернулся так, чтобы не смотреть в бесстыжие глаза. Говорить больше не хотелось. В голове была только одна мысль: скорей бы избавиться от этого пройдохи.

А тот поудобней уселся на стуле. Провел рукой по затекшему колену, потом потрогал опухшую щеку.

— Вы опять валите в кучу разные вещи. С вами сговориться трудней, чем с полицией или с пасторами. В полиции свои пункты — я их знаю наизусть. Там никогда не отступают от заведенного порядка. А пасторы только сами говорят. При этом нужно только пониже склонять голову и иногда тяжело вздыхать. А если еще удается выжать из глаз слезу, то под конец получишь еще пятерку... Да, во-первых, о роли инвалида. Каждый из нас играет какую-нибудь роль. И вы тоже, сударь, только не обижайтесь, пожалуйста. Если бы вы разговаривали не со мной, а с самим собой, вы бы признали, что часто пытались казаться более умным, чем вы есть на самом деле, или более веселым, или больным, находчивым, сердитым — в зависимости от обстоятельств. Всякие бывают положения, и с этим приходится считаться. Готов биться об заклад, что и у вас бывали в жизни минуты, когда вы смеялись, а на самом деле вам хотелось плакать, и наоборот. Я разыгрываю роль инвалида, хотя сам здоровее любого рекрута, только что прошедшего комиссию и признанного годным. Вы сами видите, что разница здесь только в степени, а не в сущности. И потом говорить обо

мне одном, не касаясь других, невозможно. Как мы будем говорить, к примеру, о навозном жуке, не сравнивая его с бабочками и другими красивыми насекомыми? Только путем сравнения и увидишь отличительные свойства каждой твари. Только так и можно решить, раздавить ли ее сапогом или взять на ладонь и погладить.

Дальше. Вы говорите, что я отнимаю у настоящих инвалидов их несчастные гроши. Вы примерно так и сказали. Должен признаться, это для меня самое тяжкое обвинение. Я всегда держался положенного места. Еще ни один из моих товарищей не упрекал меня в том, что я вторгся в его район. Если вообще на свете существует порядок, он должен соблюдаться везде и всюду. Я всю жизнь знаю одну профессию и — зачем отрицать это? — хлеб свой зарабатываю честно. Они работают где-нибудь в другом месте, поэтому им и жалованье полагается получать там же. Не мы, а они стараются занять наше рабочее место и перехватывают предназначенные нам гроши.

Вы говорите, нас считают жуликами и обманщиками? Потому что не верят нашим деревяшкам, изуродованным черепам и обвязанным щекам? А я могу поклясться,— в душе они ужасно хотят, чтобы мы оказались не такими безнадежными калеками. Чтобы мы хитрили и обманывали. Тогда бы их утешала мысль, что не по их вине мы стали такими, пока они сами лежали с женами под теплыми одеялами и чистыми простынями. Мысль о том, что они позаботились бы о нас, не будь мы столь развращенными и ненасытными... не будь мы жуликами и обманщиками.

Если разобраться хорошенько, меньше всего следует говорить о надувательстве и жульничестве в нашей профессии. Наша работа...

Артур Сукатниек не дал ему договорить. Ему хотелось ударить кулаком по столу и заорать. Но он сдержался и сказал ироническим тоном:

— Ваша работа, ваша работа!.. Что вы бросаетесь такими словами, когда речь идет о праздности и дармоедстве самого дурного пошиба!

Нищий развел руками.

— Вот вы и выбили меня из колеи... Я забыл упомянуть, что у меня неважный характер. Когда меня прерывают, я больше не могу поймать нить разговора. О чем же мы говорили? Да, о работе и дармоедстве. Дармоедов вообще нет. И быть не может. Или вы, может быть, хотите переделать мир, который бог создал по мудрости своей? Хотите указать всевышнему на

его ошибки? Но я утверждаю, что даже навозный жук и мелкая блошка выполняют свое назначение. Предположим, однако, что вы относитесь к тем, кто не верит в бога и его мудрость. Теперь ведь много таких, и они хотят все объяснить своим, человеческим умом. Но и с этой точки зрения мы не дармоеды. Наша работа — это работа, и больше ничего.

Верно, мы не работаем на фабрике. Мы не таскаем мешки в порту. Мы не водим трамваев и не подметаем улиц. Но этого не делают и многие другие. И вы не делаете — простите за сравнение. Вот у вас стол завален бумагами и всякими письменными принадлежностями. Полки заставлены толстыми книгами. Может быть, многие из них вы сами написали. Но спросите крестьянина, спросите любую базарную торговку, считают ли они работой то, что вы делаете? Если бы мне пришлось ответить... впрочем, это к делу не относится. Одним словом, не подумав, не касайтесь вопроса о дармоедстве. Все зависит от того, с какой точки зрения и как смотреть на вещи.

Сейчас мы смотрим, конечно, с точки зрения всеобщей целесообразности. И тут нетрудно заметить, что наша работа так же необходима и достойна уважения, как и всякая другая. При этом не надо забывать, что мы не крестьяне, не базарные торговки и тому подобная публика, для которой работа — лишь средство набить кошелек и желудок. Мы видим целесообразность нашей работы в том, что она способствует созданию высших ценностей и удовлетворению духовных запросов человека. В этом отношении мы, как говорится, вне конкуренции. Я не стану напоминать о том, какое значение придает Евангелие благодеяниям, оказываемым нищим. На нас в первую очередь и можно упражняться в любви, милосердии и прочих христианских добродетелях. Мы подобны живой книге, в которой любой прохожий найдет прекраснейшие притчи и достойные подражания картины. Примерно об этом мы и говорим. Но не будем отвлекаться от повседневной жизни. Скажем так: у кого-то в семье произошло счастливое событие, и он готов поделиться с ближним долей своего счастья. Конечно, не очень большой долей, не такой-то он дурак. А тут, на углу, сидит нищий с деревянной ногой. Тому достаточно двух, трех, самое большее пяти рублей. А подав пять рублей, он чувствует себя в десять раз счастливее. Разве это плохо? Выходит, и я и он остались в барыше. Или, скажем, какой-нибудь лавочник заключил выгодную сделку. Немного нечестную, как и всякая сделка. На сердце у него и приятно, и слегка тревожно. Ему хочется

унять эту легкую тревогу. Но как это сделать? Вон там нищий мерзнет на дожде и ветру. Дадим ему немного. Это можно. Сделано. И лавочник возвращается домой умиротворенный. Ужин кажется ему вкусным, спит он спокойно. Разве ему не хорошо? И разве лавочник не такой же человек? Случается и так: выходит из варьете господин в приподнятом настроении. В руках у него кошелек, и ему кажется, что он может купить весь мир. А ведь дело известное: прокутишь деньги с шансонетками, повредишь своему здоровью, а завтра еще на службу опоздаешь. Такой тоже не поскупится дать нищему. Может быть, посмотрит только внимательней, подумает о чем-то своем и пойдет домой. Так кому же от этого больше пользы: нищему или ему самому?

И даже те дни, когда не удается получить ни единого рубля, тоже нельзя считать потерянными. Можете мне поверить, бывают и такие дни. Тогда мы стоим на улице для напоминания, для контраста. Только при виде нас богатый по-настоящему оценивает свое богатство и благополучие. Иначе бы он знал одни тревоги и заботы. И люди менее зажиточные готовы примириться со своим положением, убедившись, что есть люди победнее их. Если бы на свете не было бедных, все бы были бедны. Запишите, сударь, и это.

Нищий встал. Поднялся и Артур Сукатинек. Странное у него было самочувствие. Что он мог сказать? Он даже не нашел нужных слов и только чуть заметно улыбнулся. Понимай, как знаешь.

— Выходит, что вы такой же полезный и достойный уважения гражданин, как и любой другой... Пожалуй, еще придется извиниться перед вами.

Нищий пожал плечами.

— Вряд ли вы это сделаете. А теперь отоприте дверь. Ключ у вас в том кармане.

— И вы не намерены переменить... профессию?

Нищий снова пожал плечами. Чисто джентльменская манера не отвечать на вопросы.

— А вы можете переменить?

Он был уже у дверей и торопливо обматывал тряпками ногу. Пощупал колено и покачал головой.

— Натер. Вероятно, мало подложено. Завтра эту чертову деревяшку придется привязать к другой ноге... Будьте так добры, помогите затянуть этот ремешок. Немного потуже. Так. Спасибо.

В дверях он обернулся. Теперь это был прежний старик с шишкой на затылке, с черной повязкой на щеке, с робкими, просящими глазами.

— За задержку, сударь, не изволите ли какую мелочь?.. Три рубля? Спасибо, спасибо!

Обернулся еще раз.

— Так вы полагаете, что доктор Фрейденфельд больше не живет на третьем этаже? То-то я не вижу его больше на нашей улице.

Артур Сукатниек постоял немного у закрытой двери. Вот на площадке стукнули к соседям. Нищий запел плачущим голосом:

— Подайте копеечку бедному калеке...

Артур Сукатниек медленно возвратился к письменному столу и сел. Облокотился на страницы своей рукописи. Сжал ладонями виски и задумался.

1923

ЖУРДАН И БИГОНЕ

Из хроники авиньонского летописца патера Рауля

А было это в прекрасном, воспетом Петраркой Авиньоне осенью 1791 года.

Четырнадцатого сентября Национальное собрание в Париже решило присоединить Авиньон вместе с Венессенским графством, сославшись на старинные права Франции и особливо на голоса самого населения. Каковы в действительности были эти голоса, об этом лучше всего говорит письмо Его Святейшества Папы владыкам Европы:

«Права Святого Престола на Авиньон и графство доселе еще никто не осмеливался оспаривать. Людовик XIV и Людовик XV, неоднократно завоевывая их, никогда не дерзали присоединить эти владения к Франции, а возвращали Святейшему Отцу назад. И само Национальное собрание в 1789 году, когда впервые обсуждало это дело, после долгих прений единогласно признало права Его Святейшества, зиждущиеся на священных основах, применить кои единственно в воле Господа. Еще трижды после того Национальное собрание рассматривало вопрос о присоединении и каждый раз отвергало его. Пока наконец 14 сентября, воспользовавшись отсутствием наиболее разумных и добропорядочных депутатов, безбожные безумцы постановили свершить неслыханное разбойное деяние — присоединить Авиньон и графство к Франции, отнюдь не испрашивая на то согласия своего Государя — Его Королевское Величество. Так обстоит дело с правами, на основании которых у Святого Престола было похищено его достояние, коим он владел пять веков. И так называемое народное голосование всего лишь хитрая уловка и ложь, на что способны только эти отверженные Господом преступники и грабители. Всем известно, что для достижения своей цели Собрание не постыдилось послать в упомянутую область войска и что это вторжение, против которого Его Святейшество

тщетно неоднократно протестовал, послужило только средством, дабы свершить более того ужасные преступления, учинить волнения и мятеж и отнять и присвоить собственность и, поправ все Божьи и человеческие законы, разрешить и даже поощрить воровство, грабеж, убийства и прочие ужасающие варварские злодеяния. Город Карпентра пережил четырехкратную осаду, в Кавальоне произошло кровопролитие, Сарияна сожжена, остров Сериньян разграблен. Гарнизоны, которые комиссары оставили в тех местах, где сочли нужным, наводили ужас на всю провинцию. Когда чернь, подстрекаемая присланным от Собрания Агитатором, подняла в июне 1790 года знамя мятежа, дворяне и часть иных наиболее состоятельных и добропорядочных жителей, видя себя в поругании и гонении, вынуждены были бежать и покинуть город на убийства, кровопролитие и разграбление. Оставшиеся честные подданные были брошены в тюрьмы, подвергнуты ужаснейшим притеснениям и лишены возможности свободно употребить свои голоса. Разбитая под Карпентра вооруженная банда оставила Авиньон, но власть захватила шайка грабителей, разбойников и убийц. Агитаторы Собрания не стеснялись использовать самое последнее подкупленное ими отребье, чтобы добиться своей цели и проголосовать за добровольное присоединение Авиньона к Франции. Но беглецы, которые, по своему сословию, числу и имуществу, составляли большую и лучшую часть народа, считали своим святым долгом неустанно клясться Его Святейшеству в своей несокрушимой преданности и покорности и слали к Нему представителей с торжественными заверениями, что они хотят жить и умереть только верными подданными Святого Апостольского Престола».

Вот что касаемо письма Его Святейшества европейским государям. Дольше мы не можем останавливаться ни на нем, ни на других документах, из коих еще лучше явствует, сколь постыдным выглядело это присоединение Авиньона и Венессенского графства. И это только одно из длинного ряда преступлений, которые парижские насильники совершили против всех Господних и человеческих законов и без ведома своего Короля Людовика XVI. Упомянем лишь, что в Национальном собрании все больше начали проявляться крайние бесчеловечные тенденции и наиболее благоразумная часть депутатов постепенно утратила какое-либо значение. Только с большими мучениями ей еще как-то удалось обратить внимание Собрания на жалобы Святейшего Отца и состоятельных, лучших жителей на все неслыханные бесчинства и прочие бесчисленные страдания обывателей.

В то время в Авиньоне главарем демократов был некий Лекье. Купно со своим верным подручным, бывшим мясником Журданом, они заделались генералами среди черни и принялись неописуемым образом угнетать состоятельных жителей города. Различным унизительным поборам не было конца — не говоря уже о налогах, которые то и дело должны были платить лучшие граждане. Многие богатые люди сделались бедняками, многие из тех, что пытались противиться или только поднимали голос против варваров и грабителей, томились в городской тюрьме, в то время как чернь красовалась в награбленных дорогих одеждах и проводила время в обжорстве и пьянстве, хорошо зная, что присланные Национальным собранием Комиссары смотрят на все это сквозь пальцы.

Наконец мера народного терпения переполнилась. Граждане так озлобились, что только ждали подходящего момента, чтобы отомстить своим мучителям. И он настал 16 октября. Лекье, ослепленный своей властью и дерзостью, шел совершенно один домой из клуба демократов, где, вероятно, снова бражничал со своими приятелями. На узкой улочке он случайно столкнулся с группой лучших горожан, кои весь день работали на починке городской стены. Среди них был молодой Бигоне, ранее богатый торговец шелком и серебряными изделиями, ныне нищий человек, у которого было только то, что на нем. При виде главаря разбойников его охватил неудержимый гнев. Он сказал своим согражданам:

— Глядите, вон идет наш мучитель, правая рука парижских насильников. Долго ли мы будем терпеть — точно овцы, которых по одной гонят на заклание?

Но Лекье остановился и закричал по своей глупости:

— Это еще что передо мной за шатия! Трепальщики шелков, серебрильщики подков, захребетники! Вы что, забыли, что на улицах собираться запрещено? По одному! В ряд! Чтобы дух ваш не поганил этот свободный город и его свободных граждан!

Но Бигоне, трясясь от гнева, воскликнул:

— Господа! Станем ли мы ждать, чтобы он завтра снова пришел, отнял у нас последнее, а самих бросил в тюрьму? Вперед! Бейте этого пса!

Сам он первым кинулся вперед и схватил Лекье за горло. Его друг, священник Фальконет, поспешил ему на подмогу и отобрал у насильника шпагу и пистолет, которыми тот собирался обороняться. Тут подоспели и остальные и в ужасном гневе стали бить и пинать своего врага. Надо было видеть, как

этот негодяй, который в клубе бахвалился своим бесстрашием и силой, повалился на землю, вскочил и попытался вбежать сначала в одну, потом в другую дверь. Но напрасно! Все двери были заперты. В окна смотрели жены торговцев, старые седовласые господа и совсем маленькие дети, и у всех на лицах была сладостная радость отмщения. Лекье истошно завопил:

— На помощь, граждане! Журдан, на помощь!

Чтобы утихомирить его, Бигоне накинул ему на шею свой пояс и сдавил глотку. Как пса на привязи, потащил он его за собой. Остальные шли рядом и наперебой воздавали разбойному главарю по заслугам. Дети в окнах били в ладоши и показывали язык, когда он обращал к ним свое залитое кровью лицо. Дамы смеялись, когда он с мольбой простирал к ним свои руки с разодранными в клочья рукавами.

На церковных ступенях душегуб повалился. Никакие удары и пинки не могли поднять его на ноги. Дверь в церковь была открыта. Небольшая толпа верующих собралась молить Господа за Святейшего Отца и Его права и за то, чтобы Господь ниспослал геену огненную его недругам. Бигоне вытер со своего лба нечистую кровь и воскликнул:

— Ага! Он не хочет идти дальше. Он захотел вдруг попросить прощения у Богоматери, он хочет покаяться в своих грехах до того, как мы свяжем ему руки и ноги и кинем в реку. Пусть будет так!

И они втащили его по ступеням в церковь. Подтащили к изображению Девы Марии и швырнули на пол. Бигоне воскликнул:

— Молись, собака! Кайся в своих грехах Святой Богоматери, пока мы не отдали твою черную душу на добычу дьяволу и слугам его.

И разгневанные господа, богомольцы и сам священнослужитель на миг затихли, не желая мешать негодяю в его покаянии.

Но этот Богом отверженный и закоренелый убийца, который наверняка не знал ни Вольтера, ни энциклопедистов, ни прочих атеистов, открыл свой заплывший кровью рот и выкрикнул дурным голосом, который напоминал больше собачий лай:

— Плюю я на вас и на...

Его перекошенный взгляд хорошо выражал то, что он хотел сказать дальше. Чтобы предотвратить ужасное, неслыханное кощунство, Бигоне ударил его кулаком в рот. А когда негодяй покачнулся и упал на брюхо, вытянувшись ничком, то все собравшиеся снова накинулись на него, колотя и пиная, что он вполне заслужил. А Бигоне, выхватив у Фальконета шпагу

самого Лекье, ткнул его в спину так, что конец ее уперся в каменный пол. Затем они выволокли труп из церкви и бросили посреди улицы на растерзание собакам и воронам. Затем господа, а равно и богомольцы поспешили разойтись и укрыться в своих домах, ибо город поднялся на ноги, безбожный звонарь на колокольне звонил во всю мочь, и чернь уже собиралась в грозные полчища.

Журдан и его свора поздно узнали, что случилось с их другом и атаманом. Но к девяти часам вечера они уже собрались у трупа Лекье. Свирепые вопли, как будто издаваемые дикими хищниками, слышались в толпе, насчитывающей тысячи голов и возрастающей дальше. Со всех концов спешили туда вооруженные негодяи, размахивая кулаками, наполняя все улицы руганью, угрозами и звоном оружия. Все добропорядочные и уважаемые граждане заперли двери, завесили окна и укрылись в глубине своих домов. Одному седовласому старцу, который любопытства ради остался у окна, угодили камнем прямо в лицо. У обувщика Бисолата, который запер дверь, когда в нее пытался вбежать Лекье, разграбили лавку, переломали всю мебель, а самого его с бесчестьем извлекли и бросили в зловонную камеру городской тюрьмы. Труп Лекье положили на покрытые красной тканью носилки и с почестями, положенными только Королям и Кардиналам, пронесли в помещение Магистрата, где всю ночь возле него стоял почетный караул. Все обыватели, жены и дети, любой мог зайти посмотреть и зажечься безумной ненавистью к лучшей части граждан.

Но все это было лишь началом. Журдан созвал и вооружил всех своих людей. К ним тут же присоединилась та часть обывателей, которые поддерживали их партию. И после этого весь вечер и ночь длилась ужаснейшая резня. Журдан повелел запереть городские ворота, расхаживал со своей бандой по улицам и тут же приказывал хватать и волочить в городские тюрьмы всех, кто попадался на пути. Мужчин, законных и незаконных супруг, дочерей, сыновей — всех, без различия возраста и пола. Ночью же этих несчастных, совсем невинных прохожих он лишил жизни следующим зверским образом. Вызывал из камер по двое и, как только те оказывались на месте казни, срубал им саблей головы. Потом вонзал острый клинок в тело и всех, мертвых и еще живых, бросал на Швейцарское подворье. Таким ужаснейшим образом были умерщвлены больше восьмидесяти человек, среди коих были члены Магистрата и другие высокие лица. Преследование продолжалось и в последующие дни. Целые семьи были вырезаны в своих домах, и трупы их брошены

в реку Сорг. В бескрайнем отчаянии взирала законная супруга на мужа, погибающего от ножа варвара, дети жалобно молили оставить жизнь их матери, но ничто не могло тронуть каменные сердца закоснелых убийц.

Некоторые пытаются уверить, что Журдан сам не участвовал в этих ужасных деяниях, но все, что мы о нем знаем, не позволяет нам верить этим ручательствам. Во всяком случае, хорошо известно, что он не использовал свое влияние и власть, чтобы после первой ужасной ночи прекратить дальнейшее кровопролитие и спасти жизнь многих невинных людей. Разбушевавшаяся чернь самоуправствовала, покамест Журдан с его бандой занимался поисками своего злейшего врага Бигоне. Но молодой отважный торговец сумел так спрятаться, что его никак нельзя было найти. Напрасно подручные Журдана обшарили все подвалы и прочие укрытия, облазили всю ту улицу, где находилось жилище Бигоне, и стращали, а то и истязали, допрашивая всех его знакомых. Тогда Журдан пообещал пятьдесят луидоров тому, кто представит Бигоне живым или мертвым. Это сообщение было расклеено на всех городских воротах, на базарной площади, у церквей и колодцев, а друг Журдана, печатник Турналь, целую неделю печатал это сообщение в своей газете. Но все было напрасно. Бигоне не объявлялся. Разъяренной банде оставалось только вымещать свою злость на невинных людях. Это они и делали, и посему мы никак не можем оправдать Журдана, как не могла это сделать и лучшая часть авиньонских обывателей.

Десять дней подряд длились эти злодеяния Журдана в Авиньоне. Аббат Мило, как Комиссар Короля и Национального Собрания сам наблюдал за всеми этими бесчинствами, но не пытался предотвратить их, хотя это было в его власти. Несмотря на многократные мольбы, он не хотел отдать приказ стоящему недалеко от города войску навести порядок. Посланные Авиньоном депутаты пожаловались на него Национальному Собранию. Наконец 26 октября три новых французских комиссара, прибыв в Оранж, объявили о своих полномочиях по передаче города и всех окрестных земель под французское управление. В городе началось великое ликование. Люди кричали: «Да здравствует Король!» Все безгранично радовались, что наконец-то ужасы кончились.

Вскоре за новыми Комиссарами Национальное Собрание прислало и воинский корпус под командованием господина Шуази. Седьмого и восьмого ноября господин Шуази со своими солдатами вошел в Авиньон. Тогда весь народ в один голос стал

требовать отмщения негодяям. Комиссаров окружила целая стена жалующихся и молящих. Одни требовали освободить их арестованных друзей и родных, другие оплакивали утраченных родителей, детей и братьев. Всюду царило глубокое горе и великий гнев. Кто бы мог не посочувствовать этому? Комиссары немедля приказали закрыть городские ворота и после этого, в ночь на 10 ноября, небольшие группы солдат в сопровождении горожан ходили, арестовывая преступников. Среди многих прочих попался друг и помощник Журдана, печатник Турналь, который спрятался в трещине городской стены. Теперь этот величайший смутьян и горлопан притих. Стиснув зубы, сносил он все удары и пинки, которыми почтенные граждане угощали его полной мерой. Тараща глаза, смотрел он по сторонам, словно на вечные времена старался запечатлеть в памяти тех, кто вел его в тюрьму. Когда некая дама швырнула ему в лицо грязью, он даже не счел нужным утереться, а сказал Комиссару:

— Скажите же вы этой свинье, что во Франции грязь предназначена для нее самой, а не для граждан.

Любой может представить, что Комиссару лишь с трудом удалось сдержать почтенных господ, чтобы те не ответили на выходку наглого мерзавца.

Бигоне тем временем лежал в сарае рыбной торговки, матери своей любовницы Жозефины Бертье. Он не знал, что Жозефина оказалась ему неверна и в насмешку спуталась с адъютантом и секретарем Журдана, Колченогим Леонардом, как его звали в городе. Бигоне лежал в соломе, под связками копченой рыбы, за пустыми корзинами, и удивлялся, почему не идет Жозефина. Мать пошла узнать, куда подевалась дочь, и Бигоне уже вторую ночь не знал, что это в городе за шум. В щель он мог видеть только заброшенный, замусоренный, заваленный разным хламом и заросший сорняком двор. Окраинная улочка была далеко от домов, и туда редко забредали люди. Но с рассветом он услышал приближение большой толпы, и там явно раздался голос его друга Бисолата, который кричал: «Да здравствует Король! Хватайте негодяя Журдана!» В неописуемой радости Бигоне выскочил на улицу и спустя минуту уже знал приятную весть об освобождении города, а также неприятную — о неверности Жозефины. Жозефину он пока что тут же велел арестовать, хотя она и сопротивлялась, царапалась и кусала солдатам руки, а Журдана решил найти живого или мертвого.

От друзей и знакомых он смог узнать только то, что Журдану удалось выбраться из города. Но, зная его злодейский нрав, он был уверен, что тот далеко не убежит, а спрячется где-

нибудь поблизости, чтобы выждать, не изменится ли обстановка, а тогда возобновить свои пагубные деяния. Выпросив у господина Шуази двадцать четыре всадника, Бигоне отправился с ними искать жестокого врага Господнего и человеческого.

Нелегко далось ему напасть на след коварного злодея. Сбитые с пути и подговоренные бедные земледельцы, очевидно, держали сторону Журдана. Но Бигоне был не такой человек, который уступил бы упрямому и придурковатому крестьянину. Где не помогали ум и деньги, там шли в ход хлыст и рукоятка пистолета. Таким образом было открыто убежище Журдана, в трех милях от Авиньона. На другой день после обеда он был со всех сторон обложен в густом кустарнике на берегу реки. Не видя другого выхода, прыткий пройдоха бросился вплавь. Но Бигоне был не менее ловок. С четырьмя отборными всадниками он кинулся за ним следом и нагнал на середине реки. Бигоне крикнул ему:

— Сдавайся, прохвост! Ты же видишь, что бежать напрасно.

Но у мерзавца даже и тут хватило наглости возражать. Он оглянулся, и в руке его появился пистолет.

— Солдатам Франции я всегда сдамся. Но пуговичники и убийцы пусть ко мне не прикасаются.

Разгневанный такой наглостью, Бигоне кинулся на него. Журдан приберег заряженный пистолет, чтобы в последний момент пустить себе пулю в лоб. Но тут ему пришло в голову, что лоб Бигоне шире и попасть в него легче. Он выстрелил, но лошадь, увлекаемая потоком, рванулась в сторону, пуля прошла мимо, задев только шляпу Бигоне и вырвав порядочный клок волос. Бигоне и его спутники навалились на Журдана, стянули с лошади, отняли пустой пистолет и нож, а самого вытащили на берег. Там остальные всадники уже взяли в кустах адъютанта и секретаря Журдана, Колченогого Леонарда, как его звали в городе. Связали их сначала по отдельности, потом вместе и с превеликой радостью погнали назад в город. Журдан, поелику он был закоренелый негодяй, шел вскинув голову, а Леонард из-за своей короткой ноги оступался, падал и увлекал за собой хозяина. Бигоне горел нетерпением уложить их обоих тут же, при дороге. Но командир всадников не позволил. Ему было приказано только арестовать, но не казнить злодеев. Комиссары расследуют вину каждого и накажут по решению Национального Собрания.

Такого ликования Авиньон давно не переживал. Когда всадники со своими пленниками въехали в ворота, огромная тол-

па преградила им дорогу. «Да здравствует Король! Да здравствует наш спаситель Бигоне!» — такие возгласы раздавались из тысяч уст. Но командир всадников угрюмо молчал. Он тоже был из тех обманутых, которые ставили Национальное собрание выше попираемого им Помазанника Божия Его Королевского Величества Людовика XVI. Он приказал и своим всадникам охранять плененного изверга, иначе бы тому не спастись от праведного народного гнева. Но он не мог воспрепятствовать тому, что возрастающая толпа всячески поносила и бесчестила убийц, дети и старцы плевали им в лицо, добродетельные супруги из окон забрасывали гнилыми плодами и лили сверху помои и даже кипяток, а мужчины швыряли под ноги битое стекло.

В тюрьме Колченогий Леонард сказался больным и велел позвать лекаря. Но тот смог обнаружить лишь шесть незначительных порезов на хромой ноге и четыре точно таких же на здоровой, десятка два синяков на тщедушном его теле и два ошпаренных места — одно на затылке и другое — на левом локте. Все прочее относилось только к одежде, но это было уже не дело медицины, и врач мудро посоветовал позвать заодно и портного. От всех хворей врач прописал Леонарду строгую диету — полпорции хлеба и полную порцию воды и сон на голом полу, без соломы, простыни и одеяла. Журдан же в своей беспредельной дерзости сказал врачу:

— Благодарю, синьор. От укусов вшей мне лечиться не надо, а занозы я вытащу и без вашей помощи.

К Бигоне он просто повернулся спиной, а командиру караула сказал:

— Я буду отвечать только Комиссарам Национального собрания. С пуговичниками буду иметь дело, когда на Рождество стану шить новый кафтан.

Оскорбленный и задетый Бигоне ушел, чтобы продолжать поимку остальных негодяев. На другой день его славные деяния были увенчаны новыми победами. Он нашел бывшего генерал-майора разбойной армии Пеишавена, который скрывался в одной усадьбе, в двух милях от Авиньона, в стоге сена. При нем, так же, как при остальных злодеях, нашли богатую добычу, большую сумму денег, много серебряной посуды, что было, разумеется, отнято вместе с принадлежавшим и самому грабителю. Поиски неустанно продолжались, чему помогали богатые, пострадавшие так же, как горожане, земледельцы. К чести господина Шуази, награжденного благодарностями тысяч горожан, число арестованных уже в первые три дня превышало сто пятьдесят человек.

Жители Авиньона сгорали от любопытства и нетерпения, каким же образом будут казнены злодеи. Однако большинство из последних проявляли непонятное безразличие и не сомневались в благоприятном для них исходе дела. Никто из них не признал себя виновным. Все якобы только исполняли приказ другого убийцы. Даже за злодейские дела 16 октября, план которых уже к вечеру был разработан на собрании в клубе, им в случае надобности было обещано заступничество. У всех были соумышленники, а среди них и сам воинский Начальник господин Ферье. Журдан открыто признался, что во всем действовал с ведома Комиссаров Буше, Камоса, аббата Мило и других. От этого последнего Национальное собрание потребовало ответа, и он поспешно отправился в Париж.

Обеспокоенный медленным ходом дела и, в особенности, не в силах дождаться суда над своим величайшим врагом Журданом, Бигоне каждый день совещался с друзьями. Новые Комиссары Национального собрания держались весьма подозрительно. Увидев, как арестованные были препровождены в тюрьму, они отнюдь не разделяли народного ликования, а жили в скрытном уединении и даже не допускали к себе лучших и богатейших горожан и членов Магистрата. Можно было подумать, что они умышленно затягивают расследование деяний убийц и грабителей и выжидают, чем кончится поездка аббата Мило в Париж. Даже герою Бигоне всего лишь раз, подкупив солдат, удалось попасть к ним. Но вскоре же выйдя оттуда, он не сказал ни слова, только долго и задумчиво сидел в своем жилище. И он, и вся лучшая часть обывателей с большим удивлением увидели, что через несколько дней выпущенная из тюрьмы дочь рыбной торговки Жозефина снова, задрав нос, ходит по городу, так же как и многие из менее значительных негодяев.

Но Бигоне был не тот человек, который легко сдается и успокаивается. Поговорив с друзьями, он начал часто посещать господина Шуази, который с самого начала держался благосклонно к лучшей части городских жителей, хотя открыто выступать против Комиссаров не осмеливался. По приказанию Бигоне состоятельные граждане стали приносить господину Шуази и его офицерам лучшее, что у них имелось из снеди и прочих припасов и доставляли им различные приятства и развлечения. По ночам в их квартирах звучали песни и музыка, а с утренними сумерками прекрасные дамы и девицы, опьяненные вином и любовью, бросали еще с улицы обратно в окна поцелуи бравым освободителям Авиньона и своим покорителям. Так, благодаря всему этому, удалось добиться, что Бигоне как

представителю от граждан, было разрешено принимать участие в надзоре над арестованными грабителями, которые находились в ведении господина Шуази. И Бигоне делал все возможное, чтобы эти мерзавцы в тюрьме не обжирались и не становились слишком заносчивыми. Дабы облегчить Комиссарам следствие и судопроизводство, он собрал от жителей все, кто что знал или слышал от других о бесчинствах убийц и грабителей, и велел своему секретарю Фальконету написать на каждого отдельное обвинение. Никто не удивился, когда он с присущим ему рвением собрал все, что знал сам и что обыватели могли поведать о кровавых злодеяниях разбойного атамана Журдана. Пять больших листов Фальконет исписал сплошь, но кто может ручаться, что там была вся правда или перечислено все, где этот зверь в образе человека преступил Божьи и человеческие законы? Пользуясь благорасположением господина Шуази и подружившись так же с Командиром караульных солдат, Бигоне со своим секретарем мог попадать в ту камеру, где этот архиграбитель трепеща ожидал стократно заслуженной им казни.

Журдан сидел на каменном полу, привалившись спиной к стене. Над головой, под самым потолком, было зарешеченное окно, сквозь которое, если встать на небольшой табурет, можно было видеть кусочек синего неба. В камере уже был сумрак. В углах шмыгали крысы. У Бигоне даже сердце дрогнуло от радости при виде того, в какую ужасную, смрадную дыру брошен его ненавистный враг. Он подошел ближе и с удивлением увидел, что этот закоснелый злодей совсем не молит Бога, каясь в своих грехах, а занят тем, что полой кафтана начищает пряжки на башмаках. Оглянувшись и увидев, что караульный солдат остался за дверью, Бигоне, возвысив голос, сказал:

— Я Бигоне, уполномоченный Комиссара Его Королевского Величества и воинского Начальника господина Шуази. Именем Его Величества я приказываю тебе встать и остаться стоять.

Но главарь убийц остался в прежней позе, только принялся за другую пряжку. И ответил:

— Его Величество само обязано вставать перед Национальным собранием. Я слушаюсь только Комиссаров Национального собрания и их уполномоченных.

Это было огромным оскорблением. Но Бигоне не смел настаивать, не зная точных пределов своих полномочий. Поэтому он сдержал гнев и спокойно сказал:

— Я и уполномоченный Комиссара Национального собрания. Прошу встать.

Тогда Журдан встал и остался стоять. И Бигоне испытывал большую радость от того, что тот не смеет перед ним ни сесть, ни прислониться к стене. Сам он с надлежащим достоинством сел на табурет и, вытянув ноги, как будто неумышленно опрокинул кувшин с водой, принесенной на ночь и на следующий день. Вода облила Журдану ноги, но и тогда он не посмел шелохнуться и продолжал стоять в луже. И Бигоне, восседавшему на табурете, показалось, что он и впрямь уполномоченный Комиссара Его Королевского Величества и Национального собрания с неограниченной властью и положением. Стоящий перед ним в луже воды Журдан казался ему столь же ничтожным, как какая-нибудь козявка или блоха, которую можно просто раздавить ногтем. Поэтому в его фигуре и голосе была такая отвага и достоинство, которые убедили бы любого, но не такого закоренелого негодяя, как Журдан.

— Ты, Журдан, предводитель авиньонских грабителей и убийц и величайший враг всех порядочных и достойных людей. Ты признаешь, что это ты и есть?

— Нет, не признаю.

— Признáешь. Я тут велел описать все бесчинства и преступления, которые ты совершил. Число твоих дел столь велико, что ты и сам их не сможешь вспомнить, когда придется отвечать перед судом. Но чтобы ты мог все же обдумать и знать, что отвечать, я велел Фальконету поработать за тебя. Ты хоть признаешь, какое у меня доброе сердце?

— И это не могу признать. Доброе сердце никогда не находится купно с такой дурной головой, как у тебя. Я легко могу перечислить, что я совершил. Авиньонские бабы все считают в десятикратном размере. Где у тебя написано десять, я вижу единицу.

Ужасно разгневавшись на такую наглость, Бигоне только смог махнуть Фальконету рукой. Тот развернул свои желтые листы и прочитал, из-за темноты с трудом разбирая строчки.

«Нижеподписавшиеся сто сорок восемь авиньонских граждан, ранее верные подданные Его Святейшества Папы, а ныне еще более преданные обыватели Его Королевского Величества Короля Франции Людовика XVI и созванного им Национального собрания, дворяне, торговцы, домовладельцы, земледельцы и честные ремесленники от имени многих других могут заверить и поклясться Высокочтимым Господам Комиссарам Его Величества и Национального собрания...»

Но Журдан перебил его, сказав:

— Я не признаю показаний, где много неправильностей. Я прошу их исправить, прежде чем они попадут в руки Комиссаров. Короля Франции Людовика Шестнадцатого больше нет, а есть Король французов Людовик Шестнадцатый. Не Национальное собрание созвано Королем, а сам Король отозван Национальным собранием. Не честные, а бесчестные ремесленники идут с дворянами, торговцами и домовладельцами.

Но Фальконет по мановению руки Бигоне продолжал:

— «...что авиньонский житель, незаконный сын уличной девки и неизвестного отца, бывший погонщик ослов и мясник, закоренелый убийца и грабитель, правая рука главаря проклятых демократов Лекье, Журдан совершил столько бесчинств и преступлений, что всех Божьих и человеческих казней мало для возмездия».

Воспользовавшись минутой, когда Фальконет искал следующую строчку, Журдан снова вставил свое:

— Тварь и негодяй каждый, кто осмеливается мою мать звать уличной девкой. И десятикратный негодяй тот, кто бесчестит уличной девкой женщину, которая вырастила сына. И еще фактическая неправильность. Всему Авиньону известно, что мой отец и соблазнитель моей матери виноградарь Бомон.

Фальконет читал дальше:

— «...мы можем клятвенно засвидетельствовать, что злодей Журдан шестнадцатого октября вечером со своими друзьями и подручными разработал план, по которому творились все ниже перечисленные деяния, в коих он в первую очередь повинен, не говоря уже о том, что он сам собственноручно убил всему народу известных и уважаемых граждан, чему многие из нас были очевидцами...»

Тут Бигоне сам не смог утерпеть и воскликнул:

— Что ты на это можешь ответить, мошенник?

И Журдан резко ответил:

— Ничего. На это ответят Комиссары Буше, Камос, Командир Фурье и аббат Мило.

Дальше Фальконет читал без помех, водя пальцем по строчкам, явно наслаждаясь своим стилем и почерком. В писании его перечислялись все те ужасные мучения, которые лучшие граждане Авиньона претерпели от Журдана или что они слышали от других. Перечислялись все те дома, которые по его приказанию были разграблены, и те драгоценности и деньги, кои были изъяты. Бигоне не сводил глаз со своего врага и в душе уже определял все те мучения, которые тому должно было перенести до утопления его в Сорге. И как только опре-

делил, так уже не мог дольше терпеть, вскочил и громовым голосом воскликнул:

— За все это ты отплатишь сторицей! Десять вертелов вот этими самыми руками загоню я в твое мерзопакостное тело.

И, видя, что Журдан стоит неподвижно, посчитал его совершенно потрясенным и перепуганным, и порадовался этому. Охваченный гордостью победителя, он обратился к нему и сказал:

— Я аристократ и великодушен, а посему даю тебе выбор. Куда ты хочешь, чтобы тебе привязали камень, к рукам или к ногам?

Журдан с минуту подумал, потом спросил:

— А какая глубина в Сорге в том месте?

Бигоне ответил:

— Шесть футов.

— Тогда лучше к ногам.

Бигоне удивленно спросил:

— Почему?

— Потому, что тогда я еще смогу высунуть из воды кулак и показать его тебе и всей твоей банде.

Сознавая свое могущество, Бигоне спустил мерзавцу и это оскорбление и великодушно сказал:

— Пусть будет так, как ты хочешь. И еще: сколько времени тебе нужно, чтобы отправиться на тот свет? За час успеешь покаяться в своих бесчисленных грехах?

Журдан ответил:

— В грехах каются те, кто умирает своей смертью. Грехи убиваемого остаются на совести убийцы. А мне достаточно полчаса, чтобы начистить пряжку на втором башмаке. Сколько сейчас?

Бигоне влез на табурет и взглянул на звезды.

— Сейчас одиннадцать.

— Стало быть, в половине двенадцатого я жду.

— Пусть будет так.

Бигоне ушел с намерением сразу поспешить к господину Шуази и выпросить у него разрешение сегодня же увезти опасного разбойника на берег. От этого изверга можно было ждать, что он придумает какую-нибудь уловку и ускользнет сквозь зарешеченное окно, минуя два ряда солдат. В городе его единомышленники и подручные еще не все схвачены. Все это Бигоне утверждал на свой страх и риск, желая предать чудовище легким пыткам, что было тем с лихвой заслужено. Строптивость

и равнодушие безбожника страшно разгневали его, и руки просто горели от желания привязать камень к ногам безбожника. Если же господин Шуази не согласится, он собирался подкупить Начальника караула, чтобы таким образом заполучить Журдана.

Но оказалось, что обстановка за эти несколько часов переменилась. А случилось это таким образом.

Как мы уже знаем, Национальное собрание призвало аббата Мило в Париж для дачи ответа за то, что произошло в Авиньоне. Тот 19 ноября явился на вечернее заседание и прочитал свои объяснения. Многие почтенные депутаты требовали лишить его прав Депутата Собрания. Но остальные не поддержали их, и Мило, друг разбойников и главный виновник умерщвления безоружных людей, уселся среди законодателей Франции и сохранил высокое звание Депутата Национального собрания. Он, разумеется, не забыл о своих друзьях в Авиньоне, ожидавших в тюрьме справедливого возмездия за свои злодеяния, и, выхлопотав новый наказ Национального собрания Комиссарам, незамедлительно отправился в Авиньон.

Поэтому, спеша к господину Шуази, Бигоне с большим удивлением увидел, как чернь снова собирается в разбойные шайки. Так как на сей раз он был хорошо одет и всем известен, то намеренно держался темных обочин и таким образом благополучно достиг цели. Но там ему сказали, что господин Шуази сейчас находится у Комиссаров и что те получили приказ освободить арестантов. Поспешив туда, он встретил грубый отказ, был выгнан и, услышав угрозы, только благодаря своим быстрым ногам смог скрыться. Но на пути к дому ему все чаще встречались растущие толпы черни. Наконец сборище воинственно настроенных людей преградило ему дорогу, и чей-то хриплый женский голос закричал:

— Гляньте, вон идет этот негодяй Бигоне, ненавистный враг народного друга Журдана! Он не постыдился заключить в тюрьму женщину, которая его не выдала, а свою сестру привести к пьяным солдатам для их услаждения. Хватайте его, чтобы он не успел улизнуть!

Это была дочь рыбной торговки Жозефина со своей бандой. Бигоне не успел оказать сопротивления, как был схвачен, связан и притащен в городскую тюрьму. Только на какой-то миг он опомнился в темной, смрадной камере, где окно было под самым потолком, по углам пищали крысы, а посредине, рядом с черствой краюшкой хлеба, лежал опрокинутый кувшин, а от него к самой стене тянулась лужа. Глубоко потря-

сенный после изведанной радости, Бигоне упал на мокрый каменный пол и недвижно застыл. Как ни велико было его горе и как ни толсты тюремные стены, все же первое время он слышал вопли, подобные непрестанному звериному реву: «Да здравствует Национальное собрание! Долой тиранов и угнетателей! Да здравствует Журдан! Смерть Бигоне!»

Он не думал над тем, как могла произойти такая перемена. Слишком быстро это случилось, чтобы он успел все осознать. Не испытывал он ни унизительного стыда, ни страха перед ожидаемой местью варваров. Смрадные тюремные стены и темнота на какой-то миг сделали его маленьким и неспособным думать, страшиться и трепетать. В своей душе, рассудке и даже в теле своем он ощущал какое-то изменение. Если бы его спросили, он бы не смог сказать, кто он — народный освободитель и герой Бигоне или один из тех оборванцев, которые, по повелению Его Королевского Величества, третий год валяются в тюрьме и ожидают заслуженной кары. Столь чудесным манером преобразился он — словно оглушенный падением с большой высоты, словно провалившись сквозь землю и очутившись по другую ее сторону.

Ему казалось, что уже целое столетие лежал он так, испытывая странное преображение и предчувствие страшного будущего, когда его пробудил чей-то суровый голос:

— Я Журдан, уполномоченный Комиссара Национального собрания. Именем Депутата Мило я говорю: вставай, негодяй!

Ослушаться Бигоне не посмел, это ему и в голову не пришло. Он быстро поднялся на колени и увидел главаря авиньонской черни, атамана убийц и грабителей — Журдана с его секретарем Колченогим Леопардом, у которого был желтый свиток в руках. Леонард казался тщедушным и ковылял на своих хромых, изрезанных стеклом ногах, а Журдан выглядел угрожающе черным и огромным, как сам антихрист. Он продолжал кричать на Бигоне:

— Почему ты хочешь быть еще меньше, так что и ног твоих не видно? Вставай, мерзавец!

Бигоне не мог ослушаться. Он уже не был Бигоне, народный герой и спаситель Авиньона. Несчастный узник, перед которым Журдан выступал уже не как главарь убийц и грабителей, а посланец высшей власти, коему нельзя противиться. Он встал посреди лужи воды и действительно казался таким маленьким, что был еле виден в полоске лунного света, падавшей в окно. Журдан продолжал:

— Ты Бигоне. Признаешь, что это ты?

Бигоне не мог как следует отвечать, и заикался, причем ему казалось, что кто-то другой говорит его устами и его голосом:

— Я не знаю... Это я.

— Ты это еще узнаешь, и не раз. Признаешь ли, что ты предводитель авиньонских грабителей и убийц и сугубый враг всех достойных и уважаемых людей?

Бигоне пробормотал:

— Этого я не могу признать.

Но Журдан закричал:

— А придется, и это так же верно, как то, что я здесь стою. Комиссары Национального собрания не судят никого, чья вина не доказана и кто сам не признал свои преступления. Поэтому я прошу не задерживать меня. Сегодня мне придется иметь дело еще с восемьюдесятью такими же негодяями, как ты. Итак, начнем. Признаешь этот свиток?

Журдан присел на табурет, в то время как секретарь развернул перед Бигоне желтый свиток. Бигоне увидел, что это те самые пять листов, на которых Фальконет перечислил все злодеяния Журдана, а шестой подписан ста сорока восемью гражданами.

— Да, признаю.

— И признаешь, что здесь описаны все те преступления и прегрешения, которые ты совершил?

— Которые ты совершил. Это мы с Фальконетом написали.

— Чтобы нам с Леонардом долго не возиться. Ты знаешь, что он более ловок в ухаживании, чем в письме. Ему легче посетить в один день трех женщин, чем исписать один лист бумаги. Если ты сам этого не знаешь, то Жозефина может подтвердить. Вот только копии снимать он мастер. Взгляни, разве ты видишь здесь имя Журдана? Нет, не найдешь. Оно так искусно стерто, и имя Бигоне так ловко вписано на его место, что все ученые мужи Италии вместе с Папскими Кардиналами не заметят подделки. Ты, верно, захочешь доказать, что это мошенничество, такое же, как подделка долговой расписки или четвертого Евангелия. Но не сможешь. Клянусь пряжками своих башмаков, через полчаса ты признаешь, что здесь последняя буква написана тобой самим, а еще через полчаса сто сорок восемь граждан поклянутся, что показывали все это о тебе.

Бигоне ничего не мог ответить. Он угрюмо слушал и ждал, что этот безбожник скажет дальше. А Журдан продолжал:

— Итак, последовательно и по пунктам. Ты сын уличной девки и неизвестного отца, так? Твоя мать торговала виноградом, распятиями и своими ласками? Потом уехала с греком-вербовщиком в Константинополь, откуда уже не вернулась, подбросив тебя на порог к добрым людям, так? Ты воспитан ими из милости, и твоя мать, будь она сейчас здесь, вряд ли смогла бы сказать, кто твой отец, так?

Бигоне подумал минуту, потом тихо ответил:

— Нет, не смогла бы.

— Вот видишь, мы оба думаем одинаково. Но пойдем дальше, потому что времени у нас мало. Ты бывший погонщик ослов. Ты же не станешь запираться, что в своих торговых поездках из Авиньона в Геную, оттуда в Швейцарию и Богемию, с купленными товарами, а еще чаще с контрабандой, тебе часто приходилось не только сидеть на спине осла, но и погонять его? Я не хочу говорить о тех случаях, когда тебе самому приходилось быть ослом и получать удары. Я вижу, ты не хочешь признать, что был и мясником. Но это тебе не поможет. Мне кажется, я лучше знаю, кто мясник. Мясник тот, кто убивает быков, коз, свиней и птицу. А разве ты, хвастаясь своей силой перед госпожой Биссолат, не выхватил у мясника топор и не развалил быку лоб? И перед домом Комиссара сейчас стоят пять крестьян, у которых ты, держа меня в заточении, вместе со своей бандой зарезал коз, свиней и кур. Станешь отпираться в том, что сделал это?

Бигоне вздохнул и ответил:

— Не отпираюсь.

— И еще ты сугубый враг всех благопорядочных и честных людей и главарь грабителей и убийц, так? Кто эти добропорядочные и честные люди? Тот, кто ест им самим заработанный хлеб и пьет самим купленное вино. Кто порою ходит босой и в порванной одежде, а ночью спит где-нибудь возле городской стены или в подъезде, потому что не хочет резать кому-то глотку и опустошать карманы у господ из Магистрата и торговцев, которые поздней ночью, пьяные, возвращаются домой, у этих людей нет любовниц, жен хлеботорговцев, которые могли бы их приглашать каждую ночь к себе, когда мужа нет дома. Кто тебя видел с этими честными людьми? Ведь ты же всегда с торговцами, которые готовы лгать и клясться своим Господом и всеми святыми, лишь бы урвать с легковерного покупателя лишний луидор, так? Ведь ты же всегда пьянствуешь с богатыми домовладельцами, которые каждые полгода поднимают квартирную плату ремесленникам, ведь ты же играешь с дворянами, кото-

рые выжимают своих крестьян, как лимон, а корку выбрасывают на обочину, так? Ведь ты же все время был против Национального собрания Франции, которое провозгласило Свободу, Равенство и Братство, так? И ведь ты же со своими друзьями и родичами еще вчера кричал «да здравствует» Святейшему Престолу и его тиранам, которые угнетают и сосут из народа кровь, так?

Бигоне почувствовал себя сломленным и изнеможенным. Он не хотел, да и не мог противостоять сатанинской логике, которая говорила устами этого отщепенца и богохульника. Он только скорбно кивнул головой. Журдан продолжал еще увереннее и величественнее. И чем смелее и суровее говорил он, тем больше сникала отвага Бигоне.

— Теперь можно перейти к дальнейшим пунктам этих показаний и вытрясти твои гнусные преступления, как мешок с кровавыми тряпками, истлевшими костями и отбросами. Ты вечером шестнадцатого октября собственноручно убил известного всему народу и уважаемого гражданина, так? Лекье был известен народу и уважаемый гражданин. Он охранял всех, кого не охраняли деньги, богатые родственники и покровители. Он устроил приют для беспризорных детей и раздавал хлеб нищим. Потому-то они своими лохмотьями и устелили улицу, когда его носилки несли в Магистрат. Ты же, зверь и изверг, убил его, убил его же шпагой, в церкви, перед изображением Богоматери, так?

И, махнув рукой, он велел своему секретарю, Колченогому Леонарду, читать показания строка за строкой, лист за листом. И не было ни одного такого преступления из числа тех, что Фальконет приписал Журдану, чтобы этот одержимый дьяволом враг не исхитрился доказать, что оно совершено Бигоне, и чтобы хоть один из ста сорока восьми человек мог оспаривать или отрицать его. Бигоне слушал, уже не возражая. Ему казалось, что он, провалившись сквозь землю, очутился на другой ее половине, но продолжает погружаться дальше, в кромешную тьму и пустоту. Только тогда он слегка очнулся, когда богохулец в завершение взял из рук Леонарда показания, снова свернул их в трубку и со смехом ударил его ею по лицу.

— Признаешь, что ты все это совершил?

— Да, но и ты все это совершил.

— Твой Фальконет мог описать все это только потому, что ты привел ему перечень своих собственных грехов. Теперь твое имя значится тут, где было мое, и все в порядке, и все законно.

Бигоне подумал еще, но ничего не мог придумать и потому спросил:

— Но как это может быть?

Журдан усмехнулся и ответил:

— Если бы ты спросил меня раньше, я бы ответил: это судьба, игра везения и невезения. Может быть, я бы даже сказал: это случай — и мы ничего тут не можем изменить. Но ты же приверженец Папы и христианин. Каждый год ты жертвуешь десять лундоров на починку крыши своей церкви и десять на нужды Святого Престола и Небесного царства. Ты бы сам себе не поверил, если бы сказал иное, нежели: на то воля Божья. Ты же знаешь, что ни один волос не упадет без Его ведома. Моя пуля вырвала у тебя целую прядь как раз в том месте, которое госпожа Биссолат и Жозефина чаще всего гладили, так? А разве без Его ведома стоял бы ты в луже, а я здесь, сидя на табурете, читал бы список твоих злодеяний?

Бигоне нечего было на это ответить, но в душе он почувствовал, что за каждым словом его смертельного врага кроется правда. Журдан махнул Колченогому Леонарду, но потом задержался.

— Ты был согласен привязать мне камень к ногам. Великодушие за великодушие. А как ты хочешь?

Бигоне подумал минуту, и спросил:

— А как глубоко в том месте в Сорге?

Журдан ответил:

— Пять футов.

— Тогда лучше к рукам.

Журдан удивленно спросил:

— Почему?

— Потому что я не хочу доставить твоей банде удовольствие кидать мне в голову камни.

Журдан кивнул и сказал:

— Хорошо, я исполню твое желание. А сколько времени тебе понадобится привести свою одежду в порядок? Твои туфли в грязи, и на жилете оторвано несколько пуговиц.

Бигоне ответил:

— Нет, я бы хотел прочитать двадцать семь раз «Отче наш». Мне нужен час или немножко больше. Сколько сейчас?

Журдан, взобравшись на табурет, посмотрел на луну.

— Сейчас три.

— Стало быть, в четыре или немного погодя я жду.

В сознании своего могущества Журдан милостиво кивнул головой:

— Пусть будет так.

1923

Пастор Зандерсон поднялся с кушетки и подошел к окну. Под заплатанной кожаной обивкой прожужжала пружина — протяжно и сердито, будто пчела, не успевшая ужалить наступившую на нее ногу.

Долго и сердито смотрел пастор Зандерсон в окно. Оно было новое, чистое. Свежая желтая краска еще пахла олифой. Кусты сирени и вишни за насыпью траншеи закрывали склон горы, над которым уже не вздымались зеленые макушки деревьев. Влево от окна торчал остов обгоревшей груши, без коры, с белыми костлявыми пальцами-сучьями. Во всем саду — ни одного уцелевшего деревца. Большую часть их вырубили солдаты, а остальные сгорели, когда немцы подожгли усадьбу пастора.

По-прежнему несла свои воды Даугава. Только вид на нее теперь открывался шире — до древнего городища вверх по течению, а ниже — до самого местечка. На другом берегу лежала лодка. Какой-то крестьянин, сняв штаны, бродил по воде, все время нагибаясь, вероятно, отыскивал камни для новой постройки. Неподалеку на фоне темного соснового бора белели три домика. Среди развалин помещичьей усадьбы блестела крыша новой хибарки. Это постройки новохозяев. Вся равнина испещрена беловатыми и зелеными полосками ржи и яровых. Смешными казались эти маленькие делянки тому, кто привык видеть здесь сплошное помещичье поле, широко раскинувшееся от берега реки до большака.

Пастор Зандерсон пожал плечами и отвернулся от окна.

За стеной Аболиене гремела у плиты посудой. Она жарила пастору на обед курицу. Подойдя к голому столику, пастор забарабанил по нему пальцами. Да. Это не прежний письменный стол, с кнопкой звонка. Теперь приходится самому вставать и

звать или открывать дверь. Это не прежний кабинет с огромным, обитым зеленым сукном столом, книжным шкафом и миссионерскими картами на стенах... Всего-навсего бывшая комната для прислуги, неудобная и непривычно узкая, с единственным окном. В другом конце постоянно темно и как-то неуютно, сыро.

Аболиене, не постучавшись, приоткрыла дверь и, вытирая руки о передник, вошла в комнату.

— Уходить собираетесь, господин пастор? А курица скоро будет готова. До чего же она, проклятая, старая и жилистая. Абол пошел уже за третьей охапкой дров. Какие это Зельгисы бессовестные — за такую падаль тридцать рублей содрали...

И действительно, за стеной с грохотом упала охапка дров. Пол задрожал. Единственная чернильница подпрыгнула на столе, ручка скатилась с тетради и едва не упала на пол. Запахло дымом и прогнившим, сырым деревом.

Пастор нахмурил брови.

— Я немного пройдусь. Когда обед будет готов, позовите. Я буду тут же, на берегу.

Он хотел сказать — в саду, но вовремя спохватился: ведь сада уже не было. Об этом давеча, смеясь, напомнил ему Абол.

Однако Аболиене и не думала уходить.

— А как же нам с подливкой-то быть?.. Луку я у себя нарву. Сало тоже найдется. Но вот без сметаны не обойтись.

— Тогда возьмите у этих... новохозяев. У них ведь есть?

— У Зельгисов всего две коровы, а их пятеро едоков. Вот у Абриков можно бы: у них четыре коровы. Они молоко возят в местечко. Не знаю только, согласятся ли вам дать.

Пастор еще больше нахмурил брови.

— Ну, тогда попросите у Рудзитов.

— Нет уж, у Рудзитов я не стану просить. С Рудзитами мы в ссоре. Их мальчишки в мою козу камнями кидают. А сама хозяйка нынче утром меня облаяла,— я, ей-богу, такого еще в жизни не слыхала.

Пастор Зандерсон сам слышал это, лежа утром в постели. Часов в шесть разбудил его этот безбожный шум, а ведь он устал с дороги. Ругались самыми непотребными словами, даже его не постыдились. При этом Аболиене не отставала от Рудзитиене.

Пастор быстро отвернулся.

— Ничего, где-нибудь достанете.

Но, заметив, что Аболиене вовсе не торопится уходить, будто ждет чего-то, живо сообразил:

— Ага, вам, вероятно, опять нужны деньги?

— Да, господин пастор. Теперь без денег ничего не получишь.

— И не надо, милейшая Аболиене. Мы за все заплатим. Ради бога, не берите ничего даром.

— Об этом и думать нечего, господин пастор. Здесь вам никто ничего запросто не даст. Хорошо бы за деньги-то достать...

Пастор выдвинул ящик стола. Там лежали сегодняшние поступления — немного больше тысячи. Достал пятерку, но, видя, что Аболиене не спешит уходить, подал ей вторую и поднялся с раздосадованным видом.

— Ну теперь, думаю, хватит. Довольно с них.

Не слушая ее, он поспешил выйти.

Вся выгоревшая и полуразрушенная половина дома оставалась в том же виде. Дорожку перед входом расчистили как попало, приходилось шагать прямо по битому кирпичу, известке, углям и еще огибать рухнувшую стену столовой. Вместо порога привалили большой камень, не потрудились даже ступеньки сделать.

Сердито вытирая о траву лаковые ботинки, пастор Зандерсон оглянулся. Большой каменный дом стоял как привидение. Закопченные стены, зияющие неровные проемы окон и дверей — неровные оттого, что бывшие арендаторы и нынешние новохозяева разбирали кирпичи для своих нужд. Небольшая часть дома была наскоро прикрыта пологой крышей из горбылей, над ней торчала железная труба. Там и обитали теперь пастор и Аболы. Из трубы густо валил серый дым.

Пастор подошел к глинобитному хлевушку. Постройку эту тоже предоставили ему, восстановить ее нетрудно... Крыша, потолок целы... А вот дверные навески выломаны. Последний гвоздик вытащили, последнюю железку подобрали...

Пастор почувствовал приступ сухого кашля — уже в третий или четвертый раз сегодня. Он отвернулся, окинул взглядом двор с жалкими следами зелени и все, что осталось от огибающей его аллеи. Вокруг клена, на котором зеленел один лишь сук, метался привязанный теленок Рудзита.

Мальчишки с криками гоняли по аллее обручи. Из домика арендаторов — ныне новохозяев — вышли разряженные Ян Абрик и Мила Рудзит. Он — в сером френче, брюках галифе и обмотках. Она — в белой блузке с короткими рукавами, в короткой юбочке, белых чулках и туфлях. Ветер отдувал подол, и из-под него бесстыдно выглядывала нижняя юбка. Они шли, о чем-то

разговаривая, и умолкли на мгновение, лишь когда поравнялись с пастором. Ян Абрик поздоровался с ним, небрежно дотронувшись рукой до козырька фуражки. Мила Рудзит посмотрела на пастора долгим взглядом, и ему показалось, будто в глазах ее мелькнула насмешка. Перебраниваясь с мальчишками, они пошли по аллее. Видимо, на спевку. Сегодня культурное общество устраивало гулянье.

Проходя двором, пастор старался не смотреть и все же видел постройки новохозяев. Стоило только пройти мимо, и взгляд сам направлялся в ту сторону, как ни противно было на душе. Новая, лишь в прошлом году покрытая дранкой крыша, три красных трубы. Шесть окон, на одном из них занавески. Это окно Рудзита. За занавеской фикус и какие-то цветы. Новохозяева...

За хлевом он увидел Зельгиса, который только что подъехал на фуре к стогу клевера. Погода сегодня ясная, сухая. Эка важность, что воскресенье! Эка важность, что пастор дома и в пять часов совершит в школе богослужение. Ведь у новохозяев много дел посерьезней... Дойдя до конца поросшей ольхой канавы, пастор увидел, что навстречу ему идут Абрик и его жена с граблями на плечах. Наверное, косили сено в низине. День выдался погожий. Эка важность, что сегодня воскресенье и пастор дома...

Пастор поглядел направо, налево. Поздно, уклониться от встречи невозможно. Он остановился и стал смотреть за реку, на поле яровой пшеницы.

Абрик с женой переглянулись. Жена, задрав нос, молча прошла мимо и даже не взглянула на пастора. Абрик слегка прикоснулся к шляпе, делая вид, будто здоровается, но только сдвинул ее набок, а грабли переложил на другое плечо. Однако остановился.

— Прогуливаетесь, господин Зандерсон? Да, теперь, конечно, можно. Траншею мы засыпали. А то раньше тут скотина ноги ломала... Только не ходите в ольшаник, там везде колючая проволока. А где крапива и хмель — там блиндажи были. Сущая преисподняя! Будь мы как люди, давно бы сговорились и поработали дня два сообща. Скоро оттуда змеи начнут выползать.

— Кому участок достался, тот пусть и засыпает.

— А почему одному достались траншеи, а другому нет? Почему я один должен засыпать — нешто я хуже других? Я их нешто выкопал? Я один доски оттуда таскал? Как за материалом — все тут как тут, а засыпать — мне одному. Нешто это дело...

Пастор протер очки и опять нацепил их. Пальцы у него двигались слишком торопливо.

— И всегда-то вам плохо, Абрик, ничем вы не довольны. А ведь вам досталась лучшая земля.

— Лучшая земля... Какая это лучшая... Еще один участок — туда-сюда. А что на пригорке — не растет там ни черта. Сплошная глина — в сушь хоть молотком ее разбивай.

И каждый посмотрел на поле густой яровой пшеницы, словно угадав, о чем думает другой.

— Пшеница у вас превосходная, Абрик. Один белый хлеб будете есть.

— А вам досадно?

Пастор снова потянулся за очками, но сдержался.

— Нет, мне не досадно. Я никогда никому не завидую, я всем желаю добра. Если кому причитается по праву и справедливости.

— А мне не причитается? Я слыхал, вы собираетесь оттягать у меня этот участок?

— Потому что он принадлежит мне — по праву и справедливости.

— Чудная это справедливость. Я двенадцать лет платил вам, а до вас Арпу, аренду за этот глиняный бугор. А теперь, когда у меня появились эти четыре пурвиеты, на которых кое-что растет, вы норовите оттягать их у меня. Это называется по праву и справедливости. Только ничего у вас не выйдет. Центральный комитет утвердил, и участок мой.

— А я обжаловал решение в сенат.

— Вон что! Хорошо — нечего сказать. А еще пастор. Вам надо было на адвоката учиться. Барышник бы из вас хороший вышел!

Пастор Зандерсон больше не слушал. Он был уже возле развалин погребицы, однако остановился, перевел дух, лишь когда его заслонили кусты бузины. От возбуждения дрожали руки, сердце учащенно билось. Кровь стучала в висках, а он все еще слышал, как Абрик, проходя по двору, бранился на чем свет стоит.

Вот каково теперь приходится пастору... И это здесь, где он в течение восьми лет был полновластным господином и повелителем. Тогда Абрик и ему подобные заходили к нему без шапки и умоляли об отсрочке арендной платы... И это те самые люди, на которых он с церковной кафедры метал громы и молнии, а они стояли, склонив головы, в ожидании милостивого слова.

Из дому вышел Абол. Заметив пастора, он помахал рукой и заковылял к нему по камням и грудам обломков.

— Господин Зандерсон, идите же, вас ждут.

Но пастор не спешил. Пусть подождут, если он им нужен. Раньше, бывало, стоило прихожанину прийти на пятнадцать минут позже положенного часа, и он не принимал его... Пастор глядел на хромого Абола, и гнев подымался в нем, как на дрожжах. И зачем только он нанял этого пересмешника и безбожника? Десять пурвиет каждый бы согласился обработать... И раньше-то этот колченогий не называл пасторшу барышней, а теперь и его самого, по примеру Абрика, называет не господином пастором, а по фамилии.

Подошел, даже рук не вынул из карманов...

— Там пришел Озол со своей, так сказать, женой.

Пастор знал, кто такой Озол, знал и зачем он пришел. И все же переспросил, чтобы не смотреть на Абола:

— Что им надо?

Абол улыбнулся.

— Венчаться, чего ж еще.

При этом он хитровато прищурил глаза, словно хотел выпытать, что думает на этот счет пастор. Будто и сам не знает, что тот может думать об этом... Стоя к нему боком, пастор глядел на реку, на сосновый лесок. Терпеть не может он Абола: один сын у него в шестом году был сослан в Сибирь, другой — красноармеец — ушел вместе с большевиками. Только теперь пастор сообразил, какую он совершил глупость, предоставив этому безбожнику и бунтовщику работу и кров.

Оба направились к дому. Пастор даже спиной ощущал взгляд прищуренных глаз Абола.

— Вы не собираетесь строиться в этом году, господин Зандерсон? Долго мы будем ютиться в этом ласточкином гнезде? В сухую погоду еще ничего... Но когда дождь — во всех углах проливает. И без хлева не житье. Вам бы поросенка не мешало завести, да и мне без скотины невмочь. Сена для коровы можно тут же, по пригоркам, вдоволь накосить.

Пастор сверкнул глазами сквозь очки.

— Разрешение на лес я получил. Думал, что к весне вы срубите.

— Срубить недолго, вот только вывезти некому. Платить по сотне за дерево вы не хотите.

— Это выходит — четыреста за зимний день. Нет, так я не могу и не хочу. Это городские цены. Сплошная обдираловка.

— А задаром вам никто не вывезет... Теперь людям и

своих дел довольно. Уж если у вас не заработать... Вам ведь деньги легче достаются.

— Да, да... Я их лопатой огребаю, мне они прямо с неба сыплются... Не понимаю! Человек вы как будто неглупый, а говорите такую чушь. Мы живем в двух комнатах на Валмиерской улице. Знаете ли вы, где это? Знаете вы, сколько мне приходится платить за обучение сына? Дочь служит в Риге в почтовой конторе. Жене надо бы поехать в Кемери, а ничего не получается — нет средств.

— Н-да, Кемери, взморье,— вторил ему Абол,— для нас по теперешним временам дороговато. Пусть уж едут те, кому не нужно отстраиваться.

И этот человек еще смеет насмехаться. У пастора на висках вздулись синие жилки. Он больше не слушал. Ускорив шаги, добрел по тропинке до полуразрушенной части дома, открыл и захлопнул за собой дверь.

Озол и его, так сказать, жена уже стояли перед столиком и поздоровались с ним. Пастор слегка кивнул головой и сел. И только тут он заметил, что Аболиене начала собирать на стол. Тарелка, нож, вилка, глиняная чашка с подливкой, нарезанный ломтиками черный хлеб... Как все это не вязалось с тем, что ему предстояло сейчас делать и говорить!

Дверь приотворилась, и на пороге показалась Аболиене с дымящейся миской в руках.

— Подождите! Немного попозже!..— Пастро протер уголком носового платка очки — как всегда, когда у него начинали дрожать руки и стучало в висках. Взглянул без очков на Озола и его, так сказать, жену.

В наружности Озола не было ничего примечательного. Но женщина... Пастор проворно нацепил на нос очки. Поразительно, до неприличия пропорционально сложенная, стройная фигура. Неподобающе красивое для крестьянки, свежее лицо. Круглый вырез блузки открывает загорелую шею... Даже роза на высокой груди... И ни малейшего признака стыда или раскаяния ни на том, ни на другом лице!

— Я слышал... Вы хотите повенчаться?

— Да, господин пастор.

Отвечала женщина — просто, не колеблясь, не задумываясь. Карандаш быстро завертелся в руке пастора.

— Так, так... Я слышал, у вас есть дети?

— Да, господин пастор. Двое. Одному уже три года, другому восемь месяцев,— отвечал Озол, а его, так сказать, жена добавила:

— Тринадцатого июня ему исполнилось восемь месяцев.

— Так, так. Я слышал... Но почему вы обратились ко мне? У вас, вероятно, другие взгляды.

Они переглянулись. Озол кашлянул.

— Мы бы не стали вас утруждать. Мы ведь зарегистрированы. Да вот старики все пристают. Ну вот, чтобы им приятно было...

— Так, так...

Карандаш черкал по бумаге. Пастор задавал вопросы, записывал и в то же время с удивлением наблюдал за собой. Как может он еще разговаривать с ними — и так спокойно разговаривать? Зачем он задает им вопросы, записывает что-то? В довершение всего Озол перебил его: сколько с них причитается за это... дело?

— Мы люди небогатые, много заплатить не можем. Лиелпетер, говорят, пятьсот рублей дал. Мы столько не можем.

У пастора хватило сил ответить даже на такую дерзость:

— По возможности, любезный, по возможности. У нас нет определенной таксы. Кто сколько может.

После этого они по очереди подали пастору руку.

— Извините, господин пастор, нам некогда. Мы ведь поем в хоре, и сегодня перед гуляньем у нас еще репетиция.

— Вы в хоре?

— Да. Лиза поет альтом, я — тенором. И тенор я, надо сказать, неважный. Страдная пора, и подзаняться как следует нет времени.

Они ушли. Пастор Зандерсон вскочил со стула, посмотрел им вслед. Пальцы нервно комкали синюю тетрадь. На лбу выступили мелкие капельки пота. И как он мог вот так отпустить их?.. Не высказать всего, что накипело в сердце, просилось с языка? Безбожник, при большевиках милиционером был... Им, видите ли, некогда... Тенор... Еще и руку подает. Он швырнул синюю тетрадь на стол.

В комнату снова вошла Аболиене с миской в руках.

— Пожалуйста, кушайте, господин пастор. А то еще придет кто-нибудь, и вы совсем останетесь без обеда.

Пастору пришло в голову, что она, верно, все время стояла у порога и подслушивала. И сейчас за дверью раздавались два мужских голоса — один из них Абола.

— Да, да, спасибо. И затворите дверь.

Но Аболиене не торопилась. Расставила посуду и деревянной ложкой помешала в миске подливку.

— Не взыщите, подливка жидковатая получилась. Да и

курица жесткая. Жулики, самую старую подсунули... Вот ваша пятерка, возьмите. Сметаны один стакан только продали, и то еле выпросила. Говорят, самим не хватает. У них сын из Риги приехал на гулянье, надо и с ним послать...

«Хорошо, хорошо»,— хотел было сказать пастор, но запнулся. Что же тут хорошего? Зачем он все время притворяется, обманывает самого себя? Он положил на тарелку куриное крылышко и начал есть. Но курица была невкусная. Полштофа сметаны и то не в состоянии раздобыть. «Самим надо...» Так вот как они теперь относятся к своему пастору... Кусок застревал в горле.

Дверь из комнаты Аболов снова отворилась. Вошел Рудзит — маленький, улыбающийся, с длинными приглаженными волосами, типичный крестьянин старого поколения. Поздоровался и остановился на почтительном расстоянии от стола.

Продолжая есть, пастор кивнул ему.

— Ну, что скажете, Рудзит?

— Да что сказать... Я просто так. Мне бы получить за лошадей. Абол три дня работал — ячмень вам посеял, известку возил. Вы, верно, знаете?

— Да. Абол говорил. Правда, сегодня воскресенье, и мне еще надо готовиться к проповеди. Ну да все равно. Я вижу, таковы уж у вас теперь порядки. А платить так или иначе придется. Мне даром ничего не надо. Сколько же вы там насчитали?

— Да что считать... Я ведь не гонюсь за заработком. Мне самому каждый час промедления в убыток. Вот только что у вас нужда сталась... Как-никак соседи...

— Хорошо, хорошо. Сколько же с меня?

Одной рукой пастор подцепил второе крылышко, другой выдвинул ящик стола и зашуршал бумажками.

— Ну, скажем так: на два дня брали пару лошадей — тысяча, на третий день одну — триста.

Пастор невольно задвинул ящик.

— Это выходит тысяча триста. А вы не обочлись?

— Чего же тут считать. Здесь все так платят. Учителю вон вспахал одну пурвиету и получил триста. А там всего-то на полдня работы. Это я только с вас... по-соседски...

— Что и говорить — по-соседски!.. Сколько же мне будет стоить обработка десяти пурвиет? Вы об этом подумали?

— Известно, дорого обойдется, когда нет своей лошади. А что теперь дешево? Знаете, сколько с меня взял кузнец за наварку лемеха?

Пастор промолчал. Да и что тут скажешь? Скорее отделаться от него... Он сосчитал все, что было в ящике, достал кошелек, взял оттуда еще две сторублевки и швырнул деньги на край стола. Тут же встал и отвернулся, ожидая, когда Рудзит пересчитает их. А тот считал долго и старательно, разглядывая каждую бумажку.

— Теперь в этих деньгах не разберешься. Возьмешь вдруг фальшивую — и прямо хоть бросай. Ну и денег вам надавали — одни лохмотья. И эта такая. И эта...

Одна десятирублевка была совсем разорвана и заклеена крест-накрест.

— Вот эту надо бы обменять, господин пастор. Вряд ли и номер уцелел.

— Я сам деньги не делаю: какие мне дают, такие и я даю. В Государственном банке вам обменяют на новенькую.

— Ну, куда нам в банки... Вам в Риге легче сплавить.

Наконец Рудзит собрал и пересчитал все деньги и пошел к двери. На пороге он опять остановился.

— Если думаете, что я беру дорого, идите к другим. Я за заработком не гонюсь. Мне и дома работы хватает. Я каждый час убыток терплю.

Второе крылышко пастор уже не мог осилить. Отодвинул тарелку и велел Аболиене убрать со стола.

Долго он перелистывал синюю тетрадь,— никак не мог найти набросок конспекта проповеди. Наконец нашел. Листок дрожал в руке, буквы прыгали перед глазами. Никак не удавалось уловить связующую нить.

До начала службы остался только час. А тут помешали два посетителя. Пришла старуха, по поручению которой он еще в тринадцатом году положил на книжку шестьдесят рублей. Потом бывший волостной рассыльный, у которого жена сбежала с помощником учителя... А что он может сделать для них? Что он вообще может сделать? Теперь на это есть соответствующие учреждения.

Пастор Зандерсон запер дверь и углубился в конспект. У него с давних пор выработалась привычка подробно продумывать и логически обосновывать проповеди. Будучи человеком идеи и разума, он никогда не вдавался в пустую риторику. Найдя нить, он сразу понял, что конспект никуда не годится.

Мало-мальски разузнав о здешних условиях, он направился сюда с самыми благими помыслами. Он намеревался и словами и делами явить пример всепрощения и миротворения там, где теперь царят рознь и несогласие. Хотел обуздывать грехов-

ные страсти и бросать семена Христовой любви в иссохшую землю. Как рачительный садовник, хотел он оберегать слабые ростки. И пусть другие после него увидят пышную зелень, роскошь цветения и изобилие плодов.

Но дольше терпеть нельзя... Каплю за каплей лили в его сердце горечь эти люди. Голова шла кругом от мучительных, тяжелых дум. Что ему делать среди этих унылых развалин, где успеешь переломать ноги, пока доберешься до порога? Что ему делать под этой жалкой кровлей, которая не может укрыть и от дождя?.. Даже пристойного жилища не удосужились приготовить для своего пастора. Полштофа сметаны не продадут... А он еще хотел действовать кротостью, проповедовать всепрощение и любовь.

Пастор скомкал листок и сунул его в карман. Посмотрел на часы. Времени у него оставалось сорок пять минут. А между тем Юргит еще не показывался.

Председатель общины Мартынь Юргит должен был заехать за ним и отвезти в бывшую богадельню, а ныне — школу, где разрешили также совершать богослужения.

Пастор Зандерсон взял в углу чемодан, в котором был талар, воротник с крестиками и все необходимое для причащения, проверил, все ли на месте, закрыл его и вышел из дому.

Зельгис только что подъехал к хлеву с фурой клевера. Сам он с вилами в руках стоял на возу и сердито покрикивал на серого, который никак не мог устоять на месте. Посмотрев исподлобья на проходившего мимо пастора, Зельгис резко, с размаху воткнул вилы в сено и подал на сеновал большую охапку. Зельгиене, подавшись вперед всем телом, приняла ее. Жена Абрика выгоняла из капусты кур, кидая в них комья земли. В конце аллеи на пастора злобно набросилась собачонка Рудзитов.

Он быстро шагал по аллее. Чемодан оттягивал руку, но пастор даже не думал об этом. Ему вспомнилось, как в былые времена он выезжал по воскресеньям в коляске, на паре. Рядом сидела пасторша, на переднем сиденье— сын и дочь. По дороге в церковь он обгонял всех своих арендаторов с женами и детьми. И сразу замечал, кого из них недостает. А после обеда виновные приходили к нему каяться. Эти же самые Абрики, Зельгисы, Рудзиты...

Голове было горячо. Пот каплями выступил на лбу. Выйдя на большак, пастор взглянул на холм у самого берега Даугавы, где белели развалины церкви. Над ними возвышался изуродованный остов башни. Железная крыша лежала попе-

рек обломков, упираясь шпилем в алтарь. Стрельчатые своды окон обвалились. Южная часть здания была целиком разрушена, и белые обломки покрывали откос берега... И никому не пришло в голову, что церковь пора восстановить. Даже Мартынь Юргит ни словом не обмолвился.

Волной подымался гнев в груди пастора. Зло слишком глубоко пустило корни. Жизнь стала подобна смердящей могиле, полной выбеленных костей и всяческой мерзости. Люди свирепее зверей... И не только по отношению к нему. Что он и его страдания! Капля в огромном море тьмы, омывающем опустошенный мир. Ибо разрушены самые основы. Ибо здесь оплевывают того, кому он призван служить.

Мысленному оку пастора предстала иная картина. В ушах его зазвучал иной голос из прошлого. Он видел себя на кафедре. Вот он обрушивает громы священного гнева на поникшие головы прихожан. Как они склонились под острым жезлом его слов! Ни один грех, ни одна человеческая слабость не заслуживали в его глазах снисхождения. Ярость господня была в устах его, сила и дерзновение слова господня — в сердце его. Случалось, на него жаловались и в суд и в консисторию. Но в те времена сан пастора кое-что значил. Светские власти не отказывали в поддержке. Могла ли нанести ему ущерб злоба закоренелого грешника!

Некий голос звучал в ушах пастора Зандерсона — все громче, все суровее. Казалось, говорил сам Иегова. Что были прежние грехи перед нынешними вопиющими беззакониями. Скоро прольются дождем сера и огонь, как пролились они на Содом и Гоморру. Все знамения указуют на это. Близится конец мира. Небеса свернутся, как свиток книжный. И тогда он воссядет на облаках и будет судить — судить беспощадно всех этих любостяжателей и хищников, всех разделяющих земли и оскверняющих день субботний, нарушающих таинство брака и священные заповеди, и всех распутников. Всех этих плясунов, альтов и теноров, социалистов и демократов... Тогда опомнятся они, узнают, как надо почитать господ, пастырей и иных наместников бога на земле. Но— поздно. И не будет конца причитаниям и зубовному скрежету...

Пастор Зандерсон видел перед собой начертанную огненными письменами предстоящую проповедь. Живые примеры из обыденной жизни, из времен недавних испытаний необозримой толпой теснились в его памяти. Безумие революции, строгая власть немцев, железный жезл Бермонта, огонь и меч, развалины и запустение — это ли не кара господня, это ли не зна-

мение! «Но вы закрыли глаза свои и заткнули уши свои — вы, осужденные богом на вечную гибель и муки адовы!»

Пастор Зандерсон остановился на мостике в тени ивы и глубоко вздохнул. Его лицо пылало вдохновенным гневом, сердце билось от священного восторга. Маловер! Он еще хотел примириться с этими беззакониями, хотел сеять семена христианской любви в этой пустыне. Нет, он, как ветхозаветный пророк, пойдет к этому погрязшему в неверии, растленному племени, он будет до крови бичевать тех, чьи дела — беззаконие перед лицом бога, тех, чьи слова нечестивы.

«Я господь бог твой, бог гневный и суровый... Наказывающий до третьего и четвертого рода... Огнем и серой!..»

Пастор Зандерсон возвел очи к небу. Большая черная туча заслонила солнце. Не тень ли это Иеговы? Да, ныне он вновь познал своего бога и веления его. Если бы не чемодан, он сложил бы молитвенно руки. «Вот я стою пред тобою... Я знаю веления твои».

Он стал подниматься на пригорок. Изъезженная за годы войны дорога была вся в буграх. Ботинки покрылись слоем пыли. Чемодан оттягивал руку. Гнев, клокотавший в сердце пастора, вырастал с каждым шагом.

На пригорке против самой дороги виднелись полуразвалившиеся стены и оголенные стропила кровли волостного правления. Подальше из безобразной кучи битого кирпича и обломков цемента высовывалась уцелевшая часть каменной лестницы школы. Взгляд пастора задержался на развалинах. На этом месте когда-то ложная мудрость попирала имя божье и тщилась довольствоваться суетными знаниями.

«Вы прах и пыль предо мной»,— звучал в ушах пастора голос господень. Да, да, и об этом надо сказать в проповеди... Пусть же вострепещут они и падут ниц и пусть не надеются на скорое прощение. «Страшно впасть в руки бога живого».

Три старика, сидя на чурбаке возле богадельни, покуривали и вели задушевную беседу. Завидев пастора, они не спеша сунули трубки в карманы и привстали. Девчонка, прислуга учителя, лежала на животе в траве и, задрав вверх голые ноги, играла с кошкой. Взгляд пастора скользнул мимо этой картины, сердце его переполнял гнев Иеговы. Раскаты голоса Иеговы отдавались в висках...

Проходя через первую комнату, загроможденную до потолка партами, он почувствовал характерный запах пыли.

Даже подмести поленились. В воздухе стояло облачко папиросного дыма.

Пастор рванул дверь. Прихожане сидели вдоль стен и по углам большой комнаты. Кое-кто устроился на подоконниках. Несколько человек теснилось на выдвинутых из соседнего класса партах. Веселая болтовня мало-помалу стихала. Здесь тоже пахло табачным дымом.

Пастор поглядел по сторонам, стараясь не смотреть ни на кого в отдельности. Однако он все видел. Он привык видеть не глядя. Человек пятьдесят — ну, чуть побольше. Немного же собралось послушать слово божие после стольких лет безверия и нечестия. У стены, прямо на полу, сидела старуха Зельгис — и больше никого из пасторской усадьбы... Взгляд пастора остановился на окне. Над головами сидящих виднелся темный силуэт липы. Нет, то была не липа... То была тень Иеговы. Иегова не оставит его.

Зайдя в комнату учителя, пастор захлопнул за собою дверь и сел. Грудь его тяжело вздымалась. Сквозь запотевшие очки сначала ничего нельзя было разглядеть. Да и смотреть-то здесь было не на что. Кровать, простой некрашеный стол. Собрание сочинений Янсона и какая-то «Песнь о Гайавате». Пастор брезгливо полистал ее. Сразу видно — книга светская. На стене открытки — все больше полуобнаженные женщины. Повыше портреты Барона и Райниса.

Вот каковы теперь учителя! Вот кто воспитывает наших детей! Что же станет с народом через десять лет? Как бы не пришлось государству строить новые тюрьмы,— только удастся ли? Вот и еще одна тема для сегодняшней проповеди. Они еще будут трепетать перед ним!

С глубоким отвращением пастор отвернулся от мерзких картинок и встал. Юргит все не приходил. Может быть, совсем не придет? После богослужения будет несколько крестин и венчаний, придется обойтись одному. Пастор все сильнее чувствовал приближение черной, пронизываемой молниями тучи. Юргит тоже получил по заслугам. Он-то в первую очередь. Кому много дано, с того много и взыщется. И тот, кто встал за плуг, пусть не оглядывается назад...

Пастор достал из чемодана талар и стал натягивать его поверх сюртука. Но ему помешала давешняя старуха, которая приходила за своими шестьюдесятью рублями. Пастор грубо выпроводил ее за дверь. Стал застегивать воротник, но дело не клеилось, пальцы дрожали, пуговки попадали не в свои петли. Тут наконец появился Юргит и помог ему.

Вид у церковного старосты был усталый и несколько сконфуженный.

— Извините, ваше преподобие, я немного опоздал. Было одно неотложное дело...

Пастор не спросил, какое дело. Может быть, отстроил амбар и праздновал по этому случаю. Или возил с поля клевер. Пастору не хотелось задавать вопросы. Противно... Да и нельзя было нарушать приподнято строгое настроение, которому так отвечали блеск дальних молний и гневный гул грома.

Пастор показал кивком на стену.

— Что за человек ваш учитель?

— Учитель? Он из Курземе. Пожилой уже человек. Я, правда, мало его знаю, у меня в школу никто не ходит. Однако в волости о нем хорошо отзываются.

Пастор мотнул головой.

— Надо полагать. Каковы сами, таков и учитель. Безбожник и социалист... Даже по этим картинкам и книжкам можно судить. Об этом я упомяну в проповеди.

Обычно разговорчивый, Юргит вдруг замолчал, как-то странно засуетился и вытащил из кармана два захватанных, исписанных карандашом листка бумаги.

— Вот, ваше преподобие, список членов нашей общины.

Пастор мельком пробежал их и взглянул на последние номера.

— Как? Только сто сорок человек? Где же остальные?

Юргит еще больше засуетился.

— Больше никто не записался.

— Да ведь они уже один раз записывались. Если не ошибаюсь, человек четыреста с чем-то...

— Четыреста шестьдесят. Это они записывались, когда ждали американские подарки. Всем, конечно, не досталось. Да и подарки-то были не ахти какие. Вот и не хотят больше. Особенно теперь — надо ведь написать, сколько будешь платить. А платить теперь никто не хочет.

В руках у пастора была книга псалмов. Он крепко, обеими руками прижал ее к животу. Обычно при виде этой книги и талара он особенно отчетливо сознавал свои пастырские обязанности. Он смерил Юргита с головы до пят строгим взглядом.

— Так, так... Им жаль внести малую лепту на нужды прихода. Но в Писании сказано: «Трудящийся достоин награды своей». И об этом я скажу сегодня. Равнодушие в делах веры — это проказа на здоровом теле народа. Сто сорок чело-

век... Да разве это не надругательство над богом!.. В этом списке я вижу по большей части имена женщин и землевладельцев. Где же остальные? Раньше у нас в трех волостях было несколько тысяч.

Юргит стоял потупившись, сжав губы и пощипывая седую бородку.

— Раньше, раньше... Лучше уж не говорите, ваше преподобие, про то, что было раньше. Теперь и жителей-то стало на треть меньше, да и приход новый, неорганизованный...

Пастора передернуло от этого слова, странно прозвучавшего в устах старого церковного старосты. Как оно напомнило семнадцатый и девятнадцатый годы и все безбожные, кощунственные дела!

— Мне на голову дождь льет... Я вынужден ходить по развалинам и пескам. Посмотрите на мои ноги... Я полштофа сметаны не в силах раздобыть. Скоро мне придется есть один черствый хлеб. Наймешь ли лошадь — за нее по триста рублей в день дерут. У меня лес на постройку гниет, потому что некому вывезти.

Юргит все еще глядел в пол и щипал бородку. Но вот он заговорил. Пастор никак не подозревал, что его голос может звучать так твердо, сухо и даже зло. От неожиданности положил книгу псалмов на стол, рядом с сочинениями Янсона.

— Теперь всем трудно. У вас протекает крыша, а тут многие живут в землянках и подвалах. Инвалиды ютятся где попало и мрут от холода и голода. Старые землевладельцы еще кое-как встали на ноги, а новохозяева из сил выбиваются: и строиться надо, и новь поднимать, и налоги платить.

Пастор выпрямился. Глаза его гневно блеснули сквозь очки.

— Вижу, вижу... Этими людьми овладели корыстолюбие, алчность и чревоугодие. Новохозяева... новохозяева... Имения пущены по ветру... Куда ни посмотришь — везде виднеются эти новые хибарки. И они еще не хотят платить за присвоенные земли. Я говорю: близится кара господня.

Теперь выпрямился и Юргит. Это было еще большей неожиданностью для пастора.

— Это государственная реформа. Обдумывайте свои слова.

— Мне... обдумывать! Мне — слуге и избраннику божию, который должен отвечать перед ним за эти души? Мартынь Юргит! Я все обдумал и знаю, что мне говорить. Не я буду говорить, но пославший меня. Мартынь Юргит! Посмотрите на мои ноги — они покрыты пылью, но я не хочу отирать их.

Пусть я уподоблюсь тому, кто был гласом вопиющего в пустыне и кто не боялся обличать в глаза правителей. А в Писании не сказано, что тогдашние правители были социалистами, что они свергали установленный богом строй. И я скажу им это — скажу слова, которые вложил в мои уста Иегова. Пусть мой голос звучит в полупустой храмине — его услышат! Ему будут вторить эти немые стены. Я велю отворить окна, чтобы все эти погибшие люди трепетали от ярости господней. И те, которые устраивают гуляния и с плясками отправляются в пасть дьявола. И те, которые курят здесь папиросы и болтают, как в кабаке. Те, которые не конфирмуются до двадцати лет и сожительствуют вне брака, довольствуясь лишь записью в дьявольские списки, и те, которые не крестят детей до трех лет...

Но тут тяжелая рука Юргита непочтительно опустилась на плечо пастора. От неожиданности он так и остался с полуоткрытым ртом.

— Тише, ваше преподобие... Я так и знал. И это меня больше всего тревожило. Потому мне так не хотелось идти сюда. Каким вы были, таким и остались. Вы что, забыли консисторию, суд, следствие и прочие неприятности?

Пастор оглянулся — тень Иеговы все еще стояла за окном.

— Я ничего не забыл. Я не кичусь гонениями, которые испытал по вине безбожников. Но я знаю, что в день воскресения из мертвых они будут мне зачтены. Я готов вновь взять крест свой и нести. Ибо этого хочет он. Такова его воля!

— Это бы еще ничего. С этим-то мы справлялись, и ничего с нами нельзя было поделать. Но теперь другие времена. Об этом вы подумали? Или вы приехали сюда на один день? Может быть, у вас, в Риге, есть другое место, другая должность?

Пастор слегка съежился.

— Не-ет, что вы! У меня ничего нет. Если бы у меня были влиятельные родственники или покровители, как у других... Мы живем в двух маленьких комнатах на Валмиерской улице. Сын учится, надо за него платить. Дочь служит в почтовой конторе... Я навел справки... И вот решил вернуться в старый приход.

— То-то и есть. Теперь я вам вот что скажу. Раз уж вы вернулись, оставьте все свои прежние замашки. Раньше вы могли бранить, обижать и оскорблять людей — и все вам сходило с рук. Барон заступался за вас, суд был на вашей стороне. У вас было имение, были арендаторы, а если кто не хотел нести ругу, у того описывали имущество и через полицию взимали долг. Место у вас было надежное. Теперь другие време-

на. Кто хочет, тот записывается в члены общины, а насильно никого не заставишь. Кто хочет, тот и венчается и крестит своих детей, а не хочет — идет регистрироваться.

— Да, да, записываться к дьяволу...

— Может, и так. Но только я вас прошу — будьте рассудительней.

Пастор сердито сбросил с плеча руку Юргита.

— Но я здесь во имя того, кто послал меня...

— Знаю. Но вам надо жить. Вам дали десять пурвиет земли, сад в двенадцать пурвиет. Вы собираетесь строиться, а лес у вас не вывезен. Своими силами вам не обойтись. К тому же у вас остались враги с консисторских времен. Про вас слава идет еще с девятьсот пятого года, когда вы служили в Избикском приходе. Теперь вы затеяли тяжбу с Абриком, враждуете с новохозяевами... Вы браните вечера и гулянья, которые устраивает культурное общество, осуждаете всех подряд. Если в Риге у вас есть другая служба, а сюда вы приехали только на один день, тогда — пожалуйста, дело ваше. Но тогда я не пойду туда. Я ни за что не ручаюсь.

Пастор беспомощно взглянул в окно. Но сквозь запотевшие очки ничего нельзя было разглядеть. Отвернулся к стене. На ней серыми пятнами выделялись портреты Барона и Райниса... Все кругом серое, ничего не говорящее, все словно затаилось и выжидает... Даже собственный голос потерял звучность и выразительность...

— Но... как же так? Чтобы я отрекся, примирился... Чтобы я умолчал о том, что вопиет к небу.

— Вопиет, вопиет... А больше вопиять не будет... И я постараюсь со своей стороны: мне Брежгись из Паруписшей кое-что обещал. У него молотилка, лесопильный стан и соседей много кругом. Надо надеяться, что наша община будет расти. После уборки сена и ржи соберем помощь. Лошадей пятьдесят,— тогда за один день управимся. Не могли бы вы им чего-нибудь пообещать? Ну, там американские подарки, что-нибудь от женского корпуса? И еще вот что: день поминовения объявите на третье сентября. В этот день будет сельскохозяйственный базар и концерт. Вот и сегодня у нас половина собравшихся приехали из-за реки на гулянье.

Сунув в руку пастору книгу псалмов, Юргит тихонько подталкивал его к двери, за которой раздавались громкий говор и, кажется, приглушенный смех. Но пастор упирался: он еще не разобрался в своих мыслях, не знал, с чего начать проповедь. Правда, это было скорее внутреннее сопротивление, а

ноги сами шли туда, куда тянул его Юргит. У самой двери он шепнул пастору.

— Подумайте о своем сыне, о том, что ему надо платить за обучение. Подумайте о дочери, которая служит на почте. Подумайте о своих детях...

Пастор и сам думал об этом. Как всегда в таких случаях, мысли с необычайной быстротой проносились в голове. Он успел подумать о множестве вещей, пока сделал десять шагов до двери. И главное, о вещах, не имеющих ни малейшего отношения к тому чувству гнева, которое все сильнее овладевало им... Жене хотелось поехать на целый сезон в Кемери, а он мог только послать ее на три недели в Балдону... Сын присмотрел в витрине магазина Берга карманные часы... Когда праздновали сорокалетний юбилей пастора Гриншпана, им всем пришлось глубокой ночью возвращаться пешком со второй Выгонной дамбы... Хорошее английское сукно стоит теперь шестьсот пятьдесят рублей аршин... Как приятно шелестела листва лип, когда они ехали по аллее в коляске, запряженной парой лошадей...

Юргит широко распахнул скрипучую дверь и придержал ее, пропуская вперед пастора. Говор постепенно стихал. Все старались сесть прямее. Кто-то откашлялся, кто-то высморкался. Пастор, нарочно медля, поднялся на школьную кафедру, и воцарилась полная тишина.

Пастор обвел глазами комнату. Хотя очки были чистые, он ничего не видел. Опустил голову и заметил чернильное пятно и вырезанные на еловой доске буквы «К» и «П». Голос Иеговы больше не звучал в его ушах, только в висках сильно бился пульс.

Он поднял голову и теперь увидел самое главное. Загорелые лица, пытливые глаза... Белые с низким вырезом блузки и приколотые к ним букетики цветов... Старуха, приходившая за своими шестьюдесятью рублями, вытирала глаза большим синим платком.

Вдруг он услышал собственный голос:

— Я господь бог твой, бог могущественный и гневный...

Его остановило чье-то негромкое, пискливое покашливание. Кашлял Юргит. При этом он как-то странно посматривал на пастора... И тот опомнился. Его устами заговорил прежний Иегова... Дома дочь сама стирает свою белую блузку, она носит на груди букетик искусственных фиалок... Он посмотрел в окно. Там уже не видно было черной тени Иеговы. Только чуть дрожала зеленая листва старой липы. Сквозь прогалы в

ветвях тянулись, как струны, солнечные лучи. За развалинами волостного правления открывалась лазурь небес. На травке возилась с кошкой дочка прислуги учителя...

— Но я бог милосердия и любви, я творю милость до тысячи родов боящимся меня и соблюдающим заповеди мои. Аминь.

Дальше пошло успешнее. Пастор отмахнул полу талара и достал из кармана набросанный в Риге конспект проповеди. Он время от времени заглядывал в него, однако не слишком строго следовал всем пунктам. В ушах его звучал иной голос, иные слова были в его устах.

— Велик гнев Иеговы, но велико и милосердие его. Он сотворил человека существом слабым и греховным и потому дарует ему прощение как непослушному, но любимому дитяти. Все мы пребываем в немощах и неведении — знатные и простолюдины, богатые и бедные. Но сила господня осеняет нас и мудрость его являет нам свет.

Так говорил теперь Иегова. И чем дальше, тем ревностнее возвещал пастор веления его. Раньше он не признавал громкой и пустой риторики. Но теперь он изменил своему характеру и обычаю. Ибо таково было веление божие, такова его воля...

Пастор приводил поэтические сравнения и примеры из истории Латвии. Он цитировал народные песни и речь Линдыня в Учредительном собрании, говорил о пользе гуляний на лоне природы и счастливом будущем народа...

Задав молящимся петь псалом, пастор Зандерсон вышел на минутку, прежде чем продолжить богослужение. Вслед за ним в комнату учителя вошел Юргит. Пастор, почти улыбаясь, поглядел на церковного старосту.

— Ну?

Мартынь Юргит кивнул головой.

— Хорошо. Начало удачное. Если и дальше так пойдет, мы еще можем надеяться...

Мимо окна во двор въехала первая упряжка — привезли крестить... Младенец заливался плачем.

1923

Доктор Мартин отодвинул рукопись перевода и греческий подлинник Нового завета. Оперся щекой на руку и прислушался. На дворе выл и бушевал ветер. Словно тысяча исступленно мяукающих мартовских кошек скреблись в стены Вартбургского замка.

Доктор Мартин покачал головой. Опять он! Вот уже девятую ночь — едва только стемнеет! И ничего удивительного — ему не дает покоя удачный перевод Библии. Он не может примириться с тем, что скоро в печатнях гуманистов перевод этот размножат в тысячах экземпляров, что люди сами будут читать его, размышлять над ним. Обретут истину и приблизятся к господу. И тогда настанет конец царству лжи. Потому он так и беснуется. Потому его легионы уже девятую ночь неистовствуют вокруг замка.

Доктор Мартин подпер рукой и другую щеку. Закрыл глаза и попробовал заткнуть уши. Углы комнаты тонули во мраке, в окно глядела черная ночь. Из слепых глаз ее по стеклу катились зеленоватые капли. Доктор Мартин пытался вспомнить псалом, который однажды вдохнул в него силы. Когда он с горсткой друзей прибыл в Вормс... Галки с карканьем срывались с колокольни и карнизов старинного собора.

«Коварный враг»,— мысленно произнес он. Тук-тук-тук... раздалось где-то у него за спиной. Он опасливо оглянулся. Никого не было. Только огромный паук спустился с печки и быстро исчез в углу. У доктора Мартина забегали по спине мурашки. «О, как слабы мы...» — мысленно продолжал он. Дойдя до места «Чья десница вовеки всесильна...», он успокоился. Кого он боится? Разве с ним не был всегда тот, кто вселил в него мужество в Виттенберге и силу и мудрость в Вормсе, кто склонил к нему сердце курфюрста?

«Пусть сонмы бесов...» Тук-тук-тук!.. Доктор Мартин вскочил со стула и посмотрел в окно. Нет, это не ветер стучит. И не дождь. Быть может, это старый клен дотянулся ветвями до второго этажа. А две искры за окном?.. Потухли. Скатились вниз... Это просто две капли дождя блеснули в свете лампы. Доктор Мартин снова оперся головой на ладони, пытаясь поймать оборвавшуюся нить псалма.

За стенами скреблись и мяукали. Доктор Мартин насилу подавил дрожь и продолжал: «Князь тьмы, князь тьмы...»

Тук-тук-тук! — глухо застучало в старинную дубовую дверь. Доктор Мартин опять вздрогнул, но уже не так сильно. В дверь — это не страшно! Должно быть, за ним пришел слуга курфюрста. Его светлости не спится и захотелось немного побеседовать... Или постучала смазливая горничная, которая приносит ему обед и всегда задерживается красноречивым взглядом на худой мускулистой фигуре монаха.

Доктор Мартин встал и отворил дверь. Кто там? Никого! Хотя нет, за дверью кто-то стоял, только доктор не сразу разглядел. Галантный господин в черной шляпе. Кажется, долго был в пути, но бархатный плащ почему-то совершенно сухой. На туфлях — ни пылинки.

Гость поклонился.

— Простите, достопочтимый доктор. Я к вам ненадолго. У меня сегодня так взыграло сердце, что я не утерпел, решил навестить вас. Ну и трудно же вас найти. В какую чертову дыру вы забрались...

Он быстро прикрыл рукой рот и попытался улыбнуться:

— Простите неприличное выражение. Но с кем поведешься, от того и наберешься.

Гость показался доктору Мартину слегка подозрительным. Уж не подосланный ли иезуитами или королем шпион? Кто же еще мог узнать о его убежище? Кому бы еще удалось ночью попасть в замок? Он хотел захлопнуть дверь, но уже было поздно. Незнакомец, точно тень, скользнул в комнату и, как-то странно прихрамывая, засеменил к стулу. Затем обернулся и, словно читая мысли доктора, продолжал:

— Можете быть совершенно спокойны, я к вам по сугубо личному делу. Потому так усердно и разыскивал вас. Ну и ловкий же малый ваш курфюрист. Лучше и сам Зикинген не спрятал бы Ульриха фон Гуттена. А он понаторел в таких делах.

Доктор Мартин уселся на свое место. Нет, подозрения его необоснованны. Если незнакомец знает об убежище фон

Гуттена,— значит, он не от короля и не от иезуитов. Наверно, какой-нибудь сочувствующий рыцарь.

— Вы друг Франца фон Зикингена? Вы бываете у фон Гуттена?

Гость опять улыбнулся своей неприятной улыбкой. Казалось, что у него не живое лицо, а вырезанная из дерева улыбающаяся маска.

— Все мятежники, все бунтари — мои друзья. Все реформаторы мне сродни по духу. А ближе всех Ульрих фон Гуттен. Полагаю, вам бы следовало знать это. Вы ведь читали его «Письма темных людей»? То-то... Зачем же еще спрашиваете?

И пока он, прищурясь, рассматривал стол с Библией и рукописями, доктор Мартин украдкой наблюдал его, все еще испытывая недоумение. Кто же в самом деле его гость? В замке он его никогда не видел. Плащ на нем новейшего покроя, из самого лучшего бархата, но когда он двигается, от него разит конюшней, картофельной ямой, плесенью и гнилью.

И опять, словно отвечая на его мысли, гость кивнул головой.

— Это оттого, что у нас там холодно и сыро. Пока еще редко приходится разводить огонь. Семена вашего учения — с позволения сказать — пока что всходят медленно.

И снова — уже в третий раз — заговорил о своем:

— Девять ночей мы разыскиваем вас по всей Саксонии. Я говорю своим: если вы, окаянное чертово отродье, этой же ночью не найдете его, я вас в порошок изотру! И вдруг слышу — меня зовут! Это я всегда сразу слышу. Голос доктора Мартина — как же мне не узнать его? Этим же псалмом вы спугнули моих малышей с колокольни Вормсского собора — хе, хе, хе! Ну ничего, я не сержусь... Итак, слышу, что меня зовут. Я — в трубу и в печку. Сам открыть не могу: посреди дверцы ручка в виде креста. А вы так ушли в свой псалом, что не слышите. Когда позвали второй раз, я стукнул в окно и увидел, где вы сидите. Должно быть, я вас немного встревожил. Какие вы все страшные, несуразные: днем охотнее всего думаете о том, кого больше всего боитесь ночью. Поэтому в третий раз я постучал уже в дверь, хотя это и очень неудобно.

Теперь доктор Мартин понял. Как он ни крепился, однако несколько раз лязгнул зубами, и на лбу у него выступил пот. Правда, ему не впервые приходилось иметь дело с чертом. Во сне он бился с ним каждую ночь. Порою, когда он погружался в молитву, дьявол искушал его золотым сиянием солнца или ярким багрянцем листвы за окном. Иногда, в минуту со-

мнения и отчаяния, тот смущал его веселым пением птиц в парке замка. Когда он постился и истязал свою плоть — посылал к нему смазливую горничную с блюдом жаркого и кубком вина. В Виттенбергской часовне он воочию видел, как черт юркнул за изображение богородицы — в стене и посейчас осталось словно выгрызенная древоточцем дыра... Но так отчетливо и близко он видел его впервые. И несомненно, это не какая-нибудь мелкая сошка, а сам князь тьмы.

Однако доктор Мартин усилием воли подавил малодушный страх и устроился поудобнее на стуле. Что может сделать ему этот гость? Разве у него нет своего помощника и заступника, перед которым тот бессилен, несмотря на все свои козни?

Он заговорил уверенно и громко:

— Ты пришел отомстить мне за то, что я восстал против твоей власти. Но я говорю тебе: отыди! Я не боюсь тебя, со мною — сам господь.

Черт остановил его энергичным жестом.

— Тсс! Не будем всуе упоминать его имя. Нам с вами это не к лицу. К тому же у меня от этого сразу начинает свербить в левом ухе. Давайте лучше называть его «Он» — так будет вернее, да и приличнее. Согласны, доктор? Благодарю. Итак, мы можем продолжать. Ах да, мы ведь еще и не начинали. А никто из нас не располагает лишним временем... Вы глубоко заблуждаетесь, если думаете, что я пришел к вам с дурными намерениями. Наоборот. Я хочу пожать вам руку, как своему соратнику и другу.

Доктор Мартин быстро убрал со стола руки.

— Я твой соратник и друг? Конечно, это опять твои козни. Только не понимаю, чего ты хочешь этим добиться.

— Отнюдь не козни — на сей раз нет. Ведь попадаются же раз в несколько столетий приятные люди, которые могут расположить к искренности даже самого черта. Вы — один из этих редких людей, доктор. Разрешите выразить вам свое глубочайшее уважение и пожелать всяческих успехов в дальнейшей вашей деятельности,— в нашей с вами общей деятельности.

Доктор Мартин невольно улыбнулся.

— К сожалению, истина ада диаметрально противоположна истине небесной, которую я исповедую, которой я служу. Не принимаешь ли ты меня за Тецеля, которого я изгнал! Он-то и был твоим соратником.

— Да нисколько, доктор! Этот монах спутал мне все карты. Из-за него я чуть не испортил себе нервы — если бы это

было у нас в моде. С тех пор как он повадился ездить сюда со своим сундуком, нам, в лучшем случае, удавалось развести огонь раз в неделю. Мы попали в такое затруднительное положение, что были накануне банкротства.

— Ты, должно быть, считаешь меня простофилей. Словно я не знаю, сколько душ он ежедневно отправлял в преисподнюю.

Черт вздохнул.

— Вы не обижайтесь, доктор, до сих пор я не считал вас простофилей, но вы все-таки оказались им. Неумение последовательно, логически мыслить я наблюдал у крестьян, монахов и рыцарей. Но я не думал, что доктора теологии в этом отношении так на них похожи. Волей-неволей я должен затеять с вами диспут, хотя это и неблагодарный труд.

Еще тридцать первого октября, когда на дверях Виттенбергского собора были вывешены ваши знаменитые тезисы, вы заставили меня улыбнуться. Вы осудили беднягу Тецеля и польстили папе... «Если бы папа знал об этом...» — писали вы. А как же он мог не знать? Разумеется, знал. Ведь все делается по распоряжению папы и его курии. Тецель был только его слугой и агентом. И все, что Тецель делал, делалось в ущерб мне и во славу Того, имя которого мы условились не называть.

Погодите, доктор! Не горячитесь, позвольте мне продолжить. В отпущении грехов, в продаже индульгенций и во всей системе католичества вы видите только мерзость и разврат. Поверьте, мне эти вещи гораздо ближе, чем вам, и я дольше вашего наблюдаю их. Это наиболее хитрая и стройная система, выработанная в ущерб мне и во славу и к чести Того... вы знаете, кого. С какой стороны ее ни возьмите. Вы думаете, что католическая церковь стремится умертвить плоть, сохранить только дух? Выкиньте в окно лампу и скажите: мне остается только ее свет. Разбейте эту чернильницу и попытайтесь оставить себе только чернила. Вот точно так же обстоит дело с плотью и духом. Это хорошо знают папа и курия, потому они и придумали столь пагубную для меня систему.

Тут нет никакого презрения к плоти, умерщвления ее ради спасения души, а всего лишь разумный компромисс между ними. Конкордат между Ним и мною — причем я обманут самым наглым образом и всегда получаю по договору меньшую долю. Крохи, падающие с Его стола.

Папа и вместе с ним вся католическая церковь твердят: «Бойтесь вожделений плоти, ибо плоть — греховна. Но если уж

никак не можете воздержаться, то грешите. Грешите, но исповедуйтесь в своих грехах. Исповедуйтесь и покайтесь. Покайтесь и заплатите соответственно греху и по тарифам Тецеля. А заплатив, можете грешить снова, если только у вас еще есть деньги. И грехи ваши простятся вам».

Что же получается? Точь-в-точь как сказано в Писании. Богатые грешат больше, потому что у них больше денег и прав. Однако редкие из них попадают ко мне. А о бедняках и говорить не приходится. За длительный пост на земле Он сам вынужден вознаграждать их местом за своим столом. У богатых — свое оправдание. «Как же так,— говорят они.— Мы за свои грехи пострадали и честно заплатили еще на земле. Какой же суд карает дважды за одно преступление?» И тут Он ничего не может поделать. Его юрисконсульты твердо придерживаются буквы закона. Таким образом, Его небесные апартаменты заселяются, а у нас до того пусто и холодно, что можно насморк схватить. По условиям конкордата к нам попадают лишь те, кого Он бракует.

Оставалась надежда на основателей этой пагубной для нас системы. Известно, что сам Лев Десятый, этот просвещенный флорентиец, покровитель искусств и друг Рафаэля, страдает неким недугом, причиной которому никак не может быть аскетический образ жизни и умерщвление плоти. Он у меня числился самым верным кандидатом. В ожидании его мы даже немного подремонтировали один угол и приобрели новое, самое усовершенствованное оборудование. Ну и что же? Оказалось, что мы опять попусту обременили свой и без того скудный бюджет. Оказалось, что далеко не все деньги, собранные за отпущение грехов, он прокучивает со своими наложницами. Лев Медичи воздвигает в Риме собор апостола Петра — и он превзойдет все, что было воздвигнуто во славу Его. Я когда-то видел храм Соломона и должен признаться, что по сравнению с собором Петра это жалкая будка. В течение долгих столетий люди будут съезжаться к нему со всех концов мира и поклоняться Тому, чье могущество отразилось в каждой колонне, в каждом окне этого великолепного сооружения. Странная вещь, доктор: благодаря хитроумной выдумке папы грехи людей приносят выгоду Ему же. Чем больше грешат люди, тем больше привлекает их царство небесное. Разве Он может осудить эту систему и ее изобретателей? Еще не находилось такого глупца, который стал бы действовать себе во вред. Я предвижу — я даже уверен — что и Льва Десятого Он возьмет к себе, точно так же, как взял всех его предшественников. Кто мне тогда вообще может до-

статься? Если я не могу поймать в свои сети даже акулы, как же мне рассчитывать на мелких щурят?

— Мошенник ты, плут и к тому же софист! Ловко ты искажаешь истину. Но твое бесовское лукавство меня не смутит. Одно словечко из...

— Тсс, доктор! Мы ведь условились не поминать Его имени!.. Вы очень резки в выражениях. Но я не сержусь. Реформатору это простительно... Вы говорите, я софист? Всякий последовательный мыслитель — софист или схоласт, в зависимости от того, придерживается ли он духа или буквы. Мы с вами придерживаемся разных направлений, но оба идем к одной и той же цели, так сказать, по одной диагонали...

Доктор Мартин выпрямился на своем стуле.

— Отыди, сатана!

— Сию минуту, доктор. Только разрешите заметить вам: вы тонкий знаток языка, а пользуетесь такими избитыми фразами... Еще несколько слов о том, о чем мы уже говорили. Одобренная католической церковью конвенция между Ним и мною до последней мелочи отвечает велениям Святого писания, человеческой природе и интересам царства небесного. Человек верит только в то, что ему непонятно и внушает страх. А помыслы Его неисповедимы — это вы и сами, доктор, не раз утверждали. Следовательно, непонятным должно быть и Писание, в котором изложены Его помыслы. Буддийским жрецам, сидящим где-нибудь на берегах Ганга, Он возвещает свои помыслы шипением змей, тигриным ревом и шумом джунглей. В православных странах Он обращается к своим наместникам на церковнославянском языке, на котором никто никогда не разговаривал. А святейшая и премудрая католическая церковь в сношениях с Ним пользуется латинским шифром, не более понятным европейским народам, чем вавилонская клинопись или санскритская азбука. Но нельзя же спрашивать с человека то, чего он не понимает.

Как видите, доктор, теперь я подхожу к этому предмету с другой стороны. Эта простая логическая аксиома возведена в религиозную догму, в высочайшую добродетель и обязанность христианина. Будьте как дети, которые ничего не смыслят, и верьте всему, что вам толкуют священники и монахи. И если священники и монахи лгут, они делают это на собственный риск. Если они стараются темное изобразить черным, а светлое — серым, Он ничего не имеет против, это только усиливает Его престиж. Церковники кажутся людям более умными, а деяния Его более сложными, чем они есть на самом деле. Ведь

недаром же из монахов и священников ко мне попадают всего лишь девяносто пять процентов. Я знаю, доктор, вы не поверите, что даже из-за Торквемады мне пришлось с Ним долго торговаться. Он отлично понимает, какой вред причиняют Ему вольнодумцы и еретики. Люди, которые присматриваются к сотворенной Им вселенной и находят, что она не без изъянов. Разумный мельник не даст и капле просочиться сквозь плотину, ибо капля — это только начало, а за ней последуют тысячи, миллионы... и плотина вместе со всей мельницей полетит ко всем чертям... Хе-хе-хе!

А тут еще вы со своими переводами Святого писания! Хотя вы и мой друг и я искренне рад за вас, а все же должен заметить, что вы невозможно наивны. Вы хотите, чтобы они сами читали его, изучали и понимали. Чтобы простой крестьянин или ремесленник разобрался в том, из-за чего вы, доктора и магистры теологии, столетиями спорили и грызлись. Вы хотите, чтобы люди отвечали за то, что им непонятно... Вы, доктор, наивны и в то же время великолепны. Вам удалось то, чего я не мог сделать за полторы тысячи лет: вы расшатали устои Его власти. Поэтому мы в преисподней затеваем большие приготовления. Нам не хочется из-за недостатка помещения попасть в безвыходное положение, как это было во времена крестовых походов.

Нет, вы, доктор, просто восхитительны в своей наивности! Вы хотите пробить брешь в устоях и думаете, что здание будет стоять по-прежнему. Вы столкнули камень с вершины горы и надеетесь, что он остановится на полпути. Что бы из вас вышло, если бы вы, кроме теологии, изучали еще физику и архитектуру? Ровно ничего. В гениальности — много односторонности и близорукости.

Вы обещаете им спасение только через веру — без добрых дел. Без чувствительной денежной жертвы за отпущение грехов — за одно платоническое признание в грехах. А это и есть то, чего они все хотят. Разве трудно покаяться и сказать: «Ну, конечно, господи, конечно — мы нагрешили». Вы отнимаете у религии последнее, чем она держала людей в страхе. Знаете, доктор, кого мне напоминает христианин по вашему рецепту? Крестьянку, едущую в город на рынок. Вы останавливаете ее на дороге, выпрягаете лошадь, снимаете колеса. Она продолжает сидеть с вожжами в одной руке и кнутом — в другой, а вы только подбадриваете ее: хлестни же, хлестни, и ты скоро доедешь! Хе-хе-хе! Ей уже никогда не доехать, но зато она наверняка попадет ко мне. Мы возим на собственных лошадях,

без остановок, к тому же в кредит — хе-хе-хе! Премного благодарен вам, доктор!

Вы подрываете доверие к старым церковникам и хотите, чтобы люди почитали новых. Вы опустошаете прекрасные, богато украшенные церкви, которые своим блеском напоминают нищим людям о красотах потустороннего мира, и думаете, что они станут собираться в каких-то сараях или даже под открытым небом... Я должен сделать небольшую поправку к тому, что недавно сказал о людях и вашей же чернильнице,— как видите, честный черт тоже сознается в своих ошибках. Вы искажаете сущность религии, ибо сущность ее только в форме — так уж обстоит дело со времен апостольских общин и особенно после того, как открыватели Америки открыли также, что земля имеет шаровидную форму, о чем, кстати, ничего не известно моим старейшим слугам,— и разные изобретатели придумали порох, книгопечатание и тому подобные штуки, считавшиеся до сих пор Его неприкосновенной личной собственностью.

Вы просто гениальны, доктор. Вы видите, что уже творится? Изображение святой девы выкидывают из церквей, сжигают на кострах. Это делают люди, которые вчера еще были готовы трижды сгореть на костре ради святой девы. Монахи и монахини убегают из монастырей и ради земных радостей забывают о трапезах, уготованных им на том свете. В городах бедняки отказываются платить налоги и грабят булочные и мясные лавки, потому что им кажутся слишком далекими молочные и медовые реки, которые им сулят на будущее. Крестьяне поднимаются на поставленных Им господ: убивают их, жгут их замки и, как голодная саранча, наводняют своими отрядами страну. Но это только начало. Вы, доктор, толкнули камень, и он не остановится и не может остановиться на полпути. Вы хотели исправить один ничтожный винтик в системе небесного царства и католической церкви, но невольно затронули весь механизм — и все в нем пошло вверх тормашками. Завертелся и земной механизм — он размелет все святое, все неприкосновенное, как мельничные жернова размалывают сухие зерна. А весь этот помол сыплется в мои мешки. Мешки мои разбухают, амбары мои наполняются доверху... я опять разбогатею. И всем этим я обязан вам, доктор, только вам. Вы мой друг, а своих друзей я не забываю. Когда настанет и ваш черед... отправиться ко мне... трогайтесь смело. Вы не пожалеете. Мы тоже знаем толк в культуре и ее благах. Разрешите пожать вам руку, доктор.

Поднявшись на ноги, он протянул через стол руку. Из перчаток вылезли желтые ястребиные когти. Кругом запахло погребом и плесенью.

Разъяренный и смертельно испуганный, в порыве страшного отвращения, доктор Мартин схватил что-то со стола. В руке оказалась чернильница. Она со свистом описала в воздухе дугу. Короткий треск — и все затихло.

Доктор Мартин стоял, склонившись над столом, широко раскрыв глаза; колени его дрожали. В комнате было пусто и тихо. На дворе тоже темно и тихо. Только на стене виднелось большое уродливое чернильное пятно.

1923

Он вышел на порог своего домика. Было шестое июня, с самого утра невыносимо пекло. На плечах у него болтался старый пиджак, из-под которого выглядывала поношенная рубашка. Шляпу он не надел, и обрамленная венчиком седых волос лысина блестела, словно намазанная клеем.

Солнце заливало потоками зноя безлюдную улицу. По ту сторону перекрестка виднелся угол мэрии, а за ним — остатки разрушенной баррикады. Двадцать шестого мая она была взята одной из последних. Опрокинутая двуколка, разбитый зеркальный шкаф, обломки лакированных дверей... Клеманс Пьере глядел и улыбался. Метко угодила граната версальцев. Еще после двадцать восьмого мая там продолжали валяться четыре трупа инсургентов.

Напротив бесшумно приоткрылось окно. Мадам Лизандер опасливо высунулась из него. Посмотрела налево, потом направо, бросила взгляд через улицу и кивнула господину Перье.

— Доброе утро, господин Перье. Опять кого-то ведут?

Она говорила тихо, словно боялась, что кто-то их подслушает. Лицо господина Перье совсем расплылось в довольной улыбке.

— Сегодня не видать. Теперь их не поймаешь! Разбежались наши храбрые герои, как зайцы из огорода. Разве не смешно, мадам Лизандер?

Но мадам Лизандер пугливо отмахнулась. Из широкого рукава выпросталась пухлая, белая, как молоко, рука.

— В своем ли вы уме, господин Перье! Как вы можете смеяться! Такие ужасы!.. У меня и сейчас в ушах стоит грохот пушек. По ночам я прячу голову под подушку и все равно не могу заснуть. До сих пор стреляют...

Она не успела договорить, вскрикнула и присела на пол. Где-то грянул залп. Потом еще три-четыре выстрела подряд и,

«Смерть Клеманса Перье»

наконец, два одиночных. Господину Перье хотелось показать, что все это не произвело на него ни малейшего впечатления. Он сошел на мостовую и с понимающим видом стал всматриваться в даль, приставив ладонь ко лбу.

Через минуту мадам Лизандер снова высунулась в окно и спросила еще боязливее:

— Что это за выстрелы? Что там такое?

Господин Перье продолжал всматриваться, чтобы хорошенько убедить мадам Лизандер в своей осведомленности.

— По-моему, это за углом улицы Бельвиль. Там заседает полевой суд, и там же в саду расстреливают и зарывают этих собак. Я вчера пошел поглядеть, но так и не добрался. У ограды толпы людей стоят — смотрят. Некоторые приходят еще с вечера. Берут с собой бутерброды и ждут всю ночь, чтобы не пропустить чего-нибудь.

Мадам Лизандер закачала головой.

— Боже, какие ужасы! Я не могу видеть крови...

— Почему? Ведь это их кровь, кровь негодяев! А эти собаки что делали? Разве не они расстреляли заложников без всякого суда? Разве не они хотели уморить нас всех голодом? Знаете, сударыня, когда их ведут мимо, мне хочется подбежать и заколоть кого-нибудь из них штыком,— пусть валяется под моим окном, пусть его едят мухи, как дохлую кошку на свалке.

Мадам Лизандер вздохнула.

— Люди стали такими жестокими. Да разве они все виноваты? Некоторые попали туда случайно.

— Без разбирательства никого не осудят. Там каждое дело расследуют. Надо истреблять всех этих врагов культуры, врагов мирных граждан... Вы не читаете «Фигаро»? Подождите, сейчас я вам вынесу...

Он побежал в дом и тут же вернулся, помахивая газетой.

— Вот послушайте, что сказал уже двадцать второго мая в Национальном собрании сам Тьер:

«...Справедливость, гуманность, порядок и цивилизация снова восторжествовали... Но будущность наших детей и Франции требует, чтобы были применены крайние меры... Слышите?.. Эти люди убивали и грабили единственно из любви к искусству. Теперь они в наших руках. Так неужели мы скажем им: милосердие! Эти мерзкие женщины ножами рассекали грудь нашим офицерам. Теперь они в наших руках,— так неужели мы скажем им: милосердие!.. А что такое инсургент? Это просто хищный зверь. Вперед, честные люди! Смелее! Еще один, последний

натиск — и навсегда будет покончено с этим демократически-интернациональным сбродом...»

Господин Перье ударил по газете кулаком.

— Вы слышите, сударыня, что здесь написано! Есть места и похлеще. Жаль, что вы так мало интересуетесь газетами и литературой. Недавно мне попалось славное изречение: «Теперь, когда идет суд над федератами, следовало бы приковать нож к руке палача...» Как вы это находите, сударыня? А наш знаменитый Дюма-сын! Говорят, что он теперь пишет, так сказать, зоологию революционеров, и там говорится, что их самки становятся похожими на женщин только после смерти. И Альфонс Доде, и Эрнест Доде, и Кларетти, и Сарду, и Мендес! Все эти патриоты и славные сыновья народа, как один, стоят за Тьера, Мак-Магона и Галифе.

Мадам Лизандер снова вздохнула:

— Я мечтаю только о том, чтобы можно было по ночам спокойно спать, а утром отворять окно. Эти ужасные мухи лезут в дом через каждую щелочку и на все садятся. Вчера у меня от омлета несло мертвечиной, пришлось его выбросить. С улицы идет нестерпимая вонь.

Господин Перье повел носом.

— Это, конечно, неприятно. Воняет потому, что их тут же на месте и закапывают. Говорят, в садике кафе Берна зарыто больше двух сотен. Дойдите до шляпного магазина мадам Шамфор и заверните во двор,— оттуда видно. В одном месте нога торчит, в другом — рука. Корни каштанов мешали зарыть поглубже.

Он снова вернулся на порог. Со стороны Монмартра приближался грохот колес. Проехала крытая повозка; огромную костлявую лошадь вел под уздцы босоногий оборванец. Другой такой же субъект, но только в сапогах, шагал с киркой через плечо рядом с повозкой. Двое солдат с карабинами шли позади. Повозка была прикрыта тряпьем, под которым колыхалась какая-то тяжелая грязная масса.

Господин Перье смотрел на повозку, пока она не скрылась за углом мэрии.

— Видите, сударыня? Вот уже начинают убирать их, и вонь скоро исчезнет. Тысячи могильщиков работают на кладбищах Пер-Лашез и Монпарнас. В парке Монсо дождь размыл все ямы, и трупы поджаривались на солнце, как селедки на сковороде. Из прудов Шомон выловили три сотни трупов, они потом разлагались целую неделю. Нельзя было пройти мимо, даже крепко зажав нос. Вчера всю ночь над городом стояло зарево.

Я уже подумал, что это проклятые беглые инсургенты опять подожгли его. Оказывается, просто сложили эту падаль на костры, облили керосином и сожгли. В Сент-Антуанском предместье их сваливают в траншеи, вырытые их же руками, в Шароне и Баньоле побросали даже в колодцы. Жирарден так пишет об этом: «Эпидемии бояться не надо, а нечистая кровь послужит удобрением для полей наших хлебопашцев». Так-то, мадам Лизандер. Скоро вы со своими барышнями опять будете жить у открытых окон и посылать улыбки проходящим мимо офицерам.

Заметив выставленные в витрине модные журналы, он заулыбался и стал потирать руки.

— Дай-то бог. Кларисса еще вчера вернулась. Теперь ждем заказчиц. А вот Жанетты все еще нет. Прямо и верить не хочется, но Кларисса уверяет, что она шатается с революционерами по Булонскому лесу.

— Весьма возможно, весьма возможно! Позавчера по дороге в Версаль я видел в толпе бунтовщиков трех таких девиц. Все трое связаны одной веревкой, все запачканы кровью и грязью, платья на груди разорваны... Тоже дрались на баррикадах. С ума они все посходили.

— Господин Перье, а почему вы до сих пор еще не открыли свою лавку?

Господин Перье оглянулся. На белой стене вывеска, и на ней синими буквами выведено: «Вина, ликеры, фрукты, деликатесы...» Печальной казалась эта надпись над обеими витринами, закрытыми ставнями. Господин Перье снова сошел на мостовую.

— Я сегодня встал около шести и хотел было открыть, но потом передумал. Во-первых, я остался совсем один. Мой Люсьен, как вы знаете, ушел с инсургентами. Вполне возможно, что он скрывается где-нибудь поблизости. Со мной, конечно, ничего не могут сделать, а все-таки... Вдруг придут и спросят про него, а что я могу ответить? Разве я должен отвечать за него? Он мне не родственник, не друг... Во-вторых, я очень тревожусь за Огюста. Он был в Версале — это я точно знаю. Теперь их перевели в город, а он все не приходит. Если бы он был здесь, мне бы не пришлось его ждать.

— Ну, да вы не очень тревожьтесь. У них теперь уйма дел и за городом. Огюст примерный сын, но, кроме того, и примерный солдат. Будьте уверены, он-то отправил на тот свет не меньше дюжины революционеров.

Лицо господина Перье расплылось в улыбке:

— В этом я нисколько не сомневаюсь. С вами всегда приятно побеседовать, мадам Лизандер. Окажите любезность — зайдите ко мне этак часиков в пять. У меня в погребе припрятана бутылка старого бордо и голландские бисквиты.

Но мадам Лизандер не успела сказать ни да, ни нет. Господин Перье проворно отскочил к двери. Из-за угла мэрии показался целый отряд, который быстро приближался к ним.

Впереди ехали шесть гусар, по трое в ряд; у всех были ружья с примкнутыми штыками. Позади на белой лошади офицер с кожаной плеткой в руке, по бокам шагали двое штатских. Все они конвоировали пятерых изможденных мужчин в грязных лохмотьях. Двое были с седыми бородами, а третий совсем мальчик, лет пятнадцати. Мальчик, видимо, только что плакал — на лице полосами была размазана пыль, и он судорожно хватал ртом воздух. Один из стариков прижимал к груди правой рукой левую. Рукав был полон крови, и время от времени из него струей лилась на синюю блузу и колени кровь. Глаза у старика глубоко запали, и губы скривились от боли. Остальные трое пошатывались на ходу и толкали друг друга, стараясь не попасть под копыта лошадей. Но головы они держали высоко.

Офицер разговаривал со штатским. Они проехали мимо, не обратив внимания на господина Перье. Но он успел заметить, что ноги у белой лошади выше колен в крови, и не сводил с них глаз. Потом отчаянно замахал руками и крикнул мадам Лизандер:

— Вы видели, видели? Я уверен, что он проезжал через площадь Вольтера. Там все залито кровью. Эти славные ребята не знают пощады.

Господин Перье выбежал на середину улицы, взмахнул обеими руками, подобно пытающемуся взлететь селезню, и неестественно тонким голосом крикнул вслед всадникам:

— Да здравствует законное правительство! Да здравствует Тьер!

Крикнул и опрометью кинулся назад в дом, будто второпях забыл там что-то. Он и не увидел, как один из штатских оглянулся, остановился, сказал что-то остальным, повернул обратно, прочел вывеску и заглянул в открытую дверь. Мало того, он еще подергал запертые на засов ворота, верно, хотел проверить, нет ли в доме другого выхода. Когда он опять проходил мимо двери, на пороге показался господин Перье.

— Э, да это ты, Жонар? Что ты тут разгуливаешь? Ты тоже еще не открыл свою мясную лавку?

Господин Перье отлично знал, что Жонар еще в апреле служил у федератов в делегации Комитета общественной безопасности, куда он пролез с помощью знакомого начальника префектуры, тайного агента версальцев. Господину Перье было также доподлинно известно, что, когда пал форт Исси, Жонар перебежал к версальцам, был одним из самых старательных и ловких шпионов и выдавал революционеров. Но господину Перье вовсе не хотелось напоминать ему об этом, не собирался он говорить и о том, что только что видел Жонара с конвоем пленных революционеров. Ему только показалось странным, что Жонар стоит посреди улицы и смотрит на него исподлобья, с таким видом, будто они никогда не были знакомы.

— Ты не зайдешь ко мне? У меня в погребе найдется еще несколько бутылок отличного бордо и голландские бисквиты.

Жонар взглянул еще раз на него, потом на стену дома, повернулся и ушел, не проронив ни слова.

Господин Перье только руками развел и тихо пробормотал, чтобы Жонар не мог его услышать:

— Кое-что у меня еще найдется... Припрятал от этих собак. У меня они ничем не поживились. Я всегда был на стороне законной власти и порядка...

Жонар исчез за поворотом, а окно мадам Лизандер уже захлопнулось. С чувством недоумения господин Перье вернулся в дом.

Он был даже слегка встревожен. Почему Жонар так странно себя вел? Ведь он, Клеманс Перье, порядочный гражданин, ведь он один из первых приветствовал правительственные войска у ворот Сен-Клу. Его тревога тут же сменилась негодованием. Что он воображает, этот шантажист и спекулянт! Сам поставлял в приют инвалидов тухлую рыбу... Господин Перье отпер лавку. Сквозь вырезанные в ставнях сердечки пробивался слабый свет. Позади прилавка виднелись полупустые полки. Господину Перье, в сущности, здесь нечего было делать, просто ему стало как-то не по себе... Он начал перебирать банки испорченных консервов, подгнившие апельсины и пустые бумажные пакеты.

В полуотворенную дверь тоже проникал свет. Вдруг стало темно и послышался звук шагов. Господин Перье обернулся. В дверях темнело несколько силуэтов. Он немного нагнулся, чтобы получше разглядеть, и замер. В полумраке ясно можно было различить тусклый блеск четырех направленных на него штыков.

— Руки по швам! Спокойно! Выходите!

Голос был похож на скрежет ржавого железа. О том, чтобы его не послушаться, не могло быть и речи. Господин Перье

двинулся вперед, инстинктивно выполняя приказ с такой точностью, что даже голову не посмел поднять.

Его окружили четверо солдат в красных штанах и штатский.

— Клеманс Перье?

— Да, это я. Меня тут все...

— Молчать. Отвечать только на вопросы. Торгуете винами и фруктами?

— И гастрономией. На стене вывеска.

— Почему ваша лавка еще закрыта?

Ответить сразу на этот вопрос было не так-то просто. Господин Перье хотел почесать в затылке, но тяжелый приклад тут же водворил его руку на место.

— Сказано: не шевелиться! Если еще раз попробует — коли штыком! С этой сволочью нечего церемониться.

Господин Перье не верил своим ушам. Нет, он глазам своим не мог поверить. Перед ним стоял Жонар, его старый знакомый, и допрашивал его, как врага. Господин Перье хотел было раскрыть рот, но взгляд серых, немного косящих злых глаз заставил его молчать. А тут еще дула четырех угрожающе направленных на него ружей.

Допрос продолжался.

— Вы предоставили свою мебель бунтовщикам для баррикад?

— Они сами взяли у меня комод и ручную тележку со двора.

— Где ваш сын?

Господин Перье выпрямился во весь свой небольшой рост.

— Это вам лучше знать. Мой сын служит в правительственной армии. Куда вы его дели? Я его все время жду.

Жонар кивнул своей свите; на лице его появилась гаденькая улыбка.

— Весь этот сброд — просто наивные комедианты. Они воображают, что имеют дело с идиотами. Выведите его! А мы пошарим, не прячется ли тут, за закрытыми ставнями, еще кто.

Перье совершенно растерялся. Его поставили спиной к стене. Рядом стали двое солдат, так что их штыки почти кололи ему бока.

Он прилип к стене, как клоп. Невидящими глазами уставился в окна мадам Лизандер. Солнце припекало лысину. Через некоторое время он почувствовал, что по щекам стекает пот и льется за ворот. Понемногу господин Перье стал приходить в себя, и первое, что он увидел, были прятавшиеся за оконной

занавеской мадам Лизандер и Кларисса. По другой стороне улицы пугливо пробежала девочка булочника с пустой корзинкой на руке. Наконец его взгляд наткнулся на две пары злых и колючих, как шило, глаз. Все еще ныла ушибленная прикладом рука.

Господин Перье перестал сердиться. Теперь он мог все спокойно обдумать и взвесить. Стоит ли в такие дни приходить в неистовство из-за мелких неприятностей? В такой суматохе возможны любые недоразумения. Какие бои пришлось выдержать этим славным ребятам, пока они освободили Париж от дикарей-федератов! Их самки ножами рассекали офицерам грудь... Можно ли после этого требовать галантного обращения? Это проклятые бунтовщики сделали солдат такими! Господин Перье ненавидел их теперь в десять раз сильнее, чем прежде.

Конечно, его сейчас уведут. Ну что же, он не будет сопротивляться. Приказам правительства и исполнителям этих приказов нужно подчиняться беспрекословно. Но в тюрьме он потребует офицера, коменданта или как там их... Что комендант! Было время, когда он поставлял вино самому Галифе. И тогда он скажет: «Я лояльный гражданин, я даже роялист. Я прощаю и этих двух солдат и остальных. У меня у самого сын солдат, и я уверен, что он в это смутное время ни разу не ошибался. Ради своего Огюста я прощаю вас, освободители Парижа». И когда они, козырнув по всем правилам, удалятся, он обратится к пятому: «К тебе, Жонар, я, к сожалению, не могу отнестись так же. Я не стану лишний раз напоминать, как ты подделывал подписи и снабжал инвалидов тухлым мясом. Но я обязан сказать, что ты недостоин той должности, которую сейчас занимаешь. Я больше не могу оставить тебя на ней. Придется тебе вернуться к торговле мясом и рыбой...»

Кто-то тихо застонал. «А может быть, это он сам?» — подумал господин Перье. Казалось, что на череп насыпали раскаленных углей. Рука ныла в суставе... Вдруг у двери — прямо под самым ухом — проскрежетал тот же ржавый голос:

— Где у вас тут еще тайник? Признавайтесь!

Господин Перье усмехнулся. Сунул руку в карман и достал маленький ключик.

— Это от подвала. Вход со двора, рядом с дверью в кухню. Как спуститесь вниз, налево пустая винная бочка. Он под нею. Сверху слой песка толщиной в ладонь, не больше, даже лопата не понадобится.

И когда Жонар был уже в прихожей, крикнул ему вслед:

— Только поосторожней с люком. Там навеска сломана и один край западает.

Господин Перье в душе порадовался своей хитрости. Он ничего не сказал о том, что спрятано в левом углу под грудой ящиков из-под сыра. Да он и не обязан говорить. К пяти часам приглашена мадам Лизандер на стаканчик бордо с голландскими бисквитами... Кстати, который час? Солдат лучше не спрашивать. Господин Перье взглянул на солнце. Около одиннадцати, во всяком случае, не больше половины двенадцатого.

— Руки по швам! Вперед! Марш! При попытке к бегству — стрелять!

Снова господин Перье машинально выполнил приказ. Его окружили четверо солдат. По обе стороны поблескивали штыки. Рядом стучали тяжелые солдатские сапоги. Идти было неудобно. На повороте он заметил в окне мадам Лизандер, лицо ее стало белее занавески, за которой она пряталась. Спокойно, незаметно для конвойных кивнул он ей головой. В пять... В пять часов за стаканчиком вина и газетой будет о чем порассказать... Маленькое приключеньице не помешает...

Господин Перье шел между конвойными с гордо поднятой головой. Но когда он заметил раза два-три пугливо выглядывающие из-под оконных косяков лица любопытных, ему опять стало не по себе. Почем знать, может быть, кое-кто из знакомых примет его за преступника... Ах, эти проклятые федераты и революционеры! Господин Перье ненавидел их каждой клеткой своего тела.

Иногда господин Перье зацеплялся ногой за булыжник мостовой и невольно приостанавливался; его каждый раз подгонял крепкий удар в спину. Били чем-то твердым — возможно, рукояткой пистолета. А вдруг курок нечаянно спустится? Пуля может попасть и в него... По спине забегали мурашки. Но он не осмелился повернуть голову и предупредить конвоиров. Это уж наверняка запрещено. Эти славные ребята ведь просто исполнители. Во всем виноваты только негодяи федераты.

Улица пошла в гору. Перье узнал один из холмов Монмартра. Подниматься пришлось недолго. Они остановились у белого роскошного особняка с балконом и балюстрадой вдоль окон второго этажа. Внизу виднелись забранные кованой железной решеткой окна полуподвального этажа. По мере того как улица поднималась в гору, они все глубже уходили в узкую щель между тротуаром и зданием.

Конвой сделал поворот, вместе с ним и арестованный. С грохотом распахнулись железные ворота, и господин Перье зашла-

гал по выбоинам пыльного, усеянного кучами лошадиного помета двора. Здесь было полно солдат и вооруженных штатских. Никто не уступил дорогу конвойным, их как будто даже не заметили. Господин Перье поглядел по сторонам, но здесь некого было попросить вызвать офицера или коменданта. Впрочем, он бы и не успел. Его подвели к подвальному, чуть выступавшему над уровнем двора раскрытому окну, перед которым полукругом стояли солдаты с ружьями.

Солдаты расступились. Господин Перье в недоумении остановился и хотел было повернуть обратно, как сильный толчок в спину сбросил его в приямок, так что он еле успел упереться ладонями в шершавую стену.

— Полезай, собака!

И тут же он почувствовал удар в спину и острую боль в затылке. В ушах зазвенело, из глаз посыпались искры... Господин Перье со стоном полетел куда-то глубоко в темноту, свалился на что-то мягкое, скатился в какую-то душную, вонючую щель и больше уж ничего не чувствовал.

Господин Перье открыл глаза. Метрах в полутора над ним нависал серый свод, ясно виден был толстый слой пыли, по ней медленно полз большой жирный паук. Господин Перье не успел заметить, спрятался ли он в темный угол или схватил на полпути добычу. Резкая боль в затылке заставила его повернуться на бок. Поворачиваясь, он услышал треск отрывающихся от земляного пола волос, но эта боль была пустячной в сравнении с тем пламенем, которое обожгло его голову по самую шею.

Повернувшись на бок, он понял, почему очнулся. Бок о бок с ним лежал кто-то, закутанный с головой в пальто, и все время, как будто в такт какой-то неведомой музыке, толкал его в бок коленом. Взгляд господина Перье скользнул по соседу, и он увидел разодранную по самую голень штанину и вылезшую из нее заскорузлую, грязную ногу. В порыве отвращения он хотел повернуться на другой бок, но застонал и перестал шевелиться. Затылок был словно налит свинцом, и при первой же попытке сдвинуть эту немыслимую тяжесть на глазах выступили слезы. С другого бока, чуть повыше пола, на господина Перье смотрели чьи-то будто стеклянные глаза.

— Не брыкайся. Лежи спокойно.

Слова эти господин Перье услышал сквозь неясный странный гул. У самых глаз глядевшего на него человека мелькнула большая грязная рука и стерла со лба темное пятно. Потом он

различил целый ворох жестких черных волос. Господин Перье осторожно просунул руку под затылок и ощупал пол. Пальцы его попали во что-то липкое.

Губы соседа скривились в усмешке.

— Здорово они тебя отделали. Это за что же?

Господин Перье не счел нужным ответить. Даже стиснул зубы, чтобы не застонать. Это наверняка был один из этих негодяев, этих революционеров. Стоит ли такому рассказывать, что он попал сюда по недоразумению и что скоро появится с извинением офицер или комендант и освободит его? Солдата он простит, но Жонара — никогда... Мысли господина Перье снова завертелись вокруг сегодняшних событий, и он на время забылся.

Однако постепенно он стал прислушиваться к раздававшимся вокруг звукам. Под полукруглыми сводами подземелья стоял глухой гул. То замирая, то усиливаясь, он будто вторил сам себе. Разговор вполголоса — как плеск воды о камни... Всхлипы, тихие стоны, сдержанные рыдания... Господин Перье приподнялся на локте. Узкий проход был битком набит людьми. Один стоял, прижимаясь к стене, будто у него был перебит позвоночник, и, склонив голову под низким сводом, искал руками опоры. Другой сидел, откинувшись к стене, третий обхватил руками колени и положил на них голову. Но большинство лежало: свернувшись в клубок, на боку, ничком, раскинув руки, или на спине, неподвижно, как мертвецы... Напротив оконной ниши еще можно было что-то разглядеть. Дальше сводчатая пещера уходила куда-то в казавшуюся бесконечной тьму. Лишь кое-где выступали из нее неясные очертания скорчившихся, сбившихся в кучу человеческих фигур.

На господина Перье напал чих. Нестерпимая отвратительная вонь лезла в нос, от нее першило в горле. Человеческие испражнения, испарения грязных тел... будто где-то близко была скотобойня или свалка. И ужасная промозглая сырость, как в старом обвалившемся колодце. Лоб господина Перье покрылся холодной испариной. Он стиснул зубы, чтобы они не стучали.

Стеклянные глаза соседа уставились на него с явным любопытством.

— Как ты сюда попал? Снабжал Центральный комитет украденной из домов сбежавших буржуев провизией? Или, может быть, служил швейцаром в Комитете общественной безопасности? Такие господчики, как ты, умели примазаться. А наши хлопали глазами и напринимали всяких буржуев и провокато-

ров. Ты, должно быть, опоздал вовремя перекинуться на их сторону? Или слишком мало федератов предал? Теперь, брат, поздно, теперь лежи в одной компании с нами...

Мысли господина Перье цеплялись одна за другую по каким-то странным ассоциациям. То он вспоминал, как стоял на солнцепеке возле своего дома и смотрел в окно мадам Лизандер, то перенесся мыслями к воротам Сен-Клу, где встречал войска освободителей-версальцев... Горечь сознания незаслуженной обиды и страшной несправедливости сжимала горло. Потом он вспомнил, что обещал в пять часов угостить мадам Лизандер вином и бисквитами. Если он вовремя не вернется домой, она тщетно будет стучаться в дверь... Господин Перье нервно заерзал на месте, но резкая боль в затылке заставила его лежать смирно.

— Скажите, приятель, который теперь может быть час?

Сосед взглянул на окно, из которого все время тянуло холодом.

— Когда ты очнулся, где-то пробило три. Теперь, пожалуй, около четырех.

И верно, сквозь наполняющий подземелье гул послышался отдаленный бой часов, но сосчитать удары было невозможно. Во дворе поднялся шум. Звенели подковы, стучали колеса, раздавались чьи-то вопли, что-то хлюпало за окном, мелькали штыки конвойных.

Господин Перье вздохнул:

— Скажите, приятель, как тут попасть к офицеру или коменданту?

— К коменданту? Ты сам хочешь к коменданту? У тебя тут осталось что-нибудь? — Сосед постучал пальцем по лбу.— Отсюда ты уж никуда не попадешь. Разве что уведут в Трокадеро, Версаль или еще на какую-нибудь бойню.

Господин Перье отвернулся. Ясно,— один из этих бандитов, которые действительно заслуживают только пули или виселицы. Но обидно, до глубины души обидно, что ему, порядочному гражданину, приходится валяться тут вместе со всякими бродягами и подонками Парижа. Почему так долго не идут освободить его? Уже четыре часа. А в пять мадам Лизандер постучится в дверь...

Человек, лежавший с другого бока, опять принялся толкать его коленом. Господин Перье в сердцах перевернулся на спину, и в затылок ему снова впилось множество мелких иголок.

Сосед продолжал свои рассуждения:

— Надо бы тебе перевязать башку, а то вымажешься, как

свинья. Видать, стукнули тебя как следует. Где они тебя сцапали?.. Посмотри, нет ли у тебя носового платка. Я подсоблю...

Господин Перье не счел нужным ответить. Этот мужлан считает возможным держаться с ним как равный. Он лежал и смотрел вверх. Паук снова выполз из своего убежища и сновал взад-вперед. Теперь было видно, что он протянул основу для большой паутины и старательно скрепляет поперечные нити. Было из-за чего стараться: в просвете окна с веселым жужжанием носились мухи.

Господин Перье задремал, но по-настоящему заснуть ему не удалось. В третьем или четвертом отделении подвала вдруг поднялась суматоха, загремел замок, двери с грохотом растворились, и арестованные сгрудились в проходе. Обитатели ближнего угла тоже подняли головы и повскакали на ноги. В падавшей от входа полосе света сверкнули штыки. Раздавалась сердитая команда и грубая ругань, кого-то ударили прикладом, кто-то возмущенно кричал, кто-то стонал. Целую партию выгнали во двор. Некоторых волоком поволокли по лестнице, и сабли гусаров звенели, ударяясь о каменные ступеньки. У двери мелькнула офицерская фуражка, и сердце господина Перье забилось, но фуражка тут же скрылась. Двери захлопнулись, загремел замок. Притихшие было арестанты снова зашептались. Сосед приблизил лицо к самому уху господина Перье:

— За сегодняшний день это уже третья партия. Первый раз даже мы слышали залп. Наверно, расстреляли тут же во дворе монастыря. Может быть, и сейчас услышим.

Очевидно, прислушивался весь подвал. Под сводами стоял лишь тихий шорох, похожий на шум листвы во время дождя. Но залпа не последовало. Шепот становился все громче, снова раздавались стоны и плач. Сосед опять зашептал в самое ухо господину Перье:

— Говорите тише — тут шпионы. Сегодня мы одного уже опознали. Изо всех сил ругал Тьера, Мак-Магона и всех версальцев. Нашлись дураки, которые ему поддакивали. Утром всех увели.

Господина Перье взяла злость на этого неугомонного болтуна. Ему, торговцу вином, фруктами и гастрономией, дела нет до всей этой швали из парижских предместий, до всех этих революционеров, которые заслуживают только пули! Он всегда был сторонником порядка и законного правительства. А недоразумения всегда возможны...

Но сердце у него по-прежнему ныло от обиды. Господин Перье стиснул зубы и закрыл глаза.

Когда он снова проснулся, светлое пятно окна стало свинцово-серым. Густая, тяжелая и душная тьма опустилась до самого пола и навалилась на грудь. Под ложечкой мучительно сосало. Казалось, все внутренности свело от изжоги. Господин Перье всегда был умерен в еде, а теперь ему так зверски хотелось есть и пить, что даже стыдно стало. Но голод не давал заснуть. Сосед повернулся к нему спиной и, наверно, толкал теперь кого-то другого, судя по доносившемуся с той стороны сердитому ворчанию. В подвале стало тише. Гнетущие свинцовые сумерки заставили всех умолкнуть. Но вот господину Перье показалось, что сосед справа что-то грызет. Да, что-то хрустит у него на зубах. Наверно, печенье... У господина Перье потекли слюнки. Дома в кухонном шкафчике остался жареный цыпленок и полбутылки белого вина.

Он повернул голову направо.

— Воды здесь не дают? А поесть чего-нибудь?

Сосед перестал грызть и засмеялся с закрытым ртом.

— Правда, я тут только вторую ночь, но пока ни еды, ни питья не видал. Просто господа версальцы еще не успели прислать нам булок, жаркого и вина. Зато к завтраку, наверно, подадут куропаток под шпинатным соусом и бутылку шампанского на брата. Тьер прямо со своего стола пожалует.

Он снова неприятно засмеялся, но тут же осекся:

— Есть хочется? Буржуйского ужина у меня нет, но поделиться могу...

Господин Перье почувствовал на ладони какой-то твердый предмет. Когда он поднес его к губам, в нос ударил запах плесени. Это был кусочек засохшего кисловатого пшеничного хлеба. Но он не захрустел во рту господина Перье: у него осталось только три мало-мальски здоровых зуба. Он валял сухарь во рту до тех пор, пока тот не размяк. После этого есть захотелось еще сильнее. Кроме того, ужасно мучила жажда.

Стало совсем темно. Заключенные улеглись. Кое-где раздавался протяжный храп, некоторые вскрикивали и вскакивали во сне. Многие яростно чесались, осаждаемые паразитами. Господин Перье чувствовал такую разбитость во всем теле, как будто его переехала ломовая телега. Он немного посидел, обхватив колени руками, потом лег на спину и сложил руки на груди, засунув пальцы под мышки. Серое пятно окна едва виднелось на фоне стены.

Когда господин Перье проснулся в первый раз, где-то на башне били часы. Он насчитал десять ударов, но первых, должно быть, не слышал. На дворе лил дождь. Вода с журчаньем

стекала с мостовой в приямок и оттуда по стене в подвал. Лежащие под окном ворчали и старались отодвинуться подальше. Но у соседей не было возможности потесниться, дать им место.

Во второй раз господин Перье проснулся на рассвете. Он так замерз, что у него зуб на зуб не попадал. Из синеющей оконной ниши несло холодной сыростью. На дворе сменялся караул. Слышались слова команды, звяканье шпор и сабель, стук ружей и тяжелый топот сапог.

Господин Перье снова забылся в тревожном, полном кошмаров сне. К нему пришла мадам Лизандер, и они оба пили вино, грызли бисквиты, так что хрустело на всю комнату. А они все ели и ели и не могли наесться. А треск становился все громче и громче, казалось, вот-вот лопнут от него барабанные перепонки.

Господин Перье проснулся. Во сне он привалился к соседу, и тот, просыпаясь, разбудил его.

Сосед приподнялся, опершись на руки, будто нарочно стал на четвереньки. Щетинистая борода и губы были в земле, глаза загноились, багрово-синее лицо отекло, грязная рубаха распахнулась на груди.

Нет, это был не хруст печенья. Дверь отворилась настежь, и на лежащих упала полоса желтого света. Из глубины подвала к двери двинулась толпа. Подталкивая прикладами и штыками, солдаты гнали к выходу двух скованных вместе пленников. Толкая друг друга и спотыкаясь, они плелись, позвякивая цепью. Лязг ее напоминал то жалобный плач умирающего ребенка, то завывание затравленной собаки.

— Прощайте, товарищи! Да здравствует...

Бряцание ружей заглушило их крик. Дверь захлопнулась. Приглушенный топот сапог по лестнице... За окном грянул залп и вслед за ним негромкий выстрел из пистолета...

Пленники затаили дыхание. Где-то в углу фыркала и скреблась крыса. Сосед господина Перье опустился на колени и, как мусульманский дервиш, припал лбом к полу, протянув вперед обе руки ладонями вниз. Но вот он встал и тряхнул гривой.

— Вот и жаркое. Славный завтрак для господина Тьера.

Господин Перье с ненавистью посмотрел на него.

Якобинец, революционер проклятый! Сообщить о нем куда следует... Эта мысль гвоздем засела у него в голове и не давала покоя. Ведь это поможет ему поскорее выбраться отсюда...

До обеда господин Перье провалялся, мучаясь от боли и придумывая разные планы. Он не переставал дрожать. Все тело ныло, в ушах стоял шум. Нестерпимо хотелось пить. Язык рас-

пух, стал тяжелым. В порыве бешеной злобы господин Перье вскочил на ноги. Пошатываясь, размахивая руками, он старался устоять в узком промежутке между соседом, который дергал ногой, и каким-то мальчишкой со светлыми, как лен, волосами.

— Негодяи проклятые... Якобинцы!.. Из-за вас честный гражданин должен мучиться и превратиться в свинью!

Голос звучал так хрипло и глухо, что он сам его не узнал. Тяжелый удар сапогом в бедро — и он отлетел через двух соседей в мокрый после дождя угол.

— Что эта скотина там врет?.. Это, верно, шпион... Бейте его!..

Но бить не стали уж очень он казался жалким. Совершенно обессилев, господин Перье опустился в лужу и, обхватив обеими руками колени, уткнулся в них лицом.

Под вечер часть заключенных выгнали во двор. Брали первых попавшихся, не выбирая. Господин Перье тоже очутился в этой группе. Никто не знал, что их ожидает. Побоями и руганью всех согнали в кучу, и вооруженные пистолетами или саблями жандармы оцепили ее. Покуривая и зубоскаля, мимо прохаживались солдаты. Между арестованными шныряли два субъекта в штатском, и, видимо, по их указке двоих отделили от толпы и погнали куда-то за угол. Сопротивление не помогало, удары прикладами заставили их идти.

Господин Перье оказался в самой середине толпы. Мимо прошло несколько офицеров. Но лица их выражали такое высокомерие и ненависть, что он не осмелился обратиться к ним. Всякая попытка вырваться из толпы была заранее обречена на неудачу. Конвой только и ждал случая, чтобы пустить в ход пистолеты и сабли. Каждого, кто осмеливался двинуться, нещадно избивали. Мальчугану с льняными волосами раскроили нос и верхнюю губу. Вместе с кровью он выплюнул два зуба. Никто не протестовал. Гусары хохотали, позвякивая шпорами. Офицер оглянулся, и в глазах его сверкнуло презрение.

Раньше господин Перье с удовольствием наблюдал, как в садике Берна расправлялись с бунтовщиками. Теперь он сам очутился среди этих людей, которых гнали, как убойный скот, и на душе у него было очень невесело. Однако он полной грудью вдыхал свежий воздух и даже несколько успокоился, когда толпу вывели за ворота и погнали вниз по улице.

Только бы не мимо собственного дома и окон мадам Лизандер!.. Но с первых же шагов ему стало ясно, что идти придется той же дорогой, по которой гнали накануне. Господин Перье спрятался в самую гущу толпы и втянул шею в плечи. Ставни

дома были открыты, окна настежь. Господин Перье разглядел пустые полки, кучи хлама на полу. Перед дверью, развалясь в его мягком кожаном кресле, сидел с сигаретой в зубах какой-то капрал и любезничал через улицу с Клариссой — швеей из мастерской мадам Лизандер. А она, нарядная, в новой голубой блузке, налегла грудью на подоконник и хохотала, поблескивая белыми зубами. «Блудница,— подумал господин Перье,— не прошло и двух недель, как она носила на баррикады жратву федератам...» Но все это лишь на миг заняло его мысли. Господин Перье обернулся и все смотрел и смотрел на свой домик, покамест мелькнувший у самых его глаз пистолет не заставил его шагать со всеми в ногу.

Господина Перье душили слезы. Развалился в его кресле — в грязных сапогах, с сигаретой в зубах! Даже Огюст не осмеливался садиться в него, когда бывал в гостях во время отпуска. А ему самому приходится шагать со всей этой швалью с парижских окраин... Неужели не встретится ни один человек, который мог бы освободить его? Господин Перье ухватился за эту мысль и стал внимательно разглядывать прохожих.

Их гнали и по кривым уличкам, и по прямым бульварам. Вначале у всех была одна мысль: куда? Но люди были измучены голодом и усталостью, и вскоре им все стало безразлично. Они шли, как стадо скота на бойню, зная, что надеяться уже не на что и сопротивление не поможет. Их подгоняли пинками и бранью, но все без толку. Пленники стали равнодушны даже к ударам и плелись все медленнее.

Вышли на довольно широкую улицу. Вдруг жандармы кулаками, ногами и рукоятками пистолетов стали оттеснять пленных к самому тротуару. Навстречу ехал какой-то важный генерал. Неторопливо бежала пара раскормленных вороных — генерал, видно, не спешил. К тому же рядом с ним сидела разодетая метресса с белой болонкой на коленях. Вдруг из толпы пленников раздался нечеловеческий вопль:

— Ваше превосходительство! Куда они меня гонят? Я не виновен!..

Небольшой лысый толстяк, у которого весь затылок был покрыт запекшейся кровью, рвался, как безумный, к коляске. Генерал кинул на него равнодушный взгляд и отвернулся, нагнулся к даме и пощекотал затянутыми в перчатку пальцами шею собачки. Собачонка оскалила зубы. Дама осклабилась.

Господин Перье получил лишь два удара в грудь и один, особенно чувствительный, в челюсть. Улучив момент, когда жандармы, вытянув шеи, как гусаки при виде незнакомого пса,

повернули головы к генералу, какой-то пленник в синей блузе сбросил деревянные башмаки, перемахнул через низкую изгородь и с быстротой птицы перелетел через садик. Три, четыре выстрела грянули ему вслед. Но пули не задели беглеца, или он отделался легкой царапиной и, перемахнув следующую изгородь, скрылся из виду.

Никто за ним не погнался. Одним больше, одним меньше — невелика разница. Кто им ведет счет? Зато целый поток отборной ругани и ударов обрушился на остальных. Солнце уже опускалось за верхушки деревьев, но пекло нестерпимо. От невысохших после ночного дождя луж подымался пар. Из подвальных люков, садиков и слегка засыпанных траншей несло нестерпимой вонью. Пленники изнемогли, устали и конвойные. На Елисейских полях сделали привал.

Арестанты, как по команде, опустились наземь. Кто лежал, как мертвый, с закрытыми глазами и открытым ртом, кто сидел, сжавшись в комок, и смотрел вдаль помутившимся взглядом. К ним стали подходить гуляющие.

Господин в цилиндре и с седой бородкой хлопнул по плечу усатого жандарма.

— Браво, дружок! Славный у вас улов. Но почему вы их гоните просто так, ватагой? Надо связать, заковать в кандалы! Полчаса тому назад прогнали одну банду — там они все были одним канатом связаны. Как голуби на телеграфной проволоке — ха-ха-ха! А гусары их нагайками — о, тогда у них откуда и прыть берется...

Господин вынул изо рта сигару и даже нагнулся, чтобы приглядеться получше. Сидевший на земле сгорбленный старик не сводил с него своего единственного слезящегося глаза — другой был перевязан грязным красным платком. И вдруг господин побагровел до самого цилиндра.

— Мерзавцы! Бродяги! Все вы разбойники, как и ваши главари — Делеклюз, Верморель и Варлен! Красной тряпкой повязался! Какой наглец — он еще насмехается над нами!

Он тыкал палкой с железным наконечником, целясь прямо в глаз старику, но не попал. Только красная полоса осталась на серой щеке. Жандармы с хохотом отстранили господина.

Барышня, на высоких каблучках, с зонтиком на плече, подпрыгнула, как коза, и взвизгнула, покраснев так же, как папаша.

— Куда вы этих собак ведете? Расстреляйте их тут же!

Тронутый таким патриотизмом, усач козырнул ей:

— С величайшим удовольствием, мадемуазель. Но всему

свое время. Смерть для этих зверей — ничто. Они глотают пули так же хладнокровно, как трюфели со стола буржуев.

Барышня притихла. В глазах ее блеснули слезы.

— Какая жалость! Мне так и не удастся посмотреть, как умирают эти псы.

Уличный мальчишка и кучка проституток с улюлюканьем закидывали арестантов песком и грязью. Конвойные и пальцем не двинули, чтобы оградить их.

Господин Перье дрожал всем телом. Присев на корточки, он спрятался за широкую спину какого-то рабочего. От страха во рту у него пересохло, так что щеки прилипли к деснам. Назойливые мухи с жужжанием облепили его затылок, но он не догадывался отогнать их.

Двинулись дальше. Толпы зевак на тротуарах все росли. Опьяненный Париж ликовал победу, и толпа арестантов веселила сердца. Господа и дамы, весело болтая, показывали на них пальцами и потешались, как при виде бродячего зверинца. Кафе были переполнены. Оттуда, пошатываясь, выходили пьяные граждане со стаканами вина в руках и выплескивали опивки арестантам в глаза. Заразившись озлоблением толпы, жандармы набрасывались на них с побоями и руганью. Вот хлопнул выстрел, но невозможно было обернуться, взглянуть, кто же упал посреди мостовой, на кого, словно стая стервятников на падаль, набросилась толпа. Какой-нибудь храбрец, оттолкнувший поднятый на него кулак, или строптивец, плюнувший в хохочущую физиономию и хладнокровно подставивший грудь под пулю? А может быть, просто несчастный не мог поспеть за другими и споткнулся на неровной мостовой...

Когда вышли на Версальское шоссе, все поняли, что их гонят в Версальскую тюрьму. В потухших глазах блеснул отблеск надежды. Их будет судить полевой суд. Какой бы он ни был, но без следствия теперь расстреливать не будут. Стертые, затекшие, мокрые ноги зашагали бодрее. Понурые головы поднялись выше.

Господин Перье побагровел от одышки. Голова кружилась, в глазах стоял туман. Каждую секунду он мог упасть под ноги толпы. Он отлично понимал, что это будет его последней минутой, поэтому старался опереться на плечи соседей и машинально передвигал ноги. В Версале его судить не будут. Он ничего дурного не сделал. Ему вспомнились слова Тьера о правосудии, и в душе его снова воскресла надежда. Только бы не упасть на дороге, только бы выдержать. Возле форта Ламьетт их вдруг остановили. Растолкали и построили в две шеренги. Они удив-

ленно переглядывались, не понимая, что это значит. Но вот на дороге показался верхом на коне генерал. За ним под командой двух офицеров шел отряд солдат с ружьями на плечах. Это был Галифе со своей постоянной свитой.

Галифе сошел с коня и неторопливо прошелся вдоль шеренг. На нем был новый, с иголочки мундир и лакированные сапоги. Рука в белой перчатке играла хлыстом. Спокойное, даже приветливое лицо генерала казалось усталым. Но его ледяные глаза пытливо, будто кого-то разыскивая, впивались в каждое лицо.

Очевидно, он не находил, кого искал, а может быть, и сам не знал, кого ему надо. Обойдя полшеренги, он остановился против коренастого человека — не то грузчика, не то мусорщика — с копной жестких черных волос и злыми глазами.

Генерал дотронулся до его плеча хлыстом и усмехнулся.

— Где ты, приятель, потерял фуражку? Был занят важным делом или без оглядки спешил вместе с остальными в Версаль?

Когда генерал остановился против черноволосого, по раскрасневшемуся лицу пленника пробежала тень, колени у него дрогнули, а от прикосновения хлыста ссутулились плечи. Но он тут же взял себя в руки и выпрямился. В остекленевших глазах сверкнули зеленоватые огоньки.

— Нет, господин генерал. Я доставлял патроны для защитников баррикад на бульваре Сен-Марсель.

Его резкий, вызывающий голос прозвенел на обе шеренги. Его услышали все. У Галифе нервно дрогнули веки.

— А-а! Откровенность — похвальная черта. Но почему у тебя такие черные и щетинистые волосы? Ты не француз. Ты итальянец или испанец.

— Я такой же итальянец или испанец, как вы герой, господин генерал.

Генерал покраснел и взмахнул рукой. В ту же секунду на черноволосого набросились жандармы. У господина Перье потемнело в глазах. В этот миг он был готов сам сорвать с плеч свою непокрытую голову и спрятать ее под ногами соседей. Но он стоял во второй шеренге, и рассерженный Галифе прошел мимо, не обратив на него внимания.

Последним в шеренге был паренек со светлыми, как лен, волосами и разбитым носом. Он тоже был без шапки. Хлыст со свистом опустился ему на голову.

— Откуда ты такой взялся? Верно, не сумел у себя в Польше или Дании сделать революцию? И решил своими мерзкими лохмами удивить Париж? Марш!

Юноша упал как подкошенный. Но его мигом окружили конвойные и пиками подняли на ноги. В следующую минуту его поставили к стене рядом с черноволосым. Тот стоял выпрямившись, спокойно скрестив на груди руки. Кинув презрительный взгляд на юнца, который потерял сознание, он повернулся к выстраивавшимся по команде офицеров солдатам:

— Что вы дрожите, как бабы! Стреляйте смелей!

— Вперед! Марш!

Пленников погнали бегом. Дальнейших слов черноволосого они уже не расслышали. Позади раздался нестройный залп.

Солнце зашло. Быстро темнело. Пленники тащились, затаив дыхание из страха, что их вот-вот остановят и опять выстроят в шеренгу. Но больше остановок не было. Поход продолжался без задержек. Впереди засверкали огни Версаля.

В Версале было четыре места заключения. Подвал большой конюшни, дворцовая оранжерея, манеж Сен-Сирского военного училища и Саторийские доки. Многие из арестованных бывали в Версале и раньше. Но сейчас, измученные до полусмерти, они не могли разглядеть в темноте, куда их гнали. Впереди оказалось что-то вроде коридора — это можно было заметить по тому, что толпа растянулась цепочкой, и последним пришлось подождать, пока прошли передние. Потом очутились в узкой щели между каменной стеной и каким-то домом. На фоне облачного неба темнели силуэты огромных зданий.

Но и тут их не оставляли в покое. Передних жандармы отталкивали назад, задних пиками и прикладами гнали вперед. Пленники поняли, что их загоняют в какое-то здание. Держась за стену, они добирались до дверей. Но помещение было уже набито битком, и их встречали штыки внутренней охраны. Некоторым все же удалось протиснуться. Они очутились среди множества лежащих и сидящих людей в удушливо жаркой, наполненной миазмами атмосфере, которая отравляла кровь, словно угар, идущий из жерла невидимой, громадной печи. Оставшимся на дворе повезло больше. Они опустились на сырую прохладную землю и забылись в тяжелом сне. Некоторым посчастливилось найти не высохшую еще лужу. Отталкивая друг друга, как звери, припали они к густой, отвратительно пахнувшей жиже и пили ее.

Господин Перье заснул прежде, чем успел опуститься на землю. Это был даже не сон, а какое-то странное забытье, когда некоторые чувства еще бодрствуют и в мозгу трепыхается оборванная мысль. Кругом была глухая могильная тишина, только в ушах отдавался похожий на удары деревянного мо-

лотка по железу стук собственного сердца. Постепенно затихал и он. Господину Перье казалось, что он умирает. Он не испытывал ни страха, ни желания бороться за жизнь. Гнетущее безразличие, как ватное одеяло, окутало его сознание.

Перед восходом солнца арестантов разбудили выстрелы над самой головой. Им показалось, что стреляют прямо в них, и все подняли головы.

— Лежать, собаки! Стрелять в каждого, кто пошевельнется!

Пленники опять припали к земле. Но и затуманенные глаза научились в одну секунду замечать многое. С отрядом солдат, которые должны были сменить уставший от экзекуций и дальнего перехода конвой, явился и сам комендант лагеря, капитан Обра. Заодно солдаты тут же у стены расстреляли троих пленников. То ли они уже были приговорены к смерти, то ли пытались убежать или оскорбили охрану... А может быть, капитан Обра проскучал всю ночь и захотел устроить себе утреннее развлечение. Могло случиться также, что ночью его мучили кошмары и он решил отомстить за них. Словом, здесь могло быть все, что угодно.

Господин Перье увидел то же, что и остальные. Двое рухнули сразу, а третий валился медленно-медленно, цепляясь руками за стену, будто во что бы то ни стало хотел удержаться на ногах. Но вот он уже лежал и хрипел, а башмаки его, как деревянные вальки, колотили по земле. Это продолжалось очень долго, арестантам казалось — целый час. Потом стук башмаков прекратился, и хрип сменился пронзительным воем. Пленники обеими руками зажимали уши. Самое ужасное было то, что вой повторялся с долгими перерывами и от него нельзя было ни убежать, ни спрятаться.

Господин Перье тоже зажал уши, но слышал все. Тело у него ныло, как от побоев, руки и ноги были словно вывихнуты, подошвы горели огнем, но об этом он не думал. Как ужасно, что он не умер и снова способен был думать. И он думал и вспоминал, и только вой подстреленного время от времени нарушал ход его мыслей.

Перед ним прошли все пережитые накануне несправедливости, страхи и унижения. Вспомнил он, что во сне стоял перед своим домом и шутил с Клариссой и она улыбалась ему из окна. Жестокие сны! Господин Перье сжал руками голову и горько заплакал.

Солоноватые слезы стекали ему в рот, он машинально глотал их. И тут снова почувствовал, что язык у него распух от нестерпимой жажды и челюсти сводит судорога.

Все вокруг пришло в движение — очевидно, разрешили встать. Господин Перье тоже попытался подняться на четвереньки.

В другом конце лагеря пленники в ужасе шарахнулись в разные стороны. Теперь они увидели, что лужа, из которой они ночью пили, была окрашена кровью. Видно, кто-то до них промывал здесь раны... Но потом случилось нечто еще более страшное... К луже подполз лысый толстяк и, лежа на животе, принялся жадно пить.

— Проклятый! Он лакает кровь своих братьев!

Но господин Перье уже отпрянул от лужи. Он весь дергался и дрожал, как будто в рот ему влили кипящее масло. С трудом добрался он до стены и сел, прислонившись к ней спиной. Рядом лежал, уткнувшись лицом в землю, подстреленный. Он больше не выл, тело его было неподвижно, только ноги все еще дергались.

Кто-то сел рядом с господином Перье.

— Ведь он уже ничего не чувствует? Правда, он уже без сознания?

Сосед ответил не сразу:

— Возможно. А может быть, и нет. Узнаем, когда придет наш черед. Это они делают, чтобы помучить живых. Смерть — это пустяки, а вот это... Нет, я не выдержу. Вот увидите, я сойду с ума.

Господин Перье схватил его за руку.

— Зачем вы так говорите? Мы ведь только подследственные. Нас освободят.

Сосед пристально посмотрел ему в глаза.

— А вы, может быть, раньше моего сошли с ума?

Правду говоря, господин Перье и сам мало верил тому, что говорил. Не то чтобы его вера в правосудие, справедливость и в свою невиновность поколебалась, но сейчас в нем происходило что-то не совсем ему понятное. Нервы размякли, казавшаяся такой плотной ткань его убеждений расползлась и превратилась в жалкие лохмотья. Если бы господина Перье освободили немедленно, он все равно не мог бы уже думать по-старому. Слишком много было пережито им и перевидано.

Он сидел у стены, больной, разбитый, и думал. Солнце подымалось все выше и стало немилосердно жечь. И хотя видневшаяся за стеной верхушка кудрявого каштана качалась из стороны в сторону, на огороженной в виде параллелограмма площади ветра совсем не чувствовалось. Три громадных барака накалялись от солнца. Поверх перил, загораживавших прогал

в стене, видна была обвитая плющом роскошная балюстрада какого-то дома. Весь Версаль с его строениями, подвалами и площадями был битком набит арестованными федератами и просто схваченными на улице гражданами. Неведомо по каким признакам рассортированные и вновь пересортированные по разным группам люди лежали, сидели и стояли, вплотную прижавшись друг к другу. Окружавшие их со всех сторон охранники с тупыми и злыми лицами готовы были каждую минуту направить на них дула ружей. Что-то высматривая и вынюхивая, между арестованными шныряли жандармы и шпионы в штатском. Окрики и выстрелы, хрипенье умирающих, стоны избитых и раненых, вопли сошедших с ума... Все кипело, словно в каком-то адском котле. Везде лежали расстрелянные, просто умершие или потерявшие сознание пленники. Черные тучи мух кружились над лужами крови, люди валялись в собственных испражнениях, и над всей этой клоакой стояла невыносимая вонь.

Господин Перье не в силах был отвести глаза от дергавшихся ног подстреленного. Странно. Когда в Париже расстреливали инсургентов, это казалось даже занятным. Сухо, молодцевато грянет залп, и люди падают как подкошенные, а привязанные к деревьям оседают с поникшей головой. Многие умирали с громкими возгласами, как вчера тот черноволосый парень у форта Ламьетт. Эти люди умели бунтовать против законной власти, умели и умирать. Но никогда господин Перье не мог себе представить, что человека можно вот так подстрелить и бросить: пусть мучится у всех на глазах. Этого он больше не мог вынести. Казалось, еще минута, и он сам забьется в нервном припадке.

Около полудня принесли в деревянном корыте какое-то месиво. Но ели только те, кто был поздоровее или себя не помнил от голода. Господин Перье с трудом глотнул раза два этой тухлятины, и ему еще сильнее захотелось пить. Но воды не давали. Сидя на солнцепеке, он вдруг стал бредить с открытыми глазами. Вот он стоит у себя в кухне, черпает белой кружкой из полного ведра и пьет, пьет...

Очнувшись, он громко застонал. Потом выпрямился и встал. Может быть, ему опять померещилось? Перье увидел своего приказчика Люсьена. Вместе с другими конвойными он гнал через площадь новую партию пленников. Но как же так?.. Ведь Люсьен ушел к революционерам! Однако о Люсьене господин Перье думал недолго. Все его тело болело, как одна сплошная рана, внутренности горели огнем.

Ночью их загнали в какой-то подвал. Здесь было похуже, чем на Монмартре,— еще темнее, народу еще больше, вонь сильнее. Когда утром пленников снова выпустили во двор, они некоторое время стояли как слепые. Но конвой погнал их, и они, шатаясь, хватаясь друг за друга, побрели через площадь, сами не зная куда.

Господин Перье очутился у загороженного перилами прогала в стене. По ту сторону была площадь поменьше, но также забитая арестованными. Их тоже окружала стража, готовая проткнуть штыком каждого, кто попытается подойти к перилам и перекинуться словечком с кем-нибудь знакомым, оказавшимся по эту сторону ее. У господина Перье знакомых там не было. Без всякого интереса смотрел он на окружающее. Он отупел, и ему все стало безразлично. Плоть была еще жива, но дух уже умирал.

Совершенно равнодушно господин Перье смотрел, как арестованных отгоняли к противоположному краю маленькой площади, а на середину ее вывели, видимо, из какого-нибудь подвала или барака, группу женщин. Среди них были и довольно прилично одетые, но большинство — в лохмотьях, с обмотанными грязными тряпками руками, с незажившими ранами на лицах. У некоторых юбки были разорваны сверху донизу и кое-как скреплены. При малейшем движении высовывались голые колени. Одна держала на руках ребенка.

Красное, подернутое дымкой солнце палило им головы, жандармы толкали, но им никак не удавалось выстроить их в правильные ряды. Какая-то почти совершенно седая старуха без кофты, с длинными, как у скелета, руками, не выдержала и упала навзничь. Конвойные подхватили ее под мышки и уволокли.

Был уже второй час дня. В это время на парижских бульварах мирно спят еще в своих квартирах дамы, которые только в восемь часов утра вернулись домой с ужинов или из тайных домов свиданий. Спят и те, кого мужья оставили одних на перинах только около полудня. Остальные отправились в Версаль поглядеть на пленников — совсем как раньше в цирк или зоологический сад. Когда же удавалось поймать особенно важного преступника, некоторые дамы приезжали во второй раз в сопровождении своих мужей — гусарских офицеров.

Капитан Обра ждал гостей к двум часам, а в половине третьего он привел их в лагерь. Как услужливый владелец зверинца и любезный хозяин дома, комендант шел впереди, обращая внимание гостей на что-нибудь особенно любопытное.

За ним, щебеча, смеясь, с любопытством разглядывая заключенных, следовала стайка дам в светлых летних туалетах. Процессию завершали две девушки под одним зонтиком. Они, видимо, были тут впервые, и в глазах их можно было прочесть изумление, страх и отвращение. В руках у них были надушенные платочки, которыми они время от времени зажимали носы.

Конвоиры стояли навытяжку и отдавали гостьям честь. Комендант ударил хлыстом по голенищу.

— Смирно, суки! В шеренгу! Брюхо убрать!

Вдруг кто-то взвизгнул. Комендант оглянулся. Это была толстая супруга полковника национальной гвардии и представителя военно-полевого суда в Шателе — Луи Фабра. Она едва не наступила на кучу нечистот и, отскочив в сторону, отряхивалась, как облитая водой курица.

Капитан улыбнулся и галантно поклонился.

— Осторожнее, милые дамы! Эти скоты где стоят, там и гадят.

Супруга издателя демократической газеты госпожа Ренар переложила зонтик на другое плечо и надула губы.

— Какая дикость, какая нецивилизованность! Правда, мы сами слишком мало заботились о просвещении этих тварей. Впредь нам придется почаще читать на окраинах лекции по санитарии и общественной гигиене. Чистота и порядок в центре города еще не помогут, если кварталы бедняков каждое утро угрожают Парижу эпидемиями...

Дочь банкира Мулена, худая и смуглая, как цыганка, подошла к женщине в разорванной юбке.

— За что тебя арестовали? Что ты натворила?

— Я перевязывала раненых на площади Вольтера.

Мадемуазель Мулен переглянулась с остальными дамами. Такими руками, в такой одежде! Как тут не быть заражению крови? До чего темны эти люди. Но супругу мэра шестого округа, госпожу Лорио, интересовало другое.

— Где ты так изорвала одежду?

Даже сквозь слой грязи на лице женщины видно было, как она покраснела.

— Версальцы хотели меня изнасиловать.

Изумленная госпожа Фабр придвинулась ближе.

— Что ты сказала? Наши славные освободители? И тебе не стыдно так лгать? Да они детей из горящих домов выносили...

Дамы подошли ближе. Девицы под одним зонтиком вылезли вперед.

— Где, говоришь ты? Где это произошло?

Вдруг в другом конце шеренги раздался громкий низкий голос, такой спокойный, что казался невероятным в этой толпе затравленных людей.

— Гоните домой этих поросят, пусть уж развлекаются взрослые...

Несколько дам вскрикнули. Комендант больше всего боялся таких инцидентов. Они случались довольно часто, и их почти никогда нельзя было предусмотреть и предотвратить. Чего доброго, гости могли подумать, что он не в силах справиться с этим зверьем. Однако на этот раз он не набросился со своим хлыстом на дерзкую крикунью, даже не приказал увести ее,— очевидно, боялся скандала. Весь побагровев, он взмахнул хлыстом и крикнул:

— Опустить глаза, когда мимо проходят порядочные женщины!

Дамы шарили взглядами по толпе, отыскивая наиболее интересные экземпляры. Почти у всех горели щеки и в глазах отражалось любопытство и отвращение. Что за твари! Все газеты полны сообщений о зверствах и невероятном распутстве этих женщин. Это даже как-то щекотало нервы!

Женщина с ребенком хотела припасть к руке госпожи Ренар. Она решила, что эта сильно декольтированная дама в платье из брюссельских кружев и в бриллиантовых перстнях по меньшей мере маркиза или генеральша.

— Сжальтесь, барыня! Дитя погибает! Уже третий день у меня нет ни капли молока...

Госпожа Ренар с серьезным видом кивнула коменданту:

— Послушайте, капитан! Зачем ее держат здесь?

Это уже было вмешательство в его служебные дела. Обра холодно пожал плечами. Он не обязан всех их знать. Если кто интересуется, может получить сведения в канцелярии у секретаря. Бродяги, проститутки, убийцы — все они заодно с бунтовщиками.

— Нельзя ли помочь ребенку?

Капитан иронически поклонился:

— Их расстреляют вместе.

Ему вовсе не хотелось, чтобы дамы дошли до конца шеренги, но их, как видно, больше всего заинтересовала именно дерзкая крикунья. Остановить их силой было неудобно. И вот уже госпожа Фабр, приставив к глазам лорнет с перламутровой инкрустацией и золотой ручкой, подошла почти вплотную к заключенной.

— А ты зачем здесь?

А та стояла, скрестив на груди мускулистые руки,— статная, высокая, на полголовы выше капитана. Глубокий рубец пересекал ее лоб. Вопреки приказу она одна стояла, не опуская глаз. И эти полные ненависти глаза метали искры.

— Затем, чтоб вы со своими любовниками могли до обеда валяться на перинах.

Снова госпожа Фабр отскочила, как облитая водой курица.

— Капитан, неужели у вас нет пуль для этих нахалок?

Комендант только пожал плечами и повел дам дальше. В лагере у него несколько таких, с которыми ничего нельзя поделать. Бесстыдство и упрямство этих потаскух не поддается описанию. Обычно жандармы в первый же вечер справляются с ними, но с этой никто не может справиться. В одном из подвалов есть замечательный уголок, который сами арестанты прозвали львиной пещерой. Даже самые отчаянные и сильные мужчины не могли выдержать там больше шести часов и выходили оттуда бледные, как мертвецы, и смирные, как агнцы. А эта просидела круглые сутки — и хоть бы что. Как будто выспалась на сеннике. Не находится средств заткнуть ей пасть. Можно подумать, что в нее вселился сам дьявол. В варварское средневековье ее сожгли бы на костре как ведьму. Мы с нашей гуманностью терпим все выходки. Пулю, говорите? К сожалению, в данный момент это невозможно. Она уже осуждена и ждет своей очереди. Вечером ее передадут патрулю. Таких мы обязаны охранять особенно строго. Если по списку недостает кого-нибудь, выйдут неприятности. Наши суды придерживаются строгой законности...

Мадемуазель Мулен грустно покачала головой.

— Какая жалость! Я никогда не видала вблизи расстрела. В газетах пишут, что они перед смертью богохульствуют, кощунствуют над святым причастием, поносят правительство. Какой-то негодяй даже обругал священника и плюнул на крест... Не можете ли вы, господин Обра, сообщить нам, когда будут расстреливать их?

— Охотно, милые дамы, охотно. Расстрелы у нас не редкость.

— Только не завтра,— предупредила госпожа Ренар.— Завтра я занята...

Обра отвел дам немного в сторону. Туда только что принесли корытце с месивом, вокруг которого дрались арестанты. Дамы недолго смотрели на это зрелище. Госпожа Фабр отвернулась первая.

— Прямо скоты. Настоящие скоты...

Больше господин Перье ничего не расслышал. Пригнали новую партию арестованных. Толкаясь и наступая на ноги, они оттеснили его от перил.

Восьмого июня всю вторую половину дня на горизонте собирались густые дождевые тучи. Измученные зноем пленники лежали как мертвые. На закате начался ливень. Люди подставляли под крупные капли горсти и жадно пили. Когда на земле образовались лужи, они припадали к ним губами и тянули теплую мутную влагу. Как ни противно такое питье, его, по крайней мере, было вдоволь. Кое у кого, кто слишком перегрелся на солнце или вообще страдал желудком, сразу открылась кровавая рвота. Но большинство утолили жажду и почувствовали себя бодрее. Наполненный водой желудок перестал даже чувствовать голод.

Но скоро наступила реакция. Дождь лил часа полтора. Сначала прохладная влага приятно освежала истомленное зноем тело. Но скоро люди промокли до нитки, грязные лохмотья неприятно прилипли к телу. Глинистая почва размокла и стала вязкой, как замазка. Не осталось ни одного сухого местечка, где можно было присесть. Еще до полуночи пленники стали зябнуть. К утру подул холодный ветер. В загоне для арестантов тускло поблескивали желтые лужи. Стараясь согреться, охранники бегали взад-вперед, волоча сабли по земле и обдавая грязью арестантов. Придирались к каждому пустяку.

Господин Перье сидел на корточках у самых перил. Накинув пиджак на голову, он старался согреться собственным дыханием и все-таки дрожал. Ему казалось, что нижняя часть его тела все глубже погружается в грязь. Холодная сырость подбиралась к самой шее.

Вдруг кто-то тронул его за плечо.

— Господин Перье! Послушайте, господин Перье!

Господин Перье выглянул из-под пиджака и тихо вскрикнул. Несмотря на то что им все сильнее овладевало тупое безразличие, жизненный инстинкт еще не совсем потух. Над ним склонился какой-то солдат с ружьем.

— Тише! Не пугайтесь. Это я — Люсьен.

Господин Перье смотрел на него широко раскрытыми, недоумевающими глазами. В сумраке лицо солдата казалось серым, словно коленкор.

— Ты... солдат? Как ты сюда попал? Я тебя еще раньше заметил.

— Я знаю. Поэтому и пришел. Побоялся, что вы меня вы-

дадите. Как увидел, что федератам все равно крышка, так удрал из Венсенского форта. Наговорил всякой всячины версальцам, и они зачислили меня в отряд. Теперь все время боюсь, что меня опознают и выдадут. Тут полно шпионов.

— Меня ты не бойся, я не выдам. Зачем выдавать? Ты у меня хорошо работал. Помоги мне выбраться отсюда. Я не виновен.

— А вы думаете, что все эти люди виновны? Сорок тысяч арестантов — кто тут станет разбираться? Версальцы хотят крови, в этом все дело. Может быть, я и помогу вам убежать. Теперь ночи дождливые, темные. Я знаю, в какое время меняется караул и ворота ненадолго открываются. При первой возможности дам вам знать. Только обо мне никому ни слова.

Но даже надежда на освобождение не произвела на господина Перье особенного впечатления. Он стал скептиком и только печально покачал головой.

— Вот и хорошо. В случае чего дай знать. Только вряд ли мне удастся бежать. Я очень слаб.

Люсьен снова нагнулся к нему.

— Тише вы, ради бога! Еще хочу сказать вам одну вещь... Огюст тоже здесь.

Господин Перье выпрямился.

— Огюст... ты сказал?

— Да. Рядом, за этими перилами. Я там в карауле. На восходе солнца нас сменяют. Я вас вчера тут заметил и сказал ему. Вы можете его увидеть и поговорить с ним — только подымите голову над нижней перекладиной перил. Нет, не сейчас... когда я уйду. Он уже обречен, но вы не говорите ему. Утром его расстреляют...

Громко ругаясь и обрызгивая заключенных грязью, он ушел.

Бесшумно, как тень, господин Перье приподнял голову над нижней перекладиной перил. Между железными прутьями показалось серое, с глубоко запавшими глазами, обросшее щетиной лицо сына.

— Огюст... О-гюст...— только и мог вымолвить господин Перье.

— Молчи! У тебя такой резкий голос. Я сам все расскажу. Из Бельвиля я удрал к пруссакам, а они, проклятые, выдали меня версальцам...

— Зачем ты это сделал? Разве ты не знал, что грозит дезертиру?

— Они заставляли меня расстреливать пленных инсургентов, женщин и детей. Я не могу убивать детей...

Он испуганно замолк и спрятал голову. Но это был Люсьен. Он шагал неподалеку взад-вперед, волоча по грязи приклад.

Огюст снова приподнял голову.

— Это Люсьен. Все будет хорошо. Он поможет мне убежать. Он знает, когда меняется караул и отворяют ворота... Что делается дома? Как мадам Лизандер? Кларисса ждет меня?

— Ждет, ждет...

У господина Перье застрял комок в горле. Лицо Огюста осветило подобие улыбки.

— Она хорошая девушка. Я обещал ей купить коралловые бусы и куплю. Повезу ее кататься в Булонский лес. Накоплю двадцать пять франков и покатаю. А ты поговори с мадам Лизандер, чтобы она не сердилась...

Господин Перье плакал. Слезы застилали ему глаза и не давали разглядеть сына. Он сердито протер их кулаками, но, когда снова открыл их, Огюста уже не было. За перилами орал какой-то капрал, и охранники отгоняли заключенных от стены.

Господин Перье не покинул своего наблюдательного поста, и через час он стал зрителем ужасной картины.

К стене поставили шестерых или семерых приговоренных к расстрелу. Некоторые шли сами, а двоих тащили. Один из них был Огюст. Чутье подсказало господину Перье, что это его сын, иначе он не узнал бы его. Огюста прислоняли к стене, а он соскальзывал наземь, и двое жандармов придерживали его, пока не подошел священник с крестом. Потом шум умолк, и даже до ушей господина Перье долетели обрывки речи слуги божьего: «Его бич больно наказывает мятежников и отступников... карает сурово, но справедливо... Наступил последний час покаяния, и горе тому, кто ожесточил свое сердце... вечный огонь ада... припадите к ногам святой девы...»

Неужели он так и сделает? У господина Перье захватило дыхание. «Не унижайся, будь мужчиной!» — кричало его сердце. Но Огюст ничего не слышал. Шатаясь, опустился он на колени, и голова его, как неживая, упала на крест, который священник сунул ему для поцелуя... У господина Перье потемнело в глазах от стыда, гнева и жалости. Но шум выстрела сделал их снова зрячими. Он видел сквозь туман, как падал Огюст, хватаясь руками за воздух, будто все еще пытаясь зацепиться за оборванную нить жизни. Еще секунду видно было, как бьет-

ся на земле его тело, а потом широкие спины солдат заслонили сына.

Эти пять минут совершенно преобразили господина Перье. Все, что было пережито и передумано им, все, что до сих пор он считал неоспоримой истиной, было сметено и унесено, как подхваченный ветром скомканный лист прочитанной газеты. Жандармы... Жажда и голод... боль и унижение... надежды и ожидания... В душе его остался только пепел. Всюду вокруг была холодная пустота...

Господин Перье упал навзничь и больше не вставал. Рядом с ним вповалку валялись другие заключенные. Слышались стоны, бредовое бормотанье больных лихорадкой и окрики охранников. Но господину Перье все было безразлично. Он лежал на спине и широко открытыми ясными глазами смотрел в пустое небо. Он видел там гордо выпрямившегося человека с черной непокорной шевелюрой, женщину со скрещенными на груди руками и горящим ненавистью взглядом...

Девятого июня в отделении, где находился господин Перье, было устроено что-то вроде парада. Заключенных не подымали — может быть, потому, что редкие из них были в состоянии держаться на ногах, а может быть, потому, что господа хотели увидеть их в натуральном виде.

В лагерь явился знаменитый писатель Доде. Он уже в третий раз приезжал сюда изучать типы парижского дна, постичь всю глубину падения нравов, понять корни безумия коммунаров и собрать материал для нового произведения, о котором уже извещали газеты. Освобожденный Париж ждал его с нетерпением. Высшее общество весьма позабавили напечатанные в «Revue des deux Mondes» [1] философические анекдоты о приключениях федератов на том свете. Следующей своей работой Доде рассчитывал заинтересовать широкие слои буржуазии.

Держа шляпу и записную книжку в левой руке, с карандашом в правой, он прохаживался по дворам Саторийской тюрьмы, заглядывал в бараки, нагибался над люками подвалов, откуда несло нестерпимой духотой и вонью и доносились стоны больных лихорадкой и гангреной и хохот сумасшедших. Он шел в сопровождении коменданта и жандармов, которые раздвигали толпу и показывали самые интересные экземпляры. Позади шествовала целая свита вооруженных записными книжками и карандашами журналистов. Тут можно было почерп-

[1] «Обозрение двух миров» *(франц.)*.

нуть богатый материал для остроумных фельетонов и отдела юмора.

Пинок сапогом вернул господина Перье к действительности из далекого-далекого мира его мыслей.

— Вставай! Господа желают посмотреть на тебя.

Красное лицо жандарма отодвинулось, и господин Перье увидел наклонившегося над ним господина в длиннополом сюртуке, с пышной растрепанной шевелюрой и бородой, с мечтательно прищуренными добрыми глазами.

— Право, привстаньте-ка, дружок. Мы с вами немного побеседуем.

У лежащего даже ресницы не дрогнули. Глаза были голубовато-серые, как лед.

— Как вы сюда попали? Я вижу, вы из порядочного общества.

Доде оглянулся, чтобы проверить, какое впечатление произвело на журналистов его удивительное знание людей. Потом повернулся к коменданту.

— Господин капитан, он у вас всегда так упрямится?

Коменданту хотелось показать, что он знает заключенных, как родных детей, хотя он впервые видел господина Перье.

— О, вы не можете представить, до чего доходит их наглость. Мы их обеспечиваем пищей — не скажу, конечно, что им подается жаркое. У нас есть больница, врач, лекарства. Но они предпочитают оставаться тут и валяться в нечистотах. Осужденные становятся к стене с таким видом, как будто оттуда ведет прямая дорога в царствие небесное.

— В самом деле? Мне хотелось бы хоть разок взглянуть на это. Вообще все, что вы рассказываете, очень интересно.

Он снова наклонился над господином Перье.

— Почему вы не желаете говорить? Может быть, вам нездоровится? Тогда попросите господина коменданта, и он прикажет отвести вас к врачу. Почему вы лежите на сырой земле? Это очень вредно для здоровья... Может быть, у вас есть какие-нибудь желания? Не могу ли я вам помочь?

Тут господин Перье раскрыл рот. Он ответил быстро и равнодушно, будто дело шло о ком-то другом:

— Скажите, чтобы меня выпустили. Я ни в чем не виновен.

Писатель и комендант с улыбкой переглянулись.

— Этого я, дружок, не могу. Не могу. Это не в моих силах. Но ваше дело, несомненно, будет разобрано. Без вины никого не осудят. Могу я предложить вам сигарету?

«Тень-спасительница»

Щелкнула крышка серебряного портсигара. Но господин Перье не взял сигареты. Глаза его закрылись, и он снова ушел в свой собственный мир.

Откуда ни возьмись к господам подскочил Жонар.

— Я его знаю. Это Клеманс Перье — он торгует вином и гастрономией. Он отдал свою мебель инсургентам на баррикады. А сын у него дезертир, и сегодня утром его расстреляли.

Писатель трагически тряхнул пышной гривой.

— Какая невероятная развращенность! Зажиточный гражданин связался с бродягами и убийцами. Вы ведь, наверное, верующий католик? А сына вырастили безбожником! Здесь требуются суровые меры. Милосердие может стать преступлением. Малодушие губит Францию.

Господа пошли дальше. Жонар еще немного потоптался возле господина Перье, но тот не обратил на него внимания. В его теперешнем мире не было места ни Жонару, ни ему подобным.

Но Жонар не забыл о нем. На другое утро около девяти часов двое жандармов пинками подняли господина Перье на ноги и повели. Он и не думал сопротивляться. Его судьба была ему ясна и безразлична. После того, что он увидел по ту сторону перил, жизнь для него потеряла всякий смысл.

Председательствовал полковник Шарко. Под Седаном два прусских улана гоняли его по полю, как зайца, пока он не упал с коня и не спрятался под мостиком проселочной дороги. Теперь он мстил за свой позор, верой и правдой служа отчизне за столом суда и ежедневно отправлял двоих-троих арестованных на тот свет, и пятерых-шестерых — в Новую Каледонию. Скрестив на груди руки, он впился взглядом в очередную жертву.

Господина Перье не испугало ни его одутловатое лицо, ни злые глаза. С чувством доселе неведомой ему гордости, высоко подняв голову, стоял он между жандармами и бесстрашно смотрел на горбатого секретаря, который нервно перебирал свои бумаги. В качестве единственного свидетеля сбоку в торжественной позе стоял Жонар.

— Ваша фамилия?

Полковник Шарко всегда выкрикивал эти слова громким голосом, чтобы напугать подсудимого. Он не довольствовался тем, что произносил приговор этим людям. Он хотел их видеть сломленными, дрожащими от страха.

Но здесь он просчитался. Господин Перье спокойно пожал плечами.

— У этого пугала, наверно, записано.

Самыми неприятными клиентами для полковника Шарко были те, которые издевались над ним и процедурой суда. Тогда он сбивался с роли и чувствовал себя неуверенно. Для таких у него был про запас другой метод. Он сразу менял тон и становился серьезным. Даже руки убирал со стола и сидел прямо.

— Гражданин! Я требую уважения к суду и судьям Франции.

Господину Перье понравилась эта комедия. В это утро у него появилось даже чувство юмора. Он оглянулся.

— Кого вы называете гражданином? Во всяком случае, это не я. И мне и остальным вы вынесли приговор до суда. У вас не тюрьма, а зверинец для развлечения парижских ипохондриков. А эти молодчики, видать, прошли школу Торквемады.

Председатель сделал изумленное лицо.

— С вами дурно обращались? Почему же вы не заявили об этом коменданту? Вы имели право обратиться и в комитет помилования.

Господин Перье устремил на него пронизывающий взгляд. Губы его скривились в презрительной улыбке. Полковник занервничал. Такое упрямство встречалось не так уж часто. Может быть, этот строптивый старикашка не понимает, что его ждет? Пошептавшись с остальными двумя судьями, он дал знак секретарю.

Эта бестия хорошо умела сочинять. Господин Перье слушал с большим интересом. Чего только, оказывается, он не делал за время мятежа! А этот тип, видно, все время стоял за его спиной и записывал. Значит, и такие люди бывают на свете! А он, Клеманс Перье, и не догадывался об этом. Пятьдесят два года прожил в Париже и не знал, что вокруг него столько гадости, подлости, лжи и жестокости... Как все это ему надоело, как опротивело!

Обвинение было прочитано. Полковник исподлобья посмотрел на подсудимого. Но нет, в этом лице нельзя было прочесть ни страха, ни отчаяния. Тогда он решил поскорее закончить дело.

Настала очередь свидетеля Жонара. Здесь чувствовалась хорошая практика и долгий навык. Он прямо соловьем разливался, то сжимая кулаки, то воздевая глаза к потолку, и подтвердил все. Время от времени, будто не в силах сдержаться, он выражал свое глубокое возмущение тем, что граждане из

порядочного общества теряют стыд и совесть и якшаются с террористами. А говоря о сыне-дезертире, указал на недостаток патриотического воспитания во Франции и необходимость соответствующих реформ.

Председатель любезно остановил его, сказав, что этот вопрос не имеет отношения к делу. Потом он обратился к господину Перье:

— Что вы можете сказать на все это?

— Только то, что никакая ложь не в силах вытравить подложную подпись на долговом обязательстве...

Его оборвали: это тоже не относится к делу. Судьи спешили. Приговор был короток и ясен.

Господин Перье только плечами пожал.

— Только и всего?

Решительно, это был несносный человек. Жандармы увели его. Во двор его больше не пустили. Повели в подвал по длинному извилистому ходу и толкнули в какую-то пустую темную дыру. Тут было тихо, как в могиле, и сыро, как на дне старого колодца. Крысы бегали по ногам, карабкались по невидимым потолочным балкам. Гул со дворов Саторийской тюрьмы доносился сюда, будто отдаленный глухой шум подземных вод.

Господин Перье понимал, что выйдет отсюда лишь для того, чтобы переселиться в иной мир. Но смерть не страшила его. Смерти боятся только те, у кого что-то еще осталось в жизни. У господина Перье ничего не осталось. Его мировоззрение, его религиозные чувства, патриотизм, вера в законное правительство, правосудие, справедливость — все было втоптано в грязь и выброшено на свалку. Огюст убит. Стоит ли болтаться еще лет пятнадцать в этом мире?

Он прислонился плечом к мокрой стене. По ней скатывались холодные капли и падали ему на шею. Здесь и стены плакали... Но господин Перье смотрел в густую тьму сухими глазами. Даже в этот последний час ему не суждено видеть солнце, синеву неба и зелень деревьев за замшелой стеной. Но сожаление лишь на миг шевельнулось в нем. Господин Перье уже покончил расчеты с жизнью...

Когда отворились со скрипом тяжелые двери и в темноте блеснула серая полоса света, господин Перье сам встал и пошел. Охранники хотели надеть наручники, но он отстранил их.

— Оставьте меня в покое. Я пойду сам. Куда я убегу? Ворота заперты, а вас так много.

Видимо, охранники признали его правоту и оставили в покое.

У стены за большим корпусом были врыты в землю четыре столба — облупленные, все в грязи и крови. Вокруг них была черная утоптанная земля. Но господин Перье не смотрел туда. Запрокинув голову, он подставил лицо искрящемуся сквозь листву каштанов солнцу и зажмурился. После слепой тьмы подвала смертников глаза с трудом выносили яркое сияние. На краю крыши сидел коричневый голубь с фиолетовой полоской вокруг шеи. Склонив головку, он смотрел вниз умными красноватыми глазками. Господин Перье улыбнулся и кивнул ему. Не удивляйся, птица! На то мы и люди, чтобы уничтожать птиц, зверей и друг друга. Без крови нет жизни. О, как мы любим этот дешевый красный сок!

Как будто узнав все, что ему было нужно, голубь вспорхнул и улетел. Господин Перье опустил голову и вдруг увидел прячущегося в какую-то щель солдата. Ружье болталось у него на плече, как простая палка. Это был Люсьен. Бедный парень, может быть, ему стыдно, что он не помог убежать старому хозяину? А может быть, он боится, что его выдадут? Но в следующий же миг господин Перье позабыл о нем. Странный холод сковал его тело, и ему пришлось напрячь всю свою волю, чтобы сдержать дрожь в ногах.

Трое остальных были уже привязаны. Один, видимо, потерял сознание. Все тело его обмякло, голова опустилась, руки судорожно корчились. Двое посередине стояли с посеревшими лицами. Из темных впадин смотрели почти мертвые глаза. Палачи стояли рядом с окровавленными тряпками в руках и ждали, когда священник кончит свое дело и можно будет завязать глаза осужденным.

С невыразимым презрением смотрел господин Перье, как они, плача, целовали крест и священник, благословляя, клал им руки на головы. Он не стал ждать, когда его поведут. Решительными шагами подошел к столбу, прислонился к нему и отстранил подошедшего с веревкой человека.

— Зачем это? Вы же видите, что я крепко стою на ногах.

Комендант патруля кивнул, чтобы его оставили в покое. Солдаты уже приготовились, и к господину Перье подошел священник.

— Покайся в грехах своих, сын мой. Это твой последний час. Скоро ты предстанешь перед всевышним — тогда будет поздно.

Господин Перье иронически улыбнулся.

— Во-первых, ты сам мог бы быть мне сыном, а во-вторых, тем, кто видел земных судей, небесного судьи бояться нечего.

Священник покраснел и рассердился.

— Ты тоже из безбожников? Несчастный! Без отпущения грехов душа твоя попадет в ад. Не ожесточай своего сердца!

Но господина Перье это не тронуло.

— Через Саторийскую тюрьму я уже прошел — каким адом ты можешь испугать меня? Если в твоей власти отпускать грехи, то призови к покаянию вон тех. И самого себя. Разве твое место тут, рядом с версальскими палачами? Ты не подумал о том, что в аду уготовано место и для тебя?

— Безбожник! Богохульник проклятый! — Священник замахнулся крестом, но ударить не решился. А может быть, просто не успел. Раздалась команда, и он отскочил в сторону.

Господин Перье выпрямился во весь рост. Можно было подумать, что он всю жизнь был героем и привык смотреть в глаза смерти.

— Чего оробели, ребята! Стреляйте смело! Страна жаждет крови — дайте ей напиться! Да здравствует Франция!

Грянул залп. Он отдался в корпусах дока, и эхо рассеялось в воздухе.

Господин Перье лежал на спине. Его блестящие глаза были широко открыты, и казалось, он смотрел туда, где сквозь колеблющуюся листву каштанов пробивалось солнце.

1924

Дверь снова захлопнулась, и оба часовых стали возле нее. Со стула поднялся элегантный молодой человек. По виду ему можно было дать чуть побольше тридцати, хотя лицо у него было желтоватое, глаза усталые, от уголков губ тянулись вниз две глубокие складки. На нем был еще новый смокинг, бархатный жилет цвета ржавчины, модные брюки с отворотами. Только рубашка была без воротничка, и это придавало молодому человеку комический вид.

Он поклонился толстому мужчине, который мелкими неуверенными шажками приближался к столу.

— С кем имею честь?

Вошедший против своей воли поклонился еще ниже.

— Падрони. Мак Падрони из «Чикаго трибюн».

Заключенный приложил ладонь к левому уху.

— Пад... Как вы сказали? Падрони? Странное имя. Вы, вероятно, не американец?

— Нет, я американец, но мои предки в начале девятнадцатого века иммигрировали в Америку из Италии.

— Ага, я так и подумал. Пожалуйста, присаживайтесь, мистер Падрони.— Он продолжал стоять, даже когда репортер, нерешительно оглянувшись на часовых, присел к столу.

— Имя мое вы знаете: Уитмор — Джордж Уитмор. Фотографию мою тоже, вероятно, видели, ее теперь печатают во всех иллюстрированных журналах. Периодическая печать мне, к сожалению, недоступна: тюремный устав не разрешает.

Теперь и он сел, удобно вытянув ноги под столом, и достал записную книжечку с серебряным карандашом на ленточке.

— Минуточку... Извините меня, но я обычно записываю. Сорок шесть... Значит, вы сорок седьмой за две недели. Падро-

ни? Действительно странная фамилия. Я ведь и сам немного говорю по-итальянски.

Церемония записывания была окончена. Уитмор вставил в глаз монокль. Падрони показалось, что этот глаз иронически смотрит на него. Но хозяин камеры не дал ему окончательно смутиться. Уставившись стеклышком в окно, он задумчиво заговорил:

— Значит, и вы из иммигрантов. Должен признаться, я всегда был против законов, ограничивающих въезд в нашу страну. Америка имеет тенденцию пересыхать, как река, берущая начало в вырубленных горных лесах. Вы, иммигранты, быстро американизируетесь экономически, политически и психологически и сохраняете необходимые Америке свойства, которые в нас самих исчезают с угрожающей быстротой.

Падрони попытался улыбнуться.

— Ну, что вы, мистер Уитмор... Не хотите же вы унижать свою нацию?

Уитмор покачал головой. Его голос стал вялым, словно его мучил легкий сплин.

— Я просто констатирую давно известный факт. Признание — первый шаг к исправлению... Взять, например, вас. Ваш предок, по всей вероятности, приехал сюда, будучи простым рабочим. Как пролетарий низшей категории и «гринер» [1], он, вероятно, мучился в джунглях Чикаго, которые весьма выразительно, хотя и несколько преувеличивая факты, описал Синклер. Теперь возьмем вас. Вы репортер большой газеты. Ваша жена, конечно, коренная американка, и дети говорят только по-английски. У вас собственный автомобиль, домик на окраине города, акции, и вы твердо надеетесь через год или полтора стать редактором и совладельцем газеты.

Заметив, что Падрони заерзал на стуле, Уитмор поспешил прервать свои философские рассуждения.

— Простите, я не собирался вмешиваться в вашу личную жизнь. Но мне приятно сознавать, что эту дальнюю поездку вы предприняли не только по поручению своей газеты, но отчасти из личного интереса. Вам захотелось посмотреть на человека, который совершенно сознательно отказался от всего такого, что вы считаете целью существования, отказался для того, чтобы стать бандитом и кончить жизнь на электрическом стуле. Это в известной мере сближает нас в чисто человеческом

[1] Гринер — новичок (от *англ.*— greener).

плане. Я готов служить вам, тем более что это мне ничего не стоит. Пожалуйста, задавайте вопросы.

Видя, что репортер замешкался, он сам пришел ему на помощь.

— В общих чертах моя биография вам, конечно, известна?

— Да. Но это лишь цепь голых фактов. Я очень прошу вас: не откажите в любезности рассказать, что, собственно, толкнуло вас на этот путь...

— ...который ведет в тюрьму и на виселицу? Я заранее знал, что вы об этом спросите. Вас интересует социальная и психологическая сторона вопроса. Но с чего, собственно, начинать? Уточните, пожалуйста, свои вопросы.

Падрони незаметно заглянул в маленькую записную книжку, зажатую в горсти.

— Рассказывают, что вы уже в десятилетнем возрасте проявляли склонность к... к своей будущей профессии.

— А, вы хотите с самого начала! Ну, да все равно. В таком случае вам следовало бы знать, что начало лежит далеко за пределами этих десяти лет и за пределами меня самого. Пожалуй, следует начать с легенды о моем прадеде, который в течение многих лет был наемником в армии мексиканского генерала-грабителя. Его старшие сыновья занимались тем же, а может быть, кое-чем и похуже. Младший, отец моего отца, был фермером, золотоискателем, моряком, коммерсантом, владельцем судна, постоянно привлекавшего усиленное внимание таможенной охраны, а затем главой солидной торговой фирмы, которая кончила свое существование не очень солидным образом и тем не менее послужила прочным фундаментом коммерческой карьеры моего родителя. Но все это вам известно.

— Какой-то грязный бульварный листок распустил слух, будто мать вашей матушки была хозяйкой не весьма приличного заведения.

— Слышал, слышал. Думаю, что пресса немного обидела эту почтенную женщину. Достоверно лишь то, что происходила она из какого-то смешанного англо-индейского рода. С двенадцати до девятнадцати лет она занималась тем, что облегчала последние годы жизни разбитому параличом банкиру, потом танцевала в каком-то нью-йоркском кабачке и, наконец, стала хозяйкой известной на весь порт гостиницы. Простите,— о собственной матушке я не скажу ничего плохого. Когда я ближе познакомился с ней, она уже была в том возрасте, когда жены миллионеров начинают красить себе волосы и занимаются филантропией. Днем она разъезжала по разным благотворитель-

ным заведениям, а по вечерам играла в шахматы с управляющим автомобильным заводом отца, с тем самым,— помните? — который потом был отравлен при самых таинственных обстоятельствах в собственной квартире. Это случилось, по-моему, в то время, когда мать переехала на нашу старую виллу в Сан-Франциско.

Право, о своих родителях я, пожалуй, больше ничего не могу сказать, у меня не было возможности познакомиться с ними поближе. Отца я видел иногда утром в воскресенье и то в течение нескольких минут. К матери меня водили два раза в неделю — по вторникам и четвергам. Остальное время я проводил один или в обществе воспитательницы.

Моя воспитательница была не то гречанка, не то андалузка — словом, из породы черноволосых европейцев. Но не это главное. Главное то, что у нее были блестящие, как у черной кошки, глаза и такие длинные пальцы, что я на один ее палец надевал по двенадцать колец матери. На них же я учился целовать матери руку. Андалузкины методы воспитания были хороши, очень хороши. Но в один прекрасный день ее выгнали и на ее место взяли старую француженку. Она была мне так же противна, как жабы, которых я находил под кустами роз в нашем парке. Я их преследовал целыми часами. Бросал в них камнями и бил хлыстиком, пока они не вытягивались замертво вверх желтым брюхом.

У меня была отдельная спальня на втором этаже, а с того времени, как я начал выводить в тетрадке палочки и кружочки,— и свой кабинет. Часов в одиннадцать — сразу после завтрака — приходил патер, преподававший мне катехизис. Должен вам сказать, что мы католики. Потом учитель математики, учителя иностранных языков, учитель музыки. С пяти до шести один отставной офицер обучал меня военной гимнастике, другой — стрельбе из револьвера и фехтованию. Кроме того, мне преподавали пластику и хорошие манеры. В парке был устроен бассейн, где я учился плаванию. У меня были два пони для катания верхом по аллеям парка.

Учителей я терпеть не мог, за исключением преподавателя классических языков. Он не надоедал мне книгами, зато делал бумажных голубей и учил запускать их. А иногда даже позволял мне затянуться из своей трубки. Жаль, что впоследствии мне не удалось встретить этого славного человека. Я думаю, он давно умер — ему и тогда было лет пятьдесят, и лоб у него был покрыт такими глубокими морщинами, что в них легко укладывался мой карандаш.

О детских годах, проведенных в нашей летней резиденции, у меня остались самые мрачные воспоминания. Оба этажа дома я излазил вдоль и поперек. Парк был небольшой, и добраться незамеченным до будки привратника было почти невозможно. С того раза, как я, пробуя новый револьвер, поцарапал дочке привратника щеку, меня стали охранять, как заключенного,— не хуже, чем здесь. Однажды я незаметно пробрался в кухню и отвернул все газовые краны. До сих пор не могу понять, как это не произошел взрыв, которого я так ждал. В другой раз я одетым влез в бассейн, потом прошелся по всем цветочным клумбам и выпачкал ногами ковер, стоивший столько денег, что я и счесть еще не мог. Бывало, я не успею ноги спустить с кровати, и уже начинаю смертельно скучать. Мне надоело и опротивело каждое лицо, каждая вещь в доме. Я возненавидел всех окружающих.

Единственной радостью для меня были редкие поездки в город, когда я сидел в машине рядом с шофером. Уличное движение, спешащие к какой-то таинственной цели люди дразнили мое воображение. Но скоро я начал понимать, что все они спешат в какое-нибудь определенное место и к определенному времени. Я видел, что и там жизнь течет, как в тюрьме, где царят неизменный режим и непреклонная сила. Я теребил шофера за рукав, шептал ему на ухо и щипал за бока, но он оставался бесчувственным, словно часть механизма, который уносил нас вперед. Он не гнал во всю мочь машину, не наезжал на прохожих, как мне этого ни хотелось. Мы медленно возвращались домой, и привратник тщательно запирал за нами ворота...

Простите, мистер Падрони. Но вы сами вызвали этот поток воспоминаний, и я совсем потонул в нем. Может быть, вас еще что-нибудь интересует?

Падрони оживился. Он быстро делал заметки в своей книжечке.

— Конечно, мистер Уитмор, конечно! Чем дальше, тем больше. Ваши школьные годы были не менее приятными? Школа ведь не успела повлиять на вас?

— Приятными? Да это самая бессмысленная пора моей жизни. Как может повлиять на кого-нибудь школа, когда сама она — продукт среды и времени. Я с первого же дня понял, что скорей на школу производит впечатление мое имя и миллионы моего отца, власть которого ощущает каждый камень на улицах этого города. Первое время меня интересовали незнакомые мальчишки с такими разными лицами и разными ха-

рактерами. Но все это были лишь внешние и потому маловажные признаки. На самом деле все эти мальчишки были лишь маленькими автоматами, которые приводило в движение одно огромное колесо. Винтиками, которые вертелись лишь потому, что являлись составными частями одной машины, и совершенно не сознавали своей рабской роли.

Отец хотел сделать из меня преемника и руководителя своими предприятиями. Остальных старались сделать инженерами, фабрикантами пороха, адвокатами, пасторами. И все это для того, чтобы они восседали в своих конторах, строили корабли и города, загребали капиталы, жили со своими любовницами и воспитывали своих детей такими же слугами доллара.

Очевидно, Падрони дождался самого интересного момента. Его маленькие глазки поблескивали, как у мыши перед кучей зерна.

— Гм... у вас действительно были странные, анархистские настроения. Вы решили уничтожить все эти никчемные существа. Вы просто вышли на улицу и стали палить из револьвера.

— Решил... Что я мог решить в десять — двенадцать лет? Это не в голове, а скорее в крови, в нервах, во всем существе... Достаточно уж накопилось во мне мути и грязи. Позже я где-то прочел, что это называется атавизмом, возвратом к дикарству. Не верьте подобной ерунде! Никакого атавизма нет. Человек таков, каким сделало его прошлое. Когда слезает лак, мы предстаем в нашем истинном виде — голыми... Да, тогда я начал стрелять.

Помню, как это случилось. Я увидел, что навстречу мне идет девочка, немного похожая на дочь нашего привратника. Вздернутый носик, соломенная шляпка, зеленая кофточка, в руках перевязанная лентой коробка конфет. Из-за такой же вот девчонки мне приходилось сидеть дома, в запертой комнате, хотя отец ее, надо думать, потерял приличное место. Может быть, тут было и что-то иное — как знать? Просто я выстрелил, но на этот раз промахнулся. Она вскрикнула, присела на асфальт. И тут поднялся такой переполох, крики, топот, замелькали шляпы и полы пиджаков. Полицейский первый метнулся в какую-то дверь,— вы бы видели это зрелище, мистер Падрони! С того времени я перестал уважать этих трусов. Но оружие мое уже было разряжено, и я тщетно вертел его в руках.

Он смеющимися глазами посмотрел на часовых. Они стояли по-прежнему, будто прислоненные к дверям мумии,— только лица у них были круглые и румяные.

Падрони прервал рассказчика. Времени у него было в обрез.

— И после этого вы попали в исправительный дом для малолетних преступников?

— Исправительных домов в нашей демократической республике нет, но есть исправительные колонии для морально дефективных детей. Нет, чтобы попасть туда, мне нужно было пройти немалый путь. Мистер Уитмор не допускал мысли, что за деньги из меня нельзя сделать все, что угодно. Ведь инженеры на его заводе каждые полгода усовершенствовали модели выпускаемых автомобилей в соответствии с требованиями моды. Меня исключили еще из трех учебных заведений, из которых одно было похоже на монастырь со всеми атрибутами монастырского устава. Меня пытались наставить на путь истинный и в ремесленном училище, в частности на слесарном факультете. Как видите, там были заложены солидные теоретические и практические основы моей будущей профессии. Оттуда уже меня перевели в колонию для дефективных. Может быть, этот случай вас особенно интересует, мистер Падрони?

— Да, да. Прошу вас, мистер Уитмор!

— Если не ошибаюсь, мне тогда было четырнадцать лет, и у меня была первая любовница — девчонка с ненасытным аппетитом. Я стал ходить по кондитерским и таскать кое-что для себя и для нее. Тогда я впервые убедился, что заработанный своими руками хлеб вкусней всего. Из школьных мастерских я кое-что относил скупщику железного лома, так как отец присылал мне смехотворную сумму, а расходы мои удвоились. Моей девчонке приглянулась рубиновая брошка, и я вынул ее из витрины ювелира при помощи изобретенного мною приспособления. Помехой в наших любовных делах стал один нахальный соперник, и, когда он получил ножом в спину, мне пришлось переехать в колонию. Я, правда, сомневаюсь, можно ли было считать меня ребенком.

— Конечно, нельзя. Поэтому колония и не оказала на вас влияния. Вы вышли оттуда еще более... закаленным.

— Вышел через полтора года — и вполне закаленным. Исправительная колония для дефективных детей, как вам известно, одно из самых важных государственных учреждений, и потому все миллиардеры и предприниматели жертвуют на нее огромные суммы. По моим наблюдениям, десять процентов пожертвований идет в пользу воспитанников, а остальные девяносто остаются у воспитателей. Недостача эта сторицею восполнялась исправительной системой, в которую входят пять клас-

сических пунктов: голод, карцер, порка, работа и молитва... Я вижу, вы что-то забеспокоились, мистер Падрони. У вас времени больше нет или я рассказываю слишком неинтересно?

— Совсем нет, мистер Уитмор! Но вы говорите не совсем уважительно об этих, как вы сами выразились, важнейших государственных учреждениях. Я сам время от времени жертвую в пользу этих колоний и очень ими интересуюсь.

— Вы имеете на это полное право. Я на основании опыта пришел к убеждению, что эти учреждения — идеальная школа, конечно, для самих воспитателей. Следовало бы всех граждан по очереди посылать на некоторое время воспитателями и надзирателями в колонию для дефективных. Во-первых, на тамошней системе воспитания они великолепно научились бы отнимать то, что предназначается другим. Это основа основ всякой упорядоченной жизни. Далее, специальные предметы. Железная дисциплина для тех, кто не в силах сопротивляться, и изощренные методы наказания для упорствующих и строптивых. Затем обязательный труд, ибо одни могут отдыхать лишь тогда, когда другие работают. А в заключение молитва и вера, как главное условие режима и легкий источник дохода для ее служителей... Вы уже уходите, мистер Падрони?

— Мое время истекло. Но если вы хотите рассказать о дальнейшем... о главном — ну, вы сами понимаете... я мог бы задержаться еще на десять минут. Думаю, что эти джентльмены ничего не будут иметь против?

— Я тоже так думаю. Доллар за минуту, больше давать не стоит. Да больше вы вряд ли обещали им. Отчего вы краснеете, мистер Падрони? Ведь все на свете существует для купли и продажи. Надо только стараться не переплачивать. Вы не переплатите, мистер Падрони. Это интервью с лихвой покроет все связанные с ним расходы. Вы сами можете убедиться, что ни с одним из сорока шести репортеров я не был столь откровенным и разговорчивым, как с вами. А все потому, что вы не настоящий американец, и потому, что вы умеете не только спрашивать, но и слушать. И потому еще, что вы последний.

— Мистер Уитмор! Вы это точно знаете?

— Так же точно, как и вы, мистер Падрони. Однако перейдем к делу. Вы хотели бы услышать о дальнейшем? Больше не осталось ничего такого, чего бы вы не знали. Материалы следствия публикуются второй месяц. Мне даже приписывают больше, чем я совершил на самом деле. Так, например, я не мог пустить под откос балтиморский поезд, потому что в тот самый день, почти в тот же самый час я был занят взломом

банка в Вашингтоне. Сначала я пытался доказать в двух-трех случаях свое алиби, но потом махнул рукой. Если уж человек стал знаменит, то ни бог, ни черт ему не помогут, а сам он и подавно.

— И вам ни разу не пришло в голову, что ваша... деятельность, ваша профессия — это цепь непрерывных преступлений? Неужели в вас ни разу не заговорила совесть?

Мистер Падрони вынужден был опустить глаза. Уитмор так насмешливо посмотрел на него сквозь свой монокль, будто иголку вонзил в самое больное место.

— Я никогда не думал, что между католическим патером и демократическим журналистом так много общего. Совесть... У вас, то есть у вашей родни по ту сторону океана, есть пьеса или роман с великолепным названием: «Хорошо сшитый фрак». Вот это и есть совесть. Первоклассный портной пригнал его к вашему характеру, к вашим интересам, жизненным потребностям, стремлениям, ко всему, что с ними связано. Когда вы раздуваете самое пустяковое происшествие до размеров мирового события, когда врете так, что уши вянут, совесть ваша мирно помалкивает, ибо вы заполняете лишний столбец газеты и получаете хорошие деньги. Она совершенно спокойна и тогда, когда вы отправляетесь к своей любовнице, потому что с ней вы проведете ночь повеселей, чем со своей законной женой... Ну, полно, не морщите лоб. Сейчас мы перейдем к более важным вещам.

— Будьте любезны — я вижу, что эти джентльмены у дверей уже переглядываются. Скажите, мистер Уитмор, что чувствует человек, когда он целится из револьвера... словом, лишает другого жизни?

— Скажите прямо: совершает убийство. Вам самому не приходилось это испытывать? Что-то не верится! Это слишком обширный предмет для психологических изысканий, у вас на них нет времени. Вообще, мне кажется, чувства бывают самые разные, в зависимости от обстоятельств и темперамента. Но вы ежедневно имеете возможность спросить о них многих преступников. Ну, хотя бы американских солдат, которые живыми вернулись из Европы после великой войны и теперь расхаживают по улицам, выпятив грудь. Мне кажется, они чувствуют себя совсем не плохо. Или возьмем моего отца. Он преспокойно разъезжает со своей нелегальной женой по тихоокеанским курортам, в то время как дети локаутированных его трестом рабочих мрут, как мухи, от голода и дизентерии. А люди, у которых сегодня вечером будет на совести, как вы вы-

ражаетесь, моя судьба! Завтра вы их, вероятно, встретите на теннисном корте или в каком-нибудь благочестивом семействе за чашкой кофе. Да возьмите в конце концов самого себя. Вам, конечно, тоже приходилось встречаться с каким-нибудь субъектом на узеньком мостике. Будьте откровенны: вы ведь сами в воду не прыгнули, а скорее всего, столкнули его?

— Мистер Уитмор! Не слишком ли вы резко выражаетесь?

— Я думаю, что в моем положении извинительна и некоторая резкость. Но оставим дискуссию о хорошем тоне. По правде говоря, я упомянул вас лишь ради сравнения и аллегории. В обвинительном акте по моему делу перечисляется шесть так называемых убийств, а я признаю лишь пять. Что касается шофера мастерских плавучего дока, то он в полном смысле слова сам нарвался на гибель. Зачем он полез в карман за оружием, когда автомобиль с кассиром уже был в канаве, а сумки в наших руках? Он был нам не нужен, с его стороны это было прямое самоубийство, с моей же — единоборство или, лучше сказать, самооборона. Почему моя жизнь стоит меньше, чем его жизнь? И так всегда. Вопрос существования любого коммерческого предприятия — это, логически рассуждая, шкурный вопрос. Я преступник и убийца лишь потому, что моя профессия требует неприкрытых и непосредственных действий, а это вообще не принято.

— Еще один вопрос, мистер Уитмор. В вашем распоряжении было несколько миллионов. Почему вы не начали другую... нормальную жизнь? Вы могли уехать в Европу, на Индийские острова — куда угодно. Вы могли бы жить по-королевски до самой смерти. А вы как нарочно искали смерти.

— Я мог? Мне кажется, что нет, иначе я бы обязательно так и сделал. Но королевская жизнь меня никогда не привлекала. Король самый жалкий из всех мещан, которыми, как ему кажется, он управляет. У меня нет склонности к мещанству, потому-то я и очутился здесь. Верно, миллионы были в моем распоряжении, но мне они были нужны для более важных дел, чем путешествие. Моя последняя любовница носила такие серьги, каких не видывали даже дочери Рокфеллера. Я однажды выкупал в ванне из шампанского всех шестерых танцовщиц варьете. Когда мы с приятелем кутили в кабачке, там не осмеливались оставлять и бутерброда для какого-нибудь буржуа.

— Это всем известно. О ваших оргиях и сумасбродных выходках напечатаны целые легенды. Но скажите, мистер Уитмор, были у вас какие-нибудь принципы? Вы не из тех людей,

которые без всякого расчета, очертя голову, бросаются в омут преступлений и разврата. Вы хотели отомстить и досадить этим, как вы их называете, буржуям? Вы идейный анархист, не так ли?

— Все эти идеи и принципы — одни пустые фразы. Человек живет не по правилам, которые рождаются в его мозгу. Я уже сказал: это таится где-то глубже, за пределами рассудка и воли.

— Еще вопрос. Шесть раз вы были арестованы и шесть раз бежали. Выбрались из такой дыры, в которой бы сам черт по сей день кис. Чем же объясняется ваша теперешняя покорность? Разрешите коснуться деликатной темы: может быть... вы все же намерены...

Падрони наклонился к нему так близко и зашептал так тихо, что даже чуткие уши часовых ничего не могли уловить.

Уитмор немного подумал, потом покачал головой.

— Нет, теперь уж конец. Во-первых, счастье не ломовая лошадь, которая возит до тех пор, пока не свалится. И во-вторых, нет смысла. Для чего собственно? Мне тридцать два года, но я испытал и повидал больше, чем вы увидите за сто тридцать два года. Жизнь вовсе не столь уж разнообразна и неисчерпаема, как думают о ней мещане. Я не хочу доживать до седых волос, заболеть чахоткой благочестия и каяться в грехах. Мне скучно. Я опустошен — так опустошен, что по ночам стал видеть глупейшие сны. Я не желаю стать идиотом. Для чего? Хватит. Последняя капля из моего бокала выпита, и я разбиваю его об стену... Послушайте, мистер Падрони. В пять часов начнется комедия суда. Вам, вероятно, известно, что меня ждет. Выкладывайте.

Падрони отодвинулся от него, посмотрел исподлобья, покачал головой. Уитмор взял его за рукав.

— Без церемоний! Вы видите, я не похож на нервную даму.

Падрони помедлил еще, потом поднял руку и толстым указательным пальцем провел себе по горлу.

Уитмор кивнул головой.

— Я так и знал. Они бы не были заплесневелыми американскими бюрократами, если бы не придумали этого безобразного, унизительного способа. Вы, вероятно, изучали юриспруденцию и любите потолковать с читателем о законах и суде. Напишите одну хоть статью о нелепых способах смертной казни в Америке. Виселицы, электрический стул — а теперь они еще начинают отравлять людей в камерах газами. Разве это не свин-

ство высшей марки? Дали бы мне револьвер и один патрон — честное слово, я справлюсь с этим гораздо лучше, чем джентльмен с намыленной веревкой...

Часовые стали проявлять признаки беспокойства. Тот, который был постарше и потолще, поманил Падрони.

— Мистер... Пожалуйста!

Падрони поспешно сунул руку Уитмору и повернулся к двери.

— Сию минуту!.. Прощайте, мистер Уитмор! Благодарю за любезность. Не могу ли чем-нибудь быть полезным?

— Благодарю. Я свои дела уже уладил. И до свиданья! Я не думаю, что это случится очень скоро, но вам обязательно нужно заняться спортом. В вашем возрасте такая полнота вещь не очень приятная. Всего хорошего.

Дверь еще не успела закрыться, а он уже достал записную книжку с серебряным карандашиком и что-то написал мелким ровным почерком.

1926

В один миг все смешалось в свалке.

Обнаженные выше локтей руки, ноги в подбитых гвоздями башмаках, фигуры вскакивающих с мест и падающих мужчин и женщин. Круглые мраморные доски столиков то появлялись в полосе света, то снова погружались в тень. Орущие, взвизгивающие на разные голоса люди плотно сбились в клубок, из которого то и дело высовывались руки — то с растопыренными пальцами, то крепко сжимавшие бутылку или кружку. Клубок докатился до стены и там распался, а на середине кабачка остались осколки разбитых бутылок, разорванный красный платок и две темные лужицы крови.

Какой-то пролетевший мимо цели предмет задел электрическую лампочку под потолком — единственную в другом конце комнаты. Низкое помещение мгновенно погрузилось в полумрак, по стенам поползли уродливые черные тени.

Сабина забилась за стойку, поближе к хозяину. Не от страха — подобные драки были ей не в новинку. Но все произошло так неожиданно и быстро, что она растерялась. Она не успела еще оттолкнуть нахала, который обнял ее и хотел поцеловать, как кулак Жоржа опустился ему на шею и он ничком упал на пол. И тут все навалились на ее кавалера. Обычно в таких случаях она без раздумья бросалась в свалку, но на этот раз какое-то странное оцепенение удерживало ее за стойкой. Рука ее сжимала горлышко ликерной бутылки, она подалась всем телом вперед и напряженно следила за катавшимся по полу клубком, над которым время от времени показывалась лохматая голова Жоржа. Клетчатую жокейку он потерял в самом начале схватки, и с каждым появлением его голова становилась все более лохматой, и скрывалась она с каждым разом все быстрей.

Хозяин обеими руками барабанил по стойке и, весь побагровев от натуги, что-то кричал, но голос его тонул в адском

шуме. Но вот толпа дерущихся неожиданно расступилась, словно кто-то сильными руками раздвинул ее. Внезапно наступившая тишина так потрясла Сабину, что она вздрогнула всем телом и закрыла глаза.

Когда она их снова открыла, толпа была уже в противоположном конце комнаты. Ближе, прислонившись к стене, стоял Жорж, он тяжело дышал, одежда его превратилась в лохмотья. В руках у него тускло поблескивал нож, а у ног храпел и ворочался тот самый нахал, бывший приятель Сабины.

Хозяин закричал что-то не своим голосом, оттолкнул Сабину и бросился вверх по ступенькам. Все поняли, куда он спешил. Но Жорж был слишком обессилен и не чувствовал опасности, не делал попыток бежать. Сабина отчаянно махала ему руками, а он тупо глядел вниз — словно раненый корчился на полу не по его, а еще по чьей-то вине.

Жандарм опередил хозяина. Картина не вызывала никаких сомнений, виноватого не нужно было искать. Но едва он протянул руку, чтобы крепко схватить преступника, как Жорж ударом в подбородок свалил жандарма прямо на раненого. В три прыжка Жорж очутился у ступенек, по которым уже взбегала Сабина. У нее не было времени оглянуться, она скорее почувствовала, чем увидела, как хозяин отшатнулся от нее, распахнула дверь и споткнулась, схваченная сильной рукой другого жандарма.

Только один миг рука эта держала ее. В светлом квадрате двери жандарм увидел истинного виновника и бросился ему навстречу. Сабина перебежала площадь и остановилась в тени собора. Отсюда она увидела, как двое мужчин схватились перед входом в кабачок, потом тот, который был в форме, вскрикнул и упал. Слышала еще, как Жорж, топая по мостовой, бежал в ее сторону, но она отступила к стене собора, в черную спасительную тень.

Сабина поняла, что это боковая стена. Она укрылась в овальной нише и посмотрела вверх. Над головой темнел покатый навес — подножье статуи святого Себастьяна. Она видела, что ее фигура выделяется на светлом фоне стены и плотнее прижалась к ней. Она не понимала, что с освещенной площади ее не заметили бы даже самые зоркие глаза. Локти ее прижимались к влажным камням, пальцы нервно ощупывали шероховатости стены, сердце билось быстро и громко.

Тень, как широкая черная река, пересекала площадь, кое-где затеняя стены освещенных домов. Конек крыши с симмет-

ричными выступами не достигал противоположного края площади. Сабина видела, как в полосе яркого света луны и фонарей, перед входом в кабачок суетилось все больше и больше людей. Ну, конечно, это были жандармы: в толпе время от времени поблескивали кивера, щелкали затворы винтовок. Одни из них двинулись направо, другие налево. По всей видимости, убежище было обнаружено, их окружали.

Сабина так сильно прижимала к груди руки, словно хотела вдавить себя в стену, слиться с ней. Почему она так волнуется? Хотя драка произошла из-за нее, она ни в чем не виновата. Ее могут продержать несколько дней под арестом, но судить не будут. Несколько дней в полицейской тюрьме... да сколько раз она сидела там и уходила оттуда, всегда смеясь, посылая воздушный поцелуй сторожу у ворот. Зачем же она пряталась здесь в спасительной тени, как соучастница убийцы? И зачем она убежала?

С Жоржем она познакомилась только сегодня на рыбном рынке. Как всегда по субботам, она вымыла знакомой торговке столы и заработала несколько сантимов. Жорж появился там после какого-то неудачного ночного похода, усталый, голодный, и она на свои деньги накормила его горячим завтраком. Но потом ему, видимо, посчастливилось при ограблении кассира Миланского банка, о чем писали все вечерние газеты. Весь вечер он водил Сабину по разным притонам, ни на шаг не отпускал от себя и сорил деньгами, пока в кабачке, возле собора, к ней не привязался старый знакомый.

Она боялась за Жоржа, из-за него была так взволнована. Где он мог скрываться в этом лабиринте теней? Нужно найти его и помочь бежать. Осторожно вышла она из ниши святого Себастьяна и, прижимаясь к стене, стала двигаться в сторону главного портала. Это была трудная задача, так как через каждые десять шагов приходилось огибать незарешеченные приямки подвальных окон. Одно окно с молочно-белыми стеклами было освещено, мимо него она пробралась ползком, чтобы не увидели ее темную фигуру на фоне окна.

Ступени главного портала даже возле стены были с вечера затоптаны мокрыми ногами молящихся. Жители бедных кварталов брели сюда за два километра, и путь их пролегал по грязным уличкам. Под ногами хлюпало, хотя Сабина очень осторожно переставляла ноги. Ветра почти не было, и малейший шорох отдавался под этими проклятыми сводами.

Не доходя до верхней ступеньки, она всмотрелась в темноту. За колоннами виднелись светлые полосы. Это были отсветы

дуговых фонарей гавани на другом берегу реки, либо луна поднялась так высоко. Площадь уже белела до самого парапета набережной. Когда вдали стихли шаги прохожих, стал слышен сонный шум реки.

Держась за стену, Сабина ощупью добралась до самых дверей. Ладони ее прилипали к позеленевшей бронзовой обшивке. Вдруг она почувствовала присутствие другого человека. Кто-то двигался ей навстречу, сдерживая прерывистое дыхание. и она узнала его, прежде чем он прошептал:

— Туда нельзя. Там светло. И они уже ползут вдоль стены.

И действительно, вглядевшись хорошенько, можно было заметить в тени стены черные крадущиеся тени.

Жорж схватил ее за руку и потащил за собой. Она поняла и стала красться по тому же пути, по которому шла сюда. У ниши святого Себастьяна они остановились. Сабина больше не смотрела по сторонам. С ней был Жорж, а он лучше знал, что делать. Она только подождала, пока он не стал снова осторожно ощупью пробираться вдоль стены, обходя приямки окон, как только что делала она сама. Бедняжка, он так устал! Она бы поддержала его, если бы можно было идти с ним рядом и если бы это не рассердило его. Ведь он такой гордый!

Там, где начинался ряд прячущихся в тени арки полуколонн, Жорж остановился и, прислонившись к стене, стал смотреть на площадь и дома, разделенные темными ущельями узких уличек. Отсюда ясно были видны движущиеся фигуры жандармов, слышался лязг оружия и приглушенные сердитые голоса.

Жорж опустил голову...

— Площадь освещена, а они там. Все с винтовками, потому что ловят дезертиров и получили распоряжение стрелять в каждого, кто попробует скрыться.

Он говорил почти беззвучно. Бедняжка! Давеча в кабачке он никому не давал перекричать себя. Утром его голос раздавался на все здание крытого рынка. Сабина двинулась было к нему, но тут же отпрянула назад. Жорж не любил, когда его жалели. Это было для него самым унизительным и оскорбительным. Сабина так тяжело вздохнула, что он поднял голову и выпрямился. Не сказав ни слова, он проскользнул мимо нее и повернул вдоль стены обратно. Подвальное окно больше не светилось. Из приямка выскочила тощая кошка и галопом побежала к площади. Жорж не утерпел — погрозил ей вслед кулаком.

— Проклятая! Она выдаст нас.

«Нас»,— сказал он... Сабине показалось, будто он теплой ладонью погладил ее по щеке. Днем он ни разу не погладил

ее, но рука у него, наверно, теплая. Как привязанная, шла она за ним по пятам. Только в дверной нише стояла одна, пока он крался дальше за портал. Тень от колонн падала теперь положе, чем раньше.

Серое облако плыло по небу, прямо к луне. Может быть, оно заденет ее и спасительная тьма скроет их на минутку. Но лишь на несколько мгновений площадь зарябила от бледных теней, и потом снова все кругом залил бесстрастный, мучительный палевый свет. Вдоль набережной непрерывно двигались темные силуэты. Жорж вернулся.

— Мы окружены. Они думают, что у меня есть огнестрельное оружие.

— А у тебя нет?

Жорж будто только сейчас заметил, что он не один.

— Что тебе тут делать? Зачем ты здесь? Уходи!

Но и в этом сердитом шепоте ей послышался призыв остаться. Глаза ее блестели в темноте, она села на ступеньку и прислонилась к стене.

— Поди сюда, сядь.

Он помедлил немного и сел. Нагнулся, стараясь разглядеть ее лицо:

— Зачем ты села здесь?

Вдруг он услышал ее смех, ласковый и усталый.

— Потому, что ты здесь.

Он резко отпрянул, ударившись локтем о стену.

— Уходи, тебе говорят! Тебя задержат, но это не страшно. Ты ничего не сделала.

Она слушала, склонив голову.

— Какой у тебя приятный голос...

Ей действительно показался приятным этот осипший от алкоголя, чуть дрожащий от усталости, глухой от волнения голос. Днем она как-то не прислушивалась к нему. Откуда у него такой? Все они говорили охрипшими от водки, дешевого табака и еще более сильных наркотиков голосами. Да и ее голос звучал почти так же, она и сама нюхала кокаин, а иногда курила. В ее среде никто без этого не обходился.

Жорж как будто забыл о ней. Втянув голову в плечи, он глядел на площадь, за которой притаились враги. Луна вот-вот должна была выйти из-за крыши. Тени от колонн стали короче и придвигались к стене. Яркий свет назойливо лился в просветы. Сабина наполовину увидела, наполовину угадала, что карие глаза Жоржа горят недобрым огнем, что ноздри его раздуваются и губы шевелятся, беззвучно шепча проклятья. Руки крепко об-

хватили колени, тело наклонилось вперед. Вся поза говорит о том, что он сознает свою обреченность.

Разве она с ним одним пряталась в темноте? Почему у нее до сих пор такое чувство, будто она к нему привязана, прикована? Весь день она шаталась с ним по открытым и тайным кабакам и, может быть, заинтересовалась им чуть посильнее, чем всеми прежними, но все равно замечала каждого, кто украдкой бросал на нее ласковый взгляд или подмигивал нагло улыбающимися глазами. И дрались из-за нее не впервые. Но все прежние кавалеры исчезали в толпе, и Сабина, сама всегда ходившая с расцарапанным лицом и синяками на плече или бедре, встречала их потом где-нибудь в другом конце города. А Жоржа она встретила только для того, чтобы потерять навеки.

Она понимала, что он не упрекает ее ни в чем, не хочет говорить о ее вине, да и не думает об этом. Ей и самой только на миг пришла эта мысль. Вся она была полна другим. Через полчаса или через пятнадцать минут Жоржа уже не будет. Живым он им в руки не дастся, это ясно. А с ним исчезнет что-то такое, что она поймала, схватила, но не успела ни рассмотреть, ни изведать. Что-то такое, без чего жизнь ее будет, как посудина без дна, как раздавленная яичная скорлупа в куче мусора.

Она горела странным, никогда еще не изведанным огнем. Зубы ее впились в нижнюю губу, плечи вздрагивали от сдерживаемых рыданий.

Жорж с трудом отвел глаза от площади и с недоумением посмотрел на нее.

— Чего тебе?

Она ничего не хотела. Тело ее инстинктивно прислонилось к нему. Истомленная рука обвила шею Жоржа, горячее дыхание обожгло его щетинистую щеку.

Сначала он растерялся, но постепенно и сам разгорелся тем же огнем. Он не отстранил и другую руку и медленно опустился на ступеньку.

Эти руки, как горячее дыхание, это дрожащее женское тело заставили его почувствовать последние мгновения жизни, которые уходили, как сухой песок из пригоршни. В порыве ненависти, отчаяния, страсти и алчности он обнял женщину... выпить ее, всю впитать в себя, увлечь за собой в бездну, во мрак и небытие.

Когда они встали, желтый краешек луны осветил их лица. Запрокинув голову, откинув со лба растрепавшиеся волосы, прищурив один глаз, Жорж некоторое время смотрел на жестокое светило. Потом взглянул на Сабину. Нижняя часть ее тела еще

оставалась в тени, но вся верхняя часть была ярко освещена. Блузка — расстегнута, полураспущенные черные косы спустились на девичью грудь, дышавшую быстро и порывисто.

Во взгляде его появилось былое мужество, в движениях привычная молодцеватость бродяги. Но это был просто прощальный взгляд, не выражавший ни сожаления, ни растроганности. Потом он кивнул головой и пошел мимо дверей собора к ступенькам, ведущим на набережную.

Сабина продолжала смотреть вслед ему. Она еще была с ним, в его объятиях, составляла с ним одно целое. Он впитал ее в себя, а то, что осталось,— пустая оболочка, нечистое тело. Оно может валяться на свалках, под мостами, его могут обнимать сотни мужчин — оно не отзовется больше ни одним нервом. Сабина еще не сделала и шага, а уже, казалось, была рядом с Жоржем, вместе с ним, снова шла за ним. Безразлично куда и далеко ли.

Спустившись вниз, Жорж заметил, что она идет позади. Но он бросил на нее лишь мимолетный взгляд. Теперь нужно было следить за другим. Он медленно вынул из кармана правую руку,— в ней снова блестело его жалкое, смешное оружие. Слева, справа и спереди от погруженного в тень парапета отделились кивера с султанами. Восемь, десять, а может быть, и больше винтовок было наведено на него.

Жорж шел, втянув голову в плечи, шел почти на цыпочках, будто мог еще незаметно проскользнуть до парапета, перелезть через него и скрыться в спасительной тени реки. И только когда послышалось: «Стой!», он бросился бежать. Три быстрых прыжка,— больше он сделать не успел. Выстрелы почти слились в один четкий залп. В этот миг он исчез для Сабины.

Она смотрела на втянутую в плечи голову Жоржа и в первый миг не поняла, куда он делся. Но тут она заметила на мостовой что-то неподвижное, неуклюжее, ужасное. Закричав, как безумная, она бросилась туда с поднятыми руками, вокруг которых обвились две черных косы.

И снова резкий выстрел, всего один. Ей показалось, что ноги ее споткнулись о лежащее на земле тело, что ее отбросило назад — легко, как сухую щепку. Камни мостовой понеслись ей навстречу. Близко, близко мелькнули перед глазами и погасли.

1926

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЙСТВИЕ

Четыре человека припали к подоконнику, опершись на локти. Пятый, долговязый, стоял позади, держась обеими руками за косяки, и тянулся лицом к самому стеклу. Так простояли они довольно долго. Головы и плечи их почти сливались с оконной нишей и темной от копоти стеной. Ниже смутно виднелись полы двух серо-зеленых немецких шинелей, ноги в сапогах, постолах и шерстяных обмотках.

В бывшей корчме стояла тишина, пока пять человек смотрели в окно. Остальные сидели или лежали на скамьях и вдоль стен, и не сводя с них глаз, ждали, будто те могли что-нибудь разглядеть во тьме весенней ночи. Изредка кое-кто, затянувшись цигаркой, причмокивал губами. Комнату наполняли белесые клубы дыма. Толстые, потемневшие потолочные балки то погружались в него, то всплывали. Смутно вырисовывались размытые очертания предметов. Казалось, помещение стало меньше и ниже.

И только когда наблюдавшие отодвинулись от окна, комната незаметно преобразилась. Черное окно в толстой каменной стене несколько нарушило ее однообразие. Лампа выплыла из дыма, бросив сквозь трещину в зеленом абажуре бледный отсвет на запотевшие оконные стекла. И еще ее равнодушный свет падал на растрепанную светло-каштановую голову Велты, неподвижно покоющуюся на сложенных на столе руках.

Пятеро ничего не говорили, а остальные не задавали вопросов. Каждые полчаса кто-нибудь подходил к окну, думая услышать сквозь вой ветра и шум деревьев какой-то новый звук, и

потом возвращался на место с чувством неловкости за свою глупую нервозность. Да разве из окна корчмы увидишь больше того, что заметят часовые, стоящие у ветел в конце усадебной аллеи и на пригорке за мостом!

Долговязый, в домотканом полупальто и черной шляпе, взял одну из винтовок и несколько раз щелкнул затвором. Резкий стук заставил встрепенуться сидевших и дремавших людей.

— Да перестань! Ты хоть бы гармошкой обзавелся. Была бы все-таки для пальцев работа...— Сказав это, учитель Лиекнис с недовольным видом потянулся на скамье, будто его разбудили, хотя на самом деле он все время покуривал, глядя в сторону.

Но долговязый уже поставил винтовку на прежнее место и спокойно подсел в ноги к учителю. Заложил руки в карманы и уставился на носки своих сапог.

Велта приподняла голову, посмотрела сонными глазами на мужчин и, обернувшись к окну, спросила:

— Что там слышно?..

Арнис, батрак из имения, гревший у печки спину, усмехнулся.

— Пока ничего. Но скоро начнется...

— Болтай больше... Слушать тебя не хочется. Нашел время шутить! — Вильперт, крестьянин с Даугавы, сердито сплюнул и прислонился к стене другим плечом.

Ему тут же ответил неугомонный весельчак Краст:

— Нытик ты! Ну, прямо дождевая туча... Когда ты в комнате, даже лампа тухнет и людей ко сну клонит... Хоть бы курить научился, что ли.

И снова все смолкли. Да и говорили-то безо всякой охоты — голоса были вялые, без выражения, смех нарочитый. Всех одолевала усталость и апатия, от дыма и запаха мокрой обуви дышалось тяжело.

Долговязый, сын лесника Брауна, притронулся к Лиекнису.

— Папироски не найдется?

Тот, не оборачиваясь, достал пачку папирос, и оба закурили.

Браун снова нагнулся к Лиекнису.

— А не кажется тебе странным, что Марка долго нет?

— Я сам все время об этом думаю.

Лиекнис прошептал это так тихо, что Браун недослышал и придвинулся ближе, чтобы переспросить. Но Лиекнис грубо оттолкнул его. В это время в самом дальнем углу, у двери, послышался чей-то голос:

— Ему давно уж пора вернуться.

Учитель взял Брауна за рукав.

— Да, это все-таки странно...

Но тут же спохватился: пожалуй, с сыном лесника не стоит рассуждать о таких вещах. И он в третий раз принялся додумывать одну и ту же мысль. Как в этот вечер все они угадывают, кто что думает и чувствует... Потому ли, что бои, разведки, наступления и отступления — все эти пережитые сообща события настроили их на один лад? Или потому, что каждый из них думает об одном и, угадывая чужую мысль, на самом деле выражает только свою собственную? Лиекнис вспомнил известное в музыке явление, когда задетая струна заставляет звучать другую, одинаковую струну. Выходит, одни и те же законы управляют и неживой природой, и человеком. «Нашел тоже время для психологических наблюдений»,— с грустной иронией подумал он.

Браун подвинулся к нему и нагнулся к самому уху:

— Ты только смотри — никому... Я ведь ничего не сказал... Я так просто... И почему он так долго не возвращается? Вдруг в самый критический момент бросит нас или предаст! Вдруг попытается ценой наших голов спасти свою...

Лиекнис швырнул окурок на пол и тогда только ответил:

— С ума ты сошел. Это все вынужденное безделье, неизвестность так скверно действуют на тебя.

Подумав немного, он продолжал уже другим тоном:

— По правде, на всех нас это действует. Еще одна такая ночь, и я не знаю, что здесь будет. Или мы, как последние глупцы, рассеемся по окрестным болотам, или станем перебежчиками. Но чтобы Марк... С ума ты сошел...

Браун махнул рукой.

— Что я такого сказал?.. Я ведь ничего не знаю. А ты не заметил, какой он был весь день? Говори что хочешь, а таким я его никогда не видел. И что это за таинственные звонки по телефону? Почему он нам ничего не говорит? Разве наша жизнь не поставлена на карту? Ну чего мы здесь киснем? Чего ждем? Проезжие рассказывают, что возле мельницы весь день стреляли. А мы здесь полеживаем.

Лиекнис не мог не признаться себе, что сейчас только и сам ломал голову над этим вопросом. Именно поэтому он так рассердился.

— Помалкивай лучше! Ты — как назойливая муха. Жужжишь и жужжишь, и отогнать тебя невозможно. На нервы действуешь.

Лиекнис сидел насупившись. Замолчали и остальные. Велта опять уронила голову на руки. Глядя на ее детскую, беспомощную фигурку, мужчины чувствовали себя еще более одинокими и подавленными.

За стеной шумел ветер в голых ветвях лип. Будто кто-то боязливо постукивал пальцем по крыше.

К корчме кто-то шел. Сперва раздался слабый шорох, который могло различить только привычное ухо. Потом стали слышны приближающиеся шаги двух или трех человек и голоса. Все притихли, даже курильщики перестали чмокать губами.

Пришли с поста в конце аллеи Нигал и Бриедис. Их сменили, и они вернулись в штаб,— как они прозвали старую корчму. Вместе с ними в комнату ворвались свежий воздух, шум и оживление. Даже самые усталые и сонные с любопытством повернули головы к вошедшим.

Словоохотливый и склонный к легкомыслию Бриедис снял винтовку и поставил в угол. Затем стал протискиваться к печке.

— Пустите-ка погреться. Померз я как следует. Ветер задул с севера, да такой резкий — до костей пробирает.

Он отшвырнул рассыпанные по полу патроны и прислонился к печке. Бриедис вечно мерз в своем тонком, подпоясанном бечевкой пиджачке и поэтому больше всего интересовался погодой и ветром.

Лохматый Нигал не проронил ни слова. Уселся и молча начал стягивать сапоги, долго разглядывая подошвы и тыча в них пальцем. Окружающие внимательно наблюдали, словно это была торжественная церемония.

Маленький Крамиņь откуда-то из угла спросил, не слышно ли чего нового. Голосок у него был такой писклявый и слабенький, что многие засмеялись.

Бриедис ответил, не чинясь. Ничего особенного, все по-старому! Нигал, сощурив глаза, злобно взглянул на Бриедиса и швырнул на пол сапог.

— В имении со стороны леса видать в окнах свет. В остальных темно, боятся зажигать. Спать там еще не ложились — знать, помещика ждут.

Кузнец Арнис сердито оборвал неохотные смешки:

— Смеяться тут нечего. Там и, верно, некоторые ждут его. Бывший приказчик, например, и вся эта банда Цируля... Я давно уже твержу, да разве меня слушают!.. Понаехали, неведомо откуда, условий здешних не знают... Все начальники, распоряжаются...

Краст, участник событий пятого года, товарищ Марка по каторге, приподнялся, спустил ноги на пол и покачал головой.

— Если бы тебя слушали — чуть ли не половина местных жителей была бы расстреляна. А остальные теперь следили бы за нами из-за кустов.

Арнис пожал плечами.

— А ты думаешь, они не следят? Погоди, сам увидишь, как только соберемся уходить отсюда...

Краст ударил кулаком по скамье.

— А кто тебе сказал, что мы собираемся уходить? Ну, кто тебе это сказал?

Нигал бросил на пол другой сапог.

— Из хутора Галениеки три подводы выехали.

Слова Нигала были убедительней всяких рассуждений. Возле Галениеков стоят главные силы, и если оттуда отходят, значит, положение хуже, чем можно было предполагать. У мельницы идет бой, из Галениеков бегут, вот уже два часа, как нет Марка — все это нешуточные признаки...

Старый Аурик взволнованно вскочил со скамьи и встал позади Велты, поближе к лампе.

— Этого и следовало ожидать. Крышка — попали мы в вершу... Зачем надо было отходить от озера и идти сюда? Ведь здесь нас с трех сторон можно обойти.

Заметив всеобщее возбуждение, Лиекнис резко оборвал Аурика:

— Не болтай! Думаешь, мы действуем как попало, без плана?

Но Аурика нелегко было остановить.

— Знаю я эти планы. Пока все идет хорошо, у нас и планы есть и все, что полагается. А когда дела плохи... Я все понимаю, я сам испытал... Но почему тогда, скажите, моим сыновьям и еще трем парням пришлось сложить головы под Рикужами?.. Разве их жизнь не так дорога, как наша? Было бы в десять раз лучше, если бы я сам...

Это уже походило на открытое возмущение и всех взвинтило. Велта, опустив голову, прислушивалась к спорам и рьяно накручивала ручку телефона. Никакого ответа. Она пробовала дозвониться уже в третий раз, и все тщетно. В эту минуту не слышно было даже дыхания людей. Молчание телефона подействовало удручающе. Казалось, перерезан был самый важный жизненный нерв. Неведение и ночная тьма таили что-то зловещее.

Бородатый Рийниек, все время молча посасывавший трубку, громко сплюнул.

— У кого из нас нет сыновей, дочерей и жен? Разве я знаю что-нибудь про своих?..

Краст стукнул прикладом об пол, чтобы унять других или самого себя.

— Да замолчите же! Кто мы — мужчины или бабы? Кому здесь не нравится, пусть идет на пост.

Екаб Вальтер, особняком сидевший у стены, вдруг так яростно вскинул винтовку на плечо, что ремень оборвался, и она упала. Он схватил ее за приклад и, подняв красное сердитое лицо, окинул всех злобным взглядом, хотел что-то сказать, но только махнул рукой. Потом повернулся, выбежал из корчмы, волоча за собой винтовку, и хлопнул дверью так, что с потолка посыпалась сажа.

Все переглянулись.

Браун шагнул к двери и стал прислушиваться, пока шум деревьев не заглушил шагов Екаба Вальтера.

Но тут на середину корчмы вышел Рута. Его маленькое полудетское лицо и льняные волосы белым пятном выделялись над черной кожаной курткой. Голос у Руты дрожал, и, стараясь скрыть это, он, несмотря на хрипоту, говорил как можно громче:

— Он весь вечер ко мне пристает. Говорит, все пропало. Мы отрезаны и окружены. Сегодня ночью нас обойдут, и к утру мы будем в мешке.

Кузнец вскинулся на Руту, словно тот во всем был виноват.

— Негодяй! С чего он взял?

— Не знаю уж с чего, но он так говорил. Я, говорит, не полезу в мешок, словно кошка, которую собираются топить. Мне, говорит, еще жизнь не надоела.

— Он что же, уговаривал тебя бежать с ним? Перебежчиком стать?

Застегивая одной рукой пиджак, Лиекнис схватил другой рукой винтовку. Бриедис поднес кулак к самому носу Руты.

— И ты только сейчас сказал? Какого черта ты раньше скрывал?

Рийниек тоже схватил винтовку и пошел вслед за Лиекнисом к двери.

— Мерзавцы! Они заодно действовали...

Еле сдерживая слезы, Рута оправдывался:

— Не мог же я кому попало сказать. Я ждал Марка.

Никто его не слушал. Гнетущее неведение, дурные вести

так подействовали на нервы, что требовалась разрядка, и тут достаточно было самого пустячного повода.

Паренька окружили искаженные лица, в воздухе замелькали кулаки, причудливые тени двигались по стене. И никому сейчас в голову не приходило, что это тот самый всеобщий любимец, который всегда заслуживал полного доверия и отличался исполнительностью. Даже Велта укоризненно качала головой.

Шум немного утих лишь с возвращением Лиекниса и Рийниека. И прежде чем учитель успел сказать первое слово, все уже прочитали ответ на его лице.

— Ушел. И след простыл... Да оставьте вы мальчишку в покое! Все равно теперь не поможешь!

И так как они не хотели уняться, он стал между ними и Рутой, вызывающе выпятив грудь.

— Подумайте сами: ведь многие из нас не меньше виноваты в случившемся. Разве Екаб Вальтер не нашептывал вам свои страхи и сомнения?

Это подействовало, как удар по самому уязвимому месту. Теперь Лиекнис мог оставить паренька и присесть на скамью.

Вильперт почесал затылок и сказал:

— Правильно, у каждого из нас бывают и опасения и подозрения. Но ежели мы станем по всякому пустяку поднимать шум и всех считать предателями...

Кузнец до этого больше всех нападал на Руту и теперь, видимо, чувствовал себя неловко.

— Да и не в этом суть... Кто мы такие: организованная сила или кучка сброда, который только и думает, как бы спасти свою шкуру, как бы улизнуть? Чего мы здесь сидим сложа руки, будто в ожидании Страшного суда? Я спрашиваю: где Марк?

Велта смерила его взглядом с головы до пят и ответила спокойным, уверенным голосом:

— Не беспокойтесь, Марк всегда там, где он больше всего нужен. Он нас не бросит. И неужели среди нас кто-нибудь больше не доверяет ему?

Глубоко искренние, проникновенные слова Велты на всех подействовали успокоительно. В комнате постепенно водворялась тишина. Замелькали огоньки папирос, и клубы дыма снова потянулись к потолку. Некоторые еще негромко переговаривались. Остальные старались прилечь где-нибудь на скамье или на полу у стены.

Но никто не спал. Велта чуть слышно шагала взад-вперед мимо окна. Два десятка глаз неотрывно следили за ней, будто

она могла найти в этом бесцельном хождении ответ на все то, о чем каждый из них думал.

Временами окно как-то странно светлело. Луна взошла, но еще стояла низко, где-то за лесом. Ветер разгонял тучи. Временами открывался клочок чистого неба с бледными редкими звездочками; за окном возникали четкие очертания ближних и неясные контуры отдаленных деревьев. Потом опять темнело.

Ветер крепчал и шумел все сильнее. Ветви деревьев шоркали по стене, и словно кто-то пальцами стучал по крыше.

Поднявшаяся над лесом ущербная луна светила прямо в окно. Отчетливее выступала на палевом фоне стекол крестовина, огонь лампы как-то потускнел.

Ветер шумел все резче, порывистей. Ни на минуту не смолкал шум деревьев. Верно, оттого никто и не услышал приближающихся шагов. Все, и кто сидел, и кто лежал, поднялись лишь тогда, когда тяжелая дверь отворилась и на пороге показался Марк.

Голенища его сапог и даже полы шинели были забрызганы грязью. Мокрые пряди волос выбились из-под военной фуражки на потный лоб. Сняв с плеча винтовку, Марк оперся на нее.

Он дышал тяжело, видимо, устал. Темные глаза под сдвинутыми бровями быстро скользнули по комнате и потухли. Небритые щеки отливали при свете синевой. Поперечная морщина на лбу обозначилась еще резче.

Марка раздражало всеобщее внимание. Сделав шаг вперед, он в упор посмотрел на Велту. Она дотронулась до ручки телефона, не зная, с чего начать.

— С мельницы больше не отвечают.

Марк кивнул головой.

— Давно?

— Вот уже час, как звоню.

Марк посмотрел на часы и задумался. Потом сказал деланно равнодушным тоном:

— Через час мы уходим. Собирайтесь.

Все мигом пришло в движение. Застучали по глинобитному полу сапоги. Щелкали затворы винтовок, звякали патроны, скрипели отодвигаемые скамьи. Люди торопились, точно давно ждали этого приказа. Никто даже не спросил, куда они пойдут. Казалось, всю эту возню подняли нарочно, чтобы не дать Марку сказать что-нибудь определенное. Он держался спокойно, всем своим видом давая понять, что зря торопиться не следует. Только когда Велта невзначай коснулась его руки, в глазах его блеснул гнев....

Кузнецу не пришлось собираться: он, как всегда, был готов. Подойдя к Марку, Арнис начал рассказывать ему о бегстве Екаба Вальтера, кое-что присочиняя от себя, Лиекнису стало невтерпеж слушать все это, а Марк по-прежнему сохранял хладнокровие. Он только зло усмехнулся:

— Он не первый. Разбредаются один за другим. Вы думаете, он перебежал? Что ж, найдутся и такие. Трусы всегда стараются спрятаться за того, кто посильней. А сейчас сила не на нашей стороне. Но, по большей части, просто расходятся по домам, оружие бросают в болото или тут же в кусты,— на нем ведь не написано, кто его носил. Прячутся по чердакам или в стогах соломы, пережидают, пока мы уйдем. Жены их и старики бродят вокруг, разузнают, не собираемся ли мы уходить. Эти-то самые злостные. Хорошо бы поискать их. Будь у нас время...

Лиекнис придвинулся к нему поближе.

— А разве... у нас его нет?

— Я ведь сказал: через час уходить!

Велта уже перебирала документы.

— Мы отступаем, да? Но тогда мне надо укладываться.— Она выдвинула ящик стола.

Марк кивнул ей:

— Все лишнее — в печь, чтобы здесь не осталось ни одной важной бумажки.

Рийниек, присев на корточки, открыл дверцу печи. Выждал, пока не разгорелось пламя, потом неуверенно подошел к Марку.

— Скажите, ну как я уйду? В двух верстах отсюда у меня осталась больная жена с маленьким ребенком. Ведь ей станут мстить за меня.

— У меня тоже жена и ребенок, а разве я сейчас вправе думать о них? Ну, а кто желает, пусть остается, я никого не принуждаю. Я хочу только предостеречь. Многим придется потом горько раскаиваться, но будет поздно...

Лиекнис слегка дотронулся до его руки.

— Ну, зачем ты это говоришь, Марк? «Никого не принуждаю». Этак мы разбредемся, словно овцы... Разве у нас нет дисциплины? Разве ты больше не командир?

Они подошли к печке. Велта, присев перед ней, бросала в огонь документы. Марк печально улыбнулся, но в этой улыбке было больше суровости, чем в глубоких складках на лбу.

— Да, я был командиром, пока вы этого хотели. Ну, чего вы так смотрите на меня? Будто я какой-нибудь библейский

вождь, который может призвать на помощь Иегову с его громами и молниями. Я ведь вижу вас насквозь. Три дня вы с нетерпением дожидались того, что я сейчас сообщил. Да не мог же я вам сказать, чтобы вы не ждали попусту, не нашептывали друг другу всякую чепуху и оставались до конца мужчинами.

— Но мы ведь не бежим, а отходим на дальние позиции и начнем новое действие борьбы.

Марк провел ладонью по лбу.

— Дай папиросу, что-то и мне курить захотелось... Да, далеко мы отошли... Новое действие, говоришь?

Лиекнис перекинул винтовку на другое плечо.

— Да, говорю! Я своих позиций не оставлял.

— Ну ты, еще кое-кто. Вы будете продолжать борьбу хоть за тысячи верст отсюда. Но для Вальтера, Руты и других наступило последнее действие.

— А для тебя?

Со двора вместе с завыванием ветра донесся скрип колес, послышались людские голоса. Марк подозвал Краста и Лиекниса и отдал последние распоряжения. Оба они должны снять посты и уйти вместе с последними подводами беженцев. Это на всякий случай, потому что до рассвета вряд ли можно ожидать серьезной атаки. Ехать надо болотом до железной дороги и шоссе, где концентрируются главные силы. А там ждать дальнейших указаний...

Дверь распахнулась. Сталкиваясь с выходящими из корчмы, вбежала закутанная в платок женщина. Отыскав глазами мужа, она, не обращая внимания на окружающих, подошла прямо к нему. Голос у нее был тихий, но в нем звучала привычная, давняя укоризна:

— Марк, мы уезжаем. Поедем вместе!

Марк помрачнел.

— Ты знаешь, что я не могу этого сделать.

— Ты никогда не можешь. Ты еще ни разу в жизни не послушал меня. В девятьсот шестом ты не мог бежать за границу, как другие, тебе захотелось десяти лет каторги, захотелось обречь меня на голод и унижения... Теперь уже все кончено... Ну, чего ты еще добиваешься?

Марк оглянулся, словно искал, куда бы спрятаться от нее.

— Откуда тебе знать, что началось, что кончилось и чего я хочу! Ты едешь с провожатым, под охраной. А другие — я сам сегодня видел — бредут с котомками за плечами и с детьми на руках.

Женщина засмеялась злым, горьким смехом.

— Я тоже согласна идти пешком. Котомки у меня, правда, нет. А твоего сына можно вести за руку...

Марк отступил на шаг и безнадежно махнул рукой. А она уже уставилась на Велту, которая стояла, выпрямившись, вся розовая в отсвете пламени.

— Ах, так теперь эта?..

Подойдя к Велте, она ощупала ее взглядом с головы до ног и, покачивая головой, отошла в сторону.

— Да, да... Теперь понятно, почему ты не можешь ехать со мной. Нет, нет!.. Не отпирайся...

Она вскрикнула и замахала обеими руками, когда Марк попытался было возражать. Стянула платок у самого подбородка, и лицо ее стало узеньким, серым, словно высохшая голова птицы. Шлепая старыми мужскими сапогами, она почти бегом бросилась к двери, оставляя за собой мокрые следы.

Марк тяжело перевел дыхание, почти охнул. Велта, еле касаясь пальцами, погладила его по плечу.

— Бедный, бедный друг! Сколько всего тебе приходится терпеть!

Но Марк уже снова стал резким, колючим.

— Не больше, чем ей. Тут дело в нервах. Из-за них все воспринимаешь болезненнее. А у нее они слабее, чем у меня.

— Почему ты такой жестокий? Разве не все равно, уедешь ты с нею или минут на десять позже?

Он подождал, пока последний вооруженный человек не закрыл за собою дверь.

— Я вообще не собираюсь уходить отсюда — ни с ней, ни с последней партией.

Велта выронила из рук перевязанную бечевой пачку документов. Марк не дал ей заговорить.

— Если я не захотел бежать в девятьсот шестом году, то теперь и подавно не могу... Там, за болотом, или, может быть, за тысячи верст отсюда, завтра или через десять лет, но обязательно начнется следующее действие. И я должен остаться, чтобы задержать врага, помочь другим начать все сызнова.

— Вздор какой. Да разве ты в силах устоять в одиночку там, где ничего не могли сделать две тысячи?

Марк не успел ответить. Пронзительно затрещал телефонный звонок. Даже неожиданный выстрел не испугал бы так Велту. Она сразу же взяла трубку. А приложив ее наконец к уху, тут же отняла, будто ужаленная. Отблеск пламени мгновен-

но потух на ее лице. Оно стало таким же серым, как оконные стекла при свете проглянувшей сквозь тучи луны.

— Что это значит? Говори ты...

Велта впилась взглядом в Марка, когда он, облокотясь на стол, взял трубку. Она мало что поняла из его коротких, отрывистых фраз, скорее чутьем уловила смысл разговора.

— Да, да... У нас все спокойно... Вот ложимся спать. Да... Спокойной ночи! До завтра...

Марк отодвинул аппарат и выпрямился. Лицо его исказила гримаса, она должна была означать улыбку. У Велты задрожал подбородок.

— С мельницы? Они уже там?

— А ты думала — наши?.. Идиоты... Аппарат взяли, а провод оставили в целости. Ну, понятное дело, телефон волостной, общество не должно нести убыток. Хорошо, что и эти не умнее их,— воображают, что имеют дело с детьми. Иначе бы и впрямь взяли нас, как зайцев из силка. Ты готова? Тогда пойдем.

Он помедлил с минуту, задумчиво глядя на телефонный аппарат. Так и не взяв трубку, присел на корточки у стены, собрал разбросанные на полу патроны и рассовал их по карманам. Велта ждала у открытой двери.

Густая туча заволокла луну, но и во мраке можно было различить оживленное движение. Скрипели телеги, лошади шлепали по грязи. Пешие, всадники и сидящие на телегах тихо переговаривались.

Должно быть, один и тот же ветер гнал в одну и ту же сторону тучи и толпу беженцев.

На минуту все стихло, только деревья, казалось, шумели еще яростней.

Велта стояла рядом с Марком.

— Почему мы не уходим?

— Да вот Лиекнис и Краст со своими еще не подошли.

Марк всмотрелся в темноту и прислушался к доносимым ветром звукам. Пожалуй, ничего подозрительного не слышно. Он привалился к столбу упавшего забора, поставил винтовку между колен. Марк заговорил — в голосе его прозвучала и покорность, и легкая насмешка.

— До чего же усердно шагают ноги, когда надо спасать жизнь! А жизнь — нелегкое бремя...

Велта не нашлась, что ответить. Да и он не ждал ответа: он скорее разговаривал с самим собою...

— Нелегкое, но самое драгоценное. С ним еще можно

обрести потерянное. Конечно, не завтра и не послезавтра... Времени, что ли, не хватит...

Он рассмеялся, и смех его, перебиваемый шорохом ветвей старой липы, больно отозвался в сердце Велты.

— Марк, что ты говоришь! Прислушайся лучше,— кажется, едут!

Это были подводы с беженцами. За ними, во главе последнего отряда, шли Лиекнис и Краст. Шагали все торопливо, молча, и только на миг остановились перед старой корчмой, из окна которой бледно-зеленой полосой падал свет забытой лампы.

Марк, поговорив с Лиекнисом, подозвал Велту к подводе, где на узлах и набитых соломой мешках уже сидела какая-то женщина с четырьмя хнычущими детьми.

— Садись сюда! На болоте грязь по колено.

Велта, подозревая хитрость, ни за что не соглашалась.

— Нет, пойду с тобой.

— Со мной нельзя.

Он, как ребенка, поднял ее вместе со всеми пачками документов и усадил в телегу. На один лишь миг тело ее прижалось к груди Марка. Губы невольно коснулись его небритой щеки. Слабым, изменившимся от слез голосом она спросила:

— А ты... пойдешь?

Марк уже шагал рядом с подводой. Но как только луна спряталась за тучу, он замешался в рядах вооруженной охраны.

У спуска, когда впереди завиднелся редкий сосновый лесок, Марк незаметно остановился у стены старой, развалившейся пивоварни. Там он переждал, пока опять не выглянула луна. Серой извилистой полосой врезалась в болото изъезженная дорога. По обе стороны ее светлели налитые водой окна. Постепенно стихали и скрип телег, и шлепанье ног по грязи. Ветер пронзительно свистел в проломах стен, которые за последние годы много раз служили бойницами.

В эту ветреную, ненастную ночь Марка охватило ощущение такого одиночества и пустоты, что ему захотелось глубоко-глубоко вздохнуть и завыть, как затравленному охотниками волку. Никогда еще он не чувствовал себя таким покинутым и беспомощным.

Глухо и безучастно шуршал ветер в ветвях старых лип. Хоть бы залаяла вдали собака. Даже огни в имении погасли. А тут набежала новая туча. Подхватываемые ветром струи с плеском падали в лужу у самых ног. Было так темно, что и ближайшие предметы потеряли очертания, слились в одну неопределенную массу. Только наверху, в корчме, все еще горела забытая лампа.

Марк пошел обратно, шлепая по размешанной дорожной грязи и лужам.

В корчму он не стал заходить. Приземистое строение казалось притаившимся во мраке одноглазым, коварным чудовищем. Марк вздрогнул и крепко сжал в руке винтовку... Но это только ветер хлопнул оставленной настежь дверью. В полосе света кружилась по земле брошенная кем-то фуражка, и дождь заливал ее. При виде этой фуражки Марк почувствовал себя еще более одиноким.

Он отошел шагов на двести в сторону и присел на штабель бревен. Их привезли сюда еще до войны, да так и не пустили в дело,— они наполовину сгнили, заросли чернобыльником и крапивой. Ветер нещадно трепал голые мокрые стебли, мелкий дождик сек лицо. Но Марк не старался укрыться. Эта ночь, этот черный небосвод всей тяжестью наваливались на его плечи.

Ему показалось, что он вздремнул, а может быть, спал довольно долго. Разбудил его орудийный выстрел с наветренной стороны. Выстрел грянул коротко, глухо, без отголоска. Потом где-то вдали послышался грохот разрыва. Это был звук привычный, и воображение мигом дополнило его вереницей соответствующих представлений. Усталости и апатии как не бывало. Марк встал и впился взглядом в темноту.

Мысль его четко анализировала каждый подозрительный шум. Так прошло несколько минут, а может быть, час и два,— счет времени был потерян. Наконец, он услышал стук лошадиных копыт. Всадников было несколько человек, но немного. Подковы цокали по гравию дороги. Всадники не поехали мимо корчмы, видимо, испугались света в окне и, решив объехать, свернули с дороги. Марк отчетливо услышал шлепанье копыт по размокшей пашне.

Немного спустя у развалин пивоварни, примерно там, где он недавно стоял, зашевелились две темные фигуры. Марк припал к винтовке, но тут же раздумал и опустил ее. Стоит ли пугать двоих! Он не для этого остался здесь. Надо задержать всю банду, по крайней мере пока отступающие не доберутся до своих. Марк опять сел на бревна и пригнул голову. Немного погодя совсем в другой стороне хлопнули один за другим два выстрела. Загремела черепичная крыша корчмы. И снова только ветер шуршал в ветвях старой липы, да хлопала с жалобным скрипом дверь.

Марк чуть ли не расхохотался. Его хотят окружить и взять живьем! Вспомнились давние-давние годы — школьные годы:

«Что лаешь, песик?» — «Волков пугаю».— «А что хвост поджал?» — «Волков боюсь»...

Он уже готов был пуститься в сентиментальные воспоминания детства, как вдруг совсем близко бухнуло орудие, заставив его вскочить. Снаряд, свистя, пролетел между корчмой и бревнами и с грохотом разорвался где-то в болоте. Второй разорвался между корчмой и развалинами пивоварни, а третий — в лесу. За три месяца боев Марк убедился, что артиллерия противника стреляет плохо. Но сейчас его так радовали эти выпущенные попусту снаряды. Как будто это могло ему помочь.

Больше он не знал ни минуты покоя; он слышал, он чувствовал всем своим существом, каждым нервом чувствовал, что враги приближаются, что они разделились на несколько групп, вот-вот окружат его. Казалось, мрак был полон движущихся теней. Он припал к бревнам, держа винтовку наготове.

За большаком, как раз в том месте, где всадники свернули в поле, захлопали винтовочные залпы. Гремели осыпающиеся осколки черепицы, пули царапали шершавые стены корчмы. Цель была хорошо видна, но лампа горела по-прежнему. Марк наблюдал, затаив дыхание. У него было такое чувство, будто все теперь зависит от того, попадут они в окно или нет.

Винтовки смолкли. Но через минуту на большаке, прямо против бревен, застрочил пулемет. Строчил он долго-долго, длинными очередями, с перерывами. И снова щелкали пули по неровной стене, снова гремели падающие осколки черепицы. Марк припоминал разные случаи из жизни и думал, что даже забывчивость или просто нерадивость может иногда сослужить службу. Привлеченный светом лампы, противник штурмовал пустую корчму, а отступающие тем временем переправятся через болото.

Ему не пришлось долго думать о них. Пулемет в конце концов нащупал окно. Марк не слышал дрожащего звона стекол, его заглушило тарахтенье пулемета. Но лампа погасла, и стрельба сразу прекратилась. И ветер как будто стих на минуту, только однообразно шумел дождь, и с крыши часто шлепались тяжелые капли. Щупальцы мрака шевелились перед глазами. Сейчас начнется последнее действие. Марк дополз до конца штабеля, залег, положив ствол винтовки на бревна.

По стенам корчмы забегали светлые блики. Видимо, наконец отважились осмотреть помещение. Шли, громко разговаривая, окликая друг друга. Со стороны шоссе тоже доносился шум. Фыркали лошади, звякало оружие, кто-то бравым барственным голосом отдавал приказания.

Блеснул фонарик. Марк заметил рукав шинели с тремя металлическими пуговицами, портупею, усатое лицо и помятую фуражку. Фонарик осветил еще три-четыре головы в таких же фуражках. Но Марк смотрел на другое. Значит, они захватили отставшую подводу с беженцами. Виден был лоснящийся мокрый край мешка с соломой и дальше смутные силуэты скорчившихся седоков. Кто-то выругался истошным, злым голосом. Затем раздались удары — один, другой, третий. Каждый удар сопровождался скверным ругательством. Закричала женщина, казалось, ее разрывали на части. Потом застонала протяжно, глухо, будто ей заткнули рот.

Марк крепко стиснул зубы, точно силился сдержать крик. Он припал к винтовке и стал стрелять, неторопливо водя дулом из стороны в сторону. Двое почти одновременно вскрикнули от боли и страха. Фонарик потух, сквозь треск выстрелов слышно было, как лошадь рванула телегу и помчалась с пригорка вниз.

У стены старой корчмы все кипело, как в котле. Обезумевшие люди кричали наперебой, бегали взад-вперед, спотыкаясь, сбивая с ног друг друга, не зная, куда спрятаться, не понимая, с какой стороны их атакуют. Дверь корчмы была уже заперта, или ее не могли найти, но Марк догадался по возне, что там сбилась целая толпа. Вспомнив, что у него еще осталась одна граната, он вскочил, размахнулся и бросил, хотя и знал, что расстояние слишком далеко и до двери она не долетит. Но граната разорвалась возле ближайшего угла здания. Сам он бросился наземь и пополз за штабель. Из корчмы, с большака и, кажется, из поросшей лозняком канавы, давно уже начали постреливать. Пули без умолку жужжали над головой, а изредка врезались и в бревна.

Вот разорвались три-четыре гранаты, а поодаль опять застрочил пулемет. Марк лежал на бревнах, замаскированный чернобыльником и крапивой. Вспышка разрыва осветила на миг несколько человек, ползущих за угол и залегших у стены корчмы. Марк не слышал, как гулко стучало у него сердце,— ему было почти весело. Он опустил голову на мокрое бревно и пошевелил затекшими пальцами.

Он стал замечать, что стреляют не только из корчмы. Когда все замолкли на минуту, далеко позади раздавались залпы и, захлебываясь, строчил другой пулемет. Безудержная радость обуяла Марка, словно он выиграл целое сражение и спасся сам. Значит, из имения, из парка стреляли по своим. Так, так... Еще... Палите вовсю! Завтра увидите, какую славную победу вы одержали...

Во всех направлениях летели, жужжа, стальные пчелы. Кое-когда они впивались в бревна. Марк поднял голову. Дождик чуть-чуть моросил. Луна зашла, но небо стало бледнеть. В серых облаках появились проблески. Светало...

Марк опомнился. Чего он здесь разлегся? Словно с восходом солнца можно будет подняться и спокойно идти своим путем. В кармане у него еще осталось несколько патронов. Встав во весь рост, он взобрался на штабель и начал стрелять в окно корчмы.

Стихнувшая было стрельба возобновилась с новой силой. Стреляли из корчмы. Позади в имении тарахтел пулемет. Пули свистели над головой, ложились все ниже и ниже.

Уже рассвело, и бой вслепую кончился. Марк лежал, вытянувшись на бревнах, обеими руками прижимая к груди винтовку.

1926

Пастор Вольдемар Теофиль Вилибальд Акот проснулся в весьма дурном расположении духа. Это было для него явлением необычным, и он целых полчаса размышлял над его причинами.

Пастор Акот был человек жизнерадостный. Один из тех пастырей-либералов, которые не слишком строго придерживаются догмы Ветхого завета. Он не настаивал на том, что бог вылепил Адама именно из глины и что валаамская ослица непременно читала мораль своему седоку. По примеру небезызвестного Андриева Ниедры, он полагал, что Пятикнижие Моисея — прекрасная поэтическая легенда, которой можно пользоваться на практике лишь как средством обновления религиозных чувств латышского народа. Он не выступал против ученых-естествоиспытателей, не отрицал теории относительности, не возражал против пересадки обезьяньих желез старикам. С довольно кроткой улыбкой говорил он и об обряде вкушения гороха на могилах соплеменников, столь распространенном среди приверженцев культа древних латышских богов. Пастор Акот пытался соединить науку и религию, следуя известной формуле: там, где кончается наука, начинается религия. Такая терпимость была просто необходимой, поскольку самому Акоту вместо пасторской усадьбы, пары раскормленных лошадей и великолепной рессорной коляски, которыми он владел до войны, не говоря уже о приношениях прихожан, в настоящее время приходилось довольствоваться наделом в тридцать пурвиет и двумя комнатенками в бывшем домике кучера. Вдобавок его испольщик Аннус по праву мог считаться самым строптивым человеком во всем приходе Вилкаши.

Подвергнув свое скверное настроение анализу, пастор Акот обнаружил две основные причины его.

Первая была чисто физиологического свойства. Накануне кухарка Катрина подала ему на ужин старого гуся под соусом из хрена. Это нарушило нормальную работу пищеварительных органов пастора и заставило его всю ночь промучиться в тяжелых сновидениях.

Но более веской была чисто психологическая причина. Пастор явно вспомнил, что он вызвал на сегодня в так называемую пасторскую усадьбу Спрингиса Пагалниека из усадьбы Леяс-Тюньти. Спрингис Пагалниек и был психологической, к тому же главной причиной его отвратительного настроения.

Если б только было возможно, пастор ни за что бы не вызвал его. Но позавчера к нему явилась Дарта Пагалниек и жаловалась целый час. Житья ей нет от мужа. Поедом ест. Только и остается, что посадить всех троих детей, как котят, в мешок и спустить в прорубь. А за ними и самой,— как есть, в том же грязном фартуке и деревянных башмаках. Пусть потом вытаскивают, если найдут.

Пастор, разумеется, не мог допустить, чтобы у него в приходе разыгралась подобная трагедия. И без того престиж священнослужителей стоял не ахти как высоко, не то что в доброе старое время. И позволить ему упасть еще ниже было бы с его стороны непростительной нерадивостью.

К тому же Дарта Пагалниек принадлежала к числу самых ревностных прихожанок, и ее влияние на остальных двадцать трех аккуратных посетителей церкви было, бесспорно, велико. А главное то, что одна из основных обязанностей пастыря душ — оказывать помощь страждущим и сглаживать семейные неурядицы.

Поэтому пастор Акот и вызвал на сегодня Спрингиса Пагалниека, поэтому у него было такое дурное настроение.

И откуда взяться хорошему настроению, когда предстоит разговор с Пагалниеком. Пастор Акот отлично помнил его еще с девятьсот пятого года. Хотя Спрингиса Пагалниека и не было среди прихожан, осмелившихся схватить пастора за фалды талара и стащить с кафедры, но, во всяком случае, он находился среди тех, кто стоял вдоль дороги и наблюдал, как, привязав к шесту красную тряпку, пастора гонят мимо корчмы к аллее помещичьей усадьбы. При этом Спрингис Пагалниек не насмехался, как другие. Он приминал большим пальцем табак в своей трубочке и, прищурив один глаз, смотрел на небо.

— Вот бы сейчас хороший проливной дождь.

Так и сказал. А что за этим крылось, пастор до сих пор не мог понять. Ясно только, что ничего хорошего эти слова не означали.

А через некоторое время, когда пастор Акот принес святые дары в подвал имения к осужденным, которых должны были расстрелять следующей ночью, Сприцис Пагалниек даже не соизволил привстать при его появлении. Вместе с другими так и остался лежать, задрав ноги. Есть все основания сомневаться в том, что пятьдесят нагаек, которые он получил по заслугам, исправили его. По крайней мере, женщины рассказывали о его теперешнем поведении довольно подозрительные вещи. Поговаривали даже, что во время выборов Сприцис Пагалниек голосовал за список левых и однажды был замечен у волостного правления, где красные устроили свой митинг.

Нет, нет, приятного эта встреча не сулила. И ничего тут нельзя было поделать.

Пастор слез с кровати, как был, без кальсон, и надел клетчатый фланелевый халат с никелированной пряжкой на животе. Одна фетровая туфля лежала на шкуре косули, в нее он тут же въехал правой ногой. Другая попала куда-то под кровать. Пока он сердито выуживал ее левой ногой, старая Катрина, услыхав, что пастор встал, постучалась и сразу просунула голову в дверь.

— Сейчас будете кофе пить, ваше преподобие, или когда умоетесь? И где — здесь или в столовой?

Пастор даже не взглянул на нее.

А что у нее к кофе?

Вчерашнего гуся их преподобие кушать отказались. Зато Аннуспене привезла с рынка вареной валмиерской ветчины. Ее можно поджарить с тремя-четырьмя яйцами. Пирожки в духовке, должно быть, готовы. Белый хлеб сегодня совсем свежий.

Левая нога подцепила другую туфлю, и настроение пастора заметно прояснилось. Хорошо, хорошо, пусть собирает на стол, он сперва умоется. Только яичницу, пожалуйста, совсем без соли,— чтобы ни крупинки не было,— и на сливочном масле.

Через минуту из кухни доносилось приятное шипение, и на душе у пастора стало еще легче, почти совсем хорошо. Он поглядел в зеркальную дверцу шкафа, потрогал щеки и подумал, что, пожалуй, пора уже проехаться по ним «жиллетом»: колючие стали.

В эту минуту во дворе залаяла собачонка Аншуса. Пастор взглянул в окно и сразу увидел: Сприцис Пагалниек явился.

По протоптанной между сугробами тропинке он медленно шел мимо колодца к крыльцу. Остановился, стал смотреть на заблудившуюся ворону, которая перелетала с ветки на ветку. Вот он поднял руку. Ага, значит, сейчас спрячет трубку. Нет, примял только большим пальцем табак. Это в пяти шагах от пасторского крыльца! Пастора даже в жар бросило. Неужели опять начнется страшный год? И кто сейчас у власти — Альберинг или Стучка? Пока в голове пастора мелькали мысли о политике, пальцы его судорожно хватались за пряжку халата, но застегнуть ее ему не удалось. Когда он пошел отворить дверь в переднюю, халат слегка распахнулся, и оттуда выглянула худая, волосатая, обутая в фетровую туфлю нога.

— Заходи, заходи, Сприцис Пагалниек.

Пастор Акот сам удивился, откуда взялись в его голосе бархатные нотки, когда на душе у него кошки скребли.

Трубки во рту у Сприцпса Пагалниека уже не было, но шапка все еще красовалась на голове. Войдя в спальню, которая служила и кабинетом, он стал снимать ее обеими руками, как будто это была вовсе не шапка, а взваленный на его голову тяжелый камень.

Пастор Акот сел за письменный стол и дрожащей рукой отодвинул коробочку из-под сигар, оставшуюся еще со времен оккупации, а в ней у него хранились почтовые марки и мелочь. Сприцис Пагалниек стоял шагах в пяти от пастора и осматривал все вокруг таким невинным и внимательным взглядом, будто его прислали сюда для составления описи инвентаря, а не вызвали для того, чтобы направить на стезю добродетели.

Один из таких взглядов пастор перехватил в тот миг, когда он задержался на каком-то предмете под кроватью. Пастор даже покраснел.

— Что ты там рассматриваешь, Сприцис Пагалниек?

Сприцис Пагалниек ответил с полной готовностью и при этом приветливо улыбнулся:

— Я подсчитал, что отсюда до угла хлева будет не больше двадцати шагов.

Это было сказано так же неопределенно, как и тогда, в тот безумный год. Но пастору от этого легче не стало. Он откашлялся и заметил уже более строгим тоном:

— Сприцис Пагалниек, я пригласил тебя сюда для беседы.

Продолжая улыбаться, Сприцис Пагалниек кивнул головой и зачастил тонким голоском:

— Вам повезло, господин пастор. Мой шурин Лиепа сварил к празднику пиво и позвал меня отведать. Ему все кажется, что хмелю маловато. Вот я и решил заодно к вам завернуть...

Улыбка Пагалниека, его готовность поболтать, да и сама тема разговора показались пастору совершенно несоответствующими моменту. Он стал еще строже.

— Мне стало известно, Сприцис Пагалниек, что ты предаешься пьянству. Помимо того, что пьянство порождает всяческие пороки, о которых я скажу особо, разве ты не видишь, что, пьянствуя, ты подтачиваешь свое здоровье и наносишь ущерб народному благосостоянию?

У Сприцса Пагалниека один глаз был совсем прищурен, а другой широко раскрыт и устремлен прямо в потолок.

— За мое здоровье, господин пастор, не стоит беспокоиться. Очищенная ведь у нас теперь своя,— это во время оккупации всякой дрянью приходилось наливаться! Похмелья у меня почти не бывает,— видать, брюхо еще в порядке. Ну, разве когда под рукой нет ничего подходящего на закуску. Мне, господин пастор, требуется что-нибудь жирное и соленое. Жена как-то сдуру поставила на стол мягкий хлеб, и вот...

Решительным мановением руки пастор прервал эти рассуждения.

— Это меня не интересует. Говори о деле.

— А, это вы насчет народного благосостояния, господин пастор? Я рассуждаю так: разве у нас теперь нет монополии на водку, разве государство не получает все, что мы пропиваем? Не будете же вы требовать, господин пастор, чтобы государство и народ остались без дохода?

Пастор заметил, что этот безбожник хочет увлечь его на скользкие рельсы, и поспешил перейти с экономической почвы на чисто теологическую.

— В Священном писании говорится: «Чревоугодники и винопийцы не унаследуют царствия небесного...»

Сприцис Пагалниек почесал одной рукой в затылке, другой — еще где-то.

— Это, конечно, куда как скверно... Ну, а как с этим самым Святым писанием, с этим царствием? Ной вот был святой человек,— господь за это выловил его горстью из пучины потопа, как цыпленка. И нисколечко не обижался за то, что тот любил

иногда заложить за галстук. А потом, попозже, когда в Канской волости случилась попойка по случаю свадьбы...

Пастор Акот сдержался, но все же слегка стукнул кулаком по столу.

— Сприцис Пагалниек! Ты нечестивец!

— Я, господин пастор? Да я в жизни с нечистотами дела не имел, это вам кто угодно скажет. Мы с шурином Лиепой с самой осени дрова рубим у Каугерта. А ежели вам понадобится золотарь, может приехать из местечка старик Силинь со всем инструментом.

Пастор Акот взглянул на безбожника уничтожающим взглядом и перенес вопрос в новую плоскость — в область семейных отношений.

— Ты губишь свою семью. Жена твоя жаловалась мне на тебя.

— Это я, господин пастор, знаю. Только вы не все принимайте за чистую правду. Будто вы женщин не знаете. Конечно, это не очень хорошо, что я часто прикладываюсь к ульманисовке. А она сама чем лучше? Куда у меня деваются неклеванная мука и топленое сало? Чуть я только за дверь — сковорода с оладьями уже на плите!

По вполне понятной ассоциации он повернул нос в сторону кухни, где только что перестало шипеть на сковороде масло.

Пастор пожал плечами.

— Этого я не знаю. Об этом она мне не рассказывала.

— Дожидайтесь, так она вам и расскажет! Порасспросили бы хоть нашу хозяйку! А вы, ничего толком не узнав, человека от дела отрываете.

В эту минуту в дверь просунула голову Катрина.

— Ваше преподобие, пожалуйте, завтрак на столе. Как бы не остыл.

Это был обычный маневр, к которому они прибегали, когда какой-нибудь назойливый или болтливый посетитель слишком долго задерживал пастора Акота. Мартин Лютер не очень строго смотрел на такие мелочи, хотя Катрина пользовалась этим приемом гораздо чаще, чем это разрешал катехизис. Но сегодня она была на три четверти права.

Однако пастор Акот скорее бы согласился, чтобы кофе и валмиерская ветчина немного остыли, чем отпустить этого безбожника нераскаявшимся и необращенным. Он кивнул прислуге и попробовал перенести дискуссию в сферу юридических вопросов.

— Так вот, Сприцис Пагалниек! Мой пастырский долг повелевает указать тебе на то, что твое обращение с супругой противоречит и законам и справедливости. Ты дал обещание перед святым алтарем, что будешь любить ее всю жизнь, но все мною от тебя услышанное свидетельствует о том, что ты ее не любишь. Значит, ты нарушил свое обещание. Признайся, обещал ты или не обещал?

В глазах Сприцса Пагалниека мелькнул недобрый огонек.

— Обещал, обещал... Как вы, господин пастор, глупо рассуждаете! Конечно, обещал, но за что? Ведь она мне наговорила, что ей в приданое дадут две коровы, сто двадцать рублей деньгами и дядин верстак со всем инструментом. Две коровы! Да я бы с ними мог обзавестись хозяйством. А на деле что — тьфу! — даже говорить не хочется. Знаете, господин пастор, любить всю жизнь за старую яловую корову и полусуконный костюм — это уж вы чересчур много захотели.

Пастор смотрел на безбожника во все глаза и не сразу нашелся что сказать. Очевидно, в Пагалниека давно вселился бес. У него даже не хватило почтительности, чтобы подождать, пока выскажется его пастырь. Настроенный против всего святого, он продолжал:

— А это как, господин Акот? Ваша-то мадама тоже сейчас живет в Елгаве. Шурин божился, что она открыла там школу кройки и шитья. Разве вам тоже не пришлось давать обещание перед алтарем и все такое прочее? Вы уж лучше моего знаете.

Пастор Акот вскочил на ноги. Кулаки стукнули по столу с такой силой, будто он намеревался пробить его насквозь. «Господин Акот...», «мадама...» — да это же явная профанация, неслыханное неуважение к его сану вообще и к значительности момента в частности! Пастору оставалось одно: прикончить негодяя с позиций государственной безопасности и патриотизма.

Он заговорил медленно, делая ударение на каждом слове, будто бросая гирю на чашку весов, и старался подавить злобную дрожь в голосе:

— Из всего, что ты тут наговорил, мне ясно одно: ты окончательно погибший, закоренелый грешник. Если бы это было просто заблуждение и ты бы раскаялся в своих прегрешениях, тебя еще можно было бы простить. Но ты закоренелый, неисправимый строптивец. Ты социалист, а может быть, даже коммунист. Тебя следует предать в руки властей. Признайся прямо, кому ты служишь и сколько тебе за это платят?

Вся фигура и лицо Сприциса Пагалниека выражали величайшее недоумение. Он снова почесал одной рукой в затылке, а другой еще где-то и уставился в окно с таким видом, словно только сию минуту до него дошли слова пастора.

— Сколько за это платят?

Он пожал плечами.

— Неужели за это хорошо платят? Вот черт, как же мне до сих пор никто об этом не сказал. Каугерт за сажень дров платит сто пятьдесят. Хозяин летом за рытье канавы — десять. Но тогда, знай, к вечеру спину прямо разламывает. Там, может, и работа полегче, и платят малость получше? А вы, Акот, не скажете, куда надо обратиться? Вы в этих делах больше понимаете.

— Я?!

— А как же! Вы ведь каждое воскресенье возглашаете: да изольется милость твоя на нашего... ну, уж вы сами лучше знаете, как там дальше. Сколько вам за это дают в месяц?

— В месяц! Да ты с ума сошел!

— Ну да, я знаю, сейчас говорить об этом нельзя. Налоговый департамент следит за каждой тысчонкой. Но во времена фон дер Гольца и немецкой оккупации вы точно так же проповедовали: «Да изольется милость твоя на его величество государя нашего, Вильгельма Второго...» Немцы-то побогаче нас.

Голос пастора совсем ослаб, когда он проговорил:

— Вон... богохульник!

Но Сприциc Пагалниек не уходил. Сам нечистый дергал его за язык.

— А во времена Керенского: «Да изольется милость твоя на Временное правительство». А при царе — на Николая Второго...

Оба кулака пастора нацелились прямо в грудь безбожника.

— Сприциc... Сприциc Пагалниек! Еще одно слово, и...

Но его ожидало далеко не одно слово.

— Я каждый год на юрьев день перехожу к новому хозяину. Вы, правда, никуда не переходите, но хозяев у вас было не намного меньше, чем у меня. Мы с вами, Акот, оба поденщики, а ремесло это не очень приятное. Вы не обессудьте, я человек темный, лучше сказать не умею. Но выгоду на свой юрьев день вы тоже соблюдаете. Мне кажется...

Что ему еще казалось, Сприциc Пагалниек так и не успел досказать. Пухлые кулаки пастора замелькали перед самым его носом.

— Вон, безбожник!

Безбожник мигом взялся за ручку наружной двери, а еще через секунду у той же двери пастор подпрыгивал и вопил:

— Вон! Вон!

Бросив взгляд в окошко передней, он увидел, что Сприцис Пагалинек играет за колодцем с собачкой испольщика Аннуса. Пастор вернулся и рухнул в кресло перед накрытым столом. Яичница остыла и походила на неудавшийся студень. Пирожки были пересолены, кофе — вроде сладковатых помоев. Пастор Акот ничком повалился на кровать и лежал как мертвый. Напрасно пробовала пуститься в разговоры и расспросы Катрина, вошедшая с веником и тряпкой. Пастор Акот поднялся только к вечеру.

1927

У рингсдорфского пастора Ганса Фогеля скончалась жена. Свершить погребальный обряд взялся его младший собрат по профессии Рихард Краузе из соседней деревни Грюнталь. Рингсдорфский пастор был очень признателен ему за помощь.

Он сердечно пожимал коллеге руку.

— Да воздаст тебе господь, дорогой Рихард! Ты не представляешь себе, как трудно мне было бы сделать это самому. Право, не знаю, хватило ли бы у меня сил.

Грюнтальский пастор так же сердечно тряс руку Фогеля.

— Не стоит об этом и говорить. В радости мы можем быть каждый сам по себе, но помогать друг другу в горе — главная обязанность христианина.

Присутствовавшая при этом экономка, фрау Корст, покачала головой, на которой красовался белый чепчик.

— Господин пастор чересчур убивается. Вот уже четвертый день, как я попусту готовлю обед. Не знаю, чем только держится господин пастор. Если и дальше так пойдет, то скоро самого господина пастора придется отвезти в больницу.

Грюнтальский пастор положил руку на плечо коллеге.

— Коллега, не поддавайтесь так своему горю. Не позволяйте ему одолеть вас. С божьей помощью все можно перенести.

Коллега кивнул головой в знак согласия, но слегка отступил в сторону, так что рука Краузе соскользнула с его плеча.

— Я надеюсь справиться с этим. Но, видишь ли, на это нужно время. Немного времени: я думаю, с неделю....

— Усердная молитва — самая надежная опора в любом горе. Дни и недели минуют, но он один пребудет с нами во веки

веков. Жизнь человеческая быстротечна, подобно жизни лепестка или росинки. Человек покидает нас, дабы...

— Извини меня, Рихард,— перебил его рингсдорфский пастор,— я стал очень рассеян, мне надо собраться с мыслями. Я хочу полчаса побыть один.

Не ожидая возражений коллеги, он удалился в спальню. Молодой пастор слегка обиделся. Ведь он собирался процитировать кое-что из сегодняшнего надгробного слова, которое тщательно подготовил и предназначил в утешение скорбящему собрату.

— Господин пастор и в самом деле слишком убивается.

Фрау Корст помогла ему надеть талар поверх серого люстринового пиджака. Она говорила тихо, чтобы не слышно было в спальне.

— Ах, вы и не представляете себе, господин пастор! Он так меня тревожит! Барыня ведь больше года пролежала в больнице, и этого надо было ожидать. Да она и сама знала: мы с господином пастором часто с ней разговаривали.

— Да, супруга господина пастора умерла как истинная христианка, примирившись с богом и людьми. И господину пастору следовало бы проявить больше самообладания. Слишком сильная привязанность к покойнице может произвести нежелательное впечатление на паству. Мы должны принимать не только блага, ниспосылаемые нам господом, но и крест, который он порою возлагает на нас.

— А как же, господин пастор! Вы совершенно правы. Она была такая добрая...

Разгладив складки на рукавах талара, фрау Корст вытерла глаза.

— Двадцать лет я здесь прожила и ни разу худого слова от нее не слышала. Болезнь мучила ее уже давно, поэтому она всегда и была такая тихая, печальная. А господин пастор так любил ее!

— Это его долг, фрау Корст.

— Вот и я говорю. Но я думаю, тут было что-то, кроме долга. Они жили так, словно поженились только полгода тому назад. А прошлой осенью ведь исполнилось тридцать два года — столько же, сколько господин пастор в должности. Вы и вообразить себе не можете, как это было странно, господин пастор!

Пастор Краузе огляделся вокруг. На стене висело совсем крохотное зеркальце, а он привык облачаться в пасторское одеяние перед трюмо.

— Не следует чрезмерно привязываться к земному. Мы должны быть ко всему готовы, ибо не знаем, в какую минуту он призовет к себе нас или наших близких.

— Поговорите вы с господином пастором! Мне иной раз прямо страшно делается, как бы не случилось чего-нибудь. Все эти дни он почти не отходит от гроба. Сегодня вернулся из церкви только на заре. И если вы сейчас заглянете в спальню, в руках у него или корзинка для рукоделия, или одна из книг покойницы. Все ее вещи он запер в шкаф и никого к ним не подпускает. Уж вы поговорите с ним, будьте так добры!

Она подала ему выутюженный воротничок с двумя крестиками и помогла надеть.

— Спасибо, фрау Корст. Да, я решил это сделать, фрау Корст. Мы с ним дальние родственники, и потом, это мой долг. Правда, немного неудобно получается. Ему пятьдесят пять лет, а я на целых двадцать лет моложе. Кроме того, он мне часто помогал, когда я кончал курс. И место в Грюнтале он мне помог получить. У него хорошие связи в консистории.

— Все-таки поговорите с ним, господин пастор. У него здесь нет никого из близких.

— Гм... это все же странно. Он такой высокообразованный человек, на его рефераты в богословском обществе съезжаются пасторы со всей страны. А друзей у него нет, это верно. Мне кажется, тут отчасти виной его слишком смелые взгляды на некоторые важные церковные вопросы. Об этом даже писали в нашей газете. Откровенно говоря, мне и самому эти взгляды... Основатель нашей веры Мартин Лютер, надо полагать, был поумнее какого-то рингсдорфского пастора, не имеющего даже докторского звания... Подайте, пожалуйста, мне берет, фрау Корст. Благодарю. Это правда, что вы никого не пригласили на похороны?

— Кроме вас, ни единого человека! Подумайте, даже брату покойницы не сообщил в Берлин. Говорят, барыня с братом не поладили из-за чего-то, еще когда она вышла замуж.

— Я знаю. Господин фон Баумгартен — профессор технического института и очень богат. Ему не понравилось, что сестра его вышла за кандидата богословия, который тогда еще не получил места деревенского пастора. Госпожа Фогель, должно быть, сама этого захотела.

— Нет, барыня ничего такого не говорила. Когда мы в последний раз навестили ее в больнице, она только улыбнулась. Барыня всегда улыбалась, когда он приходил, и все время дер-

жала его за руку. «Как тебе угодно, мой друг,— говорит она.— Я знаю, говорит, что у меня есть брат. Но вот уже двадцать лет, как я его не видела. Если ты думаешь, что он понадобится теперь, когда я его уже не увижу... Я только хочу, чтобы ты был поблизости, когда будут засыпать мою могилу, мы с тобой так хорошо жили! Может быть, позвать еще детей, которых я учила музыке...»

Фрау Корст опять вытерла слезы. Пастор Краузе, наклонившись перед зеркальцем, старался поправить на голове бархатный берет с помпоном.

— Вашу барыню многие придут хоронить. Она пользовалась большим уважением.

Когда настало время идти в церковь, пришлось несколько раз постучать в дверь, так как спальня оказалась запертой.

У пастора Фогеля был такой вид, словно он только что вернулся из дальнего, изнурительного путешествия. Лицо пожелтело, глаза будто еще видели то, что недавно проходило перед ними. Фрау Корст надела на него пальто с черной креповой повязкой на рукаве, подала шляпу и чистый носовой платок. Он во всем повиновался ей, но мысли его явно были заняты другим. А может быть, он и вовсе ни о чем не думал.

Когда они вышли на дорогу и с белой колокольни, видневшейся за речкой, донесся звон, пастор Краузе спросил своего товарища:

— О чем вы думаете, коллега?

Тот словно очнулся от сна и провел ладонью по лицу.

— Мне кажется... Я ни о чем не думаю.

Грюнтальский пастор опять покачал головой.

— Мужайтесь, коллега. Вы ведь должны показать приходу пример самообладания и христианского терпения.

Рингсдорфский пастор остановился и широко раскрытыми глазами посмотрел на своего спутника.

— Показать?.. Что я должен показать?

Пастора Краузе немного встревожил этот нетактичный вопрос. Ведь речь идет не только о личном деле рингсдорфского пастора. Его нескрываемое отчаяние, неумение владеть собою могут повредить престижу пастыря прихода. Но чем сейчас помочь бедняге! Он показал рукой на холм.

— Слышите? И мой Бетге в Грюнтале звонит. Он обещал начать ровно в половине четвертого. Надо поторапливаться. Люди, наверно, ждут уже не меньше часа.

Со стороны Грюнталя, вниз по горной тропе, спешили еще несколько женщин. Пастор Фогель, обернувшись, немного покачнулся, и грюнтальский коллега взял его под руку. За ними на почтительном расстоянии, из сочувствия к горю своего пастыря, молча шла довольно большая группа наиболее уважаемых рингсдорфских крестьян. Было весьма уместно поддержать у них на глазах убитого горем коллегу.

Церковь была полным-полна. Но для пасторов оставили узкий проход к алтарю, перед которым стоял белый гроб с венками из роз и васильков, окруженный большими желтыми свечами. Сразу же за пасторами проход так запрудили, что богатые крестьяне с трудом, пуская даже в ход локти, пробрались вперед, на свои места.

Белый гроб... Пастор Краузе подумал, что это опять-таки не по обычаю. Пятидесятилетней замужней женщине подобает более солидный, выкрашенный под дуб. Но она сама так захотела. «Тридцать два года мы прожили вместе,— сказала она фрау Корст, как обычно, с грустной улыбкой.— Детей у нас не было, и я чувствую себя, как и в тот вечер, когда мы с Гансом впервые встретились на студенческом балу. Я тогда только что окончила институт, у меня были золотистые волосы. Я хотела бы лежать в белом гробу с тремя розами в руке...» Три розы... О кресте она не вспомнила. И в этом было нечто необычное, даже недопустимое. Хорошо, что коллега Фогель не захотел, чтобы гроб открыли еще раз, перед всем приходом. Покойница, чего доброго, в белом платье.

Пока грюнтальский пастор занимал свое место у алтаря, ему некогда было следить за вдовцом. Но, оглянувшись, он увидел его в головах гроба,— Фогель стоял, чуть отвернувшись от коллеги и прихожан. И на колени не опустился, а, бессильно свесив руки, уставился на дверь ризницы. Грюнтальский пастор сразу отметил про себя и неподобающую позу, и то, что люди постарше смотрели на своего пастыря с любопытством, даже с удивлением. Но обстановка была такой торжественной, что он ничего не мог сказать коллеге. Орган уже загудел, в церкви замелькали белые листки с текстом псалма.

У пастора Краузе оставалось пять минут, чтобы мысленно пробежать свое слово перед выносом тела. По рассказам рингсдорфцев он знал, что старый коллега приучил их к светским темам. Венки из васильков... это хорошо. Он это учел и соответственно построил свою речь. Успешнее всего можно воздействовать на слушателей, когда у них перед глазами какой-

нибудь конкретный предмет, который привлекает внимание и служит поводом для притчи.

Свое слово он выдержал в духе притчи, а главную и самую пространную часть оставил для кладбища. Васильки — они возвещают близость осени. Нива уже ждет жнеца. Зерна созрели и жаждут быть убранными. И вот приходит косарь с костлявыми руками и острой косой, и небесный ключник принимает новый урожай в свои закрома.

Грюнтальский пастор не отличался особым красноречием. У него был не слишком громкий, бархатистый баритон. Шипящие звуки он произносил мягко, хотя и не шепелявил. Зато он был молод, внушительного, сильного телосложения, с русыми вьющимися волосами. На таларе ни пятнышка, а воротничок с крестиками на уголках ослепительно чистый. Он хорошо владел своим голосом, мимикой, жестикуляцией и всем телом, что производило куда большее впечатление, чем сама речь. Краузе хорошо сознавал это и умел пользоваться своими природными данными.

Он внимательно следил за своей аудиторией. Вначале прихожане, как обычно, больше разглядывали пастора, и их трудно было расшевелить. Но затем он повысил голос и высунул руки из рукавов талара, стараясь чаще жестикулировать, кивать и встряхивать головой, чтобы усилить эффект произносимых слов и дать людям почувствовать, как он постепенно вдохновляется. Вскоре он уже отметил некоторый успех. Вместе с белыми листками в церкви замелькали носовые платки. Старушки уже всхлипывали. После этого пастор Краузе еще лучше вошел в свою роль, ему уже казалось, что в Грюнтале он никогда так хорошо не говорил.

— И подобно тому, как мы не ропщем, когда отцветают васильки и подходит пора жатвы, так же смиренно и покорно должны мы принимать испытание, когда наступает наш час и небесный молотильщик убирает наш посев в свою клеть...

Грюнтальский пастор взглядом отыскал своего старшего коллегу, который стоял, будто спрятавшись за трепетное желтое пламя свечей. Он встретился с его вопросительным, полным недоумения взглядом и поспешил закончить. Коллега вел себя отнюдь не так, как следовало бы в подобную минуту, даже несколько мешал Краузе и портил впечатление от его слова.

Грюнтальский пастор шел впереди. Гроб несли на плечах шестеро самых богатых крестьян. Они это делали без всякого

удовольствия, потому что пастор не пригласил их на поминки, и взялись за это только по настоянию жен, убедивших своих мужей, что вообще никаких поминок не будет. Тем не менее они время от времени оглядывались на толпу, не окажутся ли в ней незнакомые гости. Оглядываясь, они сбивались с шага, и гроб то и дело сильно покачивало.

Рингсдорфский пастор ничего этого не замечал. Шел, бессильно опустив руки, так что креповая повязка сползла на самый локоть. Голова понурена, лицо бледное, но не слишком скорбное. Рингсдорфские прихожане чувствовали себя разочарованными: они ждали слез, громких рыданий. Они еще помнили похороны мельника Хагена, который двадцать пять лет строил свою чудо-мельницу и, под конец убедившись, что ей не устоять на рыхлом песчанике, бросился в пропасть. Гроб Хагена стоял на этом самом месте, а вдова его трижды падала в обморок, и на кладбище ее несли на руках. Два года об этом шли разговоры по всей округе. А тут совсем скучные, обыденные похороны.

У могилы вдовец все же стал на положенном месте. Правда, не сам — его туда оттеснила толпа. Пастор смотрел в могилу, но глаза у него были сухие, ничего не выражающие. Белые розы в руке увяли, некрасиво обвисли. Только когда кто-то шепнул ему на ухо, он, вздрогнув, поблагодарил за напоминание и бросил цветы на гроб.

Местный учитель хотел его поддержать. Пастор высвободил руку и отступил назад, будто у него закружилась голова, когда он заглянул в семифутовую яму.

Грюнтальский пастор строго придерживался разработанного им церемониала, который несколько отличался от рингсдорфского. Пока звонил кладбищенский колокол, он молча стоял со сложенными руками и опущенной головой и глядел в открытую могилу. Все, конечно, делали то же самое. Пастор Краузе был убежден, что минута всеобщего молчания под звуки колокола лучше всего наводит на размышления о тайне смерти и настраивает на печально-торжественный лад.

Под открытым небом голос его в самом деле казался слабоватым. Бархатные нотки, когда их не усиливали церковные своды, не производили должного впечатления. За спиной больше не было окон алтаря с цветными стеклами витражей, и он ясно почувствовал, что фигура его здесь не кажется столь внушительной.

Надгробное слово он дважды перечитал утром и знал почти наизусть.

Он начал с популярной притчи о двух странниках, которые случайно встречаются и идут вместе к одной цели. И так как слушатели его были горцы, он красочно изобразил стезю и местность, по которой шли странники, пользуясь при этом главным образом описаниями природы из прочитанных в гимназические годы сочинений Шиллера и Розеггера. Ведя путников по всевозможным извилистым тропам, через бесчисленные испытания, он заставил одного из них постепенно утомиться, замедлить шаг и, наконец, в изнеможении свалиться в горную пропасть.

Он сам спохватился, что притча построена неудачно. Она скорее подходила для похорон погибшего от несчастного случая, а не умершего естественной смертью. К тому же она сильно противоречила давешнему примеру с васильками и сенокосом. Как это ему раньше не пришло в голову!

Пастор Краузе был очень недоволен началом надгробного слова, поэтому поспешил перейти к несчастному, одинокому путнику, который остается один на крутой горной тропе, куда еще доносятся из пропасти стоны погибшего спутника.

После этого он опять сделал небольшую паузу, чтобы кинуть взгляд на скорбящего собрата. Солнце било ему прямо в глаза, поэтому он сначала ничего не мог разглядеть. Потом заметил, что Фогеля уже нет на прежнем месте, а затем... затем он невольно широко раскрыл глаза.

Рингсдорфский пастор, отойдя от могилы, преспокойно сидел на одной из гранитных тумб, между которыми висела цепь, огораживающая могилу мельника Хагена. Руки Фогеля лежали на коленях, подбородок он выставил вперед и, не отрываясь, смотрел на оратора.

Пастор Краузе увидел вокруг удивленные лица прихожан. Ведь подобное поведение во время погребальной церемонии не вязалось ни с какими обычаями. Вот если бы он рухнул наземь у могилы, тогда двое мужчин подняли бы его и поддержали. Если бы он закрыл лицо руками, вздрагивая от нестерпимого горя, тогда женщины стали бы успокаивать его и утешать. Но он просто сидел и смотрел, словно не имел никакого отношения ко всему происходящему. Будто безучастный наблюдатель или случайный прохожий...

Краузе ужасно рассердился на него. Так испортить все впечатление от торжественного слова! Грюнтальский пастор

был здесь в гостях и, разумеется, хотел оставить по себе добрую память. В конце концов поведение коллеги было даже несколько неприличным.

Пастор Краузе повернулся направо, где столпилась большая часть прихожан, и продолжал свое слово.

О семейной жизни рингсдорфского пастора и его покойной супруги он рассказывал так, словно рингсдорфцы ничего о ней не знали. Однако всем известные случаи он сумел разукрасить такими подробностями, что людям и в самом деле казалось, будто они слышат об этом впервые.

Он отлично видел, что все женщины — и старые, и молодые, и справа, и слева, и спереди — с удовольствием на него смотрели. Это тоже вдохновило его. Надгробное слово начинало ему нравиться, а это было самое главное. Он снова пустил в ход руки, жестикуляцию, мимику, одолевая с их помощью слабые места своего слова. Он то низко опускал голову, то стремительно вскидывал ее. Склонялся над могилой и опять выпрямлялся во весь рост, а иногда даже вставал на цыпочки. Выпрямляясь и воздевая руки, он возвышал голос, а когда они опять опускались, мягкий баритон пастора тоже, как по ступенькам, спускался все ниже и ниже, так что наконец слышалось только нечто вроде невнятного жужжания шмеля, который кружится над белым цветком клевера.

Указав на суетность мирской жизни, на ничтожество земной любви и страданий по сравнению с теми радостями, которые ожидают нас в небесных чертогах, он обратился к теме, на которую навела его фрау Корст и которую он обдумывал и сам.

— Усердная молитва — самая надежная опора в любом горе. Дни и недели минуют, но он один пребудет с нами во веки веков. Жизнь человеческая быстротечна, подобно жизни лепестка или росинки. Человек покидает нас, дабы мы остались одни и в муках одиночества очистились от всякой скверны. Дабы мы пробудились от заблуждений просветленными, обогащенными, освященными страданиями, дабы мы приблизились к господу и были готовы к тому часу, когда он призовет нас к себе.

Слезы стояли в глазах пастора Краузе, когда он кончил. Но эти слезы были ему приятны. Он знал, что говорил хорошо, и еще минуту постоял со сложенными руками и склоненной головой, чтобы дать последним словам как следует проникнуть в сердца и чтобы прихожане могли еще полюбоваться на него самого.

Воспитанницы покойницы пришли проводить свою учительницу. Сбившись в белую стайку, они, словно пташки, тоненькими голосками, часто ошибаясь, спели «Покойся мирно...». Это было до того умилительно и трогательно, что всплакнули даже ко всему привычные старухи, не пропускавшие ни одних похорон в радиусе двадцати километров. И из мужчин кое-кто провел шапкой по глазам.

Грюнтальский пастор подошел к своему коллеге выразить свое соболезнование и пожать руку. Фогель наконец встал с гранитной тумбы, и Краузе заметил, что глаза вдовца следили за ним, пока он обходил могильный холмик и пробирался сквозь толпу прихожан. Когда он уже пожимал ему руку, пастор Фогель все еще не сводил с него глаз, и трудно было понять, хочет ли он о чем-то спросить или что-то возразить. Нехорошие были у него глаза. Глубоко ушли они в черные впадины и как-то уж очень блестели, отражая то невыносимую муку, то какую-то странную усмешку.

Только благодушное настроение после удачного слова не позволяло пастору Краузе рассердиться по-настоящему. Он повернулся к двум знакомым крестьянам, которые, видимо, хотели с ним поговорить.

Один из них, бородач, пожал ему руку.

— Спасибо вам, господин пастор, спасибо! Великолепная проповедь!

Грюнтальский пастор махнул рукой.

— Ну, что вы! Рингсдорфский пастор говорит проповеди лучше.

— Наш пастор тоже хорошо говорит. Мы им довольны. Только иной раз он заводит речь о каких-то непонятных нам вещах. И потом, он чересчур уж редко поминает имя господне. Нам больше нравится, как вы.

Другой, усач, подхватил громовым голосом прусского фельдфебеля:

— Совершенно верно! Грюнтальский пастор говорит точь-в-точь, как наш прежний пастор.

Пастору Краузе некогда было сообразить, следует ли ему радоваться сравнению с прежним пастором или наоборот. За спиной у него обменивались впечатлениями женщины.

— Видели, милая фрау Кетлер? Ни одной слезинки не уронил.

— Да, да, милая фрау Лангшток! У него каменное сердце. Да еще уселся на тумбу перед могилой господина Хагена! На что это похоже!

— А как хорошо говорил грюнтальский пастор!

— Да, да, да! Грюнтальский пастор такой милый!

Это «да, да, да» протянула растроганная дочка рингсдорфского фельдшера. Сквозь ее розовое маркизетовое платье просвечивала белая нижняя юбка; серые глаза с наслаждением останавливались на бархатном берете с плоским помпоном.

Грюнтальский пастор был вполне доволен тем, как он справился сегодня со своими обязанностями, и в не меньшей степени с самим собой.

Тем временем богатые рингсдорфские крестьяне с женами вереницей проходили мимо своего пастора и в знак сочувствия пожимали ему руку. Делали они это довольно медленно: а вдруг он все же пригласит хотя бы на чашку кофе или рюмку ликера? Прихожане победнее стояли кучкой и тоже кивали головами. А пастор только безразлично протягивал руку и смотрел куда-то вдаль.

Пройдя мимо пастора, разочарованные прихожанки еще немного помешкали.

— Вы заметили, милая фрау Кетлер? Он никому не смотрит в глаза.

— Да, милая фрау Лангшток. Хоть бы слово кому сказал!

— И ни одного родственника не пригласил на похороны! Просто неслыханно!

— Когда хоронили господина Хагена, одних приглашенных было больше сотни.

— Шесть гусей на обед зажарили.

Усач, услышав это, загремел:

— Две бочки мюнхенского на село!

Люди переминались с ноги на ногу, ожидая, что будет пастор делать. Он, конечно, опустится на колени перед могилой и углубится в молитву, как справедливо сказал грюнтальский пастор. Может быть, он стыдился плакать перед людьми. Кивая друг другу и грозя пальцами, они всей гурьбой отошли к ограде и стали оттуда наблюдать.

Вот он, оставшись один, повернулся и огляделся. Люди подталкивали друг друга.

Пастор Фогель подошел к могиле, склонился над ней. Венок из васильков, возложенный маленькими певчими, сполз набок — он поправил его, положив на розы, принесенные взрослыми девушками, выпрямился и пошел прямо к воротам. Никому не сказав ни слова, спрятав руки в карманы, втянув шею в во-

ротник, Фогель, желтый, тщедушный, сгорбленный, нетвердым шагом спешил прочь по дороге между скалами, словно хотел убежать отсюда.

Прихожане переглядывались и пожимали плечами. Женщины громко застрекотали, мужчины толпою повернули к трактиру, решив за свой счет помянуть покойницу несколькими кружками пива.

Только у мостика грюнтальский пастор догнал своего коллегу и бережно взял его под руку. Краузе так и сиял, довольный удавшейся церемонией и отзывами прихожан. Рингсдорфский пастор опять вопросительно взглянул на грюнтальского. Нехорошие у Фогеля были глаза, с каким-то мрачным блеском.

— Ну, что вы скажете, как я справился?

— С чем справились? — не сразу спросил Фогель.

И голос у него стал чужим. Пастор Краузе обиделся. Конечно, это всего лишь взаимная выручка между собратьями по профессии, но ведь он сам написал текст слова и сегодня утром дважды перечитал его. Затем он спохватился и понял.

— Вы, может быть, думаете... притча при выносе тела не согласована с моим надгробным словом? Я, видите ли, не всегда слежу за тем, чтобы между притчами была внешняя связь. Я ищу внутреннюю логику, которой они подчиняются. Образы и сравнения нужны только для того, чтобы навести слушателей на определенные размышления. У нас на факультете профессор риторики всегда это подчеркивал.

— Да... Это они все подчеркивают.

— Ну, видите, значит, и в ваше время было то же самое. И насколько я мог заметить, проповедь произвела вполне благоприятное впечатление. Некоторые женщины даже плакали.

— В самом деле? Разве это... благоприятное впечатление, если они плакали?

Грюнтальский пастор надулся. Нет, с ним сегодня невозможно говорить. Но чувство удовлетворения быстро развеяло досаду. И, кроме того, надо ведь считаться с подавленным состоянием бедняги. С этим надо считаться прежде всего. Пастор Краузе решил не забывать об этом и не обращать внимания на странности коллеги.

Дойдя до аптеки, где дорога сворачивала к пасторскому дому, он продолжил:

— Эти горцы — грубый, но добродушный народ, хотя их и трудно переделать. Подумайте, мои грюнтальцы привыкли приходить к пастору со своими нуждами именно в воскресное утро, перед службой. Мой досточтимый предшественник так со всей толпой и отправлялся в церковь. Мне целый год пришлось с этим воевать, но зато теперь у меня полный порядок. Известное почтение к пастору никогда не помешает.

Рипгсдорфский пастор на это ничего не ответил, хотя казалось, что он слушает. Но спутник его никак не мог молчать. Затронутая тема его очень интересовала. Видимо, она была както связана с сегодняшними событиями.

— Мне пришлось рассчитать старую служанку, потому что она плохо гладила воротнички. Я каждый год заказываю новый талар — портной у меня еще со студенческих времен. Дороговато обходится, но иначе в нашем положении нельзя. Люди теперь обращают много внимания и на внешность.

Он осекся, вспомнив, что на коллеге позеленевший от старости сюртук с двумя пуговицами на спине. Если приглядеться повнимательней, на локте видна заплата, искусно наложенная руками фрау Корст.

Но грюнтальскому пастору что-то ни на минуту не давало покоя. Он снял и снова надел бархатный берет с помпоном, вытянул руку, пропуская сквозь пальцы головки репейника, росшего вдоль дороги. Ловко отшвырнул носком туфли круглый камешек, через четыре шага снова отшвырнул его и чуть заметно улыбнулся. Затем снова заговорил:

— Вы заметили справа от себя стройную девицу? На ней было розовое платье, и сквозь него просвечивала белая нижняя юбка...

Он вздрогнул от неподвижного, колючего взгляда коллеги. Но Фогель смотрел на что-то другое. Показав рукой на старую грушу у обрыва, он почти беззвучно проговорил:

— Здесь она любила сидеть на закате.

Пастор Краузе кивнул головой и сочувственно вздохнул. Однако день был слишком удачным, и молодой пастор не мог искренне разделять переживания несчастного вдовца.

— Это у вас пройдет, дорогой коллега. Время излечивает все, даже самые глубокие сердечные раны...

Эта избитая, повторяемая изо дня в день фраза понравилась ему самому. Фрау Корст могла быть спокойна: он по мере сил выполнял свой долг.

А вот и она сама спустилась с крыльца им навстречу. Грюнтальский пастор не успел закончить. У калитки коллега

вырвал свою руку и нагнулся над кустом мелких желтых роз.

— Здесь она три года тому назад потеряла из перстня маленький зеленый камешек.

Довольно долго он, совсем как маленький мальчик, нагнувшись, ходил вокруг куста и разглядывал покрытую травой глинистую почву. Пастор Краузе только плечами пожал при виде такого ребячества. Ему пришла в голову новая тема для разговора за обедом. Кстати, он вспомнил читанный или слышанный когда-то стишок и не без пафоса продекламировал его:

Das Leben gilt geringe,
gleich einem goldnen Ringe,
aus dem die Perle fiel [1].

Вдруг он испуганно попятился, словно от чего-то уклоняясь, и вытянул перед собой руки.

Пастор Фогель выпрямился. Его желтое лицо стало землисто-серым, глаза горели в темных впадинах. Защищаясь от этого взгляда, Краузе и простер вперед руки.

— Да, да... именно так...

Хорошо, что фрау Корст спасла положение.

Переодевшись и сев за стол, грюнтальский пастор не переставал корить себя за необдуманную цитату. Ведь он имел дело с отъявленным меланхоликом, не следовало его огорчать еще больше. Тут могли помочь только веселость и беспечность.

За бульоном он время от времени кидал взгляд на пастора Фогеля. Ужасно неприятно, что лицо у него все еще такое серое. Поэтому, разрезая жаркое, Краузе шутливо спросил фрау Корст, не носила ли она в молодости розовые платья и нравились ли ей красные туфли с бантиками. Но фрау Корст была молчалива и робка. Она обошла на цыпочках вокруг стола и, покачав головой, убрала нетронутую тарелку хозяина.

— Что же вы ничего не кушаете, господин пастор?

Ответа не последовало. Когда подали рисовый пудинг, грюнтальский пастор опять попытался рассеять коллегу. Рисовый пудинг — его, Краузе, слабость. Однажды в студенческие годы он съел в ресторане две порции, позабыв, что денег у него только на одну. Пришлось оставить в залог перочинный нож и записную книжку — подарок матери.

---

[1] Немного стоит жизнь, подобно золотому перстню, из которого выпала жемчужина *(нем.)*.

«Последнее действие»

Но шутке этой посмеялся он один. Только когда фрау Корст принесла из погреба холодную, как лед, бутылку вина, к нему окончательно вернулось приятное расположение духа, и он с особым удовольствием рассказал несколько в самом деле забавных анекдотов из пасторской практики. За второй бутылкой он уже не дожидался, когда будут смеяться другие. Удовольствия этого дня дополнились ароматом кисловатого красного вина. Заходившее солнце бросало в комнату желтый отсвет, в открытое окно с горных пастбищ доносился едва уловимый перезвон колокольчиков, легкий, влажный ветерок ласкал побагровевшие щеки. Не будь напротив этого серого лица, ему казалось бы, что он сидит на веранде кафе или в благословенном детьми семействе после крестин.

Когда солнце зашло, грюнтальский пастор встал из-за стола и начал собираться домой. У него едва хватало времени, чтобы засветло перейти по тропе через гору и миновать сосновый лесок по ту сторону ее.

Он хлопнул Фогеля по плечу.

— Выше голову, коллега! Мы еще поживем! Для нашего дела нужны люди, которые не гнутся и не ломаются. Пойдемте выйдем на свежий воздух. Свежий воздух во всех случаях — лучшее лекарство против дурного настроения.

Фрау Корст выбежала на крыльцо с пальто и шляпой хозяина.

— Вам будет холодно, господин пастор! Господин пастор!

Но они отошли уже довольно далеко. Грюнтальский пастор что-то крикнул в ответ. Затем они исчезли у кузницы, за живой изгородью из акаций.

Фрау Корст покачала головой и вздохнула. Она долго смотрела им вслед.

Пастору Краузе очень хотелось говорить. У него было такое чувство, будто его коллега вбил себе в голову какую-то нелепую мысль и ее непременно нужно опровергнуть. В сумерках уже не видно странных глаз Фогеля, к тому же от вина Краузе стал очень самоуверенным. Он без обиняков начал с самого главного:

— Почему вы, уважаемый коллега, весь день так странно смотрите на меня? Неужели я недостаточно хорошо справился со своими обязанностями!

К удивлению его, рингсдорфский пастор ответил сразу и, казалось, охотно:

— Я смотрел не на тебя. Я смотрел в зеркало.

У грюнтальского пастора по спине мурашки забегали. Он

с ужасом вспомнил, как давеча фрау Корст шепнула ему на ухо:

— Когда собака не ест, значит, она бешеная. Не бывает ли то же самое с людьми?

Грюнтальский пастор оглянулся. На тропе не видно было ни души. Крыши домов в отсвете заката казались темно-красными.

Рингсдорфский пастор шел с непокрытой головой, размахивая руками. Нельзя же было бросить человека, когда он явно утратил от горя душевное равновесие. Пастор Краузе нагнал коллегу и пошел рядом. С минуту подумал, что бы такое еще сказать для проверки. Так ничего и не придумав, он положил коллеге руку на плечо и снова начал:

— Усердная молитва — самая надежная опора в любом горе. Жизнь человеческая быстротечна, подобно жизни лепестка или росинки.

Пастор Фогель утвердительно кивнул головой.

— Конечно! И в этом зеркале я увидел лицо актера или клоуна.

У грюнтальского пастора опять по спине мурашки пробежали. В самом деле, фрау Корст права! Фогель уже не в состоянии следить за логическим ходом мысли. Тем более нельзя оставлять его в заблуждении. Может быть, все-таки удастся обнаружить просвет в больном мозгу бедняги?

Грюнтальский пастор продолжал говорить и, все больше пугаясь, слушал бессмысленные ответы, не имевшие никакой связи с тем, о чем он спрашивал.

— Вам будет холодно, коллега. Я охотно проводил бы вас обратно. Вообще-то почью мне торопиться некуда.

— Я и сам хотел бы вернуться. Давно хотел. Но через тридцать два года это уже невозможно. Это свыше человеческих сил. Она тоже ничем не могла помочь мне. Бедняжка, как она страдала! И все равно улыбалась. Ты можешь себе представить, Рихард, как трудно улыбаться, когда в сердце у тебя кровоточащая рана?

— Как хотите, коллега. Вы можете спокойно переночевать и в Грюнтале. Недавно у меня отремонтировали комнатку на верхнем этаже.

— Как странно, Рихард, что человек никогда не может оставаться на месте. И вернуться назад не может, а тем более идти вперед. Эту дилемму я охотно предложил бы разрешить нашему старому профессору логики. Он был такой умный человек.

— А я снова говорю вам: возьмите себя в руки! Этого требует ваш сан. Вы должны подавать пастве пример смирения и самообладания.

— Слушая тебя, Рихард, я весь день вспоминаю своего бывшего учителя риторики. Я у него каждый семестр кончал с похвальным отзывом. Он преподавал художественное чтение в высшей театральной школе. Потому-то он так хорошо и готовил актеров.

— Уважаемый собрат по профессии...

— Ты говоришь, по профессии, Рихард? Профессия актера, по-моему, самая лучшая. Потому что все считают его актером, и сам он не скрывает этого. Ему не нужно тридцать два года подряд играть одну и ту же роль. Одну и ту же роль, как это ужасно! Когда я еще был студентом, в газетах писали, что одна актриса утопилась в реке из-за того, что директор театра отказался дать ей новую роль. Я часто вспоминаю ее. Как я хорошо понимаю эту смелую женщину!

— Позвольте, коллега, я лучше возьму вас под руку — вы, кажется, споткнулись. Вот так. Мы еще немного поднимемся в гору, минуем обрыв, и тогда сразу начнется сосняк. Через час мы будем дома. Посидим немного на веранде и поболтаем. Там, в Грюнтале, чудесный пейзаж. Прямо как в Швейцарии, на поляне Рютли.

— Вильгельма Телля всегда играет лучший актер в труппе. И в публике каждый раз кто-нибудь всхлипывает, когда он сбивает выстрелом с головы сына яблоко. И актер этого ничуть не стыдится. Ведь все знают, что он актер и исполняет свою роль. А после спектакля какой-нибудь меценат угощает его в ресторане жареным фазаном и вином. В ресторане он веселится больше всех и рассказывает забавные истории. И окружающим ничуть не стыдно, потому что он свою роль сыграл по-настоящему хорошо.

— А когда нам, уважаемый коллега, станет прохладно на веранде, мы зажжем лампу в столовой и попросим Луизу что-нибудь спеть. Она еще молода и ходит в белом чепчике, как ваша фрау Корст. К тому же она очень хорошо поет тирольские песни.

— Да, да... О чем же мы сейчас говорили? Ах, да, вот о чем. А назавтра он будет играть Наполеона или, скажем, графа Эгмонта. И опять ему ничуть не будет стыдно, если из первых рядов партера какая-нибудь девица в прозрачном розовом платье и белой нижней юбке кинет ему на сцену розу, а он пошлет ей в ответ воздушный поцелуй. Он актер и вправе вести себя, как

все люди. Он надевает маску только на сцене, он лжет только в театре. Он счастливец, потому что от него не требуют, чтобы он лгал и на улице, и дома, и в баре за рюмкой ликера. Он может сидеть там со своей поклонницей и может попросить ее спеть ему тирольскую песенку.

— Знаете, коллега, жена моего звонаря Бетге приготовляет из горных трав удивительные лекарства от лихорадки и сердечной слабости. Она, наверное, даст вам бутылочку. В вашем возрасте нужны лекарства, отдых и покой. И молитва — усердная молитва.

— Да, да... Но это не самое главное. Главное — это то, о чем мы говорили. Как это прекрасно, Рихард, что актеру в старости не надо ни у кого просить прощения, потому что он никого не обманул в своем приходе — даже тех, кто жаждет быть обманутым! И себя он не обманывал, а это прекраснее всего. Он не стал играть Панталоне, потому что его талант и сердце позволяли ему играть только Юлия Цезаря. Он не шел в цирк играть Гансвурста, потому что готовил к репетиции роль Бранда. Если он был драматическим актером, то никогда не позволял унизить себя до мелодрамы или водевиля. И он до самой старости оставался молодым, потому что этого требовала каждая его новая роль. В каждой роли он говорил новое слово — никогда он не был шарманкой или граммофоном. Не был каучуковым диском, который вертится под стальной иглой и болтает то, что фабрикант велел наговорить в него ради собственной выгоды. А какие мы с тобой жалкие актеры, Рихард!

— Послушайте, дорогой коллега... Вы мой коллега. Вы вышли из дому проводить меня, а теперь я вас веду к себе. Вы рингсдорфский пастор, а я грюнтальский. Подумайте хорошенько, вы, наверное, это еще помните.

— Пасторы, ты говоришь? Нет, мой дорогой, ты очень ошибаешься. Мы актеры, и притом из самого дешевого балагана. Мы бродячие клоуны и выступаем на свадьбах, крестинах и похоронах. Да, к сожалению, и на похоронах. И там мы стараемся угодить любопытной слезливой публике, а покойник уже не может подняться и прогнать нас ко всем чертям.

— Приглядитесь внимательней. Эта тропа ведет из Рингсдорфа в Грюнталь. Здесь нам на два километра ближе, чем кругом по шоссе. Вон тот красный шар впереди — луна. Луна — вы ведь понимаете, что я говорю? А это — дерево. Оно называется рябиной. Повторите это слово, это вы, верно, еще в состоянии.

— Ничего я больше не в состоянии. Я остался один, несчастный, опустошенный. Она держала меня, как пустую скорлупу, тридцать два года, чтобы я чувствовал себя живым человеком, выполняющим свой долг. Содержанием своей души она заполняла пустоту моей. Что я теперь буду делать? Geringe gilt das Leben, aus dem die Perle fiel[1]. Я правильно цитирую? Не изменяет мне память?

— Она вам ничуть не изменяет. Вообще вы бодрствуете, и все ваши пять чувств тоже. Вы совершенно здоровы и ничем не больны. Видите, я пожимаю вам руку. Вы чувствуете это или нет? Нас здесь двое — вы и я. Один и два. Вы ведь можете считать до двух, не правда ли?

— Двое? Нет, я один, ты не другой. Ты только зеркало, в котором я вижу свое лицо. Безобразное лицо комедианта без маски. На твоем месте я разбил бы себе голову об этот камень, чтобы через тридцать два года не пришлось вот так же смотреть на кого-нибудь другого. Ты не знаешь, Рихард, как это ужасно — видеть себя. К сожалению, я не зеркало. К сожалению, я рингсдорфский пастор.

— Правильно, вы рингсдорфский пастор. Хорошо, хорошо, вы начинаете приходить в себя. Старайтесь только владеть своим рассудком, тогда опять все будет хорошо. Видите, вот мы уже у обрыва.

— Это обрыв Хагена, а там, внизу, его мельница. Мы ее не видим, обрыв закрывает ее своей тенью. Но мы бы не увидели ее и днем, потому что мельницы больше нет. Какая это была бы великолепная мельница, но он строил ее на песке! Хаген был умный человек, это мне пришло в голову только недавно, когда я сидел возле его могилы. Мне пришло в голову, что он уже давно знал, что строит на песке, но все равно продолжал строить. Он был актер и не мог отказаться от своей роли. И скажу тебе, роль его была не из худших.

— Пойдемте дальше. Уже темнеет.

— Странно, а мне кажется, что скоро для тебя станет совсем светло. Ты зеркало, и ты всегда должен быть светлым... Погоди! Что я еще забыл сказать? Ах, да! Хаген был умный человек, это я готов сказать в глаза каждому. У этого обрыва с ним случилось несчастье как раз в ту ночь, накануне которой он нашел свою жену в чужой постели. Иначе бы он наверняка продолжал строить свою мельницу, хотя и на песке. Такова

[1] Немного стоит жизнь, из которой выпала жемчужина *(нем.)*.

была его роль. Но после того случая он не выдержал. Die Perle gilt geringe, aus der das Leben fiel [1]. Все это должно быть похоже на глупую карикатуру, не правда ли?

— Прошу вас, идемте дальше.

— Зачем дальше? Далеко ли ушел Хаген? Вот жена его пошла далеко. Она устроила своему незадачливому мужу пышные похороны — в Рингсдорфе о них по сей день все нищие говорят. А на следующее лето она вышла за старшего подмастерья своего мужа, и теперь у них трактир в Кельне. Говорят, они хорошо живут.

— Если вы еще долго простоите здесь, я, ей-богу, дальше пойду один.

— Сделай это, Рихард, иди дальше! Иди дальше — это всегда было моим заветным желанием. Ты мне всегда был дорог. А можешь ли ты куда-нибудь уйти? Пожалуй, твои два года потяжелее моих тридцати двух? Твоя ноша куда тяжелее моей. Что у тебя в руке? А! Вижу: чемодан.

— Мой талар.

— В первую очередь его! Это — самое главное! Брось его!

— Пастор Фогель, вы безбожник!

— С богом или без бога, главное, будь человеком. Будь актером, потому что у тебя больше таланта, чем у меня. Актер тоже достоин уважения, ибо он не ублажает своей плоти за счет чужих душ. Если у тебя самого не хватает смелости, давай чемодан мне.

— Оставьте меня в покое, Фогель! Вы с ума сошли!

— Это не важно. Давай сюда!

— Что вы хотите сделать?

— Сейчас ты увидишь! Внимание! Раз! — я поднимаю его вверх. Два! — я замахнулся. Три!.. Эх, дрянь! Зацепился за куст шиповника.

— Фогель, я оставлю вас одного. Я побегу в Грюнталь и созову людей. Вас надо немедленно отвезти в сумасшедший дом.

— Ах, вот куда ведет твой путь! Туда ты можешь идти и с этим тряпьем. Сейчас я тебе его достану.

— Оставьте, вы сломаете себе шею!

— Шея Хагена принадлежала ему самому. Зато его жена получила свободу и живет теперь хорошо. Для того, чтобы одному жилось хорошо, другому должно быть плохо.

— Оставьте! Я вас не пущу!

---

[1] Немного стоит жемчужина, из которой выпала жизнь. *(нем.)*

Было мгновение, одно только единственное мгновение, когда над пропастью между Рингсдорфом и Грюнталем можно было увидеть при лунном свете странную картину.

Человек, склонившись над обрывом, тянулся к ближнему колючему кусту, покрытому мелкими гроздьями желтых ягод. А другой, тоже наклонившись, пытался его удержать.

Затем первый пошатнулся, протянул назад руку и, точно стальными клещами, вцепился в шею своего спасителя.

Раздался протяжный вопль, похожий на звериный рев. Когда он затих, на краю пропасти уже никого не было.

Затем что-то с грохотом запрыгало по скалам от выступа к выступу. Это покатился вниз, к обрушевшейся мельнице Хагена, камень.

1929

РАССКАЗ О ПАСТОРЕ

В первое воскресенье после иванова дня пастор Клиянского прихода Людвиг Калнцетер проснулся весь в поту.

Сердито сбросив одеяло, он лег на живот и сквозь прутья спинки кровати взглянул в окно. Так и есть — опять сплошная синева! Вся та часть небосвода, которую он лежа мог окинуть взглядом,— от противоположного берега Даугавы до пасторского дома — была без единого облачка.

А дождь был необходим. Больше всего на свете нужна была сейчас хорошая дождевая туча. Яровые гибли. Овес кое-как еще держался, но ячмень на торфяниках и на более высоких местах, где земля полегче, стал желтеть. И что особенно досадно, у самых исправных хозяев, которые обычно высевали по три менька томасовой муки на гурвисту и никогда не забывали вовремя уплатить своему пастырю по два лата с души мужского и по лату с души женского пола. Неукоснительно выполняли они все правила, установленные епископом Ирбе, но господь почему-то наказал их жестокой засухой, которая грозила пустить прахом все расчеты на богатый урожай.

Не далее как вчера владелец хутора Плявниеки — Йоргис Блигзна, пришедший зарегистрировать рождение своей третьей девочки, горько сетовал на то, что альберингговский лен из голландских семян, едва поднявшись на четыре пяди, уже начинает цвести. У Ерцена, не дозрев, осыпается рожь, посеянная на суглинистых буграх. Кроме того, пастору было известно, как пострадали от засухи огороды во всем приходе. Кормовая свекла — толщиной в палец, у моркови свертывалась ботва, а бобы обгладывала гусеница.

Все это последствия засухи. Пастор Клиянского прихода обещал сделать все от него зависящее. Он решил в первое же воскресенье после иванова дня совершить специальное молеб-

ствие о ниспослании дождя,— по возможности, дождя основательного и в самом скором времени. Жене испольщика Рачиня с хутора Вайвары он прямо заявил: «Не печалься, сестра во Христе! Господь велит своему дождю излиться и на праведных и на нечестивых».

При этом пастор Калнпетер отлично знал, что Рачиппете поняла эти слова отнюдь не в том смысле, в каком их только и следовало понимать, то есть как некое иносказание, поэтический образ! Нет, она этим летом поставила на откорм двух подсвинков, и если господь не пошлет дождя, то капустного листа хватит только до мартынова дня. А кто же не знает, сколько можно выручить в Риге за борова, который весит не менее двух с половиной пудов!

На пути к окну пастор Людвиг Калнпетер два раза сделал крюк. В первый раз ему пришлось обогнуть две дубовые кровати, во второй — платяной шкаф с овальным зеркалом в средней дверце. Эти обходные движения ничуть не показались ему затруднительными. Уже целую неделю, с тех пор как здесь поставили новую мебель, он с блаженной улыбкой совершал путь от холостяцкой железной кровати к окну.

Вот и сегодня, в первое воскресенье после иванова дня, он распахнул окно и, продолжая улыбаться, окинул взглядом комнату. В самом деле, неплохо работает Первое объединение рижских мебельщиков. Едва он успел сказать, что ему нужно, как заведующий конторой с понимающим видом кивнул головой. Все ясно и понятно. Пастор Клиянского прихода собирается жениться, и ему нужна полная обстановка для спальни и столовой. Они лучше него самого знали, из чего она должна состоять.

Во время бритья Людвиг Калнпетер мог видеть в зеркало буфет через отворенную дверь столовой. В нем пока ничего почти не было. Но это уж забота молодой хозяйки. Она сумеет устроить все, как полагается. В витрине магазина «Вако» они уже присмотрели фарфоровый сервиз. Суповая миска у нее есть. Она даже заикнулась о серебряных ножах и вилках, но пастору Людвигу Калнпетеру казалось, что это не совсем соответствует его сану. К тому же будущий тесть Луцис только головой мотал: не такие нынче времена, чтобы роскошествовать. Достаточно и шестидесяти четырех тысяч на мебель.

За бритьем пастор серьезно задумался о платежеспособности будущего тестя. В сущности, владея такой усадьбой, как Луци, можно было бы располагать большими средствами. Но если сеять лен только тогда, когда цены на него упали ниже десяти тысяч за берковец... и потом, ни один батрак, даже чангал

на снятом молоке и селедке дольше месяца не выдерживает. Хотя одна щека пастора была намылена, он кивнул головой и подмигнул себе в зеркало. Это вещь поправимая. Если в нынешнем году у Луциса пойдет дело с пятьюдесятью пурвиетами арендованного у казны луга, заплатить шестьдесят четыре тысячи за мебель будет сущим пустяком. Тогда Мале и в самом деле сможет подумать о серебряных ножах и вилочках.

Пастор намазал гладко выбритое лицо кремом «Золотая серия» и еще раз посмотрел на себя в зеркальную дверцу шкафа. Что такое сорок лет для здорового, крепкого курземца! Правда, волос на голове осталось не слишком много, и когда они острижены наголо, то сразу заметно, что уши чуть-чуть велики и слишком оттопырены. В этом, конечно, повинна мать — в свое время поленилась повязывать ему голову платочком, чтобы уши росли правильно.

Утро было чудесное. От кустов жасмина перед домом веяло таким ароматом, что голова кружилась. Старый Бридис звонил уже на колокольне, стоявшей на горе, среди усыпанных цветом лип. Пастор Людвиг Калнпетер давно не был в таком приподнятом состоянии духа, как сегодня. На память пришли довоенные годы, когда он ходил по этой же дороге, будучи помощником учителя. Незабвенная осень девятнадцатого года! Без всяких экзаменов поступил он тогда на богословский факультет, где занимался весьма успешно, если не считать древнееврейского языка, доставлявшего ему немало мучений. А затем — весна двадцать восьмого года, когда сам отец Ирбе дал ему назначение. Карьера в своем роде замечательная. Пастор Людвиг Калнпетер никогда не забывал, чем обязан независимой демократической республике. Поэтому перед прошлыми выборами в сейм охотно дал согласие на то, чтобы его фамилию внесли в список Крестьянского союза, где он и красовался под шестьдесят третьим номером. Конечно, на деле из этого ничего не получилось.

У церкви под липами лошадей собралось достаточно. Должно быть, подвод семь или восемь, что по нынешним временам оскудения веры не так мало. По соседству, например, его коллеге пастору Озолу, пришлось отменить богослужение в иванов день. Хотя это не совсем по-христиански, однако приятно сознавать, что у тебя дела идут гораздо лучше. В тот же иванов день у Калнпетера народу собралось чуть меньше половины церкви; и это, несмотря на то что местное культурное общество устраивало гулянье с иллюминацией и соревнованиями по прыжкам в длину.

Под липами стоит и желтая рессорная тележка Луциса с кожаным фартуком — кто ж ее не знает! Проходя мимо, пастор заткнул концы вожжей за шлею, чтобы лошадь, все время отбивавшаяся от мух, не втоптала их в навоз. Заметив, что у лошади шерсть немного вытерта, он покачал головой. Хозяин Луцей становится слишком нерадивым, придется ему в дружеской форме указать на это. Пастор уже вполне чувствовал себя совладельцем богатого хутора: кто ж, как не он и Мале, унаследует дом и все имущество, когда господь призовет к себе стариков.

Открывая двери ризницы, пастор Людвиг Калнпетер вдруг так и застыл на месте с вытянутой рукой и занесенной над порогом ногой. Ему послышался какой-то странный гул. Сердце у него замерло от радостного предчувствия. Нет, не может этого быть! Просто невероятно! Ведь только сию минуту небо было голубое и гладкое, как доска. Потом он еще не успел отслужить молебствие о том, чего так жаждал весь приход. Нет, нет!

А сердце кричало: «Да, да, да!» Но пастор не осмеливался надеяться на такую милость, да еще, так сказать, авансом. С его стороны это было бы непростительной дерзостью и высокомерием, которое никогда не остается безнаказанным.

Пока он еще собирался переступить через порог, гул раздался снова и на этот раз совершенно отчетливо. Взглянув за Даугаву, в ту сторону, откуда обычно приходили все дожди, пастор увидел выползавшую из-за бора темную изогнутую тучу, похожую на большую лошадиную голову. Ветер стал сильнее и подул с той же стороны. Солнце накалило белую каменную стену, и дверная щеколда обжигала ладонь. Теперь на небе была уже не лошадиная голова, а огромная, похожая на овальную ковригу хлеба, груда иссиня-черных туч, которые быстро заволакивали небосвод.

Яснее ясного — надвигался дождь. Гул раздавался все чаще и сильнее, время от времени из недр тучи сверкали молнии.

Пастор задрожал от счастья. С чувством смирения и глубокой благодарности возвел он взор ввысь, где, судя по всем данным, должен обитать тот, кто солнцу повелевает сиять, ветрам дуть и дождю литься. Всевышний услышал голос его сердца, прежде чем пастор отверз уста свои для молитвы. «Велики дела твои, о господи!» — подумал пастор и закрыл за собой дверь.

Из церкви доносились звуки органа и усердное пение прихожан. В ризнице старый Бридис держал уже наготове талар, чтобы помочь пастору одеться. Старик выглядел сегодня как-то особенно бодро, на лице его проступала улыбка. Застегивая

пастору воротничок с двумя крестиками, он не выдержал — засмеялся и сказал:

— А ведь будет дождь, ваше преподобие!

Пастор предусмотрительно скрыл свою радость.

— Если бог даст. Если бог даст.

Бридис взглянул в узкое окно, за которым пока не было видно ничего особенного, и кивнул головой.

— А я говорю — будет! С самого утра было заметно. Пекло так, что чертям тошно. Телята прибежали домой еще до завтрака. И колокол звенел, словно его ватой обернули. Это все к дождю, не иначе.

Пастор был непоколебим в своем бесстрастии.

— Будем надеяться.

Но Бридис не унимался.

— Да и ждать больше некуда. С этой чертовой жарынью конец пришел. Всю капусту червем покрыло. Старуха моя пошла полоть, а вернулась словно в золе вывалянная. От юбок пыль столбом.

Мирская болтовня звонаря мешала пастору сосредоточиться на заученном конспекте проповеди. Он заторопился в церковь, где уже приближалось к концу пение псалма. Пятьсот первый псалом как нельзя больше приличествовал случаю:

На боге зиждется мой дом.
И я спасаюсь в доме том:
Скале в морской пучине не опасно,
Коль буря разбушуется ужасно..

Войдя в алтарь и став на колени спиной к прихожанам, пастор Людвиг Калнпетер сразу услышал, что они пели с особенным воодушевлением. После такого вступления и проповедь всегда производит более сильное впечатление. Он встал с колен, повернулся к прихожанам и, опустив, как всегда, голову, стал наблюдать из-под опущенных ресниц свою паству.

Довольно вместительная церковь заполнена почти наполовину — это неплохой признак. Засуха привела сюда даже тех, кого обычно можно увидеть только по большим праздникам. Вот сидит на первой скамье, положив шапку на пол, Ерцен. Поет изо всех сил, далеко отставив книгу псалмов. Ага, узнал дорогу в храм, когда лоза всевышнего ударила по нему как следует и рожь на буграх начала осыпаться! У стены, на своем месте, сидит Рачиниете — ее легко узнать по желтому шелковому платку и громкому, как труба иерихонская, голосу. И тут сердце пастора радостно забилось: он увидел прислоненный к

стене огромный зонтик Рачиниете. Жива еще вера в народе, жива! И никогда верующий не будет посрамлен в своей вере. Та же Рачиниете убедится в этом!

Из-под опущенных ресниц пастор бросил взгляд налево и сразу нашел тех, кто интересовал его больше всего. Там сидели сам хозяин Луцей в летнем сером костюме и хозяйка в шляпке. С тех пор как ее дочь Мале окончила Драудзиньскую гимназию в Риге, она без шляпки никуда не показывалась. Посередине, стройная и прямая, сидела сама Мале. Ее рыжеватая стриженая голова резко выделялась на фоне белого жилета купца Смилги. И так как женщины имели обыкновение наблюдать за ней, когда пастор выходил в алтарь, то Мале заранее надула губы и уставилась куда-то в стену. Пастору такая застенчивость пришлась не совсем по вкусу, и он решил сегодня же ласково пожурить ее, когда они все, как было условлено, прямо из церкви поедут в Луци.

Когда пастор поднялся на кафедру, в церкви уже заметно стемнело. За окном ветер с силой раскачивал верхушки лип. И когда умолк орган, стало слышно, как гром загрохотал над самой крышей. Шеи прихожан вытянулись по направлению к окнам. На лицах были написаны радостное ожидание и изумление. Воистину их пастор не солгал им. Истинная вера не посрамлена! Горячая молитва в алтаре помогла свершению чуда.

«...Как лань стремится к потокам воды...» Клиянским прихожанам ни разу не пришлось слышать такой громовой проповеди с тех пор, как епископ Ирбе прислал им этого пастора. Голос его рокотал, точно взрываясь от внутреннего напряжения, потом опять стихал и, словно легкий ветерок, шелестел над головами паствы. Временами пастор становился ужасающе высоким и, воздевая руки, почти касаясь ими свода кафедры и прикрепленного к нему духа святого в виде белого резного голубя. Но потом опять сжимался, становился таким маленьким, что над кафедрой виднелись лишь его коротко остриженная голова и белый воротничок с уголками в виде крестиков. По лицу пастора пробегала вся гамма эмоций, начиная от мрачного отчаяния и кончая блаженством просветленной радости. На челе его, как в божественном зеркале, отражались переживания всего прихода.

Жестокой засухой казнил господь людей за их маловерие и прегрешения. Его бич беспощадно поражал всех и вся. Но когда паства покаялась и усердно помолилась вместе со своим пастырем, то смягчилось сердце гневного судии, и он дал пролиться небесной росе на праведных и нечестивых.

Шеи прихожан еще сильнее вытянулись по направлению к окнам: и в самом деле там уже раздавалась частая барабанная дробь, блеснула белая молния, и по стеклам протянулись тонкие серебристые нити.

Чем дальше, тем сильнее барабанило снаружи. Пастор помолился за новорожденную, третью по счету девочку хозяина хутора Плявниеки Йоргиса Блигзны и его жены Лизы, урожденной Лиелкай, затем за кровельщика Яна Коса, погребенного в прошлую среду. При этом был спет приличествующий стих: «Не рыдай, вдовица». Орган гремел, видимо, старый Бридис старался вовсю. Однако все звуки покрывала иерихонская труба Рачиниете. Взглянув вниз, пастор заметил, что зонтик она поставила между коленями и держала обеими руками, словно видела в нем единственное свое спасение. Взгляд ее был устремлен вверх, в окно. Когда пастор посмотрел туда, уже не просто дождь, а ливень, сплошной поток катился по стеклам, с грохотом сотрясал железную крышу церкви.

Чудо свершилось! Пастор Людвиг Калнпетер стоял, устремив взгляд к своду кафедры, молитвенно сложив руки. Казалось, что голубь с распростертыми крыльями вот-вот слетит ему на голову.

Минута была торжественная и впечатляющая. Сам пастор отлично это чувствовал, и ему хотелось по возможности продлить ее.

Вдруг он опустил голову, и его глаза широко раскрылись. Он ясно увидел, как хозяин хутора Луци бросил на колени Мале книгу псалмов и порывисто встал. Затем он протиснулся между соседями и по главному проходу быстро зашагал к двери.

Что это вдруг с ним случилось? Он так спешил, будто у него разболелся живот. Может быть, утром съел слишком много свежего хлеба и у него стало давить под ложечкой? А может быть, лошадь сорвалась с привязи и он побежал привязать ее?

Дверь захлопнулась с таким грохотом, что все эти предположения сразу рассеялись. Очевидно, ни Мале, ни мать тоже не знали, что приключилось с Луцисом: вместе со всеми прихожанами они повернули головы и изумленно смотрели ему вслед. Растерявшийся пастор Людвиг Калнпетер окончил богослужение. В ризнице он с помощью Бридиса снял талар и стал ждать — обычно будущий тесть всегда заходил к нему поболтать о том, о сем. А сегодня, кроме того, они условились ехать вместе.

Дождь уже прошел, небо прояснилось, и солнце играло на мокрых оконных стеклах. Постепенно стих стук колес. Старый Бридис нетерпеливо переминался с ноги на ногу.

— Что-то сегодня господин Луцис долгонько не идет!

— Мне тоже так кажется.

— Не пойти ли поглядеть?

— Пожалуй. Поди взгляни, что это с ним приключилось.

Оставшись один, пастор Людвиг Калнпетер поправил галстук. Он был рассержен и решил слегка пробрать старика за неприличное бегство из церкви.

Но возвратившийся звонарь только руками развел:

— Господина Луциса нет!

Пастор даже привскочил со стула.

— Как это — нет?

— А так — нет! Ни господина Луциса, ни лошади. Никого там больше нет. Один старик Цирцен из богадельни сидит под липами и считает в шапке сантимы. Ругается, что сегодня мало набросали: «Скупые, мол, все стали, как черти». Я, понятно, говорю — времена плохие...

Пастор не слушал. Уязвленный до глубины души, он стоял и кусал губы, ничего не понимая. Форменный скандал! Он вознамерился всерьез проучить зазнавшегося старика. В конце концов зятья-пасторы не каждый день попадаются.

Шагая по дороге мимо развалин бывшей церковной корчмы, пастор Людвиг Калнпетер даже плюнул с досады. Свинство — иначе это и назвать нельзя. По крайней мере, женщины должны были проявить какое-то благоразумие. И Мале нечего нос задирать! Двадцать шесть лет и рыжие волосы — не такие уж блестящие качества.

Потом пастору Людвигу Калнпетеру пришло в голову, что, может быть, Луцисы заехали к нему посмотреть новую мебель. Говорили же старики, что надо бы посмотреть, чем это Мале так восторгается. Да разве из-за этого стоило выбегать как оголтелому из церкви и нарушать богослужение? Нет! Это так оставить нельзя.

Дома пастор Людвиг Калнпетер никого не застал. Никто и не приезжал. Теперь он пребывал в полном неведении и с трудом выпил полкружки кофе, а булочки с тмином так и остались нетронутыми. Взяв шляпу и палку, он пошел в Луци узнать, в чем дело.

Дождик прошел на славу. Все канавы и колеи были полны воды. На дороге местами стояли грязные, подернутые рябью лужи. Сырая трава мочила лакированные туфли пастора, отчего

настроение у него стало еще хуже. «Свинство, свинство!..» — повторял он про себя.

Навстречу выскочили обе собаки Луцисов и яростно набросились на него. Пасторов собаки почему-то терпеть не могут. Обычно в подобных случаях выбегал кто-нибудь из домашних и спасал гостя. Но сегодня никто не показывался. Сердито отбиваясь от собак палкой, пастор заметил хозяйку Луцей,— она появилась в двери клети, но тут же опять скрылась.

Это уже прямое оскорбление! Разгоряченный, разгневанный пастор бросился в кухню и, постояв немного, старался отдышаться, в то время как собаки все еще продолжали скулить и скрестись в дверь.

Ему показалось, что в доме никого нет. Но, переступив порог комнаты, пастор Людвиг Калнпетер увидел самого хозяина, растянувшегося на кушетке с номером «Брива земе». Газета лежала у него на животе, а сам он казался спящим. Однако пастор отлично помнил, что, когда он входил, газета была высоко поднята и ее явно читали.

Это еще что за фокусы? Усаживаясь, пастор нарочно с грохотом передвинул стул и кашлянул. Затем коротко поздоровался:

— Здрасте!

Это прозвучало так, будто там, в углу, из кого-то насильно выдавили это слово. При этом сам хозяин даже не шевельнулся. Только глаза его были теперь открыты и неподвижный взор устремлен в потолок.

Тогда пастор Людвиг Калнпетер сообразил, что здесь что-то неладно. Но особенно долго ломать над этим голову не пришлось. В комнату вошла хозяйка, надо было поздороваться с ней.

— Здрасте!

Ответ хозяйки прозвучал еще резче, совсем сквозь зубы.

У пастора окончательно ушла почва из-под ног, и его лицо приняло глупо-растерянное выражение.

Хозяйке, видимо, было некогда. Она нервно металась по комнате и так же, как и хозяин, смотрела куда-то мимо гостя. Заметив, что мухи густо облепили кофейную посуду и недопитую бутылку ликера, она схватила лежавшую тут же на углу стола салфетку и замахнулась на мух таким манером, чтобы направить всю эту черную стаю прямо на полосатые брюки пастора.

Трудно было придумать, с чего начать разговор, но сидеть вот так молча тоже не имело смысла. Положение становилось

все более и более невыносимым, особенно когда пастор услыхал за стеной звонкий смех и веселый голос Мале, разговаривавшей с кем-то посторонним.

Он попробовал сказать наугад:

— Славный дождичек прошел!

Тема, казалось, была выбрана удачно. Хозяин сразу привскочил и сел на кушетке. Он всем своим корпусом повернулся к гостю. Но слова его не были выражением восторга и благодарности за сегодняшние деяния пастора.

— И вы еще радуетесь?

Хозяйка уперла руки в бока и, как фурия, откинула голову:

— Нашел чему радоваться!

Пастор Людвиг Калнпетер почувствовал себя так, будто с неба свалился.

— Что? Разве вы...

Хозяин Луцей уже вскочил на ноги и угрожающе двинулся к пастору.

— Мы, мы... А вы что, поиздеваться над нами пришли?

Хозяйка стала рядом с ним.

— Тоже, еще в зятья напрашивается!

Хозяин грубо схватил пастора за руку и сдернул его со стула.

— Идите-ка полюбуйтесь на свои благодеяния!

Из комнаты — через двор — к выгону. Изумленный пастор еле успевал отгонять собак, которые, подобно диким зверям, старались цапнуть его за икры.

— Идемте, идемте! Полюбуйтесь!

Хозяйка шла по пятам и ругалась:

— И это называется пастор! Будущий зять!

По сырой траве шли напрямик через мокрые кусты. Наконец хозяин выпустил руку пастора и ткнул пальцем куда-то в пространство:

— Теперь полюбуйтесь на дело рук своих, полюбуйтесь!

А хозяйка повторяла за ним, как эхо, только еще более злобно:

— Пусть его, пусть полюбуется!

Но пастор уже и сам все увидел.

Скошенный с двадцати гектаров луга клевер был собран для просушки вокруг составленных в пирамиды сучковатых жердей. И дальше на унавоженном лугу и на арендованном у земельного фонда новоселов покосе — везде было сено: и в валах, и разворошенное, и сложенное возле заостренных шестов для сметы-

вания в стога. То, что раскидали утром, так и осталось лежать на мокром лугу. Местами оно было плотно прибито к земле ливнем, местами лежало в грязных лужах, побуревшее, скользкое, как только что вывезенный на поле навоз. Оно уже успело нагреться под солнцем и дымилось, будто под ним разложили костер. В воздухе стоял неприятный, удушливый запах.

Сердце пастора Людвига Калнпетера оторвалось и опустилось куда-то низко-низко. Он только бессильно развел руками:

— Поистине несчастье!

Хозяин Луцей даже передразнил его:

— Не-сча-стье... Не несчастье, а погибель и банкротство!

Хозяйка чуть не плакала:

— Все сено пропало! Конченые мы люди!

У хозяина голос тоже дрожал:

— Целую неделю тремя сенокосилками... Тридцать латгальцев на сегодня наняли. К вечеру все было бы в стогах... Убытку на триста тысяч...

Пастор почувствовал себя глубоко несчастным и виноватым.

— Но откуда я мог знать... Даже не подозревал... Ведь все они вопили: «Дождя, дождя»!

— Ах, это их надо было слушаться! Хотя бы до завтра подождали! Больше нам и не требовалось... А ему хоть бы что — пусть наше добро пропадает!

Хозяйка стояла, сложив на животе руки, и только головой качала.

— Да разве это все? Ты посмотри, что они делают, ведь это разор!

Но пастор и сам видел. Нанятые батраки, побросав грабли и собравшись в кружок, лежали, задрав ноги. Некоторые играли в карты, а двое парнишек даже пробовали пуститься в пляс по скошенному лугу.

Хозяин пригрозил кулаком:

— Черти! В обед — три ведра похлебки и полкорчаги селедок, а теперь дожидаются ужина и жалованья. Ты хоть до нитки разорись, им-то что за беда!

— Такое добро! Такое богатство! А он преспокойно велит все залить дождем. Пусть гниет, ему-то что!

Но тут уже рассердился и пастор:

— Что вы глупости говорите! Можно подумать, что я могу заказать все, что вам нужно.

— Ах, не можете! Так на что же вас сюда поставили? И чего вы тогда так вытягивались на кафедре? Театр устраивали? Комедию ломали?

Ответ у пастыря застрял в горле, но никто и не нуждался в ответе. Хозяйка только рукой махнула, как будто хотела вымести его самого.

— Чего с ним еще разговаривать! С виду пастор, а на деле — сущий разбойник!

Хозяин схватил хозяйку за руку и потянул ее за собой.

— Нечего тебе с ним пререкаться. Пусть убирается к черту и больше глаз не кажет. Я в свой дом пускаю только порядочных людей.

И когда пастор Людвиг Калнпетер выбрался с мокрого выгона, хозяева уже вошли в дом и при этом так хлопнули дверью, что, казалось, ей больше никогда не суждено будет отвориться.

Но это было еще не все. Воюя с собаками, пастор заметил, как по саду среди яблонь прогуливалась Мале, и не одна, а еще с кем-то. Это был Спура из «Талавии», и Мале так пылко смотрела ему в глаза, что не оставалось ни малейших сомнений, куда так внезапно переметнулось ее сердце.

Отбиваясь от собак, шагал пастор Людвиг Калнпетер домой. Даже свирепый лай псов не мог заглушить мыслей о векселе на двадцать тысяч, выданном Объединению рижских мебельщиков, о купленной на шестьдесят четыре тысячи мебели... И о многом-многом в том же роде. Это ли не разорение! Его собираются стереть с лица земли.

Пастор Людвиг Калнпетер шел сгорбившись, проводя лаковыми туфлями в мокрой полевице две борозды. Чувствовал он себя так, будто провалился сквозь дождевую тучу и промок до костей.

1930

Густолиственные, отягченные росой ветви кленов нависали над железной крышей и затемняли окно второго этажа. Когда июльское солнце поднималось над высокой грядой домов Мариинской и улицы Барона, стены комнат покрывались золотистыми дрожащими узорами.

Во флигеле профессора Грюна было так тихо, точно он вымер. Выходившие на улицу массивные здания изолировали его от шума таксомоторов. До желтого деревянного домика в глубине узкого двора долетал только глухой слитный гул, да и тот был слышен, лишь когда в буфете чуть позванивали плотно сдвинутые рюмки или с легким щелканьем входил в паз остановившийся на полдороге язычок дверного замка.

В мягких туфлях, с пыльной тряпкой и лейкой в руках, по лестнице осторожно поднималась старая Ева. Каждый раз, когда свежевыкрашенные, но ветхие ступени издавали легкий скрип, лоб ее прорезала глубокая морщина. Вряд ли этот еле заметный шум долетал до комнаты господина профессора и тревожил его. Но в доме с самой весны привыкли ходить на цыпочках и говорить вполголоса.

На площадке Ева остановилась перевести дух. В открытое окно слышно было, как с верхних веток на нижние шлепались капли росы. Сквозь густую зелень виднелась серая, вся в пятнах, глухая стена химической прачечной, высоко поднимавшаяся над четырьмя кленами дворика. Было прохладно и даже чуть-чуть сыро. Ева окинула недовольным взглядом неизвестно для чего выращенные здесь деревья и застегнула на все пуговицы вязаную кофту.

На втором этаже, по каждую сторону коридорчика, две комнаты: раньше здесь была частная клиника. Спальня почти пуста и прибрана кое-как. На полу еще остались шесть светлых пятен от ножек железной кровати. Шкаф заперт больше года — с того времени, как профессор перестал ходить на лекции и

надевать длинный сюртук. У окна, на высокой камышовой подставке горшок с хилой араукарией. Он стоял здесь еще до женитьбы профессора. Свои цветы госпожа профессорша взяла с собой, когда перебралась на нижний этаж.

Ева полила араукарию и повернула ее к окну другим боком. В этом не было никакой надобности: растению грозила неминуемая гибель. Но Ева все делала по заведенному порядку до тех пор, пока его не отменили. Тихонько орудуя лейкой, она прислушалась к доносившимся из-за стены звукам и кивнула головой. Это был глухой протяжный кашель, скорее похожий на хрип замученного животного.

Дверь в комнату господина профессора, которую Ева плотно прикрыла утром, отворилась без малейшего шума. Кровать стояла изголовьем к окну, так что на лицо больного падала тень от подушек, и его можно было рассмотреть лишь с середины комнаты. Оно было иссиня-бледное, обросшее седоватой щетиной, с резко выступающими костями челюстей и темными провалами глаз. Страшнее всего казался рот. Он был широко открыт, так что виден был белый распухший язык, и из него время от времени вырывался хрип. Было ясно, что больному приходилось напрягать всю силу воли, чтобы закрыть рот. Но вот худая, как у мертвеца, вся в жилках, рука приподняла фанерную дощечку с приколотой к ней полоской печатной бумаги и заслонила его лицо. Такие листы профессор читал уже целый месяц. Красный карандаш скатился на пол, Ева подняла его и осторожно положила в складку одеяла на груди больного. Заметив, как при этом первно дрогнули опущенные веки с длинными ресницами, она сразу отошла от кровати.

Принесенная давеча чашка бульона, как всегда, была отодвинута, и несколько капель пролилось на блюдце и белоснежную скатерть. Ева только что собралась для вида пройтись тряпкой по книжным полкам, но, увидев облитую скатерть, опустила руку и пожала плечами. Потом схватила чашку и выбежала из комнаты. На этот раз дверь захлопнулась с громким стуком, и на лестнице заскрипели все ступени.

Госпожа профессорша нагревала на газовой плите щипцы и, сидя перед зеркальцем Евы, подвивала растрепавшиеся у висков коротко остриженные светлые волосы. Она еще в зеркале увидела взволнованное лицо Евы и обернулась. Ева, еле переводя дух, проговорила:

— Барыня, ваша новая скатерть вся в жирных пятнах.

Хозяйка сдвинула брови.

— С краю, где вышивка?

— Нет, нет! На самой середине. На том же месте, что и в прошлый раз, когда отдавали в чистку к Данцигеру.

Хозяйка махнула рукой, в которой держала коробку пудры.

— Что делать, Евиня, с больными всегда так.

Ева покачала головой.

— Ну и приходится же вам терпеть, барыня.

И обе одновременно вздохнули.

Ева взглянула на картину, которую когда-то принесла с чердака и повесила у себя в кухне. Сюжет ее отчасти напоминал то, что происходило в доме. Из рамы с облупившейся позолотой выступало просветленное, смиренно улыбающееся лицо покойницы, набожно сложенные на груди руки, и в них крестик. Из-за бордовой плюшевой занавески высовывалась головка румяного ангелочка и пухлая ручонка с цветком лилии.

— Видывала я на своем веку, как люди помирают, у самой муж помер от нарыва в животе...

Хозяйка поняла недоговоренное, но кивнула только после того, как сняла со лба ваткой крем.

— Он ничего не спрашивал?

— У меня? Когда это он у меня что-нибудь спрашивал? Я и заходить-то к нему боюсь.

Хозяйка еще раз вздохнула:

— Что делать, Евиня, больным так тяжело!

— Конечно, тяжело. А здоровым с ними легко? Взять, к примеру, хоть вас, барыня. Не от легкой жизни эти морщинки вокруг глаз. С таким больным и здоровому впору заболеть... Разрешите, барыня,— вы не достанете.

Она осторожно смахнула пуховкой с шеи излишек пудры.

— Белой стали пудриться? Раньше все больше розовой...

— Говорят, от розовой я совсем красной становлюсь. Неужели я в самом деле такая красная?

— Что вы, барыня, вовсе нет. Врет, кто так говорит. А в вашем возрасте румянец не мешает. Иначе при таких светлых волосах вы были бы совсем белесая. Вон как жена доцента Лаунага... Гостей, верно, ждете? В доме почти ничего нет, вы ведь утром не велели идти на базар.

— Какие там гости! Разве у нас сейчас кто бывает?

Едва госпожа профессорша вошла в спальню, как стало ясно, что она покривила душой. Надев новое платье, она стояла у окна и пристально смотрела в глубину прохода между гаражом и забором сада, где за решетчатыми воротами сновали

пешеходы. На лице ее отразилось еле сдерживаемое волнение и забота, взгляд ни на секунду не отрывался от узкого прохода, по которому только и можно было попасть в домик профессора Грюна. .

Внезапно глаза ее заискрились. В ворота вошел молодой человек и направился прямо к флигелю. Он шел уверенно, не останавливаясь; очевидно, дорога была ему хорошо знакома. Кремовые с иголочки брюки, синий пиджак, шляпа из жесткой соломки, толстая суковатая палка. Проходя мимо окна, он кивнул госпоже Грюн и негромко постучал в дверь. С тех пор как заболел профессор, звонок был снят.

Ева открыла ему и улыбнулась:

— Здравствуйте, здравствуйте, господин Бухбиндер. Госпожа профессорша ждет вас.

Это было сказано вполголоса, почти конфиденциально. Но господин Бухбиндер будто не слышал ее и, лишь подав шляпу и палку, слегка кивнул.

Госпожа профессорша и сама вышла навстречу. Он поцеловал ей руку и вежливо осведомился:

— Как сегодня чувствует себя наш больной?

Госпожа Грюн оглянулась на Еву, которая слишком уж старательно водворяла на вешалку шляпу и палку гостя.

— По-прежнему, по-прежнему. Проходите, господин Бухбиндер.

Из-за двери все еще слышалась возня Евы, и гость продолжал в приподнято галантном стиле, только еще громче:

— А вы, сударыня?

— Благодарю вас...

Больше Ева ничего не расслышала. Очевидно, хозяйка и гость удалились во внутренние комнаты. Бросив взгляд на лестницу, Ева вернулась в кухню.

Хозяйка и гость действительно направились в глубь квартиры — через приемную, затем гостиную. Впереди шел господин Бухбиндер. За ним следовала госпожа профессорша, плотно прикрывая за собой все двери.

В спальне господин Бухбиндер взял со стула капот с широкими рукавами, небрежно бросил его на кровать и сел.

Госпожа профессорша, явно нервничая, пыталась опереться обеими руками на туалетный столик, стоявший за ее спиной.

— Я уж думала, ты сегодня не придешь.

Он положил ногу на ногу и закурил сигарету.

— Сегодня чуть было так и не вышло. Начал работать новый приказчик, пришлось все ему объяснять...

— Но ведь у тебя там мадемуазель Рудзит?

— Мадемуазель Рудзит... У мадемуазель Рудзит свой отдел. она в галантерейном. А в мануфактуре она ничего не смыслит.

— Да, тогда конечно... Налить тебе кофе?

Руки госпожи профессорши нервно шарили по туалетному столику. Она даже немного покраснела.

Описав плавным движением руки полукруг, господин Бухбиндер затушил спичку, поискал взглядом пепельницу и бросил спичку прямо на ковер. Профессорша услужливо нагнулась, подняла ее и положила на опрокинутую крышку одной из многочисленных коробочек.

Господин Бухбиндер курил, устремив взгляд в стену. Сигарета время от времени потрескивала, и беловатая струйка дыма стлалась над головой. На сделанное ему предложение он не счел нужным ответить.

— А тот приходит как всегда?

— Как всегда...

При этом она так внимательно и робко посмотрела на господина Бухбиндера, словно стараясь прочесть на его лице что-то еще не высказанное.

Но господин Бухбиндер продолжал смотреть в стену.

— А он его еще не звал?

— Пока нет. Я думаю...

Но под холодным, чуть насмешливым взглядом господина Бухбиндера она съежилась и умолкла.

— Ты думаешь... Оттого, что ты думаешь, мне легче не станет. Аренду за помещение на Известковой нужно внести за полгода вперед. Сколько это по-твоему? А в кредит дают только на три месяца. Если к первому августа у меня не будет полмиллиона или хотя бы поручительства на эту сумму...

Руки госпожи профессорши уже были сложены на животе, а на лице появилось такое же выражение, какое бывает у охотничьей собаки, когда хозяин стоит с ружьем за плечами, но все еще не хочет произнести заветное: за мной.

— Мне кажется, он уже не в состоянии говорить. Третий день, как ни слова не говорит Еве. Сегодня утром опрокинул чашку с бульоном...

— Ну, писать-то он еще может. А доктор Скара всегда подтвердит, что больной был в здравом уме и твердой памяти. Скара по-прежнему каждый день является?

— По три раза в день.

— А тот все еще торчит с утра до вечера? Ясно, как божий день, подпишет завещание...

— Может быть, только на часть... На четыреста тысяч, которые лежат в банке. Но остается еще библиотека. В начале болезни ему за нее предлагали миллион. Библиотеку он не завещает. Да и пастора Линде он не считает за друга.

— Линде... Может быть, он тебя считает за друга?

Госпожа профессорша прижала руки к груди.

— Не говори так! Ты отлично знаешь, за что он меня так ненавидит.

Господин Бухбиндер встал.

— Я-то, безусловно, знаю. Все это случилось потому, что ты время от времени сходишь с ума. Ничего бы не случилось... Разве он впервые застал нас вдвоем? А ей, видите ли, понадобилась романтика! Ходила в одной рубашке... Тут и слепой бы увидел.

Лицо госпожи профессорши залила густая краска, глаза наполнились слезами.

— Зачем ты меня мучаешь? Мне и так тяжело...

Оба сразу обернулись к окну. К дому подходил небольшого роста мужчина, с бородкой клинышком, в роговых очках, с портфелем под мышкой. Значит, уже ровно девять.

Госпожа профессорша приоткрыла дверь, и из приемной донесся разговор посетителя с Евой.

— Господин профессор не спрашивал меня?

— Нет, господин нотариус, господин профессор никого не спрашивал.

— Ага. Тогда я подожду. Что там, наверху, нет свободной комнаты?

— Госпожа профессорша велела подождать тут.

— Хорошо, спасибо. Я попрошу только стакан холодной воды.

Когда госпожа профессорша приоткрыла еще одну дверь и холодно кивнула нотариусу, он уже сидел на своем обычном месте у окна и отыскивал загнутую страницу в романе Зудермана «Песнь песней».

Господин Бухбиндер бросил недокуренную сигарету на крышку коробочки и собрался уходить. Голос его опять звучал в полную силу:

— Прошу прощения, сударыня, мне пора. Выражаю глубочайшее сочувствие вашему горю. Будем надеяться, что с божьей помощью все еще обернется к лучшему.

— Благодарю, господин Бухбиндер, это моя единственная надежда...

Господин Бухбиндер поцеловал ей руку и ушел, не сказав больше ни слова. Вежливо поклонился нотариусу, и вот уже его белые туфли на каучуковых подошвах зашуршали по мосткам, ведущим к воротам.

Госпожа профессорша с полными слез глазами и высоко вздымающейся грудью смотрела ему вслед. В воротах господин Бухбиндер посторонился и приподнял шляпу. Кто-то подходил к дому. Конечно, это опять господин Линде.

Госпожа профессорша закусила губу и проглотила подступившие к горлу слезы.

Но пастор Линде задержался еще немного. Он встретил своего коллегу, пастора Петермана из прихода церкви Спасителя.

Петерман направлялся к своему семейству на взморье. В руках он нес множество свертков, и даже к пуговице сюртука был прикреплен шнурочком яркий воздушный баллон в виде колбасы. Встретив коллегу у дверей пассажа, Петерман поднял голову и посмотрел на вывеску «Братья Фегельсон». Ночью он хорошо выспался и с утра был в отличном настроении.

— Стучитесь во врата Израиля, коллега?

— В широкие!

И оба от души рассмеялись над удачной остротой. Пастор Линде тоже был в хорошем расположении духа. Чудесная погода, зелень вяза над головой, только что политая мостовая, женщины в летних платьях — все способствовало приятному, слегка сентиментальному настроению. Но вдруг, что-то вспомнив, пастор оборвал смех, лишь в глазах его искрилась улыбка.

— Иду к профессору Грюну. Вам, конечно, известно...

— Ах, да, помню, помню. Он где-то поблизости живет, Ну, как ему сейчас?

— Ни малейшей надежды... Не сегодня-завтра... Конечно, все в руках всевышнего.

— Так вы его навещаете?

— Каждое утро, вот уже пятый день. Чтобы быть на месте, когда придет час указать душе его путь к небесной отчизне.

Петерман думал о другом.

— Вот для Лаунага и освободится вакансия на факультете.

Доцент Лаунаг был его родственник, и Петерман ему по-

кровительствовал. Зато пастор Линде не питал к Лаунагу дружеских чувств.

— Это еще не известно. Ведь четыре кандидата! Посмотрим, у кого из них сильнее связи в коалиции.

У Лаунага поддержка была не бог весть какая. Петерман пожал плечами.

— А как же автономия университета!

Пастор Линде только усмехнулся и поздоровался с владельцем автобусной линии Круминем. У Круминя была такая же лысина, как у профессора Грюна. Это опять направило мысли пастора Линде по прежнему руслу.

— Чего только не в состоянии претерпеть человек, трудно даже поверить! Я многое видел за свою жизнь, но такого больного встречаю впервые. Желудок у него сплошная рана, грудь заложена, он задыхается, говорить уже не может, и все-таки еще жив.

— Только помощью господа!

— Единственно ею. Подумайте только: даже не стонет. За все эти дни мы не слыхали ни единого стона. Просто удивления достойно.

— Вот что значит, коллега, сила веры.

— Безусловно! Ее господь бог ниспосылает своим избранникам, дабы они примером долготерпения укрепляли маловеров. Только в горниле страдания очищается душа и становится достойной вступления в райскую обитель.

— Вот вам и тема для надгробного слова.

Пастор Линде не заметил легкой зависти в словах коллеги. Он и сам только что подумал об этом. Глаза у него заблестели, лицо просияло от неподдельного удовольствия.

— Да, да. Рига давно не видала таких пышных похорон. Факультет уже деятельно готовится к этому событию, на скорую руку здесь ничего не сделаешь. Сам отец епископ скажет проповедь при выносе тела. От всех рижских общин будут венки. Уже дано распоряжение Рибелю, чтобы цветы были припасены в достаточном количестве.

— Лаунаг уже подготовил некрологи для всех газет.

— Поистине это будет повесть о жизни борца за веру и мученика. Целый год, целый год и днем и ночью, терпеть эти ужасные муки. Если бы вы его видели, коллега,— он уже и не похож на человека. Его смерть — это смерть великомученика.

— И все это вы изложите в своем надгробном слове. Я представляю себе, представляю. У вас такой прекрасный голос. Еще

после похорон Кришьяна Барона начали поговаривать, что вас назначат пробстом.

Пастор Линде глядел куда-то мимо коллеги, будто что-то отыскивал в людском потоке. Улыбка заиграла в прищуренных от солнца глазах. Но он потушил ее и стал сугубо серьезен. Даже вздохнул и сказал неопределенным, ничего не значащим тоном:

— Все в руце господней. Все в руце господней.

В этот момент из ворот вышел господин Бухбиндер и приподнял шляпу. Оба пастора были с ним знакомы и отлично знали, откуда он идет. Беседа получила новое подкрепление.

Первым заговорил пастор Петерман:

— А скажите, коллега, профессор еще не развелся со своей супругой?

— Официально нет. Просто он живет на верхнем этаже, а она внизу.

— Это пустяки. В глазах общества и перед лицом церкви имеет значение только официальный развод.

— Вы ведь знаете, что господин профессор всегда был большим чудаком. Возможно, в данном случае ему помешала болезнь. Скандал-то, кажется, разыгрался года два или два с половиной тому назад?

— Кажется, так. Но что же получится? Если не будет завещания, то госпожа профессорша унаследует все имущество. Тогда разыграется скандал покрупнее. Бухбиндер откроет еще один филиал в Старой Риге.

Морщины на лбу пастора Линде образовали треугольник с острой вершиной.

— Вы говорите, скандал? Это будет святотатство, наглый вызов всему свету, если они еще получат вознаграждение за смертный грех! Ни сантима, ни полсантима они не получат! Да разве вы еще ничего не слыхали?

— Кажется, что-то такое слышал. Вы-то, конечно, точнее знаете, как обстоят дела.

— Мне он еще ничего не говорил. Я осведомился у доктора Скары — и тот ничего не знает. Но об этом все говорят, да иначе и быть не может. Бывшую жену в расчет принимать не стоит, а других родственников у него нет. Наш приход беден, а нужд так много. Но главное все-таки не это. Главное то, что подобный христианский поступок послужит достойным подражания примером для факультета, для университета — для всех профессоров и священников, да и для каждого члена христиан-

ской общины. Вы только вообразите, коллега, какое это будет событие в истории лютеранских общин.

Пастор Петерман кисло улыбнулся.

— Вы уж хотите войти в историю... Впрочем, если хорошенько поразмыслить, так оно и получается. И везет же вам, коллега! Сразу после окончания университета — место в Риге, потом женитьба на дочери фабриканта Шталя, собственная дача в Эдинбурге. Теперь вот опять... Но я не завистлив: достояние отдельного прихода — достояние всей церкви. И дай бог, чтобы вам это удалось. Вот только завещание... Первым долгом позаботьтесь, чтобы были соблюдены все формальности, иначе потом хлопот не оберетесь, да и неизвестно, чем дело кончится.

— Об этом мы позаботились. Нотариус Штиглиц три дня дежурит там с девяти утра. Завещание у него заготовлено, так что, когда позовет, останется только подписать.

— А он все не зовет?

Лицо пастора Линде чуть-чуть омрачилось.

— Пока нет, и меня это весьма тревожит. Что, если его час наступит ночью, когда возле него никого не будет? А ведь он вполне мог сделать это вчера или позавчера. Конечно, об этой прелюбодейке он и не вспомнит. Но возможно, что он еще надеется пожить немного. Лукавый, как известно, до последней минуты искушает праведников мирскими соблазнами.

— Будем надеяться на лучшее, дорогой коллега. Я уверен, что вас ждет удача. Вам обычно все удается. Вот вам еще тема для надгробного слова. А какое оно произведет впечатление! Вы наставили христианскую душу перед кончиной,— воображаю, как будет доволен отец епископ. Должность пробста вам уже обеспечена. Желаю удачи... Дай вам бог!

Пастор Линде пожал коллеге руку, повторяя про себя его пожелания, пожалуй, с еще большим пылом:

— Дай бог, дай бог!

Пастор Петерман направился к шурину, который ждал его тут же, в двух шагах. Показав через плечо на удалявшегося пастора Линде, он сказал:

— Везет же такому. На факультете был среди последних, а теперь без пяти минут пробст. Ручаюсь, что он скоро будет пробстом.

Продолжая разговаривать, они исчезли в толпе, направлявшейся к вокзалу.

Пастор Линде шагал по мосткам к домику профессора Грюна в отличнейшем настроении. Лишь заметив в окне спальни хозяйку, он опять сделал серьезное лицо. Проходя мимо нота-

риуса, кивнул ему, но с таким видом, будто тот очутился здесь по собственному желанию и вообще был человек посторонний. Раскланялся из-за двери с госпожой профессоршей.

— Как самочувствие нашего больного?

— Все так же.

В голосе ее слышались слезы. Пастор кивнул. Значит, все в порядке, он и сегодня не опоздал.

— Господин доктор еще не приходил?

— Он ведь раньше десяти не приходит!

Госпожа профессорша отвечала коротко, нелюбезно. Пастор Линде понимал ее и не обижался. Радоваться нечему, когда такое состояние уходит из-под носа. Но это вполне заслуженная кара за прегрешения. И он, приходский священник, всего лишь орудие в руках всемогущего судии, он пришел сюда не ради удовольствия, а по велению долга, во имя того, кто его послал.

С этими мыслями он сел в гостиной, достал из кармана перочинный ножичек и начал чистить ногти. Теперь можно позволить себе и эту маленькую нетактичность. Госпожа профессорша остается здесь, только пока медлит умереть муж. Будущий хозяин понемногу входил в свою роль. Пора и госпоже Грюн примириться с этим.

Но ей нелегко давалось это примирение. Распахнув окно, она с ожесточением выбивала простыни, не обращая внимания на открытые двери в гостиную. Пастор Линде усмехнулся. Накипело... Ничего, пусть побушует. Все равно придется привыкать.

Он оглядел комнату. Когда все формальности будут улажены и дом, наконец, перейдет во владение прихода святой троицы, он непременно переберется сюда. До смерти надоело жить в чужом доме, да еще на четвертом этаже. Здесь вот можно устроить кабинет. Конечно, никакой мягкой мебели, только большой письменный стол и венские стулья. Пастор пощупал кресло, на котором сидел. Совсем еще новый гарнитур. Красное дерево, полосатая шелковая обивка. Пасторша оборудует наверху небольшой салон, она давно об этом мечтала. А эта картина Плокгорста с детьми, идущими по мостику под покровом ангела-хранителя, как будто создана для комнаты Ральфа и Труды. Вообще мебели достаточно, можно будет расположиться с комфортом.

Пастор вытянул поудобнее ноги и стал рассматривать свои зеленоватые с узором носки. Нелегко ходить сюда два раза на дню и торчать по целому часу, когда дома пропасть работы. Но доктор Скара строго-настрого приказал до его визита боль-

ного не тревожить. А сам доктор такой неаккуратный,— ему ничего не стоит опоздать на полчаса. Что же поделаешь: надо жертвовать собой во имя царства божия и своего прихода.

Дом хотя и старый, но содержится в порядке и не плохо сохранился. По сведениям земельного управления долгу по закладной всего каких-нибудь четыреста тысяч. Если вносить по ней проценты, все равно обойдется в два раза дешевле обычной квартирной платы пастора. Приходу прямая выгода.

Пастор не без удовольствия развалился в кресле и заложил руки в карманы брюк. Но тут же спохватился, что поза не слишком прилична, и выпрямился. Через гостиную и приемную быстрыми шагами прошла госпожа профессорша, не взглянув на пастора и нотариуса. Пастор Линде насмешливо посмотрел ей вслед. Да, сладок грех, но горька расплата...

Нотариус весь ушел в свою «Песнь песней». Время от времени доносился легкий шорох перелистываемых страниц. Пастор кашлянул.

— Вам не скучно, господин Штиглиц?

— Нет, благодарю вас, я читаю.

— Да, вы большой любитель чтения. Больной еще не звал?

— Пока нет.

— Сегодня он непременно позовет, у меня такое предчувствие. Вам больше уже не придется терять здесь попусту время.

— Ничего, у меня в конторе помощник.

Пастор шумно вздохнул:

— Будем надеяться, что господь, наконец, смилостивится над несчастным. Он уже достаточно помучился за свои прегрешения.

Нотариус и на это ничего не ответил. Очевидно, он интересовался лишь практической стороной дела или своим романом. Вот он снова перевернул страницу.

Пастору Линде пришло на ум самое главное, о чем он думал еще утром, лежа в постели. Нынче четверг. Если господь призовет к себе страдальца сегодня вечером, то похороны в воскресенье. Это обязательно. В воскресенье на кладбище народу в три раза больше, чем в будни. Вынос тела из университета, оттуда уже каждый день справляются. Конечно, будет говорить сам епископ. Но надгробное слово достанется ему — пастору Линде, а это самое главное.

Оно принадлежит ему по праву, ибо он был духовным наставником профессора в течение всей его болезни. И тут же подумал, что из бесед на духовные темы у него как-то ничего не получалось. Чудак-профессор и лежа на одре только читал

свои корректуры, будто это главным образом и полагалось ему выполнить перед смертью. Своих чувств и мыслей он никому не открывал и не позволял заглядывать в свою душу. Это было не совсем хорошо с его стороны. Пастору Линде хотелось задушевной беседы, хотелось услышать парочку своеобразных выражений, которыми профессор Грюн обычно уснащал свои лекции и статьи по вопросам богословия. Какую-нибудь философскую сентенцию по поводу семейных неудач профессора, которую уместно было бы вставить в надгробное слово и таким образом ярче охарактеризовать жизнь этого божьего избранника, мученика и борца за веру, сохранившего ее, несмотря на все страдания, и унаследовавшего жизнь вечную.

Ну ничего, и так хорошо, даже очень хорошо получится! Сердце пастора забилось быстрее, на глазах навернулись слезы, и он еще раз мысленно обозрел теперь уже совсем готовое надгробное слово. Не столько даже слово, сколько впечатление, которое оно должно произвести на слушателей.

Весь университет будет присутствовать. Для богословского факультета смерть такого праведника явится большой утратой и вместе с тем известным приобретением. И это благодаря пастору Линде, который не покидал его до самой кончины и напутствовал христианскую душу...

Глаза пастора наполнились слезами, но сердце обдала приятная теплая волна. Благодаря ему! И этого не забудут, не могут забыть!

Далее следует второй пункт — вещественное доказательство величия и силы веры усопшего. Нет, это он прибережет на самый конец, для полноты эффекта. Завещание, по которому все движимое и недвижимое имущество профессора...

Пастор Линде заерзал в кресле и встал. Завещания-то все еще нет, и больной вовсе не зовет нотариуса. Нехорошо. Ведь никто не знает заранее, когда наступит его час. Поэтому каждый христианин обязан заблаговременно устроить все свои дела, дабы с чистой совестью отойти в вечность. Профессор забыл свои обязанности, и это поистине тревожило пастора Линде.

Он чуть было не поднялся наверх, чтобы убедиться самому. Но доктор Скара такой грубиян,— он терпеть не может, когда вмешиваются в его дела. А между тем сам такой нерадивый и неаккуратный. А вот, наконец, и он. Пастору стало немного легче. Обязательно надо внушить, чтобы напомнил больному. Если у человека есть обязанности, лучше уж заблаговременно...

Но доктор Скара, по своему обыкновению, даже не ответил, когда пастор и нотариус поклонились ему из гостиной.

«Лунные тени»

Пыхтя и отдуваясь, он помогал Еве высвободить свою правую руку из рукава пальто. Как всегда, был резок и лаконичен.

— Ну? Все то же?

— Все то же, господин доктор, все то же.

Левая рука уже высвободилась из рукава.

— Не ел?

— Ни крошечки. Подала утром чашку бульона,— и не попробовал, только расплескал... Барынина новая скатерть вся в пятнах. Пока мокрая — еще можно что-нибудь, иначе пропала...

Доктор уже поднимался по лестнице со своим чемоданчиком. Ступеньки заскрипели под тяжестью его туши. На площадке он обернулся и крикнул:

— Воды! Горячей! В тазу!

Пастор снова отступил. Вот и не успел сказать.

— Господин доктор, а господин доктор,— прошептал он, приложив одну руку ко рту, а другой делая таинственные знаки. Но доктор Скара не слышал или притворялся, что не слышит. Его голос гремел уже наверху:

— И губку! Только чистую!

Пастор Линде развел руками и вернулся. Он был ужасно недоволен тем, что не удалось внушить доктору свою мысль. Самому как-то неудобно.

Нотариус тоже ничего не может посоветовать. Он, видать, простофиля либо прожженный дипломат. Кроме своих официальных обязанностей, знать ничего не хочет.

Пастор нервно забегал по гостиной, обходя расставленную посреди комнаты мебель и время от времени зацепляясь ногой за ковер работы национальной лиги. Ужасно долго копается там доктор... Когда лестница вновь заскрипела под его ножищами, показалось, что прошло часа два.

Бежать навстречу и выспрашивать — не совсем удобно... Пастор продолжал свое путешествие по гостиной и прислушивался, не расскажет ли доктор что-нибудь нотариусу. Но тот сперва закурил сигару, притом до того крепкую, что пастор поморщился. Шагая по комнате, он мог наблюдать за доктором. Морщины на лбу вдвое глубже, чем обычно. Руки заложил за спину и, кажется, бросает поверх своего толстого живота неприязненные взгляды на нотариуса.

— Что вы там целый день читаете?

Вопрошаемый сначала приложил палец к тому месту, на котором его прервали, потом посмотрел сквозь роговые очки на доктора.

— Так, один роман.

— Роман — пхе!.. И вам интересно?

— Отчего же, скуки ради.

— Скуки ради, когда над вами человек умирает.

Пастора Линде будто кто-то вытолкнул в приемную.

— Умирает? Неужели это правда, господин доктор?

Доктор искоса взглянул на него.

— Ну? Вам-то что? Ах, да — у вас свои дела!

Пастор принял торжественную позу.

— Душа нуждается во врачевании не менее, чем тело.

Доктор пожал плечами.

— Возможно. Это не по моей части.

— Скажите, пожалуйста, неужели это... может произойти так скоро?

— Это одинаково возможно и через пять дней, и через пять минут. Я уж отказываюсь ставить диагноз. Такого случая в моей практике не бывало. Вообще неизвестно, чем он еще живет.

— Я полагаю, господин доктор, сила воли...

— Да, да, и я так полагаю. Но все имеет свой предел, а это уже свыше всех пределов. Свыше всех пределов, повторяю вам.

— Господин профессор, наверно, ужасно страдает?

— Ужасно... Что означает это «ужасно»? Вот когда у вас болит зуб, вам, конечно, кажется, что вы ужасно страдаете? У вас когда-нибудь болел зуб, господин Линде?

— Я думаю...

— Дело не в том, что вы думаете, а в том, что вы чувствуете. Предположите, что у вас сразу болят три зуба. А?

— Мне однажды из-за одного-то хотелось биться головой об стенку.

— Вот видите, а ведь и вы обладаете силой воли. Теперь представьте, что у вас болят не три, а все тридцать два зуба, и еще помножьте эти тридцать два на три. Это примерно та степень боли, которую испытывает сейчас профессор Грюн.

— Это ужасно.

— Это нечеловеческие муки. Мои уколы помогают ему на полчаса, на час, и потом все начинается сызнова, с удвоенной силой. Не понимаю, почему врачам запрещают сокращать такие мучения, от которых никому нет пользы.

Пастор важно выпятил грудь.

— А душа, господин доктор? Господь бог знает, зачем он налагает на него такие испытания.

Доктор бросил на пастора такой уничтожающе-презрительный взгляд, что тот покраснел.

— Видите, доктор, он все-таки жив.

— Да, и, что самое удивительное, еще работает.

— Работает?

— Читает какую-то корректуру и все время пишет на полях. Я заглядывал, но там трудно разобрать.

Пастор Линде забеспокоился.

— Вы что, господин доктор, предполагаете, что он уже не в здравом уме?

— Как?.. Что?..

Доктор Скара выкрикнул это так злобно, таким оскорбительным тоном, словно перед ним был мальчишка, задающий глупые вопросы. Пастор Линде покраснел еще сильнее.

— Помилуйте... Я только подумал... Способен ли он отвечать за то, что пишет?

— Ну, мне кажется, вам-то за него отвечать не придется. Хотя, возможно, это имеет касательство к вашему ремеслу. Он читает корректуру истории какого-то монашеского ордена.

Ответ не вполне удовлетворил пастора. Ему нужно было знать более точно.

— Нет, мне важно знать, таково ли состояние профессора Грюна, что его подпись можно признать действительной?

Пустив под потолок струю едкого дыма, доктор Скара смерил его взглядом с головы до пят.

— А вы что? Хотите дать ему подписать вексель?

Он выпул изо рта сигару и по-мужицки сплюнул прямо на пол.

— Только одно я вам скажу, господин пастор: оставьте его сейчас в покое. Он нуждается в полном покое. И душа его. О ней вы можете заботиться и так. Никуда она от вас не уйдет. Мой укол будет действовать полчаса или час. Дайте ему отдохнуть. Перед уходом я еще раз загляну к нему.

Он пошел в кухню, захлопывая за собой одну дверь за другой. Пастор чувствовал себя так, как будто ему надавали пощечин. Даже нотариус поднял голову и пожал плечами.

Пастор был оскорблен, взволнован и даже взбешен. Неужели только потому, что врач безбожник, а больной упрямец, не дано свершиться великому подвигу христианской любви? Нет, это было бы непростительным небрежением по отношению к приходу.

Пастор поднялся по лестнице. Однако перед дверью больного твердая решимость стала покидать его. Не совсем удобно навязываться... А может быть, он сам догадается?.. Увидит пастора и вспомнит о своем невыполненном долге.

Приоткрыв дверь, пастор сразу почувствовал странный приторный запах,— наверно, от лекарства доктора Скары. В пустом гнезде книжной полки виднелся его раскрытый чемоданчик со всякими склянками и инструментами.

Пастору показалось, что больной только что пытался приподняться. Его голова с отросшими спутанными волосами еще не успела упасть на подушку, а руки судорожно схватили фанерную дощечку с прикрепленным к ней листом бумаги. Из-под одеяла высовывалась ужасная жилистая нога с синими ногтями. Мрачно горели в глубоких впадинах темные глаза. Пастор Линде не мог понять, что они выражали: страдание, иронию или что-то истлевшее в огне нечеловеческих мучений. Он взял стул и сел так, чтобы остро выступающие скулы больного заслонили эти невыносимые глаза.

Пастор заговорил. Это были слова утешения, которые обычно предназначаются для умирающих. Но что еще могло сейчас прийти на ум пастору Линде? Язык говорил что-то сам по себе, а голова была занята только одной мыслью, которая привела его сюда и которую обязательно надо было высказать. Но как нелегко, ах, как нелегко приступить к такому сложному и щепетильному делу! Пастор весь вспотел, будто тащил на себе огромную тяжесть.

Но необходимость была столь настоятельной, что пастор неожиданно для самого себя оборвал на полуслове начатую фразу о тщете всего земного и вечном блаженстве на небесах и начал о другом.

— Вот почему вы не должны забывать о том, что так необходимо для спасения души вашей.

Больной тыкал в гранки красным карандашом, но рука дрожала, и, очевидно, он никак не мог попасть туда, куда хотел. Губы его шевелились, но слышен был только хрип. Пастор Линде еще раз повторил сказанное и нагнулся к больному, чтобы разобрать его шепот.

Не то, чтобы пастор был очень уверен, но ему показалось, будто он расслышал ответ:

— Я этого не забыл...

Ага, это как раз то, что надо.

— Вот и хорошо. Вот и отлично.

И опять прислушался, наклонив голову,— профессор снова зашевелил губами.

— Ничего хорошего... Я что-то упустил, а теперь голова уже отказывается... Мозг... легкие разрушены... Рука не слушается...

Пастор навис над больным, упершись обеими руками в кровать.

— Но подписать-то вы еще можете? Ведь, правда, можете?

Дощечка соскользнула на одеяло, карандаш с легким стуком покатился по полу. Почерневшие губы чуть заметно зашевелились.

— Ничего больше не могу... Слишком поздно... Так и останется невыясненным, кто из них были главные мошенники: бенедиктинцы... доминиканцы... или францисканцы...

Пастор Линде отпрянул столь стремительно, что ударился спиной о чемоданчик доктора Скары, стоявший на полке.

Как? Что? Может быть, он ослышался? Или больной в бреду и говорит о чем-то, не имеющем ни малейшего касательства к делу? И такие нечестивые мысли в тот самый момент, как его прямой христианский долг все еще не выполнен, а внизу дожидается нотарпус. Неужели дьявол овладел его душой?

Охваченный ужасом, пастор опять было шагнул к постели, но от приступа кашля грудь больного так выгнулась, что вся голова ушла в подушки.

Пастор так ничего и не успел сделать. Вошел доктор Скара и сердито схватил его за руку.

— Господин пастор, я же вам сказал: оставьте его в покое!

Пастор попробовал было сопротивляться, но доктор решительно вытолкал его в коридор.

— Пожалуйста. Покамест здесь распоряжаюсь и отвечаю за все я. Когда кончу, настанет ваша очередь. Думаю, ждать вам придется не очень долго.

Навстречу Ева — с тазом воды и полотенцем через плечо. Очевидно, и она на стороне доктора. В конец отчаявшись, пастор спустился вниз.

«Ждать придется не очень долго...» И это тогда, когда времени больше не остается, когда подошла последняя минута... Иначе не предотвратить великого греха, иначе все, что казалось почти улаженным, пойдет прахом.

Пастор не мог оправиться от потрясения. А нотариус все сидел и читал свой роман, будто у него других дел не было. Разгневанный пастор промчался мимо. Терпеть он не мог этого флегматика, эту мумию. Он опустился в кресло и стиснул руки, так что суставы хрустнули.

«Кто из них были главные мошенники...» — раздавалось у него в ушах, словно голос из самого ада. Но ведь это никак, ну, никак не вяжется с тем, что он намеревался сказать в надгробном слове о последних минутах профессора. У пастора

Линде чуть ли волосы не встали дыбом, мурашки забегали по спине. Первый пункт надгробного слова испорчен! Хорошо еще, что наверху никого, кроме него, не было. Можно еще как-нибудь исправить... с божьей помощью... с горячей молитвой...

Пастор вытер со лба пот и встал. Встал и снова сел... Он места себе не находил. А что, если профессор умрет сейчас, сию минуту, и завещание останется неподписанным?.. Грех и ужас... Ужас! Мысли шли вразброд. Вызвать сюда председателя общины?.. Кого-нибудь с факультета?.. Разве полиция не обязана вмешаться в это дело?

Но вот по лестнице, тяжело отдуваясь, спустился доктор Скара, насупившийся, сердитый. Даже недокуренную сигару не взял со стола. Куда-то отправил Еву, и та уже бежала по мосткам через двор. Пастор Линде два раза подходил к отворенной двери, но слова застревали у него в горле. Только в третий раз он кое-как выдавил вопрос, с которым каждое утро автоматически обращался к госпоже профессорше:

— Ну, как себя чувствует больной?

— Теперь он на полчаса получит облегчение.

Пастор переминался с ноги на ногу.

— Он ничего не просил?

— Что?

— Ничего. Я только так... может быть... Будем надеяться, что с божьей помощью...

Доктор сердито засопел.

— Долго это продолжаться не может. Или сегодня ночью, или завтра утром — конец. Жену он терпеть не может, прислугу тоже. Никого. Так нельзя. Я послал за сестрой.

У пастора Линде отлегло от сердца. Возле больного будет дежурить сестра. Это уже лучше. Поговорить с ней... пообещать малую толику за помощь в богоугодном деле...

Когда доктор опять поднялся к больному, пастор пошел было за ним следом, но так и остался перед дверью.

Профессор Грюн лежал ничком поперек кровати. Можно было подумать, что он собирается слезть с нее или уже слез и упал. Маленький, ссохшийся — просто скелет, обтянутый темной кожей.

Пастор вздрогнул от недоброго предчувствия. Он стоял с полуоткрытым ртом и тяжело дышал.

— Ну? Что случилось?

Доктор Скара уже положил профессора на спину, послушал пульс, прижал ухо к груди, приподнял пальцами веки и

поглядел в глаза. Потом быстро обернулся и начал что-то искать.

Пастора Линде трясло как в лихорадке.

— Ну, ну?

Доктор нагнулся и поднял с пола маленький темный флакончик. Оттуда капнула последняя капля, и приторный запах распространился по всей комнате.

Побледневший доктор долго рассматривал флакончик, потом обернулся к профессору и, покачав головой, укоризненно сказал:

— Вот этого, друг мой, не следовало делать. Большие ты мне доставил неприятности...

Ни о чем больше пастор не расспрашивал. Да он уже ничего и не слышал. Как во сне, как в тумане, мелькнули перед его глазами Ева, госпожа профессорша и еще какая-то женщина в белой косынке...

Пастор, пошатываясь, спустился по лестнице, будто его только что хватили по голове обухом. Внизу все двери были настежь. Где-то надрывался телефонный звонок. Послышался голос профессорши. Правда, этот голос вдруг помолодел лет на двадцать, и все же он принадлежал самой госпоже профессорше.

Пастор остановился и прислушался, но ничего не понимал.

— ...Да, да!.. Я! Я звонила!.. Да, это я и хотела сообщить... Нет, нет! Совсем ничего. Все, как было... Но я же тебе говорю: все, как было... Что? Ах, этот! Все еще торчит — верно, надеется дождаться... Да, да! Ну, вот видишь! Да! А ты еще ушел такой сердитый. Ну, ничего, ничего, это я так... Да, я как раз об этом и хотела сказать. Но только выходи сейчас же! Мне сейчас нужна трезвая мужская голова... Что? Мадемуазель Рудзит?.. Хорошо, и она тоже поможет. Да, вот еще что. Посмотри, нет ли у тебя в магазине хорошего черного крепа... Да? Ну, и хорошо. Захвати его с собой. Что? Ах, да! Я думаю, аршина три хватит. Портниха живет тут же, вход с улицы... Да, да, да! До свидания... Да, да!..

«Нет, нет!» — стучало в ушах пастора Линде и отзывалось во всем теле. Шляпа и пальто на вешалке... Нет, нет! У него было такое чувство, будто на нем ничего не осталось. С него сняли все до нитки, кожу и ту содрали.

С непокрытой головой прошел он шагов десять по мосткам и остановился. Кто-то в роговых очках задумчиво смотрел на него из окна.

Нет, это невероятно! Это нельзя так оставить. Нет, нет. Что-то надо предпринять. Что-нибудь такое... Такое, чтобы...

Мимо ворот прошел полицейский, держа за руку мальчика, в другой руке у него была камышовая корзинка. Обратиться в полицию! Это дело полиции, как же иначе...

Мимо по направлению к Эспланаде прошли два студента с барышней. Пастор пошел вслед за ними. Факультет обязан вмешаться, ректор... деканат... Нет, нет! Это неслыханно! Ужасно!

Навстречу проехал на извозчике один из его прихожан. Поздоровался. Пастор обернулся и пошел в сторону Церковной улицы. Святая церковь в забвении,— да что в забвении, повержена в прах, в развалинах! Тротуар бежит из-под ног, словно наматываемая на катушку лента.

Навстречу идут пожарники, по четверо в ряд. Мир объят пламенем. Всюду дым и приторный смрад... Нет, нет, нет!

Пастор Линде круто повернулся и, спотыкаясь, опять побежал к Эспланаде.

1930

Он только третий год был тюремным священником. По окончании духовной академии он больше всего мечтал о сельском приходе, потому что был родом из деревни и даже за годы учения в семинарии и академии не мог привыкнуть к городу. На письменном столе у него стояла в зеленой деревянной рамочке открытка с видом родного села. На стене висел увядший венок из дубовых листьев, сплетенный в прошлом году сестрой, когда он гостил дома.

Облокотясь на стол и сжав виски ладонями, он смотрел на маленькую, наивно раскрашенную по краям фотографию. Смотрел и слегка улыбался. Сквозь эту улыбку проскальзывала сладкая грусть, которая у крестьян всегда примешивается к воспоминаниям о родных местах.

Церковка с пятью куполами-луковками стояла на пригорке за селом. На фотографии купола были такими же серыми, как и соломенные крыши в низине. Но священник знал, что их еще прошлым летом выкрасили в ярко-зеленый цвет. Он вспомнил, словно это было сегодня, как звонарь стоял внизу, запрокинув голову, и выкрикивал на все село:

— Еще вдоль края проведи! Вдоль края сильнее проведи!

После того как его посвятили в сан, он хотел получить там место викария и ждал целых полгода. Но отец его был простым кузнецом, а у другого претендента нашлись высокие покровители, так что пришлось согласиться на должность тюремного священника.

Пожаловаться он не мог. Работа легкая — по правде говоря, это был скорее отдых, чем работа. Тюремный режим отличался строгостью, оскорбить его никто не осмеливался. Да никому это и не приходило в голову — часовые у входа были совершенно лишними, и без них в камере никто бы его не тронул.

Приходил он сюда, когда хотел или когда выражал желание кто-нибудь из заключенных,— не считая обязательных богослужений по пятницам и воскресеньям и посещений смертников.

За последние восемь месяцев это случалось довольно часто. С тех пор как объявленный слабоумным король был выслан в старый охотничий замок, где он содержался под неусыпным надзором, священнику раза два в неделю приходилось бывать в тюрьме, и каждый раз у нового осужденного. По распоряжению правителя страны, генерала Войковича, режим стал втрое строже. Из камер смертников почти исчезли анархисты и коммунисты — теперь священник имел дело главным образом с военными чинами вплоть до полковников.

Это были по большей части воспитанные и религиозные люди. Они охотно соглашались приготовиться в последний путь. С ними священнику было приятнее иметь дело, чем с анархистами, которые выставляли его за дверь, нередко с кощунственными словами.

Политикой он ничуть не интересовался. Когда дворник, владелица молочной или тюремный врач приставали к нему со своими мнениями, он старался избегать разговоров. Дворник был ярым приверженцем Войковича, молочница втайне обожала короля-узника, а врач-нигилист издевался и над тем и над другим. Священник оставался безучастным ко всему этому. У него были свои особые обязанности, налагаемые его саном, и он усердно выполнял их во славу господа бога и правительства...

Он отвел глаза от фотографии и откинул голову. Мысль о собственном призвании внушала и чувство собственного достоинства. Особенно в эти страшные времена — как теперь все говорили. Но для него времена не были страшными. О нет, он знал, на чем стоит и должен стоять. «Небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут...»

В такие минуты он был уже не тридцатилетний сын кузнеца, а закаленный воин на поле битвы господней. Надежный страж у врат его царствия, которые отверзаются лишь пред покаявшимися. Полный смирения, но не малодушия. Он не имел права быть малодушным! Ибо и ему когда-нибудь придется ответствовать за дела свои...

На краю стола лежал конверт с печатью коменданта тюрьмы. Священник и обратил на него свой взор. Обычная повестка. Он знал, что в ней сказано, и не счел нужным перечитывать второй раз. Вынул из кармана большие старомодные серебряные часы, подаренные отцом, и, не открывая крышки, взвесил их

на ладони. Снова на его лице появилась меланхолическая улыбка. При посторонних он стеснялся вынимать из кармана это старье. И, однако, не отдал бы их и за полугодовое жалованье.

Половина седьмого. Его просили быть к семи. На целый час раньше, чем обычно. Должно быть, позвали к какому-нибудь особенно закоренелому преступнику. Комендант свое дело знал. Ну, с божьей помощью... Ему приходилось встречаться со всякими...

Священник не спешил. Он вспомнил, что после обеда забыл вымыть руки и теперь долго тер их жесткой щеткой и мылом. Теперь надо соблюдать все меры предосторожности больше, чем во времена переселения народов и крестовых походов. По всем улицам шатаются русские эмигрантки, префект уже второй раз приказывал оцепить восточные кварталы и произвести санитарную проверку. За один только день отправили в венерическое отделение приюта св. Димитрия сто сорок человек. Ни к перилам, ни к дверным ручкам нельзя прикасаться руками.

Было уже без десяти семь, когда священник собрался в путь. Спешить было некуда. Церемония исполнения приговора никогда не начинается ранее полуночи, а к тому времени он вполне управится. Он по опыту знал, что иногда приходится подолгу сидеть в конторе и скучать.

Он взял со стола книгу и подумал: брать ее с собой или не брать? «Reigen» [1] Шницлера. В тюрьме, конечно, никто понятия не имеет ни об этой книге, ни о ее авторе. К нему самому она тоже попала случайно, но содержание его заинтриговало. Ведь никто не посмеет полюбопытствовать, что он читает. Он положил книгу в карман и облачился в свое длинное одеяние.

Солнце уже опустилось до зубчатой линии леса на горах. Расплавленное теплое золото заливало городские улицы. Если бы не гул трамваев и автомобилей, доносившийся из центра, вероятно, можно было бы услышать и мычание коров, возвращающихся с горного пастбища, и звон их колокольчиков.

Вся окраинная улица знала, куда идет священник. Когда он, выйдя на крылечко, натягивал перчатки, женщины, сидевшие с вязаньем возле домиков, и играющие дети поворачивали головы в его сторону. Даже точильщик у мясной лавки переставал нажимать на подножку и, придерживая обеими руками широкий, похожий на сломанный меч резак, смотрел, куда пойдет священник: направо — погулять за городом или к центру.

---

[1] «Хоровод» *(нем)*.

Конечно, ему нужно было в город, в противоположный конец его, где в бывшем доминиканском монастыре устроили тюрьму. Уже третью тюрьму — так как две главные были переполнены и арестанты стали разбегаться из обнесенных колючей проволокой загородок.

Священник невольно втянул шею в поднятый воротник. Ему неприятны были эти любопытные зрители, которые знали, куда он направляется. А кое-что было еще неприятнее. Когда он проходил мимо выкрашенной в желтый цвет двери, за ней пряталась жена оперного хормейстера, сделав вид, будто не замечает его. Два мальчугана, которые только что были увлечены игрой в пуговицы, разинув рты смотрели ему вслед. Продавец мороженого торопливо перешел на другую сторону улицы. Всюду при приближении священника умолкали разговоры. Это были неприятные, ужасно неприятные люди — они знали, куда он направляется.

Он уже стал нервничать. Увидев издали двух дочерей профессора Чижа, поскорее зашел в молочную.

Продавщица как-то странно выпучила глаза и сложила руки на толстом животе. Священник с шумом бросил трость на голый столик и сел.

Он не раз заходил в неурочное время съесть стакан простокваши, и, бывало, продавщица ни на минуту не закрывала рот. Она всегда знала какие-нибудь новости о состоянии здоровья бедного короля. На этот раз она быстро, даже слишком быстро, подала требуемое и скрылась в задней комнате, не затворив за собой дверь.

Чуть ли не залпом выпив стакан, священник бросил на стол монету и вышел. Странные люди! Он-то в чем виноват? Его ведь приглашают не разбирать дела и судить — это его не касается. Он только выполняет свои обязанности.

Движение на центральных улицах немного рассеяло и развлекло его. Здесь никто не обращал на него внимания, только изредка здоровался кто-нибудь из знакомых. А когда он дошел до окраины, на узких уличках уже стемнело. Не спеша поднимался он по пологому склону горы. Едва дошел до ворот, как старинные башенные часы пробили девять.

Словно по подземному ходу, шел священник по каменному, бесконечно сводчатому коридору. Вписвшие в ряд электрические лампочки, казалось, спускались впереди все ниже и ниже. Ноги ступали по каменным плитам пола, иногда какая-нибудь расшатавшаяся плита неприятно громыхала. А всякий резкий звук казался здесь неуместным.

В тюремной конторе было, как всегда, уныло. Помощник коменданта корпел над бумагами. Стоявшая перед ним лампа горела ярко, но оливково-зеленый абажур отбрасывал на стол небольшой светлый круг, внутри которого флегматично двигались жилистые, волосатые руки помощника. Немного повыше поблескивала его лысина. Лампочка под потолком разливала по низкой просторной комнате слабый полусвет.

Священник заметил, что в соседней комнате никого нет. Ему не хотелось сидеть там одному. Он снял шляпу и опустился на скамью.

В нескольких шагах от стола в угодливой позе стоял старший надзиратель и ждал, когда начальство кончит писать. Позади него вытянулись два конвоира в касках, держа винтовки к ноге. По всей видимости, они ждали очень давно, так как все время переминались, стараясь не стучать сапогами на толстых подошвах.

Помощник коменданта кончил писать. Сердито промакнул написанное и швырнул бумагу через стол, не глядя на надзирателя, словно тот был его личным врагом:

— В этапную тюрьму!

Надзиратель посмотрел в бумагу и стал читать по складам:

— Нити... Валентино... Да-да...

Лысина у помощника порозовела.

— Что? Что?

Надзиратель вскинул руку к козырьку.

— Виноват, господин комендант... Я еще днем докладывал вам. Этот итальянец болен. Я сомневаюсь, сможет ли он идти.

Лысина у помощника стала багровой.

— Сомневаетесь? А я нисколько не сомневаюсь. Нисколько! Понятно?

— Как прикажете. Заковать?

— Заковать.

Когда они вышли, по-военному стуча каблуками, помощник мгновенно переменил позу. Он сел поудобнее, почти развалился, даже среднюю пуговицу на мундире расстегнул. Снова взял сигарету, которая все время дымилась на краю стола, и ловко пустил в потолок колечко дыма. Потом вежливо обратился к священнику:

— Хорошая сегодня погода.

— Великолепная. Такой погоды в начале августа и не помнят.

— У вас родители землевладельцы? Нет? Я, надо вам сказать, в этом году приобрел клочок земли. Через полтора

года выхожу на пенсию, а то городская жизнь надоела до чертиков.

— Мне тоже.

— Ба, вам еще ничего не может надоесть. У вас впереди еще много времени. Вот когда стукнет пятьдесят пять, тогда и говорите. Я в ваши годы мог пить всю ночь напролет, и на другой день никто не сомневался, что я проспал все восемь часов дома в постели.

— У вас было крепкое здоровье.

— Что там — здоровье! Железо, а не здоровье! Но и железо ржавеет. Сами убедитесь. А ваш рецептик все-таки не помогает.

Он поморщился и потер обеими руками ляжку.

— А как вы его пьете? С молоком или сельтерской? Моя мать каждое утро принимает его с молоком. Этим только и держится.

— С молоком! Кем вы меня считаете? Вы еще посоветуете бутылочку с резиновой соской!

Их беседу прервали. Позвякивая шпорами, вошел сам комендант и поздоровался со священником.

— Вы еще здесь? А я думал, вы в камере. Вы ведь имеете обыкновение делать свое дело основательно, а времени у нас не так много.

Помощник протянул ему портсигар.

— Пожалуйста. Попробуйте мои. Это новая марка. Ручаюсь, что даже при вашем бронхите не повредит. Во сколько сегодня?

— Ровно в двенадцать.

— На час раньше обычного.

— Да. Дело в том, что у меня теща больна. Мы ждем профессора Гольдштейна из Вены. Поезд приходит в половине второго ночи.

Тут он снова повернулся к священнику.

— Будьте так добры, приступайте. И уж, пожалуйста, так, чтобы нам не пришлось из-за вас задерживаться. Дело-то такое... И не очень возитесь с этим субчиком. Вы несправедливо поступите по отношению к дьяволу, если будете отвоевывать душу этого негодяя.

Оба они посмеялись остроумной шутке. Даже священнику пришлось улыбнуться.

Через минуту он уже поднимался на второй этаж. Младший надзиратель шел впереди, придерживая связку ключей, чтоб не звенели. Часовые у камер вытягивались во фронт, словно

это был не священник, а генерал, прибывший инспектировать тюрьму военного трибунала. Такое внимание трогало его, и он всем ласково кивал головой.

Дверь камеры была открыта, и возле нее не стоял часовой. Сейчас в этом не было надобности. Осужденный сидел на полу. Руки его были закованы, от ног к железному кольцу в стене, извиваясь, тянулась цепь. По всей видимости, он буйствовал. Окно под потолком — разбито, в камере не было ни посудины с водой, ни скамейки, ни нар.

— Не можешь ли ты встать, сын мой?

От этой фразы самому священнику стало не по себе. Этот «сын» был лет на десять старше его. Ему стало еще неприятней, когда тот послушно поднялся на ноги. Он стоял, чуть покачиваясь взад и вперед, позвякивая цепью.

Это действительно был опасный субъект. Копна рыжеватых волос на голове; спутанная борода почти закрывала лицо, и из этой чащи смотрели неестественно блестящие глаза.

Священник глядел мимо этих глаз на серую стену. И начал обычным, не то печальным, не то укоризненным голосом:

— Ты знаешь, что твой жизненный путь окончен. Еще несколько часов, и ты предстанешь пред вечным судией.

Косматая голова качнулась вперед.

— Разве король не помилует меня?

Священник повысил голос:

— Не думай больше об этом — все уже кончено. Перед тобой только один путь — последний и самый тяжкий.

И он заговорил об этом последнем пути. Вначале лишь для того, чтобы побороть чувство неловкости, охватывавшее его каждый раз возле осужденных. Он все еще не привык к своей несложной роли. Он говорил о пути на Голгофу, а мысли его то и дело отвлекались в сторону, в воображении мелькали картины, совершенно непохожие на ту, которую он должен был увидеть через несколько часов за городом на опушке леса. Он находил и психологическое объяснение этой нелепости, но обозначал ее привычными для своей профессии словами. Это слабая человеческая природа, это плоть с особенной остротой ощущала перед призраком смерти всю соблазнительную сладость жизни, потому что его собственному существованию ничто не угрожало. Уста его говорили преступнику о тяжести последнего пути, о страшной каре, ожидающей за гробом не очистившуюся от грехов душу, а у самого перед глазами вставали зеленые долины, окаймленные зубчатой грядою гор, он ощущал дуновение ветерка, аромат роз...

И каждый раз, каждый раз это повторялось почти в той же последовательности. И каждый раз в нем одерживала победу мысль о высоком призвании, сила веры и священный восторг. Голос его звучал все громче, речь лилась все привольнее, часто отклоняясь от темы; зато при этом получалась прекрасная проповедь, какие редко удавались и в церкви.

Когда священник кончил, слезы стояли у него в глазах. Так он был доволен собой. Надзиратели, все время слушавшие за дверью, отошли на цыпочках подальше в коридор.

Священник шагнул к осужденному и положил руку ему на плечо.

— А теперь исповедуйся, сын мой. Расскажи о всех своих преступлениях; покаявшийся и в последнюю минуту может получить отпущение грехов.

Осужденный по-прежнему покачивался взад и вперед. Видимо, его мучила одна и та же неотвязная мысль.

— Почему король не помиловал меня?

Это был не голос. Это был глухой, нечленораздельный хрип, и содержание сказанного можно было только угадать.

Священник рассердился. Он почти целый час попусту тратил силы, расточая свое красноречие. Голос его зазвучал резче:

— Сын мой, я сказал, что все это напрасно, что все уже кончено. Слишком велико твое преступление, его нельзя простить.

Заключенный неожиданно взмахнул руками так, что загремели цепи. Глаза его сверкнули.

— Мое преступление... А разве он не преступник? Почему его не осудили?

— Сын мой, суд знает, что делает. Его вина не доказана.

— Значит, преступление становится преступлением, только когда его можно доказать.

Священник еще больше рассердился:

— Я не затем пришел сюда, чтобы вести с тобой споры о всяких юридических тонкостях. Если он виновен, то не избегнет заслуженной кары. Там, в небесах...

— Там, в небесах... Я так долго ждать не мог. Передо мной стоял выбор: или он, или моя жена. Но как я мог свою жену?.. Он ее взял силой... Подстерег, как зверь добычу. И все-таки его оправдали! Его вины нельзя было доказать. Четыре подкупленных свидетеля показали под присягой, что он в ту ночь был дома. Как я мог оставить его в живых? Как моя несчастная жена могла ступать по той же земле, по которой ходил этот человек?

Священник оглянулся. Но здесь некому было помочь ему.

Заключенный подошел еще ближе, насколько позволяла цепь. Его безумные глаза горели, как угли.

— Я не виновен! Скажите им, что они губят невинного человека.

Безудержный гнев овладел священником. Он отступил на шаг, загораживаясь руками.

— Я им ничего не скажу и не могу сказать. Я здесь не для того, чтобы судить или оправдывать. Твою душу...

— Мою душу!.. И она вам нужна! Вам мало того, что они убьют мое тело!

Священник вздрогнул, отступил еще на шаг к двери.

— Я хочу спасти от погибели твою душу, узник! Одумайся, пока не поздно!

Заключенный так вытянул шею, будто голова его пыталась раньше срока отделиться от туловища.

— И вы заодно с ними! Вы палач! Палач!

Он выкрикнул это так громко, что надзиратели снова сбежались к дверям камеры. Священник повернулся и поспешил уйти. Ноги у него подгибались, в глазах рябило. Даже сквозь затворенные, обитые железом двери доносились безумные вопли заключенного. Священник не мог успокоиться, пока надзиратель запирал на три замка железную решетку в конце коридора. По лестнице он спускался так быстро, будто за ним гнались. В ушах у него все еще стоял дикий вой.

Хорошо, что в конторе много народа и все разговаривают — можно не смотреть никому в глаза. Он еще из-за двери услышал громовой бас тюремного врача и женский щебет. Иногда раздавались сердитые приказания помощника коменданта.

Полицейский патруль снова привел с улицы задержанных женщин. Только что отделили давно известных проституток, и перед столом остались лишь две русские эмигрантки. Одна — низенькая, лет сорока с лишним, испуганная и жалкая. Другая — в потертом шелковом платье и стоптанных туфлях еще напоминала гранд-даму. Выпятив грудь, она посматривала по сторонам подведенными глазами, словно искала среди мужчин заступника.

Но никто не заступился. Помощник коменданта сосредоточенно писал; от усердия у него даже лысина порозовела. Врач, по обыкновению, был в хорошем расположении духа,— заложив руки в карманы, посасывая сигару, он с интересом разглядывал пленниц.

Помощник коменданта повернул к нему голову.

— Значит, пьяные?

— Абсолютно. То есть этак градусов на семьдесят пять.

В разговор вмешался квартальный:

— Позвольте доложить. Нас вызвали в ресторан «Бухарест», где они устроили скандал.

Русская эмигрантка ринулась к нему.

— Абсолютно не так! А если они мне за мои деньги подают тухлые котлеты...

— Она запустила соусником в лицо кельнеру. А другая безуспешно старалась успокоить ее.

Эмигрантка плюнула в сторону подруги.

— Соня... а кто она такая! Я ее не намерена слушать. Она у нас в имении пасла гусей.

Врач подошел ближе.

— А, помещица?

— Абсолютно так. Что ты, толстяк, глазеешь? Разве помещица не имеет права выпить один стаканчик?

— Имеет, еще бы! И один и два,— пока не начнут летать тарелки.

Он шлепнул ее широкой ладонью по ляжке и заржал. Эмигрантка рассердилась.

— Не лезь, обезьяна! Я тебе не какая-нибудь ресторанная девка.

Врач не обиделся, но помощник коменданта ударил кулаком по столу.

— Молчать! Подпишитесь!

Маленькая женщина подписала дрожащей рукой и полными слез глазами вглядывалась в непонятный текст, пытаясь угадать, что там написано. Помещица демонстративно расписалась во всю страницу, положив не совсем чистый локоть на стол, возле самой руки коменданта.

Когда их увели, врач, все еще смеясь, подсел к священнику.

— Поразительные люди, эти эмигранты. Я их терпеть не могу, но пить они умеют. С того времени, как они понаехали сюда, городская управа уже дважды повышала налог с трактирщиков.

От самого врача несло коньячным перегаром, а он еще нарочно заглядывал в лицо, принуждая слушать свою болтовню. Ужасный глухой крик все еще раздавался в ушах у священника. Перед глазами все время стояла лохматая голова заключенного и его горящие глаза.

Врач разошелся и болтал без умолку. Как всегда в такие вечера, служитель принес ему стакан грога. Он пил грог, при-

чмокивая губами, и когда говорил, мелкие капельки свешивались с его усов. Он уже совсем опьянел, но, однако, в голосе его и во всех движениях чувствовалась тревога.

Когда за дверью конторы раздались шаги и лязг винтовок, он придержал стакан другой рукой, чтобы не выронить его.

— Идут... Хлебну еще, прежде чем приступить к исполнению обязанностей.

Одним глотком он осушил стакан и поставил на подоконник. Комендант, подравнивавший в это время ногти пилочкой перочинного ножа, презрительно усмехнулся.

— Опять вы нервничаете, приятель. Вам придется будущим летом серьезно полечиться на водах. Я советую вам еще зимой похлопотать о длительном отпуске.

В комнату никто не вошел. Шаги миновали дверь канцелярии. Врач откинулся на спинку скамьи, продолжая бессвязно болтать — заикаясь, часто забывая в конце предложения начало его.

Что-то необъяснимое удерживало священника возле этого пьяного болтуна. Он внимательно следил за пухлыми руками, которые нервно шарили по скамье. Наблюдал за этими заплывшими черными глазами, бегающими по комнате, будто они отыскивали что-то очень важное для них обоих. И когда врач на мгновение умолк, священник инстинктивно повернулся к дверям, за которыми все было тихо. Скоро полночь, арестованных на улице в эти часы обычно оставляют до утра либо в полицейском участке, либо в подвале префектуры.

Помощник коменданта поманил священника к столу.

— Распишитесь, пожалуйста. Вы ведь прямо оттуда отправитесь домой.

Священник расписался. Это была обыкновенная расписка в получении денег за ночную работу. Помощник коменданта всегда выполнял эту формальность заранее. В новой военной тюрьме бухгалтерия была поставлена образцово — государственный контроль после ревизии официально сообщил об этом.

— Получите, пожалуйста, деньги.

Одна стершаяся монета выскользнула из его рук и покатилась по полу. Священник бросился поднимать ее, споткнулся и не поймал. Вертясь, как волчок, звеня и подпрыгивая на каменных плитах пола, она катилась к стене. Стоя на коленях, священник протянул руки, пытаясь схватить ее. Длинная одежда сковывала движения, мешала ему. У скамейки он было схватил монету, но потерял равновесие и плашмя растянулся на полу.

Помощник коменданта тоже потянулся за монетой, пытаясь поймать ее, но безуспешно. Схватив священника за воротник, он помог ему встать на ноги.

— Не ушиблись?

Священник покачал головой и стал отряхивать запачкавшуюся о грязный пол одежду. Он покраснел и слегка смутился. Врач зажег спичку, посветил под скамейкой и вытолкнул ногой беглянку.

— Вот бессовестная! А завтра бы оказалось, что именно ее-то вам и не хватает!

Все знали, что священник очень скуп и ежемесячно пятнадцатого числа посылает деньги домой — сестре, которая училась в средней школе, и отцу на постройку нового дома и кузницы.

Врач ухватился за новую тему.

— От жалованья у вас почти ничего не остается. Сверхурочная работа — вещь хорошая. Если режим Войковича продержится еще с год, вы разделаетесь со всеми своими долгами и родителей поставите на ноги.

Комендант кончил подравнивать ногти на левой руке и переложил в нее ножик.

— А вы ожидаете перемены режима?

Это было сказано дружеским тоном, с легкой улыбкой. В лояльности врача никто не сомневался. Но атмосфера в стране была такова, что врач, несмотря на опьянение, заметно встревожился:

— Что вы! Пусть сто лет продолжается!.. Что я говорю — сто! Целую вечность!

Он заказал еще стакан грога и с недовольным видом стал бормотать что-то между глотками.

Священник тоже был недоволен — очень, очень недоволен. Ему казалось, что в этот вечер все складывалось совсем не так, как обычно. Что-то было не на своем месте... Лохматая голова заключенного все еще виднелась в дыму докторской сигары.

Второй стакан врач одолел лишь наполовину. Пора было в путь, и они двинулись.

У выхода в коридор комендант остановил их. Нужно было подождать, пока не пройдут вперед помощник с осужденным. Все узкое помещение было битком набито: тюремные сторожа и солдаты тащили что-то тяжелое, громоздкое, то сбиваясь в кучу, то растягиваясь в две цепочки, как бурлаки на берегу реки. В тот момент, когда уже раздавался скрип отворяемых

ворот, в самом конце коридора прозвучал протяжный крик, напоминающий вой задыхающегося животного. Крик тут же заглох, словно под быстро накинутым войлоком.

Священник стоял, спрятав руки в широкие рукава, и твердил про себя, что там ничего не случилось. Ничего, решительно ничего не могло произойти. Кто посмеет так неприлично кричать, когда здесь такие строгие порядки, да еще в присутствии самого коменданта? Комендант совершенно спокойно натягивал белые перчатки; душистый дым его английской сигареты наполнял узкий коридор. Нет, ничего не случилось.

Солдаты разместились в двух грузовиках. Подъехали еще две легковые машины. В первую сели оба коменданта и чиновник из военного трибунала. Священник узнал свой автомобиль и занял в нем место. Когда рядом с ним, пыхтя, уселся врач, влез еще какой-то незнакомец, который никогда не ездил с ними.

У ворот при ярком свете фонаря священник вопросительно посмотрел на врача, потом всмотрелся в незнакомца. Тот сидел, надвинув шляпу на глаза, втянув голову в поднятый воротник серого пальто. Умышленно или нет, но он повернулся так, что лицо его оставалось в тени.

Весь его вид говорил, что он занял законное место и не намерен покидать узкое переднее сиденье. Колени незнакомца неприятно упирались в ноги священнику, но ему казалось неудобным оттолкнуть их или подвинуться самому. Он чувствовал тепло чужого тела, и в этом было что-то страшно унизительное, даже оскорбительное.

Грузовики с грохотом неслись по горному шоссе, которое служило продолжением главной улицы города,— мимо редких домишек, прятавшихся за вишнями и грушевыми деревьями. Когда они выехали из старой вязовой аллеи, очертания склона смутно белели, но далеко были видны в призрачном бледном полусвете.

Над долиной стояла луна.

Белые городские дома внизу сливались в одно неясное пятно. Редкие тополи отбрасывали полоски теней, словно черные пальцы, указывающие на что-то. Тени упирались в далекие синеватые горы.

Врач не был любителем природы, не отличался сентиментальностью и все время дымил сигарой. Он сплюнул сквозь зубы, прямо мимо шляпы незнакомца, и подтолкнул священника.

— Странное дело, почему все они упираются и кричат? Ведь отлично понимают, что все равно это не поможет.

Священник вздрогнул. Именно об этом думал сейчас и он, пытаясь убедить себя в том, что этого не могло быть. Теперь у него больше не оставалось сомнений. Но ведь он видел и не такое сопротивление, слышал и не такие крики, когда осужденных волокли по узкому коридору к воротам. Почему же именно давешний крик все время раздавался у него в ушах и никак не смолкал?

Конечно, во всем виноват был врач. Язык у него ни на минуту не оставался в покое.

— Эти ребята не будут разводить с ним долгие церемонии. Гражданских прав у этого бедняги осталось не очень-то много. Да и те на каких-нибудь полчаса. Чужую собственность уважают лишь тогда, когда она стабильна. Раз-другой дадут пинка, раз-другой кольнут штыком — кто с них спросит?.. Лишь бы он был еще жив, когда ему будут накидывать на шею петлю.

Священник мерз. Он съежился и забился в самый угол сиденья.

— Да замолчите же! Зачем говорить о таких неприятных вещах.

Врач чиркнул спичкой и зажег потухшую сигару.

— Да, приятного тут мало.

И опять сплюнул прямо мимо шляпы незнакомца.

— Черт возьми, почему я не заказал третий стакан!

Нервозность доктора передалась и священнику. Он вздрагивал при виде каждой тени на дороге. Телефонные столбы бросали длинные, прямые тени до самой долины, где виднелся поросший кустарником берег реки. Тени редких вязов напоминали черные лужи, разлитые на ровном месте. А тень автомобиля, огромная и густая, бежала рядом, подпрыгивая на рытвинах и кустах, высоко подбрасывая головы едущих и снова опуская их.

Человек, сидевший на переднем сиденье, повернул голову и как бы понюхал воздух. Священник заметил только очертания худощавого лица и неестественно длинный подбородок — как у старых ведьм на средневековых рисунках.

Ехавшие впереди грузовики смолкли, только где-то сбоку тарахтел легковой автомобиль. Теперь и их машина свернула с дороги и, переваливаясь, скрипя рессорами, стала медленно подниматься в гору.

Вдруг священник вздрогнул всем телом и схватил за руку врача.

По склону протянулась странная тень. Это мог быть телеграфный столб — только на конце его вырисовывалась попере-

чина, поддерживаемая подкосом, и с нее свешивалось что-то тонкое. С первого же взгляда священник понял, что это такое. Но никогда еще он не видел так отчетливо этот столб с поперечиной, никогда он не казался ему таким страшным, как его призрачная тень. Никогда священник не бывал здесь в такую светлую лунную ночь.

Врач, еще не проснувшись как следует, по-детски закивал головой.

— Что? Что?

Но возле автомобиля уже стоял комендант и торопил:

— Прошу вас, господа! Постараемся покончить с этим делом как можно скорей. Уже половина первого, а в половине второго приходит поезд из Вены.

И когда священник вылез из машины, он дружески взял его под руку.

— Надеюсь, вы не станете разводить долгие церемонии, хоть я и не имею права давать вам подобные указания. Но вы сами понимаете — это ведь пустая формальность.

И в самом деле все очень спешили. Пока чиновник из военного трибунала читал вслух какую-то бумагу, помощник коменданта светил ему карманным фонариком. Потом кто-то подтолкнул священника вперед.

Он шел, как лунатик, сознавая только то, что идет, не помня, зачем он здесь и что должен делать. Столб с поперечиной стоял прямо перед ним. Как маятник, медленно покачивалась от легкого ветерка веревка.

Потом его заслонил человек с чудовищно лохматой головой. Священник пришел в себя и все вспомнил. Вспомнил даже слова, которые обычно говорил в подобных случаях, но язык не повиновался ему. Лохматый стоял спиной к луне, так что не видно было его страшных глаз, и все же священник не мог заговорить. В этой сгорбленной, будто вросшей в землю человеческой фигуре было что-то такое, от чего язык священника прилип к гортани. Никогда, никогда еще не видел он, как выглядят люди, которых он так часто напутствовал здесь словом божьим. Никогда еще луна не светила так ярко и тени не были такими черными. Никогда... никогда... никогда...

Он бессмысленно повторял про себя это ничего не значащее слово. Наконец, что-то, словно извне, заставило его заговорить:

— Каково твое последнее желание, сын мой?

Веревка так закачалась, будто ее с силой отбросила чья-то невидимая рука.

— Если ты хочешь помолиться со мной богу, то преклони колени, сын мой.

Заключенный был уже освобожден от цепей, но стоял так, словно ноги его были прикованы к камням.

— Может быть, ты хочешь послать прощальный привет своим близким? Я могу передать им...

Священник осекся на полуслове и вдруг хрипло вскрикнул. Сбоку, из тени грузовика вынырнул человек, который ехал вместе с ним. Теперь он был без шляпы. Голову его покрывало что-то вроде монашеского капюшона. Одет он был в какое-то мерзкое, плотно прилегающее к телу желтое одеяние,— словно змея, только что сбросившая старую кожу. Вынырнул из тени, засучивая узкие рукава,— ясно видны были его жилистые руки, до самых пальцев заросшие черными волосами.

Лохматый, как видно, не понял жеста священника. А может быть, и сам не сознавал, что делает. Только он вдруг выпрямился, схватил обеими руками, точно клещами, руку священника, потянул ее и, как перепуганный ребенок, прижался к нему. Он что-то шептал, всхлипывал, пытаясь сказать что-то, и это что-то вырывалось из него, как пар из открытого котла. Горячие капли падали священнику на руки.

А желтый все приближался, продолжая засучивать рукава. Тогда священник, будто ему самому грозила опасность, снова вскрикнул изменившимся от страха голосом. Стоявшие поодаль люди мгновенно обступили их.

Лохматого схватили и поволокли прочь. Священник стоял на том же месте, все еще болезненно ощущая пожатие железных рук. Никогда здесь не было так светло. Впервые он увидел, как их волокут, как им заламывают руки за спину и стягивают веревками. Впервые он ясно слышал, что это они выли по-звериному, пока им не зажимали ртов и не заставляли замолчать навсегда.

Врач положил священнику руку на плечо, с силой встряхнул.

— Зачем вы смотрите, если нервы не выдерживают? Идемте.

Священник отошел в тень автомобиля,— больше здесь негде было укрыться. Он больше не владел собой. Когда он еще раз обернулся, лохматый был уже высоко в воздухе, почти под самой поперечиной. Ноги у него дергались, как у петрушки, все тело корчилось, будто сквозь него пропускали гальванический ток. Потом желтый ухватился за что-то, и столб заскрипел.

Больше священник ничего не видел. Он сидел в тени автомобиля, прислонясь затылком к резиновой шине. На откосе

кое-где поблескивали песчинки. На другом берегу реки мерцал желтый огонек.

Тяжело дыша, врач отпрянул от автомобиля, к которому было привалился.

— Меня зовут. Значит, готово. Теперь и вы можете идти.

Когда священник встал, толпа уже поредела. В передний грузовик втаскивали что-то, видимо, невероятно тяжелое. Потом оба грузовика уехали. Осталось только шесть пассажиров и два шофера легковых машин.

Рядом стояли комендант тюрьмы, его помощник и человек в шляпе, ехавший вместе со священником. Тот, который вынырнул из тени, обнажая волосатые руки... Как огромная желтая летучая мышь, он вцепился в повешенного, так что затрещал столб и, может быть... еще что-то.

Теперь он опять был в сером пальто с поднятым воротником, в надвинутой на глаза шляпе и стоял спиной к луне. Но это был он — священник узнал бы его в тысячной толпе.

Помощник коменданта плашмя держал в руках портфель. Кивнул человеку в шляпе:

— Обратно в канцелярию вы не поедете. Идите распишитесь.

Комендант посветил им электрическим фонариком. Священник снова увидел заросшую волосами до самых пальцев обезьянью руку и блестящее автоматическое перо в ней. Освещенный фонарем, показался неестественно длинным выступающий вперед подбородок старой ведьмы. Показался и тут же спрятался, будто обожженный холодным светом.

— Извольте получить деньги.

Обезьянья лапа долго шарила по гладкой коже портфеля. Священник смотрел, затаив дыхание. Одна стершаяся монетка выскользнула из ладони и покатилась по земле. Серый присел и потянулся за ней... Нет! Здесь это было или еще где-то? Священник потер ослепленные лунным светом глаза.

Рядом были только комендант и его помощник — даже электрический фонарик ему померещился. Луна заливала откос спокойным желтоватым светом. Врач, тяжело дыша, направился к автомобилю.

— Садитесь! Здесь становится прохладно.

Он закутался в плед и откинулся на спинку сиденья, отставив в сторону горящую сигару. Священник не в силах был отвернуться. Машинально сел рядом с доктором, но смотрел он туда, где виднелась тень веревки, ставшая теперь заметно

короче. Она быстро скользила по буграм и ямам, словно все еще раскачиваемая невидимой рукой.

Гул двух моторов на минуту оглушил священника. Умолк вой убиваемого зверя, все время стоявший у него в ушах. Когда автомобиль свернул вниз по склону, исчезла страшная раскачивающаяся тень. Но когда проехали немного вперед, дорогу вновь пересекла тень черной руки, качнулась и снова исчезла. И еще раз качнулась и опять исчезла.

Священник съежился в углу и закрыл глаза. «Скорее! скорее!» — кричал в нем каждый нерв. Но автомобиль ехал нестерпимо медленно, и черная рука тени ощупывала его. Глаза священника были закрыты, в ушах раздавался гул мотора, машину трясло, но где-то в самой глубине сознания ярко запечатлелись образы увиденного и услышанного — живые, болезненные, остро ощутимые.

В аллее тени листвы вязов испещрили палевую от лунного света дорогу. Тени были нежные, узорчатые. Мирно бегущими волнами скользили они по ветровому стеклу машины и, словно играя, разрисовывали руки и лица едущих. Они не прогнали, не потревожили видений священника. А он стискивал зубы и так крепко сжимал веки, что заболели глаза.

Вдруг машина остановилась. Они подъехали к бывшему монастырю. Фонарь над воротами далеко разливал синеватый свет. За освещенным пространством виднелись темные линии городских улиц.

Подошел комендант.

— Вы, конечно, не зайдете к нам. Благодарю за сегодняшнюю работу.

И он пожал всем по очереди руки. Сначала врачу, тюремному священнику, потом... Священник отшатнулся. Третий ведь снова сидел на своем месте, укутавшись в серое пальто, пряча лицо под полями шляпы. Его колени прижимались к ногам священника, и от них исходило дружеское тепло.

Снова заработал мотор. Но священник не мог ехать дальше. Он распахнул дверцу и выскочил из машины.

Разбуженный врач сонно проворчал:

— Куда вы? А, хотите прогуляться по свежему воздуху! По правде говоря, в такую чудесную ночь маленький моцион не повредит. К тому же я живу в двадцати шагах отсюда.

Он тоже вылез из машины и зашагал рядом со священником. Потом взял его под руку.

— Постойте, постойте. Я не могу так быстро. Да и куда нам спешить? После ночной работы мы свободны до полудня.

Священник ничего не ответил. Он слышал только звуки его голоса. Что-то беспощадно, неумолчно и все громче шумело у него в ушах, словно разлившаяся черная река.

Врач указал пальцем:

— Взгляните на эту экзотическую панораму. У какого-нибудь художника, какого-нибудь полусумасшедшего кубиста получилась бы престранная картина.

Священник и сам видел. Луна была где-то сбоку и почти позади. На белую спускающуюся под гору улицу падали резко очерченные тени домов. Черные треугольники, ромбы, круги, а поперек тянулся от башни святого Христофора тонкий штык с крестом на конце.

Но священнику весь этот хаос пятен казался только фоном, на котором он видел нечто другое — свое. Одна тень глубоко врезалась в его мозг. Она росла и становилась все ужасней. Она была длинная и тонкая, она тянулась через весь город, и на конце ее извивался отвратительный комок. Вдруг она повернула в обратном направлении, достигла его головы и замелькала перед глазами.

Священник крепко прижался к руке врача. Тот заглянул ему в лицо.

— Что с вами, коллега? Мне показалось, что вы дрожите. Уж не простудились ли вы? Хотя я не понимаю, как это возможно в такую ночь.

Немного погодя он добавил:

— Знаете, что мне пришло в голову? Я живу здесь рядом — зайдите ко мне на минутку. Выпьем по чашке кофе, поболтаем. Когда у человека столько всего накопится, хочется облегчить душу.

Он повел коллегу по узкой лестнице на второй этаж, в свою холостяцкую комнатку. Вскоре на столе уже стояла никелевая кастрюлька с душистым кофе. Но священник не стал пить. Он сидел, тупо уставясь глазами в пол.

Доктор начал сердиться.

— К черту! Будьте вы хотя поучтивее с хозяином дома. С вами прямо уснешь. Постойте! Вы что-то бледны, и глаза у вас подозрительно блестят. Сейчас проверим.

Он пощупал священнику лоб, послушал сердце, стал считать пульс.

— Нет, жара у вас нет. Вы как будто совершенно здоровы.

Посмотрев задумчиво на гостя, он вдруг хлопнул себя по лбу.

— А, понимаю. Это у вас давешнее засело в голове. Конечно, повесить человека не так-то просто. По совести говоря, это следовало бы поручать только таким старым воякам, как я. Вы для таких дел еще слишком зелены.

Осушив три объемистые чашки, он зевнул.

— Советую вам не принимать это близко к сердцу. В каждой профессии требуется привычка, и со временем она появится. До вас мы вешали каждую ночь, и часто по пять штук сразу. Прежний священник был тоже холостяк, и мы с ним каждую ночь после этого разыгрывали партию в шахматы.

Он еще раз зевнул и встал из-за стола.

— Я ложусь спать. И вам советую сделать то же самое. Вон на той кушетке лежит одеяло и подушка. Давайте-ка на боковую. Домой пойдете утром, когда рассветет.

Через четверть часа он уже храпел на всю комнату. Лампа была завешена плотной тканью. В полутьме на полу ясно виднелось падавшее от окна светлое пятно. На нем перекрещивались темные тени рамы.

Потом они стали вытягиваться в одну длинную черту. Протянулись через всю комнату, поползли по стене и стали раскачиваться, как давеча за городом, как всю эту ночь...

Тюремный священник схватился за голову и, шатаясь, пошел к двери. Кто-то уверенно вел его вниз по темной лестнице. На улице он заметил, что кто-то шагает рядом, исчезая на миг в хаосе теней, то снова появляясь в палевом свете луны.

Конечно, это был врач. Священник тут же начал спорить с ним.

— Что означают, доктор, ваши слова: повесить человека не так-то просто? Вы же не хотели этим сказать, что и я...

Спутник ответил охотно и даже раньше, чем священник успел докончить фразу.

— О, именно это я и хотел сказать. И вы, и я, и все мы. Не станете же вы отрицать, что каждый из нас участвовал в этом. А вы еще деятельнее, чем я. Это наша служба, и за нее мы получаем жалованье.

Кто-то застонал, прислонившись к белой стене. Может, сам же тюремный священник, но это было трудно понять.

Кто-то шептал запекшимися губами:

— Я не могу после этого играть в шахматы... Не могу я!

Когда священник обернулся, врача рядом с ним уже не было. Не было и его собственной тени. Рядом шагал комендант тюрьмы. Священника разбирал неудержимый гнев.

— Какое вы имеете право оскорблять меня? Вы подряд жали руки — и мне и той гадине...

— Не мое дело судить, кто из вас гаже. Только оба вы — мои помощники. Я джентльмен и считаю своим долгом после окончания работы пожать вам обоим руки.

Нет — это был не комендант, это был его помощник. Священник накинулся на него.

— Как вам не стыдно платить мне так же, как и тому... тому... именем которого я боюсь осквернить свои уста!

— Чего вы от меня хотите? В нашей тюрьме бухгалтерия всегда была поставлена образцово — после ревизии государственный контроль даже отметил это в официальном бюллетене. Кроме того, вы получаете по пятой, а он только по двенадцатой категории. Мне кажется, вы не имеете никаких оснований жаловаться на какое-то унизительное равенство между вами. Разве вам не нужны деньги? Вы помогаете своему отцу строить дом, учите сестру. Я-то знаю, каких расходов требует собственное хозяйство.

— Не приравнивайте ко мне его и себя! Я священник. Понимаете, священник!

— Я понимаю. Но и вы не забывайте, что все мы государственные служащие. И у него, несмотря на двенадцатую категорию, служебный стаж побольше вашего. Пятнадцать лет практики. А у вас? Ну, признайтесь сами! Ручаюсь, что вы и сотни не проводили на гору висельников.

Когда священник снова перевел дыхание, он увидел того, чье присутствие все время чувствовал рядом. Сгорбившись, пряча лицо под полями шляпы, он точно так же, как священник, поднимал ноги и так же размахивал руками. И заговорил он первым.

— Не сердитесь, коллега. Я слышал, с каким гневом и презрением вы говорили обо мне.

— Не подходи, гадина! Дьявол — твой коллега, и тебе давно уготовано место в аду.

— Весьма возможно. По правде говоря, я и сам в этом не сомневаюсь. Мое место там никто не займет. Но только если я попаду туда, то и вы со мной. Вместе работали, вместе отправимся и в ад.

— Отыди, говорю тебе! У меня с тобой нет ничего общего!

— Кроме общей службы и жалованья. Одному мне пришлось бы трудно, но вдвоем мы легко справляемся с этими парнями. Видели, как я ловко орудовал? А мое дело ведь только подготовить его бренную плоть к отправке за город на свалку.

Вам приходится быть куда расторопнее. Вы же отсылаете его божественную душу по принадлежности — либо обратно к господу Саваофу, либо во владения его величества Люцифера... А еще говорите, что мы не коллеги!

Как острые осколки стекла, впивался его омерзительный, скрежещущий смех в уши священника. Зажав их ладонями и согнувшись, он бросился бежать от всех этих спутников. Другой, так же держась руками за голову и согнувшись, бежал рядом с ним в лунном свете, не отставая ни на шаг. Это было ужасно.

Но уже не один — десятки, сотни их неисчислимой толпой неслись рядом, путались под ногами, мелькали перед глазами. Нет, это были не тени вязовой аллеи. Священник видел и узнавал их лица.

Была среди них и эмигрантка из тюремной канцелярии. Бесстыдно задрав юбку, она прятала монету в чулок и укоризненно качала головой.

— Я продаю свое тело — каждому, кто готов платить за него. Но душу я никому не продаю. Она у меня надежно спрятана, она у меня чистая, она ненавидит и презирает моих жалких покупателей.

Она исчезла, а на ее месте появилась продавщица из соседней молочной. Она не остановилась, а побежала прочь от него, и откуда-то издали доносились ее испуганные крики:

— Спасите! Убийцы пришли ко мне в лавку!

Дворник повернулся спиной и сунул ключ в карман.

— Палачам я не отпираю! Я честный дворник!

Уличные мальчишки и девчонки прятались за углами и фонарными столбами и смотрели на него с ужасом и отвращением. А некоторые плевали в его сторону.

— Не ходи по нашей улице! Наша улица чистая.

Отец рвал на себе волосы, выбегая из нового дома.

— Я его сожгу! Он полон покойников и привидений.

Сестра срывала со стены дубовый венок и топтала его ногами.

— Для кого я плела этот венок! С него течет кровь.

Потом сотни призраков сбились в кучу, сцепились попарно, вскинули руки, судорожно задергали ногами. Они качались, словно подхваченные сильным ветром. Это была та самая сотня. Это были те, которых по одному привозили на гору висельников.

Потом все исчезло. Луна снова заливала своим бледным светом голую равнину и то, что осталось от человека, который когда-то был тюремным священником.

Рядом с ним медленно шагал еще кто-то. Но в нем не было ничего отталкивающего, ужасного, навязчивого. Добровольный попутчик, скорее друг, нежели враг. Лохматая голова приветливо склонилась, глаза влажные и ласковые, какие обычно бывают у крестьян.

И беседовали они, как друзья, связанные общей заботой.

— Я ждал вас, господин священник. Я знал, что вы придете.

— Мне кажется, что вы даже не сердитесь на меня.

— О, нисколько! Теперь больше не сержусь! Вы ведь не желали зла ни мне, ни остальным... Вы только были одурманены, вы были — как все люди вашей профессии. Не ведали, что творили. О моей душе заботились, а свою забыли. Теперь она проснулась и кричит. Она страдает, и поэтому я пришел помочь ей.

— Разве это возможно? Разве я могу еще жить после всего этого... после того, как она проснулась и увидела вокруг эти ужасные призраки?

— Жить? Нет, жить вы больше не можете. Это была бы не жизнь, а сумасшедший дом или ад. Зачем жить, когда жизнь все равно погублена? Есть другой путь, и вы его знаете.

— Мне кажется... я его знаю.

— Вот видите! Это так просто. И потом, это совершенно необходимо и неизбежно. Ну, вот мы и пришли. Ведь вам знаком этот столб с поперечиной? Прошел только час с тех пор, как вы отсюда уехали. Взгляните, как вяло раскачивается тень. Это потому, что она слишком легка. Этого нельзя допускать, к тому же этому легко помочь. Вы только встаньте на скамеечку, я вам помогу. Теперь я знаю, как это делают. Пожалуйста, господин священник...

Луна склонилась к западу. Зыбкая тень падала от столба с поперечиной, падала по склону горы на восток. Она снова скользила, словно раскачиваемая сильным ветром, и вместе с ней качалось тяжелое, густо-черное пятно.

1930

ПОЕЗДКА ВИЛНИТА НА ВОСТОК

Из Москвы выехали вчера под вечер. Кажется, и сейчас день был на исходе. Солнца не было видно — оно осталось где-то за последними вагонами, потому что поезд шел на восток. Но на стеклах окон с левой стороны играл розовый отблеск ясного северного неба, и деревья отбрасывали длинные темные тени на скошенные и нескошенные луга. Разноголосый гомон поутих, только где-то за горами узлов, мешков, чемоданов, корзин и ящиков вяло хныкали и капризничали утомленные дневной жарой и суматохой дети.

Вилнит Лиекнис не хныкал и не капризничал. Он взобрался на правую лавку и, вцепившись обеими руками в опущенную до половины оконную раму, высунулся наружу. Пристроившийся по ту сторону прохода на поставленном ребром фанерном ящике дедушка время от времени напоминал ему, что на ходу поезда в глаз легко может попасть вылетевшая из трубы паровоза крупинка угля. Вилнит сделал вид, что не слышит, только крепко сжал губы. Он сердился, и не без основания.

Ему уже семь лет, никакие соринки в его глаза не попадут. К тому же прошлую ночь он плохо выспался. Его уложили на узкую боковую лавку, дед дремал на своем ящике, а бабушка прикорнула в ногах у Вилнита, так что невозможно было вытянуться. Несколько раз он крепко засыпал, когда поезд останавливался на какой-нибудь станции и вагон больше не трясло. Но тут каждый раз поднимался ужасный галдеж. Снаружи кричали, ломились в вагон, и в заставленный вещами проход пролезали всё новые пассажиры с огромными узлами, корзинами и мешками с инструментом, проезжались по лицу полами своих пальто. В открытую дверь дуло... Какой-то дяденька чуть не положил свой мешок на живот Вилниту, и они с бабушкой подняли шум, чтобы заставить его убраться в другое место. Колеса

громко стучали, постланное на скамье бабушкино пальто было не особенно мягким, шея болела. А вскоре после завтрака начало припекать солнце, воздух между горами багажа накалился, было душно, вода в бутылке нагрелась и стала невкусной. А пить хотелось все время,— даже просто от злости и обиды при виде какого-нибудь малолетнего пассажира, который держал обеими руками кружку молока или нехотя отпивал лимонад из бутылки с красивой фаянсовой пробкой.

Вилнит имел все основания быть сердитым и вовсе не собирался скрывать свое настроение.

Долгое время поезд шел через лес из берез и молодых сосен и остановился на небольшой, но многолюдной станции. Чем меньше станция, тем больше народу и дольше стоит поезд. Эту истину Вилнит усвоил еще утром и теперь заранее нахмурился: нет ничего скучнее такого стояния на месте. Все, что может заинтересовать человека, уже через несколько минут исследовано и успевает надоесть. А потом ему ведь некогда, он должен ехать... ну, не все ли равно, как называется это место! Там его, конечно, ждет белая кроватка с сеткой по бокам. По утрам бабушка подсаживается к нему с книжкой и читает о пареньках села Замшелое, а одевшись, он идет в кухню — там на плите его ждет кружка горячего молока...

На перроне вертелся худой и чрезвычайно юркий человечек, а в руках у него был какой-то предмет, похожий на утюг. Уж не портной Букстынь ли это? Вилнит вспомнил его приключение на Круглом озере и чуть не рассмеялся. Нет, смеяться нельзя: он же рассердился, а сердитому смеяться не полагается.

Он обернулся. Что это там за шум? По другую сторону состава стояли два поезда. Около первого, пассажирского, суетились красноармейцы: одни выскакивали из вагонов, другие протискивались обратно с чайниками кипятку и ковригами черного хлеба под мышкой. Сколько таких поездов уже видел Вилнит! Дед сказал: они едут воевать с фашистами. Им некогда — потому они так спешат, громко разговаривают и смеются. Где-то дружно затянули песню, и Вилнит вспомнил отца. Он остался в Эстонии, чтобы воевать с гитлеровцами и выгнать их из Риги. Это было далеко и так давно... Он, дедушка и бабушка ехали да ехали и днем и ночью, все дальше на восток — по утрам прямо навстречу солнцу, а под вечер прочь от него.

За воинским эшелоном стоял товарный состав. У одного из вагонов, который виднелся в просвете, дверь была отодвинута, видны измученные, с запыленными лицами мужчины, женщины и дети. Особенно много было детей. Наверху, под

самой крышей вагона, из люка выглядывали лохматые головы с усталыми лицами, полуоткрытыми ртами и пустыми, равнодушными глазами... Такие открытые двери и люки с выглядывающими оттуда людьми Вилнит видел сегодня на всех больших и маленьких остановках. Там тоже из вагонов доносился громкий или тихий детский плач, матери так же бегали с бутылками молока и фунтиками земляники в руках... Вилниту все это уже давно надоело.

Какой-то рыжебородый попытался высунуть в окно рядом с Вилнитом голову. Но Вилнит встал на цыпочки и растопырил локти. Рыжебородый ничуть не рассердился, только хлопнул его по плечу и усмехнулся.

— Совсем клоп, а такой жадный,— проговорил он на своем языке, протиснулся в соседнем купе к окну и все-таки просунул свою голову между двумя другими.

Немного погодя Вилнита коснулась другая голова. На этот раз он не растопыривал локти, а просто сделал вид, что не замечает.

— Не хочешь ли молочка? — спросила бабушка.

Вилнит не отвечал. «Нашла о чем спрашивать! Неужели сама не знает?»

Бабушка достала из корзинки бутылку с тепловатой водой и стала протискиваться навстречу счастливцам, возвращавшимся в вагон с бутылками молока в руках. Одной особенно повезло: она несла полную двухлитровую стеклянную банку и еще издали кричала своим, чтобы доставали кружку.

Вилнит видел, как, сойдя на перрон, бабушка торопливо вылила из бутылки воду и двинулась вперед. На станции осталась лишь одна молочница с полной четвертной бутылью. Ее мигом окружили пассажиры, оставшиеся без молока.

Бабушка исчезла в толпе, несколько раз мелькнул только ее клетчатый платочек среди множества других платков и шапок.

Неужели нельзя растолкать всех и первой получить молоко? Но разве женщине справиться одной с таким делом! Нет, без мужского совета даже здесь ей не обойтись. Вилнит оглянулся.

Дедушка, видно, увлекся беседой с каким-то седобородым соседом, у которого был только один глаз. Дед говорил, что он слыхал, будто фашисты уже в Минске, а одноглазый, стукнув себя кулаком по колену, кричал, что этого не может быть и никогда не будет. Так как оба спорщика имели весьма богатые познания в области стратегии и все пассажиры в купе прислушивались,

вытянув шеи, к их спору, то о взаимных уступках не могло быть и речи.

Как щука в реке между корягами, так Вилнит прошмыгнул между чемоданами и ногами пассажиров и выскользнул из вагона. Однако пробраться к бабушке было не так-то просто. Хотя ее клетчатый платочек то и дело мелькал в толпе, но люди обступили молочницу такой плотной стеной, что не пробьешься. К собственной бабушке не пускают! Ну и не надо! Вилнит обиженно отвернулся и пошел взглянуть на мальчишку, который что-то кричал.

Маленький колхозник был до глубины души оскорблен тем, что его землянику кто-то назвал зеленой. Спелая-преспелая, а не зеленая! Прямо тает во рту, если, конечно, раскусить как следует. Зеленая у него дозревает на опушке и покраснеет только дня через три; во всяком случае, не раньше чем послезавтра. Эта же собрана на самой солнечной полянке, где днем с огнем не найдешь ни одной зеленой ягодки. А тут выискался умник и заладил: «Зеленая...» Пусть не берет, когда зеленая. Найдутся такие, для кого окажется спелой...

Вилнит языка не понимал, но тем не менее ему было совершенно ясно, о чем речь, потому что говорил не только рот незнакомца, но и руки, лицо и голова в старой отцовской шапке. Этот второй язык был всякому понятен — так, по крайней мере, решил Вилнит.

Со станции донеслись два звонких удара колокола. Вилнит в поезде не раз слыхал такой звон — не мешало бы пойти и разузнать, что это такое. Путаясь под ногами у бегущих людей, он пробирался к станции. На железном крюке висел на стене колокол. Тускло-желтый, на конце языка — шарик, а к шарику привязана длинная белая веревочка. Язык сам по себе неподвижен; должно быть, кто-то раскачивает его, дергая за веревку. А раз веревка свисает почти до земли, надо думать, что звонарь не особенно высокий. Наверно, какой-нибудь парнишка вроде Вилнита. Но такого нигде поблизости не видно.

Вилнит оглянулся в поисках звонаря и увидел, что мимо него поползли зеленые вагоны. Пассажиры толпились в дверях, стояли на подножках в ожидании, пока передние проберутся в вагон. Подобные картины Вилнит видел не раз... То ли дело колокол! Но звонаря по-прежнему не видно. А что, если дернуть за веревочку?

Но тут его руку схватила чья-то рука. Вилнит увидел незнакомого человека со значком на фуражке. Человек погрозил ему пальцем, что-то сказал, отвел немного в сторону и

отпустил. Потом вернулся к колоколу и отбил два звонких удара. Теперь тронулся воинский состав и двинулся в ту сторону, откуда приехал Вилнит.

Но его поезд был ближе к станции — куда же он девался? И Вилнит увидел, как за поворотом медленно скрылась длинная зеленая цепь вагонов. Мелькнул последний, похожий на дедушкин сундучок вагон, но вот и он исчез за поворотом.

Случилось что-то такое, что не могло, не должно было случиться. Вилнит тревожно огляделся: где же бабушка? Но не было ни бабушки, ни толпы, в которой мелькал ее клетчатый платочек. Позвякивая порожними бутылками, повернула к станции молочница. Мальчишка, торговавший земляникой, отошел в сторону, достал из кармана смятые бумажки и, разгладив их, стал складывать в пачку. На перроне появились новые пассажиры с узлами, мешками и сундуками. Вилнит понял, что дело плохо.

Бежать по полотну нельзя — это он еще дома знал. Но по краю выемки шла ровная пешеходная тропинка, и Вилнит бросился туда. Перед ним открылся широкий вид на окаймленные кустарником и большими деревьями луга, поля, на поросшие лесом холмы. Поезд — теперь он выглядел почти таким же маленьким, как игрушечный поезд Вилнита в Риге,— обогнул невысокий бугор и скрылся. Только на порозовевшем предзакатном небе осталась полоса белого дыма.

Бабушка уехала без него, и дед тоже!.. К горлу подступил тяжелый ком, а глаза наполнились чем-то горячим. Вилнит прижал к глазам ладони и стоял так долго-долго. Он понимал, что бежать за поездом нет смысла. Ничего, бабушка приедет и возьмет его с собой. «Она приедет, приедет!» — пытался он убедить себя, но чувствовал, что не очень этому верит. Вилнит совсем не знал, что ему теперь делать.

Неподалеку раздались голоса. Муж, жена и двое детей шли по тропинке к станции. Все они были тяжело нагружены вещами, но парнишка со смехом перекинул свой узел с одного плеча на другое и, весело размахивая свободной рукой, стал что-то рассказывать... Ему хорошо смеяться — у него и папа и мама... Вилнит изо всех сил прижал кулаки к глазам, чтобы унять слезы, и свернул с тропинки. Он никогда не боялся чужих, но ведь раньше всегда где-нибудь поблизости были бабушка и дед... Из только что вытертых досуха глаз снова полились слезы.

Вилнит вышел на широкую, в глубоких рытвинах дорогу. Извиваясь сквозь осиновую рощу, она шла прямо в гору, где тянулись в два ряда серые домики с тесовыми крышами. Это

была деревня. Вилнит сразу понял это. Домики смотрели на дорогу, и в каждом домике было по два или по три украшенных разноцветными резными наличниками окна. Еще повыше стоял огромный скотный двор с широкой, похожей на распростертые крылья крышей. Ну точь-в-точь наседка над сотней сидящих в два ряда цыплят. Теперь Вилнит понял, откуда берутся на станции молоко и лукошки с яйцами.

В роще паслась небольшая серая козочка на короткой привязи. На кочках и вокруг пней краснели листья земляники, там могли быть и ягоды. Вилнит опустился на пень и стал перебирать листья. Попались две-три ягодки, но совсем еще зеленоватые. Вдруг кто-то взъерошил ему сзади волосы. Мальчик схватился за затылок и почувствовал что-то мягкое, влажное и теплое. За спиной стояла козочка, смотрела на него своими серо-желтыми глазами и спокойно жевала какой-то длинный стебель. Вилнит встал и попятился. До сих пор ему приходилось иметь дело с козами только на расстоянии. Может быть, она собирается его боднуть? Но козочка ни о чем таком не думала, облизнулась, тряхнула смешной бородкой и принялась спокойно щипать траву.

Лишь сейчас Вилнит заметил и пастуха. Он сидел спиной к нему на другом пеньке и, весь уйдя в работу, что-то мастерил. Вилнит подошел поближе. Парнишка, приблизительно одного с ним возраста, был занят тем, что перочинным ножиком со сломанной рукояткой вырезал на очищенной от коры ивовой палочке какие-то зубчики и крестики. Вилнит подошел еще ближе.

Работа была не из блестящих: крестики были то длиннее, то короче, а зубцы неровные.

— Берись за другой конец,— посоветовал Вилнит.— Этот очень короткий, вот у тебя все кресты и разъезжаются. Еще палец обрежешь.

Но парнишка даже не поднял головы и не посмотрел в его сторону. Может, он на него рассердился?.. Вилнит попятился от пастуха так же, как от его козочки. Как странно: в Риге он не боялся даже бородатых дядей, в вагоне, сидя рядом с дедом, не испугался даже такого опасного человека, как одноглазый старик. В голове мелькнула мысль, что без бабушки и деда весь мир вдруг стал слишком большим и невыносимо чужим... В Весеннем саду в Риге он непременно осведомился бы у такого недотроги, не забыл ли он дома язык. Теперь он поспешил удрать. Повернулся и быстро пошел по дороге.

Когда тропинка круто повернула в гору, Вилнит остановился и оглянулся. Пастух вывел козочку из рощи и потащил в

противоположную сторону. Мальчик жил, наверно, где-то около станции.

С горы спускалась какая-то женщина. Она остановилась и с удивлением посмотрела на незнакомого мальчугана.

— Откуда ты тут взялся? — спросила она.— И куда ты идешь, мальчик?

Вилнит не понял слов, но смысл их был ему ясен. Что мог он ответить? Он и сам не знал, куда идет.

Женщина была еще довольно молодая — во всяком случае, гораздо моложе бабушки,— только очень худая, может, даже больная, с глубоко запавшими печальными глазами. Она бросила взгляд на узелок, висевший у нее на руке, потом на видневшуюся вдали станцию и кивнула ему.

— Идем со мной, не могу же я бросить ребенка посреди дороги!

И они пошли: она впереди, а Вилнит бодрым шагом за ней. На сердце стало как будто немного легче. Конечно, это не бабушка, но все же у нее было что-то общее с бабушкой. Во время недолгого пути до первого домика деревни жизненный опыт его обогатился новой истиной. В вагоне, да и дома ему часто казалось, что бабушка и дед — только помеха в его жизни и что без них было бы куда лучше и веселее. Теперь же он знал, что они имеют значение, и притом немалое.

По дороге его покровительница встретила еще двух женщин и обеим рассказала одно и то же — во всяком случае, Вилнит слышал одни и те же слова. Когда они остановились у первого домика, вокруг них сразу же собралась порядочная толпа народа, в том числе несколько ребят и седой, по-видимому слепой, дед. Окружив Вилнита, они о чем-то горячо заговорили, все время глядя на него. Вилнит застеснялся и прижался к своей покровительнице, которая казалась ему роднее, чем все остальные.

— Ребенок боится,— сказала она, взяла его за руку и подвела к теплой еще от солнца лавочке у стены.— Присядь, бедняжка, все равно тебе идти некуда.

Теперь собравшиеся только изредка поглядывали на мальчика, но зато заговорили еще горячее: кто вполголоса, покачивая головой, кто громко и размахивая руками, как бы давая понять, что все это для него так ясно и понятно, что не стоит даже об этом говорить.

Кое-что действительно было всем ясно. Мальчик отстал от поезда с эвакуированными. День и ночь шли составы на восток: два по расписанию — один утром, другой вечером — и бесчисленные эшелоны в неопределенное время. Неоспоримо было

также и то, что до сих пор он ехал с родными: ребенок был чистенький и не казался голодным.

Но больше ничего не было известно. Откуда он и на каком языке говорит? Первые эшелоны везли украинцев и молдаван, а теперь шли вперемежку — из Белоруссии, Латвии и Литвы. Вернее всего — литовец. Волосы у него светлые, да и язык... хотя, впрочем, никто из присутствующих литовской речи никогда не слыхал. По одежде тоже судить было трудно: синяя рубашка, черные шерстяные штанишки, носочки и желтые туфли — так одевали городских детей во всех советских республиках.

Но больше всего споров возникло по вопросу о том, что же с ним делать. Какой-то угрюмый хромой мужик начал ворчать, что нечего, мол, подбирать всяких бродяг, сами живем не бог весть как, хватает забот и о детях мобилизованных, а тут еще чужие... Мало в Советском Союзе детских домов?.. Но женщины живо осадили ворчуна. Особенно рьяно набросилась на него Анна Петровна — та самая тетя, что привела Вилнита в деревню. Что это за разговоры о детдомах и бедности, когда надо позаботиться о потерявшем родных ребенке? Оставить его на дороге — так, что ли? Ночью, под открытым небом?.. Так могут рассуждать только те, у кого своих детей никогда не было... У таких вообще сердца нет... Вслед за Анной Петровной на мужичонку набросились и другие матери, и он потихоньку отошел в сторону, а затем и вовсе исчез.

Вилнит отлично понимал, что спор идет о нем, но сам ничего не мог им сказать. Мальчик впервые почувствовал, как он мал и беспомощен среди множества людей в этом безгранично большом мире. А еще час назад, в вагоне, он чувствовал себя в свои семь лет таким взрослым, дулся, что остался без молока, и бабушке пришлось выйти из вагона... В груди зашевелился клубок горьких воспоминаний, сожалений, стыда, подступил к горлу, и слезы так и брызнули из глаз. Но Вилнит стиснул зубы и взял себя в руки. Слезами горю не поможешь.

Хорошо, что внимание его привлекло новое событие. Стадо коров на горе загнали на скотный двор. Оттуда спускался пастушок в лаптях, с котомкой через плечо. Он держал в руке предмет, сразу покоривший Вилнита. Это было нечто похожее на кнут: совсем коротенькая рукоятка и длинная-предлинная веревка. У кнутовища она была довольно толстая, а к концу тоненькая-тоненькая. Вот так кнут! Вилнит пошел посмотреть.

Ну и чудак этот пастух! Он нисколько не удивился, увидев чужого мальчика, и держал себя так, словно заранее знал, что

встретит его. Совершенно естественным показался ему и интерес, с которым Вилнит протянул руку к его сокровищу. Он охотно вручил его Вилниту и, ткнув указательным пальцем себе в живот, гордо заявил:

— Сам сделал!

Вилнит сразу его понял. Да разве тут нужно было понимать слова? Самоуверенная рожица со вздернутым носом и плутовски прищуренными глазами говорила сама за себя. Что же, надо было испробовать: может быть, эта штука и в самом деле на что-нибудь годится!

Но ничего не вышло. Вилнит взмахнул над головой короткой рукояткой, и тяжелая ~~мягкая~~ веревка сделала петлю и стегнула его самого по щеке, так что он глаза зажмурил. Пастух презрительно выпятил нижнюю губу — много такой понимает, зелен еще.

— Дай-ка мне!

Да, у пастуха была совсем иная хватка! Вилниту пришлось волей-неволей признать его превосходство. Пастух медленно поднял руку на высоту плеча, неуловимо быстрым движением подался в сторону, описал кнутом над головой полукруг и с такой же быстротой сделал движение назад. С змеиным шипеньем кнут описал семь больших кругов и оглушительно хлопнул. Вилнит даже схватился обеими руками за голову. «Вот это да! А ну еще! Еще раз!» — хотел было крикнуть восхищенный Вилнит, но не успел. Найдя в лице чужого мальчика столь горячего поклонника своего искусства, пастух с восторгом хлопнул еще несколько раз. Присмотревшись внимательно, можно было заметить, что при каждом хлопке поднимался даже какой-то дымок. Совсем как при настоящем выстреле!

Впрочем, восторг Вилнита угас так же быстро, как и появился. Великое мастерство соперника совсем его пришибло. К чувству беспомощности примешалось еще и сознание полного своего ничтожества. Неужели он ничего не может противопоставить этому непревзойденному искусству хлопать кнутом? Как всегда в минуту серьезных раздумий, палец сам потянулся ко рту... Но тут его осенило. А не попытаться ли! И ему есть что показать.

Он отодвинул пастуха с ровного места на лужайке, широко расставил руки, нагнулся, потом уперся головой в зеленый ковер, напряг все мышцы, выбросил ноги вверх и замер в прямой, как свечка, стойке. Потом поболтал ногами, развел их в стороны и снова соединил. Он проделал это несколько раз подряд, перевернулся в воздухе и встал на ноги.

Толпа малолетних зрителей восторгалась от души. Пастух Миша со своим кнутом уже порядком всем надоел, а литовец показал нечто совсем невиданное и достойное подражания. Трое или четверо немедленно бросились испробовать свои силы, даже сам Миша не выдержал. Кнут валялся где-то в траве, но как Миша ни старался, стойки не получалось. Сколько раз поднимал ноги, столько раз и перекувыркивался. Упершись ладонями в колени, Вилнит покатывался со смеху. Сейчас он уже не чувствовал себя таким беспомощным и глупым — как-никак он тоже мог кое-что показать. Самодовольно оглядевшись — все ли видели, какой он молодец? — Вилнит заметил лысого человека с тронутой сединой бородкой, который внимательно смотрел на него. Это был только что вернувшийся с сенокоса председатель сельсовета. Анна Петровна подтолкнула его.

— Смотри, Василий Иванович! Похоже, будто пришел с соседнего двора навестить приятелей.

— Счастливое детство! — философским тоном ответил Василий Иванович.— И языки разные, а им это ничуть не мешает.

Он вполголоса добавил еще что-то. Анна Петровна взяла Вилнита за руки и повела в дом. Пройдя пустые просторные сени, куда проникал сквозь щели отблеск заката, они попали в небольшую комнату, добрую треть которой занимала низкая кирпичная печь. Вдоль стен были лавки, а наверху, почти у потолка,— полати. Попасть туда можно было по красивой белой лесенке. Вилнита усадили на лавку поближе к столу. Вместе с ним вошла полная, белотелая женщина и теперь топталась у порога.

— Ты бы, Людмила Андреевна, осталась на дворе,— заметил Василий Иванович.— А то ведь не успеешь слова сказать, как вся деревня уж знает.

— Пусть вся деревня и знает! — отрезала Людмила Андреевна.— Не ты один будешь заботиться о маленьком литовце, а вся деревня.

Она потрогала рубашку Вилнита, погладила его по голове и вздохнула. Этот вздох говорил о том, как близка ее сердцу судьба несчастного ребенка. Вилниту понравилась эта уютная, ласковая женщина.

С другого края стола сидела маленькая девочка и что-то пила из кружки. Мальчик сразу почувствовал, что ему ужасно хочется пить. Когда девочка отодвинула кружку, Вилнит протянул руку и допил все, что осталось. Кисло-сладкий напиток ему очень понравился. Анна Петровна вышла и принесла ему полную кружку кваса. Председатель за это время, видимо, что-то надумал.

— Надо, по крайней мере, узнать, как его зовут,— сказал он.

— А как узнаешь? — заметила Анна Петровна.— Мал еще и по-русски совсем не понимает.

— Попытаемся...— И Василий Иванович, показав пальцем на пастуха, снимавшего у печки лапти, громко произнес: — Миша! — А указав на девочку: — Таня! — Потом, выгнув руку дугой и ткнув пальцем себя в грудь, дважды повторил: — Василий, Василий!

Вилнит так же выгнул руку, так же поднес палец к своей груди и энергично откликнулся:

— Вилнит!

— Ага! — Василий Иванович бросил торжествующий взгляд на женщину и продолжал дознание.— Василий Зубков,— сказал он, опять пустив в ход палец.

Ну, это было уже совсем просто. Вилнит еще более приосанился и ткнул себя пальцем в грудь:

— Вилнит Лиекнис!

Председатель несколько раз повторил имя и фамилию, выговаривая мягче, чем следовало, но в конце концов отлично усвоил, достал блокнот и записал. Обе женщины со смехом повторяли непривычное имя и были так рады, словно решили какую-то крайне сложную проблему.

— Теперь остается выяснить, откуда прибыл гражданин Вилнит Лиекнис.— Василий Иванович погладил бороду и назвал несколько городов и республик.

Вдруг Вилнит услышал произнесенное на чистейшем латышском языке слово «Латвия» и в знак подтверждения повторил его. Так же и со словом «Рига». При этом он старался подражать произношению Василия Ивановича.

Тот записал. Сравнительно легко удалось также установить, что Вилнит Лиекнис ехал с бабушкой и дедушкой, и только вопрос о братьях и сестрах так и остался невыясненным.

— Да это и не важно,— решил председатель.— Гораздо важнее узнать, куда он едет.

Но тут Вилнит ничем не мог ему помочь. Он и сам ничего не знал и только показал рукой на восток. Председатель кивнул головой.

— Правильно, их всех везут в том направлении. В Саратов, Куйбышев, Казань, Киров и дальше — в Уфу, Свердловск, Челябинск и сибирские города. Но как тут узнать, куда именно? Этот Вилнит, видно, не больно-то силен в географии.

Все трое сошлись на одном: паренек отстал от вечернего владивостокского поезда. Василий Иванович решил пойти на станцию: может быть, там удастся что-нибудь разузнать.

Анна Петровна принесла три ломтя хлеба с маслом и три кружки молока, причем самый большой ломоть достался гостю. Вскоре она ушла, и дети остались одни. Девочка ела, не обращая на Вилнита никакого внимания, а потом улеглась в углу на лавке. Зато Миша был необычайно общителен. Совершенно не считаясь с тем, понимают его или нет, он трещал без умолку, сам себя слушал и то и дело заливался веселым смехом. Поев, он потянулся, зевнул и полез на полати.

— Полезай ко мне! — сказал он, указывая на место рядом с собой.— Все равно сегодня никуда не уедешь.

Вилнит принял приглашение. Прилечь не мешало, прошлую ночь он порядком намучился. Взобравшись по лесенке к Мише, он с наслаждением растянулся рядом. Но стоило закрыть глаза, как волной нахлынули воспоминания. По вечерам бабушка помогала ему раздеться и укрыться, а иногда читала книгу «Пареньки села Замшелое». После ее ухода в комнату заглядывал дедушка и щупал лоб мальчика — не вспотел ли. Проворчав: «Спит, как медвежонок»,— дедушка уходил. А Вилнит вовсе не спал, он только притворялся, что спит, и еле сдерживался, чтобы не рассмеяться. Ему еще долго не хотелось спать, да он и не засыпал, вот только утром ничего не мог припомнить.

Сквозь плотно сжатые губы вырвался какой-то звук. Но Вилнит вовсе не собирался плакать. Нет, он не плакал, пусть Миша прислушается как следует — это только кашель. На всякий случай он еще раз кашлянул. Но Миша вообще не слушал, а говорил о своем: вероятно, продолжал все тот же рассказ. Скорее всего это была очень увлекательная история; жаль только, что Вилнит ничего не понял. Он зевнул. И скоро к голосу Миши стали примешиваться еще и другие звуки — стук колес, пение красноармейцев. Потом он увидел Весенний сад в Риге, пареньков села Замшелое... Но тут зажужжала большая муха, и все стало исчезать.

Вернувшись, Анна Петровна подошла к лавке и заботливо укрыла девочку. Вилнит этого не видел, а то, наверно, сказал бы: «Совсем как моя бабушка». Потом она заглянула на полати и села.

Немного погодя пришла Людмила Андреевна, успевшая обежать всю деревню и поделиться своими наблюдениями с другими такими же рассудительными женщинами. С глубокомысленным видом покосилась она на Анну Петровну и только было

начала важный разговор, как вернулся со станции Василий Иванович. А в его присутствии лучше было держать язык за зубами. Истинный злодей: по его мнению, женщин вообще, а Людмилу Андреевну в особенности, нельзя было допускать к решению серьезных вопросов.

Легко сказать — не допускать! А между тем он сам с чем ушел, с тем и пришел. На станции один только начальник заметил какого-то паренька, когда отправлял владивостокский поезд. Ясно, что он латыш и ехал из Риги. Постпредства прибалтийских республик в Москве каждый день эвакуируют по нескольку семей. На одной из соседних станций отстали от поезда двое ребят из Эстонии, брат и сестра. Их приютил местный учитель, и они будут жить у него, пока не найдутся родители.

Людмила Андреевна была мрачно настроена.

— «Пока не найдутся родители»... Ищи теперь иголку в сене! Не могу понять, что это за люди! За ребенком нужен глаз да глаз. Будь у меня...

— «Будь у меня»! — рассердился председатель.— То-то и оно, что у тебя нет... Вот ты и треплешь языком. Сходи на станцию, посмотри, как люди мучаются, а потом говори. Какой путь они проделали, чего только не натерпелись... А ты что? Выспалась в теплой избе, повертелась немного на лугу с граблями и попла языком трепать.

Людмила Андреевна разобиделась и стала возражать. О себе — ни слова, видно, это было больное место. Она снова напомнила о трудных временах, бедности и лишних едоках. Ребенок, может, избалованный, его и кормить-то надо особо, и уход-то за ним нужен. А случись что — райком узнает...

Тут Василий Иванович рассердился не на шутку.

При чем тут райком? Кто все делает по совести, тому бояться нечего! Разве те, что не пострадали от войны, не обязаны прийти на помощь потерпевшим людям? Разве советская страна не родина для всех них, из какой бы далекой республики они ни были? И что она все жалуется на бедность? Откуда она это взяла? В деревне все сыты, все одеты. Сена накосили в полтора раза больше, чем в прошлом году, а хлеб нынче уродился, как в самые лучшие годы. Пока родителей разыскивают, он охотно возьмет к себе паренька; ему и нужно-то не больше, чем котенку. У кого своих шестеро детей, тому седьмого бояться нечего.

Людмила Андреевна усмехнулась: сейчас только и дела властям, что искать родителей латышского мальчика. Тут надо

заботиться о миллионах людей. Какой-нибудь отставший от поезда парнишка все равно что малая пылинка.

Но тут Василий Иванович просто выпроводил ее за дверь. Анна Петровна попыталась его успокоить:

— Ну чего ты расстраиваешься? Кто же ее не знает? Она баба не злая, только поболтать любит. А как начнет, так сама не знает, чем кончит.

Председатель быстро успокоился. Ему пообещали телеграфировать на все станции, вплоть до самого Куйбышева. И на узловых станциях, и в городах имеются эвакопункты, а родители, наверно, уже заявили о пропавшем ребенке. Возможно, даже завтра поступит запрос. Начальник станции обещал, что в случае надобности он поручит Вилнита опытному проводнику, и тот сдаст его из рук в руки родителям. Советские учреждения в военное время работают все двадцать четыре часа в сутки.

Василий Иванович встал на приступок и заглянул на полати. Вилнит свернулся калачиком и сунул голову Мише под мышку, а тот обнял его одной рукой. Так они спали, не чувствуя, как мухи садятся то на нос, то на ухо.

Василий Иванович умилился.

— Спят... Мы вот часто говорим о братских республиках, и вот вам пример. Да, наглядный пример... Мы пустыми фразами не бросаемся, пусть это будет всем известно.— Как бы обдумывая сказанное, он немного помолчал, затем, словно в подтверждение, энергично кивнул головой: — Можете быть спокойны — вы своего парнишку получите. В Советском Союзе все дети — родные, никто из них не пропадет! Спокойной ночи, Анна Петровна!

Анна Петровна посидела еще немного, подперев голову рукой, потом поднялась и глубоко вздохнула. Может быть, она сомневалась в том, что все так легко обойдется. А может быть, думала о матери, которая сидит сейчас в несущемся на восток переполненном вагоне и чувствует себя такой несчастной. Матери на всем земном шаре так схожи друг с другом и так хорошо друг друга понимают...

Вилнита утром разбудила бабушка. Как всегда, ее жесткие ласковые руки обняли его, седые волосы пощекотали лоб, и теплое дыхание коснулось ресниц. Но Вилнит притворился спящим. Бабушка в таких случаях принимается его звать, словно он заблудился в лесу. Но на этот раз почему-то не позвала.

Вилнит приоткрыл глаза. Над самой головой нависла потемневшая потолочная балка. Он присел и увидел чужую комнату, три окна и большую печь... Глаза Вилнита раскрывались все шире. Что это за комната, как он сюда попал и куда делась бабушка?.. Но потом заметил валяющийся у печки кнут и пошарил возле себя рукой. Место рядом было пусто. И Вилнит вспомнил все, что с ним произошло вчера. А может быть, его разбудил сон, только очень похожий на правду, невозможно было оторваться от него. На всякий случай он внимательно оглядел комнату и тихонько позвал: «Бабушка!» Но никто не откликнулся.

Да и кому было откликнуться? Бабушка с дедом едут в поезде на восток, а его оставили одного в чужой комнате, на чужих полатях, под темной балкой... Один! Гнетущее чувство одиночества сдавило горло. Вилнит проворно слез с полатей.

Девочка на лавке крепко спала. На столе стояли две кружки с молоком и два ломтя ржаного хлеба. Вилнит взялся было за молоко, но горло у него сжималось и пить не хотелось... Тогда он схватил ломоть хлеба, сунул его в карман и выбежал через сени на улицу.

Там не было ни взрослых, ни детей, и только пестрый петух с белым хвостом искал что-то в траве и каждую минуту подзывал двух своих белых подруг. Солнце поднялось не особенно высоко над поросшей лесом горой, за которой скрылись бабушка с дедом. За рощей виднелась станция с двумя красными трубами, красные и зеленые вагоны на путях, слышалось пыхтенье невидимого паровоза, и в безветренном воздухе плыли темные клубы дыма.

Вилнит стал спускаться под гору. Скорей, скорей, только бы не опоздать! Он и так слишком долго спал! Пастуха в рощице не было, только на тропинке валялась белая палочка с зубчиками и крестиками. Вилнит нагнулся и поднял ее. Паровоз перестал пыхтеть — наверно, скоро тронется. Вилнит пустился рысью — только бы не опоздать!

На первом пути стояли красные вагоны воинского состава. Красноармейцы вышли на перрон. Повсюду мелькали защитного цвета гимнастерки и пилотки. Дальше, на втором пути, виднелись зеленые вагоны. Около них толпились и военные и штатские. Раздались три звонка. Думая только о том, как бы не опоздать, Вилнит нагнулся и пролез под какими-то толстыми, свисающими цепями на ту сторону. Ну, вот — поезд уже медленно двинулся на восток. Все подножки были облеплены

пассажирами, и многие еще бежали к вагонам с бумажными свертками и бутылками в руках. Вилнит бросился к одной подножке, затем к другой — всюду толкались взрослые и не давали вспрыгнуть, а каждый следующий вагон бежал все быстрее. Протянув вперед руки, Вилнит громко закричал. Тут какой-то военный подхватил его под мышки.

— Сумасшедшие, ребенка бросили! — сердито крикнул он, побежал за вагоном и подбросил Вилнита на верхнюю ступеньку.

— Хватайся! Держись крепче! — услышал Вилнит. Он инстинктивно уцепился левой рукой за поручень, но до другого не мог дотянуться. Его сильно качнуло в сторону, но он быстро приноровился к ритму вагона. Однако долго стоять здесь не пришлось — с нижних ступенек поднажали и втолкнули Вилнита на площадку, а потом и в вагон.

Здесь было еще теснее, чем вчера, когда он ехал с дедушкой. Все полки загромождены, узкий проход заставлен ящиками, мешками и узлами. Чтобы пробраться, надо было перелезать через ящики, протискиваться между узлами и сгибаться в три погибели. Но это только взрослым. Вилниту же не пришлось ни сгибаться, ни наклоняться. А перелезть через узел или чемодан не представляло никакой трудности. Сердце постепенно успокоилось, щеки перестали гореть, вспотевший лоб и мокрая спина высохли. Опасность миновала. Он снова был в поезде и ехал на восток к дедушке и бабушке. Ничего, походит по этому востоку и найдет, где они там спрятались со своими узлами.

Вилнит совсем расхрабрился. Он уже представлял себе, как отыщет встревоженных стариков, и обдумывал, не следует ли опять рассердиться на них: забыли его одного на станции, заставили ночевать в чужой комнате на полатях. Но додумать до конца не пришлось: беспокойные пассажиры не очень-то церемонились с ним и, проходя мимо, то отталкивали в сторону, то прижимали к груде багажа. Надо было поскорее найти, где приткнуться.

На боковой лавке, вытянувшись во весь рост и закрыв голову платком, лежала больная женщина. В ногах у нее еще оставалось немного места, но там сидела девчонка с большой плетенкой на коленях. Не будь этой плетенки, можно было бы пристроиться рядом. Отодвинув плетенку немного в сторону, Вилнит примостился на краешке лавки шириной в ладонь. Это было не очень-то удобно: ежеминутно приходилось убирать ноги то вправо, то влево. Но ведь дедушка говорил: в военное

время всем приходится туго. А сейчас как раз время военное, и Вилнит потерпит.

Суматоха мало-помалу улеглась, люди кое-как разместились, и стало довольно уютно. А когда на следующей станции девочка с плетенкой вышла и место осталось за Вилнитом, стало совсем хорошо. Больная выглянула из-под платка,— Вилниту она почему-то совсем не показалась больной,— потом повернулась на бок. Теперь Вилнит мог прислониться спиной к стене, и ноги не надо было убирать каждую минуту.

До обеда он ехал без особых приключений и неприятностей. Вот только донимала духота. Окна с обеих сторон открыты, но из них несло зноем, будто из печной отдушины. Скинув с себя все, что можно, пассажиры дремали, обливаясь потом. Всех так истомила жара и усталость, что никому не хотелось разговаривать и даже глядеть друг на друга. Ребятишки и те еле пищали и скоро умолкали, не дожидаясь материнских уговоров.

На лавке у самого окна сидела на подушке и вчетверо сложенном одеяле маленькая девочка. Мать ее куда-то вышла, а девочка играла с двумя куклами. У большой куклы в розовом платье и с двумя длинными косами льняного цвета была оторвана голова. Маленькая хозяйка тщетно пыталась водворить ее на место и уже начинала сердиться. Вилнит с первого же взгляда понял, что у девчонки нет навыков к серьезной работе, и, переступая через ноги дремлющих пассажиров, двинулся ей на помощь. Он уселся на свободное место, где, вероятно, сидела мать девочки, и протянул руку за куклой, у которой беспомощно болтались тряпичные ноги. Девочка не хотела ее отдавать и робко отодвигалась. Но Вилнит стоял на своем — он не шутки шутить пришел. Сердито вырвал у девчонки из рук и туловище и голову куклы и деловито осмотрел эти обычно неразлучные части тела. Дело обстояло довольно просто: голову нужно было навинтить на торчащий из шеи стерженек. Через три секунды все было в порядке. Счастливая мать кукольного семейства на радостях протянула мастеру и младшую дочку — с черными жесткими кудрями и в зеленом фартучке, но у той голова была на месте, да и все остальное в полном порядке. Вилнит вернул ее девочке.

— Ты сперва отломи у нее руку или ногу, а потом дай мне починить.

Но девочка его не поняла. Спрятала обе куклы в щель между подушкой и стенкой и стала ждать, что теперь предпримет этот чужой мальчишка.

Что он мог еще предпринять? Пришла мать девочки с бутылкой воды и окинула гостя долгим взглядом. Она обратила на него внимание, когда он еще сидел по другую сторону прохода. Она сама напоила девочку, потому что та еще не могла удержать в руках бутылку. Тут Вилнит почувствовал, что и ему очень хочется пить. Взял со столика бутылку и сделал несколько основательных глотков. Женщина улыбнулась, обменялась несколькими непонятными словами с соседкой и села рядом с нею, уступив свое место мальчику. Вилнит вообще не придавал большого значения женским разговорам и поэтому не особенно прислушивался к их беседе.

Девочка вынула из волос заколку и затренькала ею по стоящей на столике бутылке. Вилнит подсобил ей своей узорчатой палочкой. Через минуту они уже хорошо сыгрались: в то время как девочка делала один удар, Вилнит делал два, и ритм был такой, что лучше и желать нечего. Оставалось только соразмерить силу ударов. Это было уже потруднее. Но они довольно скоро нашли общий язык. Правда, он состоял всего из трех или четырех звуков — а, э, и, у,— но в сочетании с соответствующим движением рук, губ или лба вполне помогал понять друг друга.

Однако музыка довольно быстро надоела. Девочка сложила пальцы обеих рук в красивую завитушку. Подумаешь, какое дело! Вилнит умел переплетать пальцы так, что вместо десяти оказывалось девять, и приходилось искать, куда девался десятый. Девочка не могла зажмурить один глаз так, чтобы другой оставался открытым, а Вилнит в этом искусстве был настоящий виртуоз. Кроме того, он умел так морщить лоб, что шевелились волосы на голове. Зато девочка могла довольно прилично свистеть, перекосив рот, а Вилниту это вовсе не удавалось.

Было далеко за полдень, когда Вилнит вдруг встал и, ступая через вытянутые ноги дремлющих пассажиров, направился к выходу. Но у нужных дверей уже стояли двое мужчин с полотенцами и мылом в руках. Один из них попытался загородить коленом Вилниту дорогу, но другой пропустил его вперед, как только отворилась дверь. Это был на редкость симпатичный, загорелый до черноты военный. Все лицо его обросло темной щетиной, зато зубы были белые и он все время улыбался. Военный помог мальчику вымыть руки и лицо, утер своим полотенцем, и Вилнит прошел с гордо поднятой головой мимо того, кто загораживал ему дорогу. Что ему до таких невеж, когда всюду много добрых людей и они сразу приходят на помощь.

Проходя через вагон, Вилнит еще больше проникся уверенностью, что все будет хорошо. Мальчик уже чувствовал, что помогают ему потому, что он мал и слаб и в этой слабости кроется сила, благодаря которой ему не надо бояться незнакомых людей. В конце концов, кто мог его обидеть?

Возможно, бабушка и дед усмотрели бы в том, как он задрал голову и выпятил грудь, известные признаки бахвальства... Рядом с девочкой теперь сидела мать, и для Вилнита не осталось места. Нет — и не надо! Вилнит пошел дальше. В третьем купе ехали одни военные. Поставив на пол чемодан, четверо играли в домино, двое дремали, а один обтирал газетой коробку консервов. Одно место было свободно, и Вилнит направился туда. Когда он перелез через чемодан, игроки подняли головы, переглянулись и, пожав плечами, продолжали игру. «Играйте, пожалуйста, только не загораживайте чемоданами дорогу»,— подумал Вилнит.

Когда он сел, военный, обтиравший консервную банку, покосился на него, но тоже ничего не сказал. Вилнит заинтересовался нарисованной на коробке рыбой. И сосед, проведя пальцем по золотой надписи, прочел: «Белуга».

— Белуга,— повторил Вилнит и кивнул. Он был вполне согласен с военным. Что же еще могло там быть, если не белуга?

В проходе появился обросший щетиной военный с полотенцем и мылом. Волосы у него были мокрые, а зубы стали еще белее.

— Теперь, брат, все,— кивнул ему владелец белуги.— Твое место занял пассажир из мягкого вагона.

— Ничего,— сказал тот,— мы с ним уже знакомы: вместе приводили себя в порядок.— Убрав полотенце и мыло, он взял Вилнита под мышки, приподнял и, усевшись на свое место, посадил мальчика на колени.— Так ничего будет?

Вилнит сообразил, о чем его спрашивают, и ответил «да». Это слово он вчера слышал бесчисленное множество раз.

Сосед его как раз вскрывал перочинным ножом коробку. Тут было на что посмотреть. Острое лезвие легко резало белую жесть. Почти так же легко, как каравай белого хлеба, от которого оно откроило девять ломтей. Соблазнительные куски сочной рыбы ложились на продолговатые ломти, и Вилнит еле удержался, чтобы не протянуть руку, но он знал, что так делать не годится. Раздатчик брал ломоть хлеба, клал на него кусочек рыбы, кивал кому-нибудь из сидящих, называл его по имени и выстраивал на столике приготовленные ломти в два ряда.

Однако он рассчитал не совсем точно — на ломоть Вилнита белуги пришлось маловато. Игроки бросили домино. Кисловатый аромат томатного соуса разбудил даже дремавших, и теперь все принялись оживленно обсуждать, как выйти из положения. Самым догадливым оказался раздатчик: махнув рукой, он снял с каждого ломтя по кусочку белой рыбы и переложил на ломоть Вилнита. В конце концов Вилниту досталось даже больше, чем остальным. Рыба оказалась очень вкусной.

После еды всем налили из стеклянной банки по кружке воды. Вилниту не особенно хотелось пить, но из вежливости он опорожнил всю кружку. Но когда ему налили еще, он замотал головой и сказал: «Нет». Это слово тоже ему приходилось часто слышать.

— «Да» и «нет»,— рассмеялся его новый друг.— Этими двумя словами человек может уже объяснить, что он хочет и чего не хочет. Теперь следовало бы узнать, откуда мы, собственно, едем. Откуда ты, малыш?

Этот вопрос ему уже задавали в деревне, и ответить на него было нетрудно. Рига по-русски называлась так же, как по-латышски. Для ясности он еще добавил: «Латвия», старательно протягивая звук «а» в обоих словах.

Военный кивнул головой:

— Ясно. Рига и Латвия — это все понятно. Тебя эвакуируют оттуда, но куда?

Тут уже Вилнит ничего не понял. Новый его друг назвал ряд городов, начиная с Сызрани, кончая Красноярском. Когда он назвал Куйбышев, Вилнит вспомнил, что довольно часто слышал это название — кажется, даже от деда. Он повторил его.

— Стало быть, в Куйбышев,— решил военный.— Что же, мы находимся на верном пути. Дальневосточный поезд идет через Куйбышев. Туда вас главным образом и направляют.

Он еще сказал что-то про папу и маму. Вилнит махнул рукой по направлению движения поезда.

— Это значит, что родители едут или в этом вагоне, или в следующем. Об этом молодце нечего беспокоиться, он нигде не пропадет. Прямо удивительно, как скоро дети усваивают чужой язык! — Он подтолкнул локтем раздатчика: — Ну, взять хотя бы тебя. Виски уж начинают седеть, а попробуй задать тебе на чужом языке самый простой вопрос, ты только ушами захлопаешь.

— Ну конечно...— буркнул тот.

— Честное слово! — настаивал первый.— Сам я из Ленинградской области и в свое время немало поплавал на океанских

пароходах. Однажды даже пролежал с месяц в больнице города Бордо. Там я заучил довольно много французских слов. Что ты, к примеру, скажешь, если тебя спросят: «Кеске ву вуле?»

Тот досадливо пожал плечами.

— Похоже на куриное кудахтанье.

— Вот видишь! А ведь всего три слова: «Чего вы хотите?» Коротко и ясно, а ты не понимаешь.

— Ну чего ты привязался! Спроси лучше своего умника. Посмотрим, что он тебе ответит.

Но спрашивать не пришлось. Кондуктор пришел проверять билеты и заинтересовался, чей это мальчик,— ясно, что не военные везли ребенка. Но новый приятель Вилнита уладил и это дело:

— Он из Риги, едет в Куйбышев. Мать и отец у него в следующем вагоне.

Кондуктор справился о родителях Вилнита в соседнем купе, затем в следующем. Но потом ему пришлось вступить в сложные объяснения с каким-то пассажиром, в спор вмешались и другие, и кондуктор, видимо, совсем забыл про паренька. Вилниту же до всего этого не было никакого дела. Он ехал на восток, к бабушке и деду.

Под вечер стало прохладнее. Из окна потянуло свежестью, дышалось легче, и пассажиры расположились отдыхать. Игроки задвинули чемодан под лавку и откинулись к стенкам. Новый приятель Вилнита поклевывал носом, сидеть у него на коленях стало не очень-то удобно. Мальчик потихоньку сполз на пол, пошел на прежнее место. Там он взобрался на лавку и принялся смотреть в окно.

Поезд стоял долго. Это был не то город, не то большое село. По обе стороны поезда — множество путей, по которым, непрерывно подавая гудки, сновали взад и вперед паровозы. Дальше виднелись огромные серые бочки. Дедушка называл их цистернами и говорил, что в них хранят нефть, керосин и бензин. Но вот поезд тронулся. Сначала ехал мимо длинных и приземистых фабричных зданий. Земля до самых путей была залита асфальтом, виднелись огромные штабеля черных блестящих шпал, и вздымались целые горы каменного угля. Затем ехали по бесконечно длинному мосту над широкой желтой рекой. По ту сторону моста началась однообразная равнина с полями и лугами, и смотреть на нее было совсем неинтересно.

Вилнит опустился на лавку. Больная женщина подогнула ноги, и он прислонился к стене. Но ему все равно было неудоб-

но. Он ни о чем не думал, ни о чем не вспоминал, но как-то вдруг увидел все сразу: то, что произошло вчера и сегодня, и то, что было вокруг, и то неведомое, чуждое и угрожающее, что, казалось, надвигалось на него вместе со сгущавшимися сумерками. Ему вдруг стало так тоскливо, одиноко и грустно, что, если бы не было так стыдно, он бы заплакал.

По мере того как сгущались сумерки, обитатели вагона становились оживленнее. В разговорах пассажиров все чаще повторялось слово «Куйбышев». Вилнит понял, что они приближаются к той самой станции, где ему надо сходить. Кто увязывал вещи, кто застегивал ворот рубахи на все пуговицы, а кто, не обращая внимания на заявления проводника, что в Куйбышеве поезд будет стоять полтора часа, перетаскивал свой багаж поближе к выходу.

Вилнит думал только о том, как бы успеть сойти в Куйбышеве. Он, конечно, не имел ни малейшего понятия о том, что это за Куйбышев, но какое это имело значение? Его там ждали бабушка и дед, остальное его не интересовало. И Вилнит заблаговременно протиснулся на площадку, вклинился между мешками, как гвоздь в расщелину стены. Далось это ему нелегко, но достигать своей цели всегда нелегко.

Поезд остановился, но пассажиры не выходили. Это пока только Чапаевск. Поезд миновал завод с высокой трубой и синеватыми звездами электрических лампочек, а потом потянулись необозримые, ровные, зеленовато-рыжие поля пшеницы. Замелькали ивы — рядами, целыми купами, может быть даже рощами, а между ними в ясном лунном свете поблескивала вода. Может, это была излучина реки, а может, озерцо — ночью все казалось таким сказочным и даже страшным. Вспыхнули огоньки, промелькнули редкие дома с темными окнами, цистерны, круглые башни, соединенные мостками с перилами, вереницы вагонов, пыхтящие паровозы, горы угля, красные и зеленые огни семафоров. На стрелке тревожно застучали колеса вагона, и поезд, как бы вгрызаясь в стальные рельсы, пошел по первому пути. Резкий толчок — и площадка с пассажирами и багажом дернулась и остановилась. Куйбышев.

Вилнита, зажатого между мешком одного пассажира и животом другого, потащили вниз. Стараясь вырваться из давки, он соскользнул, вернее упал, на перрон и едва удержался на ногах.

Вилнит сразу попал в бурное море людей и вещей, откуда не видно было выхода. Одно людское течение устремлялось от вагонов к станции, другое — от станции к вагонам, а третье

пыталось пересечь их оба. На путях стояло множество переполненных и порожних составов. Вдали белело огромное здание вокзала со множеством освещенных окон. Дальше на восток поверх путей и вагонов темнел воздушный мост. По обоим концам его были железные кривые лестницы. Мост очень походил на облепленную муравьями ветку между двумя кочками. Внизу яркие пятна и полосы света чередовались с серыми тенями и черными провалами. Казавшиеся белыми-белыми лица людей то тонули во мраке, то снова возникали из него,— серые, незнакомые.

Шум, толкотня и ужас... В Москве на вокзале тоже бурлил шумный людской поток, но там было светло, бабушка крепко держала его за руку, и не надо было самому ни о чем думать и заботиться. Теперь же Вилнит чувствовал себя щепкой в бурлящем водовороте и знал только одно: надо где-нибудь остановиться, за кого-нибудь ухватиться, иначе сомнут, задавят. Выпуская с шипеньем клубы черного дыма, проходили мимо невидимые паровозы. Колеса вгрызались в стальные рельсы, лязгали буфера. Разрывая воздух, отдаваясь в ушах, завывали гудки...

Высадившиеся из вагона пассажиры вовсе не торопились расходиться, видимо не зная, куда идти. Вещи были сложены тут же, возле вагонов, около них оставались женщины и дети, а мужчины бегали, о чем-то расспрашивали, что-то выясняли, возвращались и, посоветовавшись, снова убегали. Вилнит решил остаться на месте, а то, пожалуй, совсем тут потеряешься. Он присел на мягкий тюк, но подбежал какой-то злой мальчишка и столкнул его. Тогда Вилнит пробрался к низенькому белому домику и опустился на окантованный железом ящик. Высокий старик с седыми свисающими усами посмотрел на него, но ничего не сказал. Хотя груды багажа со скорчившимися на них женщинами и закутанными в одеяла детьми и служили некоторой защитой от холодного ночного ветра, все же Вилнит сильно озяб. Подбородок у него дрожал, а засунутые в карманы штанишек руки ценепели.

Хотелось спать, но мешал беспрестанный стук колес, пыхтенье паровозов и пронзительные гудки: чуть услышав один, уши уже ждали другого. А ветер усиливался, становилось все холоднее, и со всех сторон доносились приглушенные вздохи и детский плач. Некоторые собирали вещи и со всеми узлами исчезали где-то за белым домиком. Так, пожалуй, можно и одному остаться, и Вилнит встал и пошел посмотреть, куда они деваются.

Оказалось, что домик этот — только вход на широкую лестницу в два марша, по которой можно было спуститься в просторный туннель. На ступеньках и площадке, как пни и коряги на вырубке, стояли, сидели и лежали около своих узлов эвакуированные. Сквозняка здесь не было, и туннель хранил еще дневную жару и духоту вагонов. Двое служащих то поднимались на площадку, то опускались в туннель, беспрерывно что-то объясняя и улаживая, но успевали ответить разве только одному из десяти спрашивающих.

Вилнит заметил женщину, в ногах которой так долго просидел сегодня в вагоне. Она, видно, совсем выздоровела. В рыжем плюшевом пальто, платке с бахромой и туфлях на высоких каблуках, она уселась на груде узлов и, раскинув руки, как курица крылья, охраняла свое имущество от бесцеремонных людей, которые не испытывают особого уважения к чужой собственности. Сейчас она как раз отчитывала какого-то паренька, который, догоняя мать, свалил набок ее чемодан, в то время как чемодану надлежало стоять только вниз дном. Разве такой болван думает о том, что в нем может что-нибудь разлиться или разбиться? Были здесь и другие пассажиры из их вагона. В толпе мелькнула даже маленькая девочка с куклами под мышкой. Значит, он действовал правильно: надо только держаться с тем, с кем ехал. На Вилнита никто не обращал внимания. Мало ли тут околачивалось разных ребят — и таких, как он, и постарше. Разве тут углядишь, кто с кем едет?

Вилнит присел рядом со сгорбленным, хмурым стариком, позади которого лежал один-единственный, но зато огромный мешок. Ну совсем как паук с ношей! Это была тюфячная наволочка из грубой клетчатой ткани, набитая чем-то мягким и крест-накрест перевязанная толстой веревкой. Вилнит тоже прислонился спиной к мешку. «Куйбышев...— подумал он,— но почему же не идут дедушка и бабушка?» На секунду он почувствовал себя одиноким и всеми покинутым. Но это было уж слишком страшно, даже думать об этом не следовало. Он закрыл глаза и крепко стиснул зубы.

Но вот внизу что-то крикнули, и все вскочили на ноги. Вилнит оглянулся — сверху катилась, увлекая все за собой, сплошная масса людей. Вначале он оказался в самой середине, затем на втором марше толпа прижала его к стене, немного погодя он был уже у противоположной стены, а в туннеле вовсе перестал понимать, где находится. Людской поток нес его вперед, кидал из стороны в сторону, перевертывал, заставлял пятиться, и все его попытки стать лицом по течению ни к чему не приводили.

Порой толпа отрывала его от земли, и он болтал ногами в воздухе, стараясь стать на пол. Только бы не упасть! Люди не могли бы остановиться, даже если бы захотели. Ящики трещали, корзины скрипели, что-то со звоном падало, женщины кричали, дети плакали. Вилнит толкался, цеплялся за полы идущих впереди, нагибался под сползающими с плеч мешками, перелезал через оброненные узлы — и вместе с другими двигался вперед.

Затем все снова двинулись вверх по лестнице, и здесь толпа разделилась. Через узкую дверь пассажиры попали в большое душное помещение со множеством электрических лампочек и с пальмами в зеленых кадках вдоль стен. Очевидно, это был зал ожидания. После давки на лестнице и опасного подземного путешествия здесь было светло, привольно и уютно.

Но не успели они еще разместиться, как отдали новое распоряжение, и всех их вывели во двор. После яркого света темнота показалась теперь совершенно непроницаемой. Они обогнули здание, снова очутились в помещении, миновав несколько дверей, вступили в огромный зал с высокими колоннами и белым лепным потолком. В мирное время здесь, наверно, было просторно и царил торжественный порядок, а теперь везде и всюду — на скамьях вдоль стен и посередине зала — сидели и лежали люди. Они сидели и лежали также во всех заваленных узлами, чемоданами проходах. Вновь прибывшие переступали через протянутые ноги и старались отыскать незанятое местечко.

В углу за стойкой торговали пирожками и пивом. Возле буфета была еще одна дверь, и часть людей устремилась туда. Вилнит тоже просунул голову в дверь и увидел забитую народом лестницу. Тут было так тесно, что яблоку негде упасть. Сверху закричали и замахали руками. Вилнит попятился и присел у стены. Рядом с ним на подостланном матерью платке лежал маленький мальчик в замызганной рубашонке, а у противоположной стены, положив головы на голый пол, спали две большие девочки.

Здесь было так же душно и жарко, как в вагоне. Вилнит обхватил руками колени и задремал. Слух его уже притупился и привык к непрерывному шуму толпы, только отдельные резкие звуки взлетали, как брызги в кипящем водовороте волн.

Время остановилось. Вконец измученный, Вилнит погрузился в тяжелую дремоту, и минуты полузабытья, когда начинала болеть согнутая шея, сменялись часами полного забытья.

Но сквозь сон Вилнит все же уловил все чаще и громче повторяющееся слово «Винновка», и под конец он сам начал его повторять в полусне.

Подуло холодом, по телу пробежала дрожь, и глаза открылись. В больших тусклых окнах синел рассвет. В раскрытой настежь двери толпились со своими узлами люди. В зале стало гораздо просторнее.

В первое мгновение Вилниту показалось, что ему нет до всего этого никакого дела. Как раз сейчас по-настоящему захотелось спать, и отяжелевшие веки закрывались сами собой. Больше всего на свете хотелось растянуться вдоль стены на полу и спать, спать... Но вдруг до его слуха снова донеслось слово «Винновка». Вилнит вскочил как ужаленный и, не успев очнуться от сна, бросился вслед за остальными.

Небо над головой было зеленовато-голубым, но от этого внизу казалось еще темнее. Спросонок он увидел только галдящую толпу, в которой нельзя было различить отдельных людей. Беспрерывно сигналя, отъехали шесть грузовиков, нагруженных доверху вещами и эвакуированными. Толпа у вокзала заметно поредела.

У Вилнита подкашивались ноги, и он не сразу заставил их шагать как следует. Подбежал было к последнему грузовику, но не попал на него и вместе с другими размахивал руками и что-то кричал вслед машинам. Оказалось, что многие вышли из вокзала ради простого любопытства и едущих в Винновку не так уж много. Вилнит увидел хмурого старика с клетчатым мешком, и ему стало немного легче на душе — все-таки нашел попутчика.

Не попавшие на машины двинулись через площадь мимо большого здания с белыми колоннами, пересекли трамвайные пути и по узкому, плохо вымощенному переулку вышли на широкую, обсаженную деревьями улицу с асфальтированными тротуарами. Шли долго, затем свернули с нее и стали петлять по переулкам. Тяжело нагруженные, задыхаясь и охая, опускали они на минуту свои узлы наземь, потом снова подхватывали их и устремлялись вперед, словно их где-то ждали и они боялись упустить нечто такое, чего уже нельзя будет вернуть. Вилнит с трудом поспевал за другими. Он так устал, будто тащил тяжелый груз. Ноги подгибались, а левую пятку натирал башмак, но боязнь отстать и остаться совсем одному помогала превозмочь боль, усталость и отчаяние.

Они подошли к перекрестку, откуда улица круто спускалась под гору. Мимо них по булыжной мостовой с грохотом

промчался нагруженный мешками с зерном грузовик. Казалось, он вот-вот слетит прямо в зеленовато-серую реку, дышащую сыростью и прохладой. Но вдруг, круто свернув влево, грузовик бесшумно скользнул по гладкому асфальту и исчез за углом.

При виде реки, от которой пахнуло холодом, Вилнит на миг перестал смотреть под ноги. Тротуар был метра на полтора выше мостовой, ступени огорожены по краям погнутыми и сломанными перилами. Четыре верхних ступени оказались слишком высоки для Вилнита, приходилось почти спрыгивать с одной на другую. Руки его судорожно цеплялись за перила, но вдруг он нечаянно выпустил их, нога потеряла опору, и Вилнит упал.

Он и сам не заметил, как это случилось. Выбоина на краю мостовой метнулась навстречу, мальчик уткнулся в нее лицом и почувствовал во рту кисловатый вкус пыли. Вилнит слегка ошалел от падения и испуга, но только на секунду. Лежать здесь не годилось, иначе можно было отстать от других. Вилнит вскочил на ноги. На тротуар он не мог влезть, поэтому побежал вдоль него по мостовой, запнулся о камень, немного ушиб колено, но не отстал.

Большой мешок растаял в предутреннем сумраке, но улицу переходила новая кучка людей. Они тоже говорили о Винновке, и Вилнит побежал за ними.

Они вошли в широко распахнутые ворота и очутились в обнесенном железной оградой бетонированном дворе пристани с тепличными растениями на клумбах и множеством больших деревянных зданий, навесов, палаток, заборов и калиток. Весь двор и все проходы были забиты людьми и вещами. Кто лежал, кто сидел, а вновь прибывшие протискивались вперед. Вместе с ними шел и Вилнит.

По узким деревянным мосткам, поперек которых были набиты планки, поднялись вверх, затем спустились вниз — и вот они в каком-то слегка покачивающемся помещении, похожем на огромную, забитую людьми и вещами галерею с одной застекленной стеной. Душный воздух был насыщен запахами дегтя, ворвани и еще чего-то. Кругом стоял сплошной гул людских голосов. Среди узлов, человеческих голов и ног Вилнит вдруг увидел знакомый клетчатый мешок. Его мешок — чего еще оставалось желать! Вконец измученный и весь мокрый от пота, он бросился на него и блаженно вытянулся. Здесь было еще лучше, чем дома на собственной кровати. В следующее же

мгновение Вилнит перестал чувствовать, хорошо ему или плохо. Он крепко уснул.

Один раз он почувствовал сквозь сон, что кто-то с ворчаньем улегся рядом и здорово потеснил его. Вилнит рассердился. «Вот ведь какой, спать не дает. Тоже товарищ выискался»,— подумал Вилнит и ткнул соседа локтем в бок. Тот заворчал громче, но все же немного отодвинулся. «Надо уметь постоять за себя»,— самодовольно подумал Вилнит и заснул — на этот раз надолго.

Когда он открыл глаза, время уже приближалось к полудню. Стеклянная стена с черным переплетом рам порозовела. Теперь можно было рассмотреть поднятые деревянные мостки и строения пристани. Вдали виднелись крыши городских домов. Проникший откуда-то с другой стороны солнечный луч с пляшущими в нем пылинками, постепенно расширяясь, тянулся через все помещение. Хмурый старик сидел тут же рядом. Он отхватил от каравая здоровенную краюху и стал умипать ее, сердито косясь из-под косматых бровей на Вилнита. Тот отвечал такими же взглядами. Конечно, это старик ворочался рядом всю ночь и не давал спать. Вот еще товарищ выискался!

Вилнит встал и пошел осмотреть пристань. Народу за ночь поубавилось, люди меньше толкались и наступали на ноги. Все казалось уже не таким таинственным, как ночью. Здание стояло на двух больших баржах и поэтому слегка покачивалось. Над окнами и множеством низеньких дверей тянулся узкий навес, вдоль стен висели умывальники. Стоило только ударить по железному стержню, и вода брызгала во все стороны. К реке можно было попасть только по среднему, поперечному ходу, ведущему к трапу. Только что отошел огромный пароход, такой же высокий, как пристань. Все три его этажа были забиты пассажирами и багажом. Пароход боком отвалил от пристани, отойдя немного, принялся молотить воду своими огромными колесами, потом повернулся и пошел вверх по течению. Оказалось, что за ним ждал своей очереди другой такой же пароход.

Сам не зная почему, Вилнит решил, что это не его пароходы. Оба они были похожи друг на друга, одинаково причаливали и отчаливали, и Вилниту скоро надоело на них смотреть. Он вышел из-под навеса, прошел по мосткам над плещущей водой, протиснулся сквозь толпу и пробрался во двор со множеством построек. Народу там было еще больше, чем ночью. Люди лежали, сидели среди вещей. Одни приходили, другие уходили, везде слышались разговоры, споры, детский плач... У ларька, где торговали белым и черным хлебом, выстроилась длинная

очередь. В одном киоске можно было купить желтый напиток с плавающими в нем мандариновыми дольками, в другом — папиросы, у третьего — ждали газет. Многие входили в ворота с батонами хлеба под мышкой или булками в руках. Вилниту тоже захотелось выйти за ворота, но тут он вспомнил, что ему надо ехать в Винновку. Его пароход может как раз подойти. Как ужаленный, бросился он назад, стал пробираться мимо сидящих на полу взрослых, перелезать через узлы и даже перепрыгнул через ползающего по полу младенца. Мать ребенка погрозила ему и что-то крикнула вслед. Мостки на этот раз были загорожены перилами. Сторож, весь мокрый от пота, размахивая руками и объясняя, что посадка начнется только через час, старался удержать напиравшую на мостки толпу. Вилнит попробовал пробраться к мосткам, но это вряд ли удалось бы даже взрослому великану. А вдруг это гудит пароход, направляющийся в Винновку? Его как будто кипятком обдало, сердце заколотилось, и на глаза навернулись слезы. Но тут у кого-то впереди соскользнул с плеча узел и с грохотом упал на доски. Владелец его бросился на колени собирать рассыпавшееся добро. На мгновение открылась брешь, в которой видны были только две широко расставленные ноги. Вилнит вдруг обрел такую находчивость и смелость, словно много раз уже был в подобных переплетах. В мгновение ока он перепрыгнул через стоявшего на коленях дяденьку, нагнулся пониже и юркнул между широко расставленными ногами, а заодно и под перекладину барьера.

Но радость его оказалась преждевременной. Цепкая рука больно стиснула плечо. Раздался грозный окрик:

— Ты куда? Нельзя! Сказано, что пароход подойдет через час. Назад!

Вилнит не отступал от барьера. Злость и отчаяние удваивали силы. Он кричал, что его пароход уже гудит и он должен немедленно на него попасть. Сторож не особенно вдумывался в слова Вилнита, но если бы даже стал вдумываться, все равно ничего бы не понял. Но упорство маленького человечка все же произвело на него известное впечатление. Он взглянул на мальчика внимательнее и коротко, но уже не таким резким тоном спросил:

— Куда?

Вилнит сразу понял. Сколько раз ему уже приходилось слышать этот вопрос!

— Винновка! — ответил он так же коротко и деловито.

Цепкая рука мгновенно отпустила плечо.

— Так бы и сказал, а то болтаешься с другими, у кого только через час начнется посадка.

Вилнит теперь уже не побежал. В сознании своей правоты он высоко поднял голову, выпятил грудь и гордо прошел по мосткам над плещущей водой. Как хорошо он объяснился по-русски... Возьми его теперь голыми руками!

Загудел пароход и подошел к причалу. Спустили сходни с набитыми поперек планками, и пассажиры хлынули на пристань.

Комната ожидания была почти пуста. Вилнита это испугало. А вдруг все попутчики уже ушли? Не успел он оглянуться, как в комнате появился дяденька в кителе и форменной фуражке и спросил что-то про Винновку.

Вилнит выступил вперед.

— Винновка! — объявил он, тыча себя пальцем в живот.

Человек улыбнулся и спросил еще что-то, кажется, про папу и маму. Вилнит махнул рукой, что должно было обозначать направление на восток, но дяденька, видимо, понял, что паренек указывает на толпу пассажиров, и ушел.

На пароход пустили не сразу. Наверно, чтобы дать возможность спокойно сойти приехавшим. Когда началась посадка, Вилнит снова заметил, что опять не все ладно. На сходнях стоял контролер, он проверял и отбирал билеты. Спине опять стало горячо. К счастью, впереди вдруг вынырнул большой клетчатый мешок сердитого старика. Вилнит пригнулся и спрятался под ним. Пока контролер занимался со следующим пассажиром, мешок уже был на палубе, а с ним и безбилетный.

Однако здесь его ждало большое разочарование. Их пароход был совсем непохож на давешних трехэтажных красавцев. Он, скорее, был под стать маленьким пароходишкам, которые плавали между Ригой и Милгрависом. За полчаса его так нагрузили вещами и пассажирами, что яблоку негде было упасть. На носу и на корме стояли скамейки для сиденья, но Вилнит туда не пошел: дул сильный ветер, и в тонкой рубашонке было холодновато. Часть пассажиров хлынула по лестнице в нижнее помещение, но это были шумливые юноши, разговаривавшие на каком-то совсем незнакомом языке, так что Вилнит даже струхнул. Скоро он нашел хорошее, защищенное от ветра местечко за грудой вещей у самого борта и удобно примостился на чемодане. Здесь ему никто не будет мешать.

Пароход боком отвалил от пристани, описал круг и двинулся вверх по течению. Куйбышев со своими белыми домами, трубами и цистернами остался на высоком берегу. Теперь потяну-

лись низкие песчаные берега с разбросанными кое-где домишками и купами ив и тополей. Вилнит еще на пристани заметил, что река очень широка, а вода в ней кофейно-желтого цвета. Имя ее — Волга, он уже не раз слыхал в комнате ожидания. Просто удивительно, как много слов на русском языке звучало совершенно так же, как по-латышски. Вилниту казалось, что он все бы понял, на каком бы из двух языков с ним ни заговорили.

Захотелось есть. Он вспомнил, что вчера утром в деревне сунул в карман ломоть хлеба. Хлеб был на месте, правда, сильно помятый и раскрошившийся, но очень вкусный. Он жадно ел и при этом разглядывал все вокруг.

На Волге было много интересного. Но, к сожалению, все это много раз повторялось и скоро приелось. Трехэтажные пароходы он видел еще на пристани. При встрече с таким гигантом маленькое суденышко долго раскачивалось и даже накренилось набок. Гора вещей все больше надвигалась на Вилнита. Буксиры тащили и по одной и по две груженые баржи, и Вилнит удивлялся, как суденышко могло справиться с такими великанами, да и плыли они к тому же против течения. Виднелись и небольшие пристани, где эти баржи нагружались, но нельзя было рассмотреть, чем именно. Ветер переменил направление и дул прямо с берега. Стало совсем холодно, и пропала всякая охота смотреть на реку.

Трехэтажный гигант прошел мимо так близко, что команды обоих пароходов перекинулись несколькими словами, даже не повышая голоса. Но потом поднялась такая волна, что пароходик, на котором ехал Вилнит, совсем накренился. Узлы и корзины прижали мальчика к борту, и он едва мог пошевельнуться. Упершись в него ногами, он сделал попытку отодвинуть груз спиной, но тут же понял, что это ему не под силу. Раз уж груз сдвинулся с места, он будет скользить дальше и все плотнее прижимать его к тонким железным перекладинам, из которых одна находилась на уровне колен, а другая на высоте плеч. Между перекладинами зиял опасный прогал. Вилнит посмотрел вниз: в трех футах от него клокотала желтая вода. Здесь, наверно, была страшная глубина. Он бросил взгляд сначала налево, потом направо — там груда вещей уже придвинулась вплотную к борту. Надо было выбраться, а как? Может быть, закричать? Кто-нибудь услышит и вызволит, но кричать было очень стыдно.

Тем не менее голову он не потерял — она работала быстро, глаза — тоже. За перилами борта было еще с полфута палубы.

Вилнит просунул в прогал сначала голову и осмотрелся, а затем, крепко вцепившись обеими руками в верхнюю перекладину, перекинул сперва одну, а затем и другую ногу. Край палубы был довольно скользкий, но, если крепко вцепиться в перила и осторожно переставлять ноги, удержаться можно. Несколько мешала свободно действовать левой рукой узорчатая палка, но бросить ее он не мог. До конца осталось уже немного, шагов через пять гора вещей кончалась. Прислонившись к борту, там стояли люди.

Вдруг испуганно вскрикнула стоявшая у борта женщина. Ее что-то толкнуло в спину, а у самых ног скользнула какая-то фигурка. Стремительно обернувшись, женщина ахнула, увидев перед собою паренька в синей рубашонке и с непокрытой головой. В руках у него была белая палочка. Она стала ему что-то сердито выговаривать, но мальчик указал палкой на готовую упасть в реку корзину, и женщина бросилась спасать ее.

А Вилнит тем временем нырнул в гущу палубных пассажиров и предусмотрительно перебрался на другую сторону. «Это у меня неплохо получилось,— подумал он.— Если у человека голова на плечах, ему нечего бояться. Хорошо, что я сказал женщине, а то бы ее корзина плыла теперь по реке. Вряд ли остановили бы из-за нее пароход и стали вылавливать».

Как странно: посреди реки стоит пристань — на баржах несколько построек с окнами и высокой жестяной трубой. Пароходишко прилип к ней, как мокрый лист к коряге, опустил в люк толстый гофрированный шланг, по которому с шумом полилась нефть. На пристани орудовали четыре женщины в темных засаленных спецовках, но все они были ловкие и сильные, как мужчины. Вилниту эта работа очень понравилась, и он дал себе слово, что, когда немного подрастет, непременно поступит на такую же пристань и будет перекачивать нефть в пароходы.

Ехали еще долго-долго. Вдоль ближнего берега тянулись покрытые лесом горы, кое-где их пересекали глубокие овраги. Солнце уже коснулось вершин кудрявых деревьев, когда пассажиры опять заговорили о Винновке, и снова все узлы и корзины пришли в движение. Пароход медленно повернул к пристани, которая после куйбышевской казалась совсем маленькой. Вилнит сошел на берег одним из первых.

Возле мостков высились три огромных, покрытых брезентами штабеля мешков с зерном. У четвертого только что остановились передние подводы обоза. «Хлеб везут»,— подумал Вилнит. Пахло совершенно так же, как в латышском деревенском амбаре. Еле обозначенная в твердом плитняке дорога,

обогнув овраг, поднималась в гору. С горы спускались другие подводы. «Много хлеба»,— решил Вилнит и почувствовал, что очень голоден.

Но долго раздумывать было некогда: налетели большие желтые комары и набросились на людей, как бешеные. Часть пассажиров — женщины и дети — побежали к кустам на склоне горы, чтобы наломать веток, а то совсем нечем было от них обороняться. Вилнит тоже взобрался на пригорок. Там рос невиданный в Латвии кустарниковый дуб с толстыми блестящими листьями. Попадались и большие дубы, только не очень высокие, но зато корявые. А в воздухе плыл знакомый грустно-сладостный запах: верно, где-то рядом росли и липы. В Виестурском парке в Риге они как раз начинали цвести... А может быть, так сладко пахли незнакомые красные мохнатые цветы над выветрившимся плитняковым обрывом? Откуда ему знать, все кругом незнакомое.

Когда он, обмахиваясь веткой, спустился с горы, верхом на коне прискакал какой-то бородач, въехал в самую гущу толпы. Тщетно старался понять Вилнит, о чем он говорит: его познания в русском языке были еще слишком слабы. Он запомнил только одно часто повторявшееся слово: «Осиновка». Видимо, это было название нового места, куда им предстоит направиться. Все дальше и дальше... По телу пробежала легкая дрожь, хотя ветра не было и река казалась неподвижной.

Вилнит присел на бревнышко и подпер голову руками. Он так устал, словно всю дорогу прошел пешком. Тут было не меньше сотни человек, все они перебирали свои узлы и складывали вещи в одно место. Несколько женщин забрели в воду и умывали грязных ребятишек. Вилнит взглянул на свои руки — они тоже были грязные и липкие, но было прохладно, и потом он ни разу еще не умывался без бабушкиных напоминаний. У этих детей были мамы и бабушки, они тащили их в воду и заставляли мыться... Бабушка... Из оврага вышли мужчина и женщина. Вилнит видел, что это чужие, но ему так хотелось, чтобы это были его бабушка и дед... Но они свернули в сторону, к подножью горы, где работала веялка и останавливались подводы. Нет, сидеть одному было слишком тяжело. Вилнит встал и пошел к толпе.

Солнце почти скрылось за горизонтом, когда прибыла вереница порожних подвод. В одну минуту их нагрузили вещами, поверх которых уселись люди. Бородатый разъезжал взад и вперед и старался навести в этой суматохе какой-то порядок. Вилнит подбежал к одной подводе, затем к другой, но взобрать-

ся на них не мог. Около третьей тоже ничего не вышло. Передние уже тронулись. Вилнита охватил ужас. Вдруг придется остаться здесь одному? Но тут, откуда ни возьмись, появилась девушка с двумя длинными черными косами, в красивой цветастой кофточке с широкими рукавами. Она подхватила его под мышки и легко посадила на воз. Там уже сидели мужчина, женщина и трое ребят, но на заднем мешке вполне можно было устроиться. Большой мальчишка обернулся, подвинулся ближе, так что Вилниту осталось местечко в ладонь шириной. Он изо всех сил уперся ногами в веревку, которой были увязаны вещи. До оврага дорога была довольно ровная, но дальше пошли выбоины и ухабы, подвода тряслась, а мальчишка-возница, не оглядываясь, гнал и гнал коня. Вилниту показалось, что его вот-вот подбросит в воздух и он грохнется на дорогу. Он вцепился обеими руками в мешок, чтобы удержаться на месте.

На горе еще светило солнце, ветер улегся, было жарко и пыльно. Сидя спиной к лошади, Вилнит мог видеть только те места, которые они уже проехали. Справа по склону горы — ржаное поле, слева — ровное, как стол, огромное рыжевато-зеленое поле пшеницы с тяжелыми колосьями. Оно тянулось далеко-далеко, до самого оврага, о котором можно было судить по кудрявым верхушкам обрамляющих поле деревьев. По ту сторону оврага возвышалась крутая, поросшая лесом гора, изрезанная ярко-белыми полосами, похожими на выбеленные солнцем кости. На юго-востоке гора эта примыкала к утопавшей в синей дымке необозримой возвышенности.

Так они ехали километра четыре. Но вот наконец дорога стала ровнее, и с обеих сторон потянулись ряды домиков. Из разговоров своих соседей Вилнит понял, что это и есть Осиновка. Они миновали все село и остановились на большой, поросшей травой поляне. Там уже собрались все, кто приехал раньше. Больше всего было детей разного возраста, и они подняли ужасный шум.

Вилнит уже привык ко всякой толпе, к любому шуму. Он бродил, как неприкаянный, не зная, куда приткнуться. Люди говорили между собой на непонятном языке, у всех были свои заботы, и никто не обратил внимания на затерявшегося в толпе, как песчинка в реке, мальчика.

Надвигались сумерки. Но тут снова прискакал тот же верховой — видно, он был здесь хозяином и распорядителем. За ним шли шесть женщин, на плечах у них были коромысла с жестяными ведрами, а в ведрах молоко. Хозяин с первого же взгляда понравился Вилниту — он чем-то напомнил председа-

теля в пристанционной деревне. Только этот был помоложе и повеселее. И деревенские и эвакуированные слушались его беспрекословно. Сначала отделили ребят от взрослых. Детям стали давать молоко и хлеб. Вилнит пошел вместе с другими, но мальчишки постарше оттеснили его, а потом и вовсе прогнали. Это было так несправедливо и горько, что Вилнит никак не мог удержаться от слез. Малышей поили матери, а большие управлялись сами. Некоторым приходили на помощь отцы, только Вилнит стоял один в стороне.

Но хозяин деревни это заметил. Он подошел к нему, погладил его по голове и что-то сказал, потом отошел и тут же вернулся с большой кружкой без ручки и ломтем душистого ржаного хлеба. Такого сладкого молока Вилнит никогда еще не пил. В два приема осушил он кружку и, возвращая ее, от всего сердца сказал спасибо. Вероятно, в глазах его было что-то такое, от чего хозяину стало грустно. Он покачал головой и обвел задумчивым взглядом переполненную народом поляну.

— Бедные дети, разбрелись все в разные стороны...— сказал он тихо.

Но вдруг лицо его исказилось, он обернулся и погрозил кулаком на запад — совсем как дедушка Вилнита, когда они садились на станции Югла, под Ригой, в товарный вагон. Теперь Вилнит знал, почему им пришлось бежать из дому, почему он очутился один в далеких огромных горах. Ему тоже захотелось погрозить кулаком. Но руки были заняты огромным ломтем ржаного хлеба, и он не смог этого сделать.

Такого вкусного хлеба он тоже еще не едал. Расхаживая по поляне и наблюдая, как люди устраивались на ночь, Вилнит съел все до крошки. Почти в каждой группе говорили о Сосново — по-видимому, это было место, куда их завтра отвезут. Западная половина неба была еще совсем светлой, но над Волгой взошла луна и заливала мягким светом поляну и устраивающихся на ночь людей. Вилниту снова стало бесконечно тяжело и грустно.

Он добрел до края пшеничного поля. Там располагались на ночь все одиночки. И вдруг Вилниту показалось, будто луна засияла ярче и даже начала греть: он увидел девушку с длинными черными косами и в красивой цветастой кофте. Она разостлала на траве пальто и пристраивала в головах небольшой узелок. Ведь это старая его знакомая, и к тому же такая добрая!.. Вилнит потихоньку подошел и присел на уголок пальто. Обернувшись, девушка сначала даже испугалась, но, присмотревшись внимательнее, тихо рассмеялась.

— Это опять ты, малыш? А где же твои папа и мама?

Вилнит вяло махнул рукой. Девушка истолковала его жест по-своему:

— Уехали прямо с пристани в Сосново? Ну и родители! Даже не заметили, что мальчуган остался. Ну, ничего, завтра все будем в Сосново. Ложись сюда, ко мне спиной — так будет теплее.— И она растрепала узелок, чтобы хватило места для обоих.

Вилнит тут же лег, но поворачиваться к ней спиной не стал. Он только старался дышать носом, чтобы дыхание его не коснулось шеи девушки. А то еще узнает, что он ее не послушался. Под щекой Вилнита оказалась одна из ее кос. Она была не очень-то мягкой, пахла потом и пылью, но и так было хорошо — хорошо и тепло.

Вилниту показалось, что не успел он еще заснуть, как его разбудили. Но, протерев глаза, он увидел, что солнце уже высоко. На поляне было так же людно и шумно, как вчера. Лошади фыркали, колеса скрипели, громыхал какой-то грузовик, и слышался звучный приятный голос хозяина деревни.

— Постарайся сесть на какую-нибудь подводу, иначе ты никогда не попадешь в свое Сосново! — подбодрила Вилнита девушка.

Но увидев, что мальчик все еще не пришел в себя со сна и совершенно беспомощен, быстро сложила пальто, собрала свой узелок и взяла его за руку. Подводы отъезжали одна за другой. Девушка подошла к грузовику, набитому доверху вещами. На вещах плечо к плечу сидели люди. Ни у кого не спрашиваясь, она подхватила Вилнита под мышки и подняла так высоко, что он смог ухватиться руками за борт и влезть. В грузовике все закричали и замахали руками. Кто-то даже хотел толкнуть Вилнита. Но какой-то дяденька раздвинул колени, и он юркнул между ними, уселся на чью-то плетеную корзину и уперся ногами в борт. Пахло смазными сапогами, жесткий рукав соседа все время ерзал по его голове, но Вилнит привык и не к таким неудобствам. Он откинулся назад, чтобы не гнуть шею. Разве он не имеет такое же право ехать в Сосново, как и все остальные? Должен же он, наконец, разыскать дедушку и бабушку...

Машина зафыркала, затряслась, дала продолжительный сигнал, тронулась и, все время сигналя, выбралась из толпы. Вилнит так и не успел рассмотреть, куда девалась его покровительница.

Обогнув целую вереницу подвод, грузовик свернул на твердую, но ухабистую дорогу. Слева тянулось все то же рыжеватое поле пшеницы. Не было только видно деревьев в овраге. Справа над невысоким оползающим обрывом клонились тяжелые, уже побелевшие колосья ржи, а подножие обрыва густо поросло репейником и крупными голубыми цветами. Солнце заметно припекало, роса высохла, и над нивой стлалась легкая голубоватая дымка. Зеленовато-коричневая гора с кудрявыми деревьями и белыми полосами стала приближаться навстречу.

Машина спускалась по склону. Шофер все время сигналил, но напрасно: объехать растянувшиеся впереди подводы не было никакой возможности, а им — некуда свернуть. Время от времени приходилось останавливаться и ждать, чтобы подводы ушли вперед. Тогда следовавшие за ними машины подъезжали вплотную и, в свою очередь, останавливались. Спуск был не особенно крутой, но дорога все время петляла. Местами попадались такие ухабы, что вещи и люди высоко подскакивали в кузове. Далеко внизу под обрывом должна быть большая река. Во всяком случае, Вилнит с нетерпением ждал ее. Интересно, какого она цвета — желтая, как Волга, или синяя, как Даугава? Но никакой реки не оказалось. На дне оврага не было ни капли воды, и только извилистая песчаная полоса свидетельствовала о том, что весной, во время паводка, здесь протекал узенький ручеек.

По ту сторону перевала дорога была несколько ровнее, но пока до него добрались, солнце стояло уже над самой головой и пекло невыносимо. Но вот соседи начали волноваться и все чаще повторять слово «Сосново». Вдали показалось село. На Вилнита это уже не произвело никакого впечатления — он был слишком измучен жарой и тряской и как-то отупел.

Только проезжая березовую аллею, он поднял голову и заметил, что березы были без единого листка и стволы их белели, как выбеленные на солнце кости. Теперь Вилнит понял, что означали белые полосы на склонах горы. Здесь, так же как и в Латвии, недавно была суровая зима, и деревья померзли. Выдержали только дубы и попадавшиеся в одиночку и целыми рощами дикие яблони. Домики в Сосново несколько отличались от осиновских. Рядом с крашеными железными крышами виднелись и мохнатые соломенные крыши. Вдоль улицы тянулась каменная ограда, промелькнули красные столбы ворот, а за оградой в дубовой роще показались белые одноэтажные домики. Наверно, больница — по дорожкам ходили женщины в белых халатах и косынках.

Машина остановилась у большого серого двухэтажного здания. Как только опустили задний борт, Вилнит соскочил первым. Ноги одеревенели, и потребовалось довольно много времени, пока они вновь обрели способность двигаться. Здесь была школа: сквозь щели забора Вилнит увидел вынесенные во двор парты, по которым уже лазили мальчишки эвакуированных. Вилнит обошел выгруженные из машины вещи и попал во двор. На второй этаж можно было подняться прямо со двора по крутой лестнице. Вилнита это заинтересовало. Но ему пришлось три раза останавливаться, пока он добрался до верха: два раза для того, чтобы пропустить ораву мальчишек, которые с визгом и гиканьем неслись вниз, и раз для того, чтобы дать дорогу какому-то дяденьке, поднимавшемуся наверх с ношей.

Наверху было много комнат, у всех двери настежь, и во всех комнатах люди. Вилнит заглянул в первую. Это было просторное помещение без всякой мебели, в котором толпилась орава мальчишек. Один стоял в центре, остальные выстроились в два ряда вдоль стен. По его команде они сходились на середину комнаты и с оглушительным криком принимались перетягивать друг друга. Вероятно, это была какая-то игра. Увидев Вилнита, вся ватага обернулась и с криком бросилась к нему. Перепуганный Вилнит помчался вниз по лестнице и только на улице решился оглянуться.

Никто за ним не гнался. Машина уже уехала, и вещи были перенесены в дом. Не зная, куда направиться, Вилнит в полной растерянности стал подниматься в гору. Солнце палило нестерпимо, черная, как смола, земля затвердела и потрескалась. Вот оно какое, Сосново... Вилниту здесь совсем не нравилось. Куда пойти, что делать? А дальше ехать, видно, никто не собирается... Мальчиком овладело безразличие, и он медленно поплелся в гору, тупо глядя, как туфли его постепенно покрываются слоем серой пыли. Навстречу ему попадались лишь редкие прохожие. Разморенные жарой, они еле волочили ноги и не обращали никакого внимания на маленького бродягу.

Вилнит остановился перед коричневым домиком с большим сиреневым кустом у ворот. Посреди двора сидел маленький серый котенок и жалобно мяукал. Вилнит подошел к нему, но вдруг заметил, что на опрокинутом бочонке сидит девчонка примерно его роста и смеется, сверкая белыми зубами. В стороне стоял такой же мальчуган, швырял комьями земли в котенка и никак не мог попасть. Вилнит обозлился, но все же не

настолько, чтобы начать драку. К тому же их двое и они у себя дома...

Котенок, видимо, так же приблудился к ним, как и он. Вилнит подобрал его и пошел прочь. Ком земли больно ударил по ноге, но он и виду не подал, что ему больно. Он спустился вниз и, перейдя дорогу, дошел до конца больничной ограды. Недалеко от дороги виднелась опушка рощи, в нескольких шагах от нее рос дубовый куст, а рядом с ним много ярко-алых цветов. Вилнит присел в тени и сорвал один цветок. Это была необыкновенно пышная смолка, и от нее пальцы сразу стали липкими. Котенок обнюхал цветок и стал трогать его лапкой. Такой заморыш, а тоже хочет поиграть! Вилнит протянул ему узорчатую палку, но тут же опустил руку. Он слишком устал. Вилнит лег на спину и вытянулся.

Над ним раскинулось безоблачное бледное небо. Кругом было так тихо, что ни один лист не шевелился. Горько пахла вянущая на солнце трава. Котенок улегся у него на груди и сонно замурлыкал.

Сосново-Солонец в Жигулевских горах — большое село, почти городок. Дорога к нему полого спускается в овраг и на противоположной стороне поднимается в гору. По обеим сторонам дороги, в пересекающих ее коротких переулках и вдоль крутых склонов оврага — дома. Слева, на берегу ручья,— колхозный скотный двор, справа, на горе,— другой. Ниже — красная кирпичная церковь с покосившимся крестом и без колокола, аптека, несколько магазинов, машинно-тракторная станция... Когда-то на горе за березовой аллеей, на месте бывшего имения, работала крупная лесопилка.

На крылечко примостившейся на склоне горы небольшой ветхой избушки вышел дедушка Вилнита. Через плечо у него полотенце, а в руке — только что полученный кусок мыла: все эвакуированные должны были вымыться в бане. С самого утра водовоз со своей бочкой поднимался в гору и снова спускался вниз. Верепицей шли эвакуированные с полотенцами и мылом. Но дед Вилнита только сегодня заставил себя выполнить эту полезную для здоровья обязанность.

Он прошел мимо школы. Во дворе было пусто, но в окно виднелись наваленные в беспорядке вещи, и с верхнего этажа доносились детские голоса. Один голос показался удивительно знакомым. Дед остановился, прислушался... Нет, конечно, ошибся... Мелькнула мысль — подняться наверх и посмотреть.

Но он только головой покачал: сколько раз за вчерашний и сегодняшний день он уже поднимался и спрашивал... Было просто безумием предполагать, что такой несмышленый ребенок может за тысячу километров попасть именно сюда, где они оба с бабушкой в страшной тревоге провели бессонную ночь и весь день не ели, не пили.

Он не оглянулся — зачем ему оглядываться? — и не видел, как вслед за ним из избы вышла бабушка Вилнита и поднялась на бугор, деливший широкую проезжую дорогу на две части: справа подводы спускались вниз, слева поднимались в гору. Он тряхнул головой и все же не смог отогнать мрачные мысли, от которых перехватывало горло и ноги наливались свинцом.

Навстречу деду быстрым шагом шел юноша в белой рубахе, в сандалиях и с непокрытой головой. Это был секретарь местного исполкома. Заметив старика, он еще издали помахал зажатой в руке пачкой бумаг.

— Пока ничего нет! — крикнул он, вероятно, для того, чтобы избежать долгих и бесполезных расспросов.— На эвакопункте пока ничего не известно, а со станцией нам еще не удалось связаться, все утро телефон был занят. Только если бы у них что-нибудь было, они сразу же сообщили бы на пункт. К вечеру еще раз попытаемся связаться и завтра непременно что-нибудь узнаем. Вы не расстраивайтесь — никуда ваш мальчик не денется... В Советском Союзе никто не пропадает...

«Завтра... завтра узнаем...» Дед перешел через дорогу. Вчера обещали сегодня узнать, теперь говорят завтра... А время идет... Он и сам попытался себя успокоить подобным образом. Но все это только слова, одни слова. И снова, будто вихрь, кружащий острые песчинки, нахлынули все его мрачные мысли, все упреки, которыми он терзал и себя и бабушку. За эти два дня они даже несколько раз поссорились после стольких лет мирной жизни. Нет, виноват только он один. Виноват он один, и нет ему оправдания. Как он мог затеять этот ненужный спор в вагоне и забыть про мальчика? Почему после того, как стало ясно, что Вилнита в поезде нет, он не сошел на первой же остановке и не вернулся обратно на станцию? Почему в Куйбышеве только послал телеграммы, а не остался на эвакопункте? Нет, поехал в эту глушь, где даже телефонного разговора с городом трудно добиться...

Обгоняя друг друга, сотня упреков проносилась у него в мозгу. Все, что он до сих пор предпринял, казалось ему просто бессмыслицей. Послезавтра они едут обратно в Куйбышев, но разве этим теперь поможешь? Где, в каких отдаленных краях

мог за это время оказаться Вилнит — песчинка в необъятном потоке эвакуированных,— кто его там найдет?

Тут он заметил, что стоит один посреди дороги. Он стиснул зубы и передернул плечами — все равно ему не сбросить тяжелый груз мыслей. Перед ним была черная, утоптанная, потрескавшаяся от зноя тропинка. Темные дубы за больницей погрузились в дремоту. За кустом виднелось ослепительно-красное пятно и рядом, в траве, другое, синее. Подойти посмотреть, что это за цветы? В тени сидел маленький котенок и умывался. Цветы, котенок — на что они теперь ему?..

В бане нашлось свободное место. Дед налил из огромной бадьи в жестяной таз горячей воды, подбавил из бочки мутноватой холодной и начал мыть голову. В глаза попала мыльная пена, и резкая боль на мгновение отогнала гнетущие мысли. Вытирая голову, он снова забылся, надел рубаху и вышел. Соседи с недоумением посмотрели ему вслед. Старик ступил ногой в заваленную ветками канавку, по которой стекала из бани грязная вода, бросил растерянный взгляд на свои мокрые босые ноги, вспомнил, что забыл в предбаннике полотенце с мылом, и повернул назад. Но в дверях бани никак не мог вспомнить, зачем вернулся, и ушел.

Проснувшись, Вилнит сразу почувствовал, что хорошо выспался. В желудке, правда, немного урчало, но о еде он сейчас не думал. Все события сегодняшнего дня были у него точно на ладони, да и будущее представлялось довольно отчетливо. Он приехал в Сосново, откуда дальше не везут; значит, дедушка и бабушка тоже не могли никуда уехать. Значит, надо немедленно приступить к поискам. Хорошо, что котенок ушел: не таскать же его всюду с собой! Давеча он неправильно искал: разве бабушка и дед останутся в такой толчее? У них где-нибудь в другом месте есть квартира.

Это «другое место» казалось ему таким же определенным и известным, как ворота дома, где они жили в Риге и куда он даже с Мариинской улицы мог найти дорогу с закрытыми глазами. Вилнит прибавил шаг. Однако перейти дорогу побоялся. Может быть, там все еще торчит этот противный мальчишка. А здесь такая гладкая черная тропинка.

Проходя мимо больничной ограды, он подумал о том, что хорошо бы снова увидеть нянечек в белых косынках. Они почему-то казались ему гораздо милее всех прочих особ женского пола — разумеется, за исключением девушки с косами. Но на дворе было пусто, только под дубами резвились два белых кролика. В овраге около дороги сидела на пне какая-то женщина в

клетчатом платке. Надо бы ее как следует рассмотреть, но сейчас было некогда. Вилнит увидел на кусте сирени маленькую коричневую птичку. Она уставилась на него своими круглыми глазами-бусинками и, казалось, вот-вот подлетит. Вилнит протянул свою палочку и, постукивая по ней пальцем, позвал так, как обычно подзывал у дяди в деревне цыплят: «Цып-цып-цып!»

Но тут сзади кто-то вскрикнул и вспугнул птичку. Вилнит сердито оглянулся. Ну конечно, кричала женщина в клетчатом платке. Но вот она подбежала, и это была вовсе не женщина в клетчатом платке, а его собственная бабушка! Вилнит не успел ни удивиться, ни обрадоваться; бабушка подхватила его, прижала к груди, стиснула, взяла на руки, снова опустила на землю и снова подхватила. Вилнит не привык к таким нежностям и стыдливо отвернулся. А в это время с горы, задыхаясь, бежал дед с мокрыми, всклокоченными волосами, вытаращенными глазами и с таким перекошенным от волнения лицом, что неприятно было глядеть.

— Куда это вы забрались? — деловито спросил Вилнит.— Вас совсем нельзя было найти!

— А ты долго нас разыскивал, сынок?

Вилнит хотел было рассказать про школу, про скверных мальчишек, про того парня, который запустил в него комом земли, но сдержался. Ему совсем не хотелось, чтобы его жалели, а дедушка с бабушкой без этого не могут. Что было, то прошло... Вилнит пожал плечами и махнул рукой.

Бабушка шла впереди, дед сзади, а Вилнит между ними. Крылечко нового их жилища его не поразило — видел он и повыше. Печка тоже оказалась меньше, чем в избе пристанционной деревни. Комната была без полатей, стены оклеены обоями. Пять небольших окошек, два накрытых скатертями столика... В углу, на полу, их узлы и чемоданы. Кровать застлана одеялом. Вилнита усадили за стол и угощали, как знатного гостя. Бабушка купила масла и яиц, а в сеточке у нее оказался целый килограмм сладкого печенья. Бабушка и дед смотрели, как он ест, и, наверно, догадывались, что нелегко ему пришлось в дороге. Дед смущенно покрякивал, а бабушка несколько раз вытерла уголком фартука глаза. Хорошо делают, что не пристают с расспросами. Вилнит мог их за это только похвалить. Ему было сейчас так хорошо, что не хотелось омрачать эту встречу даже воспоминаниями о пережитом. С мужчиной всякое может случиться в жизни, нельзя же по каждому случаю поднимать крик. Однако выдержать до конца характер ему все

же не удалось. Когда бабушка хотела унести узорчатую палку, пришлось рассказать про мальчика с козочкой в осиновой роще и про старика с большим клетчатым мешком. Вилнит описывал, как он ткнул его в бок, чтобы тот подвинулся, и дед с бабушкой смеялись до слез.

Спать не хотелось, Вилнит хорошо выспался, но он устал от еды. Его раздели и уложили в постель. Положив голову на согнутый локоть, блуждая с закрытыми глазами в каком-то своем мире воспоминаний, Вилнит пролепетал что-то про бутерброд с белугой, про мальчугана на разостланном матерью платке, но ничего толком разобрать было нельзя. Дед с бабушкой переглянулись: не надо расспрашивать, постепенно все узнаем.

Вилнит умолк. Рядом у изголовья лежала белая палка с узорами — с ней, наверно, связано какое-нибудь важное событие в его поездке на восток. Дед встал и бодрой юношеской походкой, на цыпочках вышел из комнаты.

Луна поднялась не высоко, и тусклые звезды утопали в белесоватом, мутном сиянии. На горе было светло, но оба склона оврага, по которым расположился Сосново-Солонец, были окутаны серым полумраком. Дед как будто впервые увидел это село. Вчера здесь была лишь палящая, душная и мертвая пустыня. Внизу у моста светился одинокий огонек. Церковь бессильно протянула свою старушечью шею, а обомшелый, покосившийся крест торчал, как желтый, высохший птичий клюв.

Дед прошел почти все село до вымерзшей березовой аллеи. Стояла такая тишина, что был слышен даже хруст сухой травинки под босой ногой. По отлогим склонам вплоть до видневшихся вдали горбатых хребтов Жигулевских гор тянулись необозримые беловатые поля ржи. Над обочинами дороги, роняя крупные капли росы, склонялись тяжелые колосья.

Под листьями спали, подложив под голову длинные голенастые ножки, опьяненные запахом хлеба кузнечики.

Просторы, просторы... От Риги до Куйбышева, от Лиепаи до Камчатки, от Баренцева моря до южных склонов Кавказских гор... Родина! Не было такой окраины, где человек не чувствовал бы себя как дома, не было таких отдаленных мест, где ребенок за тысячи километров не нашел бы своих. Простор, свободу, братство и хлеб дарила эта бескрайная страна своим детям.

Как черные тени по ржаному полю, надвигались с запада неисчислимые орды отвратительных пресмыкающихся. Голодные тараканы с коричневыми щитками и длинными щупаль-

цами. Серые, высохшие разбойники-пауки с пустым брюхом и кривыми ногами. Жабы с жадно блестевшими зелеными глазами и зловонным дыханием, от которого никнет трава и пчелы прячутся в поросших мхом кочках...

Дед очнулся, тряхнул головой, обернулся и быстро зашагал к дому. Не испугают, не одолеют! Страна сознает свою силу, вот почему она сейчас так спокойна. Завтра опять наступит долгий жаркий день. Послезавтра они поедут обратно в город — туда прибыл из Риги его завод. Начнется работа. А труд — это та же битва за родину, за жизнь. Сейчас не время чувствовать себя старым и сидеть без дела. Сила страны — в штыках ее воинов, в мускулах рабочих, в каждом взмахе молота. Каждый трудовой подвиг в Куйбышеве наносит новый удар по полчищам прожорливых гадов под Псковом, Брянском и Киевом... Скорее бы рассвело и наступил день.

Он остановился на горе и бросил взгляд на дремлющую во мраке избушку. «Отдохни, Вилнит, отдохни как следует, послезавтра нам рано вставать. Мы покажем, что приехали на восток затем, чтобы скорее вернуться в нашу Ригу, чтобы ты снова мог гулять по Весеннему саду!»

Он повернулся на запад, погрозил кулаком и быстрыми шагами стал спускаться с горы.

1942

ПРИМЕЧАНИЯ

Первые художественные произведения А. Упита (цикл юмористических стихов) появились в 1897 году в сатирическом календаре А. Алунана «Зубоскал». Первый рассказ «Буря» опубликован в 1899 году, первый роман «Наводнение» — в 1903 году. Первая книга рассказов («Маленькие комедии», т. 1) увидела свет в 1909 году в Риге. Всего на родном языке писатель опубликовал пятнадцать отдельных сборников рассказов и новелл.

Собрания сочинений А. Упита, составленные самим автором на латышском языке, издавались дважды: в 1923—1927 годах (5 томов) и в 1946—1954 годах (22 тома).

Первые рассказы в переводе на русский язык появились в 1913 году в «Латышском литературном альманахе», выпущенном в Петербурге издательством «Вестник знания» (рассказ «Грех» и новелла «Романтик»).

В известном «Сборнике латышской литературы», вышедшем в 1916 году в Петрограде (в издательстве «Парус») под редакцией В. Брюсова и М. Горького, помещена новелла А. Упита «Совесть», переведенная самим автором.

Первая книга новелл А. Упита на русском языке «Рассказы о пасторах» появилась в 1931 году.

После Великой Отечественной войны в переводе на русский язык вышло несколько сборников избранных новелл А. Упита.

В 1956—1959 годах в Москве, в Государственном издательстве художественной литературы вышло Собрание сочинений Андрея Упита в 12-ти томах.

Сборники избранных новелл А. Упита выходили и на языках других народов СССР, в том числе на украинском в 1956 году, на литовском в 1952 году, на туркменском в 1955 году.

В настоящее издание включены новеллы Андрея Упита из циклов «Маленькие комедии» (I том — 1909, II том — 1910), «В страдную пору» (1915), «Оттепель» (1919), «Ветров противоборство» (1920), «За вратами рая» (1922), «Метаморфозы» (1923), «Голая жизнь» (1926), «Рассказы о пасторах» (1930). Новеллы расположены в хронологическом порядке.

Охота.— Впервые под заглавием «Как застрелили зайца» и подзаголовком «Маленькие люди» рассказ опубликован в литературном приложении к газете «Ригас авизе» («Рижская газета»), 1902, № 35. В переработанном виде под заглавием «Охота» — в журнале «Ауструмс» («Восток»), 1903, № 12 («Маленькие комедии», т. II, 1910).

Романтик.— Впервые — в журнале «Ауструмс», 1904, № 1, с подзаголовком «Из рассказов «Маленькие люди» («Маленькие комедии», т. I, 1909).

Стр. 41. *Шпильгаген* Фридрих (1829—1911) — известный немецкий писатель.

Эберс Георг (1837—1898) — немецкий ученый-египтолог, автор многих романов из истории Древнего Египта.

Sie mussten beide sterben, sie hatten sich viel zu lieb...— заключительные строки стихотворения Г. Гейне «Es war ein alter König» («Жил-был старый король»).

Стр. 43. *«Дюна цайтунг»* («Двинская газета») — печатный орган прибалтийского дворянства, выходил в Риге на немецком языке с 1888 по 1909 год.

Комедия в трех действиях.— Впервые — в журнале «Ауструмс», 1904, № 3, с подзаголовком «Из рассказов «Маленькие люди» («Маленькие комедии», т. I, 1909).

Стр. 50. *Иванов день (Янов день)* — 24 июня, латышский народный праздник (канун его — праздник Лиго).

В лоне семьи.— Цикл рассказов, опубликованный с 1903 по 1909 год в разных периодических изданиях. Рассказ «Отец» впервые опубликован в альманахе «Яуна ража» («Новый урожай»), 1904, № 8; «Старый Клява» — в журнале «Изглитиба» («Просвещение»), 1909, № 5; «Дети» — в литературном приложении к газете «Маяс виесис» («Домашний гость»), 1906, № 1/52; «Сын с чужбины» — в журнале «Ауструмс», 1904, № 7, с подзаголовком «Из рассказов «Маленькие люди»: «На вырубке» — в литературном приложении к газете «Балсс» («Голос»), 1907, №№ 1—3; «Чудеса» — в альманахе «Паштаутас ракстниеки» («Писатели родного народа»), 1906, № 1; «Братья» — в журнале «Изглитиба», 1903, № 11. Рассказы «Отец» и «Сын с чужбины» включены в первую книгу сборника «Маленькие комедии», другие рассказы под общим заголовком «В лоне семьи» — во вторую книгу. Весь цикл под общим названием

«В лоне семьи» впервые дан во втором издании сборника «Маленькие комедии» (Собр. соч., т. IV, 1926).

Стр. 89, *...в Доме общества...*— Перед революцией 1905 года в Латвии — в городах и в сельских волостях — было основано множество просветительных обществ, которые устраивали библиотеки, организовывали драматические и хоровые кружки.

Рассказ о мертвеце.— Впервые — в журнале «Веротайс» («Наблюдатель»), 1905, № 1, с подзаголовком «Из рассказов «Маленькие люди» («Маленькие комедии», т. I, 1909).

Куриный взлет.— Первый рассказ «Вихрь» впервые опубликован в журнале «Веротайс», 1905, № 12; второй рассказ «В маленьком белом домике» — в литературном приложении к газете «Балсс», 1907, №№ 4—6. В первом издании «Маленьких комедий» опубликован только рассказ «Вихрь». Второй рассказ помещен в первом издании сборника «Тревога» (1912). Оба рассказа под заголовком «Куриный взлет» впервые объединены во втором издании сборника «Маленькие комедии» (Собр. соч., т. IV, 1926).

Стр. 185. *Фон Харденберг Фридрих* (псевдоним Новалис; 1772—1801) — немецкий реакционный романтик.

Гамерлинг Роберт (1830—1889) — австрийский поэт и драматург.

Стр. 202. *Нора и Хельмер* — действующие лица драмы Г. Ибсена (1828—1906) «Кукольный дом» (1879).

Homo sapiens.— Рассказ написан и впервые опубликован в 1909 году в литературном приложении в газете «Дзимтенес Вестнесис» («Вестник Родины») №№ 1—3. В том же году переработан в комедию и издан в книге сатирических антидекадентских новелл «Сверхчеловеки».

Стр. 205. *Homo sapiens* (лат.) — человек разумный. Определение человеческого рода по классификации растительного и животного мира, составленной К. Линнеем.

Стр. 210. *Юкум — что это за имя! Брумелис — что это за фамилия!* Юкум — имя мужчины, встречавшееся раньше у простого деревенского люда,— в дословном переводе: Путаница. Брумелис — слово, не имеющее особого значения.

Стр. 213. *...пишут Мантегацца и Вейнингер...*— Паоло Мантегацца (1831—1910) — итальянский врач, физиолог и антрополог. Вейнингер — немецкий сексуалопатолог.

Стр. 221. *Синай...*— Синай, согласно Ветхому завету, гора, где бог Яхве якобы провозгласил свои десять заповедей

Иван як.— Впервые в альманахе «Вардс» («Слово»), П. 1913 (Сборник «В страдную пору», 1915).

«Освобожденные».— Рассказ написан в 1919 году, впервые опубликован в 1920 году в «Календаре Советской Латвии на 1920 год» под псевдонимом К. Страут. Составитель и главный автор календаря —

А. Упит. Календарь вышел в Петрограде, когда сам писатель находился уже в буржуазной Латвии. Цензура буржуазного государства не пропустила советское издание, и поэтому календарь и напечатанный в нем рассказ А. Упит впервые увидел только в 1962 году. Тогда же рассказ «Освобожденные» вместе с другими своими произведениями из этого календаря писатель напечатал вторично — в журнале «Карогс» («Знамя»), 1962, № 12. В предисловии к опубликованным материалам, имея в виду рассказ «Освобожденные», А. Упит писал: «Рассказ повествует о происшествиях в Латвии после свержения советской власти и первыми набегами банд фон дер Гольца на просторы латышской земли». Граф Ридигер фон дер Гольц (1865—1930) — генерал, командир немецкого 6-го резервного корпуса, в который входили ландвер и так называемая железная дивизия, а также латышские белогвардейцы. Войсковыми соединениями фон дер Гольца командовали прибалтийские бароны, устроившие злодейскую расправу над населением оккупированной территории Латвии.

Ветров противоборство.— Рассказ написан в 1920 году, в тюрьме. Впервые напечатан в одноименном сборнике.

Стр. 257. *Уитмен Уолт* (1819—1892) — великий американский поэт.

Стр. 265. *Блауман Рудольф* (1863—1908) — выдающийся латышский новеллист и драматург.

Угли под пеплом.— Рассказ написан в тюрьме в 1920 году, опубликован впервые в сборнике «Ветров противоборство» (1920).

Причины и следствия.— Рассказ написан в 1921 году, впервые опубликован в журнале «Дарбс ун майзе» («Труд и хлеб»), 1922, № 1—2; вошел в сборник «За вратами рая», 1922. В 1927 году напечатана в журнале «Домас» («Мысль»), № 6—9, авторская инсценировка этого рассказа.

В основу рассказа положен подлинный факт: в 1921 году рижские оптовые торговцы придерживали запасы сахара, чтобы поднять цену.

Стр. 334. *Банк внутренних займов и внешних кредитований* — пародийное название одной из разновидностей ссудо-сберегательных касс. В буржуазной Латвии было множество таких, по большей части недолговечных «банков», основанных домовладельцами, торговцами и даже просто темными дельцами.

Стр. 337. *Дамский корпус* — женская благотворительная организация в буржуазной Латвии.

Стр. 357. *Псоглавцы* — фантастические чудовища, традиционный образ латышского фольклора.

Сполохи, ветреницы.— Пародируя манеру некоторых реакционных писателей, которые часто пользовались сюжетами из древне-латышской мифологии, Упит вводит в пьесу своего персонажа Аудзеспудура

псевдофольклорные образы фантастических существ — сполохов и ветрениц.

Стр. 361. *Сарканкалн* — психиатрическая лечебница в Риге.

Убийца роз.— Рассказ написан и впервые опубликован в 1922 году в сборнике «За вратами рая».

Счастье в несчастье.— Рассказ написан и впервые опубликован в 1922 году в сборнике «За вратами рая».

В первые годы существования буржуазной Латвии английские капиталисты оказывали ей экономическую и военную помощь. За это латышская реакционная пресса восхваляла английскую буржуазию как образец бескорыстия, гуманности и либерализма. Впоследствии, однако, латышскому народу пришлось с лихвой отплатить за эту «бескорыстную» помощь. Полемизируя с апологетами английской либеральной буржуазии, Упит показал в лице героя «Счастье в несчастье» мистера Брайтинга ее лицемерие и цинизм.

Стр. 382. *Ллойд-Джордж Давид* (1863—1945) — английский политический деятель, лидер либеральной партии, в 1916—1922 годах премьер-министр коалиционного правительства. Ленин назвал «ллойд-джорджизмом» систему «лести, лжи, мошенничества, жонглерства модными и популярными словечками, обещания направо и налево любых реформ и любых благ рабочим,— лишь бы они отказались от революционной борьбы за свержение буржуазии» (В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 30, стр. 176).

Стр. 394. *Локк Уильям Джон* (1863—1930) — английский писатель, автор многочисленных развлекательных романов.

Благодетель.— Рассказ написан и впервые опубликован в 1922 году в сборнике «За вратами рая».

В 1931 году, используя сюжет «Благодетеля». Упит создал четырехактную драму «Паук». Действующие в ней сын, дочь и товарищи Морена (именуемого в пьесе Клаусом Грейфом) становятся на путь открытой и беспощадной борьбы с капитализмом.

За вратами рая.— Рассказ написан и впервые опубликован в 1922 году в сборнике «За вратами рая». Автор дал в нем своеобразную интерпретацию библейской легенды об изгнании Адама и Евы из рая. В противоположность Библии, здесь утверждается свободолюбие человека, его творческий инстинкт.

Le trésor des humbles.— Рассказ написан и опубликован в 1923 году в сборнике «Метаморфозы».

Упит высмеивает здесь философию эксплуататорских классов, которая оправдывает существование общества, разделенного на угнетателей и угнетенных, богатых и бедных. Рассказ иронически озаглавлен так же, как одна из книг — эссе («Le trésor des humbles» — «Сокровище смиренных» — 1896) известного бельгийского писателя-символиста Мо-

риса Метерлинка (1862—1949), который проповедовал в своих произведениях смирение, покорность судьбе и даже пытался мистически оправдать эксплуатацию.

Журдан и Бигонет.— Рассказ написан и впервые опубликован в 1923 году в сборнике «Метаморфозы».

В предисловии к своей книге «Избранные новеллы. За сорок лет» (Рига, 1949, на лат. языке) А. Упит пишет: «Исторические личности Журдан и Бигонет и их взаимная борьба вместе с софистической мотивацией «двойной правды» взята из писем некоего журнального корреспондента времен Екатерины II, в которых тот жалуется на «жестокости» революционеров, причем сохранены жизнепонимание и стиль анналистов XVIII века».

Метаморфозы Иеговы.— Рассказ написан и впервые опубликован в 1923 году в сборнике «Метаморфозы». «Метаморфозами Иеговы» Упит начал серию своих рассказов о пасторах. Действие рассказа происходит вскоре после образования буржуазной Латвии.

Рассказ написан в ответ на призывы буржуазной прессы оказывать духовенству материальную помощь. Упит показывает в нем враждебное отношение старого, преданного прибалтийским баронам духовенства даже к куцей буржуазной демократии.

Стр. 450. *Это постройки новохозяев...*— Учредительное собрание буржуазной Латвии в сентябре 1920 года приняло закон об аграрной реформе, на основе которого землевладения помещиков и пасторов ограничивались размером в пятьдесят га. Остальная земля конфисковывалась и зачислялась в государственный земельный фонд. Часть этого фонда передавалась безземельному и малоземельному крестьянству, и таким образом возникла прослойка так называемых новохозяев. За полученные землю и постройки новохозяева обязаны были вносить выкупные платежи, что было многим из них не под силу. Часть новохозяев быстро разорилась; некоторые даже не могли начать обрабатывать свою землю из-за отсутствия инвентаря и скота и вынуждены были продать ее. В конце концов и после аграрной реформы подавляющая масса трудящегося крестьянства Латвии оставалась безземельной и малоземельной.

Стр. 454. *Центральный комитет утвердил...*— Подразумевается Центральный комитет по землеустройству. При проведении буржуазной земельной реформы 1920 года в каждой волости были организованы местные земельные комитеты, решения которых подлежали утверждению Центральным комитетом в Риге.

Стр. 461. *Консистория.*— У лютеран — высший орган церковной власти в стране. В Латвии консистория была упразднена в 1922 году; вместо нее было учреждено главное церковное управление.

Стр. 463. *Янсон* Ян (1872—1917) — латышский литературный критик, публицист и деятель социал-демократической партии (партийная кличка и псевдоним — Браун). Первые тома его незаконченного собрания сочинений (составитель — Андрей Упит) вышли из печати в 1921 году.

Барон Кришьян (1835—1923) — латышский демократический писатель, известный собиратель и систематизатор латышских народных песен.

Стр. 464. *...когда ждали американские подарки.*— В первые годы существования буржуазной Латвии американские капиталисты присылали латышам к праздникам подарки для бедных (главным образом платье и обувь), стараясь таким путем купить симпатии малоимущего населения. Однако все доставленное американцами во время войны, даже малоценное устаревшее оружие, государство, то есть латышский народ, должно было впоследствии полностью оплатить.

Стр. 468. *Балдоне* — курорт в окрестностях Риги.

Стр. 469. *Линдынь* — меньшевистский деятель, член Центрального комитета по землеустройству, выступал в Учредительном собрании с демагогическими речами, якобы в защиту интересов новохозяев.

Гость доктора Мартина.— Рассказ под заглавием «Д-р Мартин и черт» (с пояснением: «По мотивам Гейне») впервые опубликован в сборнике «Метаморфозы» (1923). В 1930 году под настоящим заглавием включен в сборник «Рассказы о пасторах». В 1932 году под тем же заглавием опубликована инсценировка рассказа.

Основатель лютеранства Мартин Лютер (1483—1546) в начале своей деятельности резко выступал против догматов католической церкви, особенно же против торговли индульгенциями — папскими грамотами на отпущение грехов, и т. д. «В этот первый период деятельности Лютера его сильная крестьянская натура проявляла себя самым бурным образом» (Ф. Энгельс, Крестьянская война в Германии.— К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 7, стр. 365). Резкие выступления Лютера положили начало Реформации — широкому общественному движению против католической церкви. Народные массы понимали Реформацию как начало революционного выступления против феодализма. В обстановке все обострявшейся классовой борьбы Лютер постепенно отступал от своих прежних позиций. «Он отрекся от народных элементов движения и перешел на сторону бюргеров, дворян и князей. Его призывы к истребительной войне против Рима замолкли; Лютер стал теперь проповедовать *мирное развитие и пассивное сопротивление...»* (Там же, стр. 366). После Крестьянской войны Лютер окончательно перешел на сторону консервативного слоя бюргерства. Так, лютеранская реформация, в момент своего возникновения воспринятая народными массами как сигнал к восстанию, впоследствии

сделалась в руках феодалов лишь орудием усиления их власти. Сомнения Лютера, устрашившегося своих первоначальных убеждений при виде того, какой переворот они производят в умах народа, Уэлс и показал в диалоге доктора Мартина с чертом. При этом именно черт высказывает сомнения, которые терзают самого Мартина. Черт говорит о том, что его, Лютера, учение о спасении исключительно с помощью веры ослабляет власть церкви и тем самым содействует укреплению «власти дьявола», то есть антиклерикальным настроениям. Действие рассказа происходит в 1521 году.

Стр. 470. *Вартбургский замок.*—10 декабря 1520 года Лютер сжег у ворот Виттенбергского университета направленную против него папскую буллу (акт). В мае 1521 года он был осужден эдиктом (указом) императора Карла V, как еретик, и объявлен вне закона. Но Лютеру удалось спастись. Курфюрст Саксонии укрыл его в своем Вартбургском замке. Там Лютер начал переводить Библию на немецкий язык.

Когда он с горсткой друзей прибыл в Вормс...— В апреле 1521 года император Германии Карл V вызвал Лютера на сейм в Вормс в связи с тем, что тот сжег папскую буллу. Лютер искусно защищал на сейме свои взгляды.

...кто вселил в него мужество в Виттенберге...— 31 октября 1517 года Лютер прибил к дверям дворцовой церкви в Виттенберге свои знаменитые 95 тезисов, которые, по словам Энгельса, «оказали воспламеняющее действие, подобное удару молнии в бочку пороха» (Ф. Энгельс, Крестьянская война в Германии.— К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 7, стр. 392).

Стр. 471. *Зиккинген Франц фон* (1481—1523) — вождь неудавшегося рыцарского восстания (1522) против крупных немецких князей.

Гуттен Ульрих фон (1488—1523) — немецкий гуманист и политический деятель, один из авторов памфлета «Письма темных людей», направленного против папства.

Стр. 473. *Тецель Иоганн* (1465—1519) — саксонский монах-доминиканец, вел торговлю индульгенциями в Германии как апостолический комиссар папы. Тецель выступил с опровержением тезисов Лютера в Виттенберге, но потерпел поражение.

Стр. 475. *Лев Десятый* (Медичи) — римский папа (с 1513 по 1521 год), против которого выступал Мартин Лютер.

Стр. 477. *Торквемада* Томас (1420—1498) — глава испанской инквизиции, осудил на сожжение более десяти тысяч еретиков.

Смерть Клеманса Перье.— Рассказ написан в 1924 году; впервые опубликован в журнале «Пасаулес литература» («Всемирная литература»), 1924, № 5—8; вошел в сборник «Голая жизнь», 1926. В русском переводе был впервые напечатан в журнале «Резец», 1928, № 11.

Действие рассказа происходит летом 1871 года, после разгрома Парижской коммуны.

Стр. 480. *Двадцать шестого мая она была взята...* — 21 мая 1871 года войска контрреволюционного правительства (версальцы) ворвались в Париж, но лишь 28 мая, после семидневного героического сопротивления коммунаров, пали последние опорные пункты восставшего парижского пролетариата.

Стр. 481. *Тьер* Адольф (1797—1877) — реакционный французский политический деятель, историк, по профессии адвокат. «Летопись его общественной деятельности,— писал Маркс,— есть история бедствий Франции» (К. Маркс, Гражданская война во Франции.— К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 17, стр. 324). С 17 февраля 1871 года до мая 1873 года Тьер был главой исполнительной власти. После провозглашения Парижской коммуны бежал в Версаль и начал при поддержке Бисмарка кровавую гражданскую войну против революционного Парижа. Стяжал позорную славу «палача Парижской коммуны».

Стр. 482. *Федераты* — подразумеваются защитники Парижской коммуны — бойцы и офицеры Национальной гвардии.

Дюма-сын — французский романист и драматург Александр Дюма (1824—1895). Сведения о его выступлении против коммунаров и о политической позиции других французских писателей взяты Унптом из книги П. Лиссагарэ «История Коммуны 1871 года».

Доде Эрнест (1837—1921) — французский писатель, редактор монархических газет, брат известного писателя Альфонса Доде.

Кларетти Жюль (1840—1913) — французский буржуазный журналист и писатель.

Сарду Викторьен (1831—1908) — известный французский драматург.

Мендес Катюль (1841—1909) — французский поэт, романист, новеллист, в 1871 году опубликовал книгу «Семьдесят три дня Коммуны», полную злобных, клеветнических нападок на парижских коммунаров.

Мак-Магон Патрис Морис (1808—1893) — французский реакционный военный и политический деятель. Во время франко-прусской войны 1870—1871 годов позорно капитулировал перед немцами; командовал контрреволюционной армией версальцев, жестоко расправлялся с коммунарами.

Галифе Гастон (1830—1909) — французский генерал. Во время франко-прусской войны попал в плен к немцам, был освобожден специально для участия в подавлении Парижской коммуны.

Стр. 483. *Жирарден Эмиль де* (1806—1881) — французский буржуазный журналист и политический деятель.

Стр. 490. *Центральный комитет* — подразумевается Центральный комитет Национальной гвардии, военно-политический центр восстав-

шего парижского пролетариата; состоял преимущественно из рабочих и ремесленников.

Стр. 497. *Делеклюз* Шарль (1809—1871) — журналист, видный деятель революции 1830 и 1848 годов, член Совета Парижской коммуны. Погиб на баррикадах.

Верморель Огюст (1841—1871) — французский публицист, член Парижской коммуны. Был ранен на баррикадах, умер в плену у версальцев.

Варлен Луи Эжен (1839—1871) — французский революционер, выдающийся деятель Парижской коммуны. Член Первого Интернационала. При подавлении Коммуны был зверски убит версальцами.

Последняя капля.— Рассказ написан и впервые опубликован в 1926 году в сборнике «Голая жизнь».

Стр. 519. *...мучился в джунглях Чикаго, которые... описал Синклер.*— Американский писатель Эптон Синклер (1878—1968) реалистически показал в романе «Джунгли» (1906) жестокую эксплуатацию рабочих в скотобойнях Чикаго.

Стр. 526. *«Хорошо сшитый фрак»* — комедия венгерского писателя Г. Дрегели.

Тень-спасительница.— Рассказ написан в 1926 году. Впервые опубликован в журнале «Домас», 1926, № 7; вошел в сборник «Голая жизнь», 1926.

Последнее действие.— Рассказ написан и впервые опубликован в 1926 году в сборнике «Голая жизнь».

В мае 1919 года силы международной и латышской контрреволюции начали наступление против Советской Латвии. Это наступление происходило в то время, когда войска Красной Армии героически сражались с Деникиным, Колчаком, Юденичем и не могли оказать существенной помощи трудящимся Латвии. Красные латышские стрелки 22 мая 1919 года покинули Ригу и, оказывая упорное сопротивление, отступали к границам РСФСР. Вместе с армией и органами Советской власти отступали рабочие, батраки, безземельные крестьяне, революционная интеллигенция. Один из эпизодов этого отступления Упит описал в рассказе «Последнее действие».

Безбожник.— Рассказ написан в 1926 году и впервые опубликован в календаре «Неаткаригайс вардс» («Независимое слово»), 1927; вошел в сборник «Рассказы о пасторах», 1930; был переработан в одноактную пьесу, которая была опубликована под тем же названием в 1932 году.

Стр. 554. *...говорил он и об обряде вкушения гороха на могилах соплеменников...*— В 1926 году в Латвии организовалась националистическая религиозная секта диевтуров, которая старалась возродить культ древнелатышских языческих богов. На поминках диевтуры по древнелатышскому обычаю ели вареный горох.

Стр. 555. *Пастор... помнил его еще с девятьсот пятого года.*— В 1905 году в Латвии происходили массовые народные демонстрации против церкви. В церквах во время богослужения устраивались сходки, причем пасторов стаскивали с кафедр.

Стр. 557. *Альберинг* Артур (1876—1934) — один из главарей кулацкой партии Крестьянский союз, неоднократно занимал министерские посты, в 1926 году был премьер-министром.

Стучка Петер (Петр Иванович) (1865—1932) — выдающийся деятель латышского рабочего движения, один из организаторов Коммунистической партии Латвии. В 1918—1919 годах — председатель Советского правительства Латвии, член ЦК РКП(б), с 1921 года — заместитель народного комиссара юстиции РСФСР, а в 1923—1932 годах — председатель Верховного суда РСФСР. Стучке принадлежит ряд работ по теории государства и права и по гражданскому праву.

Стр. 559. *...когда в Канской волости случилась попойка...*— Иронический намек на евангельское сказание о чуде, которое сотворил Христос, превратив воду в вино на брачном пиршестве в Кане Галилейской.

Ульманисовка — то есть водка (правительство Ульманиса в 1919 году ввело государственную монополию на водку).

Жемчужина из перстня.— Рассказ написан и впервые опубликован в 1929 году в журнале «Домас», № 8. Вошел в сборник «Рассказы о пасторах», 1930. В 1932 году издана одноактная инсценировка его.

Стр. 570. *Розеггер* Петер (1843—1918) — австрийский писатель.

Стр. 576. *Das Leben gilt geringe...*— строки из стихотворения немецкого писателя Людвига Якобовского (1868—1900).

Стр. 579. *Поляна Рютли* — расположена на западном берегу Фирвальдштетского озера, где, по народному сказанию, в 1307 году швейцарские патриоты поклялись освободить свою родину от ига австрийских феодалов.

Вильгельм Телль — легендарный стрелок из лука, предводитель швейцарцев в борьбе за независимость. Главное действующее лицо драмы Ф. Шиллера «Вильгельм Телль» (1804).

Граф Эгмонт — подразумевается главный герой трагедии В. Гете «Эгмонт» (1788).

Стр. 580. *Панталоне* — персонаж итальянской комедии масок.

Цезарь Гай Юлий (100—44 гг. до н. э.) — полководец и государственный деятель в Древнем Риме, герой трагедии В. Шекспира «Юлий Цезарь» (1600).

Гансвурст — тип простака и неудачника в немецкой народной комедии.

Бранд — главное действующее лицо драматической поэмы Г. Ибсена «Бранд» (1866).

Р а с с к а з о п а с т о р е.— Написан и впервые опубликован в 1930 году в газете «Бривайс вардс» («Свободное слово»), №№ 6—10; вошел в сборник «Рассказы о пасторах», 1930.

Стр. 584. *Лат* — денежная единица в буржуазной Латвии.

Епископ Карлис Ирбе — глава лютеранской церкви в Латвии с 1922 по 1931 год.

...альберинговский лен из голландских семян...— А. Альберинг (см. прим. к стр 557) пропагандировал импорт семян из стран Западной Европы.

Стр. 585. *Достаточно и шестидесяти четырех тысяч...*— подразумевается: рублей. В двадцатых годах в Латвии продолжали оставаться в обращении также денежные знаки (рубли и копейки), выпущенные в 1919 году латвийским государственным банком.

Чангал — так видземские и курземские кулаки пренебрежительно называли латгальских крестьян, которые нанимались к ним в батраки.

Стр. 591. *...мимо развалин бывшей церковной корчмы...*— В XVIII—XIX веках в Латвии рядом с церквами, куда по воскресеньям собиралось много народа, устраивались и корчмы. Такие корчмы назывались «церковными».

Стр. 592. *«Брива земе»* («Свободная земля») — ежедневная газета, центральный орган Крестьянского союза; выходила с 1919 по 1940 год.

Стр. 595. *Это был Спура из «Талавии».*— «Талавия» — название одной из университетских корпораций — реакционных организаций студенчества в буржуазной Латвии.

Д у ш е п р и к а з ч и к и.— Рассказ впервые опубликован в сборнике «Рассказы о пасторах», 1930. В 1932 году под тем же заглавием была напечатана одноактная инсценировка его.

Стр. 601. *Зудерман* Герман (1857—1928) — немецкий романист и драматург.

Стр. 603. *Коалиция* — подразумевается коалиционное буржуазное правительство.

Автономия университета.— Согласно статуту, университет в буржуазной Латвии считался автономным учреждением, в действительности же он находился в полной зависимости от реакционной правящей клики.

Рибель— рижский садовод и владелец цветочных магазинов.

Стр. 604. *Пробст* — старший пастор.

Стр. 605. *Эдинбург* — ныне Дзинтари на Рижском взморье.

Стр. 606. *Плокгорст* Бернгард (1825—?) — немецкий художник.

Стр. 609. *Национальная лига* — латышская национальная лига женщин — реакционная женская организация в буржуазной Латвии. Лигой была основана двухгодичная школа художественных рукоделий.

Лунные тени.— Рассказ опубликован в еженедельной латгальской газете «Латголес дорбс» («Латгальский труд»), 1930, №№ 16—24; вошел в сборник «Рассказы о пасторах», 1930.

Стр. 619. *Шницлер* Артур (1862—1931) — австрийский писатель и драматург. Его повесть «Хоровод» («Reigen»), 1896, написана в форме диалога.

Поездка Вилипта на восток.— Рассказ написан в конце 1941 года в селе Кстинино Кировской области, где Упит жил в годы Великой Отечественной войны; впервые опубликован в 1942 году в альманахе «Кароге», № 1. В 1945 году вышел отдельным изданием.

Стр. 641. *...о пареньках села Замшелое.*— «Пареньки села Замшелое» — повесть А. Упита для детей (1940).

Портной Букстынь — один из персонажей этой повести.

Карл Краулинь

СОДЕРЖАНИЕ

Арвид Григулис. Андрей Упит и его творчество 5

НОВЕЛЛЫ

Охота. *Перевод Т. Иллеш* 23
Романтик. *Перевод Т. Иллеш* 38
Комедия в трех действиях. *Перевод Д. Глезера* 48
В лоне семьи
1. Отец. *Перевод Д. Глезера* 65
2. Старый Клява. *Перевод Д. Глезера* 73
3. Дети. *Перевод Д. Глезера* 86
4. Сын с чужбины. *Перевод Д. Глезера* 92
5. На вырубке. *Перевод Л. Блюмфельд* 106
6. Чудеса. *Перевод Д. Глезера* 127
7. Братья. *Перевод Л. Блюмфельд* 143
Рассказ о мертвеце. *Перевод И. Бать* 155
Куриный взлет. *Перевод Т. Иллеш*
1. Вихрь 167
2. В маленьком белом домике 185
Homo sapiens. *Перевод Т. Иллеш* 205
Ивняк. *Перевод Д. Глезера* 223
«Освобожденные». *Перевод Д. Глезера* 236
Ветров противоборство. *Перевод Ю. Абызова* 247
Угли под пеплом. *Перевод Ю. Абызова* 290
Причины и следствия. *Перевод Т. Иллеш* 334
Убийца роз. *Перевод Ю. Абызова* 362
Счастье в несчастье. *Перевод Н. Шевелева* 382

Благодетель. *Перевод Д. Глезера* 398
За вратами рая. *Перевод А. Старостина* 409
Le trésor des humbles. *Перевод Т. Иллеш* 417
Журдан и Бигоне. *Перевод Ю. Абызова* 430
Метаморфозы Иеговы. *Перевод И. Шевелева* 450
Гость доктора Мартина. *Перевод Д. Глезера* 470
Смерть Клеманса Перье. *Перевод Л. Блюмфельд* 480
Последняя капля. *Перевод Т. Иллеш* 518
Тень-спасительница. *Перевод Т. Иллеш* 530
Последнее действие. *Перевод И. Шевелева* 537
Безбожник. *Перевод Л. Блюмфельд* 554
Жемчужина из перстня. *Перевод Д. Глезера* 563
Рассказ о пасторе. *Перевод Л. Блюмфельд* 584
Душеприказчики. *Перевод Л. Блюмфельд* 596
Лунные тени. *Перевод Т. Иллеш* 617
Поездка Вилнита на восток. *Перевод Л. Блюмфельд* 640

Примечания *Карла Краулиня* 687

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ТРЕТЬЯ
Том 187

Андрей Упит
НОВЕЛЛЫ

*

Редактор Ю. Розенблюм
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
Л. Заселяева
Корректоры Т. Кибардина
и Н. Шкарбанова

*

Сдано в набор 11/II 1970 г.
Подписано к печати 6/VII 1970 г.
Бумага типографская № 1. 44 печ. т.
41,05 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 42.002 +
+1 вкл. + 6 накидок = 42,78 л.
Тираж 300 000 экз. Заказ № 820.
Цена 1 р. 81 к.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР
Москва, М-54, Валовая, 28